Елена Коренева

ИДИОТКА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книгу Елены Кореневой отличает от других актерских мемуаров особая эмоциональность, но вместе с тем — способность автора к тонкому анализу своих самых интимных переживаний. Если вы ищете подробности из личной жизни знаменитостей, вы найдете их здесь в избытке. Название книги «Идиотка» следует понимать не только как знак солидарности с героем Достоевского, но и как выстраданное жизненное кредо Елены Кореневой.

- Е. А. Коренева Идиотка: Роман-биография
  - 1. Близкие люди
    - Глава 1. Без названия
    - Глава 2. Одна из версий
    - Глава 3. Уши Иорданского
    - Глава 4. Действующие лица:
    - Глава 5. Групповой портрет
    - Глава 6. Неореализм по-русски
    - Глава 7. Линия горизонта
    - Глава 8. Любовь ближних
    - Глава 9. Ж-жен-щина
    - Глава 10. Внутренние и внешние данные
    - Глава 11. Боевое крещение кинематографом
    - Глава 12. Свое место
    - Глава 13. Развратная профессия
  - 2. Любовь на «Романсе» и после
    - Глава 14. «Внимание! Мотор! Начали!»
    - Глава 15. Дубль 4, 5 и так далее
    - Глава 16. Сверхзадача
    - Глава 17. Г-О-О-О-л!
    - Глава 18. Ангел или полюбовница
    - Глава 19. Детище — мираж
    - Глава 20. Посвящение солнцу и небу
    - Глава 21. Наталия Петровна — «мамочка»
    - Глава 22. Иннокентий — невинный
    - Глава 23. Парижские тайны
    - Глава 24. Римские каникулы
    - Глава 25. «Дань»
    - Глава 26. Без иллюзий
    - Глава 27. Приземленное и возвышенное
    - Глава 28. Отправление того поезда…
    - Глава 29. Страсти-мордасти

- 3. Актерский марафон
  - Глава 30. Асино везенье, или «Старый хрен»
  - Глава 31. Таормина — мольто грациэ!
  - Глава 32. Современниковское подполье
  - Глава 33. Эфрос, Оля и Гервасий
  - Глава 34. Как в сказке
  - Глава 35. Малая эйфория на Бронной
  - Глава 36. Диссидентское лето 79-го года
  - Глава 37. Николай Львович
  - Глава 38. Маневры. Мюнхгаузен
  - Глава 39. Доктор Айболит
  - Глава 40. Олимпийские игры
  - Глава 41. «Знакомые» — КГБ, МВД…
  - Глава 42. Кевин
  - Глава 43. Американские горки, русская рулетка
- 4. Америка после Колумба
  - Глава 44. Назад в будущее
  - Глава 45. Итака — пристанище странствующей души
  - Глава 46. Новый Йорк и Нью-Орлеан
  - Глава 47. Туда, не знаю куда
  - Глава 48. Париж — коварный
  - Глава 49. Обо всем…
  - Глава 50. …и ни о чем конкретно…
  - Глава 51. Мое «Il n’ est faut pas»
  - Глава 52. Блудные дети Нью-Йорка
  - Глава 53. Дыхание французского двора
  - Глава 54. Первое возвращение
- 5. Нью-йоркский опыт и эксперимент
  - Глава 55. Мой дом в Нью-Йорке
  - Глава 56. Нью-Йорк — таинственное яблоко
  - Глава 57. Я надкусываю яблоко…
  - Глава 58. Черное и белое
  - Глава 59. Медея и все такое…
  - Глава 60. Аспен
  - Глава 61. Вивиан
  - Глава 62. Одна ночь в феврале
  - Глава 63. Солнце — это в Голливуде
  - Глава 64. Борщ и «кровавая Мэри»
  - Глава 65 Терапия. О Боге и Вселенной
  - Глава 66. Бродский
- 6. Восток есть Восток
  - Глава 67. Как предсказано… и остров, и…
  - Глава 68. Печаль

- Глава 69. Калифорния
- Глава 70. Виртуальный мужчина
- Глава 71. Креветки
- Глава 72. Шофер и повар…
- Глава 73. По кочкам, по кочкам…
- Глава 74. Настроение в моем стиле
- Глава 75. Московский снег, огромными хлопьями…

○ Иллюстрации
○ Благодарности

Е. А. Коренева Идиотка: Роман-биография

Маме и отцу посвящается

1. Близкие люди

Глава 1. Без названия

Пару лет назад меня пригласил для разговора редактор одного из московских издательств: он предлагал написать книгу воспоминаний. «Мемуары нарасхват!» — подсказал он. Я знала об этом, более того, по возвращении из Америки приятель-фотограф Саша Самойлов уговаривал: «Напиши книгу — это самое ценное, что сегодня ты можешь сделать». Мысль о книге мне понравилась, но не хватало какого-то толчка, повода. «Почему сейчас? — думала я. — Может, рано? Ведь воспоминания ассоциируются с подведением итогов. Буду стоять на одной полке со всем Театром киноактера, Союзом кинематографистов, не говоря уже о Союзе писателей: все хором, вдруг, что-то вспомнили…» Но на встречу с редактором пошла. Он сказал: «Нам нужно что-нибудь поскандальнее, Елена Алексеевна! Понимаете, все пишут, как ходили в школу, в институт, женились, — если так продолжится дальше, то нашей серии придет конец». Я задумалась о его заказе и через паузу ответила: «Наверное, можно и скандальное». Он явно повеселел: «А что может быть скандального в вашей книге?» Я принялась мысленно перебирать самые «запретные» темы своей биографии. Да нет — с них давно уже было снято табу в западном мире, но в России откровения подобного рода еще были не в ходу, по крайней мере из уст популярных актеров. «Что бы ему сказать, — торопливо соображала я, — а вдруг он меня провоцирует, может, он и не редактор вовсе, а маньяк какой-нибудь?» Мы сидели с редактором в кафетерии Дома кино, и гул голосов за соседними столиками совсем не располагал к исповедальному тону. «Ну, например, — начала я, нервно сглатывая, — меня преследовало КГБ до отъезда в США…». Не договорив, я испуганно замерла. Редактору данное обстоятельство моей жизни показалось малоинтересным. «А кого, скажите, оно не преследовало…» — досадливо отмахнулся он. Спустя еще две чашки чая я заявила, что хотела бы написать книгу самостоятельно, вместо того чтобы надиктовывать ее литературному соавтору. (Я любила писать. Как-то пришел к нам в дом актер из Калинина, Петька Колбасин, и мы с ним стали на спор сочинять рассказ о семечке… Я, кажется, в восьмом классе училась. Тогда-то все и началось.) Редактор как-то сразу заскучал и, перейдя на «ты», заметил: «Попробуй сначала написать хотя бы пару глав, а там будет видно!» Распрощался он уже совсем вяло, а

я и вовсе отложила писательские амбиции в долгий ящик.

Прошло еще полгода. У меня произошел конфликт с известной молодежной газетой из-за публикации моего интервью. Еще до выхода материала в печать я пыталась оспорить название как вмешательство в мою личную жизнь. Мне пообещали изменить заголовок, а потом обманули. Но более всего меня возмутила беседа с корреспонденткой и та хитрость, к которой она прибегла, дабы интервью вышло в свет без моей редакции. После опубликования этой «дружеской» беседы, которая скорее напоминала список моих любовных связей, нежели обещанный изначально разговор о творческих планах, я отправилась к главному редактору газеты. «Напечатайте мое открытое письмо, невозможно, чтобы корреспонденты так разговаривали с актерами». Он выслушал меня, отечески улыбаясь, а затем признался: «Мы сами просим наших работников подперчивать материал — этого требует время! А эту корреспондентку мы считаем талантливой, она…» Тут он сжал кулак, демонстрируя, очевидно, в чем заключаются ее способности. Мое воображение тут же нарисовало картинку: «талантливая» корреспондентка получает от «главного» медаль за храбрость после очередного нокаута, в который она послала опешившего актера. Несмотря на обильные заверения, письмо мое так и не было опубликовано. Попытки высказаться на эту тему в других газетных интервью не привели ни к какому результату. Затем названия пошли одно хлеще другого: «Ее первый режиссер был супермужчина!» и все в таком роде. (К слову, моим первым режиссером был мой отец!) А когда вышла в свет книга «Досье на звезд», я с удивлением прочитала подробности своей жизни, о которых никогда не знала. Суммируя многие опубликованные материалы, я поняла, что моя биография становится мифом, небрежно создаваемым другими. Меня уже не спрашивают — мне диктуют: что, когда и почему я делала. А одна дама как-то при встрече воскликнула: «…Такая свеженькая, а мне сказали, что ты повесилась!» В связи с этим вспоминаю эпизод, случившийся с мужем моей старшей сестры, мужчиной преклонного возраста. «Паша, ты же давно умер!» — такими словами приветствовал его приятель, которого он не видел много лет. «В таком случае — ты тоже!» — отпарировал мой родственник, по профессии литератор.

Газетчики тем временем подталкивают сделать очередной шаг: «Коренева опять учится. Что еще выкинет эта любительница эксцентрики?» «Так пусть „она“ напишет воспоминания», — говорю я себе. Тем более что как-то загадала: напишу книгу и сниму фильм! Теперь не отвертишься.

Глава 2. Одна из версий

«Только не начинай книгу со слов „я родилась“, — подсказывали друзья, — и вообще, не начинай рассказ с детства, это слишком банально». Я с ними соглашалась: воспоминания не обязательно должны следовать жизненной хронологии. Можно, к примеру, вести повествование от сегодняшнего дня, в обратном порядке. Тогда вступительная глава звучала бы так «Четвертого октября, отпраздновав накануне далеко не первый свой день рождения, я уселась наконец за печатную машинку. Раздавшийся тут же звонок телефона оторвал от работы. „Тьфу ты, я так никогда не закончу“, — раздраженно брякнула я и, сменив интонацию, ответила в трубку: „Я вас слушаю“. Женский голос предлагал приехать на „Мосфильм“ для разговора о съемках в телесериале. Н-да… дела… Ведь только на днях задавала себе вопрос: почему не зовут в сериалы? И успокаивалась при мысли, что наши сериалы… Одним словом — хорошо, что не зовут. А тут позвали, и я согласилась. Какие же мы все однако. „Эй, слышишь, мне предложили работу!“ — крикнула я Андрею, который смотрел в соседней комнате свою любимую передачу „Дорожный патруль“».

Да, пожалуй, такое начало звучит неплохо… Я мысленно представляю свою жизнь в виде кинематографического сюжета, состоящего из множества эпизодов, и вдруг понимаю, что все в ней взаимосвязано. Каждый последующий шаг вытекает из предыдущего, и то, что я являю собой сейчас, — следствие всего, что было прежде. Значит, я неизбежно должна вернуться к началу своей памяти. И, как у всех, она уходит в детство, а точнее — к рассказам родителей. «Было солнечное октябрьское утро, мы принесли тебя из роддома и сказали твоей старшей сестренке: „А ну угадай, что мама с папой тебе сейчас подарят? Ты нас давно об этом просила“. И она взвизгнула, захлопав в ладоши: „Это попугай?“»

Итак: «Я родилась…» — и все тут. А что, если попробовать начать еще раньше? Напрягаю все силы и пытаюсь представить что-нибудь из утробного периода… Увы, безуспешно. Почему-то я всегда испытывала дискомфорт от невозможности вспомнить себя до рождения, тем более если будет продолжение — белое пятно в конце тоннеля… Как-то раз мне в руки попала книга «Прошлые жизни». Здесь я обнаружила целый ряд упражнений по выявлению своего прежнего образа. Основной принцип сводился к следующему: сейчас мы занимаемся тем, чего нам недоставало раньше, и, наоборот, отталкиваем то, что прежде имелось в изобилии. Ну, скажем, если вы были заядлым рыболовом или

мореплавателем в средние века, то теперь смотреть не можете на удочку и у вас морская болезнь. В то же время любовь к определенным эпохам, географическим точкам, а также предпочтения в одежде, оговорки, привычки, которым, казалось, нет объяснения, могут быть атрибутами далекого прошлого. Вооружившись руководством, я принялась исследовать свои симпатии и антипатии. Получалось, что я была когда-то многодетной матерью, женой деспотичного мужа, вела домашний образ жизни — ибо теперь не имею семьи, много путешествую и всячески борюсь за независимость от мужского авторитета. Можно также предположить, что я жила в Египте: меня всегда привлекала египетская символика. Играя Клеопатру в телевизионном спектакле по пьесе Бернарда Шоу, я чувствовала себя вполне в своей тарелке. Не исключено также, что когда-то я была мужчиной — если порой мысленно сбиваюсь на мужской род: «Я сделал, я пошел». И уж совсем невероятное: в прошлой жизни я могла быть котом — непременно короткошерстным, с примесью восточной крови (недаром я устанавливаю с ними исключительно человеческие отношения). В таком случае книга воспоминаний начиналась бы так: «Кошачья жизнь была исполнена сладких мгновений — меня чесали за ухом, поили молоком, а я в благодарность за ласку приносил в дом полевых мышек…» Мой кот был счастлив до тех пор, пока хозяин не бросил его из-за внезапного отъезда в загранкомандировку. (А все говорят: «Вы ответственны за тех, кого приручили!») Как только за хозяином захлопнулась дверь, кот сиганул вниз с пятого этажа, подведя тем самым черту под своей кошачьей жизнью. Но это был отнюдь не конец… Отбросив хвост и уши, он пребывал в бесконечном полете, прежде чем исполнилась его мечта. Он родился вновь, на этот раз — человеком, женщиной, в России. С новым обликом и стилем жизни он свыкся не сразу. Особенно трудно было ходить на каблуках. А временами так хотелось свернуться калачиком в какой-нибудь уютной гостиной, что даже кошки на душе скребли. Однако не обошлось и без преимуществ — теперь можно было излить чувства на бумаге. Что он, а точнее, она и сделала, рассказав и о молоке, и о мышах, и о прыжке с пятого этажа.

Чем не начало главы? Признаюсь, радостно предполагать, что нашему рождению предшествует целый ряд самых невероятных появлений на свет. Многосерийный фильм, в котором мы сыграли все возможные роли. Но вот досада: я никак не могу вспомнить хотя бы одну из своих предыдущих жизней. А если в памяти и всплывают фрагменты моего вероятного далекого прошлого, то я путешествую по ним, как сомнамбула, лишенная чувств. Меня

путает мысль, что если я забыла прежние жизни, то, следовательно, забуду и эту. В таком случае продолжение не имеет никакого смысла… Поворачивать время вспять — безумная затея. В ней есть одна только ценность: назначить встречу тому, что мы любили.

Глава 3. Уши Иорданского

«Ты появилась на свет с одним прищуренным глазом, черными волосами, расплывающейся во все стороны физиономией — лукавой и что-то затаившей» — так говорит моя мама. «А уши? — напоминаю я ей. — Расскажи про мои уши!» Мама тут же подхватывает: *«А* уши у тебя очень похожи на уши Володи Иорданского, помнишь, он подарил вам с Машенькой альбом африканской графики?» Я киваю, предвкушая рассказ о том, как папа ревновал маму к их другу, и мои уши играли в этом не последнюю роль. «Мы жили в Вильнюсе, — объясняет мама, — папа работал там на киностудии, я уже была беременна тобой, сидела дома. К нам часто заходил Володя — я ему нравилась, и он мне тоже». Вдруг она прерывает свое повествование, словно спохватившись: «Но, девочки, я очень любила папу, вы же знаете — это любовь с пятого класса! Он написал мне записку: „Константинова, я тебя люблю“». — «Это мы знаем, ну а дальше, дальше!» — нетерпеливо перебиваю я ее. Она продолжает: «Ну, и когда ты родилась и мы увидели твои уши, то папа сначала расстроился, но потом успокоился». — «Так, может, я от Иорданского?!» — визжу я от удовольствия, подливая масла в огонь. Мама хватается за сердце и произносит с расстановкой: «Ну что ты, доченька! Ты от папы — посмотри, как ты на него похожа». — «Похожа, похожа! — повторяют все вокруг. — Ленка, ты вылитый отец». Я и сама знаю, что я — вылитый отец: и нос, и улыбка, и то, как я сижу, скрутив ноги «восьмеркой». Но я продолжаю подталкивать маму к рассказу о моем зачатии в надежде раскопать что-нибудь эдакое: «Мамусь, ты же говорила, что обнаружила беременность чуть ли не на шестом месяце… А может, я — непорочное зачатие? Или от „золотого дождя“?» — «Ну, скажем, не на шестом, только на третьем, а потом…» И она начинает описывать в деталях, как все было. Обрадовавшись, что со мной все как-то по особенному, я не унимаюсь: «Ну Машку-то вы зачали в кукурузе?» — «В кукурузе!» — сладко подтверждает мама. «Ну вот, а меня неизвестно где и как». Тут вступается Машка: «Ты детдомовская, детдомовская, а я — мамочкина и папочкина!» — «Вредная ты, Машка!» — обижаюсь я на сестру. «Я вредная?! — Она делает свою гримасу удивления, тараща на меня

глаза. — Это кто у нас жестокая девочка, кто бросил мамочку и папочку и уехал в Америку? Кто бил меня ногами, когда я просто с тобой играла?» Перепалка разворачивается по давно известному нам обеим сценарию. Предчувствуя скорую развязку, Машка заключает: «Да обыкновенная ты, Лен, как все!» Удар достигает своей цели — последние слова сестры сражают меня наповал, и я почти реву. Но вскоре, улучив минутку, когда сестра не слышит, я продолжаю шепотом: «Но ведь я была у вас четвертой, Машка третьей, а первые мальчик и девочка умерли при родах, запутавшись в пуповине, так?» Мама кивает в знак согласия, а я развиваю «любимую» тему дальше: «Значит, если бы первые не умерли, то вы бы не родили нас? Ну Машку бы вы, может, и родили, а вот меня навряд ли… Я случайно появилась на свет!» — вздыхаю я облегченно, доказав себе и другим то, что хотела. Мама молчит в поисках контраргументов, но потом решается: «Нет, доченька, мы бы все равно тебя родили. Ведь все в жизни не просто так, а имеет свой тайный смысл. И то, что мои первые дети умерли, нельзя назвать случайностью — значит, вы должны были появиться на свет».

Мое представление о семье, в которой я рождена, было связано с тремя истинами, усвоенными еще в детстве.

Первая истина: мама с папой любят друг друга, мы четверо — счастливая семья. Родительская любовь стала для нас с сестрой своеобразным культом, мы даже сочинили клятву: «Честное мамочкинское, честное папочкинское». То и дело терзали друг друга, требуя дать «ту самую», кристально чистую, самую непогрешимую, самую страшную клятву.

Вторая истина: мой папа кинорежиссер. Это объясняло появление в доме необычных гостей — актеров, художников, операторов. А также особенности нашего образа жизни. Если папа возвращался под утро с воздушными шарами в руке, усыпанный с ног до головы цветным конфетти, значит, он работал «вторым» на съемке «Карнавальной ночи» у Эльдара Рязанова. Если, случалось, нас с сестрой не пускали в комнату, а папа там сидел на полу с игрушками, значит, у нас снимался кукольный мультфильм. Из всего вытекало, что режиссер — профессия особенная. И редкая: у папы часто не было работы, он сидел дома, а называлось это — простоем. Папино сидение дома выражалось в хождении по комнате в шлепанцах: он сочинял сценарий будущего фильма. Как-то раз за его тапкой увязались два маленьких цыпленка, купленных мной и сестрой в зоомагазине. Они приняли тапку за курицу и семенили крохотными лапками по паркету туда-сюда. К сожалению, цыплятам не суждено было опериться, так как одного раздавила случайно севшая на него

бабушка, а второй умер от тоски по первому. Папино хождение по комнате сменялось стрекотом его печатной машинки. А для меня она превратилась в предмет особой важности, что-то вроде фетиша. Играя в «пожар в доме», я давала себе задание спасти самое ценное, что у нас есть. На счет «три» я неизменно хватала печатную машинку и выбегала с ней из квартиры.

Третья усвоенная мной истина, возможно, была следствием второй или чего-то еще, недоступного моему пониманию, но я знала: у папы с мамой постоянно нет денег. Они часто садились по вечерам на кухне и начинали разговор о завтрашнем дне с фразы: «Как жить дальше?» Этот вопрос был неотделим от образа моих родителей и их сидения друг напротив друга. Что вызывало у меня и сестры условный рефлекс: не надо им мешать — у них «как жить дальше». Это «какжитьдальше» случалось с периодичностью раз в неделю, а значит — с нашей точки зрения — мы счастливая семья. У нас все идет как надо!

Глава 4. Действующие лица:

Алексей, Марусенька, Шура

Папу было всегда немного жалко. Помню, возвращаясь как-то из школы, я еще издалека увидела возле нашего дома толпу — все стояли задрав головы вверх. Приблизившись, я заметила тощую мужскую фигуру, которая балансировала между балконами четвертого и третьего этажей. С ужасом я распознала в ней отца. Потеряв ключ от квартиры, он принял волевое решение попасть в родные апартаменты с улицы. «Алеша, давай смелее!» — подбадривали его соседи наподобие футбольных болельщиков. У меня защемило сердце: «Папочка, не сорвись, осторожней, папочка!» — заговаривала я его шепотом. Все обошлось, папа вышел из схватки победителем, и я считала его героем. Но в другой раз, под Новый год, мы остались без елки. Это была грустная история о том, как папа купил рождественское дерево, нес его домой, и тут к нему пристали двое. Папа смело сражался, но был избит, и елку у него украли! А еще я подглядела однажды, как папа лежал на диване и плакал. Он закрыл лицо подушкой, но все равно было слышно. Это случилось только раз и оттого так врезалось в память. Я знала, что мужчины никогда не плачут: меня учил этому мой отец.

Было жалко и маму. Особенно когда ей вызывали «неотложку», после того как отсидевшая бабушка — ее мать — хлопала входной дверью с криком: «Зачем я сюда вернулась!» А

бабушку было жалко за то, что она сидела.

Но все-таки папу почему-то мне было жалко больше всех… Из-за того, что он всегда что-то мучительно сочинял «в стол» или «в корзину». И что его первую картину, «Черноморочку», снятую на Одесской киностудии, разнесли в печати за буржуазную легкомысленность, а потом не выпускали на экран. А вторую, «Урок литературы», по рассказу Виктории Токаревой «День без вранья», положили «на полку» как идеологически вредную. «Что значит „день без вранья“ — остальные разве с враньем?» — задавали риторические вопросы начальники, и название пришлось изменить. Позднее он получит признание, сняв народные хиты «Большая перемена» и «По семейным обстоятельствам». И все же неудачи в начале творческой карьеры поселят в нем разочарование и неуверенность в себе. Никогда не идя на компромиссы с совестью, он тем не менее будет чувствовать зависимость от людей, давших ему снять очередную картину. И эта внутренняя позиция будет вредить ему, заставляя порой делать выбор против собственной воли. Подобную уступчивость, как он и сам понимал, экран не прощает. Долгое время не являясь членом Союза кинематографистов, папа говорил с легким придыханием о той чести, которая выпала некоторым счастливцам. Помню, во время какого-то просмотра он прогуливался со мной по холлам Дома кино и говорил с восторгом: «Смотри, дочь, эти люди — цвет нашего кинематографа!» Сам он никогда не претендовал на почести, привыкнув быть человеком второго плана.

Он так никогда и не узнает, что его картины, некогда запрещенные, сегодня крутятся по телевидению, — так и умрет, веря в то, что они смыты, как ему сказали в Госкино.

Однажды папа признался маме, что, когда начнет зарабатывать приличные деньги, станет пить — так он предчувствовал свою слабость. «Приличные» деньги он так и не заработал, хотя бы потому, что постановочные уходили на раздачу долгов, но пить все-таки начал. Многие годы это было тем самым веселым питием, которое принято в киношной среде, и только в конце жизни стало окрашиваться в мрачные тона.

По мнению его родителей, отец совершил непоправимую ошибку, выбрав профессию кинорежиссера. Его прочили в военно-морские инженеры, а кино, на их взгляд, было делом несолидным. Они выражали мнение типичных обывателей, какими и являлись. Впрочем, оба были не без характера. Папина мать, «строгая Марусенька», как называл ее дедушка, была статной женщиной, с гордым красивым лицом, длинным носом и выпуклой родинкой на лбу. Она увлекалась рукоделием и

футболом: бросала все дела и просила ей не мешать, когда играл «Спартак». Всю жизнь одергивала мужа Шуру и несла крест его легкомысленного характера. Это было справедливо только отчасти, если учесть, что дед вкалывал и кормил все семейство, в том числе и нас. А справедливо потому, что Шура — обходительный и сероглазый, в молодости напоминавший Рузвельта, — в любую минуту был готов сделать комплимент хорошенькой женщине. Он всегда улыбался, любил по старой гимназической привычке процитировать эпиграмму, увлекался городом Сочи и фотографией. Благодаря ему каждый наш шаг задокументирован поэтапно, начиная с беззубых улыбок на Гоголевском бульваре и заканчивая ироничными взглядами честолюбивой молодости. По тем временам они считались зажиточной семьей — получали пайки от Мосгорсовнархоза, где Шура служил начальником финансового отдела (что равносильно нынешнему министру финансов). Внуков они баловали — отправляли в блатные пионерские лагеря или брали с собой в блатной дом отдыха. Моих родителей не уставали порицать за безалаберность: «Алексей был таким хорошим мальчиком, на пятерки учился… Как так получилось…» — вздыхала его мать. Она имела в виду, что получилась «богема» со всеми вытекающими из этого последствиями. Ее утешало то, что старшая дочь, красавица Галина, имела образцовую семью. Ее муж Гриша оказался настоящим мужчиной: косая сажень в плечах, умный, добрый, непьющий, хороший семьянин, — и этот брак при первой возможности ставили в пример. А Алеше снова не повезло — женился на дочери репрессированных, да и родились у него не мальчики, а девочки!

Несмотря на обилие родственников, дедушкину родословную с трудом удается проследить. Пока он был жив, я не интересовалась генеалогическим древом, а теперь некого расспросить. И даже родня, собираясь на редкие юбилеи, никак не может прийти к единому мнению, кто есть кто. Это понятно, так как долгие годы люди скрывали свою подлинную биографию: о чем-то говорили по секрету, шепотом или просто молчали. О семейном далеком прошлом свидетельствуют только крохи. Серебряная ложка с инициалами И. С. — Иван Соболев… Портрет этого загадочного родственника, купца, прославившегося в округе своими лавками и виноторговлей, висит в Ярославском музее. (С трудом представляю себя розовощекой купчихой, пьющей чай с сахаром в прикуску, как на полотнах Кустодиева, — разве что бледной и испуганной Катериной из Островского.) Еще одна реликвия — дневник прадеда, гимназиста пятого класса, Алексея Коренева: закон Божий — 4, логика — 3, греческий — 3. Из

троечника в конце концов получился весьма уважаемый чиновник городской управы. Вот и открытка с вензелем — приглашение на свадьбу дедушкиной матери Елене Константиновны в имение ее брата Дмитрия Константиновича, «в сельцо Подберезное». Пожелтевшие фотографии нарядных людей, старинный дом под городом Тутаевом, бывшим Романовом (в конце 30-х дом сожгли местные крестьяне). Картина в рамке, с дыркой посередине, что висела у деда над письменным столом. На ней изображена тенистая аллея — в летней усадьбе, Усоевке, — здесь все маленькие Кореневы (мои дяди и тети) играли в пятнашки и горелки. А также полусказка-полубыль, рассказываемая на всех семейных торжествах захмелевшей родней, — о том, что некий помещик (шепотом говорится: «Майков, тот самый, а может, и не он…») соблазнил свою горничную, и она от него понесла. Тогда он выдал ее за крепостного, дал им вольную и денег в придачу. Бывший крепостной Соболев вложил деньги в прибыльное дело, что позволило ему со временем превратиться в купца первой гильдии. А тот самый ребенок, зачатый крепостной от помещика, якобы и стал одним из прародителей многолюдного семейства.

Такова родословная моей прабабки, Елены Константиновны Соболевой. Линия же Кореневых на прадеде обрывается, но я надеюсь рано или поздно ее восстановить при помощи архивов. А Марусенькина семейная история также теряется в дымке недоговоренностей: некогда богатый московский дом, разорившийся и прекративший существование. Отец бабушки, Алексей Ремин, был владельцем нескольких магазинов в Москве (за это ее прозвали Машкой-шпротницей), жил припеваючи, как вдруг судьба резко переменилась к нему: внезапно умерла его молодая жена, и он пустился во все тяжкие, промотав состояние на водку и азартные игры… Следствие этого — трудовая юность его маленьких дочек: старшей Маши и младшей Веры… Типичная история то ли бывшей купчихи, то ли разорившейся дворянки, а скорее всего — мещанки, превратившейся в служащую…

Наташа, Мария Рафаиловна, Андрей Андреевич

Моя голубоглазая мама оказалась выносливее папы. Несмотря на то что обстоятельства ее детства были куда более драматичными. В четыре года она осталась без отца, его арестовали. А когда ей исполнилось шесть, забрали ее мать. Она запомнила на всю жизнь, как стояла в детской кроватке и спрашивала незнакомых людей: «Куда вы уводите маму? Она же хорошая…»

Мамин отец — Андрей Андреевич Константинов — родом из Сибири. Происходил из семьи заключенного — его отец имел «волчий» билет (такой выдавали отсидевшим срок, чтобы ограничивать место их пребывания и службы). Мать, Ольга Харитоновна, работала учительницей. Сам он был по образованию историком, владел иностранными языками. Об этом свидетельствуют оставшиеся у нас старые книжечки из букинистического на английском и французском языках, помеченные его рукой. В начале 20-х он переехал в Москву и поступил журналистом в редакцию газеты «Правда» и в «Крестьянскую газету». С приходом к власти Сталина поддержал троцкистско-зиновьевскую оппозицию, а в 1929-м был посажен по статье 58–10 за контрреволюционную деятельность. Об аресте узнал, стоя на сцене, во время выступления с речью. Это было в Ленинграде, куда он отправился по делам газеты. Бабушка рассказывала, что провожала его в ту командировку как в последний раз — было предчувствие. В 1937-м его расстреляли.

Мамина мать — Мария Рафаиловна Соркина — отбыла в заключении в общей сложности двадцать два года. Она сидела в Бутырке и в Ярославском изоляторе, была в ссылке в Оренбурге, на Колыме и в Мордовии. Март 1953-го положил конец ее скитаниям, она вернулась в Москву. После возвращения во время очередного оформления документов ей присвоили фамилию Сорокина, сославшись на то, что Соркиных не бывает. О своей жизни «там» и о «тех» годах она рассказывала редко и неохотно, как будто на памяти ее висела табличка: «Посторонним вход воспрещен». И все же вот два эпизода из ее воспоминаний.

В одной из тюрем, где бабушка сидела, в камере появлялась крыса. Она приходила каждый день, останавливалась в нескольких шагах от человека, внимательно смотрела ему в глаза и насмотревшись, уползала до следующего раза. Вначале появление крысы приводило в ужас, но так как она оказалась безобидной, то к ней привыкли и даже с нетерпением ждали ее появления: все-таки компания! Впоследствии из рассказов других очевидцев бабушка узнала, что эта крыса поддерживала своим молчаливым присутствием целое поколение заключенных. Ей бы орден дать — за особые заслуги перед Отечеством!

И еще… С момента бабушкиного ареста она не видела мужа и не знала, где он отбывает срок. И вот в одной из камер на стене она обнаружила надпись: «Ты обойден наградой, позабудь! Печальный ветер в вечной книге жизни мог и не ту страницу повернуть…» У каждого человека есть фраза или изречение, которое он часто цитирует. Оно становится его девизом. У Андрея Андреевича любимыми были строки Омара Хайяма — те самые,

которые бабушка увидела на стене. Никто не может подтвердить, были они написаны рукой ее мужа или кем-нибудь другим. Однако подобные совпадения люди скорее относят к знакам судьбы, нежели к случайностям.

При освобождении врач, осмотревший бабушку, ее «обнадежил»: «Лет пять проживете». (В лагере ей удалили зубы, заменив их вставными, — на случай возможной цинги. А также кое-что из женских детородных органов — впрок, чтоб не возиться с воспалениями. Общее состояние организма было зафиксировано как дистрофия.) Но врач ошибся: Мария Рафаиловна выдержала еще 35 суетливых лет. Характер у нее был стоический: упрямая, воинственно честная и… идейная. Она всю жизнь курила, жила аскетично, на пределе человеческих возможностей. Моих родителей, да и нас с сестрой, считала чересчур легкомысленными, называла обывателями и антисемитами. Будучи еврейкой по паспорту и по факту, она вспоминала о своих национальных корнях только в те моменты, когда над идеей всеобщего братства и справедливости, за которую она страдала в лагерях, нависала угроза. С такой же отчаянной смелостью она могла, если потребуется, отстаивать права татар или просто любых обиженных. Во всем остальном бабушка была типичной представительницей своего поколения и круга.

Она закончила гимназию в Павловом Посаде, затем поступила в Московский университет, подавала надежды в науке. Благодаря своей грамотности и сообразительности, еще студенткой она начала работать в издательстве, после чего попала в политику. Я как-то спросила ее, зачем она променяла науку на такое неблагородное дело, как политика. Ведь из-за этого пострадала семья — бабушка оставила маму одну. Она не сразу ответила: долго смотрела на меня ставшими вдруг огромными глазами, на которых медленно выступали слезы. Потом только произнесла: «Сама не понимаешь, о чем спрашиваешь. Ничего, потом поймешь! Когда жизнь переворачивается, выбора нет — делаешь то, чего не можешь не делать». Никогда не прощу себе собственную глупость, ведь на подобные вопросы не существует ответа.

После ареста родителей маму взяла к себе бабушкина сестра, Стелла. Ее семья состояла из мужа Соломона и дочери Мэлены (аббревиатура от Маркса, Энгельса, Ленина). Мэлена, или попросту — Елена, была старше мамы на год. Взрослые строго наказали маленькой Наташе (моей маме) не говорить о посаженных родителях, а все фотографии ее отца, Андрея Андреевича, были уничтожены.

Самой колоритной фигурой маминого нового семейства был ее дядя, Соломон Ильич. Профессор философии, читавший лекции во ВГИКе, он постоянно пребывал в задумчивости и был очень рассеян.

Котят, взобравшихся к нему на плечо, брал только бумажной салфеткой, а детские безобразия объяснял по-научному: «Не нужно их останавливать, пусть расшвыривают вещи, это очень важно для развития — они же познают пространство!» Неудивительно, что в квартире, заполненной огромными фолиантами, где царил дух философии, маме на голову упала не алюминиевая кастрюля, а огромный том Канта.

Студенты ВГИКа, часто посещавшие профессора, на самом деле приходили посмотреть на красивых девочек, Елену и Наташу (среди них был небезызвестный Эльдар Рязанов, сдававший «хвосты» Соломону Ильичу). Они-то и принесли в дом бациллу кинематографа, которой мама в свою очередь заразит своего юного ухажера Алешу Коренева, моего отца. И все же мама никогда не забудет, что была дочерью «врагов народа». Она навсегда останется робкой, непритязательной женщиной с необъяснимым чувством вины перед всеми.

Спустя много лет, году в 1970-м, знакомые обнаружили старую фотографию — групповой портрет работников газеты «Правда», сделанный по случаю десятилетнего юбилея. На ней среди таких людей, как Лариса Рейснер, Мария Ульянова, Николай Бухарин, Михаил Кольцов, есть и мой дедушка, Андрей Андреевич. Помню тот день — в руках у меня фотография, бабушка не может сдержать волнения: «Ну, ищи своего деда!» Я тыкаю пальцем в одного, другого, не могу угадать. Наконец мне указывают на молодого улыбающегося мужчину, и я впиваюсь в него глазами. Потом часто буду разглядывать его портрет, единственный из уцелевших, пытаясь представить, о чем он думал в тот момент, улыбаясь фотографу. И еще о том, как его расстреливали… Однажды мне приснилась эта сцена. В последний момент дедушка раскидывает в стороны руки, медленно-медленно, и уже на выдохе или вздохе протягивает: «Эх!!!» Э — ээээээээээх!.. Между той улыбкой на фотографии и этим «Эх!» он что-то сделал такое, за что его в конце концов уничтожили.

Мы точно не знаем, где это произошло. Получили две повестки, указывающие на разные места. Посмертно он был реабилитирован. Несколько фраз на листке бумаги: «За отсутствием состава преступления…» Э-ээээээхххх… От этих бумажек можно упасть в обморок.

Моя драгоценная бабушка выстояла, как и многие из тех, кто

прошел ее путь. Сильным людям выпадают испытания под стать. Хотя годы, проведенные в лагерях и ссылках, не могли не сказаться на ее характере. Она мгновенно взвинчивалась, доходила до крика, отстаивая свою точку зрения. И каждый раз было ощущение, что речь идет о мировой катастрофе, даже при решении вопроса, ехать ли нам городским транспортом или на такси. Она категорически отказывалась ездить на такси! Было много трагикомичного в ней, если учесть, что она была еще и очень маленькой, миниатюрной женщиной. Это несоответствие роста и темперамента, в котором я узнаю свои черты, было подчас уморительно. Для друзей моих родителей Мария Рафаиловна являлась магнитом, ударным номером любого застолья. Она часто рассуждала на политические темы, без которых не обходился ни один московский дом, тем более «богемный». В один из таких вечеров гости долго обсуждали положение в стране, и, раскритиковав окончательно все, кто-то спросил ее мнение: «Подскажите, что делать?» Без секунды промедления она ответила: «Уходить в подполье!» Что еще мог предложить опытный борец, истинный коммунист? Однако она была совсем иной коммунисткой. По возвращении из ссылки ей предложили восстановиться в партии, вернуть отобранный партбилет, что означало надбавку к пенсии и всяческие привилегии. Она отказалась, сказав, что «не в эту партию вступала…».

Глава 5. Групповой портрет

Таково мое семейное пространство, таковы характеры, его населяющие. Все, как положено в хорошей пьесе. «Человек-легенда» — мамин отец, мой расстрелянный дедушка. «Наша совесть» — мамина мать, моя отсидевшая бабушка. «Неприкаянный самоед» — мой папа. «Голубоглазый ангел» — моя мама. «Гимназист Шура» — папин отец, мой дедушка. «Строгая Марусенька» — папина мать, моя бабушка. «Красавица Галина» — папина сестра, моя тетя. «Настоящий мужчина» — Гриша, ее муж, мой дядя. «Дети» — мои двоюродные братья, рыжий и брюнет, ну и мы с сестрой. Теперь представьте всех вместе за праздничным столом, включая семейные пары дедушкиных братьев: дядя Ваня, тетя Лиля, дядя Миша, тетя Нина, дядя Коля, тетя Катя и их дети — Таня, Нина, Юра, Надя, Ира, Гера, Марина, а там и внуки… Предположим, это Первое мая или Седьмое ноября. Хозяйка дома, «строгая Марусенька», одергивает «гимназиста» дедушку, наливающего себе рюмку: «Шура, я сказала?!» Тот, продолжая наливать себе и соседям по

столу, защищается: «Марусенька, ну еще одну, сегодня же праздник!» В ответ слышен глубокий вздох бабушки и ее демонстративный уход на кухню. Муж Галины, «настоящий мужчина» Гриша, рассказывает анекдот, желая разрядить обстановку. После его слов воцаряется гробовая тишина. Все молча жуют — то ли не поняли юмора, то ли игнорируют Гришу, солидаризируясь с бабушкиным уходом на кухню. В итоге Гриша не выдерживает и смеется в одиночку. Все постепенно теплеют, начинают улыбаться: дошло и до них — смешно! «Красавица Галина» приводит с кухни успокоившуюся немного бабушку. Они усаживаются за стол, и теперь Галина наблюдает за очередным наполнением рюмок с нейтральным лицом, облокотившись на спинку стула сидящего рядом мужа: чем закончится на этот раз? Все пытаются заставить что-нибудь съесть «нашу совесть», отсидевшую бабушку — безуспешно. Она просидит весь обед с горсткой зеленого горошка, одной шпротой и ломтиком сыра. Наконец кто-то обращается с вопросом «о кино» к «неприкаянному самоеду» папе: «Ну что, Алеша, снимаешь?» «Не снимаешь?!» «Закрыли?» «Закрывают?» «Могут закрыть?» «Ах, запускают, ну давай, давай… Когда увидим-то?!» «Ангел» мамочка нервничает, стесняется, сидя с краю стола, и часто выходит покурить. Вскоре «гимназист» дедушка тоже хочет покурить. Ему разрешают, но только в туалете. Вернувшись оттуда, он предлагает всем разгадать шараду, которую придумал, пока курил. В ответ его одергивает знакомое: «Шу-р-р-ра!» А в это время «дети», то есть мы вчетвером, наевшись и оставшись незамеченными, ползаем по полу, связывая ножки стульев леской, да так, чтобы она скрипела, раздражая «строгую Марусеньку». Цель нами не достигнута — мы разоблачены, за что получаем сильные затрещины. Одна такая оплеуха как-то погрузила лицо двоюродного брата в дымящуюся манную кашу. Как сейчас вижу его лицо в белой стекающей маске — острое, должно быть, ощущение! Но вот мы собираемся и уходим. Бабушка — «наша совесть» — скандалит, отказывается ехать на такси: «Транжиры, откуда у вас деньги?» В конце концов все едем на метро. Нашим воспитанием каждый из них занимался соответственно своему характеру. Папа объяснил, что «воровать счетные палочки у учителя нельзя», а также что «косить глаза опасно, можно дернуться и остаться косой». Отсидевшая бабушка считала, что танцевать детям при свечах непозволительно, это «пробуждает низменные инстинкты». Однажды она продезинфицировала мне рот тройным одеколоном: вернувшись с прогулки, я сняла мокрую галошу и, заглядевшись на такую красоту, лизнула ее языком. (Каждой бабушке по достойной ее внучке!) «Гимназист»

дедушка цитировал «Евгения Онегина» и Ключевского. «Строгая Марусенька» советовала «научиться шить и не балбесничать». Мамочка отвечала на все мои вопросы о целующихся воробьях, а сестре Маше объясняла, когда та играла «во врача», что писать «сердцо бецо и серца не беца» неправильно, хоть и красиво.

Обе бабушки, дед и отец уже умерли. «Гимназиста» за день до смерти помыли в ванной, и когда Гриша взял его на руки, чтобы донести до постели, дед запел «Гаудеамус игитур» — знаменитый гимн студентов. Бабушка «Марусенька», его жена, умерла на десять лет позже. Все вздыхала о «Шуре», лежа на диване, повторяла: «Какой хороший был человек, что я без него?» Бабуля, «наша совесть», умирая, подняла правую руку и сжала кулак — так ее и держала, пока были силы, сказав: «Умирают только раз!» Папа… О папе потом.

Глава 6. Неореализм по-русски

Что волчьему — звериному,
а что людскому — слабейшему дитю
всегда из дома холодно,
а в дом — всегда тепло!

Кто-то сказал, что человек — это его пейзаж. То есть все, что нас окружает, и есть часть нашего существа, и наоборот. Потому, наверное, в отсутствие самого хозяина нас так притягивают дома и улицы, принимающие его черты.

Нашим первым семейным приютом стал дом на Гоголевском бульваре. Огромная пятикомнатная квартира когда-то принадлежала папиному деду, его тезке — Алексею Александровичу Кореневу, служившему в городской управе. Про него рассказывают, что в старости он заболел раком и ему пришлось ампутировать язык. Сломавшие как-то раз дверной замок воры столкнулись лоб в лоб с «привидением» — мычавший старец в исподнем белье отчаянно жестикулировал. Потрясение грабителей было настолько велико, что они тут же бросились наутек, забыв, зачем приходили. После смерти старика квартиру заняла вся его многочисленная родня. Но дом, как и его почивший хозяин, тоже был немолод и требовал ремонта. В комнате, где расположилась наша семья, пол покосился, поэтому шкаф приходилось привязывать веревкой за крючок, вбитый в стену. Мебель распределялась по всем углам, чтобы избежать фатального перевеса одной из сторон. Такая обстановка

порождала внезапное перемещение незакрепленных предметов по комнате: раскладушка с моей сестрой, бывало, сползала к моей кровати, начав свой путь накануне вечером от закрепленного шкафа. Не лучше обстояло дело и в туалете — там в полу зияла дыра, позволявшая всем, справлявшим нужду, наблюдать особенности поведения соседей нижнего этажа. Но для детей весь этот хаос был настоящим раем! Мы вчетвером — я с сестрой и двоюродные братья — постоянно гоняли по длинному коридору в поисках «преступников», чертили прямо на обоях «план местности», а когда игра заканчивалась триумфом, пели, подпрыгивая на резиновых мячах: «Я сижу на лавочке, продаю булавочки, как дам по башке, так уедешь на горшке!» В конце концов всех из дома выселили в связи с аварийным состоянием жилища. Дом, правда, и теперь стоит в конце бульвара, с правой стороны, если спускаться к Кропоткинской.

Наше второе обиталище было на улице Веснина, напротив итальянского посольства. Когда только что отстроенный дом заселялся, мимо проходила актриса театра имени Вахтангова Цецилия Мансурова, жившая неподалеку на улице Щукина. Увидев людей, заносивших в подъезд мебель и всякую утварь, она вдруг разразилась речью, театрально воздев к небу руки: «Дорогие мои, вы въезжаете в такой замечательный дом, будьте же в нем счастливы!» И пошла дальше. Воистину большая актриса — великая душа. Кому еще придет в голову благословлять незнакомцев по пути из магазина, скажем, в прачечную?

Квартира наша была хоть и новой, но все еще коммунальной. Делили мы ее с одной татарской семьей. Помню, как подглядывали с сестрой в замочную скважину за молящейся во время Рамадана старенькой тетей Розой. Она сидела на коврике, поджав под себя ноги, бормотала на непонятном языке и клала поклоны, как неваляшка. А папа однажды отличился: поднялся ночью и пошел спасать дочь тети Розы, Софу, которая была на девятом месяце беременности. Тут же выяснилось, что спасать ее не от чего — она спокойно спит возле мужа Бори, а папе просто приснился сон. Легко же он отделался — мог бы и получить от законного супруга по физиономии!

Мои двоюродные братья, по обыкновению, поселились в том же доме. Все мы вместе ходили в один детский сад, а потом пошли в одну школу. Говорят, я все время что-то пела и здоровалась с милиционерами, которых полно в арбатских переулках. Многие годы у меня, взрослой, был беспричинный страх конфликта с властями, возможно, это шло от сидевшей бабушки. Так вот, я заблаговременно начала «умасливать» служителей закона! Итальянское посольство было для нас

постоянным объектом развлечений. Когда там устраивались приемы, мы висели в окнах и наблюдали, как подъезжают машины, из них выгружаются дамы в длинных вечерних платьях и мехах, а за ними — мужчины в смокингах. Иногда эти приемы посещали члены правительства, я запомнила Анастаса Микояна, на него указывали пальцами: «Вон-вон Микоян!» — «Не вижу, какой из них?!» — «Да вон, маленький, черный!» — «Ой, уже зашел в ворота…» Посольство всегда охранялось, и это побудило меня и одного из братьев поставить эксперимент. Заключался он в следующем: оставленную от обеда сардельку, по нашим представлениям напоминающую гранату, мы выбросили в форточку, и она опустилась прямо на проезжей части узенькой улочки, перед носом охранника посольства. Тот осторожно приблизился к ней, склонился и какое-то время изучал, затем к нему присоединился еще один, и они вместе отнесли сардельку на экспертизу. Но и родители мои тоже были не прочь похулиганить, что в конце концов навлекло на нас гнев милиционера.

В тот период они тесно общались с кинематографической четой Сусловых. Миша — замечательный кинооператор, в молодости был очень хорош собой: худощавый брюнет со смуглой кожей и черными, как вакса, кудрями. Он приезжал к нам на мотороллере, и все женщины и дети сбегались на него смотреть, принимая за актера, сыгравшего «человека-амфибию». (Настоящий исполнитель роли, Владимир Коренев — наш однофамилец.) Мишина жена, Ира, была такой же маленькой и большеглазой, как и моя мама, только противоположной «масти» — жгучей брюнеткой. Папа и Миша работали одно время на телевидении и даже сняли вместе несколько короткометражек: «На рассвете», «Этюды», «Прелюды». Эти работы, как и многие предыдущие, не были показаны «за вредность» или еще за что-то в этом роде. Миша привел к нам в дом своих друзей: сценаристов Юру Оветикова и Женю Котова, а также начинающего режиссера Борю Ермолаева. Впоследствии Боря прославится своими медиумическими способностями, про него будут рассказывать, что он может поднимать в воздух горсть риса без помощи рук и делать всякие другие чудеса. Тогда же он увлеченно смотрел футбол по телевизору и нервно грыз ногти. Все они часто приходили в гости, собирались за круглым столом в нашей крохотной комнате и сидели далеко за полночь. А мы с сестрой в это время спали на диване за шкафом, отделявшим наш угол от застолья. Вся обстановка вокруг извещала посетителей о том, что здесь поселились «артисты». Входная дверь была задекорирована черным листом бумаги, на котором, словно марки, были

разбросаны цветные этикетки от винных и коньячных бутылок. Кофейные чашки расписаны в аналогичном абстрактном стиле — треугольники на черном фоне. Подобные шедевры оставляли в память о себе друзья-художники. Как-то раз, перед приездом в дом «неотложки» (у мамы случались сердечные приступы), черная бумага на двери была сорвана. Но ей на смену сестра расписала дверь серой краской (она занималась в художественной школе и подражала старшим товарищам). Приехавшая в очередной раз «неотложка» потребовала в первую очередь перекрасить серую дверь, сказав, что этот цвет способствует депрессии. Кончилось тем, что на дверях в полный рост были изображены апостолы, и тогда вызовы «неотложки» как-то незаметно сошли на нет.

Почти каждая дружеская посиделка сопровождалась пением. Любимыми были «Метель метет, и вся земля в ознобе» Светлова (он сочинил ее в ресторане ЦДЛ прямо на салфетке), «Я люблю шофершу Нинку робко, ей в подарок от меня коробка» неизвестного мне автора, «Не осуждай меня, Прасковья» Исаковского, а также всевозможные романсы от «Гори, гори, моя звезда» до «Он говорил мне: будь ты моею…». Весь репертуар мы с сестрой выучили наизусть, не говоря уже о позах и мимике всех исполнителей. «Сейчас пойдет „Метель“», — шептали мы друг другу, лежа в кровати. «О, это мамуся!» — продолжали мы комментировать звуки, доносящиеся из-за шкафа, например легкое отбивание ритма ладонью по столу. Папа, когда пел, любил режиссировать: расставлял смысловые акценты, заглядывал каждому в глаза и даже поднимал вверх палец на отдельных словах. Иногда он приставал к тем, кто держался скованно: «Сними пиджак, тебе будет удобнее!» Если гость отказывался, он предлагал снова: «Сними, говорю, пиджак, я же вижу, как ты мучаешься!» Чаще всего человек поддавался, а те единицы, которые отказывались, как-то переставали ходить в дом.

Особым случаем считался тот вечер, когда в гостях бывал Игорь — наш двоюродный дядя, приходивший с женой Татьяной. Он владел настоящим певческим тенором, а будучи по профессии дипломатом-международником, хорошо говорил по-английски, пел «Дилайлу», «Зеленые поля» на языке. Пел Игорь и по-итальянски. Ну конечно, искус был велик — спеть итальянскую арию для настоящих итальянцев! Кто-то подстрекнул его, он согласился. Окно, смотрящее на посольство, было тут же распахнуто, и в темной арбатской ночи зазвучала чувственная итальянская мелодия. На следующее утро в квартиру позвонили. На пороге стоял участковый: «Кто такие, почему звучат итальянские песни?» — «Да мы киношники, артисты одним

словом, простите…» — ретировались родители. Ответ был краток: «Нарушаете спокойствие, чтоб в последний раз!»

Я любила, когда у родителей собирались друзья. Старалась, как все дети, посидеть подольше и всячески оттягивала момент укладывания спать. Мой коронный трюк был такой: уже в постели прикинуться голодной и что-нибудь попросить. «Ма-а-мочка!» — тянула я басом. Мама тут же отзывалась: «Что, доченька, ты что-то хочешь?» — «Я хо-чу-у-у…» — тут я срочно придумывала, что же я хочу, и чаще всего просила дать мне «черненького хлебушка с беленьким маслицем». Однажды это чуть не закончилось трагедией. Вместо того чтобы попросить «хлебушка», я стала жаловаться, что у меня болит живот. Мама спрашивала, где точно болит, но я не могла объяснить. Тогда она решила, что грелка, поставленная на живот, — лучшее успокоительное. В том, что я оттягиваю время сна, мама не сомневалась. Вызванный наутро врач потребовал, чтобы меня срочно отвезли в больницу. «Аппендицит», — сказали родителям в приемном покое и попросили не беспокоиться, а завтра справиться насчет предстоящей операции. Встревоженные не на шутку, они вернулись домой и еще раз перезвонили: все ли так, как они поняли? Им сообщили, что операция только что закончилась и прошла успешно. Как выяснилось, меня привезли в тяжелом состоянии, была угроза перитонита, а диагноз — гнойный аппендицит. Если б на полчаса опоздали, кончилось бы летальным исходом. Моя мама не предполагала, что у пятилетнего ребенка может быть аппендицит, а уж грелка в таких случаях противопоказана. С тех пор в семье опасаются грелок и не ставят их — на всякий случай. На меня же, как на ребенка, тот факт, что я перенесла настоящую операцию, оказал ошеломляющее действие. Я долго разглядывала бинт на животе и была на седьмом небе от счастья. Странно, но эта операция стала для меня своеобразным рубежом, я как будто повзрослела, у меня появилось прошлое. Мир раздвоился: тогда и сейчас, до аппендицита и после. Я чувствовала, что моя жизнь наконец началась.

Как-то во время очередной игры с ребятами во дворе ко мне подошла девочка вся в черных кудряшках и предложила с ней дружить. Звали ее Фиорелла, что значит «цветок». Она было итальянкой, ее отец работал в посольстве, там они и жили. С тех пор мы практически не расставались. На самом деле Фиорелла просто влюбилась в меня. Ей было семь, а мне — восемь. Она не могла провести без меня ни дня, всегда поджидала возле дома, зажав в кулаке то жвачку, беленькую и ароматную, то конфетку, в «не нашей» цветной обертке. В подъезде моего дома висел плакат

с портретом Хрущева. Помню, мы стоим против него, тыкаем пальцем, она говорит: «Плохой» — и морщит нос, а я дразню: «Хороший». У Фиореллы была маленькая такса, звали ее Пипа, с ударением на втором слоге, что значит «трубка». Она гуляла с ней перед посольством и, когда та убегала, звала ее на всю улицу: «Пи-па-а-а!»

Я приглашала Фиореллу в гости и однажды, уступив ее просьбам, дала облачиться в свою школьную форму. Надев коричневое платьице и черный фартук с октябрятским значком, она важно прогуливалась по нашей коммуналке, словно была на одном из приемов в посольстве. Побывала и я у нее дома, мне запомнилось изображение Мадонны в углу комнаты и шоколадные конфеты с ликером, которыми угощала ее мать, — и все. Однажды случился казус. Мой папа, вернувшийся с какого-то юбилея, где он переел и перепил, почувствовал себя плохо, его начало тошнить. Мама побежала за тазом, принесла его, подставила и, когда он был полон, вышла в коридор, намереваясь дойти с ним до туалета. В дверь позвонили, мама замешкалась, но открыла, решив, что идут соседи, и обомлела. На пороге стоял высокий худощавый господин. Он говорил с сильным акцентом: «Ви ма-ма де-вочка, я — па-па Фьорелла!» Вся красная со стыда, мама начала что-то лепетать, он понял неловкость момента и, пообещав зайти в другой раз, ушел. Долго переживала мама, однако пришедший в себя на следующее утро папа ее успокоил, сказав, что, в конце концов, итальянцы создали неореализм в кинематографе, и кому как не им принимать жизнь во всех ее земных проявлениях. Об инциденте забыли. А наша дружба с Фиореллой продолжалась. Я впервые почувствовала себя объектом чьей-то любви. До сих пор влюблялась я: в соседских мальчишек или мальчишек в детском саду, даже в режиссера Петра Тодоровского, которому в Одессе, где папа снимал первую картину, я носила цветочки. А тут выбрали меня. Однажды Фиорелла затащила меня в подъезд и, устроившись в закутке лифтера, которого не оказалось на месте, объяснила по секрету, что если снять трусы и посмотреть повнимательнее, то можно обнаружить разные «штучки», и если до них дотронуться, то будет очень приятно. Я поинтересовалась, откуда она это знает, выяснилось, что ее научила этому нянька. Ответ звучал убедительно. Она достала карандаш, и мы попробовали. Было приятно, но ощущение тайны и запрета оказалось еще приятнее — оно щекотало нервы. С того момента мое «прошлое», возникшее после операции аппендицита, пополнилось еще и «тайной» с легким привкусом греха. Жизнь разворачивалась на полную катушку!

Как все итальянцы, Фиорелла была католичкой. Раз в неделю ее водили к священнику. Прогуливаясь как-то возле дома, я увидела вдалеке две женские фигуры — большую и маленькую, — они быстро шли по противоположной стороне улицы мне навстречу. Поравнявшись с ними, я узнала в девочке Фиореллу. Бледная и заплаканная, она опустила низко голову и не поздоровалась. Ведущая ее домой женщина была сурова: досталось, видно, маленькой грешнице от священника. А я так и осталась без исповеди, крестившись только в 20 лет.

Но вскоре наша коммунальная жизнь на улице Веснина подошла к концу. Папа получил возможность построить кооперативную квартиру в доме Радио и Телевидения, в районе Речного вокзала. Предстояло расставание. Как-то мы с Фиореллой по очереди катались на качелях в чужом дворе. Мне надоело ждать ее, и я пошла обратно, к дому. Пройдя ряд переулков, я услышала за спиной торопливые шаги, обернулась — Фиорелла, вся в слезах, с разбитой в кровь губой неслась за мной что есть мочи. «Зачем ты меня бросила!» — кричала она, задыхаясь. Я удивленно разглядывала ее лицо, впервые наблюдая безумную маску отчаяния.

Иногда, видя по телевизору итальянские фильмы, я всматриваюсь в женские лица… Кто теперь Фиорелла?

Глава 7. Линия горизонта

В ладони мордой я уткнулась
и слышу где-то далеко —
старинный дом, окно на улицу
распахивается широко…

Наш новый дом на Речном будет местом, где я превращусь из подростка в женщину. Здесь справит свадьбу моя сестра. Сюда будут по-прежнему приходить многочисленные друзья родителей, и здесь они в конце концов разведутся, разменяв трехкомнатную на две отдельные (в одной из них у папы родится дочка от второго брака). Дом, который я буду считать родительским — взрослея, уезжая и возвращаясь.

По мнению мистиков, человек должен хотя бы раз в год видеть перед собой чистую линию горизонта. Магический крест, образующийся от пересечения вертикали тела и горизонтали пространства, дает мощный энергетический заряд, необходимый

всем, особенно горожанам. Наша семья, поселившись в минутах ходьбы от канала имени Москвы, как будто вырвалась на волю из тесных арбатских переулков. Перемены к лучшему произошли у всех четверых. Папа готовился к самостоятельной работе на «Мосфильме»: закончился период, когда он был «вторым»

на картинах Эльдара Рязанова: «Карнавальная ночь», «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля». Мама начала работать на том же «Мосфильме» ассистентом по актерам, и ее первой картиной стали «Братья Карамазовы» Ивана Пырьева. Моя сестра решила поступать в Полиграфический институт, хотела стать художником-графиком. Я бесконечно ей позировала — в профиль, фас, сидя и лежа, так что стены квартиры были увешаны моими портретами. Сама я поступила в английскую спецшколу, только что открывшуюся поблизости.

Училась я через пень-колоду: тройки по физике и математике, четверки, изредка пятерки по литературе и языку. Строго говоря, я не училась, а пребывала на уроках. Меня одолевала поразительная смешливость: стоило мне что-нибудь нафантазировать во время урока, и я начинала трястись от хохота, пока не выступали слезы на глазах. Однажды на уроке химии я представила, что над головой толстой, похожей на грушу химички с правой стороны висит градус, вроде ртутного шарика. То, что она очень крупная женщина, а градус над ней — малюсенький, было совсем смешно. Химичка, ничего не подозревавшая о том, что я ей «приклеила» своим воображением, продолжала с постным видом открывать рот и издавать звуки. Затем меня «понесло» — я уже видела весь свой класс с переливающимися кругляшками над головами… Наконец, почти свалившись под парту от хохота, я была вынуждена остановиться — меня заметила та, над кем я «ставила опыты», и сделала строгий выговор. Шарик лопнул! Химию я сдала, сшив пояс для шпаргалок по всем билетам. Я не знала ровным счетом ничего из этого предмета, и даже зубрежка была бесполезна: абсолютный ноль… с градусом. (Сработал принцип бумеранга: что посеешь, то и пожнешь.)

Литературу читала я тоже редко, но если уж влюблялась в какую-нибудь книжку, то зацеловывала буквально каждую страницу. Так, в четырнадцать лет я пропала с головой в поэзии Марины Цветаевой. Наш сосед Володя Барсуков принес мне темно-синий том из собрания «Советский писатель» — и больше он его не видел. Только я открыла книгу, как на меня обрушилось наваждение. Даже от синего коленкора обложки исходила какая-то особая энергия — что уж говорить про страницы и фотографии. Ее мысль, страсть, ритм, аскетизм, ее облик и что-то

еще, чего мы не понимаем окончательно в любой силе, воздействующей на нас, — ее мир вселился в меня и стал мерой всего. Впервые с такой очевидностью, на примере ее жизни, я обнаружила взаимосвязь между трагичностью судьбы и масштабом личности. Как если бы невидимый некто разбросал мины на чьем-то пути и тот, кому удалось его пройти, не подорвавшись, становился гигантом.

Конечно, втайне я хотела походить на нее, и порой мне казалось, что мои профильные портреты, выполненные сестрой, похожи на цветаевские. Не обошлось и без сочинения стихов, конечно же подражательных. Услышав как-то по радио передачу о ней и возмутившись, как плоско и формально она была сделана, я бросилась к бумаге и написала стихотворение, посвященное «самой» (отныне я чувствовала почти родственное отношение к «Марине», как будто была с ней лично знакома):

И за что же ей такие почитатели
недостойные, недостойные,
не достойные ее стихов читатели.
Да она зачеркнула свою биографию —
времени, места, имен географию —
каждым шагом своего творения,
верьте, жизнь ее в стихотворении…

Вкусив поэтического ритма и вооружившись идеалом, я начала строчить стихотворение за стихотворением без остановки. Родители обрадовались, что у малявки с огромным бантом — их дочери — появились первые способности, и потихоньку зачитывали стихи из тетрадочки в линейку своим друзьям-актерам. Особенно им нравилось следующее:

Я и свечка молча таем,
сколько встреч
с глазу на глаз, —
горе горю смотрит в глаза,
воля воле хочет сказать:
кто из нас?

Вот до чего довели родительские ночные бдения да бабушкино героическое хлопанье дверью: бедное дитя! Ну, «свечка» откуда взялась, понятно — всегда жгли в квартире свечи, а вот «горе» и «волю» я позаимствовала у той, кому подражала. Хоть папа и мечтал для своей младшенькой о профессии

переводчика с английского, а стихи все равно посоветовал писать и не забрасывать. Стихи были, был идеал, не хватало только любви для полного комплекта. И любовь не заставила себя долго ждать. Она пришла в лице мальчика с портфелем и гитарой, моего одноклассника. Я влюбилась. Но влюбилась не только я. Очевидно, закон мистиков, закон пресловутого «креста» сработал и подзарядил все наше семейство во время неоднократных прогулок на Канал. Влюбились все сразу: я, моя сестра и даже мама с папой.

Глава 8. Любовь ближних

«…Яйца курицу не учат!» — «А если курица влюблена?» — «Ну, тогда другое дело!»

Итак, моя мама работала ассистентом на картине «Братья Карамазовы». Иван Александрович Пырьев ее очень любил, она напоминала ему Марину Ладынину, его бывшую жену. Признаться, маму любили все. Она выделялась доброжелательностью и открытостью среди людей, мучимых амбициями и комплексом нереализованности, — таких людей пруд пруди на нашей отечественной фабрике грез, студии «Мосфильм». Для всех своих актеров — а в картине снимались Светлана Коркошко, Лионелла Скирда (Пырьева), Михаил Ульянов, Кирилл Лавров, Марк Прудкин, Валентин Никулин и другие — она была помощницей, подружкой, Наташенькой. Но особая дружба завязалась у нее с Андреем Мягковым, исполнителем роли Алеши Карамазова.

Андрей и мама были очень похожи характерами и даже внешне: оба лобастые, светлые, улыбчивые. Когда два похожих человека сходятся, то кажется, что так и должно быть. Но если задуматься — гораздо чаще люди общаются по принципу взаимодополнения и соединяются со своими противоположностями. В свою очередь жена Андрея, Анастасия Вознесенская (вспомните юную радистку Аню из фильма «Майор Вихрь» режиссера Евгения Ташкова) и мой папа были схожи ироничностью характера, самоедством и неудовлетворенностью. Вполне естественно, что Ася и Андрей были однажды приглашены к нам домой на ужин, и он затянулся на три года. Отыграв спектакль в театре «Современник», они спешили к нам на Речной. Едва завидев на дорожке, ведущей от автобусной остановки к дому, две знакомые фигурки, мы с сестрой кричали: «Ася-Андрей идут!» И начиналась радостная суета. Ася — тоненькая, стриженная «под мальчика», востроносая, в изящном костюмчике — цокала по асфальту на каблучках, с неизменным букетом

цветов в руках. А рядом, взяв ее под руку, шел улыбающийся Андрей.

Мы с сестрой наблюдали, как наши родители переживают вторую юность. Они и время проводили подчас как-то по-детски, а с ними заодно — и мы. Одним из таких вечеров, оставив папу и Андрея дома, мама с Асей и мы с Машкой отправились пройтись по окрестностям и вдруг забрели на стройку. Полезли вверх по отстраивающейся высотке и только на самой крыше испугались от того, что темно, пусто, ветер дует, и помчались вниз. В другой раз, гуляя на Канале, катались всей дружной компанией на картонках по глиняным горкам — дело было осенью. Придя домой, готовили ароматный глинтвейн, чтобы согреться, зажигали свечи, пели под гитару, танцевали. Папа считал, что это школа жизни для меня с сестрой. Танцуя как-то со мной, он устроил мне один из таких «уроков»: «Дочь, запомни, танцевать надо так, будто ты бокал, наполненный до краев, — и он никогда не должен проливаться!» Но случалось, родители уезжали в гости к Асе с Андреем, и тогда начиналось тягучее ожидание их возвращения. Я воспринимала их отсутствие спокойно, а сестра нервничала, не могла заснуть. И хоть она и была старшей, но именно мне приходилось успокаивать и делать нейтральное лицо в моменты «опасности». Вернувшихся поздно родителей Машка урезонивала: «Ну сколько можно, в конце-то концов!»

Взаимное увлечение пригодилось и в совместной работе. Папа получил постановку картины по рассказу дагестанского писателя Абу Бакара и уехал снимать комедию «Адам и Хева» в Дагестан. В одной из женских ролей у него снялась Ася (главную героиню сыграла Екатерина Васильева). Мама в свою очередь, работая с Эльдаром Рязановым на фильме «Ирония судьбы», предложила ему попробовать на главную роль Андрея. Эльдар открыл для себя нового комедийного актера, и с этого начался их успешный творческий альянс.

Что-то есть веселое в том, что мой отец получил за фильм «Адам и Хева» звание Заслуженного деятеля Дагестанской ССР. В доме появились серебряные браслеты, кольца, ножи с чеканкой… У него больше не было никаких других званий — спасибо Дагестану!

Вечера при свечах, тихие разговоры, пение, теплый ветер, дующий из окна… Какое счастье… когда счастливы твои родители!

Случилось так, что Андрей Мягков был первым, кто заметил мои актерские способности. У нас в школе существовал драмкружок, в котором репетировали сцены из «Пигмалиона» по пьесе Бернарда Шоу. Играть надо было на английском языке,

учитывая, что школа была специальная. Так вот, главная героиня, исполнявшая Элизу Дулитл, почти как в настоящем театре перед премьерой, неожиданно заболела. Мне предложили ее заменить, и я, как истинное дитя спонтанности, согласилась не раздумывая. Играть предстояло две сцены: первое появление Элизы в платье цветочницы и последнее, где она уже леди. С платьем цветочницы проблем не было, а вот платье леди и сумочку пришлось позаимствовать у Аси. Андрей же был приглашен в качестве зрителя. Как только я вышла на сцену, заговорила и что-то сделала неловкое ногой, а потом рукой — раздался хохот. Я, не понимая, почему смеются, продолжила — опять хохот! И так, под легкий «шумок» зала, я отыграла свои две сцены. Мне казалось, что зал разговаривает со мной, — неожиданное, пьянящее чувство… Потом, уже работая в профессиональном театре, я поняла, что это и есть «контакт с залом», который завораживает актера и знаком только тем, кто стоял на сцене. (На самом деле от моей игры тогда мало что зависело: я, очевидно, принадлежала к тем, чей вид сам по себе вызывал юмористическую реакцию. Но в каком-то смысле это и является признаком артистичности, заложенной в природе потенциальных актеров. Если хотите себя проверить, поднимитесь на подмостки и просто посмотрите на аудиторию, — возможно, она дрогнет!) После того как вечер закончился, меня встретил мой «арбитр» Андрей и подарил мне огромный букет роз с длиннющими стеблями. По дороге домой он объяснил, что решил так: если я буду играть как все, то он подарит по розе каждому исполнителю, а если лучше всех, то мне одной. Что тут говорить? Тем же вечером, гуляя перед сном, я чувствовала на себе взгляды тех, кто был в школьном зрительном зале. Поразительное ощущение: стать вдруг заметной для посторонних, как будто прежде я была негативом, а теперь меня проявили. Вернувшись домой, я еще долго переживала произошедшее и наконец уснула… знаменитой.

Я еще училась в школе, а моя сестра, на три с половиной года старше, уже стала студенткой Полиграфического института. И вот как-то Лионелла Пырьева, подружившаяся с мамой после съемок «Братьев Карамазовых», взяла Машку в гости к знаменитому художнику Илье Сергеевичу Глазунову. Сестра моя вернулась оттуда пораженная как мастерской, так и ее хозяином. Но вскоре выяснилось, что хозяин тоже впечатлился нашей Машкой: Илья Сергеевич начал за ней ухаживать. Это неудивительно, по крайней мере потому, что моя сестра была в то время очень хороша собой. У нее была тонкая, классическая красота — многие мужчины, бывавшие у нас дома, начинали за ней приударять. Однако Маша, целиком поглощенная жизнью родителей, не

отвечала им взаимностью. Но тут… она влюбилась. Ухаживания Ильи Сергеевича, по ее словам, были пылкими и дерзкими, но их отношения так и остались платоническими — о чем она временами вздыхала впоследствии.

Маша страдала от собственной нерешительности и однажды, собравшись на свидание «особой важности», попросила меня ее сопровождать. Я должна была просто ждать ее возле дома Ильи Сергеевича. Надев водолазку цвета морской волны, серую юбку, гольфы и сандалии с перепонкой на кнопочке, я пошла с сестрой на ее ответственное свидание. Пристроившись возле подземного перехода, поглядывая на башенку, где находилась прославленная мастерская, я принялась ждать. Темнело. Мимо сновали взад-вперед «взрослые» — возвращавшиеся из ресторанов повеселевшие люди. А Маши все не было. Скоро стало совсем темно. Вдруг от проходившей компании отделился мужчина в светлом плаще и, подойдя ко мне, воскликнул: «Ой, ребята, смотрите, тут девочка!» Его друзья притормозили свой ход, не обращая, впрочем, на меня ни капли внимания. «Ты что здесь делаешь так поздно?» Я выложила все, как есть: «Жду сестру, она на свидании». — «Где?» — «В этом доме». Я указала на подъезд. «Хочешь, я с тобой постою, тебе веселее будет. А чем занимаются твои родители?» Я ответила давно заученную фразу: «Папа-режиссер!» В этот момент его окликнули: «Сергей, пойдем!» Перед тем как со мной распрощаться, он протянул мне бумажку: «Если захочешь, позвони, вот телефон. А сестре скажи, что на свидание надо ходить самостоятельно!» — и ушел. Наконец появилась запыхавшаяся Машка. У нее ничего не решилось в тот вечер. А я не рассказала ей о своем новом знакомстве. Этот Сергей одно время мне звонил, спрашивал в том числе, как у папы-режиссера дела. Он был намного старше меня, как мне тогда казалось. Странная штука жизнь — с ее не разгаданными до конца встречами… Кто это был?

Глава 9. Ж-жен-щина

«Люблю до гроба», — написал на моем пионерском галстуке одноклассник в конце учебного года. И наверное, он не соврал…

Свою первую любовь я встретила в школе. Пришел он к нам в середине учебного года. Забежавшие проведать меня девчонки — я болела гриппом и сидела дома — сообщили интригующую весть: в классе новенький, зовут Саша. Любопытство подстегнуло меня к быстрейшему выздоровлению, и, придя через пару дней в класс, я увидела новенького. Саша был мальчиком невысокого роста, с большими серыми глазами и волнистыми темно-русыми

волосами. Он преградил мне дорогу при входе в аудиторию и, ехидно улыбаясь, принялся меня рассматривать. «Как нас зовут?» — не без иронии в голосе поинтересовался он. «Лена», — послушно отозвалась я, почувствовав себя лилипутом, сидящим на ладони Гулливера. «Вот и познакомились с Леной!» — заключил он и весело чему-то усмехнулся. Сомнений не было, новенький — бабник.

Сашина дерзость касалась не только меня, но и всей женской половины класса, включая учительниц. Он сидел на первой парте и гипнотизировал прогуливающуюся у доски женщину. Начинал он с ног, затем медленно поднимался до бюста, здесь на мгновение притормаживал и потом с улыбкой мужского понимания заглядывал в глаза. Учительница делала ему замечание, но неизменно краснела. Учился он отвратительно, однако к восьмому классу прочел Ницше, Соловьева, Розанова, не говоря уже о Бальмонте, Северянине… Мужчиной он стал, наверное, лет в четырнадцать. Слово «женщина» произносил, удваивая «ж» (естественное заикание на единственном слове), получалось — «ж-жен-щина». Не заметить его присутствие было невозможно. То и дело во время урока раздавался его смешок или остроумное замечание. Саша был взрослее и умнее нас всех, по крайней мере опытнее и свободнее. Когда на одном из школьных вечеров он взял гитару и запел, не одно женское сердце заныло — в том числе и мое.

«На братских могилах не ставят крестов, и жены на них не рыдают, к ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигает…» — пел Саша, одной рукой перебирая струны, другой крепко сжав гриф гитары. По коже бежали мурашки. Казалось, он прошел и войну, и плен, и окопы — и вот стоит теперь перед всеми как мальчик-старичок и приоткрывает нам, зеленым, завесу над тайной. Героический репертуар сменялся долгожданным любовным. И опять создавалось впечатление, что «девочкам-дюймовочкам» и «мальчикам с пальчик» пел тот, кто вкусил запретного плода любви. «Отцвела во дворе сирень, и капли падали с крыш, ты мне не сказала в тот день: постой, подожди, вернись…» «Сирень» погружала весь зал в гормональный обморок. Но Саша не только хорошо пел и ухаживал за женщинами — он также был отчаянным подстрекателем розыгрышей, жертвой которых становился какой-нибудь зануда. Ему нельзя было отказать как в дерзости, так и в смелости. На спор мог перелезть с балкона девятого этажа в соседнее окно, а зимой, раздевшись по пояс, кататься на Канале по заледенелым опорам мостов.

На счастье или на беду, но наши чувства оказались

взаимными. Я ловила на себе его тяжелые взгляды, которые от класса к классу становились все тяжелее. Он приглашал меня к себе домой. И там пел под все ту же гитару более утонченные песни: «Очарована, околдована, с лунным светом когда-то обвенчана, вся ты словно в оковы закована, драгоценная моя женщина!» В гостях у него бывали его друзья, всегда старше его самого (одного из них — очкарика с худой шеей и острым кадыком — звали Вовой Гусинским). Они догадывались, что «драгоценная женщина» — это та соплюшка, что сидит на диване, сложив ручки на коленях и молчит, словно язык проглотила. Она не в состоянии ни состязаться с ними в юморе, ни поддержать пестрящую цитатами интеллектуальную беседу, она девочка-дурочка. Но делать было нечего, мальчику Саше застило глаза, и он уже пел дальше: «для утонченной женщины ночь всегда новобрачная», «положила боа на рояль», сравнивал себя со «златоцветом, который вечно молод», а свою одноклассницу — с «песком на мертвых берегах», отчего та еще крепче поджимала губки.

По окончании десятого класса мы начали встречаться, превратившись в глазах окружающих во влюбленную парочку. В те годы в моде был французский певец Адамо и его песня «Падает снег». За моими окнами тоже падал снег огромными хлопьями, медленно-медленно, как в рапиде, и сердце билось ему в такт. Я лежала на тахте, не торопилась натягивать свитер: мои плечи, руки, живот белели в темноте, наподобие тех холмов, что намело за окном. Отныне я для Саши не только Лена или Леночка, девочка с хвостиком, но еще и тело, к которому он прикоснулся. Я разглядывала себя с удивлением. Оказывается, моя кожа, губы, грудь умеют разговаривать моим же голосом… Теперь придется считаться со всем этим «хором», да еще выяснилось, что ему понадобится дирижер. Я-то полагала, что буду иметь дело с исполнением арии соло… Еще одно «до» и «после» отметило мое существование. Ах, какая новая эта история — такая длинная впереди. Меня опознали! Я — часть рода человеческого, одна из его представителей — женщина. И тот, кто опознал, может это засвидетельствовать.

Женщиной, или «ж-жен-щиной», я стала чуть позднее той ночи, когда падал снег. Зажатая к стене своим будущим мужчиной, я почувствовала, как он взял мою руку и спросил: «Ты хоть знаешь, что это такое?» Я потеряла невинность той ночью, но «что это такое», еще долго не могла сказать с уверенностью. Мое сознание и мое тело существовали по отдельности. Каждый раз, уходя от Саши, совершавшего надо мной акт любви, я чувствовала себя причастной какому-то новому ритуалу, и коль

этого желает мой возлюбленный, думала я, то этого желает наша с ним любовь. В том, что это любовь, не было сомнения. Однако мне тайно казалось, что, если бы не он, я была бы не прочь оставаться девственницей.

Сашин отец увлекался охотой. Целая коллекция ножей и ружей красовалась на стене одной из комнат, а в прихожей гостей встречал медвежий или кабаний оскал. Я часто ловила себя на мысли: «Если что — схвачу нож и убью себя». Я определенно связала любовь с надрывом страстей и со смертью… «Нож и кровь и слово — любовь», — написала я много лет спустя в одном стихотворении. Любовь как гармония, несущая мир душе, в течение многих лет обходила меня стороной и была неизвестна.

Как-то раз сосед по дому пригласил меня в гости. Он хотел сообщить что-то важное. Прежде чем начать говорить, он предложил мне закурить, сказав, что так будет легче. Я закурила свою первую сигарету. «Он тебе изменяет!» — вымолвил наконец сосед. С того вечера я начала курить. А «он» начал изменять. Этот же сосед был тем, кто сообщил моей маме и сестре, что я стала женщиной. Мама и сестра пошептались и вывели меня на «серьезный разговор, для моего же блага». Я что-то кричала в ответ и рвалась на свидание. Упершись ногой в косяк двери, руками вцепившись в ручку, пыталась вырваться и убежать. А сзади мама с сестрой удерживали мое сопротивление. «Пусть идет!» — не выдержали они, и я ушла. Ушла совершать любовный обряд из духа противоречия.

К семнадцати годам я усвоила на опыте родителей, что мужчина и женщина могут очень любить друг друга и тем не менее продолжать влюбляться в других, похожих на них, мужчин и женщин. И второе, что я усвоила, уже на собственном опыте: мужчины будут любить и изменять, а я смогу им это прощать.

Глава 10. Внутренние и внешние данные

«Меж высоких хлебов затерялося-я-я небогатое наше село-о-о… Горе горькое по свету шлялося-я-я… и на нас невзначай набрело-о-о!» — у нас в гостях были любимые актеры. «Дочура, ты уже носом клюешь, марш в постель!» — «Ну, мамусь, ну пожалуйста, Гера еще будет петь „Зачем мы перешли на „ты“…“, он обещал, а завтра ребята уезжают с театром на гастроли…» Вечер, переходящий из ночи в утро, продолжался…

Наблюдая за приходящими в дом актерами, я отмечала, что это люди другого сорта. Их смех веселее и звонче, а печаль глубже и ярче. Любая мелочь серых будней для них событие. «Сегодня сломала каблук на улице», — рассказывает маленькая

блондинка, актриса ТЮЗа, и лицо ее изображает отчаяние. «А потом решила: где наша не пропадала, — сняла туфли, пошла босиком!» На последних словах она уже сияет, как Буратино. А это бледная, худая героиня из «Современника», она печально вздыхает: «Дождик пошел, вот и лету конец». Все бросают взоры за окно и с удивлением замечают, что октябрь на исходе. В разговор включается губастый брюнет, исполнитель характерных ролей: «Н-да-а, что-то чеховское в настроении. А я весь день в бегах — из дома на улицу и снова в дом. И все мне на глаза старушка попадается, божий одуванчик! Стоит в дверях своей квартиры и смотрит, — чего смотрит? Я бегу мимо, а она пальцем манит: „Подождите, я вам что-то скажу!“ Ну, думаю, надо узнать, может, плохо с кем, „скорую“ вызвать. Подхожу, она встает на цыпочки, тянется прямо к уху и шепчет заговорщически: „Колбаски не хотите… Не хотите?“ У самой еле на ногах тапки держатся, а в глазах серьезный вопрос: не хочу ли я колбаски? Откуда взялась эта колбаска, ума не приложу — Достоевский, чистый Достоевский!» Он смеется, смахивая слезу. «Это Гоголь скорее, чем Достоевский», — наперебой кричат собравшиеся, называя каждую зарисовку именем одного из классиков. «Островский — нет, Булгаков». Но чаще всего что-то чеховское или достоевское: в погоде, атмосфере, в характере.

Актеры общались с жизнью как с живым существом, и только им открывались гримасы некоего титана, которые они расшифровывали как радость или отчаяние. Они были подключены напрямую к всемирному источнику чувств, тогда как все остальные образовывали длинную очередь, чтобы получить свою долю. О профессии актрисы я не мечтала. А вот пройти актерскую школу, которая позволит освободиться дремавшей во мне индивидуальности и превратит в более полноценного человека, вроде тех мужчин и женщин, которые плакали и смеялись заразительнее всех других, — мне представлялось жизненно необходимым. «Поучусь на актерском, а потом займусь философией!» — сообщила я родственникам и отправилась поступать в Школу-студию МХАТа.

«Почему ж ты, Испания, в небо смотрела, когда Гарсиа Лорку увели для расстрела», — читала я профессору Манюкову, набиравшему курс, стихотворение Асеева. Голос дрожал, и в горле стоял ком — вот-вот разрыдаюсь — подсказывало чутье, но я продолжала: «Андалузия знала и Валенсия знала, что ж земля под ногами убийц не стонала». Тут я всхлипнула, из глаз потекло и из носа тоже. «Увели… его не на площадь, увели убивать к апельсиновой роще!» Меня уже душили горькие рыдания и за Гарсиа Лорку, и за Цветаеву, и за расстрелянного дедушку, и за

всех сразу. Манюков нахмурился, серьезно взглянул на меня и потом как-то философски заметил: «Вы или очень талантливы, или больны… Почему вы плачете?» Я и сама не знала точно почему, впрочем, всегда подозревала, что жизнь нужно на всякий случай оплакивать.

Высморкавшись и утерев слезы, я перешла к прозаическому отрывку. Отчитав диалог «просто приятной дамы» и «дамы, приятной во всех отношениях», попеременно поворачивая голову то вправо, то влево, — я была допущена к третьему туру. Однако пройти этот решающий тур мне так и не удалось. Вердикт экзаменационной комиссии звучал так: расхождение внутренних и внешних данных. Это напоминало скорее диагноз, но на профессиональном языке означало, что я по внешним характеристикам походила на травести, а внутренне — на героиню. О том, что эти качества могут совпадать, не могло быть и речи в таком заведении, как Школа-студия МХАТа, где придерживаются традиционных взглядов на амплуа. Высокие и красивые должны страдать, а маленькие и смешные — веселить. Тут бы и заняться философией, поразмыслить над парадоксом противоречия внешнего и внутреннего. Но я, в свои неполные семнадцать, погрузилась в водоворот личной жизни, нарушив тем самым традиционные каноны.

Тем временем моя первая любовь, мальчик по имени Саша, благополучно поступил в МГУ. Я часто поджидала его в скверике возле института, ревниво поглядывала на вываливающуюся после лекций на улицу оживленную толпу студентов и боролась с подкатывающим волной комплексом неполноценности. Пошутив напоследок с друзьями, среди которых я всегда замечала хорошенькую рыжеволосую девушку, он наконец подходил ко мне. Мы сворачивали на улицу Герцена, заглядывали в кафе, чтобы перекусить и поболтать, а потом отправлялись домой. Его родители начали свыкаться с мыслью, что я «та самая» девушка их единственного сына, и медленно, но верно стали воспринимать меня как будущую невесту. Сашина мать ревниво приглядывалась ко мне и объясняла, что нравится, а что — нет ее горячо любимому сыну. И однажды, поигрывая на запястье гранатовым браслетом и таким же перстнем на пальце, заметила как бы невзначай: «Эти украшения достанутся моей невестке». Своенравный, властный характер моей потенциальной свекрови и тот культ, который она создавала вокруг сына, вызывали во мне чувство противоборства, и я делала вид, что речь идет о неизвестной нам обеим будущей Сашиной жене. И все же я была во власти своих чувств и постепенно втягивалась в репетицию предполагаемой семейной жизни: училась по первому зову

мужского желудка бросаться к плите и готовить омлет, добавляя в него молока и соли ровно столько, как желал мой избранник, и ничуть не меньше.

Впрочем, Саша был настолько же ненасытен, насколько всеяден. Наши отношения приобретали все более страстный характер в области плоти (мои чувства подогревались ревностью к его новым знакомствам), а в сфере эмоций — некоторый садо-мазохистский характер. Я безоговорочно признавала приоритет его интеллекта и интимного опыта и впопыхах усваивала науку быть женщиной для своего мужчины — что означало потакать его вкусам. Я радовала своего возлюбленного, когда носила туфли на каблуках, но отчего-то вызывала крайнее раздражение подростковыми гольфами. Он предпочитал развитую женскую грудь маленькой девической — и я подбирала лифчики пообъемнее и потверже.

Несмотря на мое усердие, я чувствовала, что не поспеваю удовлетворять требовательному и саркастическому характеру своего жениха. Как-то раз, когда мы прогуливались по улице, он подвел меня к аптеке и попросил купить противозачаточные средства — строго заверив, что это тест на взрослость и пройти его я должна в одиночку. Избегая смотреть в направлении нужного мне прилавка, я сделала несколько кругов вокруг безобидного аспирина, затем вылетела на улицу, где поджидал меня грозный любовник. «Ну вот, а еще делает вид, что взрослая женщина!» — укорил он меня и в мгновение ока заполучил то, что требовалось. Я потерпела фиаско, причем в такой ответственный момент! Мои терзания усугубились после нашего визита к одному его знакомому, который, как я теперь понимаю, представлял собой доморощенного наивного плейбоя. За незначительной болтовней я вдруг отчетливо услышала, как он, понизив голос, прокомментировал впечатление обо мне: «Она какая-то убогая!» Эти слова в устах двадцатилетнего мужчины звучали как приговор.

Когда-то, классе в восьмом, я начала прогуливать школу. Выходя из дома, брела без цели. Иногда садилась в игрушечный домик на площадке для детей и прислушивалась к своему дыханию. А еще раньше, года в три, залезала на полку в тумбочку, и там меня находили родители спящей. Странно… Узнав недавно, что мой дед по материнской линии когда-то был заперт в шкафу (где чуть не задохнулся, но только так, в конечном итоге, спас себе жизнь во время вооруженной потасовки), я решила, что мое инстинктивное желание спать на досках и в то же время страх замкнутого пространства — это генетическая память. Что мною двигало, когда я брела наугад, я

точно не знаю. Но состояние отрешенности и прострации завладевало мной, и я не могла ему противиться. Я буду предаваться такому бродяжничеству и в Нью-Йорке, и в Париже, да и само путешествие в Америку — одно из его проявлений. Уж не тяга ли из запертого шкафа была тому причиной? Мое поведение воспринималось некоторыми как странность. В доме моих родителей она считалась своеобразием, признаком индивидуальности, атрибутом творческой натуры. Но многими отвергалась с насмешкой. С того самого дня, когда я пришла в детский сад не в юбке, как у всех девочек, а в брюках, любое проявление инаковости в коллективе себе подобных оборачивалось для меня плохо. Теперь, в семнадцать лет, на импровизированных смотринах, я получила новый удар: моя нетипичность была принята за неадекватность. Что означало отторжение от мира красивых и полноценных — тех, кто имеет шанс в любви.

Однажды, желая выяснить с Сашей отношения и обидевшись на его мать за резкий тон, которым она сообщила, что его нет дома, я залезла в строительный фургон, что стоял у них во дворе, и просидела в нем, глядя на его окна, пока не стемнело. (Мне и потом была свойственна эта внезапная упертость — я приходила на место «травмы» и сидела там, пока меня не отпустит.) Не помню, сколько времени прошло, но кто-то меня заметил и вызвал милицию. Оказавшись в коляске участкового, я чуть было не попала в отделение. Моя попытка объяснить, что я здесь делаю — а что можно объяснить? — не возымела успеха. Меня подвезли к Сашиному подъезду на всеобщее обозрение и начали разбираться с жильцами дома: «Кто знает эту девушку? Она говорит, что здесь живет ее знакомый». На счастье или на беду, меня «опознала» Сашина мать. Так я избежала детской комнаты, а может, и психиатрической помощи с носилками.

Итак, представители порядка сочли мое поведение социально опасным. Теперь у «странности» появился новый аспект — за нее можно было угодить за решетку.

Приезжая к Саше на Клязьму — он отдыхал там во время зимних каникул — или выходя с ним в компании, я чувствовала себя «черной овцой» среди женщин, роящихся вокруг мальчика с гитарой. Они были старше меня, веселее, дороднее или разговорчивее. Мне казалось, что многие из них уже побывали в телесном контакте с моим любимым, который сидел на полу и кричал: «Мы — половые люди!» Впрочем, это были только мои предположения, но от этого было не легче.

«Разве, разве я не лошадь, разве мне нельзя на площадь, разве я вожу детей хуже взрослых лошадей?» — цитировала я слова

песенки про пони, которую любил исполнять Саша. Однако состязаться с ним в остроумии было бессмысленно, особенно в вопросах секса. Он вывернул все детские игрушки в своем доме хвостами вперед, и я изумленно взирала на зеленых крокодилов с фаллосами и зайцев с резиновыми членами. «У него пушкинский темперамент», — успокаивала я себя. А приходя домой, изливалась в стихах: «Ты моею силою жив — будешь и есть, ты мою юность испив, приобрел чувств — шесть…» и так далее. Трагическая нота любви звучала сильнее и чаще, нежели лирическая, умиротворенная.

Мои родители заметили, что первый роман их дочери начинает принимать крайние формы: я постоянно находилась в подавленном или взвинченном состоянии. Могла выбежать зимой раздетая, чтобы что-то прокричать вслед уходящему Саше, сбросив при этом туфли, мешавшие бежать по снегу. Однажды я собралась к нему в три часа ночи: поссорившись со мной, он поставил условие: придешь — или все кончено. Мама подняла с постели папу и попросила проводить меня на такси. Отговорить или воспрепятствовать поездке они не смогли: я была убеждена, что вся моя жизнь поставлена на карту. Папа выполнил свой долг перед мамой, но сказал, что не простит мне такой глупости. «Никогда не бегай за мужиками, никогда!» — наставлял он меня. Когда после очередного свидания я появилась с фингалом под глазом, родители забили тревогу — хоть я и объясняла им, что случайно врезалась в столб… «Я его спровоцировала, он говорил, чтобы я не задавала ему вопросов, а я задавала. Тогда он предупредил, что может ударить, если я не замолчу. „Ударь попробуй“, — ответила я… и стукнулась головой о дверь в прихожей, но он тут же стал просить прощения и очень испугался, когда…» — пересказывала я маме свою балладу позднее. Мои близкие дружили и с Сашей, и с его семьей, но с некоторых пор стали мечтать о скором разрешении моей слишком бурной любви. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы судьба не предоставила мне шанс, один из многих, которыми она меня наградит: от любовных страстей меня стали спасать страсти кинематографические. Я получила возможность сняться в картине у своего отца.

Глава 11. Боевое крещение кинематографом

Есть множество невероятных историй о том, как никому не известные девушки попали в кино… Робкое юное создание приезжает в Москву из маленького провинциального городка и, не успев донести документы до кулинарного техникума,

присаживается в скверике перевести дух. Тут откуда ни возьмись — мужчина в пиджаке и свитере или в телогрейке и кирзовых сапогах протягивает ей телефончик: «Позвоните на студию, в вас что-то есть, юная красавица… Никто не знает, а вдруг?» Она робеет, боится, но звонит… И правильно делает! Впоследствии из нее получается всеми любимая Наташа, Оля или Жаклин.

Поистине звездный час внезапен и парадоксален — он пробивает в самый непредсказуемый момент и застигает врасплох. И «никто не знает» — это точно! В том, что я, дочь режиссера, снялась у своего отца, конечно, нет ничего невероятного. Более того — этого следовало ожидать, так подумает каждый. И все-таки ни я, ни мой папа тоже «не знали», как и та девушка, что присела на скамейку, потому что никто не может знать наперед, что он сделает и к чему это приведет.

Папа проводил кинопробы для своего будущего фильма по сценарию и пьесе Александра Галича «Вас вызывает Таймыр». Он уже утвердил основных актеров — Евгения Весника, Инну Макарову, Юрия Кузьменкова, Евгения Стеблова… Но вот на роль Дуни — деревенской девушки — никак не мог найти подходящую актрису. «Добрый гений» Леня Платов, работавший на картине художником и к тому же наш сосед по дому, предложил папе попробовать дочь, то есть меня: а вдруг? Пока я месила ботами осеннюю слякоть, прогуливаясь с возлюбленным, папа с мамой обсуждали предложение Лени и все вытекающие из этого последствия.

При кажущихся преимуществах для дочери режиссера, снимающейся у своего отца, существуют и явные минусы. В случае неуспеха как режиссер, так и его дитя обречены на пересуды с обвинениями в семейственности, в том, что «папенька сует своего недоросля», а также на лицемерие и косые взгляды. Чтобы отделаться от клейма блатного ребенка, порой приходится совершить не один кульбит на радость публике, стать знаменитым и только в конце жизни признать, каков был твой истинный мотив: доказать себе и другим, что кроме папиного носа и фамилии у тебя есть кое-что еще. И это в лучшем случае, а в худшем — потерянная жизнь. Точно так же, как девушке из провинции требуется освободиться от комплекса «человека из ниоткуда», дочери (или сыну) известного человека приходится постоянно доказывать, что он оказался там, где есть, по праву. Потому, наверное, в Америке, где люди, сделавшие себя сами (selfmade men), возведены в статус национальных героев, дети знаменитых родителей скрывают свое имя, меняют его на другое и терпеливо борются за независимость от легендарного родственника. Однако и в том и в другом случае дерзает смелый,

а трудности разного рода только бросают вызов самолюбию и порождают амбиции. «Где бы найти эти трудности, чтобы отшлифовать себе отличную биографию?» — втайне думают гордецы.

Итак, мои родители посовещались и решили, что коль скоро я собираюсь будущим летом снова поступать в театральное, то почему бы не рискнуть. Мне сделали фотопробы. Круглое, щекастое лицо и приколотая к волосам косичка произвели нужный эффект: на снимке я выглядела вполне деревенской девушкой. Затем наступили пробы с актером Юрой Кузьменковым, который по роли должен был быть в меня влюблен. Юре поначалу было нелегко войти в образ, уж больно детский был у меня вид. Но, учитывая, что это все-таки комедия, причем откровенно наивная, почти шарж (один из первых фильмов «ретро» в то время), Юра вскоре адаптировался к своей партнерше и к условностям жанра. Худсовет меня утвердил.

Откровенно говоря, работа на площадке не показалась мне очень сложной, я испытывала скорее чувство ответственности перед профессиональными актерами и боялась подвести папу. Если говорить о наших отношениях, то они мало чем отличались от общения дома. Ему свойственно было впадать в некоторую пафосность, рассуждая о моей жизни, да и о жизни вообще. Однажды он сказал: «Ты — как Пушкин для русского народа!» Нет, мой папа не сошел с ума, таким образом он провоцировал чувство ответственности, скорее завышая, нежели занижая барьер, который нужно было преодолеть. На съемочной площадке он подстрекал меня: «Дочь, тебя ждут великие артисты, вот они сидят — Инна Макарова, Евгений Весник — и ждут, когда ты сыграешь дубль как надо!» Я мобилизовалась и играла, как могла.

Все шло гладко, за исключением одной сцены, где мне надо было заплакать. Играла я и так не плохо, но папа добивался моих слез. А тут-то они у меня и не текли! Срабатывала обратная реакция. Надо? А я вот не могу! Папа применил тот же прием, что всегда — отведя меня в сторонку, сказал, что меня все ждут, но вдруг залепил пощечину и быстро скомандовал: «Мотор!» Я зарыдала как миленькая, и дубль был снят. Конечно, если бы в моем доме было в ходу рукоприкладство или вместо отца был кто-то другой, я бы не сыграла ни дубля, просто оскорбилась и ушла из павильона. Доверие и взаимопонимание — единственные условия, при которых возможна подобная провокация.

Фильм был снят и хорошо принят начальством. На заключительном банкете я произнесла тост: «За человека, который постоянно вызывает себя на Таймыр!» Это было о папе. Как любящая дочь, я видела в отце героя и завышала его

достоинства, так же, как и он мои. Пиршество в тот вечер было долгим. Мне налили водки в граненый стакан, папа увидел и сказал: «Пей, дочь, ты должна знать, что это такое». Я выпила. Выйдя спустя какое-то время в туалет, я обратила внимание, что меня заносит то вправо, то влево… Так я и шла по длинному коридору, ударяясь, словно теннисный мяч, о мосфильмовские стены. Я наверняка была далеко не единственным мячиком, которым играли эти бесконечные студийные лабиринты за всю историю их существования. По окончании банкета кто-то из группы предложил поехать к нему домой: там в сарайчике хранились настойки и разносолы. Разгоряченная компания приняла предложение — празднование продолжилось среди хозяйственной утвари и банок. Я наравне со всеми дегустировала квашеную капусту и наливки. Тот вечер закончился для меня вниз головой на плече у Юры Кузьменкова — меня вскинули и понесли, идти я была не в состоянии. Мама ахнула, когда премьершу внесли в дом и положили. Она еще долго сидела на кровати и спрашивала: «Доченька, тебе плохо?» Так закончилось мое первое крещение кинематографом: после той ночи я лет десять не могла думать о водке без содрогания.

Фильм «Вас вызывает Таймыр» был показан по телевидению и получил хороший резонанс в прессе. Однако вскоре его постигла та же участь, что и первые папины картины — его надолго убрали из эфира. Причиной тому явилась эмиграция Александра Галича во Францию. Увы, как тут не поверить в судьбу? По русской примете, рожденные в мае — будут маяться. Папин день рождения второго мая… Интересно, в каком месяце родился Александр Галич?

Глава 12. Свое место

Фильм сослужил мне хорошую службу. Когда следующим летом я пришла в Щукинское училище на первый тур (на этот раз я обошла стороной Школу-студию МХАТа), меня окликнули: «Вы девочка из „Вас вызывает Таймыр“»? Передо мной стоял рослый блондин и приветливо улыбался широкой улыбкой. «Вы мне очень понравились. Костя, иди сюда. Помнишь, мы недавно смотрели комедию?» К нему подошел забавный брюнет и взглянул на меня с профессиональной актерской непосредственностью. «Поступаете?» — весело спросили они хором. «Угу!» — промычала я, все еще теряясь в собственной безликости. Они хитро переглянулись: абитуриентская нерасторопность — явление временное, ей на смену приходит одержимое самоутверждение «неповторимой индивидуальности».

«Успехов, будем за вас болеть!» — бросили они напоследок и удалились. То, что меня — бледную спирохету, трясущуюся где-то на лестнице, узнали и поддержали выпускники «Щуки» — Юра Богатырев и Костя Райкин, — было добрым знаком. Впоследствии они станут моими друзьями и коллегами по театру «Современник».

Вторая попытка поступить в театральное училище оказалась успешной — меня приняли! Однако и здесь не обошлось без интриг. Людмила Владимировна Ставская, набиравшая свой первый курс в качестве мастера, ко мне благоволила, я ей понравилась. Но перед третьим, решающим туром она позвонила моей маме и конфиденциально сообщила, что было бы очень кстати, если бы какой-нибудь влиятельный друг семьи позвонил проректору Борису Евгеньевичу Захаве и замолвил за меня словечко. «У вас есть такие знакомые?» — строго спросила она. Мама замялась, начала прикидывать, кто бы это мог быть, и тут вдруг вспомнила: «Ну, если я попрошу Олега Николаевича Ефремова, то как?» — «Олега Николаевича?! — недоуменно воскликнула мамина собеседница. — Да где ж вы раньше были с такими-то друзьями, лучшей кандидатуры и быть не может. Пусть звонит, и дело в шляпе!» Как выяснилось позднее, на третьем туре меня могли «срезать», так как за одно место со мной боролась еще одна претендентка — девочка моего плана: маленькая, худенькая, вроде как и я, травести. По мнению проректора Захавы, у нее было больше шансов — затем и понадобился «тыл» в решающей схватке.

Олег Николаевич Ефремов — наш «тыл» — дружил с моими родителями еще в юности, они с папой учились в одном классе, когда школы разделили на мужские и женские. Они даже сыграли вместе в студийном спектакле «Горе от ума»: Олег Николаевич — Молчалина, а папа — Чацкого. Более того, они чем-то удивительно были похожи внешне: не той манерой, которую заимствовали у Ефремова работавшие с ним актеры, а лицом и духом печального оптимизма, свойственным всем обитателям Староконюшенного переулка. Между «другом юности» и проректором состоялся забавный разговор. Захава отнесся к просьбе спокойно, но посетовал, что, мол, принять-то я приму, а что она дальше делать будет? Их же всех, выпускников, надо в театры устраивать, в театрах вакантных мест мало, а их — выпускников — предостаточно! Вот что волновало проректора. Олег Николаевич не растерялся и ответил: «Я ее не только в театр возьму, я на ней еще и женюсь, если понадобится!»

После того как я рассказала этот эпизод в одном из интервью, мама, с чьих слов я впервые услышала эту историю, вдруг

засомневалась: а был ли этот диалог именно таким, в частности про женитьбу. Ну что ж, если он и приукрашен, то талантливо. Звонок возымел действие — я поступила на первый курс Театрального училища имени Щукина, правда, условно. Это означало, что я должна была доказывать свою профессиональную пригодность и завоевывать право стать студенткой. Если в течение полутора лет я не оправдаю доверие — меня отчислят. В Щукинском училище существует поверье, что те, кто был принят условно, как правило, оказываются самыми работоспособными, если не самыми талантливыми, и выпускаются лучше других. Психологически это объяснимо: тот, у кого есть только один шанс, использует его по максимуму. Этот принцип применим и к провинциалам, приехавшим делать карьеру в столицу, и к иммигрантам, завоевывающим место под чужим солнцем. К слову сказать, девочка, с которой я боролась за место, не пострадала и благополучно училась вместе со мной. Особым проворством я не отличалась, однако уже через три месяца, после показа самостоятельных работ — это были «Последние» Горького, — с меня сняли «клеймо» и сделали студенткой. И с другими условниками произошло то же — они оказались первыми при выпуске. Щукинское поверье сработало — все пятеро устроились в московские театры, и одной из них была моя подруга, Светлана Переладова, игравшая после училища в Театре имени Вахтангова, но о ней я скажу немного позже…

«Щука» отличалась от Школы-студии МХАТа большей демократичностью и даже фривольностью в отношениях между профессорами и студентами. А также самим подходом к искусству. Если МХАТ — это академия, классицизм и традиция, то «Щука» — новаторство, либерализм и диссидентство. Это и закономерно. Обе школы наследуют стиль и образ своих основателей, в одном случае создателя «системы» Станиславского, в другом — его ученика и оппонента Вахтангова. Последний отошел от жестких принципов школы переживания в пользу более формалистического театра представления. Может быть, поэтому многие из тех, кого «завернули» при поступлении в Школу-студию МХАТа, находили понимание в «Щуке». Здесь все нетрадиционное, в контрапункте с общепринятым, получало благодатную почву. Неспроста любимовская Таганка была создана из выпускников Вахтанговского училища, то есть «Щуки».

Вот и я пусть не без сложностей, но в конце концов оказалась там, где было мое место.

Глава 13. Развратная профессия

«Коренева, вертихвостка, лучше бы к урокам готовилась, вместо того чтобы гонять по лестницам взад-вперед и хвостом своим вилять!» — кричала мне вдогонку истерического вида женщина с нарисованными бровями на желтом круглом лице. Она преподавала мне русскую литературу в школе. Но у нее были и есть единомышленники: «Профурсетка, ишь, профурсетка, пошла, пошла, бесстыжая, а ноги-то как бульонки!» Этот народный хор звучит и будет звучать и в продовольственных магазинах, и в редакциях газет, и в театральных фойе.

Выбор театрального вуза сказался на моих отношениях с Сашей. Еще до поступления его мать пыталась отговорить меня от актерских амбиций, предлагала помощь при сдаче экзаменов в Суриковское училище, где у нее были неплохие связи. Обратив внимание на то, что я иногда беру в руки шариковую ручку и рисую портреты ее сына, она пришла к выводу, что из меня можно сделать художника. Всем известно, что словосочетание «жена-актриса» — это нонсенс. Мать-актриса, невестка-актриса — ну извините, вы за кого нас принимаете?! Они все мажутся и мажутся, что-то бормочут и ре-пе-ти-ру-ют, артистки! А в это время муж голодный, дети плачут, в холодильнике пусто, а она кого-то изображает, в голове у нее — образы. Счастлива актриса, которая ни разу в жизни не слышала в свой адрес этих слов. И даже если слова были иными, более деликатными, их суть оставалась прежней. Нет, это не просто ханжество или атавизм прошлого — в подобном восприятии профессии есть зерно истины. И я, можно сказать, нарисовала один из своих вероятных портретов.

Впрочем, Евгения Яковлевна — так звали Сашину мать — была умной женщиной, она этого не говорила и не думала. Но материнский инстинкт ведет всех по одному пути: пусть у других будет так, но у нас — нет уж, увольте! А сколько достойных мужчин (среди них есть и режиссеры) постоянно просят жену сделать выбор между театром и семьей? Определенно актерскую профессию связывают с легкомыслием и доступностью, тогда как брак требует постоянства и незыблемых моральных принципов. Этот вид творческой деятельности окутан туманом непонимания не только в глазах обывателя, но даже и людей, посвящающих ему жизнь. Что только не говорят об актерах! О том, что они дураки, заявляют подчас сами режиссеры — при этом выводится чуть ли не прямая взаимосвязь между глупостью и талантом. Представление о том, что актеры — развратники, стало аксиомой. Как привычно для уха звучит выражение: «развратный актерский мир», правда, при этом никто не добавляет: «целомудренный мир инженеров-физиков» — как-то нелепо. Ну и, конечно, актеры —

дети, паяцы, шуты — бедняги, одним словом… Лицедеи, грешники — в старые времена им даже не было места на кладбище порядочных людей.

Помню разговор с одним банкиром. Он был очень приветлив и во всех смыслах казался «своим парнем». Выслушав мой рассказ о том, как идут дела на актерском поприще — одно сыграла, другое предлагают, третье сорвалось, — он по-отечески позволил себе удивиться: «А зачем вообще вы это делаете? Зачем?» Он не понимал. Его искренность была неподдельна. Для человека, привыкшего измерять ценность вещей увеличением дохода и уменьшением расхода, казалась абсурдной любая активность, исключающая превращение десятки в тысячу. Более того, актеры часто сами недоумевают: зачем они занимаются таким «бесполезным» делом, живут в придуманном мире — а ведь реальность-то как хороша! Но, однажды начав, не могут остановиться. Наркомания, да и только. А вернее сказать — занятие, корни которого уходят к языческим шаманам и врачеванию, а следовательно, к магии. И в то же время это просто развлечение публики, которое порой напоминает жертвоприношение. Однако это еще и творчество, то есть процесс бессознательный, необъяснимый. А на языке психоанализа — сублимация полового влечения, своего рода невроз. Те, кто в течение жизни не успевают преодолеть этот «невроз», имеют шанс стать большими художниками.

Да, актриса, пожалуй, не совсем женщина, хотя все атрибуты ее деятельности очень женские: она «мажется», желает понравиться, но в то же время юродствует, перевоплощается — немного проститутка, чуть-чуть жертва и слегка не в себе. А главное — она принадлежит всем, а не одному нареченному. «Профессия мужская! — высказал свое мнение Питер Штайн и продолжил: — Но лучшие актеры в моем театре — женщины… с тяжелыми судьбами». Несчастные — хочется добавить мне. Я всегда подозревала, что удовлетворенность в любви, в семейной жизни — как вообще удовлетворенность — не способствует творчеству. «Если бы я была матерью, счастливой женой, мне не нужно было бы актерство», — думаю я теперь, оглядываясь назад. «Если я хочу заниматься искусством, то должна быть свободна от семейных уз. Художник — хозяин самому себе, автор своей жизни, а жена — человек зависимый от воли мужа», — казалось мне тогда. Любовь-подчинение была единственной разновидностью любви, которую я в то время знала. В моей жизни стала намечаться дилемма: будущая семейная жизнь или творчество. И постепенно она разрешалась в пользу последнего, правда, не совсем по моей воле.

Еще на первом курсе мне предложили сняться в пятисерийном телевизионном фильме. Съемки должны были проходить в городе Горьком. Мой художественный руководитель, Людмила Владимировна Ставская, приветствовала работу студентов в кино — тот, кого снимают, скорее распределится при окончании. Но в целом в училищах это запрещалось: отвлекает от обучения. Родители мои тоже решили, что работа — вещь полезная, пора начинать быть самостоятельной. Категорически против был только мой Саша. Экспедиция предполагала отъезд на целый месяц. Расставание на долгий срок смутило бы любого мужчину: женщина уходит из-под его контроля. Сцена нашего прощания была не менее волнительной, нежели расставание Наташи Ростовой с Болконским. Только в роли Болконского в данном случае оказалась я. Не могу сказать, что мне очень хотелось ехать зимой в город по имени Горький — мало того что холодно, еще и не сладко. Я колебалась, меня мучили противоречивые желания, однако когда решение уже принято, то психология уезжающего меняется: он думает о том, что его ждет, а не о том, что оставляет.

Так одним зимним утром (а именно в семь утра) я оказалась на заснеженном перроне города со скандально известным именем. Стоя возле собственного чемодана наподобие стража у тела Ленина, я озиралась на белые холмы, заглядывала в сонные лица спешащих куда-то горьковчан и все ждала, что появится человек с распростертыми объятиями: «Ну, наконец приехали!» Но человек все не появлялся… и так и не появился. «Зачем меня сюда послали!» — чуть не плача, обвиняла я близких, уговоривших меня ехать работать. «Зима, я одна, меня не встретили… зачем… зачем…» Когда стало совсем холодно и голодно, я приняла решение идти к телефонной будке — звонить по имеющемуся у меня номеру: авось отзовутся. К счастью, там сняли трубку. Из разговора выяснилось, что меня ждали на другой день — по никому не известным ни тогда, ни теперь причинам. Затем говоривший объяснил, какой транспорт довезет до нужной гостиницы, и заверил, что меня встретят со всем кинематографическим гостеприимством.

Добравшись с грехом пополам по указанному адресу, я наконец расположилась в гостиничном номере и вздохнула с облегчением: черные ведьмы понемногу начали рассеиваться — по крайней мере в это хотелось верить. Но съемочный процесс, увы, оказался затяжным и безрадостным. Первоначальное название картины «Синяя пустошь» вполне соответствовало моему представлению о сценарии и о месте пребывания. Отрадно было только то, что люди, работавшие в группе, оказались

симпатичными и приветливыми. Особенно я выделяла оператора, которого и теперь, бывая на телевидении, встречаю радостными возгласами. Первые недели я изнывала от скуки и одиночества, особенно настигавших меня по ночам. Постоянно прислушивалась к хлопанью дверей, шагам в коридоре и звукам, доносившимся из ресторана, что расположен на первом этаже любой гостиницы. И считала дни, оставшиеся до возвращения в Москву. Я вспоминала о нашем разговоре с Сашей перед отъездом, думала о том, что же он хотел сказать мне важное, но так и не сказал, решил подождать до моего возвращения.

Но мне не суждено было долго предаваться воспоминаниям. Мою тоску развеял внезапно появившийся актер, который должен был исполнять в фильме одну из ролей. Он подъехал из Москвы чуть позднее меня и, что называется, подоспел вовремя. Это был обаятельный парень смешной наружности и, как стало вскоре ясно, талантливый актер. Он веселил всех в группе, вносил нужный темперамент в казавшийся вечным процесс творчества и, конечно, не забывал оказывать мне знаки внимания. Вернувшись в гостиницу после съемки, мы шли в буфет, и там, среди пустынных столиков, пластиковых стаканов с салфетками, искусственных цветов в вазочках, шампанского и пончиков, он постепенно втягивал меня в игру галантного ухаживания — вопросов и ответов. Уплетая за обе щеки вкуснейший салат оливье, мы переносились мысленно в утонченную Францию (где тот же салат почему-то называется русским), и город Горький с его морозами был вынужден грустить в одиночестве. Как-то вечером он зашел ко мне в номер и, разговорившись, просидел далеко за полночь. Когда я напомнила, что поздно и пора бы спать, он тут же закрыл за собой дверь и исчез. Но через десять минут ко мне вновь постучали — он вернулся. Оказалось, что номер его заперт изнутри, туда уже кого-то подселили, а дежурной и след простыл. Попросившись заночевать у меня на коврике, он опустился на пол и свернулся калачиком. Там он долго кряхтел и вздыхал и наконец спросил разрешения прилечь возле меня на самом краешке, пожаловавшись, что на полу очень холодно. Договорившись, что это «чисто по-дружески», я отвела ему место рядом… Все, что произошло между нами после, вполне вписывалось в определение «по-дружески», однако на языке взрослых мужчин и женщин называлось изменой.

Встреча с Сашей у него дома в Москве развеяла мою надежду, что случился веселый пустяк, придавший мне внутреннего озорства — не более. Передо мной стоял измученный ревностью и догадками мужчина, похожий на подростка — похудевший и бессильный, превратившийся за этот месяц в двенадцатилетнего

мальчика. «Измена! — выносила я себе приговор. — И жертва этой измены он, моя первая любовь». Почему то, что произошло, веселило мне сердце и придало легкий шаг, но в свою очередь сделало его таким несчастным? Почему это так взаимосвязано… и никак иначе? «Измена!» Я сделала вдох и рванулась к окну. В то же мгновение передо мной выросла его тень и заслонила бесконечность. «Ты что?!» — вскрикнул он. «Не знаю», — ответила я ему.

Я не хотела никуда прыгать. Но так и не знаю, зачем я тогда разбежалась. Наверное, все мысли, которые когда-то приходят в голову, однажды могут вернуться и стать действием. Измена? Не знаю. Предательство? Не знаю. Любовь? Не знаю. Аминь.

2. Любовь на «Романсе» и после

Глава 14. «Внимание! Мотор! Начали!»

На дворе стоял декабрь 1972 года. Я сидела в группе «Мосфильма» в ожидании встречи с очередным режиссером. Мои мысли блуждали далеко, я чувствовала себя запутавшейся окончательно в страстях, называемых первой любовью. Мне только что исполнилось девятнадцать лет, но внутренне я походила на зрелую женщину, отягощенную долгим и тяжелым браком, лишенную иллюзий, вкусившую всю изнанку отношений с мужчиной, российским мужчиной — гуляющим, ревнующим, доминирующим и терзающим.

«Леночка, загляни в сценарий, тебя будут спрашивать, понравился он или нет, а ты даже не читала», — прервала мои мысли мама, вернув снова в группу «Мосфильма». Она протянула сценарий, я взяла его и начала перелистывать. Вот уже скоро час, как я ждала режиссера, который беседовал у себя в кабине с актером Конкиным — претендентом на главную роль. Галя Бабичева, работавшая на картине ассистентом в паре с моей мамой, то и дело выбегала из комнаты и вновь возвращалась, говорила успокаивающе: «Вот-вот закончит» — и принималась готовить очередную партию чая для «мэтра». В группе зазвонил телефон, снявшая трубку Галя многозначительно взглянула на маму и со словами: «Она!» — снова выбежала. Вернувшись, привела с собой мужчину моложавого вида. Он энергично снял трубку и заговорил слегка сиплым, странным голосом. В процессе разговора он несколько раз взглянул в мою сторону, а договорив, попросил, обратившись одновременно к маме и Гале: «Еще раз позвонит, скажите, что я ушел», после чего вышел. Через короткое время меня наконец пригласили для разговора. «Галочка, прикрой дверь», — сказал режиссер, не выпуская моей руки из своей. Это был тот самый обладатель сиплого голоса, что говорил по телефону десятью минутами раньше. Когда дверь за ассистенткой захлопнулась, он отпустил мою руку и предложил сесть. Режиссера звали Андрей Сергеевич Михалков-Кончаловский.

Вот уже месяца три, как моя мама, работавшая на «Романсе о влюбленных», в поте лица искала героев будущего фильма. Задача перед ней стояла не из простых — найти современных Ромео и Джульетту. Возвращаясь домой со студии, она посвящала все семейство в мудреную кухню своих поисков. «Андрей

Сергеевич сказал, Андрей Сергеевич решил, Андрей Сергеевич хочет…» — ежевечерне слышала я от нее. И мне казалось, что «Андрей Сергеевич» носит бородку, серый костюм, очки, похож на чеховского интеллигента с тонкими пальцами рук и незримо ужинает вместе с нами, ожидая, когда семья Кореневых найдет ему героиню будущего шедевра. О том, что этот «призрак» очень прихотлив в выборе, свидетельствовало выражение маминого осунувшегося лица и постоянный знак вопроса в ее глазах: «Андрей Сергеевич хочет, чтобы…» — и дальше следовало какое-нибудь невероятное задание, касающееся не только поездок в отдаленные концы необъятной Родины, но также поиска редких сортов чая, геркулеса или не относящейся к делу литературы о правильном питании.

Мамины рассказы о режиссере и его причудах носили явно юмористический характер: «Вчера он привел девочку и потребовал, чтобы ей сделали фотопробы: он убежден, что встретил в лифте русскую Али Макгроу — героиню фильма „История любви“. Она, правда, из ПТУ, двух слов связать не может, зажата и испугана, но он говорит: „Не обращайте внимания, я нашел то, что надо“. Сводил ее на концерт, потом посмотрел фотопробы и расстроился — нет, не то!» В другой раз режиссер захотел, чтобы нашли женщину, похожую на шведскую манекенщицу из журнала мод: длинноногую блондинку с высоким лбом. Мама обошла балетные студии и кружки танца, профтехучилища и факультеты МГУ, съездила в Ленинград и Прибалтику, но такой женщины, которую искал режиссер, так и не нашла: или длинные ноги, или высокий лоб, но никак не лоб с ногами. «Поразительное дело, — недоумевал режиссер, — столько красивых молодых женщин, но никто не умеет чувствовать, прямо беда, как такое возможно?» А вместе с режиссером недоумевала и вся его группа: что делать, откуда ей взяться? Что происходит с русскими женщинами, почему они не чувствуют?

Личная жизнь самого Андрея Сергеевича, по маминым словам, была не менее сумбурной, нежели поиски героини для фильма о любви. Ему то и дело звонила жена-француженка, и он часто просил маму или Галю не подзывать его к телефону. «Что ему придет в голову на этот раз? — растерянно вздыхала мама, укладываясь спать. — Уж скорей бы он на ком-нибудь успокоился». Придя как-то раз домой, мама была взволнована больше прежнего: «Он хочет видеть детей — всех от семнадцати и выше, детей киношников! Сказал, что на стороне все шансы исчерпаны, решил посмотреть „своих“. Он хочет видеть вас, девочки». С капризами режиссера мы с Машкой были заочно

знакомы, но что он нацелится на наше дружное семейство, предположить не могли. «Н-е-е-т!» — протянули мы хором. «Я ему так и сказала, — нервно объясняла мама, — Андрей Сергеевич, они вам не подойдут, я знаю, вам не это нужно, только девочек расстроите. Но он ни в какую — придется идти, я же ассистент, я не могу ему отказать».

Первая пошла Машка. «Красивое лицо, торс балетный, а теперь покажи младшую, которая похожа на Ширли Мак Лейн», — настаивал Кончаловский. Он уже видел мои домашние фотографии и обратил внимание на сходство с американской звездой.

Дубль 1

И вот я сидела у него в кабинете и щурилась от солнца: кресло, в которое меня усадил режиссер, было расположено прямо напротив окна. Меня не покидала мысль, что после долгих ожиданий я так неудачно приземлилась. «А вы похожи на Ширли Мак Лейн», — всматриваясь в меня, заметил Андрей Сергеевич. «А он совсем не похож на чеховского интеллигента, — заключила я, рассмотрев в свою очередь его, — скорее на большого Маугли». И вздохнула. Что я похожа на некую Ширли, впервые заметили Ася Вознесенская и Андрей Мягков. Они посмотрели американский фильм «Квартира» и сообщили родителям, что она — моя копия. Но я к тому времени еще не видела ни фильма, ни той, с кем меня сравнивали. «Да, мне уже говорили», — безучастно отозвалась я, продолжая щуриться одним глазом в его сторону.

Андрей Сергеевич начал рассказывать о будущем фильме, объясняясь, как мне показалось, довольно общими фразами. «Он это всем говорит, устал уже», — мелькнуло у меня в голове, и я перевела взгляд на плакат, что висел на стене — закатное небо, снятое с самолета. Вид из иллюминатора был тревожным: алые блики, тонущие в мертвом лиловом… Вдруг Андрей Сергеевич прервал свой монолог: «Я смотрю, вам совсем неинтересно то, что я рассказываю, вы даже отвернулись». Мне стало неловко, и я оправдалась: «Простите, мне солнце светит в глаза, я очень неудачно села». Он молча встал и широким жестом зашторил окно. Атмосфера располагала к интимности, мы сидели в полумраке. «Ну что, так лучше?» — в вопросе Андрея Сергеевича было лукавство. «Намного лучше!» — поддержала я его юмор. «Так вы сдаете марксизм, у вас сессия, ну и когда же вам лучше встретиться для читки текста — до экзамена или после?» —

продолжил он разговор в деловом ключе. «Как вам будет… — я запнулась, — удобнее». — «Чуть было не сказала: „угодно“? — парировал мой собеседник. — Вы вообще откуда, советские люди так не разговаривают». Мне стало весело — режиссер Кончаловский настолько не соответствовал моему представлению о самом себе — «серый костюм и бородка», — что мне захотелось поддержать с ним беседу. Я приготовилась, но поздно… «Ну ладно, сдавайте свой марксизм, мы вас вызовем после экзамена». И замолчал. «Это все?» — сообразила я. «Все», — продолжая сидеть на диване, ответил он. Чисто по-женски я оценила всю невыгодность своего положения: мне предстояло пересечь комнату под пристальным обозрением сидящего в своем углу режиссера. Я постаралась проделать это как можно изящнее, посетовав на то, что в тот день была укутана в длинную серую кофту, брюки и короткие зимние ботинки. А также, что мне недостает пары-тройки сантиметров роста для нужного впечатления. С видом кокетничающего Винни-Пуха я послала режиссеру прощальную улыбку и выскользнула за дверь.

Дубль 2

«Невероятно!» — обсуждала случившееся вся семья. «ОН хочет Ленку пробовать». Мама, привыкшая к завышенным требованиям режиссера, была уверена, что ее девочки пройдут мимо. Вторая встреча на «Мосфильме» была не менее запоминающейся, чем первая. Усадив меня на этот раз возле себя на диване, к которому был прикреплен значок-пуговица «I love you», он вручил мне текст сцены и предложил его почитать. «Как я люблю тебя, как я люблю твои глаза». Едва я произнесла первые фразы, как все несчастья моей первой любви встали перед глазами: клятвы в верности, обман, беготня по ночам между квартирами, выжженные на руке следы от сигареты, пара синяков, заработанных при выяснении отношений, — все это не вмещалось в односложные признания, которыми объяснялась моя героиня. Я, как и при поступлении во МХАТ, подмочила свою репутацию слезами. «Любовь», — не столько спросил, сколько констатировал Андрей Сергеевич. Я утвердительно кивнула. «Понимаю», — вздохнул он в ответ и, нагнувшись, извлек вдруг из-под дивана бутылку виски. «Где-то здесь были стаканы». Он заерзал в поисках посуды. — «Ах, вот они». Зазвенели стаканы, забулькало содержимое бутылки. «Выпей, это помогает. Ничего нет естественнее, когда льются слезы по любви. Наша героиня, Таня, так и должна чувствовать — предельно, крайне, как героини

Шекспира». После этих слов он коснулся моего лица рукой и, пристально всматриваясь в его очертания, заметил: «С возрастом щеки опадут и вылезут скулы — будешь очень красивой. Готовься к пробам», — и залпом опустошил содержимое студийного реквизита.

Дубль 3

В день кинопроб он зашел в гримерную и, положив ладони мне на голову, долго смотрел на изображение в зеркале, затем нагнулся и поцеловал в пробор. Казалось, он проверял на ощупь то, что выбирал, и его ощущения подсказывали, что он не ошибался. Когда грим был закончен, мы вышли в коридор и направились к павильону. Перед самым входом в декорацию он остановился и снова взглянул на меня, провел рукой по моей челке и, о чем-то подумав, произнес по-французски: «C'est ca!» Затем прошептал, словно нас мог кто-то услышать: «Загадай желание», — и зажмурил глаза. В этом почти ритуальном внимании к моей особе было нечто большее, нежели волнение и трепет, а именно — ощущение будущего, неотвратимости судьбы, своего рода ясновидение. Я еще не понимала, но предчувствовала, что соприкоснулась с мощной системой жизни, доныне мне не известной, в которой подыскивается мне роль, независимо от той, на которую я собиралась пробоваться. Мне ничего не оставалось делать — только слушать и ждать, наблюдать, как разворачивается написанная кем-то заранее история моего будущего. «Не хватало мне только в тебя влюбиться, — словно открещиваясь от собственных мыслей, усмехнулся он уже в павильоне и затем скомандовал: — Внимание, мотор, начали!»

Глава 15. Дубль 4, 5 и так далее

Дубль 4

Вскоре после кинопроб, которые оказались удачными, Андрей Сергеевич решил пригласить нас с Конкиным к себе в гости, на улицу Воровского, для непринужденного общения вне стен студии. Туда же подошел и Микола Гнисюк — фотограф, который должен был нас фотографировать. Андрей Сергеевич рассказывал о замысле будущей картины, о том, как влюбился в сценарий Жени Григорьева, о том, что на самом деле сценарий гениальный,

но мало кто это понимает, и если он возьмется снимать этот фильм, его сочтут сумасшедшим. В ходе своего пламенного, энергичного монолога он потягивал французский коньяк и слегка пьянел, на глаза его наворачивались слезы. Он становился все более откровенным и вдруг, окончательно расчувствовавшись, признался, что когда уедет жить во Францию — а он рано или поздно намеревается это сделать, — то раздаст всю свою библиотеку, и жестом указал в сторону книжных полок. А еще минут через десять прибавил, что просто-напросто отдаст все нам: Конкину, мне и Миколе Гнисюку. Мы невольно окинули взглядом содержимое шкафов.

Трудно выразить словами, в какой столбняк и одновременно эйфорию приводили нас троих, будущих обладателей ценностей Андрея Сергеевича, его слова о Франции, об отъезде, да и сам размах его речей. География моей жизни тогда ограничивалась моим домом, Щукинским училищем и парой-тройкой квартир знакомых и родственников. Что говорить, посещение дома Кончаловского, а значит, и Михалкова, а там и Сурикова, было сравнимо с посещением музея культурных ценностей. Я испытала острое желание стать обладательницей его библиотеки (или чего-нибудь) — думаю, те же мысли пронеслись и в голове улыбающегося Конкина, и трудяги Миколы Гнисюка. В Андрее Сергеевиче было что-то мюнхгаузеновское — в глобальном масштабе его планов, только с той разницей, что он мог действительно поехать и во Францию, и в Италию, в Америку. Не знаю, как насчет полета на Луну, но разговаривать по телефону с Джиной Лоллобриджидой, называя ее при этом просто Джина, он мог. А также с Беатой, Бернардом и черт-те знает с какими еще кинематографическими реликвиями… Дерзость его намерений передавалась слушателям, тем, кто оказывался в данный момент возле него, и сразу казалось, что и ты немного приобщился к Сурикову, к Джине с Беатой и вообще. Хотелось ставить большие цели: скажем, не в Крым поехать или на Домбай, петь под гитару у костра, а закрутить роман с Романом Поланским во время Московского кинофестиваля, потом сняться у него в главной роли, получить премию в Каннах, затем бросить его и вернуться к своим. Чтобы потом рассказывать: да, все там есть, но без своих любимых обормотов — как-то не так!

Вскоре Конкин ушел, и Андрей Сергеевич пригласил нас с Миколой поужинать в ресторане Дома литераторов. По пути к нам присоединился Саша Адабашьян — он, собственно, и рассказал месяцем раньше Кончаловскому, что у его ассистента Наташи Кореневой есть две дочки в возрасте нужной ему героини, после чего меня вызвали в группу «Романса». Сидя за

столиком ресторана, Андрей Сергеевич смотрел, как я закуриваю сигарету, разглядывал мои руки и вдруг сказал: «Леночка, у тебя стиль Красной Шапочки, а с этим лаком на ногтях да с сигаретой в зубах ты похожа на Красную Шапочку, которую уже съел Серый Волк». Он был прав и даже сам не представлял, до какой степени — как, впрочем, не представляла этого и я. Домой возвращались втроем на машине Кончаловского, уже без Миколы. Бушевала метель или мне так только казалось, но точно помню, что вокруг было белым-бело. Кончаловский начал читать по памяти Пастернака, стихи из цикла «Высокая болезнь» и «Разрыв». Когда он сбивался, забывал нужную строчку или слово, Саша тут же подхватывал. «О ангел, залгавшийся, сразу бы, сразу б…», потом: «Рояль дрожащий пену с губ оближет, тебя сорвет, подкосит этот бред…», «Пью горечь тубероз, ночей осенних горечь…», «Коробка с красным померанцем — моя каморка…» и так далее. Машину повело от счастья, за рулем сидел тридцатипятилетний Кончаловский и в такт стихам и их смыслу выворачивал баранку то вправо, то влево, заставляя машину, словно партнершу в танце, смотреть на восток, затем резко — на запад. Если представить память как музей, где воспоминания словно зафиксированы на кинопленке, то среди самых красивых моментов моей жизни останется и эта дорога зимней ночью, в компании с Пастернаком, Адабашьяном и Кончаловским. Перед тем как проститься, Андрей Сергеевич сунул мне в руку книгу, которую сам прочитал и очень ею дорожил. Она, по его словам, выражала его умонастроения того периода. Тоненькая брошюрка с коричневой бумажной обложкой была пропитана ароматом его духов — пряный горьковатый вкус восточных благовоний. У меня кружилась голова. Книга называлась «Восток и Запад».

Дубль 5

В феврале прошел слух о консервации картины. Андрей Сергеевич лег в больницу, у него открылась язва желудка. Группа «Романса о влюбленных» была расформирована, и мою маму открепили от картины. Для меня наступило время догадок и сомнений, гадания: веришь не веришь, чет или нечет, сбудется не сбудется. Оставшись в информационном вакууме, я тем не менее чувствовала, что существует какая-то связь через пространство и эфир с тем, кого звали Андреем Сергеевичем. Он отметил наши встречи невидимыми символами и знаками, которые не могли так просто исчезнуть. Я закрывала глаза, они высвечивались ярче и говорили: будет, будет, будет… И может, даже хорошо, что

наступила пауза, может, он играет в то, что болен, оттягивает время, чтобы понять, переболеть и решить что-то для себя, для меня… Я не знала «что», но чувствовала: он решает и решаю я.

А я действительно решала. Моя дверь была заперта, я не отвечала на звонки с предложениями о встрече. Я не могла соединить несоединимое. Конец и начало — всегда рядом, следуют друг за другом. Я понимала, что наступает конец моим отношениям с Сашей. Тогда он пришел сам. Он настаивал, требовал и не уходил. Под напором гнева, жажды возмездия, ревности, которые толкали мужчину на насилие, я впустила его в дом. Женщина демонстрирует любовь и конец любви — слабостью, мужчина — силой. И он ее продемонстрировал. Я долго ненавидела свое тело. А через месяц с лишним моя мама стояла у больничного окна, и лицо ее говорило: все пройдет, девочка моя, все уже прошло.

О том, что со мной произошло на самом деле и каковы психологические последствия этого, я узнаю только в Америке, прочитав массу литературы и посмотрев не один фильм. До тех пор я буду считать, что насилуют только в темном переулке и только незнакомые мужчины. После моего выхода из больницы мы встретимся. «Выходи за меня замуж, я делаю тебе предложение», — говорил он. «Я подумаю», — ответила я и собралась уходить. «Надо было оставить ребенка… — выговорил он напоследок и тихо добавил, уже самому себе: — Счастье мое!»

Где-то в начале апреля пришла весть из группы «Романса» — Кончаловский просил передать, что в мае будем пробоваться, пусть Лена худеет, готовится, не забывает. А в мае меня вызвали на «Мосфильм». На моем безымянном пальце поблескивало кольцо. «Ты вышла замуж?» — спросил режиссер. «Нет, это подарок», — сказала я о кольце, которое, не став обручальным, стало памятью. Меня познакомили с Женей Киндиновым и Сашей Збруевым. Теперь Женя был претендентом на роль главного героя, Сергея. А Саша на роль мужа Тани. «Возьми ее на руки», — попросил режиссер. Женя поднял меня. «Да! Это то, что надо: она маленькая, а он гигант!» — воскликнул Кончаловский. Он нашел ключ, образ пары. Влюбленный в меня и Конкина как в кандидатов на главные роли, режиссер между тем понимал, что я скорее клоун и в этом надо было искать мою силу. А Конкин — французского типа красавец, который требовал рядом красавицу под стать. Тогда как Женя с его ростом и силой оттенял мою хрупкость, и получалась трогательная дисгармония. Начались кинопробы: одна, другая, третья. Когда наступила седьмая, я сказала себе: «Мне все равно, я больше не хочу ничего, я свободна от этой тайны, и мне безразличен ее исход». Через день в нашем

доме раздался телефонный звонок. Режиссер Кончаловский говорил моей маме, что меня утвердили на главную роль, он счастлив, он счастлив!.. Мне предстояло сыграть все, что я знаю про любовь.

Глава 16. Сверхзадача

Перед началом съемок на «Мосфильме» устраивались просмотры фильмов мировой классики. Их заказывал сам режиссер, считая, что творческой группе необходимо ознакомиться с приемами и находками современного зарубежного кинематографа. Я впервые тогда посмотрела «Пять легких пьес» Боба Рафелсона с Джеком Николсоном, «Буч Кессиди и Сандэнс Кид» Джорджа Рой Хилла с Робертом Редфордом и Полом Ньюменом, «Бонни и Клайд» Артура Пенна с Фей Данауэй и Уорреном Битти, а также фильмы Роберта Олтмена, которые особенно ценил Кончаловский. Наконец я увидела и Ширли Мак Лейн в картине Боба Фосса «Милая Черити». Кончаловский обращал мое внимание на клоунский аспект игры Мак Лейн — он хотел, чтобы я обострила свою характерность. «Смотри, как она хохочет, как открывает рот, — клоун, рыжий клоун в цирке, а как грустит по-детски, почти шарж», — комментировал он ее игру. На просмотрах он сажал меня рядом, и зарождающаяся во мне любовь набухала, как тесто на дрожжах, от тепла, внимания, ощущения нужности. Ему свойственно было желание научить, образовать, приобщить к культурному слою, вывести на другой уровень социальной и внутренней свободы всех, кто его окружал во время совместной работы на картине. Так называемый «ликбез» по-кончаловски распространялся и на толстых теть преклонного возраста, и на светских красавиц, и на девочек и мальчиков, называемых актерами, и на всевозможных старичков и старушек, попадавших в его водоворот на правах своеобразной челяди.

В «образовательную» программу входило не только ознакомление с фильмами, фотоальбомами, живописью и музыкальными произведениями, но также в большой степени то, как и чем нужно питаться. В особенности восхвалялось сыроедение и вегетарианство. В качестве аргумента приводился неизменный ослик, который ел травку, и ему этого хватало, тогда как человек, питающийся мясом в конце двадцатого века, приравнивался к хищнику. В пользу сыроедения также предлагалось сравнить навоз травоядных с дерьмом всех остальных — первое не воняет, в отличие от последнего. Лекция о правильном питании могла застигнуть «ученика» в момент

поглощения долгожданной котлетки, которую «учитель» клеймил словом «падаль». Пожиратель «падали» рано или поздно переставал питаться на глазах у режиссера или переходил на поощряемую мэтром геркулесовую кашу, дабы приобрести в глазах посвященного окружения киногруппы человеческие черты. Все были в курсе, что у Андрея Сергеевича недавно открылась язва и теперь он вынужден сидеть на специальной диете, потому относились с пониманием к его пристальному вниманию к вопросам здоровья, чем отчасти и объясняли его поиски новых путей.

Философские эскапады также были неотъемлемой частью ежедневного существования Андрея Сергеевича. Он склонялся к западническому воззрению на историю России, цитировал Чаадаева, а говоря о личной свободе, непременно упоминал Ницше и его Заратустру. Модная в то время восточная философия, не успевшая стать популярной в отечестве, уже была на его вооружении. Он штудировал индуизм, буддизм и учение дзен, артикулируя их постулаты всем, кто жаждал знаний или был застигнут врасплох рассуждающим режиссером. Он любил подчеркивать, что сам еще недавно был грубым азиатом, способным из ревности ударить женщину, но что со временем начал превращаться в европейца, уходить от иррациональности страстей в пользу здравомыслия. Не последнюю роль в этом сыграло влияние его жены-француженки: собственно, и сам выбор этой европейской женщины был следствием его изменившихся воззрений.

Но основным его детищем были актеры. В группе все должны были холить и лелеять главных героев и служить верой и правдой творческому процессу. Равностепенное значение отводилось гриму, костюму, реквизиту, свету, декорациям, звуку, пленке — на всем лежала печать пристального внимания режиссера. Грим и краска привозились из Франции и Италии через знакомых, оттуда же поступали и джинсы для главных исполнителей. Лучшие журналы западной моды были под рукой для поиска причесок, выкроек и фасонов блузок в стиле хиппи. Редко когда впоследствии, если когда-либо вообще, я встречала подобное внимание режиссера ко всему, что составляет материальный мир фильма, не говоря уже о его духовном аспекте. (Я опускаю в этой связи режиссера Рустама Хамдамова, с которым встречусь на картине «Анна Карамазофф» — его внимание к изобразительной стороне кадра естественно по определению, так как он в первую очередь профессиональный художник.) Кончаловский так и называл фильм — миром: реальным, индивидуальным, имеющим собственную атмосферу, характер и образный ряд. Стихи

Пастернака с их подмосковной летней флорой, пропитанные дождем и чувственностью, вдохновляли всю лирическую часть «Романса о влюбленных».

Вполне естественно, что к началу съемок, а именно к экспедиции в город Серпухов, я была трансформирована внешне и внутренне и готовилась к предстоящей работе как к вооруженным действиям. Режиссер поставил вопрос ребром: «Ты могла бы умереть ради фильма?» Он, конечно, выражался образно. «Могу!» — отвечала я по-спартански. На темечке у меня красовался выстриженный хохолок, развевающийся при малейшем дуновении ветерка, волосы были слегка высветлены, сигареты съеденной Красной Шапочки канули в вечность вместе с лаком для ногтей. Я не ела мясо и тяжелую пищу — я уже не была в полной мере самой собой — а это и есть рабочее состояние актрисы.

Как-то вечером Андрей Сергеевич пригласил меня к себе на улицу Воровского (это, по сути, был дом его родителей, где в основном проживал Сергей Владимирович. Сам же Кончаловский снимал квартиру неподалеку, для себя и жены Вивиан). Преданная семье Михалковых домработница Поля угощала меня супом из лука-порея и черникой с молоком. Представлена я ей была как «Леночка, исполнительница главной роли будущего фильма». Когда Поля ушла, мы перекочевали из кухни в гостиную для неторопливой беседы под звуки работающего телевизора.

По мере наступления сумерек наш разговор приобретал все более интимные черты. «Зачем ты носишь эти железобетонные лифчики? Тебе вполне можно обойтись и без них, как это делают теперь на Западе». Речь шла о последней реликвии, оставшейся от моих прежних отношений. Любое замечание мужчины Кончаловского я интерпретировала как желание своего режиссера, и лифчики исчезли вместе со всеми атрибутами прошлой жизни. Когда стемнело окончательно, мы уже целовались. Обвив его голову руками, я почувствовала, будто обнимаю компьютер, который вдруг начал сбоить от предложенной ему новой программы. Создавалось впечатление, что я — представитель земной цивилизации, участвую в эксперименте: некий инопланетянин, робот, титан, желает переболеть человеческими болезнями. Перейдя из гостиной в спальню, Кончаловский-мужчина заметил, что любовниками стать очень непросто: не все подходят друг другу, и не надо в этом торопиться. Потом как режиссер прокомментировал мою наготу: «Надо худеть — такой ты можешь быть, когда станешь старенькой, а сейчас ты должна быть тоненькой, девственной, нимфеткой… Нам же предстоит снимать тебя обнаженной!» — «А

когда я буду старенькой?» — переспросила всемогущего волшебника «соломенная голова». «Лет в тридцать», — ответил он. До тридцати была еще куча времени, и я облегченно вздохнула. Итак, отправляясь в Серпухов, где начинались съемки фильма «Романс о влюбленных», я имела двойную задачу — сыграть Джульетту 70-х по имени Таня, а также справиться с ролью новой любви Андрея Кончаловского.

Глава 17. Г-О-О-О-л!

Ура!!! В Серпухове снималась летняя натура: проезды на мотоцикле, проходы вдоль реки, барахтанье в крапиве, а также пробежки, в которых мы имитировали знаменитых персонажей мультфильма «Ну, заяц, погоди!». Они возникли от комичного соотношения нашего с Женей роста — чего не было в сценарии. Но особую сложность представлял эпизод на барже, содержавший элемент мюзикла. Женин персонаж, Сергей, берет гитару и поет (голосом Сашки Градского), а я танцую и тоже пою («не своим» красивым сопрано). Так как ни я, ни Женя не были ни певцами, ни танцорами, да и сам жанр всегда был слабым местом советского кинематографа и театра, Кончаловский приставил к нам балетмейстера — рыжеволосую и веснушчатую Светлану Люшину. (В зимний период с нами работал Евгений Харитонов — фигура подпольной богемы конца 70-х. О том, что он был личностью одиозной, знаковой и трагической, я узнала много позднее, после его внезапной кончины в 81-м году.) По настоянию режиссера Света была с нами беспощадна. По нескольку часов в день она учила нас не только танцевать, но даже ходить, бегать и прыгать в кадре. (Если вы считаете, что ходите и прыгаете нормально, то попробуйте снять себя на кинопленку — вас постигнет разочарование!)

Благодаря киногеничной наружности Свете самой удалось сняться в немых кусках с Иннокентием Смоктуновским, и порой мне казалось, что она и есть наилучшая кандидатура на роль Тани. В такие моменты я утешала себя тем, что моей сильной стороной являются чисто актерские качества: легкая возбудимость, эмоциональность, естественность поведения перед камерой. Но драматические сцены были еще впереди, а теперь мне приходилось бороться со своим телом, находясь под непрестанным обозрением всей съемочной группы. Работа над собой не прекращалась даже в перерывах на обед — мне позволялось есть только овощи и фрукты, а об ужине не могло быть и речи, только чай. Короче, я целиком принадлежала прожорливому чудищу по имени «кино». Но! Видно, моих

стараний оказалось недостаточно. После очередного дубля с танцем режиссер не выдержал: «Что ты пляшешь как корова?! Легче, ритмичнее, тебе уже все показали. Придется продолжить завтра». У меня был шок. «Всемогущий волшебник» заговорил вдруг голосом Змея Горыныча? Впрочем, перевоплощение свойственно не только актерской профессии — актеры всего лишь имитируют то, с чем сталкиваются в жизни. И я замолчала, почти как героиня фильма Бергмана «Персона». Если бы не извинения режиссера, неизвестно, сколько времени я бы пребывала в таком состоянии. По дороге в гостиницу он задавал мне вопрос, другой, третий, но ответа не последовало.

Оставшись в номере одна, я села на стул и уставилась прямо перед собой не мигая. «Пусть я маленькая, неуклюжая, но ведь я так старалась… И потом, я всегда любила двигаться под музыку, даже хотела быть балериной! „Корова“, — разве так говорят влюбленные в тебя мужчины? Он не влюблен… пусть, но я никогда не смирюсь с тем, что меня унижают, ни-ког-да! Слышите, вы все, — никогда!» В дверь постучали, вошел Кончаловский. «Прости меня, Леночка, любимый зайчик, прости! Я не должен был требовать от тебя то, что может сделать балерина, больше себе этого не позволю!» Я начала оттаивать, — я поверила. Что поделаешь, таковы условия «игры», как в театре, так и в кино: режиссер любит своего актера — актер лезет из кожи вон, чтобы заслужить одобрение режиссера. Добровольно приносить себя в жертву и получать от этого удовольствие — часть актерской профессии. А вероятность в любой момент стать жертвой — агрессии, насилия, грубости — всего лишь факт нашей печальной реальности, не имеющей отношения ни к творчеству, ни к профессии, ни к игре.

Наметившаяся катастрофа была вовремя предотвращена. Я снова бегала по траве и песку, валялась в крапиве, залезала в холодную воду и была тем счастливым зайцем, которого догонял и не мог догнать серый волк. Пришел и первый материал. Режиссер пел мне дифирамбы за глаза и в глаза, и это было искренне. По вечерам я слышала постукивание в стенку — он жил в соседней комнате. Меня приглашали зайти в гости перед сном. Наш роман продолжался…

Как-то раз, после съемки одного из объектов, мы с Кончаловским шли по проселочной дороге, как вдруг перед нами предстал полыхающий пламенем дом. Пожар бушевал, видно, уже давно, и надежды на то, что дом выстоит, не оставалось никакой. Я помню застывшего перед этим зрелищем Андрона, который долго не мог оторваться и все смотрел, как исчезает в огне двухэтажное жилище. Весь вечер потом он находился в

смятенном состоянии — то погружался в свои мысли, то принимался о чем-то рассказывать или вдруг осенял себя крестным знамением. Меня поразила его реакция: он воспринял пожар как зловещий знак, символизировавший, очевидно, сожженные корабли — сожженное прошлое. Этот случай не только подтвердил мистический настрой самого Кончаловского, но и стал примером, как работает ассоциативный механизм художника. Привыкнув зашифровывать реальность в образы и метафоры, он получает обратную реакцию своего сознания: вид горящего дома превращается для него в знамение, которое он связывает с собственной жизнью.

Наступил июль — время проведения в Москве Международного кинофестиваля. Андрей Сергеевич собирался уехать на десять дней в столицу. Накануне отъезда он вдруг предложил мне поехать вместе с ним. Я согласилась, заинтригованная выпавшей мне честью провести десять дней с Кончаловским на правах его дамы. Очутиться среди пестро разодетой толпы прямо после съемок в серпуховской крапиве, где я заработала множество ссадин и ожогов, — само по себе ощущение весьма острое. Но тем более приятное, ибо теперь твое лицо, тело, руки — настоящий кинематографический трофей и останется им, пока фильм не будет снят.

После первой же московской вечеринки, с которой мы возвращались уже на рассвете, режиссер сделал для себя маленькое открытие: «А ты нравишься мужчинам, я заметил, как они тянутся к тебе». Очевидно, что это скорее подстегнуло его мужское самолюбие, нежели порадовало, — он с житейским, а вовсе не с творческим любопытством стал приглядываться ко мне. Ночевать нам пришлось на той квартире, что он снимал с женой. Через пару дней я узнала, что Вивиан прилетела из Франции и он объявил ей о романе. Вскоре она оставила в квартире записку: «Забирай свое гавно, я не хочу, чтоб здесь жили твои бляди».

Улыбнувшись на слово, написанное с ошибкой, он вздохнул: «Эх, шатик, шатик!» — затем скомкал записку и ничего не стал предпринимать (французской жене пришлось ночевать в загородном доме). В переводе на русский «шат» означало «котенок», а все остальное — что у супругов продолжается давно начатая полемика. Из первого знакомства с «котенком» я догадалась, что она любит материться, в чем позднее убедилась при личных встречах. Впрочем, русский мат в устах француженки приобретал благообразное звучание, казалось, что она декламирует Поля Верлена, а вовсе не посылает тебя на х…, отчего хотелось внимать ее речам с благоговейной улыбкой. Что же до меня, новоявленной «б», то я превратилась из «зайца» в

«кролика», застрявшего между любовью и страхом, опытом и неведением, творчеством и авантюрой. Но так как любовники сродни революционерам-подпольщикам, прямо шагающим к поставленной цели, то и я, вслед за своим режиссером, не оглядывалась на подстреленных товарищей. Так и было… Разложив постель прямо на полу, дабы не осквернять законного брачного ложа, и бросив на подушки гудящие от событий головы, мы вслушивались в тишину, ища ответа. «Я лю-блю… те-бя…» — отважился наконец произнести один из нас. И облегченно вздохнул — поблизости не было ни камеры, ни микрофонов, ни осветительных приборов, ни жены.

Фестивальные торжества обернулись вереницей коктейлей, фуршетов и нескончаемым людским муравейником. Новичку, затесавшемуся посреди разноголосой толпы, трудно постичь все прелести кинематографической давки. Он ждет обстоятельной беседы и осмысленных разговоров, но увы — на нем едва задерживают воспаленный взгляд, задавая вопрос, не ждут ответа, опрокидывают на ходу бокал шампанского на единственный вечерний костюм и вместо извинений целуют в щеку, как старого знакомого. Другое дело кинематографисты с опытом. Здесь они умудряются завязывать деловые отношения, черпать новые идеи и даже расслабляться. Кончаловский во всем этом хаосе ориентировался как рыба в воде, успевая улыбаться несметному числу знакомых, перебрасываться несколькими фразами, объясняющими «что», «где», «когда» в его нынешней жизни, и линять из всех ситуаций, которые сулили ему скучные долгие разговоры. Он поистине был мастером этой сложной науки: не дать людям сесть тебе на шею и при этом не оставить никого в обиде.

Но главный сюрприз ждал меня при посещении посольств. А если говорить определеннее, мы делали «чес» по входившим в фестивальную программу посольским вечеринкам, порой побывав на трех-четырех подряд, в каждом месте по полчаса. Он давал мне задание: «Пока я разговариваю, ты возьми салфетку и собирай что есть вкусненького на столе. Побольше икры, креветок и зелени, зелени!» Когда моя миссия была выполнена, я отступала поближе к выходу. Тогда он делал мне знак: понял — и, сославшись, что его где-то ждут, раскланивался с собеседником. Содержимое салфетки поедалось тут же в машине, которая везла нас дальше.

Я и представить себе не могла, что фестиваль с Кончаловским будет принимать такие хулиганские формы. Но это упрощало задачу: мне не пришлось изображать светскость, от которой болят мышцы спины у начинающих. И все же он познакомил меня с людьми, которых давно знал и любил. Это молчаливый и

исполненный достоинства Отар Иоселиани, французский режиссер Паскаль Обье, а также американский продюсер Том Ладди. С последним я буду тесно общаться, когда приеду в Калифорнию. Тогда меня поразит его просвещенный альтруизм и чувство товарищества, свойственное всем американским либералам, и в частности шестидесятникам.

Несмотря на то что я закончила английскую спецшколу, объясняться с иностранцами мне было сложно. И дело тут не столько в языке, сколько в неумении вести себя в незнакомой и «непринужденной» светской ситуации. Рожденный на Западе человек способен заговорить с незнакомцем и быть интересным ровно столько времени, сколько ему отпущено ситуацией. Тогда как русский человек задает себе вопрос: «О чем мы можем говорить, если он меня совсем не знает?» Вести разговор не о себе, а о посторонних вещах, как-то: культура, политика, история, даже погода (что в основном и составляет предмет светской беседы), — мы не умеем. Нам это не было привито, а потому казалось абсурдным. Впрочем, те, кто владеет мастерством светского разговора, считают его не менее бессмысленным. Подтверждением тому служит и стремление Кончаловского бросить вызов скуке, и фильмы Вуди Аллена, показывающие глупость нью-йоркских светских раундов, и знаменитые насмешки над буржуазными ритуалами Бунюэля. Что уж говорить об англичанах и их юморе по этому поводу! Да, пожалуй, вся артистическая элита нашего веселого мира успела высокомерно плюнуть в сторону навязываемых этикетом правил поведения. Из чего я сделала вывод: умение хладнокровно делать то, что противно твоему сердцу, но к чему обязывают приличия, и называется «хорошим тоном». Это медаль за терпение.

В один из фестивальных дней Андрей Сергеевич сказал, что его мама, Наталия Петровна, устраивает ужин у себя в доме на Николиной Горе. Среди многочисленных гостей она приглашала и меня с Женей Киндиновым. «Там будет Вивиан», — предупредил Кончаловский. Я сомневалась, стоит ли мне появляться на ужине, коль скоро его жена знает о наших отношениях. Но он убедил меня, что лучше будет поехать, так как мы с Женей приглашены в качестве главных героев его будущего фильма. Положившись на его авторитетное мнение, я отправилась на Николину Гору.

Ужин был накрыт на веранде, за огромным столом разместилось человек двадцать. Меня посадили на противоположном конце от жены Кончаловского, что оградило от неловкого общения. По счастью, все разговоры обходили стороной тему наших съемок, и меня в частности. Мы с Женей

молча пережевывали салаты, он сидел напротив меня и заговорщически улыбался, проявляя солидарность с партнершей в трудной ситуации. Вивиан же была многословна. Она хорошо, хотя и с акцентом, говорила по-русски, иногда переходя на родной французский, который многие понимали, например Наталия Петровна и Андрей Сергеевич. В какой-то момент разгорелся спор. Вивиан собралась ехать в Грузию вместе с пригласившим ее туда Отаром Иоселиани, а Наталия Петровна была категорически против и повторяла, что не отпустит жену Андрона (она звала сына именно так) в Грузию без мужа. Я догадывалась, что стремление гордой француженки отправиться в страну гор спровоцировано неверностью супруга. Она бросала вызов, который Андрей Сергеевич принимал, а его мать — нет.

Ужин закончился, пришла пора разъезжаться. Кончаловский взялся отвезти меня домой, обратно в Москву. В его машине я вдруг обнаружила письмо от Вивиан, которое было адресовано мне. Добравшись до дома и оставшись одна, я прочитала его. Мелким убористым почерком она описывала сложившуюся ситуацию. Образно представляла свои отношения с мужем в виде могучего дерева с множеством ветвей и переплетений, тогда как нашу с ним связь — в виде одинокого сучка. В конце стояло категорическое: «Я люблю своего мужа и умею ждать». Последняя фраза мне понравилась. Я даже подумала, что поменяйся мы с ней местами — закончила бы письмо точно так же. При нашей очередной встрече с Кончаловским я рассказала о содержании письма — о его существовании он уже знал. «Что делать, Андрей Сергеевич? — спрашивала я его. — Ваш брак в опасности. Если можно его спасти тем, что мы прекратим наши отношения, я готова это сделать. Мои родители вас не упрекнут, и я буду сниматься, как и прежде». В ответ он вздохнул, грустно улыбнулся и сказал, что в его браке ничего уже невозможно изменить и что между нами все должно остаться как есть.

Вскоре мы возвращались в Серпухов доснимать летнюю натуру. По дороге он пересказал свой разговор с женой, которая все-таки собрала чемодан и смылась в Грузию. «У нее замечательное чувство юмора, — говорил он о Вивиан, — она сказала, что теперь они с Джиной две брошенные женщины». Речь шла о Джине Лоллобриджиде, которая, как выяснилось, тоже была гостьей фестиваля, но Кончаловский избежал встречи с ней. «Ты моя анти-Джина! — сказал он, глядя на мой профиль. — У нее нос курносый, а у тебя с легкой горбинкой. Она старая брюнетка, ты — юная блондинка!» Меня от этих слов распирало чувство гордости за Отечество, как если бы наша сборная по футболу выиграла мировое первенство, обыграв две сильные

команды — сборную Италии и сборную Франции.

Через две недели мы окончательно вернулись в Москву. На территории «Мосфильма» снимали первый любовный диалог Тани и Сергея, тот самый, читая который в комнате режиссера в январе я лила слезы. 31 августа был снят последний дубль летней натуры. В сентябре группа отбывала в Севастополь для съемок военных сцен, уже без меня. После того как прозвучало последнее «снято», режиссер подошел ко мне и сказал слова, которые, казалось, были заготовлены у него заранее: «Вот и кончилось лето, мы прожили его вместе. Теперь у тебя начинаются занятия в институте, а я уезжаю на месяц снимать дальше. Ты мой любимый зайчик, я хочу, чтоб ты это знала. Я был счастлив с тобой!» Я поняла, что он принял решение расстаться. Но через несколько дней он снова захотел увидеться. Мы встретились в доме на улице Воровского. Сидя в кабинете своего отца, он перебирал бумаги, отвечал на звонки, а я крутилась рядом, разглядывая журналы и сувениры, которых у Сергея Владимировича было огромное количество, — подарки читателей, так я решила. Вдруг он подозвал меня, взял за руку и, глядя в лицо, произнес свои мысли вслух: «А мы все длимся и длимся… и не можем разъединиться…» Он хотел расстаться, но не смог. Я все еще была зрителем на сеансе виртуального фильма про любовь Андрея Кончаловского к Елене Кореневой.

Глава 18. Ангел или полюбовница

Когда осенью я вернулась в училище, все отметили произошедшие во мне перемены. Я была намного худее той, прежней, держалась отстраненно — на всем облике лежала печать озабоченности сложными проблемами. Слухи о том, что я снимаюсь в широко разрекламированном фильме известного режиссера и что у меня с ним роман, уже поползли по Москве и не обошли «Щуку». На меня смотрели с долей зависти, но и не без сожаления, предполагая, что я попала в запутанную историю с женатым человеком. Окружение в подобных случаях превращается в зрителя, который хочет просто досмотреть «пьесу» до конца — независимо от того, чем она закончится. Мой педагог по иностранной литературе, Ирина Александровна Лилеева, как-то задержала меня после лекций и по-матерински предупредила: «Я знаю женщин, которые были в твоей ситуации» — она намекала на Ирину Купченко, с которой ее связывала давняя дружба. По слухам, известным многим, у Ирины во время съемок фильма «Дворянское гнездо» тоже случился роман с Кончаловским. «Фильм заканчивается, и все проходит, а в душе

остается травма. Учти и будь к этому готова!» — подытожила моя доброжелательница.

В мосфильмовских коридорах объяснялись более определенно: у Кончаловского репутация Синей Бороды — он молодеет, а с его дамами приключаются всякие напасти. Тем временем Андрей Сергеевич, ничего не подозревавший о своем зловещем образе, звонил из Севастополя и тихим ласковым голосом справлялся о том, как идут дела в институте, говорил, что соскучился, и наконец предложил мне приехать навестить его. Я отпросилась из училища и оказалась на съемочной площадке, где мне посчастливилось покататься на настоящем танке-амфибии, сняться с автоматом Калашникова и полазить по сложным военным сооружениям для тренировки десантников. Режиссер смотрел на меня влюбленными глазами, и было ясно, что это не конец, а только начало.

Вернувшись в Москву, он принял решение жить вместе. Мы поселились в маленькой квартирке на Красной Пресне, недалеко от хлебозавода. Я с любопытством осваивала новое положение, оказавшись впервые вне родительского дома. Теперь я часто бывала на Николиной Горе, где познакомилась ближе с Никитой, который незадолго до того женился и переживал медовый месяц. Несколькими месяцами раньше я уже бывала в этом загородном доме и даже осталась здесь как-то ночевать. Меня уложили спать на маленьком диванчике, в коридоре на втором этаже, а по соседству располагалась спальня Андрея Сергеевича. Не успела я осмотреться на новом месте, как услышала скрип ступеней — медленно и неотвратимо Никита Сергеевич вырастал, как из-под земли, и наконец образовался в полный рост, бросил в мою сторону сочувствующий взгляд и прошел к старшему брату. «Господь покарает тебя за это!» — сказал он ему, как я позднее узнала, — очевидно, это относилось к нашей разнице в возрасте и к роману на фоне брака, в котором был ребенок. Посреди ночи я проснулась, и меня охватил беспричинный страх — что уже случалось со мной и прежде. Преодолевая неловкость, я все-таки пробралась в спальню к Кончаловскому и, объяснив, что мне страшно спать одной, залезла к нему под одеяло. Мое поведение пробудило в режиссере бурю эмоций: «Ты и есть наша героиня, Татьяна, она ведет себя непосредственно, поддаваясь порыву чувств, я очень люблю тебя за твою стихийность!» Для меня его реакция была так же неожиданна, как для него моя «стихийность». С этого момента я невольно начала стремиться к тому, чтобы походить на некую Татьяну, которую создало воображение Андрея Сергеевича.

Теперь мое присутствие в доме приобрело легитимность, и я

уже не спала на диванчике, хотя не отделалась окончательно от всех своих страхов. Рядом с молодоженами я невольно проводила параллели между их отношениями и нашими. И понимала, что у нас случай особый: я не была в доме ни хозяйкой, ни даже невестой. О разводе Кончаловского не могло быть и речи, так как брак с иностранкой гарантировал беспрепятственный выезд за границу. Не говоря уже об алиментах для французской подданной, которые в те годы он бы не осилил. Более того, все сулили скорый конец отношениям со мной, возникшим по творческому вдохновению, а значит — по заблуждению. И потому я проглатывала рассуждения того же Никиты, объясняющего жене по какому-то поводу, что «режиссерам свойственно влюбляться в актрис, что поделаешь», — я была наглядным экспонатом и подтверждением правила. На замечание Никитиной тещи: «Когда у Андрея в доме будет жена — все встанет на свои места» — мне тоже нечего было возразить.

У меня к тому моменту впереди еще были павильонные сцены, и я должна была оправдать свои творческие амбиции и надежды режиссера. А для него самой большой любовью было кино. Избранная на главную роль актриса представляла собирательный образ всех женщин и выражала в том числе его собственный голос. Реальная жизненная ситуация оказывалась вторичной по отношению к «фильме», становилась вспомогательным материалом, не всегда управляемым, в котором допускались множественные импровизации и где были возможны драмы, разбитые сердца, скандальные сцены — «вульгарная» и непривлекательная данность.

Отчаявшись, как мне казалось, найти истину в вечном конфликте полов, Кончаловский-мужчина игнорировал предъявляемые ему обвинения морального толка, сосредоточив все лучшее, что в нем было, на профессии. Он готов был пойти на любые жертвы (в том числе принести в жертву других) ради воплощения своей мечты — кино. И даже отъезд на Запад, как я тогда понимала, был задуман им для поиска большей свободы в профессии — на том единственном поле боя, на котором он готов был сразиться с пугающей его реальностью. Проезжая как-то по Красной Пресне, он взглянул за окно своего «Вольво» и робко признался: «Я этого совсем не знаю!» «Это» — спешащие после работы советские служащие, перекошенные сумками и заботами. Встретить в Советском Союзе человека, который «это» не знал, само по себе было большой ценностью. Он знал другое — чего не знали те, кого он видел из окна своей машины. И он это понимал — как все мы понимаем, какую роль нам выпало играть в этой жизни. У него была воля и амбиции победителя, за ним стояло

имя его рода, и он хотел, мог и должен был вырваться из круга премированных и отправленных на пенсию деятелей кино. Предстояло нарушить закон, установленный для большинства: хотеть только то, что дозволено, стать в их глазах «паршивой овцой» и в то же время примером — наш человек в Голливуде! Да кому такое в голову взбредет в здравом рассудке? Но Андрей Сергеевич никогда не подходил к себе с общими мерками. Его искушали страсти сильных мира сего: Наполеон, Че Гевара, Коппола, а из наших разве что Бондарчук. Не забуду, с каким трепетом и азартом рассказывал он, как пил водку, аж из одного стакана, с великим французским фотографом или как итальянская кинодива собственноручно стирала у него на глазах свое нижнее белье. «Знаешь, как поехать в Рим? А сниматься в Голливуде? Правда, хочется?! Для этого сначала нужно набрать телефон Джины… затем послать баночку икры…» — говорил он, лукаво улыбаясь и разглядывая журнал с видами средиземноморских пляжей.

В советские времена такой прагматизм и даже панибратство в отношении кумиров, особенно западных, казался верхом дерзости и хулиганства, а сам Андрон — чуть ли не подпольным диссидентом в стане Союза кинематографистов. И все же только в России празднуют победу одного как общую, «нашу» победу. Он «прорвался», он «соблазнил», он «выбил» деньги, он пожал руку самому «Пупкину-Тютькину» — а значит, и мы. Кончаловский, хоть и вырос на Николиной Горе, оставался советским человеком, и мечты у него были по-советски грандиозными: во имя общей идеи. Во мне он нашел благодатную почву для героического пафоса — я лепила себя по образу и подобию той, которая пригрезилась режиссеру и рабу Божьему Андрею Кончаловскому. Задача стояла не из легких: приблизиться к идеалу не только на экране, но и в жизни. Мне всерьез казалось, что я соприкоснулась с самой Историей. В одном из интервью того периода я без тени юмора рассуждала:

Журналист: Какой фильм вы считаете любимым?

Ответ: Я люблю все свои фильмы. Но если у меня есть шанс остаться в памяти будущих поколений, то только в связи с картиной Кончаловского.

Журналист: Почему вы так думаете?

Ответ: Ему гарантировано место в Большой Советской Энциклопедии, его жизнь станет предметом исследований, а я — факт его биографии…

Через несколько лет я пойму, что образ, который я примерила на себя, логически подводит меня к исчезновению. Идеальная романтическая героиня не может стареть, полнеть,

выходить замуж, разводиться, становиться Заслуженной деятельницей искусств, отправлять детей в детский сад и быть прикрепленной к клинике СТД. Одним словом, она не может амортизироваться со временем, а значит, должна умереть с удивленно поднятыми бровями и чуть приоткрытым ртом. К счастью, в последний момент я плюнула на трагическую концовку, предпочтя ей бесславные будни в Соединенных Штатах Америки, где быстро вылечилась от пошлого романтизма. Но то было позже, а теперь, оставшись один на один с Кончаловским, я стала свидетелем его терзаний и одиночества, единственным доверенным лицом, которому он открывался со своими противоречиями и слабостью. Случалось, я просыпалась ночью от того, что чувствовала его рядом бессонным, глядящим в потолок широко раскрытыми глазами. «Ты мой ангел, помни это, ты нужна мне, — повторял он как заклинание, — я очень плохой человек, не будь хуже меня!»

Глядя на его скуластое, волевое лицо, я предполагала самое худшее: убил, ограбил, изнасиловал несовершеннолетнюю — теперь вот мучается, и мне хотелось пройти с ним весь путь до конца, как это сделала Сонечка Мармеладова. Но вскоре он навязчиво напоминал: «Я уеду, я не могу тебя взять с собой, я ничего не гарантирую…» И снова: «Я умер, я уже умер однажды, а ты?!» Не до конца понимая, почему этот красивый человек «уже умер», я хваталась за отведенную мне роль «ангела» (а значит, спасителя) и тайно лелеяла мечту, что смогу возродить его способность любить и веру во взаимность. Когда он трезво предупреждал: «Тебе нужна любовь, а я могу дать только ласку», — мое раненое самолюбие удовлетворялось тем, что мне, девятнадцатилетней, выпала миссия врачевать раны повидавшего «все» тридцатипятилетнего Кончаловского.

Переживая возрастной кризис и досадуя на опыт мимолетных связей, он рассуждал о физиологической близости, которая, по его словам, не менее бессмысленна и монотонна, чем «раскапывание бесконечной ямы». Доставалось порой и всему женскому роду в целом. Режиссер, так драматически повествующий в своих фильмах о любви, голосом разочарованного мальчика жаловался на толстых и грудастых, что годятся только как подушки (уткнуться и забыться), на иных, знаменитых, — что их волосы пахнут рыбой, нос — крючком, а зад — как у груши, что красотки мстительны, сварливы, хитры, азиатки слишком покорны, а европейки чересчур независимы. Однажды в пылу скептического красноречия он низверг с пьедестала женское тело как таковое в пользу «несомненно более

совершенного» мужского: «Посмотри на греческие скульптуры, — как гармоничен мужской торс… А фаллос?»

Подобные речи укрепляли меня в желании предстать «гением чистой красоты», приблизиться к образу нимфетки, столь полюбившемуся Кончаловскому (хотя ею я уже не могла быть ни по возрасту, ни по факту.) Теряя килограммы веса и «сбивая грудь», я культивировала в себе бестелесную Музу, сублимируя в эстетических и духовных поисках свою женскую неудовлетворенность. Потому, возможно, в течение полутора лет я не осмеливалась перейти с ним на «ты»: мое «вы» в обращении к мужчине, с которым я спала в одной постели, гарантировало нерушимость любовной фантазии. «Что-то фрейдистское!» — скажет догадливый интеллектуал о нашей связи. И в этом тоже заключалась щемящая сердце истина. Кончаловский действительно относился ко мне, как будто я была его дочерью, его ребенком. Хотя у него был сын Егор от брака с Натальей Аринбасаровой и дочка Саша от брака с Вивиан, свои отцовские чувства, как будто впервые, он испытал во взаимоотношениях со мной, своей героиней. Или, как говорят в таких случаях — любовницей.

Страх перед старением, уже тогда существовавший в Кончаловском как идея-фикс, был причиной его тяги к женщинам намного моложе, что само по себе определяло характер любовных отношений. По странной иронии обстоятельств и для меня этот род любви казался единственно приемлемым. После травмы, пережитой в конце отношений со своим первым мужчиной, мне нужна была сложная конструкция кинематографа с его мифотворчеством для возвышения чувств земных до уровня идеальных, «небесных». Как часто в ту пору, встречая в метро или на улице целующуюся парочку, я отворачивалась в испуге и отвращении, не веря, что плотское желание — так я определяла то, что соединяло мужчин и женщин, — может обойтись без насилия и неизбежного после него отторжения.

Сама природа словно подыгрывала продиктованному мной замыслу превратиться в подростка — у меня нарушился женский физиологический цикл. Такое случается на войне и у спортсменок: от нервного стресса в первом случае и от физических перегрузок — во втором. («Ленка, что с тобой?» — недоуменно вопрошала моя сестра. И я задумчиво отвечала: «Воюю, наверное…») Мой жизненный курс лежал в направлении, противоположном браку и семье: актриса — это нечто среднее между ангелом и грешницей. И природа ответила на вызов, лишний раз подтвердив: что загадаешь, то и будет. Вот сиди и разгадывай потом: а то ли ты загадала? Тем нелепее было

узнавать о распущенной сплетне, что я беременна, выслушивать упреки, что я околдовала чужого мужа, и подозрения в брачной корысти. Не без грусти воспринимала я подобные разговоры, но и не без ощущения силы, которую знает человек, стоящий между мужчинами и женщинами, несущий крест своей отверженности, — то ли андрогин, то ли кастрат, святой или мученик, а может, все в одном. Чужая душа — потемки, а своя и подавно. Что соединяет двоих, знают только они сами, а порой лишь догадываются. И тем не менее, глядя на вновь образовавшуюся пару, мы говорим: роман, связь, любовь, похоть… — и все. Еще мы говорим: снимается кино — и это нам многое объясняет.

Окружение киногруппы «Романса о влюбленных», включая актеров Женю Киндинова и Сашу Збруева, относилось к нашему роману благосклонно. Как часто бывает в подобных ситуациях, они пытались рассмотреть черты уникальности в женщине, которая стала избранницей режиссера, и любили меня отраженной любовью. Но женщины «с характером» относились к мужской ветрености строже. Начались съемки в павильоне. Мне предстояло работать в паре с Ией Саввиной, исполнявшей роль матери. Снималась сцена, когда Таня приходит домой со свидания и моется под душем. Еще в гримерной Ия Сергеевна, не заметив моего присутствия, разразилась красочным монологом в адрес режиссера и его «потаскушек», наградив и меня звонким словцом, которым в простонародье называют мелких тварей, прижившихся на солдатском теле.

О том, что характер Ии Сергеевны совсем не соответствует ее божественной внешности, я была предупреждена заранее. «Ия незаменимый друг в беде, но если ты счастлив…» — напутствовал Кончаловский. Уже в павильоне, стоя в ванной между дублями, едва прикрытая полотенцем от глаз посторонних, я услышала комментарий знаменитой партнерши: «Кончаловский, меня в Голливуд сниматься не зови, не пойду, я на это не способна!» Сцена с обнаженной натурой была воспринята как цитата из американского кинематографа, чуждая русской душе и традиции целомудрия. Короче, досталось и режиссеру и мне, как лучшей его ученице, от кроткой и робкой «дамы с собачкой». Что уж говорить о том, в какой «традиции» воспринимались наши отношения за кадром. Разврат, да и только…

(*PS:* Встретив прошлым летом Ию Сергеевну на панихиде по Олегу Николаевичу Ефремову, я обратила внимание, как мы, в сущности, с ней похожи. Маленькая, вся мокрая от слез и страданий, она вызвалась проводить меня по мхатовским катакомбам в нужную мне комнату. «Мама с дочкой», —

подумала я, испытав неловкость за наши слишком крохотные габариты, льнущие к массивным перилам лестницы. Теперь мне были понятны и ее боль, и тот счет, что она предъявляла к жизни. Что уж говорить — к мужчинам…)

Глава 19. Детище — мираж

Мое участие в картине подходило к концу. Зимой 1973-го снимались павильонные сцены. Наиболее трудной оказалась встреча Тани с Сергеем, ее разговор с ним о том, что она замужем, а «та, другая — умерла». Мы долго маялись, примериваясь, как играть самую изощренную в психологическом отношении ситуацию. Кончаловский отсылал меня на задворки павильона, требуя, чтобы я вошла в нужное состояние. Я садилась в темных декорациях, старалась вообразить себя несчастнейшей из женщин, но «состояние» не шло… «Чего от меня хотят? Ну и что ж, что я „другая, жена другого, а та умерла“, я ничего не чувствую особенного, хочу есть и спать!» — бормотала я себе под нос и в ужасе думала, что играть все-таки придется.

Меня звали на площадку репетировать, затем снова отсылали «в угол» — сосредоточиться. Кончаловскому все не нравилось, и ласковый голос сменялся металлическими нотами — он пытался хоть как-то пробудить во мне свежие эмоции. Затем неожиданная шутка: «Ребята, мы тут страдаем, а ведь зритель купит билет за рубль и обнимет девушку на заднем ряду… Для него это отдых в выходной день. Так давайте просто получать удовольствие, играть!» Снимать пришлось в два захода, не из-за брака пленки, а из-за решения сцены, которое не сразу далось режиссеру. На чем поставить акцент: на счастье, что Сергей выжил, или на драматическом известии, что любовь невозможна? Как должны встречаться двое любящих, один из которых считался мертвым?

Если идти по линии открытой трагедии, то люди проявляют себя в крайностях: падают в обморок, находятся в состоянии шока… Но чаще всего реакция наступает позднее, через осознание случившегося постфактум. Как все и всегда — позднее или просто поздно. Внешне человек продолжает совершать будничный ритуал: «Здравствуй, это я!» — «Это ты?» — «Это я! А это ты, а это мы с тобой!» Повседневная суетность служит спасительным буфером, в противном случае человека разрывает, как бомбу. А возможно, в сегодняшнем мире трудно поверить в то, что потеря любви — это трагедия. Да и вообще, если каждый день — трагедия, то к ней привыкаешь. (Один знакомый в Нью-Йорке восклицал: «Ну что Анна Каренина?! Да тут каждый день бросаешься под поезд!!!»)

Может, мы живем во времена большого фарса? И это и есть наша… будущая трагедия? Не иметь шанса на героическую смерть (как и героическую жизнь) — в лавровых венках, с неизменным уроком для будущих поколений, не иметь шанса на

катарсис — это не так-то просто! Ведь даже у Чехова, с персонажами которого мы чаще всего себя сравниваем, сильные чувства, как правило, принимают комический оттенок. А «героическим» — и в этом много иронии — становится само существование, если оно продолжается, вопреки тому, что жизнь не изменится к лучшему. Не потому ли чеховские комедии наводят на мысль об исполнении похоронного марша на губной гармошке?

Таня с Сергеем — современные Ромео и Джульетта — отличаются от своих шекспировских прототипов тем, что не расплачиваются жизнью за невозможность счастья, а остаются жить, растворяясь в ней. Они тоже умирают вместе со своей любовью, только в символическом смысле — они становятся другими: он — мужем Люды, она — женой Игоря. (Существует и такое решение проблемы: верен любви — люблю другую…) Но почему же мы тогда называем их Ромео и Джульеттой, а не просто влюбленными? Ведь не ради красного словца режиссер сравнивал их с шекспировскими персонажами? Возможно, он хотел подчеркнуть, что точкой отсчета жизни зрелого человека является пережитая им собственная смерть — как смерть его мечты о безоблачном счастье… А тот, кто не умирал, тот и не любил, и не жил, и не герой?

В метро, на лавочках бульваров, в офисах и театрах — повсюду бродят несостоявшиеся самоубийцы, реанимированные трупы… Я тоже из их числа — и все мы называем себя: «человек с опытом». «Опытом умирания?» — «…И позднейшего воскрешения!» Итак, условие продолжения жизни — это множественное перерождение. И наоборот, идеальная любовь, находясь в конфликте с реальностью, в конце концов отказывается от нее. Ромео и Джульетта сегодня — взрослее, старее своих шекспировских прообразов, они обзаводятся семейством, живут во имя «нового смысла». В их мудрости много печальной иронии. Я думаю, что пафос самого финала картины (Сергей обнимает Люду, смотрит на ребенка, затем переводит взгляд на панораму за окном) пронзителен именно потому, что мы в него не верим: не то это счастье! Это скорее выписка из больницы, тем и хороша. Мы знаем, что так именно и бывает — собрали человека по кусочкам, и когда он наконец стал различать цвет и запах, все облегченно вздохнули. Такому счастью можно сострадать. Грустному финалу с многоточием зритель сопереживает гораздо больше, чем хеппи-энду с жирной точкой в конце, это знают сегодня даже дети. Двадцатый век, век кино, нас все еще учит сопереживанию — видимо, потому, что это большой дефицит, и чем дальше, тем больше. Очевидно также, что жизнь и

есть многоточие, подразумевающее многочисленные варианты. И только точка, поставленная в своем собственном конце, гарантирует незыблемость совершенной конструкции. Это ли не смешно?

Так в окончательном варианте мы с Женей и проиграли эту сцену: замедляя и оттягивая вспышку эмоций. Мне с трудом дались слова героини о том, что «она жена другого, а та, другая — умерла». Я не верила, что Таня разлюбила Сергея и теперь отказывает ему. Кончаловский просил облегчать текст и быть в сцене очень женственной, никакой открытой драмы! Я доверилась ему, но внутренне не понимала такой задачи. Уже много позднее, приобретя опыт, близкий к опыту моей героини, я убедилась, насколько верным было такое решение. Когда сердце переполняет страдание, человек начинает убаюкивать сам себя и говорит ласково, почти шепотом: об измене, о смерти, о переезде на другую квартиру… И все же мне показалось символичным, что режиссер оставил Таню в ее изначальном образе «зайчика», по-детски недоумевающей: а что же, собственно, произошло? Он изменил концовку сцены, какой она была в сценарии. Таня выбегала во двор вслед за Сергеем и участвовала в апофеозе его драмы, что давало героине возможность пережить эмоциональную кульминацию. В фильме вместо этого за Сергеем бежит ее мать, которая отыгрывает все то, что должна была бы выразить дочь. Такое решение вызвало во мне внутреннее негодование: я почти физически ощущала, что мне заткнули рот, упрятали с глаз долой, не позволили открыть свои подлинные чувства. Я даже усмотрела здесь суть личного конфликта с Кончаловским: он не хотел видеть во мне умудренную опытом, сильную женщину, предпочитая законсервировать в виде девственной мечты. Но возможно, я излишне усложняла подсознательные мотивировки режиссера — он просто сохранял стиль и жанр, в котором существовали его герои. А я по-прежнему не разделяла, где речь идет обо мне, а где — о Тане. Да и вообще, была ли когда-нибудь речь только обо мне?

Говоря о «жанре», любопытно вспомнить еще один эпизод, сыгранный мной вместе с Ией Саввиной. Я имею в виду сцену, где Таню, онемевшую от горя, мать заставляет взять в руки тесто и начать его бить и мять — то есть возвращает ее к жизни, к действию, переламывает ее оцепенение. Слова матери: «Бей, бей!» — Таня пропускает мимо ушей, и только после пощечины она пробуждается. Во время съемки Ия Сергеевна залепила мне такую смачную оплеуху, что слезы брызнули из глаз, освободив мою душу от множества обид. Мне даже показалось, что теперь Ия Сергеевна прониклась ко мне искренней любовью. В этом,

наверное, и заключается эффект психодрамы. Во время игры человек открыто выражает то, что чувствовал, но запрещал себе в жизни — и так наконец достигает миролюбивого и благодушного состояния. «Эх, дать бы по физиономии… Ну, вот и дал, теперь можно и пожалеть!»

Посмотрев смонтированный материал, я была удивлена. То, что я увидела на экране, не соответствовало не только моему внутреннему видению, но и тому, что было на площадке. Я ждала крупных планов, особенно в драматических кусках, а вместо них картина изобиловала общими и средними, всяческими панорамами. У меня снова возникло чувство, что режиссер резал по живому: если мое лицо крупно — любит, а если смазано на общем плане — подавил, растоптал, вычеркнул из жизни. Это было первым знакомством с монтажом, способным поставить все с ног на голову. Об этом этапе работы Кончаловский всегда говорил как о самом интересном для режиссера. И теперь, как я выяснила, — таком травмирующем для актера. Мысль, которая не покидает до самого конца: а что там от меня останется — рожки да ножки? Вот именно! Конечно, позднее я многое поняла про пластический язык кино и про роль ритма, про знаки и символы, метафоры на стыке кадров и все такое… Но прежде чем привыкнешь ко всяким трансформациям своего двойника на экране… Да нет — к этому никогда не привыкнешь, просто научишься улыбаться за темной завесой очков.

Во второй части фильма, черно-белой, Тани нет. Ее место занимает Люда — спасительница, ставшая опорой героя, продолжательницей рода. Неудивительно, что на эту роль режиссер выбрал Ирину Купченко — она была его талисманом от картины к картине, залогом равновесия, надежности, веры.

Во время работы над фильмом группа людей, объединенная общей задачей, вкладывает всю свою энергию в один котел. Образуется некое сообщество, живущее отдельной, им самим созданной виртуальной (как сегодня без этого термина книгу писать?) жизнью. Когда фильм снят и цель достигнута — сообщество распадается, а вместе с ним исчезает такой особый феномен, как жизнь киногруппы. В то же самое время картина только начинает свой путь «в люди», а тем, кто создал ее, ничего не остается, как греться или корчиться на заднем ряду, в лучах, исходящих от экрана.

«Романс о влюбленных» оказался счастливым ребенком, хотя это и не исключало существования у него врагов и оппонентов. Элита в целом, за редкими исключениями, картину не принимала. Режиссера обвиняли в низкопоклонстве, в тоталитарном пафосе, ругали за флаги, гимн, за патетическое

«Служу Советскому Союзу!» в устах главного героя. Только теперь, после того как рухнул советский режим (не успеешь написать, как все снова вспять…), многие из критиков картины, оглядываясь на свою молодость, не могут отделить ее от майских парадов, гипсовых бюстов вождей, оптимистических лозунгов. Доля сантиментов достается и этому наивному советскому кичу — декорациям, на фоне которых влюблялись, обзаводились детьми, работали, мечтали, умирали, хоронили, снова строили. Но широкий зритель картину полюбил и запомнил, он узнал в ней себя — и службу в армии, и девушку, которая не дождалась… В картине звучал необычный перебор гитары и голос, от которого мурашки по телу (выводящий все четыре октавы), а позже объявился на свет божий и автор, Саша Градский — в патлатом облике типичного лабуха. И это тоже было дерзко и дорого. Теперь, оглянувшись назад, поняли — для поколения 70-х картина оказалась культовой. Меня часто останавливают мужчины под сорок и показывают фотографии жен и детей: «После армии я искал женщину, похожую на героиню „Романса“, на вашу Таню, взгляните — моя жена — ваша копия, и дочки тоже!»

Не успела картина выйти, ее тут же послали на фестиваль в Карловы Вары, в Чехословакию, где она получила первый приз. Мы с Женей Киндиновым почувствовали себя любимцами публики, победителями забега на длинную дистанцию. Я превратилась в счастливую дебютантку, прошедшую инкубационный период и высунувшую голову из скорлупы наружу. Эту голову фотографировали и публиковали снимки в газетах и журналах. Меня одевали Слава Зайцев и модельер из Парижа — подруга Кончаловского — перед отправкой за рубеж. Я начала соизмерять свои достоинства и недостатки с мировыми и отечественными стандартами, будучи разглядываемой, изучаемой, обсуждаемой за спиной и в глаза. Это было весело, ново, сложно, страшно — это была жизнь и работа одновременно. Я не сразу поняла, что слава — это вызов, который бросает общество тем, кто осмелился высунуть свою физиономию на всеобщее обозрение, и что принимать этот вызов нужно с голливудской улыбкой и в боксерских перчатках.

Глава 20. Посвящение солнцу и небу

В середине третьего курса, в первые месяцы 1974 года, состоялось распределение дипломных спектаклей в училище. Не знаю, за какие заслуги мне выпала роль Джульетты, возможно, благодаря «Романсу о влюбленных», но как бы то ни было,

большего подарка мне не могли преподнести. Все женщины мечтают сыграть романтическую героиню если не в жизни, так хотя бы в кино или театре, а желательно — и там и там. Так вот, роль в шекспировской пьесе вдвойне амбициозна. До нее нужно дотянуться, возвыситься, оторваться от повседневности… А точнее, аккумулировать свою человеческую страсть, разбросанную по семи дням недели, месяцам и годам, — чтобы выразить ее в поэтическом тексте. И даже если дорасти до классики — дело непосильное, она тем не менее сама тебя вытянет из твоего болота.

Когда на первом курсе в поисках собственного стиля я изобрела себе юбку из пледа с бахромой вдоль подола, я и представить не могла, что в героини трагедии определят именно меня, а не одну из томных большеглазых красавиц, растопляющих взглядом сердца. Вполне очевидно, что я была польщена и в то же время раздавлена ужасом перед предстоящей работой, понимая, как высоки ставки. Захватив с собой пьесу в переводе Пастернака, я отправилась в Коктебель, в Дом творчества писателей, чтобы за время летнего отпуска морально подготовиться к взятию барьера. Путевку достал Андрон Кончаловский, собиравшийся подъехать неделей позже. Желтый песок. Море. Сухой ветер… Дом Волошина, дух Цветаевой, загадочная Черубина де Габриак… Дача Киселева с ее обитателями-хиппи… Горы, Мертвая бухта, пустота, залитая солнцем…

Сразу по приезде я познакомилась с Любой и Гришей Горинами. Они приняли меня в свое дружное семейство на правах младшего «шпингалета». Гриша называл меня «наша девочка» и восклицал: «Боже мой, это же нетронутый материал, из нее можно лепить сейчас все, что угодно!» Каждый день они забирали меня с собой на прогулки, всячески занимая расспросами и шутками. Подъехавший вскоре Андрей Сергеевич подивился, как быстро я успела загореть и обзавестись преданными друзьями. Он привез мне подарки — золотую цепочку и белые сабо. Я тут же украсила себя обновками, которые особенно хорошо смотрелись на уже позолотевшей коже. Но теперь мой распорядок дня изменился. На отдыхе Кончаловский был не менее целеустремлен, чем на работе. Постоянно погруженный в проблемы собственного здоровья, в Коктебеле он отдался этому целиком — занимался сыроедением (самый жесткий вид вегетарианства), устраивал разгрузочные дни (голодовка), практиковал йогу, бегал по утрам и вечерам, спал на досках (панацея от больного позвоночника) — одним словом, всячески истязал себя. Глядя на него, я постепенно втягивалась в спартанский режим — начала совершать пробежки, крутиться на

полу, принимая странные позы, тоже устраивала разгрузочные дни, голодовки. Вскоре я даже внешне стала походить на своего учителя — внезапный оскал улыбки из-под темных очков, при кажущейся вальяжности — сдержанность и целомудрие в манерах: подчеркнутая особость поведения в любом из имеющихся коллективов.

Не знаю, к какому подвигу тела и духа мы оба готовились, но у посторонних наблюдателей, очевидно, складывалось впечатление, что к чему-то большому, а может, и великому. Литераторы объедались в свое удовольствие, жарились на пляже, попивали вино, хохотали над анекдотами. Некоторые из них недоуменно косились в сторону одержимой парочки: Андрей Кончаловский и его Леночка деловой походкой удаляются в направлении горизонта, чтобы к вечеру, слегка похудев, пропустив завтраки и обеды, исчезнуть в своем домике, оставив после себя молчаливый укор сибаритству и чревоугодию.

Восточный Крым, в отличие от Южного побережья, располагает к аскетизму, погружению в себя, к усиленной работе мышц и благодарной усталости по вечерам. И я приветствовала такой режим. Поднявшись рано утром, я бежала к морю окунуться, затем на рынок — купить фрукты и ягоды. После этого мы с Андреем Сергеевичем отправлялись по одному из излюбленных маршрутов — задача была идти пешком несколько часов кряду. Однажды мы выбрали самый долгий путь — через Библейскую долину. Часть дороги от Дома творчества проехали на машине, потом шли пешком и наконец взобрались на гору. Оказавшись в лесу, побрели наугад, наслаждаясь тенью и зеленью. Так прошли мы пару часов в разговорах — Сократ с Платоном, беседующие о тайнах бытия, — пока не решили, что пора бы и в обратный путь. Двинулись, как нам казалось, в нужном направлении, да только глубже зашли в лес. Развернулись — снова незнакомые места, никакого намека, что выходим на дорогу. Оказавшись наконец у маломальской возвышенности, начали карабкаться по отвесной плоскости, чтобы осмотреть окрестности — да что толку! — все не похоже на долину. Постепенно нас стал охватывать ужас — силы на исходе, скоро начнет темнеть, а там… В воображении замелькали кровавые картинки: нас съели волки или убили кабаны, к тому же на глаза стали попадаться кости и черепа неизвестного происхождения. От беспомощности я стала хихикать, чем, кажется, сильно раздражала Андрея Сергеевича — он шел на несколько метров впереди меня, пытаясь принять самое разумное решение. Но разум здесь оказался бессилен, а тело уязвимо и несовершенно. Оставалось только сжать кулаки и сетовать на то,

что у тебя нет крыльев. Силен человек и наградами, и регалиями, и всякими идеями, а вступи он в противоборство с природой, и будет побежден — голодом, жаждой, холодом, страхом. Так в общей сложности мы проблуждали часа четыре, а вся «прогулка» растянулась часов на шесть! Но все-таки вышли в конце-то концов на дорогу. Уже бредя в направлении поселка, я сильно отстала и, глядя вслед все ускоряющему шаг Андрону, чья фигура превращалась в маленькую точку, думала: «Вот так и случится — дистанция между нами станет расти и ее невозможно будет преодолеть».

Между тем дни бежали незаметно, неотвратимо приближая осень, а вместе с ней начало репетиций «Ромео и Джульетты». Я штудировала шекспировский текст, пытаясь осмыслить его метафорику и метафизику. Но это казалось абсолютно непосильным занятием, и все чаще я подвергалась адреналиновым бурям, как если бы меня заставили первый раз прыгнуть с парашютом. Я поделилась с Андреем Сергеевичем своим состоянием, сказав, что испытываю резкую смену настроений — от экзальтированного счастья к необъяснимой тревоге. «Я все жду, что-то случится катастрофическое!» Он решил, что меня надо крестить: «Приедем в Москву, я поговорю с мамочкой, у нее есть знакомые священники». Речь шла о Наталии Петровне, которая была убежденной православной.

После его слов мне полегчало. Настал день, когда мы расставались с Коктебелем. Но я покидала его только на время. Следующим летом, и еще не раз потом, я приеду сюда, веря, что обрела свою стихию — сухой ветер, полоску моря и желтый диск в безоблачном небе.

А в конце сентября двое крестных и матушка Софья везли меня креститься под Загорск, в церковь Преподобного Сергия Радонежского, к архимандриту Герману. По дороге я заучивала «Символ веры» и «Отче наш», которые, к своему удивлению, быстро запомнила, несмотря на необычность старославянского текста. Оказавшись на месте, мы застали отца Германа за работой — он помогал женщинам месить тесто для просфорок. Нам предложили немного подождать. Усевшись на лавку в домике при церкви, мы просидели так, не двигаясь, четыре часа. В желудке не было ни крошки со вчерашнего вечера, под ложечкой что-то скулило и требовало, голова кружилась, и в нее лезли грешные мысли. Наконец я взбунтовалась, повернулась к крестной и шепнула ей на ухо: «Про нас, кажется, забыли». Затем весело предложила: «Может, пошлем все к чер…» — но договорить мне не пришлось, так как перед моим носом вырос указательный палец, приказавший немедленно заткнуться. В тот момент,

очевидно, я была самим воплощением беса, что убедило крестную в необходимости довести процедуру до конца.

Вскоре появился отец Герман и отпер ключом церковь, которая была совершенно пуста. Облачившись в белую рубашку и сняв обувь, я встала возле купели со святой водой, и начался обряд. Не понимая всего, что говорил отец Герман, я тем не менее все более доверялась его речам и проницательному взору. Трижды окунув мою голову в воду, затем совершив миропомазание, он благословил меня перед образами и поздравил с обретением нового дома — Русской Православной Церкви. Уже на обратном пути матушка Софья объясняла: «Скажи спасибо, что принял. Бывает, весь день люди ждут, а он их обратно отсылает — это он проверяет, испытывает, готова ли. Радуйся, что принял!» Я последовала ее совету и мысленно поблагодарила священника за столь щадящий испытательный срок. Она продолжала: «Крещение — дело не простое, надо все осмыслить, взвесить, решиться. Отныне твоя душа — поле битвы между Богом и дьяволом. Крещеного раба Божьего дьявол искушает посильнее, чем некрещеного». Мы проехали еще какое-то время молча, и вдруг небо прорезала радуга. Она отчетливо светилась семью красками, поднимаясь от одной точки горизонта к другой, словно мостик, приглашая взбежать по нему на небо. Радуга — доброе знамение, благословение Божье. А радуга в конце сентября бывает ли? Очевидно, что хоть раз бывает все…

В доме на Николиной Горе нас уже поджидала Наталия Петровна. Специально по этому случаю она испекла пирог, зажгла свечи и пригласила к столу. Поздравила меня с началом новой жизни — со вторым рождением.

Той ночью я засыпала в полном умиротворении, лишенная каких-либо искушений. Все было впереди.

Глава 21. Наталия Петровна — «мамочка»

Наталия Петровна Кончаловская уверовала в Бога, по ее собственным словам, после одного случая, произошедшего с ней. Женщиной она была в молодости привлекательной и любвеобильной, у нее было много поклонников, а также соперниц. И вот одна из них, особенно невзлюбившая ее, прокляла Наталию Петровну на бездетность. В течение нескольких лет после этого как ни пыталась она зачать ребенка, ей это не удавалось. Она совсем было отчаялась, но кто-то посоветовал ей ходить в храм и молиться иконе Божьей Матери. Она последовала совету и исправно молилась. Вскоре она благополучно выносила ребенка и после этого уверовала. Уж кого

из своих троих детей она родила, не суть важно, но произошло чудо.

Парабола наших с ней отношений выстраивалась от вежливых и формальных — к большой привязанности. Первое время, приезжая на Николину Гору, Андрей Сергеевич отправлял меня в свой дом, а сам бежал к матери — в дом напротив, объясняя, что она не спит, ждет его и ревнует. Но однажды, встретив нас на дороге, ведущей к дачному поселку (она ежедневно проходила пешком по два-три километра), — она расплылась в улыбке. А позднее сказала сыну, что как увидела нас тогда под дождем, большого и маленькую, сразу поняла — это любовь. Я долгое время ощущала себя не в своей тарелке перед этой властной, остроумной и во всех манерах своенравной женщиной. Всегда ухоженная, с укладкой на голове, безупречным маникюром, алой помадой на красиво очерченных губах, она заполняла пространство своего большого дома звонким смехом, и все в ее облике утверждало жизнь. И даже название ее любимых духов и то кричало: «Vivre!» Она жила в окружении картин своего отца и деда, мебели из карельской березы, цветов в горшках, канареек в клетках и бесконечного потока знакомых и друзей. Певучим голосом она без устали беседовала с музыкантами о музыке, с художниками о живописи, с архитекторами об архитектуре, с агрономами о земле, с домохозяйками о кулинарных изысках — и всем давала фору в знании предмета и энергичности.

У Наталии Петровны была любимая традиция — самым званым гостям давать для автографа полотно, на котором позднее она вышивала их имена и фамилии шелковыми нитками. Я по наивности очень обиделась, что мне не была предложена такая честь. На первых порах меня подавлял столь непривычный жизненный уклад. В глазах хозяйки я представлялась безликой и какой-то грустной. Но постепенно Наталия Петровна стала поддерживать меня, оказывая знаки внимания и женской солидарности. Вначале она дала определение моему «образу», назвав меня «диккенсовской девочкой». В другой раз она раздраженно говорила об одной знакомой и вдруг обозвала ее сгоряча «калужским хорьком». Андрей Сергеевич не выдержал и воскликнул: «Мамочка, зачем же так при Лене?» На что прозвучал ответ: «Лена умная, она поймет». Мне было лестно попасть в категорию «умных», однако я оценила, каким красочным бывает гнев этой женщины, и не дай Бог впасть у нее в немилость! И все же контакт между нами был установлен, я перестала робеть в ее присутствии. За нашими отношениями с ее сыном она наблюдала молча, никогда не задавая вопросов, все замечая и переживая без

слов. Однажды за ужином, устроенном в честь многочисленных гостей, она попросила отпробовать вина из моего бокала, сказав, что хотела бы знать, о чем я думаю. «Боюсь, оно не покажется вам сладким», — ответила я и протянула вино. Лукавить ей я не хотела — она сама учила относиться к жизни «по гамбургскому счету». В кризисный момент нашего романа она попыталась что-то спасти, заговорив о моем будущем, о возможности иметь семью. Чувствуя, что мне тяжело разобраться в одиночку в запутанной ситуации, она произнесла слова, которые должен был сказать ее сын. Но предложения о браке делают не матери, а их дети, и ее попытка ничего не смогла изменить.

Детей своих она обожала. Казалось, что со старшим сыном она была особенно близка. «Никита — ребенок», — повторяла она. И правда, младший отличался веселым, неунывающим нравом, а старший называл себя melancholy baby — грустное дитя. Только раз я видела Наталию Петровну уставшей и слабой. Случайно столкнувшись с ней в дверях дома, я заметила в ее глазах слезы. Она сетовала на близких, нуждалась в сочувствии, в слушателе. Не знаю, чем именно была вызвана ее горечь, но убеждена в одном: красота этого семейства не легко далась ее создателям. Я видела, как беззаветно любит свою мать Андрей Сергеевич, как хранит благословленные ею иконки, ее фотографии, как переживает ее старость. И вместе с тем — сопротивляется ее силе, освобождается от ее власти, чтобы быть не просто сыном, но мужчиной. Будучи на десять лет старше своего мужа и с какого-то времени живя отдельной от него жизнью, Наталия Петровна смотрела на него глазами мудрости и терпения. А он однажды на вопрос старшего сына: «Почему не разведешься, отец?» — ответит, что никогда не сможет этого сделать. Потому, что жалеет, потому, что она старше, потому, что уважает. Потому, что… любит!

Меня она научила быть сильной в одиночестве. Наука, которую сама усвоила назубок: «Самое главное, чтобы тебе было интересно с самой собой, а тогда ничего не страшно!» И я сделала все, чтобы мне было интересно. Она надиктовала мне молитвы, которые сама любила: «Песнь Богородице», «Покаянную молитву Иоанна Златоуста» и «Ефрема Сирина». Я буду ими молиться. А когда сыграю проститутку Лизу в спектакле Фокина «И пойду, и пойду…» (по «Запискам из подполья» Достоевского), то включу их в свой текст, и они мне помогут.

Когда я приеду забирать навсегда свои вещи из дома на Николиной Горе, она встретит меня в саду, разделывая землю под грядки. Будет прятать глаза и копать эту землю, чтобы скрыть свое волнение. «Ну что теперь будешь делать, как?» — спросит

она меня. Я начну объяснять свои планы оживленно и звонко. Она посмотрит слишком грустно и трезво, затем скажет на выдохе: «Ну и хорошо, если так!» И снова опустит глаза. Ей будет стыдно за такой конец моей любви. В тяжелый период она приснится мне и скажет: «Все образуется, не бойся, не суетись», — и мне станет легче, и все образуется. О ее смерти я узнаю в Нью-Йорке, в ресторане «Самовар», где я работала официанткой. Стоя с подносом перед столиком с парочкой заезжих русских, я услышу случайную фразу, что в семье Кончаловских умерла «какая-то бабушка». И я не пойму, о какой «бабушке» может идти речь — ведь в семье Кончаловских нет бабушки. А когда догадаюсь, выбегу на улицу и буду долго причитать, глядя на вспыхивающие по-английски вечерние рекламы города Нью-Йорка. Они будут расплываться цветными пятнами перед моими глазами…

«Господи Иисусе Христе, Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми, грешной и непотребной и недостойной рабе твоей, прегрешения и согрешения и грехопадения моя…» — произношу я слова молитвы, продиктованные мне Наталией Петровной Кончаловской, «мамочкой» своих знаменитых детей.

Глава 22. Иннокентий — невинный

Есть еще один вдохновенный старец, подаренный мне судьбой. На «Романсе о влюбленных» я познакомилась с Иннокентием Михайловичем Смоктуновским. При виде его у меня всякий раз сжималось сердце, как если бы мы были связаны родством. Да, конечно, он тоже напоминал мне чем-то моего отца. Худой, узкокостный, жилистый — больше морщин и нервов, чем мышц и здоровья, — сутуловатый, извиняющийся… Его внешняя беззащитность и растерянность — эдакий камуфляж, прикрывающий ясновидение и стойкость гения. Налет юродства — или того, что принимали за юродство, — был приспособлением праведника к безумному миру. Мудрец — он же клоун, дурачок! Так и останется загадкой, кто кого породил: Смоктуновский — Мышкина, Гамлета, Деточкина — или наоборот. В нем была какая-то потусторонняя таинственность, вроде он здесь и сейчас, вместе с тобой, но одновременно подключен к чему-то «там», к циферблату без стрелок. Я слышала недоуменный рассказ одного киношника, который никак не мог понять, какого же роста Иннокентий Михайлович. «Вчера он был головой на уровне шкафа — вон того, возле двери, а сегодня вошел — сантиметров на десять пониже. Как такое вообще возможно?» Его способность к мимикрии — чисто актерскому качеству — была доведена до виртуозности, превращая его тем самым и впрямь в

полумифическое существо. Все наводило на мысль: хоть внешне Смоктуновский как обычные люди, но в то же время немного больше, чем просто человек.

Еще до начала съемок Кончаловский предложил мне составить ему компанию во время поездки под Ленинград, где отдыхал со своей семьей Иннокентий Михайлович. Предстояло уговорить его сыграть роль Трубача. Он только что закончил очередную картину, плохо себя чувствовал и сниматься отказывался. Его супруга Соломка — от Суламифи — была категорически против, чтобы муж занимал себя работой. Но Кончаловский надеялся, что личный визит произведет действие, и не ошибся. Сопротивление Иннокентия Михайловича было сломлено, он согласился. Мне бросилась тогда в глаза его манера общаться — неторопливость, открытая реакция на все, отсутствие в словах второго смысла. Он вынуждал тем самым к крайней простоте, разговору без лукавства. От этого возникал мысленный вопрос: «Уж не вру ли я? Вот опять играю, опять, эх!..» Когда меня представили ему, он заметил, что знает моего отца. «А, Леша Коренев! Конечно, помню, он работал „вторым“ на „Берегись автомобиля“. Трудно жили, перебивались без денег, так что Леночка не избалована, ей известно что почем», — пояснил он то ли мне, то ли Кончаловскому. Эта привычка называть вещи своими именами могла бы и покоробить и смутить, окажись на его месте кто-нибудь другой. Но есть люди, которым позволено так говорить. Они призваны кем-то «резать» всю правду, как будто они видят, чем на самом деле забиты наши черепные коробки, и делятся своими впечатлениями. Подобную манеру общаться я замечу много позднее и в Нине Берберовой, и в Иосифе Бродском. По всей вероятности, афоризмы Фаины Раневской имеют ту же природу. Моя мама как-то стала свидетельницей забавной сцены, произошедшей на «Мосфильме». В гримерную к Иннокентию Михайловичу зашла его давняя знакомая. Он встретил ее радостным приветствием, но тут же посетовал: «Эх как постарела, миленькая, плохо выглядишь, так нельзя!» Когда женщина ушла, оторопевшая гримерша попыталась укорить Смоктуновского в бестактности. Но он был возмущен не менее гримерши: «Сколько же можно врать? Кто-то должен начать говорить правду!»

На меня он смотрел с заботой и обожанием, понимая все мои сильные и слабые стороны. Встретив меня случайно на Калининском проспекте, он остановился побеседовать со мной и с видом доброго демона вдруг прошептал: «Прекрасное лицо… Если бы еще несколько сантиметров роста — была бы неотразима. Совсем чуть-чуть, два сантиметра!» Так он разглядывал меня, отстраняясь, словно от картины, и досадовал

на природу, на Бога, на высший умысел, не позволивший мне стать совершенством. Когда разговор коснулся неудач в моей личной жизни, он со вздохом посетовал: «Андрон — человек талантливый, а что до романов… Развращает он людей. Тяжело ему должно быть с самим собой, а в старости будет совсем одиноко».

В «Романсе» у меня только одна сцена с Иннокентием Михайловичем — сцена у костра. Таня узнает о гибели Сергея, не хочет в это верить, выходит во двор и, только услышав печальную мелодию, которую играет Трубач, надламывается и впадает в истерику. Переход от тихой речи к внезапной ярости очень труден для актера, особенно на крупном плане в кино — любой наигрыш будет замечен камерой. Понятно, что я волновалась перед дублем, но вдвойне я волновалась потому, что передо мной был «сам» Смоктуновский. Режиссер подбадривал меня, призывал ничего не бояться и играть «на всю катушку». Приняв его совет к сведению, я начала дубль и в момент взрыва отчаяния принялась хлестать Иннокентия Михайловича по щекам что есть мочи. После команды «Стоп!» режиссер удовлетворенно поблагодарил меня за проделанную работу. Однако Смоктуновский был в недоумении. «Миленькая моя, разве так можно? — говорил он, держась за щеку. — Ты мне чуть зубы не выбила, они же вставные, надо было предупредить». Я страшно расстроилась: такой артист — и так нехорошо получилось. А Кончаловский заговорщицки подмигивал: «Все правильно сделала, это он так, отойдет». Слава Богу, «он» отошел, правда, на это потребовалось некоторое время… Я думаю, Иннокентий Михайлович не пожалел (хоть я его и «избила»), что все-таки снялся Трубачом в нашей картине. Образ верного друга, уличного музыканта, поэта, чье кредо: «Чтоб жизнь прожить, как миг, как крик — да здравствует любовь!» — этот образ ему очень к лицу. Ведь при всей странности, сложности, загадочности он был человеком своего поколения, прошедшим войну, плен, пережившим свое персональное «быть или не быть», — и из всего этого ада он вышел артистом, шутом, насмешником. Для такой судьбы требуются мужество и щедрость души. Недаром свою книгу, составленную из дневниковых записей, он назвал «Быть!».

Моя профессиональная жизнь была отмечена еще тремя «с половиной» работами вместе с Иннокентием Михайловичем. Это два телеспектакля: «Вишневый сад» в постановке Леонида Хейфица и «Цезарь и Клеопатра» режиссера Александра Белинского. А также «Ловушка для одинокого мужчины», фильм моего отца, в котором наши персонажи не пересекаются. Ну и еще «половина»… Меня пригласили озвучивать лошадку в картине

«Крепыш» Александра Згуриди. Я согласилась, так как главного героя, жеребца по имени Крепыш, озвучивал Смоктуновский. Выбор меня на роль возлюбленной «героя» был желанием Иннокентия Михайловича. Отказаться было невозможно! Моя «роль» оказалась настолько короткой, что я провела каких-нибудь полтора часа в студии звукозаписи, а после выхода картины и вовсе не смогла ее посмотреть. Неудивительно, что вскоре я забыла об этом милом «инциденте». А спустя много лет вдруг обнаружила в каком-то киножурнале список своих работ, и среди них — «Крепыша». Я долго ломала голову, откуда взялась эта картина, кого же я там сыграла и почему ничего не помню: ни задачи режиссера, ни костюмов, ни грима. Затем я бросила гадать, решив, что это очередная «утка» журналистов. Как вдруг в памяти всплыл темный зал и светящееся окно экрана: два лошадиных крупа, повиливающих хвостами, две скрещенные морды и гривы, развевающиеся на ветру. «Я скучаю по тебе!» — сказал Крепыш голосом Иннокентия Михайловича. «А уж я как скучаю…» — отозвалась его возлюбленная.

«Цезарь и Клеопатра» — единственная моя большая совместная работа со Смоктуновским. Я очень люблю этот фильм и сожалею, что он предан забвению на нашем телевидении. Во время съемок Иннокентий Михайлович давал мне советы, как я должна играть, и очень сетовал на то, что я «пою», произнося текст. «Дружочек мой, неужели ты не слышишь, как ты подвываешь?» — постоянно комментировал он мою игру. О том, что он любит «подсказывать» партнерам, я уже была наслышана и заранее предупреждена Александром Белинским. Он просил меня не обращать внимания на советы Иннокентия Михайловича, считая, что это просто своеобразная «слабость» гениального артиста. Мне, конечно, очень хотелось угодить моему партнеру, однако и у меня были свои хитрости. В финальной сцене прощания Цезаря и Клеопатры мы оба стоим лицом к камере: я чуть впереди, на первом плане, а Иннокентий Михайлович за мной. Обсуждая сцену, он настаивал, что Клеопатра не должна быть омрачена отъездом Цезаря, так как для нее основное и радостное событие — появление Марка Антония. «Ни в коем случае не переживай, она вся светится!» — повторял он перед съемкой. Как только прозвучала команда «Мотор!», я пустила одну большую слезу по щеке, пользуясь тем, что Цезарь, стоявший сзади, не мог этого видеть. Да, признаюсь, поступила я, может, и неверно, ослушавшись великого партнера, но, в конце концов, я играла Клеопатру. А это вам не хухры-мухры.

Я очень хорошо запомнила еще одну случайную встречу с Иннокентием Михайловичем. Вернувшись в Москву после десяти

лет, проведенных в Америке, я чувствовала себя дикарем. В том смысле, что давно оторвалась от московской жизни, от друзей-актеров, — не рассчитывала на радостные объятия, убежденная, что меня и не узнают после стольких лет отсутствия. Однажды я голосовала, стоя на тротуаре с вытянутой рукой. Вдруг проехавшая мимо машина дала задний ход и остановилась неподалеку. Из нее вышел мужчина и принялся отчаянно жестикулировать, а вслед за ним появилась худенькая девушка и быстрым шагом направилась ко мне. Это были отец и дочь — Иннокентий Михайлович и Маша. Расцеловавшись со мной, они настояли, чтобы я села в машину и заехала к ним на полчасика. А уже по дороге объяснили, что буквально на днях отпраздновали новоселье. В новой, еще не обставленной квартире они открыли шампанское — извлекли его из огромного ящика, полного бутылок с такой же этикеткой. «Коллекционное, подарок!» — широко улыбаясь, сообщил Иннокентий Михайлович. Он ни о чем меня не расспрашивал, просто внимательно смотрел мне в глаза. Теперь я уже была старше, старее, жестче, мое лицо выдавало не самый веселый опыт — казалось, я стала ближе по возрасту к своему Трубачу и Цезарю. Но именно теперь он смотрел на меня как будто на свою старшую дочь. А я — на своего уставшего, настрадавшегося отца. Все то, от чего он предостерегал когда-то, чему наставлял меня, на что надеялся, — свершилось, круг был пройден. Он поднял бокал за нашу встречу, за нашу радость, за нашу жизнь. Так мы стояли втроем посреди пустого гулкого пространства, словно на приеме. За окном мело тополиным пухом.

Прошло еще несколько лет. Однажды моя мама с сестрой встретили Иннокентия Михайловича во дворе своего дома. Оказывается, он жил неподалеку и прогуливался с собачкой. «Как здоровье, как настроение?» — наперебой спрашивали они друг друга. Мама рассказала «кто, где и как», затем уточнила, что я тоже живу в этом доме — снимаю комнату над квартирой своей сестры. «А где именно ваши и Леночкины окна?» — переспросил Иннокентий Михайлович. Мама указала. Он внимательно вгляделся в окно с фикусом: «Буду теперь смотреть, проходя мимо!» На этом они распрощались. Уже навсегда. Через два месяца его не стало.

Глава 23. Парижские тайны

«О Пари, ла-ла-ла…» Еще во время съемок «Романса» режиссер пообещал мне и Жене Киндинову, что настанет день, когда мы втроем будем гулять по Елисейским полям в Париже.

Свое обещание он сдержал.

Осенью 1974 года картина «Романс о влюбленных» демонстрировалась в рамках Недели советского кино в великом городе любви, искусств, «свободы, равенства и братства». Жадные до новых впечатлений, мы с Женей шли по стопам Хемингуэя и Фитцжеральда: перекусили в «Ла Куполь», затем взглянули на «Мулен Руж» глазами Тулуз-Лотрека, отдали дань собору Парижской Богоматери и всей французской литературе, архитекторам, скульпторам, поэтам — творцам всех мастей, не говоря уже о символе туризма — Эйфелевой башне. Поводырем по культурному лабиринту был, конечно, Андрон, который рассказывал, как, впервые очутившись в Париже, рыдал от счастья, глядя на остроконечные шпили костелов с балкона гостиничного номера. В эти минуты режиссер представал обыкновенным советским мальчишкой, затаившим некогда мечту и сделавшим все, чтобы она осуществилась. Он делился с нами секретами достижения поставленной цели, и мы признавали, что его теории неизменно становятся практикой, доказательством чего является и наше присутствие на Елисейских полях. Ах, как хорошо иногда побыть французом!

В делегации кроме меня, Жени и Кончаловского был еще Сергей Аполлинариевич Герасимов, а также представители от Госкино. Поселились мы в отеле «Лютеция» — первоначальное имя древней французской столицы. Неприступный и слегка отпугивающий своим видом Сергей Аполлинариевич после нашей первой встречи сказал Андрону: «Во взгляде у этой маленькой что-то есть… загадочное». И на том спасибо! В каждой женщине есть это «что-то», однако когда посторонние обращают на тебя внимание, то этого становится еще больше. После его слов я сразу полюбила Сергея Аполлинариевича, решив, что в нем, безусловно, тоже есть много «всякого», оно-то и позволило ему стать тем, кто он есть. Не скрою — для меня было приятной неожиданностью, что автор «Тихого Дона» и «Молодой гвардии» смог не только оценить полнокровную русскую красоту, но и разглядеть мои бледные прелести.

Удивительная вещь — взаимная симпатия, она возникает, казалось бы, из ничего и все-таки становится подчас решающей в соединении актеров и режиссеров, людей, желающих творить сообща. А уж на всех не угодишь, это точно. По словам одной зрительницы, приславшей письмо на «Мосфильм», у героини «Романса о влюбленных» нет ни кожи, ни рожи — вот так! Я и сама это подозревала и все же уповала на то, что глаз профессионала (или любящего) способен распознать в гадком утенке нечто большее: ну, если не лебедя, то по крайней мере

полноценную утку. Правда и то, что кино — дело хитрое: реальные физические данные претерпевают на пленке магическую трансформацию, в результате которой коротышка оказывается великаном, а «серая мышка» — красавицей. Фотогеничность — еще одно загадочное понятие, определяющее судьбу многих актеров. Случается, человек красив и индивидуален, а на пленке все это теряется, и наоборот. Оттого в жизни актеры так часто оказываются совсем другими, чем их представляют зрители. Мне же в ту пору любая моральная поддержка была нужна, как начинающему свой путь страннику, и потому я запоминала лица тех, кто был ко мне щедр.

В отеле с красивым именем «Лютеция» нам пришлось пробыть недолго, вскоре мы с Андроном перебрались на квартиру его приятельницы, Миланки. Она была той самой женщиной-модельером, которая, наезжая в Москву, одевала меня перед поездкой в Карловы Вары на фестиваль. Сбежать от всевидящего ока делегации — все равно что сбежать из плена, но Андрону удалось договориться с тем, кто был приставлен за нами надзирать, и мы оказались на свободе. Предстояла премьера в одном из кинотеатров Парижа, и Миланка вновь занялась подбором платьев и созданием стиля юной «звезды». Помню, она посоветовала мне тогда не стричь волосы, чтобы отличаться от коротко стриженной Ширли Мак Лейн. Меня сводили в парикмахерскую, чтобы сделать прическу. Этот визит запомнился тем, что парикмахерша угадала мой знак Зодиака — Весы. На мой вопрос, откуда она это знает, пухлая, преклонного возраста женщина, лукаво улыбаясь, объяснила, что через ее руки прошло слишком много людей и теперь она чувствует их ауру и определяет знаки Зодиака. Практическое доказательство существования науки астрологии, да и только! Миланка нарядила меня в узкое зеленое платье до пят, в котором я походила на мокрый ивовый лист, поблескивающий на солнце, и мы отправились на премьеру. На парижской сцене наша троица выглядела вполне достойно, но фильм, насколько я могу судить, был принят сдержанно. Критики окрестили его «Шербурские танки», перефразируя знаменитые «Шербурские зонтики».

По окончании просмотра мы забежали в изящную кафешку, чтобы за бокалом вина пересидеть часок до встречи со знаменитой парижской парочкой, друзьями Андрона — Сержем Гинзбуром и Джейн Биркин. Необычность обстановки и моего собственного облика создавали ощущение бесконечно продолжающейся игры, и казалось, что кино с его перевоплощениями и сюжетными поворотами отныне и есть моя захватывающая реальность. Я с удовольствием ловила на себе

одобрительные взгляды вечно влюбленных французов, ну и, конечно, восторг в глазах самого главного «француза» — Андрона. Он любовался моей новой элегантностью и лукавым кокетством: «Это умеют делать только парижанки!» Сияя всеми цветами счастья и сжав в пальцах холодный бокал, я слушала его тост о красоте незабываемого вечера, о нашем везении, о странной любви русских к Парижу, затем поднесла дрожащей рукой бокал к губам и… Нет, ну неужели?! Досадная неловкость начинающих — бокал выскользнул из руки, и все содержимое опрокинулось на мой «ивовый лист» — на платье. Точь-в-точь, как это сделает позднее Марта, моя героиня в картине «Тот самый Мюнхгаузен»… Пришлось поспешить на квартиру — переодеться, а оттуда прямо на свидание с великолепным Сержем и обворожительной Джейн.

Поэт, шансонье, музыкант Серж Гинзбур был выходцем из семьи наших соотечественников, эмигрантов, некогда проживавших в Одессе. Во Франции он снискал себе славу бунтаря, исполнив на праздновании 14 июля знаменитую «Марсельезу» в стиле модного тогда «рэгги», за что его чуть было не отдали под суд негодующие патриоты. А написанная им песня «Je t'aime — Moi non plus» («Люблю! — Я тоже нет…»), в которой он и его жена имитируют половой акт двух влюбленных, находилась долгое время под запретом моралистов, прежде чем стала народным «хитом». Вот эти-то «влюбленные» и поджидали нас с Андроном во вьетнамском ресторане для вечерней трапезы. Беседа за столом велась на французском, и так как я не понимала ни слова, то сосредоточилась целиком на экзотических блюдах, вылизывая тарелку до последней капли. Серж сделал мне тактичное замечание, посоветовав дегустировать кушанья маленькими порциями, чтобы оставалось место для очередного деликатеса. Мое положение было весьма комичным — незнание языка только усугубило и без того инфантильный образ, в котором я неосознанно пребывала, превратив меня из нимфетки вообще в пятилетнее чадо, дожидающееся, когда принесут мороженое и отведут посмотреть собачку.

Вскоре к застолью присоединилась еще одна небезызвестная пара французской богемы — певица Франсуаз Арди и ее муж, актер Жак Дютронк. Андрон обратил мое внимание на сходство курносой и худенькой Фрасуаз с Мариной Нееловой, а также пояснил, что приударял когда-то за обеими женщинами. Я принялась изучать новых гостей. Жак потягивал сигару — неизменный атрибут, с которым он не расстается, даже поднимаясь на сцену в Каннах. Франсуаз не курила, не пила и не ела, чем вызвала мое крайнее любопытство: как можно во всем

себе отказывать среди стольких искушений? Напрашивался только один вывод — она уже переела, перепила и теперь вот отдыхает, получая особое удовольствие от воздержания. Кстати, она также и не говорила, что мне очень понравилось: значит, даже владея французским языком, можно молчать в самой неподходящей для этого обстановке — за вечерним застольем. У меня к тому времени сложилось представление, что в «светской» обстановке все непременно должны разговаривать. Впрочем, во Франции все было исключением из правил. Джейн Биркин, например, носила с собой огромную корзину — наподобие Красной Шапочки — не знаю, зачем ей понадобилась вечером корзина, тем более что она была пуста, но это придавало самой Джейн трогательность и своеобразие.

После ужина, который в полной мере испробовала я одна, Серж и Джейн пригласили нас с Андроном к себе домой. Гостиная на первом этаже, где нас принимали, напоминала музей авангардного искусства: концептуальные скульптуры на фоне черно-белого интерьера. Разговор шел за чашкой кофе с напитками и затянулся далеко за полночь. В какой-то момент мне показалось, что все начали уставать, особенно я — от молчания и Джейн — от развлечения гостей. Я принялась делать знаки Андрону — пора, мол, и честь знать. Но он становился все более разговорчивым, перейдя от искусства к политике, как будто задался целью выпытать из Сержа все секреты и настроения французской либеральной элиты. Одним словом, моя щепетильность была совершенно чужда Кончаловскому. Как часто, слыша от меня упрек, что то или другое делать неудобно, он отвечал, педалируя каждое слово: неудобно чесать ж… через левое ухо! Ему, очевидно, было виднее, и я относила это принципиальное разногласие к свойству «сильного характера», «эгоцентризму художника», а также к более высокому «социальному статусу», дающему особое право на свободу поведения. Наконец устал и Андрон, и мы откланялись. На прощание Серж преподнес мне флакон коллекционных духов «Жан Пату-1000». Этим редким подарком я так и не смогу воспользоваться — он разобьется, выскользнув из рук… Как и многое другое, что утекло сквозь мои пальцы.

В то время, общаясь с Сержем Гинзбуром, я, конечно, не имела никакого представления, кто он на самом деле. Годами позднее я услышу его концерты на многочисленных пластинках и видеозаписях, пойму слова его песен и стихов, изданных отдельными сборниками, и мне станет близким то, что он утверждал в искусстве. Только тогда я смогу оценить его талант и силу личности. А впоследствии буду горевать о его кончине: он

спился, сгорел, уничтожил себя, так же, как в России — Высоцкий, в Америке — Чарльз Буковски.

Пребывание в Париже было отмечено еще одним знакомством с корифеями французской культуры — а именно с режиссером Аньес Вардой и ее супругом Жаком Деми, снявшим те самые «Шербурские зонтики». Визит к ним был достаточно коротким. В основном общение шло между Андроном и Аньес — малопримечательной, усталой женщиной, которая временами бросала в мою сторону продолжительные ласковые взгляды. Я испуганно улыбалась в ответ, помня слова Андрона о том, что она лесбиянка и с некоторых пор живет с мужем порознь, хоть они и не в разводе. И вправду, знаменитый супруг вскоре куда-то заспешил и удалился, а прямо перед нашим уходом в дом бесшумно прошмыгнула миловидная девушка. «Ага, любовница!» — промелькнуло в моей любопытной голове. Чуть позднее, обсуждая эту встречу, Андрон скажет о Жаке Деми: «Можешь себе представить? Он — создатель шедевра, а в простое между картинами вынужден снимать рекламу. Вот тебе и свобода западного художника». Для советского режиссера в те годы на пути к созданию фильма стояла только идеологическая цензура и глупость чиновников-бюрократов, и как бы велики и мучительны ни были эти препятствия, он тем не менее мог позволить себе не заниматься «второсортным» делом — собиранием денег для будущей картины. А уж реклама и подавно казалась чем-то унижающим достоинство художника. Тем более при взгляде со стороны — в Союзе тогда не было никакой кино — или телерекламы.

Помимо общения с французской богемой, которую Андрон знал лично, он также организовал встречу с прославленным астрологом. С нами пошла Миланка: она должна была переводить в случае возникновения проблем с пониманием. Как выяснилось, за месяц до приезда в Париж Андрон связался с астрологом и сообщил ему наши данные: место рождения, дату и час — необходимые условия для составления звездной карты. И вот мы сидели в кабинете у астролога, человека средних лет, всем своим видом напоминающего математика или ученого — сдержанной мимикой и особой сосредоточенностью. Сначала он говорил об Андроне, затем обо мне, а потом и о нас вместе. Я запомнила, что он сулил ему много путешествий, работу по обе стороны континента и четыре брака (к тому моменту Кончаловский находился уже в третьем). А мне Миланка перевела туманную информацию о том, что я должна все успеть сделать к тридцати годам. Также она сказала, что я брошу со временем профессию актрисы и займусь чем-то редким, вроде спелеологии — изучения

пещер!

Я запомню то немногое, что мне было переведено, и спустя несколько лет, попав единственный раз в жизни в пещеры Судака, обнаружу свою полную несовместимость с этим местом. Всю экскурсию, что длилась час, я буду рыдать на плече своего знакомого, мечтая о том моменте, когда меня перестанут мучить и выпустят наконец на свет Божий. Что же до профессии актрисы, то я действительно в какой-то момент откажусь от нее на несколько лет. Правда, я так и не знаю до конца, не было ли это спровоцировано самим предсказанием. Записи, сделанные тогда Миланкой, я так никогда и не увижу — они останутся у Андрона. Но, встретившись с ней вновь, много лет спустя, в Париже, узнаю, что астролог предвещал мне кризис, который должен был закончиться летальным исходом, в противном случае — резкой переменой жизни. Я сделала тогда вывод — информацию о себе нужно получать из первых рук, как, впрочем, и любую информацию. Произнесенное слово — как ключ: оно способно открыть дверь в будущее или замкнуть ее на многие годы.

«Париж — город любви», — повторяют все набившую оскомину банальность. Но самое странное, что она справедлива. Почему не Москва или Берлин, Лондон или Нью-Йорк — неизвестно. Однако именно в Париже, и нигде так, как в Париже, парочки целуются на каждом углу, застывают посреди спешащей толпы, сплетая руки, точь-в-точь как скульптуры Родена, сидят в обнимку и на коленях друг друга, на лавочках парков или метро — словно спешат, спешат любить. Может, они бесстыднее всех нас? А может, они прирожденные актеры, а город — их театр, в котором зритель и исполнитель соединены в одном лице. Париж располагает к созерцанию — многочисленные кафе на людных улицах заполнены соглядатаями: французы, пьющие кофе, часами наблюдают за французами, идущими мимо. Дома, глядящие друг на друга распахнутыми окнами, демонстрируют интимную сторону быта своих постояльцев, словно нарочно забыв опустить шторы… А там все то же: любовь, пробуждение, завтрак, кофе, любовь, газеты, разговоры по телефону, ссоры, поглаживание кошки, почесывание пятки, снова любовь. Любовь вдвоем, любовь втроем, любовь в одиночку… Возможно, любовь в Париже — это противоядие от тоски, скепсиса, рационализма, серого камня костелов, пестрых витрин и безносых манекенов. Это лихорадочная попытка остановить мгновение, стремящееся соскользнуть в вечность…

«O Paris! La-la-la! La-la-la!» Париж — место встреч… «Я люблю тебя — я тоже нет…» «Ne me quitte pas, ne me quitte plus!» Близость — маленькая смерть… Манон… «Ma? — Non!»

Глава 24. Римские каникулы

Мама… Рома! Есть еще одно место на земле, которое дышит любовью, только на этот раз — неторопливой, бесконечной… Эта любовь раскрывает свои материнские объятия, предлагает кормящую грудь, превращая каждого, кто прильнул к ней, в своего сосущего младенца — она убаюкивает, примиряет с твоей участью. Италия: для нее все мы — дети горячо любимой матери. Здесь хочется плодить себе подобных, участвуя в беспрерывном процессе создания жизни в ответ на щедрую любовь, струящуюся с небес на землю. «Италия — миа!» «…Bella, bellissimo!» «Чао бэлла!» «Чао!» «O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao!»

Вслед за Парижем год спустя картина «Романс о влюбленных» отправилась в Рим. На этот раз делегацию советских кинематографистов составляли Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева, министр кинематографии Филипп Тимофеевич Ермаш и мы с Кончаловским. Здесь беспрерывно угощали спагетти, в любое время суток, говорили без умолку, жестикулировали перед самым носом, постоянно чем-то восхищались, целовали — одним словом, любили и нас, и нашу картину! А иначе и быть не могло: итальянцы — народ гостеприимный и доброжелательный сверх меры. Нам удалось посетить знаменитую киностудию «Чинечитта», попасть в павильон гениального Феллини и взглянуть на декорации к фильму «Казанова» — гигантскую люстру со свечами-фаллосами. Познакомились и с «самим»: он улыбался, живо беседовал с обступившими его людьми, но казалось, что с нашим уходом облегченно вздохнул — свободолюбивые художники не любят формальных знакомств и представлений. Перед тем как расстаться с ним, я, по подсказке Кончаловского, встала на цыпочки и поцеловала маэстро в щеку. В ответ он сказал какую-то шутку, но переводчик так и не смог ее перевести — замешкался и только рассмеялся в ответ.

Мы бродили по городу, в который стекаются все дороги, где за руинами чудится зов многогрудой волчицы, где даже последний нищий и тот римлянин — отпрыск великой империи, и наших подошв касалась драгоценная пыль, приобщая к могучему эху истории. Вся в выбоинах и ссадинах, застекленная после нападения обезумевшего зрителя, взирала на посетителей собора Святого Петра микеланджеловская Пьета: печаль, воплощенная в камне, приобретает удвоенную силу. Нашим добровольным гидом по «древнейшему из музеев» стал Федор Федорович Шаляпин — сын знаменитого отца, живущий здесь. Актер по профессии, он рассказывал о римских императорах, словно те были его родственниками: одних осуждал, другими

гордился. Я внимала его речам, переводя взгляд с полуразрушенного Колизея на морщинистое лицо с голубыми провалами глаз, и думала о том, что нужен еще один экскурсовод — теперь уже по жизни самого Федора Федоровича. Как говорится: человек — это его… пейзаж.

Благодаря давней дружбе, которая завязалась между Бернардо Бертолуччи и Андроном, тот пригласил нас на просмотр своего нового фильма. Оказавшись на киностудии, я первым делом побежала припудрить разгоряченное от волнения лицо, а когда вошла в зал, Андрон шикнул на меня: «Где ты ходишь, все ждут только тебя!» Свет в зале тут же погас, засветился в луче проектора квадрат экрана, поплыли кадры эпопеи «XX век», которую вскоре увидит весь цивилизованный мир. Андрона тогда потряс фильм Бертолуччи — особенно масштабностью полотна и социальным пафосом. А спустя примерно год Кончаловский взялся писать сценарий, превратив госзаказ фильма о нефтяниках в притчу об истории нашей страны, прослеженную через судьбу двух семей в течение нескольких десятилетий. «Сибириада», безусловно, напоминает отечественную версию «XX века». Создав четырехчасовое полотно, Кончаловский словно выпрямился в полный рост, чего не мог сделать в камерных картинах. Ему тогда вообще была свойственна некоторая гигантомания: снять «Войну и мир», по его мнению, являлось большим завоеванием, нежели, скажем, «Зеркало» — фильм, который он считал умозрительным, чересчур «мозговым».

Примерно через час после окончания просмотра в компании итальянского режиссера и его главной исполнительницы Стефании Сандрелли мы пили вино в маленьком ресторанчике. Знаменитая «соблазненная и покинутая» в жизни оказалась худой, изможденной блондинкой, на бледном лице которой неуловимо проступали черты разрекламированного чувственного образа. «Все наши звезды кино созданы правильным освещением, — вспомнила я слова одного итальянского киношника, — все без исключения: Моника, Клаудия, Стефания — свет решает все!» По окончании недолгого ужина Бертолуччи распрощался и, сев в свою машину, нажал было на газ, но тут вдруг повернул красивую голову в нашу сторону и прокричал мелодично, словно пропел что-то. На глазах у Андрона выступили слезы. Я тут же вспомнила, как во время съемок «Романса» в Серпухове Кончаловский нет-нет да и поставит итальянскую аудиокассету и, глядя на мелькающие за окном машины русские ландшафты, будет предаваться воспоминаниям со слезами на глазах.

«Знаешь, что он сказал? Я люблю тебя и всегда думаю о тебе!» Андрон был тронут до глубины души. Выражения любви весьма свойственны киношному братству — здесь ничего не сделаешь без чувств, а преданность, пронесенная через языковые барьеры и политические системы, особенно ценна. По дороге в гостиницу Андрон рассказывал мне о романах Бертолуччи со своими героинями — Доминик Сандой («Конформист», «XX век»), Марией Шнайдер («Последнее танго в Париже»), а также о романе последней со Стефанией Сандрелли, наделавшем много шума в прессе. Затем он пояснил, что Стефания страдает от болезни почек и потому так похудела, и, вздохнув напоследок, по-отечески заключил: «К счастью, возле нее теперь преданный муж, а у Бертолуччи хорошая невеста!» Каждый раз, выслушивая истории страстей всеобщих кумиров, узнавая подноготную их желаний, я дивилась тому, насколько магия творчества проста на первый взгляд в ее человеческих составляющих. Интерес, влюбленность, ревность, восхищение, боль, память, месть, реванш, разочарование стоят почти за каждым стихотворением, пьесой, фильмом… Взаимосвязь между жизнью и творчеством — самая непосредственная. Намного сложнее понять, в какой момент жизнь перестает быть причиной, а творчество ее следствием — они незаметно меняются местами, и возникает обратная связь: примером служит история Пигмалиона. И уж совсем не под дается осмыслению тот момент, когда человеческие чувства, достигнув критической массы, трансформируются в произведение искусства.

Самая запоминающаяся встреча ждала меня впереди. Мы поехали в гости к Микеланджело Антониони! Добродушный хозяин принимал советскую делегацию за длинным обеденным столом, сервированным в гостиной. Раскрасневшиеся от возбуждения гости быстро освоились, почувствовали себя свободно, как в собственном доме, и вскоре разговорились в голос — сыпались анекдоты, комплименты, шутки, звенела посуда, разливалось вино, и все попеременно хохотали. Скромнее и молчаливее других был сам Антониони — за него «отдувался» его сценарист, Тонино Гуэрра. Он болтал без умолку, развлекая всех, и себя в первую очередь. Как позднее рассказал мне секретарь знаменитого режиссера, он же переводчик, по имени Анжело, — хозяин дома не любил официоза и с трудом переносил большое скопление народа. К тому же он был застенчив: не умел произносить тосты и шутки на заказ. Удивительно, насколько это соответствовало его «молчаливости» в творчестве — тексты и сам ритм его фильмов скорее напоминают подслушанную мысль, нежели произнесенное слово. Впоследствии его «молчание»

обернулось трагической иронией — в результате инсульта он потерял дар речи.

Не дождавшись десерта, я улучила минутку и выскользнула из-за стола, надеясь остаться незамеченной. Мне это удалось, и я решила прогуляться по дому в пределах первого этажа. Очутившись в закутке, где играл магнитофон, я принялась разглядывать кассеты и пластинки, которые аккуратно выстроились на полках вдоль стены. Взяв в руки наиболее приглянувшуюся из них, я вдруг услышала, как кто-то обратился ко мне по-английски: «Вам нравится эта музыка?» За моей спиной приветливо улыбался Антониони. Я плохо разбиралась в джазе, но попыталась объяснить, что мне все в его доме нравится. «А почему же вы вышли из-за стола?» — поинтересовался он. Я жестом указала на раздутый от количества съеденного живот в доказательство сытного обеда. Удовлетворенный моим ответом, он предложил мне пройтись вместе с ним по его жилищу. Я благоговейно согласилась, и мы отправились на экскурсию по частным владениям гения. Обстановка дома отличалась скромностью и функциональностью — ничего лишнего, единственное, что впечатляло воображение советского гражданина, — десятки квадратных метров, предназначенных для одного лица. Но зато какого! Все здесь наводило на мысль, что хозяин одинок — живет без семьи, жены или подруги. На крохотной тумбочке возле его кровати стоял портрет молодой женщины. «Это бывшая любовь Микеланджело, они недавно расстались, и он все еще переживает», — пояснил мне переводчик Антониони, подоспевший как раз вовремя. «Он просит тебе перевести, что ты ему понравилась в картине», — продолжил переводчик, имея в виду «Романс о влюбленных». Я радостно поблагодарила и принялась отвечать на вопросы, где я учусь, где живу и что собираюсь делать дальше. «А почему ты подстригла волосы? Хочешь походить на Мию Фэрроу в фильме Полянского „Ребенок Розмари?“» — поинтересовался режиссер. «Не знаю, может быть, она мне нравится!» Сравнение с героиней мистического триллера мне польстило. «Микеланджело собирается приехать в Москву и, возможно, будет снимать фильм в Казахстане. У него есть для тебя роль. Ты встретишься с ним в Москве?» — говорил мне Анжело. (Так звали щупленького человека, свободно объясняющегося по-русски. Позднее я подружусь с ним и узнаю, что он учился когда-то в Москве, затем женился на «нашей», привез ее в Италию и с тех пор не теряет связь с Россией, помогая советским кинематографистам налаживать контакты с местными киноидолами.) «Если вы позволите, он приедет в гостиницу проводить вас перед

отъездом». На все вопросы я отвечала утвердительно и с выражением восклицательного знака на довольном лице.

В последний день нашего пребывания в Риме погода была хмурая, целый день беспрерывно лил дождь. Это обстоятельство меня жутко расстраивало, все утро у меня крутилась навязчивая мысль: «Погода помешает ему прийти! А может, он давно передумал или забыл». Вдобавок ко всему нам устроили пресс-конференцию для местных журналистов прямо в холле гостиницы, и она, к моему ужасу, задержалась ровно на час. «Ну теперь точно не придет», — решила я. «Антониони, наверное, уже ушел, если вообще приходил», — со слезами в голосе шепнула я Андрону, которому к тому моменту тоже порядком надоело отвечать на вопросы под стрекот камер и щелчки фотоаппаратов. Ему, как и мне, безусловно, льстило внимание к нам автора «Фотоувеличения», «Профессии — репортер», «Забриски пойнт» и других знаменитых картин, но все-таки его самолюбие тревожил мой ажиотаж в ожидании седовласого господина. «Не дождался. Зачем ему это надо?» — сделал вывод Андрон. Я покосилась в его сторону, пытаясь понять — доволен он этим обстоятельством или нет. «Даже если ему от этого легче, все равно он тут ни при чем — ведь не мог же он заказать сегодня плохую погоду». Когда все наконец закончилось, мы вышли в гостиничный коридор — прямо перед нами, опираясь на зонт, словно на трость, стоял Антониони. Он грустно улыбнулся в ответ на слова благодарности за то, что пришел навестить нас в последнюю минуту перед отлетом. Мы пожелали друг другу всего наилучшего в будущем и выразили надежду на скорую встречу в Москве, обнялись и распрощались. Во мне все пело — талантливые артисты, к тому же оказавшиеся отзывчивыми людьми, способны пробудить все лучшее в тебе и дать силы на многое.

Через пару месяцев в Москве появился Анжело, он сообщил, что переговоры с Госкино о съемках в Казахстане идут полным ходом и что все решится весной. Он попросил меня отпустить снова длинные волосы, заверив, что это личная просьба Антониони. Спустя еще несколько месяцев тот же Анжело принес печальную весть о том, что проект сорвался по причине возникших разногласий между нашим начальством и итальянской стороной. Разыскав в каком-то журнале фотографию Микеланджело Антониони, я вырезала ее и отныне хранила изображение своего нового кумира среди самых памятных реликвий: мраморного львенка, зайца из хризопраза и осколка тарелки с голубой каемкой, которую мне вручили в первый съемочный день картины «Романс о влюбленных».

Глава 25. «Дань»

«Что ж не трубит архангела труба? Кто жив еще, когда таких не стало?» Весной 1975 года в Щукинском училище шел дипломный спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке Альберта Григорьевича Бурова, где я исполняла самую юную трагическую влюбленную эпохи Возрождения. Моими партнерами были: Ромео — Володя Вихров, Кормилица — Катя Граббе, Меркуцио — Юра Астафьев, Бенволио — Вадик Борисов, Тибальт — Витя Пиунов, Леди Капулетти — Наташа Жвачкина, Капулетти — Юра Беляев, Леди Монтекки — Оля Вяликова, Монтекки — Коля Тырин, Брат Лоренцо — Саша Таза, Парис — Андрей Градов, Князь Веронский — Стасик Федосов. Оформление спектакля, во многом определившее его успех, было создано художником Сергеем Бархиным. Основное место действия — городская площадь, где всякая забава неизменно оборачивается смертью героев. Разбитое вдребезги о задник декорации яйцо каждый раз сопровождает известие о той или иной кончине: любая надежда на зарождение жизни, которую несет любовь, здесь обречена. Пол сцены предусмотрительно усыпан деревянной стружкой — она так легко впитывает в себя льющуюся кровь! Одежды сшиты из грубой рогожи — никаких изысков, шелков и убранств богатого на красоту итальянского Возрождения. Платье Джульетты — настоящее рубище, в таком не невестой быть, а подниматься на эшафот… в иные времена.

А мы и не знали наверняка — наш милый, наивный, молодой курс — что мы все играем. Так случается с актерами — беззаботно поднимаешь на плечах судьбу Раскольникова, Карениной, Мышкина — и только когда собственная жизнь вдруг приобретает излом знакомой драматургии, в испуге оборачиваешься: как так?

Но тогда мы еще не знали, нам было радостно и весело играть шекспировскую трагедию. Во время спектаклей случались смешные нелепости, накладки, оговорки. В знаменитой сцене на балконе разговор Джульетты с Ромео прерывается криком Кормилицы, которая зовет свою воспитанницу. И каждый раз, заслышав ее голос, моя Джульетта делает рывок в сторону кулис, но возвращается вновь, не в силах оторваться от возлюбленного, пока наконец не уходит со сцены. И вот однажды, договорив свой крайне эмоциональный текст, я жду голоса Кормилицы, а его нет и нет. Тогда я решаюсь на импровизацию и кричу ни с того ни с сего: «А! Кормилица!» — и рвусь прочь с балкона, но возвращаюсь еще на пару реплик Отговорив нужный текст, снова жду сигнала от Кормилицы, — снова ничего не слышу и повторяю рывок с

криком: «А! Кормилица!» Получалось, что влюбленная девушка в кульминационный момент почему-то зовет свою няньку. Но вскоре сцена на балконе подходит к концу, ура! Как позднее выяснилось, Кормилица — Катя Граббе, — испытывавшая страх перед зрителем, решила для храбрости немного выпить, но вместо нужного эффекта получила прямо противоположный: прозевала свой черед говорить текст.

В другой раз мне забыли положить кинжал для сцены самоубийства Джульетты. Я долго шарила руками по стружке, говоря стихотворный текст, а орудия убийства так и не нашла. Пришлось прибегнуть к пантомиме — воткнуть воображаемый кинжал себе в живот. В сцене же самоубийства Ромео, когда Володя Вихров произносил надо мной, лежащей «в склепе», душещипательный монолог, я делала передышку и, чуть приоткрыв глаза, подглядывала за ним. На его трико прилипла деревянная стружка, от которой очень хотелось чихнуть, ноздри его раздувались, по лбу ползла капля пота, а с губ, вместе с красноречием, временами летели брызги… При столь близком рассмотрении его трагический актерский кусок был весьма комичным, и я еле сдерживала хохот. Но однажды он это заметил и заразился моим легкомыслием — каждый последующий спектакль я наблюдала, как сжимается его диафрагма, подавляя приступы веселой истерики.

Но, пожалуй, самой любимой была для меня сцена «с веревками», когда Джульетта узнает от Кормилицы, что Ромео сослан за убийство ее брата Тибальта. Альберт Григорьевич очень подробно развел мизансцену этого куска, что позволило мне шаг за шагом выразить все краски нарастающего безумия, которое обрушилось на героиню. Услышав о случившемся, я принималась ходить взад-вперед, словно полководец, нуждающийся в сосредоточении мысли и воли. Затем изливала свой гнев на Кормилицу, ругала ее — она гонец с плохими вестями. И только потом уже прорывалось отчаяние, которое сменялось мгновенным взрослением — следствием полного одиночества. Должно быть, это самая изощренная в своем трагизме сцена, которую мне когда-либо приходилось играть. Я благодарна всем, кто помог мне ее осилить, а вместе с тем избавиться от страха перед гениальным сочинением. Отныне я купалась в тексте, который говорил о любви и всех ее хитросплетениях. Сложная и путающая поначалу метафора стала доступной и единственно возможной, как только я обнаружила, что «отмычкой» к поэтическому образному шифру может быть лишь реальное человеческое чувство. Полюбить окончательно и бесповоротно, вплоть до готовности броситься в роковую бездну — вот рецепт исполнения

Джульетты. Воистину, великие роли — лучшая панацея для страдающего сердца! Они позволяют вырваться наружу твоей личной трагедии, тем самым облагородив и возвысив ее.

Но у режиссеров существуют свои хитрости, свои «отмычки» для запертых на множество замков актерских индивидуальностей. Теперь мне кажется, что Альберт Григорьевич, делавший редкие деликатные замечания, аккуратно подталкивал меня к моей собственной исповеди. Однажды во время репетиции он обратил внимание, что мои пальцы унизаны замысловатыми кольцами. «Много, слишком много колец, — лукаво заметил он. — Джульетте столько не нужно». Опытный педагог, повидавший на своем веку не одну студентку, чей жизненный сценарий напоминал сказку о Золушке, знал лучше меня, что в конце концов все Золушки возвращаются из замка домой на своих двоих. Оттого, видно, и не доверял золоту колец на руках новоявленной принцессы.

Его слова вызвали во мне бурю эмоций: я восприняла его замечание как социальный укор. «Извечная советская дилемма, — думала я с обидой, — не выбивайся из толпы, здесь доверяют бедным и страдающим и не любят богатых и счастливых!» Не секрет, что в глазах большинства, и не без оснований, я тогда принадлежала к семейному клану Кончаловских (к «богатым и счастливым»). «Народ нельзя пускать за порог!» — наставлял меня Андрон, закрывая дверь за незнакомцем. Раньше других молодых актеров я стала выезжать за границу, и порой мой облик и стиль поведения носил черты некой избранности. В моем гардеробе стали появляться вещи, привезенные из Парижа, как и пресловутые кольца, подаренные Андреем Сергеевичем. Однако мое положение только на первый взгляд могло показаться завидным. В реальности я оказалась в положении солдата, воюющего сразу на двух фронтах. С одной стороны, в меня попадали камни, предназначенные «благородному семейству», и я достойно отражала нападки, а с другой — сама превращалась в негодующего пролетария по отношению к Кончаловскому.

Вспоминаю один разговор с Андреем Сергеевичем, в котором он сочувствовал Джине Лоллобриджиде. «Бедная, она каждый день трясется за своего сына, его грозятся украсть ради выкупа… Ужас, как она это выносит?» — говорил он с неподдельным состраданием. Я возмутилась его сочувствием к «сытой» итальянской звезде: «А нас всех тебе не жалко?» Меня всегда поражал интерес Андрея Сергеевича к разного рода «монстрам» и диктаторам — Муссолини, Сталину, Макиавелли… Он анализировал их психологию сточки зрения простых человеческих слабостей и всегда находил повод для оправдания.

А тут вот еще сострадание к Джине! Замес социального гнева был во мне очень крутой, как почти во всех советских людях. Сколько раз в детстве я наблюдала «межклассовые конфликты», а порой сама становилась их жертвой! Живя в кооперативном доме Радио и Телевидения, что по тем временам считалось доступным немногим счастливцам, я стала свидетелем одной сцены. Пьяный мужик лупил по окнам нашего дома пустыми бутылками, а возле него выстроилась группка наблюдателей из соседних панельных «хрущевок». Жильцы кооператива хранили высокомерное молчание, пока кто-то не выдержал и, высунувшись в форточку, не обратился к стоящим внизу любопытным: «Что ж вы смотрите, остановите хулигана!» На что получил дружный окрик: «Нет уж, интеллигенты, теперь защищайтесь сами!» Только живя в Америке, где ни происхождение, ни дипломы об окончании престижных вузов, ни твой вчерашний статус не гарантируют успеха, а истинную ценность составляют только сегодняшняя энергия и упорство, я начала стыдиться социального гнева в отношении «белого населения» и выдавливать из себя раба, который в любой момент готов взять кувалду в руки и замахнуться.

Таким образом, замечание Альберта Григорьевича мне было понятно, однако я, по странной случайности жизни, снова оказалась «по ту сторону баррикад». И то правда, семья Кончаловских считалась «по ту сторону». За это ими восхищались и недолюбливали их. Многие, входившие в дом на правах близкого окружения, чувствовали себя приобщенными к иной среде, иному классу. Это было обоснованно, но, с другой стороны, в чем-то искусственно. Жизненный уклад, традиции, привычки, безусловно, отличались от уклада большинства советских семей неторопливой патриархальностью и аристократической светскостью. Прошедшие «школу» Кончаловских впоследствии с трудом учились маневрировать в окружающей их реальности, покинув оазис, в котором недолго пребывали. Все сказанное выше касается лично меня в первую очередь. Хотя позднее я пойму, что сама увлекаюсь парадоксальными ситуациями, испытываю к ним интерес первооткрывателя, а затем долго из них вылезаю.

Вот примерно в таком состоянии Золушки я и жила, репетируя Джульетту. Кто знает, может Альберт Григорьевич специально меня подначивал, понимая, что внутренний конфликт только на благо для артиста. Жестокая вещь — творчество, а жизнь еще жестче.

Спектакль «Ромео и Джульетта» стал событием как для курса, так и для училища. О нем даже появились заметки в газетах, думаю, заслуженно. Однако наш курс был отмечен странным

роком — самое большое количество ранних смертей выделяло его из всех других наборов. Умер Юра Астафьев — мой Меркуццио, умерла Катя Граббе — моя Кормилица… Трагически оборвалась жизнь хорошенькой и веселой Тани Красусской, Юры Черногорова, Сережи Абрамкина… В тридцать три года умерла моя подруга Света Переладова.

Еще при поступлении я заметила среди абитуриентов девочку с осиной талией, точеным лицом и балетной строгостью осанки. Света приехала поступать в Училище имени Щукина из Академгородка, что под Новосибирском. Приняли ее, как и меня, «условно». Она снимала комнату в коммуналке вместе с другими однокурсницами, и те с удивлением рассказывали, что каждое утро Света поднимается в шесть утра, чтобы успеть прочитать от корки до корки журнал «Иностранная литература», затем Сартра, Камю — все, что успеет, — перед тем как отправиться на лекции. Ее ум, интеллигентность и эрудиция не шли ни в какое сравнение с общим уровнем однолеток, в том числе и столичных студентов. Она трагически восприняла события, произошедшие в Чили: смерть президента Альенде, кровавую расправу на стадионе, приход к власти генерала Пиночета. Не найдя ни в ком из нас должного отклика на то, чем жил в то время весь прогрессивный мир, она принялась звонить в Новосибирск своему брату, чтобы с ним разделить свое горе.

Как-то раз она подошла ко мне в перерыве между занятиями и предложила пойти пить кофе куда-нибудь на Калининский. Я согласилась, и с тех пор мы ежедневно пили кофе, прогуливали лекции и болтали без умолку. Она была моим единственным доверенным лицом и советчиком по всем вопросам. По характеру сдержанная интровертка, она была смешлива и иронична, но иногда переживала внезапные взрывы страстей, граничащие с безумием. «Лед и пламень» — пожалуй, лучше нельзя определить ее противоречивый темперамент, благодаря которому она зачастую оказывалась в самых невероятных ситуациях. Как все иногородние студенты, она постоянно находилась в поисках жилья, меняя квартиру за квартирой. Однажды я узнала, что Света поселилась в доме, предназначенном на слом. В огромной черной громаде, из которой выехали все жильцы, она была единственным существом, которое зажигало окно по вечерам. Спустя месяц подъехавшая к дому милиция вывела из подъезда еще одного жильца и увезла его в отделение. Как выяснилось, «сосед», ночевавший где-то поблизости, был скрывающимся преступником. После этого Свету приютила мастер нашего курса — Людмила Владимировна Ставская, которая всегда старалась помочь своей любимой студентке. На диплом ей досталась

героиня в пьесе Теннеси Уильямса «Стеклянный зверинец», а по окончании училища она была приглашена в Театр имени Вахтангова. Среди немногих киноработ, которые она успела сделать, выделяется пушкинская Мэри из «Пира во время чумы» режиссера Михаила Швейцера. Светина личная обреченность, которой она словно искала сама, невольно заигрывая с потусторонним миром или бросая ему вызов, явно проступает в этой роли. Я знала, что после окончания училища у Светы открылся сахарный диабет. Ей нельзя было есть сладкое и мучное. Придя как-то раз ко мне в гости, она выложила на стол всякие диабетические вкусности, что присылала ей мама, настояла на том, чтобы я их ела, а сама принялась уплетать за обе щеки шоколад, который был противопоказан. Она весело отмахивалась от моих замечаний, что ей это вредно, как будто и здесь провоцировала судьбу. Света не терпела ограничений, называемых «здравым смыслом». Она была идеальной романтической героиней в жизни. И в гораздо большей степени Джульеттой, нежели была ею я. В свой первый же приезд из Америки в Москву я набрала номер ее телефона. На мой вопрос: «Можно Свету?» — мужской голос ответил: «Она умерла». Это был ее брат.

В 1997 году Училище имени Щукина отмечало шестидесятилетие педагога и режиссера Альберта Григорьевича Бурова. Позвонившая мне Людмила Владимировна Ставская пригласила на юбилейный вечер, попросив что-нибудь сыграть из «Ромео и Джульетты». Мысль о том, что мне предстоит выйти на сцену, на которой я последний раз стояла двадцать лет назад, привела меня в трепет. Играть Джульетту мне, теперешней, уже совсем непросто, да и перспектива забыть текст отпугивала, так как была весьма вероятна. И все-таки я должна была отдать дань этим людям, этому месту, да и своей юности. С грехом пополам я восстановила в памяти монолог, который произносит Джульетта перед принятием снотворного зелья. А в назначенный день отправилась в училище, прихватив с собой подарочную бутылку «Столичной», которую упрятала в маленький саквояж. Подвозивший меня таксист недоуменно косился, наблюдая, как бледная женщина с остановившимся взглядом что-то лихорадочно бормочет. Когда подошла моя очередь поздравлять юбиляра, я вышла на сцену и, поставив в ногах саквояж, начала читать:

Все прощайте.
Бог весть, когда мы встретимся опять…

Меня пронизывает легкий холод,
И ужас останавливает кровь.
Я позову их. Мне без них тоскливо.
Кормилица!……..

Читая текст, я смотрела на своды зала и в созвучии с монологом, говорящим о погребенных мертвых, видела своих однокурсников, а также многих других, чьи судьбы трагически оборвались: Стас Жданько, Саша Кайдановский, а теперь, увы, и Женя Дворжецкий, и… и… У меня дрожали колени и руки, как если бы я страдала болезнью Паркинсона, в горле стоял ком, и только необходимость произносить текст удерживала от рыданий. Дойдя до финальных слов: «И за твое здоровье пью, Ромео!», при которых Джульетта выпивает снотворное зелье, я извлекла из саквояжа бутылку и, отхлебнув приличную порцию, вручила ее юбиляру. В его глазах стояли такие же слезы. Я думаю, что Альберт Григорьевич был одним из немногих в том зале, кто понял весь мой личный пафос. Наверняка были и те, кто решил, что я просто пьяна. Но дань была отдана…

Глава 26. Без иллюзий

Если б можно было с каплями воды
тыльной стороной одной руки
с губ стереть мне реку слова
— Ты.

Говорят, что в определенные временные отрезки любовные отношения переживают пограничные периоды, которые грозят разрывом: спустя три года совместной жизни, затем пять лет, семь. Хочется сострить: ну, а дальше, если вы все еще живы, ситуация стабилизируется — наступает сплошной и беспрерывный кризис, но зато вы проживаете его вдвоем! Не знаю, насколько серьезно можно относиться к этим утверждениям, но в моем случае цифра три является тем самым роковым рубежом, который я с трудом перешагиваю. Правда, летом 1975 года я еще об этом не знала. Пережив все сроки предполагаемого конца своих отношений с Кончаловским — те сроки, которые мне сулили доброжелатели и умудренные опытом женщины («фильм заканчивается, и все проходит»), — я имела

основание предполагать, что наша история не попадает в разряд мимолетного романа, случившегося на картине. В то же время перспектива будущей совместной жизни была туманна как для меня, так, кажется, и для Андрона. Мне предстояло показываться в театры, что должно было стать началом самостоятельной профессиональной карьеры. «Не бери диплом, не показывайся в театр — будешь сидеть дома, займешься изучением языков…» — предложил вдруг Андрон. «А что потом?» — полюбопытствовала я. «Потом — неизвестность, потом — вечность, „потом“ я ничего не могу обещать!» — как-то озорно отвечал Андрон. Он всегда радовался собственным «парадоксальным» реакциям на роковые человеческие вопросы. «Тебе тяжело? Дальше будет еще тяжелее! — по-спартански „подбадривал“ он меня и недоумевал: Почему меня считают жестоким человеком? Я просто говорю всю правду, а люди не хотят ее слышать».

Я вспомнила, как во время озвучания «Романса» он любовался мной, вкладывающей текст в собственные уста на экране. «Заяц мой любимый, когда ты работаешь, ты прекраснее всего, это твоя стихия, запомни!» — повторял он вдохновенно. Теперь мне пришлось задуматься: чего же именно хочет Андрон и чего захочет потом, прими я его предложение — отказаться от карьеры театральной актрисы? В его искренней, страстной привязанности ко мне я не сомневалась. Однако если мне было свойственно постоянство чувств и даже жертвенная преданность другому человеку, то Андрон, наоборот, всей своей философией и вытекающим из нее поведением декларировал независимость от долгосрочных связей, временность всего, что строил в данный момент. Он выбирал тебя в свои спутники на тот отрезок времени, который определял сам, и все попытки противиться его авторитету, устанавливать свои «правила игры» неизбежно приводили к разрыву. «Если бы ты бегала по компаниям своих ровесников, просиживала с ними, попивая вино, слушая гитару, — мы бы давно разошлись!» — четко и ясно определял он, что хорошо для него, а что неприемлемо. Он был безусловным лидером, но и звездой — не только на площадке, но и в личных отношениях. Создавалось впечатление, что в нем живет невостребованный актер — настолько он любил быть центром всеобщего внимания, объектом восхищения, тем самым претендуя на роль, в традиционных отношениях предназначенную для дамы.

Во время поездки с картиной в Рим мы были приглашены хозяином очень дорогого магазина для бесплатных покупок — широкий жест владельца своим русским гостям. Выбирая элегантную мужскую одежду, мы блуждали по комнатам изящного бутика, пока наконец хозяин не задал Андрону вполне

резонный вопрос: «Может, мы найдем что-нибудь для вашей мадемуазель?» На что уязвленный Андрон в сердцах отпарировал: «Одевать мадемуазель буду я сам!» Он, конечно, был очень ревнив, а вернее, властен в отношении своей женщины («Мое! — сказал Евгений грозно…»), однако порой в этих сильных объятиях было трудно отличить отеческую заботу от отеческого же гнева («Я тебя породил, я тебя и…»). Восхваляя свободомыслие, индивидуализм, личную свободу на западный манер, он хотел видеть рядом с собой умную, талантливую, образованную женщину и при этом желал ее полного подчинения собственной воле. «В любви нет равенства, она не строится на уважении к партнеру, необходимому в деловых отношениях, любовь — это страсть, значит, она стремится подчинить, захватить, присвоить — оттого у русских невозможна демократия, нами управляют чувства, а не здравый смысл», — примерно так объяснял Андрей Сергеевич царящий вокруг хаос.

Первое место в списке идиосинкразий, свойственных ему в ту пору, занимало неприятие брака. Помню, однажды он комментировал разыгравшуюся на наших глазах типичную семейную сцену. Мы куда-то ехали и на красный свет притормозили у перекрестка. По соседству остановилась машина, в которой женщина что-то выговаривала сидящему за баранкой с усталым и злым видом мужчине. «Давай, давай, пили его, сначала под марш Мендельсона с большими надеждами, а теперь вот промывает ему мозги! — со сладкой горечью озвучивал Андрон происходящее, — как много у человека иллюзий, а брак — одно из самых серьезных его заблуждений!» Безусловно, в такие моменты я получала необходимую долю «низких истин», без которых невозможно пройти так называемую «школу жизни». Вопрос в том, стоит ли в данном случае получать образование экстерном или все-таки лучше осваивать науку по мере приобретенного опыта. Очевидно только, что этот, не самый романтичный, способ общения с дамой сердца рано или поздно разбивает «любовную лодку»… об унитаз. Впрочем, я давно не претендовала на роль «дамы», спутав изначально роль актрисы и любовницы, затем став подругой и чуть ли не соратником в борьбе с… обывательскими условностями. По крайней мере этим я объясняла неординарное поведение своего мужчины, когда, посмотрев мой дипломный спектакль, он не стал меня ждать с поздравлениями (и букетом?), а отправился домой, что поначалу вызвало мое беспокойство и только позже досаду: значит, я не совсем та, кого стоит ждать у подъезда. Вскоре я совершила еще одну робкую попытку выяснить нашу общую перспективу, спросив его однажды: «Ты мог бы когда-нибудь изменить свою жизнь ради

женщины?» На что получила незамедлительный и правдивый ответ: «Никогда!»

И я отправилась показываться в театр. Теперь я понимаю, что мой выбор был предопределен воспитанием и семьей, где все работали и постоянно испытывали материальные трудности. Жизнь без работы казалась легкомысленной роскошью и пугала социальной уязвимостью, незащищенностью перед коварством будущего.

Главный режиссер театра «Современник», Галина Борисовна Волчек, предупредила заранее, что в театре вакантных мест нет и брать никого не собираются, тем не менее, скорее для проформы, показ для выпускников «Щуки» был устроен. Свою любимую сцену с веревками из «Ромео и Джульетты» я играла для маленькой комиссии — самой Галины Борисовны, Олега Павловича Табакова, Валеры Фокина и Насти Вертинской. Настроение у меня перед показом было премрачное, и по дороге в театр я поделилась ощущениями со своей подругой Светой Переладовой, которая также собиралась исполнять отрывок из дипломного спектакля: «Самое время в петлю лезть, не то что в театр показываться». Света поддакнула в унисон: она разделяла все нюансы моего умонастроения — мы обе смотрели на мир через затемненные стекла. Так мы тряслись в автобусе одним солнечным утром — два юных скептика, два страдающих Вертера в юбках, готовые через полчаса представить на суд свои исхудавшие тела и печальные души. Впрочем, такое настроение как раз подходило для исполнения трагического куска из «Ромео и Джульетты».

Оказавшись наконец на месте, я облачилась в черную репетиционную юбку и принялась шагать взад-вперед по комнате в ожидании, когда мне позволят начать мою сцену. Волнения и трепета перед показом я не испытывала, убежденная, что театр никого не ищет, но само предвкушение игры заряжало нервной энергией, а я уже знала, что без этого невозможно выходить на сцену. Антагонизм по отношению к тем, кто собирался на меня смотреть, помогал «накачать» состояние и отключиться от рутины повседневности. «Сейчас дам им всем по мозгам!» — настраивала я себя. Бросить вызов публике за ее аморфность, за то, что «они» сидят и глазеют, — ощущение какой-то вселенской несправедливости, о которой ты якобы знаешь, а они забыли или не ведают, — все это замечательная психологическая настройка для актера, если играешь драму или трагедию. Трудно в таких случаях выходить на сцену, считая себя на равных со зрителем, а тем более ниже его, — только пристройка сверху, дистанция конфликта. Возможно, эта творческая кухня провоцирует и в

жизни какую-то отчужденность от «зрителей» — так актеры в шутку называют людей всех других профессий. Так часто «посылать» их перед игрой, а потом в реальной жизни освобождаться от сознания своего преимущества, — не слишком просто. Вся эта «накрутка», конечно, искусственна и есть ничто иное, как издержка профессии, а ее последствия — «профессиональная коррекция личности» (объясняясь терминологией психиатров — людей, имеющих в качестве «зрителей» гораздо большую аудиторию). Очевидно, я все-таки достигла цели — по мозгам дала — и меня пригласили на разговор о работе в театре. «Хотите войти в нашу труппу?» — спросили меня. «А у вас есть для меня роль? Если есть, то хочу, а если нет — то не хочу!» — такой постановкой вопроса я имитировала Андрона: не я для вас, а вы для меня. «Есть роль, есть», — после некоторого замешательства отозвался Валера Фокин. Я была уже в дверях, собираясь выйти из зала, когда меня окликнул Олег Павлович Табаков: «Простите, а сколько вам лет?» — «Двадцать один!» — отозвалась я голосом Васьки Пепла и вышла. Так меня зачислили в театр «Современник».

А вскоре пригласили ехать с театром на гастроли в город Оренбург. Совершить путешествие в город, где отбывала когда-то ссылку моя любимая бабуля и куда к ней приезжала первоклассницей моя мама, казалось мне очень соблазнительным. До отъезда оставался целый месяц, несмотря на это, я стала постоянно испытывать беспокойство и даже панику перед предстоящей поездкой. Дошло до того, что у меня начались нервные срывы: я задыхалась в помещениях, садиться могла только напротив окна, случались внезапные приступы страха. Мне вдруг казалось, что я слышу, о чем думают окружающие меня люди, даже посторонние, прохожие. Следующей стадией моего своеобразного «сдвига» было превращение прямо у меня на глазах пары-тройки незнакомых лиц… в свиные рыла — точь-в-точь как у классика. (Не исключено, что они на самом деле таковыми и являлись.) Однажды я разразилась истерикой в присутствии мамы. Прыгая на кровати и забиваясь в угол, я взывала о помощи: «Сделай что-нибудь, давай уедем, спрячемся от всех, я не в состоянии работать, зачем я согласилась, я устала, я боюсь!» Мама грустно слушала, вздыхала, успокаивала меня, а потом как-то по-чеховски обреченно сказала: «Что поделаешь, доченька, надо работать, надо ехать в Оренбург, все как-нибудь образуется». Моя детская вера в то, что всесильный родитель защитит меня от «злого дяди», развеялась как дым… Мама тоже боялась «дяди»!

Неспособность решить внутренние проблемы и изменить

обстоятельства подтолкнула меня к работе над внешними «шероховатостями» — я постригла волосы под мальчика (именно тогда), но легче от этого не стало. «Неженственно!» — высказал свое мнение Андрон. В один из тех дней я присутствовала при разговоре Андрона и Вали Ежова об Урусевском (они начинали вместе писать сценарий «Сибириады»). Мы втроем сидели в доме на Николиной Горе, в кабинете Андрона. Вспоминая талантливейшего оператора, они вскользь упомянули имя его жены — Беллы. В этот момент комнату пересекла ночная бабочка, внеся в атмосферу какую-то тревожность. Мне стало не по себе — прямо из угла комнаты на меня двигалась незнакомая женская фигура… Я подпрыгнула как ошпаренная и завопила: «А-а-а!!!» Андрона и Валю передернуло: «Что с тобой, Леночка?» Когда я объяснила свою галлюцинацию, Андрон усадил меня на колени и, поглаживая по голове, приговаривал: «Не бойся, не бойся, я с тобой, и Валя здесь, все в порядке». После того как я притихла, они начали перешептываться: «Белка-то — ведьма, помнишь, какой красавицей он ее изображал на портретах — это она ему такой виделась, а ведь она страшна как черт!» Спустя несколько дней Андрон позвонил соседу по даче проконсультироваться насчет моего состояния: «Что? Синдром шизофрении? Хорошо, как-нибудь заедем». Предположительный диагноз мне даже понравился — в нем слышалось что-то благообразное… Только позже я поняла, что в тот момент в глазах Андрона все мои шансы стать продолжательницей аристократического рода Кончаловских свелись к нулю.

Вскоре моя мама устроила мне встречу с врачом-психоневрологом. Помню, как я сидела перед его кабинетом в темных очках, исполненная великого спокойствия — забавный, наверное, был у меня вид: прямо голливудская звезда, поджидающая отправки в сумасшедший дом! Врач оказался человеком приятной наружности, с удивительно добрыми, серьезными глазами. Я тогда подумала, что, пожалуй, еще не встречала такого внимательного человеческого взгляда. Задав мне ряд необходимых вопросов, он проделал обычную манипуляцию постукиванием молоточком вокруг моих коленных чашечек, после чего выписал успокоительное лекарство, которое нужно было принимать в течение месяца. Затем проводил меня из кабинета в вестибюль, где поджидала нас мама. Пошептавшись с ней, он пожелал мне успехов и распрощался. «Что он тебе сказал? Какой у меня диагноз, я что — шизофреник?» — приставала я к маме с вопросами. «Ну что ты, девочка, он просто сказал, что ты человек специфической организации, да и профессия еще такая, неспокойная. Перенервничала, вот и все». Ее слова меня не

убедили, и я долго еще подозревала, что от меня скрывают мой настоящий диагноз. Мне кажется, что в России, особенно в те годы, редко можно было встретить человека, который бы не считал себя потенциальным кандидатом на место в психиатрической лечебнице. А в той среде, в которой я выросла, такие понятия, как «порядочный человек», «ум», «талант», «сумасшествие», «ранняя смерть» считались практически синонимами.

В таком «счастливом» состоянии, с коробочкой пилюль я отправилась в свои первые гастроли с театром «Современник». Стоя как-то перед доской с расписанием репетиций (я сразу была введена в пару спектаклей), я оказалась возле Олега Павловича Табакова. Он, как всегда, был внимателен и приветлив, поинтересовался, как идут дела, и вдруг обратил внимание на мои зрачки: «Что это у тебя такой странный взгляд?» Заподозрил, видимо, меня в наркомании. Я с блаженной улыбкой на устах поведала ему, что по совету врача принимаю таблеточки, от которых спать хочется и зрачок расширен! «Что еще за таблеточки? А ну покажи!» — потребовал Олег Павлович. Я послушно сбегала за коробочкой. «Да какие сильные, а ну выброси, ничего тебе не надо принимать, сама справишься!» — грозно отчеканил он. Я последовала его совету без колебаний и приготовилась было выбросить, но тут одна из актрис, оказавшаяся поблизости и слышавшая весь разговор, попросила отдать ей такую драгоценность. «Ей можешь дать, а сама не принимай», — разрешил ситуацию Олег Павлович, и я протянула коробку довольной своим приобретением актрисе. До сих пор благодарна месье Табакову, что он так умно помог мне сделать правильный выбор: человек должен уповать на свои собственные резервы в борьбе со страхом — а он и есть источник всех болезней!

Глава 27. Приземленное и возвышенное

Поступив работать в «Современник», я оказалась среди людей, которых знала по своему детству. Алла Покровская, Лиля Толмачева, Володя Земляникин, Гера Коваленко, Андрей Мягков, Ася Вознесенская, Валя Никулин, Люся Крылова и многие другие имена произносились родителями так часто, что я стала принимать их за дальних родственников. Не говоря уже о тех из них, кто бывал в нашем доме, дружил с родителями и трепал меня, прыщавую школьницу-подростка, по голове. С некоторыми актерами я успела познакомиться самостоятельно. Например, с Валерой Хлевинским, с которым снималась у Сергея Урусевского

в картине «Пой песню, поэт». Я тогда едва закончила десятый класс, отснялась в «Таймыре» и сразу получила эпизодическую роль в режиссерском дебюте всемирно известного оператора. Или с Костей Райкиным — я не только встретилась с ним на ступеньках «Щуки» во время поступления, но даже успела сходить пару раз на свидание, будучи студенткой первого курса. Помню, мы сидели с ним в кафе «Метелица», и я рассказывала о своей трудной первой любви, об однокласснике Саше… (Странная особенность женщин — рассказывать очередному кандидату на роль возлюбленного о том, кто был до него. Кокетство, одним словом: и на приеме у врача, и на операционном столе, и на похоронах — кокетство!) Для меня все, о чем я говорила, было трагедией, а Костя слушал, слушал, а потом мудро заключил: «Это знаешь что такое? Обыкновенная история, читала Гончарова?» Н-да-а… А вся жизнь — всего лишь сюжет для небольшого рассказа… да и то в лучшем случае!

Итак, попав в «Современник» как в знакомую, родную коммуналку, я испытала своеобразное смещение во времени. А точнее — дежа вю. С той маленькой разницей, что теперь я находилась под сильным влиянием Андрона, который категорически отвергал советский богемный стиль, как и интеллигенцию того периода. («Интеллигент — это тот, кто владеет несколькими иностранными языками, образован и у кого дед уже был интеллигентом, а эти кто такие?») Я вступала с ним в спор, отстаивая интеллигенцию до хрипоты. Но посиделки под гитару, круглосуточное коллективное существование, надлом как превалирующее настроение теперь воспринимала с трудом. Голова моя была забита поисками своего предназначения, мистическими знаками и символами, раскрытием внутренних резервов — всему этому должно было способствовать воздержание от скоромной пищи и голодание. На гастролях я объедалась яблоками до черного языка (единственное, что ела), постепенно превращаясь в скучную мазохистку. Как ни странно, у нас вегетарианство в конечном итоге ссорит человека с коллективом (все торжества, совместные приемы пищи — мимо!), хотя на самом деле это не является целью, даже наоборот. Не говоря уже о сухом законе: тот, кто ему следует, превращается во врага народа, ибо все ритуальные возлияния после премьер, на сборах труппы, юбилеях и гастрольных буднях призваны скреплять человеческие и творческие узы. Очень показательно в этом смысле ставшее крылатым выражение: «Человек, который не пьет, вызывает у меня подозрение!» Одним словом, я впадала в одну крайность вместо другой: не употребляла спиртное, не курила, не ела мяса, не пила кофе, таскала в карманах какие-то

камушки-амулеты, камушки-обереги, думала только о плохой и хорошей энергии и старалась держаться, как подобает женщине из благородного семейства (Кончаловских). Элиза Дулитл, ставшая леди!

Несмотря на мою напускную взрослость и самостоятельность, вид у меня был довольно тепличный.

Это, должно быть, побудило Галину Борисовну сразу предупредить, что театр не только нечто красивое и возвышенное, но и приземленное, грубое — пусть меня ничто не шокирует. Убежденная в том, что худрук просто недооценивает мой жизненный опыт и силу характера, я приготовилась дать отпор всему, что встанет на пути к прекрасному. Затаив на время свои амбиции драматической героини, я довольствовалась вводами на небольшие роли в спектакли «Четыре капли» Виктора Розова и «Валентин и Валентина» Михаила Рощина. Роль в пьесе Розова мне нравилась, она позволяла оттачивать мастерство, будучи одновременно комедийной и драматической. Олег Павлович Табаков не обошел и здесь меня вниманием, пошутив: «Коренева пока существует в состоянии тюбика с пастой — жмет из себя!» А я любила «жать» — подниматься на эмоциональную волну и нестись с ней, едва удерживая равновесие. Но вот эпизодическая роль сестры в пьесе Рощина меня расстраивала. Она была чисто травестийная и досталась мне, как я думала, за маленький рост. Я болезненно выдерживала на сцене реплику Марины Нееловой (Валентины) о том, что «свои недостатки нужно превращать в достоинства» — мне это не удавалось.

Одним из таких «недостатков» была моя ревность в отношении самой Марины Нееловой. Наверное, многие актрисы мечтали оказаться на ее месте — единственной героини театра, любимицы главного режиссера и бесспорной любимицы публики. И смешанное чувство зависти, ревности и восхищения в данном случае так же естественно, как и мучительно. Но к нему примешивалось что-то еще. Я много слышала от Андрона о Маринином таланте и женском обаянии. Говоря о ней, он всегда расплывался в улыбке и даже краснел — в его словах чувствовалась влюбленность в нее как в женщину. И пусть это было в прошлом — некоторые прошлые увлечения все еще опасны в настоящем, а значит, и в будущем. Я смотрела на нее как на соперницу, отмечая все достоинства и недостатки. Только без толку — достоинств было множество, а недостаток один: она знала Андрона до меня. Несмотря на сложную внутреннюю борьбу, которой я была занята в присутствии Марины, мне пошло это на пользу. Впереди было еще много встреч с соперницами, любовницами, талантами, стервами и ангелами, чьи взгляды

предстояло выдержать. В конце концов я сама начала испытывать прилив нежности к Марине и умиление всем тем, что она делала. Мне захотелось превратиться из «зайчика» в обворожительную лисицу, стать умнее, острее, коварнее — короче, как сама Неелова. Тот же Табаков однажды, глядя ей вслед, прошептал: «Сирена». На языке мифологии это значит — соблазнительница. Олег Павлович был прав — присутствие этой женщины вдохновляло мужскую половину театра посильнее самой системы Станиславского.

А между тем амур со стрелами витал в поисках жертвы не только над спектаклем «Валентин и Валентина», но и в коридорах гостиницы, где разместился «Современник» на гастролях. Одним знойным полднем, направившись в буфет за яблоками, я встретила на своем пути группу актеров, рассуждающих о карате. Главный специалист, Олег Шкловский, объяснял своим товарищам наиболее распространенный прием восточного единоборства. «Вот такие девочки, как она, — он указал в мою сторону, — могут это сделать лучше нас!» Я остановилась, решив послушать, о чем идет речь. «Ну-ка попробуй, у тебя должно получиться», — обратился он ко мне. Я указала на свой неподходящий наряд — джинсы клеш и сабо на высокой платформе: «Прямо так?» — «А почему бы и нет, давай», — подзадоривал он меня. Я сделала мах ногой и выкинула ее наподобие перочинного ножика. «Вот это да! — обрадовался Олег. — Будешь заниматься карате? Я веду группу». Так неожиданно началась моя дружба с Олегом, или, как его называли друзья, Аликом. Теперь мы бродили вместе по улицам Оренбурга, разговаривали в антрактах, короче, не расставались вплоть до возвращения в Москву. Он рассказывал мне о том, как пришел к вере, о слабостях души и выносливости тела, о красоте и мудрости Востока, о самураях, харакири и философии смерти. Лицом он походил на юношу с Фаюмского портрета (огромные золотисто-карие глаза с пушистыми ресницами), а застенчивостью в сочетании с доверчивостью — на молодого оленя, вышедшего из чащи к людям. Его речь лилась как белый стих и поражала искренностью и выстраданностью. У Олега был врожденный дар убеждения и красноречия, свойственный духовным учителем, проповедникам и гуру. Отчасти именно это качество будет востребовано, когда он начнет вести телепередачу «Как это было». Шкловский, как никто, умеет слушать людей и говорить с ними на самые животрепещущие темы. В театре мы сыграли вместе только в одном спектакле, в сказке «Принцесса и дровосек». Я была принцессой Жулейкой, а Олег водяным. Мало перед кем из простых смертных женщин, не актрис, представал

влюбленный мужчина в зеленом трико и в свисающих отовсюду марлевых водорослях. Сказки обычно идут в театрах по утрам, для детей и их родителей. Я что-то долго щебетала голосом Жулейки, бегала за «дровосеком» — Стасиком Садальским и только после антракта, во втором действии, узнавала в полутьме сцены знакомую фигуру в «ластах» и щупальцах. Из-за сплошной зелени на меня смотрели вопрошающие глаза, затем слышался шепот Олега: «Доброе утро, Ленуся!» (Другим водяным был ныне здравствующий иерей Рождественский, а тогда — актер Сергей Торкачевский.) Но тут начиналась булькающая музыка, что звучит в водном царстве, и я возвращалась к перипетиям судьбы маленькой Жулейки. (У нее все благополучно закончилось — она вышла замуж за хорошего парня в лице Стасика Садальского. Правда, сначала пришлось ползать друг за другом в сметане, но это их личная история…)

Как-то вечером мы с Олегом сидели на лавочке возле гостиницы и вели одну из наших неторопливых бесед. Но вдруг послышался звук распахиваемого окна, и среди женского хохота отчетливо прозвучал голос одной из уважаемых актрис: «Смотрите, а Кореневу уже кто-то лапает!» Приземленная сторона жизни театрального коллектива повсюду следовала за возвышенной: того гляди, взлетит, глупышка, нужно попридержать! Для моей вегетарианской души это было равносильно заглатыванию кровавого куска мяса. Следующий удар настиг меня во время очередного детского спектакля. Я обнаружила пропажу кошелька, в который положила крестильный крест, а также «кучу денег» — две зарплаты. (Мой месячный заработок в те дни насчитывал семьдесят пять рублей.) Спустя какое-то время, собрав актеров, Галина Борисовна объявила: у Кореневой украли кошелек из гримерной, в театре воруют, всех неоднократно предупреждали — не оставляйте ценные вещи на виду! После ее слов труппа принялась обсуждать ближайшие творческие планы. То, что проблема неразрешима и ее нужно просто проигнорировать, было очевидно, но именно это и привело меня в состояние шока: актеры играют, воры воруют, караван идет… И если в жизни к этому приходится привыкать, то в театре хотелось прокричать: а зачем мы играем сказки?! Тогда я воспринимала театральное действие как некий ритуал, призванный очищать людей, а театральный коллектив — как некую секту, совершающую свои обряды. К тому, что это просто слепок с общества, в котором объединены люди разных мировоззрений, характеров, вер, целей и воспитания, я привыкну намного позднее, отделив свои персональные задачи и поиски от общих.

С гастролей я вернулась с пополнением: рядом со мной был, ну, если не телохранитель, то что-то вроде ангела-хранителя. Казалось, для Олега отныне мое душевное равновесие стало делом исключительной важности. А между тем в Москве только что закончился очередной международный кинофестиваль. Встретившись с Андроном, которого я не видела целый месяц, я обнаружила в нем перемены. Чутье подсказывало, что он кем-то увлекся. Рассказывая о московском фестивале, Андрон заметил: «Да, кстати, я давал ключи своему приятелю, он ночевал здесь со своей женщиной, кажется, ее звали Олей… Так что если обнаружишь прядь женских волос или еще что-нибудь, не удивляйся». Как-то он попросил: «Попробуй так смеяться, чтобы брови поднимались от переносицы резко вверх, к вискам!» Мое лицо с трудом изобразило гримасу радости. «Нет, не то!» — досадовал Андрон. «А зачем это?» — поинтересовалась я: ничего подобного со мной прежде никто не проделывал. Он вдохновенно разъяснил: «Я встретил одну норвежку, у нее такое удивительное лицо, когда она смеется… потрясающая мимика!» Позднее эта девушка будет ухаживать за простуженным Андроном, поить его чаем с малиновым вареньем, бегать в аптеку за лекарством… А в картине «Сибириада», в самом начале, ее курносое личико и пышная, как калач, фигура промелькнет в кадре. «А это кто такая?» — спросит Родион маленького Кольку Устюжанина. «Да так… живет…» — лениво буркнет карапет.

Тем летом я предпочла забыть неприятные мысли и ощущения. Женская интуиция подсказывала: если мужчина ничего не говорит о своих увлечениях — значит, он дорожит существующими отношениями, боится их разрушить. Другое дело, когда он сообщает, что «поезд ушел», — тогда пиши пропало. Внимание ко мне Олега в этом случае тем более оказалось кстати. Я не растерялась и отправилась на свидание, которое он назначил в Ботаническом саду. Но прежде решила забежать к косметичке, чтобы почистить кожу, запаршивевшую в оренбургском климате. Спустя час на моем лице рдели красные горошины, на носу красовались темные очки, а на голове — выстриженный ежик. Я всячески истребляла в своем облике романтические черты, подчеркивая тем самым эмоциональную усталость и неготовность к очередной истории любви. Оглядев меня, Олег пришел в восхищение: «Никогда не встречал женщину, которая приходит на свидание с таким лицом!» Мы отправились бродить с ним по бесконечным аллеям совершенно пустого сада. Тем страннее было наткнуться в конце одной из дорожек на серый валун, на котором было выгравировано: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить». Как после взрыва атомной бомбы:

земля без нас, после нашей смерти. Чистый сюрреализм — непонятно откуда взявшийся предмет на фоне обезлюдевшего ландшафта. Нам стало не по себе, и мы поспешили бегом к воротам центрального входа. Появившийся из ниоткуда сторож выпустил нас на свободу и тут же повернул ключ, соединив чугунные решетки: оберегал тишину вокруг серого валуна.

Несмотря на взаимные чувства, мои отношения с Олегом оставались тогда платоническими, а со временем переросли в дружбу, которая длится по сей день. Однажды он раскрыл тайну нашей близости, обнаружив, что мой день рождения и его именины приходятся на третье октября. Это событие он запечатлел в коротком стихотворении, которое отправил мне телеграммой. «Благословен сей день вдвойне: рождением твоим и ангелом ко мне…» Все-таки ему суждено было сыграть роль человека, который накренил «лодку» моей любви к Андрону. В нем я нашла оппонента всему, что проповедовал Кончаловский. Прагматизму, амбициям, скепсису, эгоцентризму, «низким истинам» были противопоставлены несуетность, философичность, доброжелательность, терпимость и в конце концов галантность по отношению к женщине. Однако не секрет, что семя должно упасть в благодатную почву, прежде чем дать ростки. А почва моему сомнению, увы, была давно подготовлена. Не говоря о том, что Олег оказался не единственным, кто дерзнул меня образумить и, кто знает — спасти, а может, оторвать от моей любви.

Глава 28. Отправление того поезда…

…который ушел. В августе, после моего возвращения из Оренбурга, мы снова поехали в Коктебель. Мы — это я, Андрон и его соавтор Валентин Ежов, или просто Валя. Есть люди, о которых нужно писать с восклицательным знаком. Ежов! Это имя, хорошо известное отечественным кинематографистам, достойно стать нарицательным в той же мере, как Василий Теркин, дед Щукарь или поэт Барков… Валентин Иванович Ежов, а точнее — автор «Баллады о солдате», «Белого солнца пустыни», лауреат Государственной премии! А еще точнее — шутник, балагур, фантазер, любитель рассказывать байки из своей фронтовой, послефронтовой, вгиковской жизни, любитель выпить, одним словом — настоящий русский человек! Душа человек, да и только!

Валя был полной противоположностью Андрея Сергеевича. Он самозабвенно истреблял свое здоровье, смолил сигарету за сигаретой, ел все, что под руку попадет, спал допоздна, был медлителен и тяжел на подъем — колоритнейшая фигура! При

слове «работа» мрачнел и брюзжал. Но зато: девочка, девушка, баба, бабенка, девчушка, попка, пипка, пиписька, сиська и так далее — заряжали его оптимизмом и невиданной жизненной силой. «Ну что ты будешь делать! — сетовал Кончаловский. — Ежова силком нужно тянуть на работу, следить за ним, как за ребенком, чтоб куда-нибудь не убежал — беда, да и только! Другого сценариста взять — он будет подниматься как часы, ходить в выглаженной рубашке, причесанный, жадный до творчества — так ведь наверняка бездарность, а этот — талантище! Почему в России все талантливые люди пьют?.. Им же есть чем заняться — не понимаю». Когда Валю наконец выводили «на прогулку», то есть «на работу» — он кряхтел, шаркал ногами, сморкался, чихал, говорил о солнышке, о погоде, о тетках в купальниках, об их лысых мужьях. И было непонятно: где же творческий процесс, когда он начнется? А это, оказывается, и был творческий процесс. Он все видел, все замечал, обдумывал, наблюдал и потом рождал афоризмы, словесные перлы, без которых «Сибириада» была бы не притчей о России, а всего лишь госзаказом о нефтяниках. Одна фраза Вечного деда — «помирает не старый, а поспелый» — чего стоит!

Но Валя, очевидно, чувствовал себя не единственным пленником ситуации. Глядя, как я, задрав ноги на перила веранды, читаю книжку или делаю еще что-нибудь «умное», он заговорщически понижал голос: «Иди к морю, резвись, что ты здесь с двумя стариками болтаешься. Тебе ведь хочется побегать!» Особенно его расстраивала моя худоба, он то и дело повторял: «Где твоя попка, помню, у тебя была хорошая попка, а теперь — фиг… Что случилось?» Как-то раз, прогуливаясь вместе с ними по дорожке, я обогнала задумчивую парочку соавторов и свободной походкой дефилировала впереди. Это дало повод лауреату Государственной премии отвлечься от изнурительной работы: он заговорил о набоковской «Лолите». «Помнишь Лолиту? — обратился он к Андрону. — Ленка чем-то ее напоминает, такая же маленькая, со спины — девочка, а на лицо — женщина». Я тогда еще не читала Набокова. А когда мне представилась такая возможность, тут же вспомнила Ежова, с чьих уст впервые слетело это «капающее», ритмичное повторение звуков: «Ло, ли, та» — вроде — «ла, ла, ла»! Что-то напоминающее слезы: «кап-кап»… (Вы «Лалала» не читали? А «Капкапкап»? Помилуйте, культурному человеку это обязательно нужно прочесть!)

Над Лолитой и Гумбертом можно много и долго «кап-кап-кап», но в те дни на дорожке никто не плакал. Разве только Валя невидимыми слезами. В конце концов в этой троице роль автора предназначалась ему. А также роль соглядатая, наблюдателя, чье

предназначение как всякого третьего (потому и «лишнего») — открывать новую истину, о которой двое, уткнувшись друг в друга, всегда забывают или знать не хотят. Так однажды косился он, по обыкновению, в мою сторону да и брякнул: «Нечего тебе делать в этом доме, Андрон — немец, беги отсюда!» Это напоминало шифровку, переданную одним сокамерником другому. Валя знал, что срок его «заключения» рано или поздно истечет, сценарий будет закончен — и он на свободе! А вот у меня, типичной мазохистки, сладкая несвобода может превратиться в пожизненное заключение. Это он из чувства солидарности предложил мне побег. Правда, не вместе с ним, а в одиночку: вместе — опасно, дорога длинная, голодно… А что до «немца», то Андрон сам себя так называл… «Я немец, немец… Люблю порядок!» — он имел в виду, конечно, свой характер. Однажды, повторяя в очередной раз свое «я немец, немец», он пошел еще дальше и крикнул: «Я даже больше скажу — я фашист!» Я испуганно оглянулась — не дай Бог кто услышит! Но вокруг не было ни души, только подмосковные холмы да зарытые где-нибудь кости неизвестного солдата. Боже, что только двоим не доводится говорить, когда сказать уже нечего… Настал момент, когда он увидел во мне свое отражение и ужаснулся: «Ты стала слишком деловой, давай поговорим о чем-нибудь просто так… Ты похожа на немку! Неужели это я тебя такой сделал?» Мое сердце сжалось от наслаждения… Понял!

Вернувшись в Москву, Андрон и Ежов по-прежнему были неразлучны: то сидели на Николиной, то в Переделкине. А я отправилась с театром «Современник» на гастроли в Венгрию. Мне предстояло срочно ввестись в спектакль «На дне». Пообещав Андрону, что обязательно буду звонить, я уехала на целый месяц. На гастролях со мной случился забавный эпизод. Впопыхах запомнив текст и мизансцены, я играла, что называется, «на честном слове и на одном крыле». По сюжету мою героиню, Наташу, к концу пьесы обваривают кипятком, и она ложится в больницу. В самом последнем, четвертом, действии она не появляется, о ней только идет речь. На одном из спектаклей, отыграв все свои сцены, я отправилась в гримерку, как вдруг услышала по трансляции такой диалог. Сатин: «Настя! Ты ходишь в больницу?» Настя: «Зачем?» Сатин: «К Наташе». Настя: «Хватился! Она — давно вышла… Вышла и — пропала! Нигде ее нет…» Тут наступила слишком долгая, как мне показалось, пауза, а затем голос Сатина произнес: «Значит — вся вышла…» Я похолодела и побежала обратно на сцену, убежденная, что должна еще что-то играть, правда, напрочь не понимая, что именно. Так я вылетела на подмостки и несколько секунд

растерянно стояла в ожидании реплики, которая напомнит о моих дальнейших действиях. Но реплики все не было, актеры продолжали свою игру без Наташи, пока наконец то ли Барон, то ли Сатин как бы невзначай схватил палку и начал ею размахивать, оттесняя меня за кулисы. Тут до меня дошло — и я поспешила убраться. Но в целом этим вводом я была довольна: роль драматическая и «взрослая».

Пребывание в Венгрии тоже было любопытно. Будапешт — красивый город, и не без политического подвоха. Мы попали туда как раз на Ноябрьские праздники. Так вот, витрины овощных магазинов были уставлены кругленькими кочанами капусты, вперемежку с такими же кругленькими бюстиками Владимира Ильича Ленина. (Слабо сварить суп из бюста своего вождя?) К слову о супах — Седьмого ноября в тарелки с борщом местные повара положили по красной свекольной звездочке! Меня также поразило огромное количество памятников в Будапеште. Там и тут неизвестные колоссы угрожали сойти с постамента и шагом Командора последовать за тобой, вплоть до советской границы. (Мы как-то уже привыкли и к памятнику Маяковскому и к «Рабочему и колхознице», но если имя того, чья память увековечена, тебе неизвестно, тогда вид каменной человеческой фигуры способен приобрести устрашающие, магические черты…)

Спустя какое-то время я вспомнила, что должна позвонить Андрону, и отправилась на поиски телефона. Оказалось, что телефон находится на первом этаже, прямо возле центрального входа гостиницы. Я было собралась заказать разговор, но вдруг меня остановила проходившая мимо женщина из нашей делегации и предложила вместе пройтись по вечернему городу. «Потом позвонишь, а если и не позвонишь, тоже ничего, он наверняка занят или его нет дома!» Ее слова звучали очень убедительно. А тут, как назло, меня действительно попросили подождать, потому что московская линия была занята. И я отправилась гулять под рекламными щитами Будапешта. Эта женщина была приятельницей жены Андрона, Вивиан, но еще более примечательно то, что она была цыганкой. Как это чаще всего бывает, все эти обстоятельства я осознала потом, усмотрев в них роковое совпадение, а тогда не придала никакого значения. Я даже не обратила внимания на тот факт, что Вивиан пришла провожать свою знакомую перед отъездом, — та была задействована в спектаклях не помню точно, в качестве кого. Так случалось несколько раз — она отговаривала меня звонить, убеждая, что нужно отдохнуть друг от друга, мол, нечего мужиков баловать. Сама не знаю почему, но я доверилась ее знанию «мужиков» и что с ними нужно делать, когда они вдалеке. К тому

же международную связь приходилось подолгу ждать, и это подливало масла в огонь. Только вернувшись в Москву, я поняла, насколько неправильно было все, что она советовала, — Андрон не находил себе места, ждал каждый вечер, совещался с моей мамой, все спрашивал, почему же я не позвонила…

Говоря о цыганках, сглазе, колдовстве и наговоре, я убеждена, что человек, осознающий силу своей веры — в любовь ли, в здоровье, в чистоту своих намерений, — неподвластен всяческим козням и наветам. Тогда как слабость, сомнение — благодатная почва для ударов, особенно если они целенаправленны. Не знаю почему, но у меня сложилось впечатление, что к моим внутренним конфликтам, связанным с личной жизнью, добавился еще и сглаз. Во всяком случае, все, что начало со мной происходить, вполне достойно мистического триллера, вроде того же «Ребенка Розмари» Полянского. Я не могла больше находиться в квартире, где жил Андрон: меня отталкивали вещи, стены, вся атмосфера. По ночам я видела один и тот же сон: меня атаковало огромное животное — то ли буйвол, то ли вол. Я стала чаще оставаться у родителей, отказалась приезжать в Переделкино, где он временами работал… Андрон говорил, что не может без меня писать, а я ничего не могла с собой поделать: меня что-то не пускало туда, у меня не было больше сил. В один из этих дней, оказавшись в доме на Николиной, я нашла на своей кровати пачку фотографий, на которых была изображена жена Андрона, Вивиан, с дочерью Александрой: они гуляли по Афинам, взявшись за руки — большая и маленькая… Кто положил внимательной рукой эти фотографии так, чтобы я их видела, не знаю. Но как бы то ни было, это походило на психологическую травлю.

В апреле 1976 я сидела на собрании кооператива «Художник-график», в одном ряду с Андроном и его братом Никитой. Собрание было посвящено знаменательному событию — долгожданный кооператив наконец отстроился и был готов принять новоселов. Пайщики были все как один люди достойные: дипломаты, зубные врачи, проктологи, ну и, конечно, художники. Не обошлось и без кинематографистов. Но самой яркой фигурой был Володя Высоцкий. Теперь, к чести дома, на стене висит мемориальная доска… Кооператив строился лет восемь, и Андрон предполагал поселиться здесь вместе с женой и дочкой. Но ситуация изменилась — с Вивиан он жил порознь уже три года, и о воссоединении речи не шло, а дочка воспитывалась во Франции у тещи. Единственным человеком, который все это время находился рядом с ним, была я. И хотя мы не были расписаны, но давно уже существовали в статусе супружеской пары. Тогда он принял решение, о котором сообщил мне: «Будем жить рядом, два

одиноких человека!» Это означало, что помимо собственной двухкомнатной он построит и для меня площадь в том же доме — отдельную однокомнатную. Его щедрость и благородство меня радовали, хоть я и понимала, что Андрон всегда делает то, что в первую очередь удобно или выгодно лично ему. Единственное, чего он не мог решить, — как нам лучше поселиться — на одном этаже или на разных. И вот я сидела на собрании, не совсем осознавая свое счастье: собственная квартира — это сложно представить в двадцать два года, даже сегодня, а в 1976-м и подавно. Никита повернулся ко мне и поинтересовался: «Как ваше здоровье, Леночка?» Я, очевидно, все еще производила впечатление нервнобольной. «Спасибо, лучше», — так же вежливо ответила я. В «Сибириаде» есть эпизод, где взрослый Алешка Устюжанин (его играет Никита) обращается к человеку, убившему его отца, Николая: «Будем жить вместе — город солнца!» Мне кажется, что это о нашем кооперативе — поистине город солнца по тем временам, не меньше…

Спустя несколько дней, после очередного визита на квартиру — я выбирала этаж и подъезд, — Андрон предложил подвезти меня до метро, предполагая затем отправиться на «Мосфильм». За разговором о предстоящем заселении в новый дом он вдруг сообщил, что в его квартире будет жить Вивиан. Я поинтересовалась, что это значит. «Ну как, она все-таки моя жена, — пояснил он, — я вообще сейчас буду в разъездах, мне квартира не понадобится». Я попыталась осмыслить услышанное, но Андрон помог мне: «Поезд ушел, моя дорогая, мы живем порознь уже три месяца, я встретил Лив, я влюбился!» Прошло еще минут десять, и он предложил мне пересесть в такси — трудно созерцать человека, принявшего на себя удар (в актерской профессии это называется «оценка факта»). Выйти из машины у меня не было сил, и так я доехала до «Мосфильма», где смогла-таки выбраться из «Вольво». Сменив шофера, я отправилась «оценивать факт» домой, на Речной вокзал, к родителям. Зайдя в квартиру, я машинально направилась в кухню, подошла к плите и открыла кастрюльку с мясными котлетами. Подцепив вилкой одну из них, я принялась ее пережевывать на глазах у изумленных родственников — они поняли, что случилось что-то поистине важное! Если вы не знаете, что значит спустя три года вегетарианства проглотить мясную котлетку, рекомендую попробовать — незабываемое ощущение. Так я ознаменовала конец и начало. А через неделю меня пригласили на Николину Гору забирать свои вещи. Андрон, очевидно, решил дать мне возможность заниматься этим малоприятным делом без свидетелей. Оставив меня наедине с моим незамысловатым

гардеробом и пустым чемоданом, сам хозяин отправился пережидать столь щепетильный момент куда-то по соседству. На шкафчике, что стоял в его спальне, красовалась фотография Лив — знаменитой Лив Ульман. Она взирала на все происходящее своим божественным взглядом, запечатленным великим Бергманом… и мне нечего было ей возразить.

В моем доме на Речном вскоре раздался звонок из кооператива: «Вы должны оплатить половину всей стоимости квартиры в течение трех суток Это первый взнос — иначе вы ее не получите!» Убедившись, что меня не разыгрывают, я начала выяснять подробности своего положения: «Можно подождать хотя бы пару недель, а еще лучше месяц… Видите ли, я думала, что этот взнос уже уплачен…» Мои вопросы, очевидно, были слишком наивны и раздражали звонившего. «Нет, нельзя!» — буркнули на другом конце и повесили трубку. Я перезвонила Андрону: «Что это значит и что мне делать?» Андрон резонно посоветовал одолжить у кого-нибудь денег, заметив при этом, что сделал подарки нужным людям, чтобы внести мое имя в списки. «В таком случае, ты должен был мне…» — преодолевая смущение, начала было я, но меня прервали. «Моя дорогая, больше я тебе ничего не должен!» — лаконично отпарировал Андрон. «Цепная реакция ударов!» — подумала я и вспомнила, как однажды он с болью рассказывал о чересчур прагматичном отношении к нему своего родителя. Первую в жизни машину, о которой он давно мечтал, пришлось покупать у близкого человека, вместо того чтобы получить ее в подарок. «Когда я родился, я был им совсем не нужен», — сказал он тогда. «Вот откуда ноги растут, вот откуда в нем этот „немец“… Не прощает он себе свою любовь, считает за мягкотелость: расслабился, надо взять себя в руки! Да и женщинам не прощает».

Сомнений не было: в последний момент меня решили выкинуть. Ведь звонившему из правления было ясно, что собрать деньги в такой короткий срок — задача едва ли выполнимая. Я почти физически ощутила, как кто-то придавливает меня ко дну и не дает выплыть. А в моем лице — и всей моей семье, свято верящей, что добро всегда торжествует! Но времени оставалось мало, и я стала судорожно соображать, как выиграть ситуацию, как дать сдачи. Я обратилась к отцу за помощью — он смог достать только половину необходимой суммы. Другую одолжил случайно подвернувшийся знакомый. Вызов был принят… Alons enfantes de la Patrie!

Глава 29. Страсти-мордасти

«Бегала с вазой, в которой — оранжевый апельсин. Судорожно вцепилась в него — с мыслью: только это… потому что красиво!»

«В разговорах с другими говорили: „У нас дедушка умирает!“ А дедушка еще не знал, что он умирает… Только стал очень подозрителен, внимателен к словам и жестам, адресованным ему».

Я вела дневник. Потеряв почву под ногами — схватилась за понятия, смыслы — за небо!

Високосный 1976-й оправдал суеверие в полной мере. Мои родители развелись. Я разошлась с Андроном. Умер дедушка, папин отец. Тем не менее я «справляла» новоселье. Помню наш переезд — погрузив кое-какую мебель в грузовик, я в компании мамы и папы отправилась с Речного на Грузинскую. Диван-кровать, кресла и стол — кажется, это было все, что мы перевозили. Подъехав к дому, начали выгружаться. Оказалось, что мебель настолько стара, что за время поездки развалилась. Тут же, на месте, пришлось кое-что выбросить, а кое-что — починить и только потом заносить в квартиру. (Поразительно, насколько вся эта трагикомичная сцена выражала внутреннее настроение нашей семьи.) Поставив то, что уцелело, в пустую квартиру, папа уехал. А мама решила первое время пожить со мной — ей тяжело был возвращаться в свой дом после развода. Но в конце концов она так и осталась на Грузинской, тем более что у папы вскоре появилась другая женщина — его будущая жена.

Наш новый дом превзошел все ожидания: просторные холлы на каждом этаже, зеркала, цветы, консьержка (а не просто дежурная) — и жильцы ему под стать! Таких, как я, въезжавших в дом со своим старым хламом, оказалось несколько человек: мой приятель-сосед (получивший жилье в качестве откупной за развод с богатым семейством), потом композитор Валера Зубков (сильно пьющий человек) и еще какой-то рыжий художник с крестьянским веснушчатым лицом («Лена, твоя бабушка — йог?» — спросил он меня однажды, имея в виду аскетический облик моей отсидевшей бабули. «Именно!» — подтвердила я его догадку.)

Благородная публика, въезжавшая в самый престижный в те годы дом в Москве, неспешно обустраивалась. К подъездам то и дело подкатывали «Мерседесы», из которых, попыхивая трубкой или сигарой, выползали пузатые владельцы частной собственности. Обогнув свой многотысячный агрегат, они сначала помогали выбраться из него юной красавице в норке, затем породистому доберману (или породистому чау-чау, или целой стае пятнистых далматинцев), после чего из багажника

извлекались фирменные коробки и коробочки — и наконец счастливое семейство приступало к восхождению по лестнице, ведущей в недра драгоценной цитадели. Что же до нас, голодранцев, то мы, подтянув пояса, мужественно созерцали праздник победителей, мечтая когда-нибудь оправдать доверие тех, кто впустил нас в эти хоромы.

По ночам, лежа подле своей разведенной мамы и уставившись в потолок, я обдумывала ситуацию, и многое теперь представало передо мной в ином свете. Расставание с Андроном, которое светские «знатоки» пророчили с первых дней нашего романа и наконец получили, автоматически сместило меня на роль девочки, случайно снявшейся в модной картине, переспавшей с режиссером и благодаря этому получившей популярность и квартиру, — так думали многие. Когда я находилась рядом с Кончаловским, я видела, как перед ним заискивали, как его побаивались, как вежливо ему улыбались. А заодно любили и меня — на всякий случай.

Сила пугает и завораживает. Все, что я имела в эти три с небольшим года, принадлежало на самом деле прихоти Андрона: он создавал и он же перечеркивал. Социум был только послушным зрителем, который по мановению режиссерской палочки аплодировал или забрасывал помидорами. Для меня наступала пора помидоров. Он снова был для меня «известным человеком», представителем почитаемого, влиятельного семейства, которому случилось однажды меня любить. И его поведение с момента нашего расставания это подчеркивало. Я наблюдала полное перевоплощение того, кто еще неделю назад был хорошо мне знаком. Так, наверное, ему было легче, понятнее: ведь каждый спасает в первую очередь себя, и это тоже низкая, но истина. Такие понятия, как свет, круг, репутация, престиж, общественное мнение, статус играли для него совсем не маловажную роль. Он находился в антагонизме с социумом и в то же время делал многое в расчете на него. (Ведь чтобы бросать вызов обществу, нужно быть или диссидентом, или сумасшедшим, на худой конец — героем… Слушая перед сном по транзистору запрещенный «Голос Америки», Андрон поражался: «Есть же люди, которые способны рисковать жизнью, отстаивая свои убеждения! Они достойны уважения, но я на это не способен, это — безумие!») Я стала ненавидеть как послушный ему «круг», смотрящий на него снизу вверх, готовый ему служить, так и то, что он с этим «крутом» делал. Правда, совсем скрыться было некуда: профессиональная среда у нас теперь была общая. Я осталась в полном одиночестве — поведать кому-то всю подноготную своего разочарования я не могла: мужчину,

которого я любила и из-за которого страдала, было невозможно отдать на растерзание тем, кого я презирала. И кто бы взялся меня слушать? Кому нужны откровения выползающей на свет личности: что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Да и легко ли признаться в том, что твой идол оказался с двойным дном — легче этого не заметить и продолжать ему поклоняться. Так я и застряну надолго между Сциллой и Харибдой: признать близкого человека подлецом, превратившись в Павлика Морозова, или оправдывать его поведение, унижаясь морально. Я буду задавать себе вопрос: так все-таки меня предали или нет? И каждый раз буду искать возможность ответить на него отрицательно, чтобы любоваться и восторгаться, прощать и понимать такого родного человека. Но навсегда застынет во мне животный испуг: в последний момент меня сдадут, продадут, оставят… Да и слушать станут, только если голос приобретет маломальский вес. Закон больших… имен.

А Кончаловский в это время был вроде птицы Феникс, жизнь вокруг него — его собственный театр. Я не без зависти наблюдала, как подъезжает к дому темно-зеленая «Вольво», из которой выходит Андрон с одной из своих новых знакомых, затем они уезжают в ночь, оставляя за собой запах веселья, духов, планов на будущее…

Я завидовала не тем, кто был с ним, а тому, что у него в руках имелись все средства для бегства от печали, противоядие от тоски. Залечивать раны любви гораздо эффективнее, отправившись в путешествие по дальним странам, пустившись во все тяжкие, а то и закрутив новый романчик… Однако это под силу тем, у кого есть средства и опыт. А для меня, в мои двадцать два года, эти пути были закрыты и неизвестны. Все, что я имела, — это мой характер и опухшее от слез лицо, которого, впрочем, не замечала. («Ты что, простужена? — поинтересовался как-то сосед. — У тебя все время такое лицо, словно ты больна или много плачешь…») Я, конечно, имею в виду не просто свою личную историю с Кончаловским. Я, скорее, говорю об отягчающих обстоятельствах, сопровождающих любой разрыв с человеком, находящимся на самой вершине социальной лестницы: кто старше — имеет опыт, деньги, славу, умеет пользоваться своим положением. (Цветаевское: «Полюбил богатый — бедную, полюбил ученый — глупую» и так далее, а затем вывод: «Не люби, богатый, — бедную, не люби, ученый, — глупую, не люби, румяный, — бледную, не люби, хороший, — вредную, золотой — полушку медную!» И наоборот: «Бедная, — не люби богатого, бледная, — не люби румяного…») Тогда я сделала для себя открытие: приобретенная в поте лица слава (или

известность) есть не что иное, как инстинкт самосохранения — «закрыться славой, как щитом»!

Однако есть еще один путь врачевания ран, доступный всем и, возможно, самый надежный — работа. И я им воспользуюсь. Мое «выздоровление» длилось долго. Начиная с 1976 года я буду сниматься без перерыва, вплоть до своего отъезда в Америку в конце 82-го. За это время я сыграю в фильмах, которые станут любимыми у зрителей, — я сделаю все, чтобы мое имя имело ценность, независимо от успеха «Романса о влюбленных» и репутации бывшей женщины Андрея Кончаловского. Я создам свой «щит», которого, впрочем, окажется недостаточно, чтобы укрыться от анонимного «грозного дяди» с площади Дзержинского.

3. Актерский марафон

Глава 30. Асино везенье, или «Старый хрен»

«Мне иногда кажется, что все вокруг меня со мной прощается…» — за эту интонацию, особенно близкую мне в тот год, я любила тургеневскую «Асю». А в июне 1976-го отправилась в Германию сниматься в картине Иосифа Хейфица «Ася», по одноименной повести Тургенева. Мне повезло — я мечтала ее сыграть. Оказавшись на студии «Ленфильм», сама напросилась пробоваться на роль. Иосиф Ефимович, известный всем своим шедевром «Дама с собачкой», увидел во мне сходство со своей бывшей женой, актрисой Яниной Жеймо — знаменитой Золушкой, — и утвердил на роль. Так я очутилась на съемочной площадке прославленного режиссера.

Первый день работы оказался нервным и конфликтным. Иосиф Ефимович имел особый стиль работы. Накануне съемок он собирал актеров в своей комнате за круглым столом, проигрывал все мизансцены, оговаривал задачи, затем чертил план съемки на бумаге и раздавал его каждому исполнителю. На следующий день, уже на площадке, он разводил актеров по местам и командовал: «Начали!» Какая-либо импровизация или выяснение «куда иду, что делаю» были невозможны — все оговаривалось накануне. Я же привыкла шаманить перед началом дубля, предпочитая не знать наверняка, что буду делать в следующую минуту. Так я и повела себя перед самым первым своим дублем в картине. Снималась сцена, где влюбленная в господина Н.Н. Ася прогуливается с ним по узеньким улочкам провинциального немецкого городка. (Господина Н. Н. изображал утонченный Слава Езепов, а Асиного брата Гагина — вальяжный красавец Игорь Костолевский.) Нам со Славой предстояло спуститься по достаточно высокой лестнице на небольшую площадку и только здесь начать нежный и трогательный диалог. Стоя на последней ступеньке, я пыталась «войти в контакт» с режиссером, сидящим далеко внизу — задавала какие-то вопросы, хлопотала в поисках нужного состояния, все время меняла позу, переминаясь с ноги на ногу. Таким образом я «заряжалась» — привыкнув к тому, что режиссер всегда подогревает актера перед сценой (так делал Кончаловский), я искала эмоционального контакта с Хейфицем. Задав ему еще пару дурацких вопросов срывающимся голосом, я снова не получила ответа: Иосиф Ефимович сухо осадил меня и скомандовал: «Мотор!» Все-таки нужное мне для дубля

«раздражение» я получила и сыграла все, что требовалось.

Вернувшись после съемок в номер гостиницы, я заперла за собой дверь и, оставшись впервые за долгое время одна, бросилась в чем была на кровать и уткнулась в подушку — меня трясло от нахлынувших рыданий. Так долго и так бурно я, кажется, никогда не плакала, поэтому, наверное, обессилев, тут же заснула мертвым сном. Но сон этот оказался на редкость чудодейственным — когда я очнулась и взглянула в зеркало, то увидела совершенно изменившуюся себя. Все тяготы последних месяцев покинули мое тело — я была порозовевшей, похудевшей, как будто сменила кожу. Произошло что-то вроде чуда — я навсегда запомнила эти рыдания и сон, обновившие меня.

Вечером в дверь постучались — это была Ольга, второй режиссер картины. Она сказала, что Иосиф Ефимович взволнован: не истеричка ли я — уж больно странным ему показалось мое поведение. Она посоветовала не задавать вопросы на площадке в день съемки, все продумывать самостоятельно — хитрить, одним словом, чтобы не пугать пожилого человека. Я приняла к сведению ее советы и стала вести себя по-другому. Все последующие дни — а мы работали в Германии два с половиной месяца — между мной и режиссером царило полное взаимопонимание и любовная гармония. До сих пор удивляюсь: что же произошло в тот первый день съемок? Возможно, какая-то черная энергия должна была сгореть в огне конфликта.

В Асю я постаралась вложить всю себя — всю боль и всю радость. А также и всю глупость: не обошлось и без жертв. В ту пору по чьему-то неразумному совету я стала принимать таблетки, которые ускоренным путем освобождали организм от жидкости. Мне казалось, что у меня проблема с отечным лицом (особенно по утрам), и старалась ее исправить таким быстродействующим способом. Я слышала, что к этому средству прибегают балерины, желающие сбросить вес. О чем я не догадывалась до поры до времени, так это о том, что данное лекарство ослабляет сердце, а также выводит кальций из организма, разрушая зубную эмаль. Каждое утро перед съемкой я принимала пилюлю, а то и две, и через короткое время радостно наблюдала, как опадают мои скулы и щеки. Свое лицо я возвела в культ — ради создания необходимого образа на экране.

К вечеру, после съемок, обессилев, я запиралась в номере гостиницы, будучи не в состоянии смотреть вместе с другими телевизор — он забирал последнюю энергию. Все в группе решили, что я одержима ролью и по характеру одиночка, — им никак не удавалось приобщить меня к общим забавам. На картине работали сыновья Иосифа Ефимовича: старший, Володя,

был главным художником, а младший, Дмитрий, — начинающим режиссером. Они были красивы, молоды, талантливы, нравились мне оба, но компанию их я не разделяла. В течение долгого времени ровесники не представляли для меня романтического интереса, я находилась во власти образа «мужчины-отца». Впрочем, и в этом жизнь и роль совпадали — Ася намного моложе объекта своей любви. В ту пору я свято верила, что жизнь нужно подстраивать под роль — в этом залог успеха. Ну, скажем, если героиня — девственница, то, значит, и я должна соблюдать воздержание весь период работы над ролью. Каково же было мое изумление, когда коллега-актер на мой вопрос, можно ли заводить роман, если я играю одержимую своим одиночеством вдову (речь шла о Лисистрате), ответил, что не понимает такой постановки вопроса. Работа есть работа, а жизнь — это то, что после работы, и не надо путать эти две вещи. По сути дела, речь шла о технике, о профессионализме. Предполагается, что опытный актер вскакивает в образ на пару часов, а то и на пару минут и так же безболезненно выходит из него, отправляясь домой. И все-таки на этот счет не существует единого мнения. Я знаю, что настоящие актерские шедевры созданы при полном погружении в образ и подчинении всего строя своей жизни тому, что создается на экране. В этом и заключается «гибель всерьез», ради Гамлета или Бланш Дюбуа… Однажды в паузе между съемками Володя, старший сын Иосифа Ефимовича, сказал: «Все в тебе есть, только не хватает амбиции!» Я намотала это себе на ус и решила сначала уточнить у кого-нибудь, что такое «амбиция», а потом обязательно заняться ею вплотную.

В день рождения Андрона, 20 августа, после некоторых колебаний я решилась и позвонила в Москву — поздравить. Он обрадовался, услышав мой голос, поинтересовался, когда я приеду, сказал, что хочет встретиться — соскучился. Затем он спросил, как работается с этим «старым хреном», он еще что-то может? В этот момент в трубке кто-то хихикнул — я поняла, что нас подслушивают. В те годы тема слежки постоянно витала в воздухе, и я невольно привыкла быть начеку, вроде доморощенного Штирлица (с детства запомнила, как бабушка разговаривала по телефону шифровками, убежденная, что невидимый третий всегда рядом).

По возвращении в Москву я весила сорок один килограмм и очень радовалась этому обстоятельству. Я не понимала, что так начинается болезнь с плохим исходом, болезнь конца двадцатого века — анорексия невроза. Стиль Твигги, девочки-мальчика, Лолиты стоил жизни многим актрисам и моделям, стремящимся перехитрить природу. Повезло тем, чья «гибель всерьез»

запечатлена на экране, воплотилась в литературе, в музыке — в противном случае это всего лишь гибель…

А слова Андрона о том, что соскучился и хочет видеть, так и повисли в воздухе. К тому времени он уже начал репетировать с Наташей Андрейченко — героиней «Сибириады» и, по всей видимости, увлекся ее образом. Я недоумевала: полногрудая и пышнотелая в те времена Наташа (правда, обворожительно красивая) была полной противоположностью тому, что режиссер всегда хотел видеть в женщине. А именно — худобу, девственность, нимфетку — все, что я так отчаянно в себе культивировала. Я еще не знала, что вкус режиссера и его убеждения будут меняться в зависимости от стилистики картины, над которой он работает.

Високосный 76-й был на исходе. Картина «Ася», позволившая мне воплотить свою девичью печаль в образ, была также завершена. И как выяснилось, мои нимфеточные жертвы и страсти прошли не напрасно. Я получила приз «за лучшее исполнение женской роли» на кинофестивале в Италии, в городе Таормина. А позднее и в Локарно — в Швеции, и в Кобуре — во Франции. Я так и решила: Господь вознаградил меня за мои страдания.

Поездка на фестиваль в Таормину оказалась сама по себе сюжетом для небольшого рассказа.

Глава 31. Таормина — мольто грациэ!

Начнем с того, что участие режиссера И. Хейфица и актрисы Е. Кореневой в Международном кинофестивале города Таормина (Италия) было никому не нужно в Москве. Дело происходило летом, все разъезжались по отпускам. Хотели на отдых и работники Госкино. «Проще замять историю с приглашениями, и дело в шляпе», — так, по всей вероятности, решил нерасторопный бюрократ из нашей северной столицы. Но по-южному темпераментная итальянская сторона напирала — с фестиваля шли все новые и новые телеграммы, вопрошавшие — перке директоре э аттриче… не отвечают на приглашение? И наконец наши сдались: езжайте, да притом без сопровождения. Вот тебе раз: то ничего, то сразу все! «Беги — не хочу…» Уж коли мы непредсказуемы, то уж непредсказуемы мы! Между тем фестиваль давно шел полным ходом — проплывал мимо весь тот комфорт, ради которого хочется на него попасть, а наш самолет только еще выруливал на взлетную полосу Шереметьево. Настроение было нервное. Иосиф Ефимович ехал неохотно: незадолго до того он перенес инфаркт, да и вся процедура ожидания ответа, а потом

оформления виз изрядно помотала ему нервы. А причин волноваться было предостаточно — летели мы не куда-нибудь, а в Сицилию, на родину итальянской мафии!

Сразу по приземлении в пригородном аэропорте, ровно в полночь, дурные предчувствия начали оправдываться — мы обнаружили, что нас никто не встречает. Надо было срочно принимать решение: что делать? Мнения разделились. Иосиф Ефимович считал, что лучше сесть в такси и отправиться на поиски фестивального городка. Я же полагала, что надежнее заночевать на вокзале аэропорта: отдаваться в руки сицилийцам без знания языка — нельзя. В это время пассажиры, прилетевшие нашим рейсом, забирали багаж и разъезжались. Обстановка складывалась тревожная: сомнительные личности начали подтягиваться, как хищники к беззащитной жертве, а мы все еще торчали в нерешительности посреди огромного зала, как бельмо в глазу. Наконец решение Иосифа Ефимовича взяло верх, и мы отправились в неизвестность на первом подвернувшемся такси, назвав шоферу несколько универсальных слов — «фестиваль», «фильм» и «Таормина».

Некоторое время машина ехала по шоссе вдоль обильных зеленых массивов, затем резко взяла вверх и, судя по нещадной тряске, съехала на проселочную дорогу. Вскоре выяснилось, что мы поднимаемся в гору по узкому серпантину, и это усугубило подозрения в злом умысле водителя. Чем дальше продвигалось такси в темноту, тем очевиднее представлялась нам наша печальная участь. Но вот машина остановилась, шофер направился к строению, едва светившемуся одиноким огнем сквозь плотные ветви деревьев. Мы с Иосифом Ефимовичем начали нервно перешептываться — где мы, почему вокруг ни души, куда он пошел — понимая при этом, что целиком зависим от чужой воли и делать что-либо слишком поздно. Неожиданно шофер вернулся в сопровождении какого-то типа. Они оба начали размахивать руками, сдабривая свой непонятный язык еще более загадочными жестами, как вдруг прозвучало слово «отель». Нас приглашали заночевать в том самом строении, что мерцало одиноким окном, и как выяснилось через несколько минут — это была монастырская гостиница! Меня отвели на ночлег в келью, и в такую же узенькую клетушку отправился Иосиф Ефимович. «За что это нам? — думала я, уставившись в маленькое оконце на звездное небо, — похоже на предупреждение свыше: если не прекратите снимать эти дурацкие фильмы, будете жить в собственных декорациях!» Царящая вокруг атмосфера определенно подталкивала к размышлению о грехах, что отнюдь не успокаивало, наоборот — закручивало интригу еще больше.

Такими гостиницами начинаются все классические фильмы ужасов. Однако первые лучи солнца, озарившие средневековые своды, развеяли наши тревоги. Едва поднявшись и встретившись в коридоре между кельями, мы, с Иосифом Ефимовичем обнаружили, что нас уже разыскивают. Появившаяся как из-под земли рослая блондинка по имени Елена, русского происхождения, оказывается, приехала специально за нами. Она долго извинялась за вчерашнюю неувязку — именно ей, как выяснилось, было поручено встретить нас в аэропорту. И соответственно именно она нас не встретила бог знает почему… (Очевидно, она была в сговоре с шофером такси и хозяином монастырской гостиницы — только так!)

С этого самого момента события разворачивались, как в сказке со счастливым концом. Елена предложила нам пробраться в кабину маленькой спортивной машины алого, как мак, цвета, сама села за руль и… Не успели мы ахнуть, как неслись уже с характерным свистом в направлении верхушки горы, где и располагался фестивальный город Таормина. По дороге блондинка сообщила, что наш фильм демонстрировался как раз накануне вечером. Мы с Иосифом Ефимовичем воскликнули хором: «Не может быть!» (досада, обида, возмущение). И тут она говорит, что вся пресса предвещает картине приз за режиссуру и за лучшую женскую роль. Мы хором: «Не может быть!» (обалдение, счастье, восторг). В подтверждение своих слов Елена протягивает газету — с первой страницы на меня смотрит собственный портрет в шляпе девятнадцатого века, кадр из фильма. «Не может быть…» — думаю я о себе (неверие, шок, благодарность).

Наконец мы на месте. Оглядываемся по сторонам. Городок маленький и очаровательный. Повсюду шныряют полуобнаженные кинематографисты. Я в ужасе: в своих туалетах выгляжу в буквальном смысле черной овцой… среди полупрозрачного белого, в которое облачены, а скорее полураздеты все вокруг. Мы отправляемся к позднему завтраку в ресторанчик, что расположен в гроте. Шведский стол ломится под тяжестью морских яств — лобстеров, креветок, мидий, омаров и раков. Положив на тарелку всю эту экзотику, я выбираю самый укромный уголок и сажусь за столик. Взглянув с благодарностью на голубое ласковое небо, собираюсь насладиться буржуазным спокойствием в полной мере. Но не тут-то было! Уже через пару-тройку минут я бегу в сортир, где благополучно позволяю лобстеру покинуть иностранную территорию своего желудка. Иосиф Ефимович тоже спешит в гостиничный номер: хорошенького понемножку. В результате мы сидим пару часов

кряду в глубокой тени его лоджии и беседуем о своеобразии русского характера. Ведь в чем парадокс — не умеем мы наслаждаться заслуженным отдыхом, как это делают другие народы: путешествие из ада в рай грозит солнечным ударом и несварением желудка!

Наступил долгожданный финал — день награждения призеров. С самого утра к нам потянулись журналисты и фотографы. Они первые сообщили, что мне приз достанется, а вот картина победила не наша. Ровно в семь, облачившись в платье до пят, взяв Иосифа Ефимовича под руку, я отправляюсь с ним вверх по дороге к древнему театру, что лежит каменной раковиной под открытым небом. Нам предстояло подняться на самую вершину горы, и этот нелегкий путь оттягивал и без того мучительное предвкушение развязки. Оживленная толпа, шествующая вместе с нами, совершала ритуальное восхождение, словно платила последнюю дань за право участвовать в апофеозе торжества. Но вот мы на вершине. Гигантский театр, напоминающий цирк великанов, вместительностью в шесть тысяч мест! Меня усадили в первом ряду по соседству с другими призерами, все — мужского пола. Я обратила внимание на долговязого парня — он все время хихикал, болтал по-английски и, как мне показалось, находился под воздействием травки. Его «Собака Баскервилей» получала приз за режиссуру. (Много лет спустя он приедет в Москву снимать картину «Святой», превратившись после успеха «Щепки» с Шарон Стоун в известного голливудского режиссера. Звали его Филипп Нойс.)

Внезапно опустилась ночь, и церемония закрытия началась. Меня пригласили на сцену вместе с автором лучшего фильма, лучшим исполнителем мужской роли и лучшим режиссером. Всех по очереди стали награждать под звуки аплодисментов и радостные возгласы. Подошла и моя очередь, мне вручили увесистую фигурку какого-то полумифического существа. Вдохновившись, я сказала «речь по-итальянски»: «Италия миа, белла, беллисима, мольто грациэ!» Непомерных масштабов театр взорвался ликованием, и вдруг произошло нечто божественное по своей красоте. Темнота ночи вспыхнула тысячами огней — зрители приветствовали нас зажженными факелами! Где-то поблизости продолжал хихикать Филипп Нойс, заражая травяным дурманом, — меня закачало от ощущения высоты и счастья. Сцена, словно ковер-самолет, парила в живом и мерцающем пространстве. Казалось, от самого кратера Этны, на время притворившегося спящим, прикурил кто-то веселящую трубку и пустил ее дальше по многотысячному кругу… По окончании церемонии был устроен банкет в открытом ресторане — нас

представляли гостям фестиваля, знакомили с членами жюри. Ко мне подошла высокая миловидная женщина и поздравила с наградой. Объяснялась она по-английски, но сказала, что родом из Франции. Ее лицо мне показалось чем-то знакомым. Но тут она представилась по имени, и я хихикнула на манер долговязого режиссера. Передо мной стояла Маша Мериль — французская актриса, член жюри фестиваля и бывшая любовь Андрея Кончаловского. Я видела фильмы с ее участием, слышала от Кончаловского историю их романа, начавшегося в конце 60-х на московском кинофестивале, и знала, что эта встреча кардинально изменила его личную жизнь. Мне было интересно разглядывать женщину, так поразившую когда-то Андрона. Маша Мериль чем-то напоминала Ирину Купченко, что подтвердило мое давнее наблюдение: режиссер впечатляется образом западного актера или актрисы, затем находит его двойника в России. Пример тому не только я и Ширли Мак Лейн, но также Марина Неелова и Франсуаз Арди, Ирина Бразговка и Доминик Санда, а теперь вот Ирина Купченко и Маша Мериль. Профессиональный синдром или разгадывание вселенского генетического кроссворда? Что бы ни было, но в этой особенности есть что-то от кинематографического Павлова или Мичурина…

Однако все хорошо, что вовремя заканчивается. Мы покидали Таормину, отправляясь в Рим, где намеревались провести ночь, а на следующее утро улететь в Москву. Напоследок я узнала от устроителей фестиваля, что в этом городе до меня получали награду еще двое русских: Анна Ахматова — литературную премию и Владимир Высоцкий — актерскую, за роль в фильме Иосифа Хейфица «Плохой хороший человек». Надо признать, что у Иосифа Ефимовича была «счастливая рука» — он принес успех Ии Саввиной, Володе Высоцкому, Олегу Далю, который сыграл в той же ленте, пожалуй, одну из своих лучших ролей… и наверняка многим другим.

В Риме нас ждал сюрприз. Госкино обещало зарезервировать приличный, пусть и недорогой, отель для ночлега. Дело в том, что именно в этом городе принципиально важно, где тебя поселят. Свободные нравы «по-итальянски» могут сделать отдых невыносимым, не говоря уже об угрозе кошельку, а то и жизни. Однако кто-то, очевидно, решил сэкономить деньги, и мы оказались в третьесортном обшарпанном заведении, окна которого смотрели на итальянские дворики, — не столь привлекательные в реальности, как их благозвучное название. Как только начало темнеть, Иосиф Ефимович стал бить тревогу: куда прятать деньги и паспорта? Но главное — как запереть дверь моего номера, которая при всех стараниях оставалась открытой?

Сначала мы решили оставить мои вещи в его комнате, но чем быстрее спускалась ночь, тем сильнее были страхи. «Помнишь фильм Хичкока? — спросил меня Иосиф Ефимович, имея в виду „Пс*и*хо“. — Так вот, — продолжил он голосом детектива, — там была такая же гостиница, и все закончилось… убийством!» Мои нервы не выдержали напряжения, я приготовилась не смыкать глаз всю ночь, молиться над Библией, которая предусмотрительно была положена на столике у изголовья. Но Иосиф Ефимович нашел выход из затруднительного положения — на то он и режиссер. «Так и быть, — сказал он, — ляжем вместе в моем номере, благо, что кровать двуспальная». Мне не пришлось долго раздумывать — жизнь, в конце концов, дороже — и я отправилась вслед за мужской широкой спиной в его апартаменты. Через некоторое время мы лежали, укутавшись каждый в свою простыню, как два францисканских монаха, повернувшись носами друг к другу. «К чему бы это?» — напрашивался вопрос. И ответ: в жизни всегда повторяется то, что тебе приходится играть, писать или ставить, только часто в виде фарса, гротеска. «Ле-е-е-ночка!» — протянул седовласый Хейфиц перед тем, как сомкнуть свой грустный миндалевидный глаз. «Да, Иосиф Ефимович, я здесь!» — подтвердила я свое присутствие шепотом, как нянька. «Из края в край вперед иду, и мой сурок со мною…» — колыбельное настроение витало в воздухе. В детстве мне пели именно эту мелодию, и я тут же окунулась в сон, лишенный всяких опасений.

Такой мне запомнилась «Ася», соединившая воедино факелы Сицилии, Тургенева и благородное чело Иосифа Ефимовича, взирающее на меня с соседней подушки.

Глава 32. Современниковское подполье

На сбор труппы осенью 1976-го я пришла уже «холостой». За год до этого Галина Борисовна спрашивала Андрона: «Так все-таки ты наш муж или нет?» Теперь она получила ответ. Я снова трансформировалась внешне — перекрасившись для «Аси» в шатенку, все еще несла шлейф роли в своем облике. Помню, ловила на себе пристальные взгляды Насти Вертинской — ей лучше других было понятно, что я должна чувствовать. В свое время Насте тоже пришлось забирать чемоданы с Николиной Горы, правда, с ребенком в охапке. Когда-то, рассуждая о нашем с Кончаловским романе, она высказала предположение, что, расставшись с ним, мне будет очень сложно найти мужчину… Я бы пояснила: очень сложно искать с непривычки, а находить — всегда нелегко. Это все равно что выходить из дома на

перекресток — именно такое чувство испытывает женщина, которая, наработав привычку быть чьей-то (так и напрашивается сказать: при хозяине), вдруг становится ничьей. Не знаю потрясения более сильного и столь болезненного процесса адаптации. Наркоманы называют физические муки без наркотика ломкой. Так вот это тоже своего рода «ломка», которая происходит у женщины однажды — потом вырабатывается иммунитет.

Как будто почувствовав, что я созрела для самостоятельной драматической роли, подающий надежды «экстрасенс», он же режиссер Валера Фокин предложил мне участвовать в новом проекте. Он приступил к репетиции спектакля «И пойду, и пойду…». Это была инсценировка двух повестей Достоевского — «Записки из подполья» и «Сон смешного человека», выполненная Юрием Карякиным. Я должна была играть юную проститутку Лизу, «подпольного человека» репетировал Костя Райкин, а «смешного человека» — смешной Гарик Леонтьев. Спектакль был задуман для малой сцены, вмещающей шестьдесят человек. Решение играть в камерных условиях, фактически в репетиционном зале, где нет порталов, кулис и сцены, возвышающейся над зрителем, под скрупулезным обозрением — вещь дерзкая сама по себе. Но в случае с Достоевским — дерзкая вдвойне. Всем известно, что именно его герои, как никакие другие в русской литературе, живут болезненными страстями, выворачивают себя наизнанку, — а в маленьком, почти документальном пространстве воздействие на зрителя тем более удваивается и порой равносильно шоку. Валеру интересовал такой театр, а самым ярким его представителем был Ежи Гротовский. Минимум спецэффектов и реквизита, голая площадка, «бедный» театр, театр минимализма — вот что проповедовал знаменитый польский режиссер-экспериментатор. Что до меня — я в ту пору увлеклась исследованием диапазона своих возможностей, меня притягивали крайние проявления чувств. Театр развлекающий, морализирующий был мне не так интересен. Я грезила о том, чтобы пострадать вволю на сцене, пережить катарсис — и чем быстрее, тем лучше. Валерина режиссура в соединении с материалом Достоевского предоставляла для этого все возможности.

О том, как играть проститутку, я не имела ни малейшего представления. Тем не менее по актерской школе знала, что необходимо изучить предмет, прежде чем о нем рассказывать. Тогда я решила погрузиться в наблюдение так называемых «низов». Все уродливое, больное, ущербное стало предметом моего изучения. Моей целью было разбередить раны, обнажить

страхи и комплексы, которые в обыденной жизни мы стараемся спрятать и подавить любыми средствами. Каждый раз на репетиции я пересказывала Косте свои наблюдения: встретила калеку, пьяного старика, больного ребенка. Костя долго молчал, но однажды не выдержал и сказал: «Чем у тебя голова забита? Ты все время рассказываешь какие-то отвратительные истории!» Но Костина реплика меня не остановила. Воспользовавшись знакомством с врачом психиатрической лечебницы, я напросилась понаблюдать за пациентами клиники. Меня привели в мужское отделение, дали белый халат и пригласили посидеть в кабинете врача во время утреннего приема. В комнату зашел первый пациент — мужчина средних лет. Ничто не выдавало в нем психически больного человека — некоторая погруженность в себя и сосредоточенность на чем-то еще, помимо вопросов, на которые он в этот момент отвечал, вот и все (именно так держат себя люди независимого поведения, которым есть о чем подумать). После того как он вышел, врач зачитала вслух его диагноз — целый перечень самых тяжелых расстройств — и стала что-то вписывать в медицинскую карту больного. (Может, она вела дневник? Тогда ее запись могла бы выглядеть так: «… Специально для тебя подушилась „Шанель № 5“. Ты морщишь нос? Нахал! Теперь вместо леденцов получишь двойную порцию аминотрептилина… С приветом, твой лечащий врач Удальцова».) Выйдя из кабинета, я прошлась по палатам. На койках сидели мужчины разных возрастов: кто-то был оживлен, даже весел, другие лежали, спали, читали книги или журналы. «Где больные, я хочу видеть хотя бы одного аномального человека!» — крутилось в моей голове. Но тут я заметила странного вида мужчину, вроде карлика, он бегал по коридору, пытался залезть на колени к сидящему на стуле врачу. Тот наконец усадил больного, позволил ему обнимать себя, целовать, как если бы он был отцом, а маленький — его ребенком. Я обратила внимание на старичка, похожего на старушку: он все время разговаривал сам с собой, повторял навязчиво одну и ту же фразу. Наступил момент, когда я больше не смогла находиться в помещении и вышла на улицу. Во дворе больницы нервно суетился какой-то человек, он активно маршировал взад-вперед, как будто был чем-то взволнован сверх меры. «Этот буйный!» — сказала медсестра, провожавшая меня к воротам.

Выйдя с территории психбольницы, я вырвалась на свободу «нормальной», «другой» жизни. И все же меня неотступно преследовала мысль, что люди, лежащие в палатах, ничем не отличаются от тех, кто попадается мне на улице. Грань между тем миром и этим очень тонка, а возможно, ее и нет. Вопрос в том,

каковы условия игры: здесь — одни, там — другие. Придя домой, я не удержалась и позвонила тому самому врачу, к которому приводила меня мама перед первыми гастролями «Современника». Теперь мы с ним дружили — ходили друг к другу в гости, перезванивались. «Николай Николаевич, знаете где я только что была? В психиатрической клинике!» И начала рассказывать все, что видела. Николай Николаевич пришел в ужас. Он убедительно попросил меня не повторять больше подобных визитов, заверив, что это слишком большая нагрузка на психику, которая под силу только профессионалам. «Да там все такие же, как мы!» — настаивала я. «Ни в коем случае!» — сказал он, поставив точку в этой дискуссии. Думаю, что в своих изысканиях я шла по правильному пути. Каждый актер знает свои психологические проблемы с той или иной ролью и чисто интуитивно решает, как от них избавиться. Мне нужно было сбросить с себя облик аккуратной молодой женщины, избавиться от тепличности, от тех границ, которые поставило воспитание.

Но психушки мне показалось недостаточно, и я двинулась в направлении Петровки, 38 — с мечтой увидеть уголовников. Охранник долго расспрашивал: кто, что, почему, — разглядывал театральное удостоверение и наконец пропустил. В кабинете следователя допрашивали молодую воровку — я не нашла в ней ничего примечательного и ушла разочарованная. На этом мое «домашнее задание» было завершено. Для своей героини Лизы я придумала странную походку: расставив ноги и медленно передвигаясь, в буквальном смысле изображала рану от многочисленных соитий, которая причиняет боль неопытной проститутке. Это было внешнее выражение самого понятия — изнасилованная… Внутренняя рана давала себя знать в рыданиях и молитве. Впрочем, такая роль не могла не покалечить. На одном из спектаклей, стоя на коленях и пригибаясь к земле, я так истово молилась, что чуть было не сломала переносицу, шлепнувшись лицом об пол. Фокин долго ощупывал мой нос и прикладывал к нему ледяную примочку. «Заставь дурака Богу молиться…» В другой раз, придя на репетицию с большим прыщом на «пятой точке», я ничего лучше не придумала, как взобраться на стол в туфлях на высоких каблуках и, пританцовывая, ожидать, когда Фокин и Райкин закончат личную беседу. Наконец Валера скомандовал о начале репетиции, я резво спрыгнула вниз и, поскользнувшись, приземлилась прямо на больное место. На моем лице изобразился такой огромный знак вопроса, что Валера и Костя хором поинтересовались: «Что это было?» Но я попросила меня «не кантовать» и оставить на некоторое время без движения…

После выхода спектакля о нем заговорили как о значительном событии театральной Москвы. А для нас с Костей и Гариком Леонтьевым каждый вечер был прорывом в откровение и очищение. Приятно сознавать, что ты экспериментируешь, рискуешь — значит, действительно участвуешь в процессе творчества. Однако страдали не только герои на сцене и актеры, их исполняющие, но и зрители. Очень показательной была реакция актрисы Ольги Яковлевой, пришедшей посмотреть спектакль. Она не выдержала эмоционального накала и закричала на весь зал: «Да возьмите же ее, что он ее мучает!» После этих криков она собралась было броситься ко мне на помощь, но ее удержали. Я говорю «показательной» в том смысле, что Оля была той самой актрисой, которая жила с обнаженными нервами — как в театре, так и в жизни, для нее все было едино. Пастернаковское: «Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство и дышит почва и судьба» — могло быть сказано о ней… Апогеем стало благословение самого Ежи Гротовского, который оказался, по счастью, в Москве и увидел спектакль. Он попросил нас с Костей опуститься на колени и склонить головы. Положив на них свои ладони, он стал читать молитву. Мы пожинали плоды…

И все-таки не обошлось без огорчений. Случилось это во время внеочередного спектакля, который пришлось играть для свалившейся на нас с небес итальянской делегации. (Италия не оставляла меня в покое.) В начале действия, первые двадцать минут Костиного монолога, я, как обычно, стояла в закутке возле сцены в ожидании своего выхода и нервничала. Распределить энергию так, чтобы в нужный момент выйти внутренне наполненной, сесть у стены в полной статике, вести отрешенный диалог и вдруг начать подключаться всем своим нутром вплоть до нахлынувшей истерики — достаточно сложная задача. Актер всегда наращивает эмоциональный взрыв в несколько этапов — ему помогает текст, активные физические действия — они служат трамплином, раскачкой. Но в данном случае все «подпорки» были сведены к минимуму: почти бессловесное присутствие моей героини, переходящее к финалу в вопль отчаяния. Слушая Костин текст, я сдерживалась, чтобы не начать переживать слишком рано, в то же время старалась не расслабляться и быть на взводе. Лишний раз нащупала в руках тяжелый подсвечник с торчащим из него желтоватым огарком, подтянула повыше шерстяные гольфы — представила себе траекторию своей проходки прямо на носу у первого ряда и подумала о том, что от иностранного зрителя будет легче абстрагироваться — чужие. Только бы не подключаться к шепоту переводчицы… Вдруг я увидела, как

Валера вышел на сцену и, обратившись ко всем сидящим, сообщил, что спектакль продолжаться не может из-за плохого самочувствия артиста. В зале послышался ропот недоумения и голос переводчицы, объясняющей своим иностранцам суть сказанного режиссером. Затем гости поинтересовались — можно ли сделать перерыв и продолжить чуть позже. Но в этот день мы так и не играли. Как вскоре выяснилось, Костя почувствовал какой-то дискомфорт, и Валера остановил действие на сцене. Я очень долго переживала случившееся, и вовсе не то, что не вышла и не сыграла. А скорее то, что в этом оправданном по человеческой линии жесте было нечто противоестественное для театра. «Играй, играй, даже если уже полные штаны наложил, все равно продолжай!» — так и слышались мне наставления педагогов-щукинцев. Да и Валера тоже показался в тот миг властным диктатором: захотел — включил марионеток, захотел — отключил! Я очень четко почувствовала на себе своеволие наших отечественных режиссеров: спектакль, фильм — это в первую очередь их творческий продукт… Впрочем, все, что случилось в тот раз, было исключением из правила, как для режиссера, так и для актера. И я навсегда остаюсь страстной поклонницей режиссуры Фокина, а Костя доказывает всем своим марафонским забегом, что с дистанции он-то как раз и не сойдет, в отличие от некоторых.

Впрочем, я оказалось максималисткой и не вполне профессионалом, — так болезненно отреагировав на случившееся. Однажды я сама стала причиной дискомфорта в процессе священнодействия, пригласив на спектакль… своего зубного врача. Всем знакомо: врачи вообще, зубные и гинекологи в частности, а также вся сфера обслуживания — вот тот зритель, который сидит на премьерах в первом ряду. Так вот, мой «дантист» в начале действия принялся грызть орехи, а в самый кульминационный момент опустил голову на волосатую грудь и захрапел. Человек он был крепкий, мускулистый, и храп соответственно тоже был громким и качественным. После окончания спектакля Валера сделал мне замечание, попросив впредь быть разборчивей: «Зубные врачи нам, конечно, нужны, но мы не можем допустить, чтобы они храпели на Достоевском!»

Увы, мой метод концентрации на негативном рано или поздно дал себя знать — я стала уставать от спектакля. Оправдывалось предсказание одной театральной дамы, наблюдавшей как-то меня из-за кулис: «Талантлива, но в театре не продержится. Долго так выкладываться невозможно, на профессиональной сцене нужна техника и стабильная середина». Впрочем, не последнюю роль в профессии играет характер самого

человека. Я уже находилась под сильным влиянием спринтерской философии и готовилась к переменам. Почему никто не разъяснил мне тогда красоту и мудрость длинной дистанции?

Глава 33. Эфрос, Оля и Гервасий

«Куда ведешь, тропинка милая, куда ведешь, куда зовешь?» — «Веду тебя, дитятко, на студию „Мосфильм“ для знакомства с режиссером Эфросом, но в кино у него сниматься ты не будешь, а пойдешь работать к нему в театр… Ждет тебя казенный дом, интерес в этом доме, большое удивление, хлопоты».

Весной 1977-го Анатолий Васильевич проводил пробы к фильму «В четверг, и больше никогда». Мне позвонили, пригласили приехать, поговорить. Наша беседа длилась не более пятнадцати минут и происходила под непрерывную болтовню его помощницы — она разговаривала о чем-то интересном по телефону. У меня и Эфроса, напротив, вид был скучноватый и прибитый, мы тихонечко перешептывались, как если бы случайно тут оказались, а режиссером фильма была она (примерно как в анекдоте про дворнягу: «А ты что здесь делаешь?» — «А я так, поссать вышел…»). Очень коротко и формально пообщавшись, мы так же безлико распрощались. А вечером того же дня мне позвонили с предложением начать репетиции спектакля «Месяц в деревне», режиссером которого был Анатолий Эфрос. Решив, что произошла путаница, я переспросила насчет кинопроб, но мне подтвердили, что речь идет именно о театре, а не о кино. Мне это предложение показалось настолько скоропалительным, что я не очень в него поверила. В другой раз при встрече с Эфросом я устроила ему экзамен, пытаясь выяснить, на каком основании он принял свое решение. «Вы видели меня в кино или работу по Достоевскому?» Анатолий Васильевич улыбнулся своим мыслям и извиняющимся тоном произнес: «К сожалению, не видел». Мое ощущение легковесности его решения подтверждалось. «Вы же меня совсем не знаете, на „Мосфильме“ мы перебросились несколькими фразами, этого же недостаточно». — «Мне достаточно и пятнадцати минут», — все так же улыбаясь, ответил он. «Нет, вы всерьез?» — недоумевала я. «Всерьез и надолго!» — отпарировал вдруг Анатолий Васильевич и сам над собой рассмеялся: так по-молодежному сострил! Меня потрясла тогда его легкость, и отныне это качество станет для меня критерием таланта. «Настоящему» (как мы почему-то привыкли уточнять) художнику не нужно много времени, чтобы разглядеть «образ» собеседника за ничего не значащими деталями.

Получив в «Современнике» разрешение на репетиции, я

приступила к работе в театре на Малой Бронной. Нам с Ольгой Яковлевой предстояло сыграть дуэт двух соперниц — Верочки и ее «благодетельницы» Наталии Петровны. Я сразу полюбила Олю. Мне казалось, что я понимала причину ее взнервленности, ироничности, колкости, которые снискали ей славу «примадонны», стервы и истерички. Во всех ее причудах проступала детская беззащитность и ранимость. Я не принимала всерьез ее поведение «капризного ребенка». Возможно, здесь не обошлось и без влияния роли, которую я репетировала. Моя героиня, Верочка, относится к своей наставнице, как к матери — тем сильнее их общая драма: оказаться вдруг соперницами. В то же время Олина любовь к Анатолию Васильевичу, их совместное творчество, вытекающие из этого радости и неврозы напоминали мне мои отношения с Кончаловским. Думаю, что и Оля видела во мне свое бледное отражение. Когда подтрунивала: «Почему Лена такая худая, зачем?» — она узнавала свои комплексы саморазрушения и предостерегала о возможных последствиях. Чем сильнее чувствовалась в ней непреходящая боль и надлом — тем звонче и внезапнее звучал ее смех, которым она пыталась себя развеселить. Неясно одно: кто породил эту боль — Господь, наградив трагическим талантом, или Эфрос, создавший эту актрису своей режиссурой. Помню, как Лиля Толмачева советовала мне хорошенько подумать, прежде чем соглашаться работать у Эфроса. «На плечи его актрис падает тяжелая ноша трагических ролей — не каждый сможет это выдержать!» Когда меня спрашивают, как Анатолий Васильевич репетировал, я не знаю, что ответить. Создавалось впечатление, что он ничего особенного не требовал от актера, все шло само собой, естественно — как в жизни…

Эфрос проделывал всю работу сам, в своей голове, порой долго не находя конечного решения. Он формулировал задачу — одну, другую, третью — потом закреплял. При этом он не ломал эмоциональный ряд актера, не шел наперекор свойственной человеку органике. Его особенность заключалась в том, что в решении той или иной роли он исходил из психофизических данных конкретного актера, причём основной акцент ставился на психологическом портрете. (Кто бы мог, например, разглядеть в Николае Волкове Отелло?) Эти данные он и обыгрывал — на них отчасти строился конфликт героев пьесы. Получалась игра человеческих архетипов: платоническая муза, вечная любовница, старая дева, благородный неврастеник, алчный завистник, удачливый нарцисс и так далее. Комедия или трагикомедия масок — но эти маски он разглядывал в человеке еще до роли. Традиционный подход: данный актер сможет сыграть то, то и то,

потому что он способен все это сыграть. Его подход: он будет это играть потому, что он это являет собой в жизни. Его видение психологической сути человека и персонажа было настолько точным и выверенным, что создавалось впечатление, будто роль написана с тебя. Отсюда, мне кажется, происходили некоторые трения между режиссером и определенными актерами: почему «она» всегда героиня, а я ее домработница? Уж не считаете ли вы меня домработницей в жизни, Анатолий Васильевич? Ни для кого не было секретом, что театр на Малой Бронной — это театр Эфроса, несмотря на то что он не являлся главным режиссером. Как правило, он занимал в своих спектаклях одних и тех же актеров, и это была лишь небольшая часть всей труппы театра. Мне трудно судить о том, как себя чувствовали те, кто никогда не играл в его спектаклях. Но я, получив «лакомый кусок» и превратившись в его актрису, считала атмосферу вокруг Эфроса — идеальной, единственно понятной и созвучной мне. (В той же степени, как необходимо найти своего парикмахера, массажиста, психолога — не говоря уже о муже, — важно найти свой театр и своего режиссера. Счастливы те, кто все это нашел и остановился. Гораздо сложнее пребывать в бесконечном поиске…)

Мое увлечение новой ситуацией подтолкнуло к решению уйти из «Современника». А сообщить об этом мне пришлось в Баку, куда театр выехал на гастроли. Самым тяжелым для меня был разговор с Валерой Фокиным — он терял актрису, с которой собирался работать дальше. А я мучительно раздваивалась между своей привязанностью к Валере и убежденностью, что больше не смогу продолжать играть в «Современнике», а значит, и в спектакле по Достоевскому. Галина Борисовна, как ревнивая мать, не желала с легкостью расставаться с «членом семьи», пыталась урезонить меня и даже воспрепятствовать моей поездке в Москву на генеральную репетицию к Эфросу. «Если улетишь, то тебя уволят по КЗОТу и больше никуда не возьмут на работу!» — устрашала она меня. Теперь я отношусь с юмором к ее давним «угрозам», понимая властность ее характера и защиту престижа любимого театра, где она была «главным». Но тогда ее слова только подзадорили меня сделать по-своему, и я улетела.

В Москву вместе со мной летел попугайчик в клетке — подарок молодого бакинца, букет нераспустившихся маков — красивое и сомнительное приобретение — и гипсовая копилка в виде голубя по имени Гервасий. Эту копилку мне подарила Настя Вертинская, купив ее на местном базаре, она же и окрестила ее таким благозвучным именем. С Настей мы делили один номер в гостинице во время гастролей и с тех пор подружились. Я смотрела на нее с восхищением — подобную красоту и

утонченность вряд ли я когда-нибудь еще встречала в нашем театрально-киношном мире. Настя со своей стороны была солидарна со мной как с женщиной, жившей в доме Михалковых-Кончаловских. Впрочем, в чем-то мы с ней были даже похожи — недаром «знаток человеческих душ» Стасик Садальский как-то подметил: есть в вас с Настькой что-то детдомовское… На поверку она оказалась «своим парнем», несмотря на гордость и неприступность свойственной ей манеры. Она раз и навсегда разделила мир женский и мужской на две конфликтующие противоположности: мы — флора, они — фауна. И, сознавая до конца удел умной, независимой и одинокой женщины, всласть иронизировала над «фауной». «Андрон любит, когда женщины записывают его мысли в тетрадочку, а потом он в эту самую тетрадочку с тезисами накладывает огромную кучу», — язвила она по известному мне поводу…

По возвращении в Москву живой попугайчик вскоре направился в зоопарк: я была доброй девушкой, не смогла наслаждаться его пленным состоянием. Букет из маковых бутонов, отстояв в вазе на подоконнике, был в конце концов сварен и выпит «для кайфа» одним из моих знакомых. А копилка Гервасий служит мне верой и правдой, терпеливо собирая мелочь на счастье. Напутствия Галины Борисовны не оправдались — генеральная у Эфроса прошла без помех. Театр закрывался на время летнего отпуска до начала осеннего сезона. Наступившее лето 1977-го испытывало меня на прочность — оно чем-то было похоже на приснившийся ночью кошмар.

Глава 34. Как в сказке

«Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, придет серенький волчок и ухватит за бочок!» Что ж они такие страшные, эти колыбельные? А сказки? «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что!»

Очевидно, я все-таки легла не на тот бочок тем летом, так как оно оказалось для меня жарче обычного. Каждый этап моего «трудового» отпуска приносил мне потрясение морального, психологического, социального и какого-либо еще толка. Я осознала, что мне посылается предупреждение свыше: мир отнюдь не безопасен, по нему нельзя разгуливать с раскрытым от удивления ртом — закрой рот и будь начеку! После гастролей в Баку мне предстояла поездка в составе советской делегации на Берлинский кинофестиваль, затем на десять дней в Коктебель, после чего я должна была лететь в Томск на съемки в «Сибириаде». Кроме того, меня пробовали на главную роль в

фильме «Ярославна — королева Франции» на «Ленфильме», и в случае утверждения я уезжала осенью сниматься в Польшу.

В Берлин я отправилась в компании замминистра кинематографии, кинокритика Евгения Суркова и еще нескольких людей из Госкино СССР. Чуть позднее должны были подъехать режиссер Лариса Шепитько, актриса Инна Чурикова и ее муж — режиссер Глеб Панфилов. Начало моего пребывания на кинофестивале было по-отечественному бесхозным — я оказалась без суточных, которые запаздывали вместе с «кассиром» творческой делегации Ларисой Шепитько. В первый же день в Берлине замминистра пригласил меня отобедать. Я поделилась с ним своей проблемой и, услышав в ответ джентльменское «накормим», приняла предложение. Эта ситуация длилась несколько дней, пока не приехала долгожданная «кассирша». Во время моих обедов с замом я развлекала его на свой манер: беседовала о театре, кино и не помню точно, о чем еще. Пару раз он перекинул заботу обо мне на плечи какого-то нашего мидовца, что крутился поблизости, и тот вежливо оказывал мне мелкую, но существенную в этих условиях помощь. Появление Ларисы меня поддержало не только материально, но и морально. Я собралась было вернуть долг мидовцу и заму, но первый меня успокоил, что все улажено и я ничего никому не должна.

Вздохнув с облегчением, я приготовилась насладиться фестивалем в полную силу. Неожиданно появившийся в Берлине Андрей Кончаловский решил этому поспособствовать. Он, как всегда, держался независимо — среди иностранных кинематографистов у него оказалось много знакомых. Пару-тройку дней он уделял мне внимание — брал повсюду с собой, развлекался сам, а заодно и мне перепадало. Пригласил, например, в общую сауну, где парились представители обоих полов (в Германии это давно практикуется). После испытания парилкой все отдыхали на деревянных лежанках под открытым небом возле бассейна. Я с любопытством наблюдала, как обнаженные мужчины и женщины беседуют о последних новшествах кино, а порой вступают в серьезную интеллектуальную полемику. При этом общение шло исключительно лицами, тогда как тела со всеми «причиндалами» словно лежали отдельно от их обладателей: им не уделялось ни капельки внимания.

Время, проведенное с Андроном, не обошлось без ностальгических моментов, однако к нему скоро приехала гостья из Норвегии (тот самый «калач», что ухаживал за ним как-то во время болезни гриппом), и он переключил все внимание на нее. Я хорошо запомнила, как мы встретились на людной городской

площади, где выступал канатоходец. Не знаю, заметил ли меня Андрон и его дама, наверное, нет — мы стояли по разные стороны толпы. Гремели погремушки, играла музыка, все задрали головы вверх — на фоне закатного неба двигалась фигурка, балансируя на тонкой проволоке. Мне было грустно, но не так одиноко: цирковой артист поддерживал меня со своей высоты.

Спустя несколько дней замминистра, по договоренности с советскими пограничниками, устроил для нашей делегации вечернюю развлекательную программу. Инна Чурикова с Глебом Панфиловым и я (Ларисе удалось отвертеться) отправились в приказном порядке через границу на территорию Восточного Берлина. Сам по себе переезд на машине из западной части в восточную был связан с сильным потрясением. Ради того чтобы совершить этот же маршрут, только в обратном направлении, люди рисковали жизнью, и многие из них были расстреляны на Берлинской стене, а мы весело и с комфортом миновали рубеж, и называлось это культурным мероприятием.

Пограничники и кто-то из посольских работников устроили в нашу честь званый ужин. Длинный стол изобиловал закусками: салатами, винегретами, рыбой, икрой, не говоря уже о спиртном и шампанском, а на горячее приготовили утку. В перспективе комнаты белел квадрат экрана, обещая кино на десерт. Очутившись «на Родине», представители Госкино явно повеселели — здесь хозяевами были именно они, тогда как истинные кинематографисты вели себя несколько скованно — было смутное ощущение засады. Когда спиртное разогрело кровь, съедены были все салаты и подошла очередь золотистой утки, кто-то из чиновников поднялся, чтобы сказать тост. Это скорее была речь — он говорил о силе отечественного кинематографа, идущего в ногу, а может, и на целую голову впереди своего народа, о примере для молодого поколения, который нужно то ли показывать, то ли подавать, о знакомом до боли — «важнейшим из искусств для нас является…» и так далее. В конце речи он бросил клич: чтоб было с кем бороться, нужно знать… Вернее, наоборот: врага нужно знать, чтоб с ним бороться! После чего всем предложили ознакомиться с тем злом, которое представляет собой западный кинематограф. Свет притушили, пошли титры. На экране замелькали персонажи в фашистской форме, обнаженные женские тела… Как выяснилось, история была про публичный дом и заговор проституток против своих клиентов-немцев. (Начали издалека!) Эту ленту сменила «Эммануэль-3», а за ней уже ждали своей очереди другие порно-идеологические фильмы.

Киносеанс сопровождался смачным причмокиванием и похрустыванием поглощаемой утки, которая чем-то очень

напоминала обнаженное тело отдавшейся фашистам проститутки. Вообще, аналогий между фильмом и нашим ужином было много — троих побелевших кинематографистов (а с ними и весь отечественный кинематограф) в данном случае «поимели» чиновники всех мастей — дело было только за заговором. Я заметила, как отодвинул свой стул Глеб Панфилов, как сцепила на коленях руки Инна Чурикова — сидя в темноте, как загнанные звери, мы были единственными, кто не смог жевать, глядя на экран… Когда зажегся свет, мы попросили машину, чтобы уехать, сославшись на усталость. Нас долго уговаривали остаться, недоумевали, в чем же дело, — но мы отказались. Хозяева подсуетились и предоставили нам транспорт. Так и вернулись мы обратно — с востока на запад. А фестиваль в Берлине подошел вскоре к концу.

Уже осенью на съемках «Ярославны — королевы Франции» я узнала от режиссера Игоря Масленникова, что тот самый «зам» отговаривал его снимать меня в главной роли. Он жаловался среди прочего, что пришлось ему раскошелиться — кормить меня на фестивале, да и вообще, мол, вела я себя не как нормальная баба, все философствовала, вместо того чтобы солнышку радоваться. Кончаловский, услышав от меня эту историю, сказал: «Если б ты дала ему… шлепнуть себя по попке, он был бы о тебе иного мнения!»

Ах, вот оно что… Попка, значит, тут виновата. Кабы знать… А знать надо!

Решив развеять смутные ощущения от прошедшего фестиваля, а также набраться сил перед съемками в Томске, я купила билет до Симферополя, чтобы оттуда отправиться в Коктебель. Я знала, что меня там ждет Володя Ежов, сын Валентина Ежова, автора «Сибириады». С Володей мы были дружны независимо от профессиональных отношений его отца и Андрона. Ехать я собиралась вместе со своей школьной подругой, но она в последний момент отказалась. Так я очутилась в вагоне СВ с билетами, купленными в кассе «Интуриста», — это вселяло надежду на сохранность и комфорт. Проводником оказался человек средних лет, неопределенной восточной наружности, с крепко сбитой фигурой. Как только поезд тронулся, я пошла к нему за чашкой чая и, оказавшись в его комнатке, в мгновение ока обнаружила себя зажатой в угол. Он преградил мне дорогу, начал флиртовать и между делом попробовал обнять. Я оторопела от такого неожиданного поворота событий, но, к счастью, увидев страх в моих глазах, он отступил и превратил все в шутку.

В купе вместе со мной ехало еще две женщины и мужчина. А

по соседству расположилась шумная компания, к которой вскоре присоединился проводник. В коридоре стоял долговязый парень красивой наружности с волосами до плеч, своим обликом напоминающий хиппи. Я решила, что он едет зайцем, — во всяком случае, он всю дорогу стоял и смотрел в окно. Ближе к вечеру я случайно встретила знакомую с телевидения. Она пригласила меня к себе в соседний вагон, и мы просидели с ней в разговорах до полуночи. Наконец мы решили расстаться, и она взялась проводить меня в мой вагон. Перед тем как зайти в свое купе, я заметила, что парень, стоявший у окна, находится все там же, только теперь висит на полусогнутых ногах, зацепившись одной рукой за полураскрытое окно, а по другой руке, свисающей вдоль тела, струится кровь. В конце коридора, в тамбуре, лицом ко мне стоял проводник и разговаривал со своей коллегой из другого вагона, она была к нам спиной и не видела парня у окна. Приятельница, заподозрив недоброе, поспешила в свой вагон.

Встретившись глазами с проводником и сообразив, что он за мной наблюдает, я быстро зашла в купе. Заперев за собой дверь, я сбросила туфли и забралась на верхнюю полку. Но не успела я лечь, как раздался истошный вопль: «А-а-а-а-а!» — то ли кричал, то ли хрипел кто-то надсадным голосом. Спустя несколько секунд звук резко оборвался. «Лена, ты дверь заперла?» — спросил сосед с верхней полки. Едва я успела ответить утвердительно, как заскрипел замок — кто-то отпирал дверь снаружи. Через секунду на пороге стоял проводник — он был заметно пьян. С минуту-другую он молчал, глядя исподлобья на мои свисающие с полки ноги, затем медленно обвел взглядом лежащих на своих местах людей и наконец тихо произнес: «Крик слышали?» Никто не отозвался на его вопрос, только сосед заскрипел, повернувшись на своей койке. Тогда я стала что-то выговаривать ему скороговоркой про поздний час. Он постоял еще какое-то время, будто оценивая ситуацию, и вышел. Тут подал голос сосед: «Кричали, словно сбросили кого…»

Очень аккуратно, боясь сделать лишнее движение, я вытянулась на полке и, примостившись так, чтобы дверь все время была в поле зрения и можно было вскочить при малейшем движении, позволила себе немного отдохнуть. Я приказала себе не спать, повторяя молитву: «Спаси и помилуй, Господи!» Так пролежала до рассвета, не сводя глаз с входной двери, борясь со сном. А утром, сойдя на перроне Симферополя, я примкнула к группе спешащих на автобусную остановку людей. Меня не покидало ощущение, что кто-то смотрит мне вслед. Главное — было не отставать от толпы. Я обратила внимание, что среди сошедших с поезда нет того парня, что стоял на полусогнутых,

истекая кровью.

Не помню, как доехала до Коктебеля, всю дорогу меня бил озноб, а сойдя с автобуса, тут же опустилась на первую подвернувшуюся лавочку, не в состоянии отойти от мало-мальски людного места. Я находилась в заторможенном состоянии, какое бывает при шоке, мной двигало одно чувство — страх. Просидев так с полчаса, я почувствовала, что в Коктебеле мне находиться небезопасно, и решила отправиться обратно в Симферополь, чтобы с первым же поездом вернуться в Москву. Выйдя на дорогу, я принялась голосовать. Легковые мчались мимо, мне явно не везло, наконец притормозил грузовик с прицепом и шофер согласился отвезти меня в Симферополь. Я было занесла ногу, чтобы сесть к нему в кабину, но тут появились милиционеры и потребовали, чтобы я немедленно прошла с ними в участок. «Откуда приехала, почему не загорела, зачем едешь обратно, вместо того чтобы идти на пляж загорать?» — допрашивали меня, приняв, очевидно, за подрабатывающую автостопом проститутку. Рассказав что-то сбивчиво про маму, которая осталась одна в столице, я намекнула на неприятную сцену, разыгравшуюся у меня на глазах в поезде. Стражи порядка между тем продолжали смотреть с недоверием, задавали все новые вопросы: кто такая, чем занимаешься, к кому приехала. Я объяснила, что работаю актрисой в Москве, и в подтверждение своих слов показала им просроченный пропуск театра «Современник». Но и этого оказалось мало. Они стали с кем-то созваниваться, пытаясь выяснить в Москве, есть ли в «Современнике» такая актриса. Перезвонивший вскоре начальник подтвердил правоту моих слов. Милиционерам дали отбой, и на меня впервые за несколько часов посмотрели с сочувствием. Один из участковых взялся проводить меня по адресу моего друга. Взяв в руку мой скромный багаж, он повел меня по каменистым улочкам Коктебеля. Володи не оказалось на месте, и тогда я вспомнила, что он дружит с семьей Цигалей, у которых где-то поблизости был свой дом. Мы отправились на поиски их жилища. Спустя примерно полчаса я уже сидела на веранде добродушных хозяев, которые угощали меня чаем с вареньем и не задавали никаких вопросов. Меня заочно знали, а если бы и нет, то все равно бы приняли без удостоверения личности. Вскоре объявился Володя. Увидев меня, он стремительно подхватил мои вещи и бодрой походкой отправился поселять свою гостью. Младший Ежов был настоящим завсегдатаем Коктебеля, при нем нельзя было даже заикнуться о возвращении в пыльную столицу. Я рассказала ему историю, приключившуюся в поезде, и он пообещал ни на шаг от меня не отступать. Правда, это было непросто. Как раз накануне моего

приезда он по уши влюбился. Каждый последующий день я наблюдала развитие Володиного романа, который оказался самой большой любовью его жизни. Позднее «она» эмигрирует в Америку. А он напишет повесть «Без меня тебе…» Посвятит ее своей коктебельской любви по имени «Гамбоша» — уменьшительно-ласкательное от экзотической фамилии, которую носила гибкая и скуластая, похожая на восточного идола женщина. Поэтический настрой моего друга способствовал моему выздоровлению, но я навсегда сохранила в памяти истошный крик человека, о чьей судьбе остается только догадываться.

Проведя в Москве всего пару недель, я снова покидала дом, отправляясь на этот раз в Томск, на съемки к Андрею Кончаловскому. Полет длился часов пять. Прежде я никогда не совершала таких длительных перелетов и о Сибири знала понаслышке. Но заочно любила эту землю, и сердце радовалось при виде алых облаков и ни на секунду не исчезающего солнечного света. Съемки проходили под Томском, а я прилетела всего на несколько дней и потому жадно глотала красоту и размах сибирской тайги, бесконечность неба и горизонта. Мне разъяснили, что растущий здесь кедр, или «кедрач», очень целебен для легких, что здесь также много грибов, но собирать их нельзя — есть опасность заражения. Позднее я случайно узнаю, что экспедиция была под вопросом в связи с засекреченностью этих мест: поблизости находился городок без имени, его граждане без паспортов и права на выезд. Нас тоже не хотели впускать из-за угрозы радиоактивного заражения, а когда все-таки разрешили, то строго наказали не собирать в округе грибов, которых тут видимо-невидимо. Однако русского человека никаким запретом не остановишь, он ведь жив духом святым, а не тем, что отправляет в желудок. Поэтому вся съемочная группа мелкими перебежками совершала налеты на «кедрач» и возвращалась под прикрытием ночи с мешком на плечах. Все жарили грибочки, варили — и хоть бы хны! Нашего брата этим не возьмешь…

Находясь вдали от Москвы и ее проблем, я вновь оказалась в знакомой мне обстановке съемок, у некогда любимого мной, единственного режиссера Кончаловского. Никто не может предсказать время окончания любви, бесспорно одно — она заканчивается не в тот момент, когда люди решают расстаться. Невозможность продолжать совместную жизнь, разные цели на будущее только меняют драматургию взаимоотношений, еще больше отрывая чувство от земли, переводя его в философский план. Любовь удаляется, но не длится — так, кажется, говорил о чувстве Борис Пастернак в одном из своих стихотворений… Я

долго не могла осмыслить это, пока моя любовь не стала удаляться вместо того, чтобы длиться.

В картине мне предстояло сыграть сибирскую деревенскую девчонку-подростка, и я уповала на свои сибирские корни по линии деда — маминого отца, а также на языческую сущность, которая живет в каждом актере. Забыть все, чему тебя научила так называемая цивилизация, и вернуться к природным основам — вот как я понимала язычество. То, что роль писалась на меня, я знала, и в этом тоже заключалось продление любовной истории, только теперь в образе Тайки, в Сибири, в контексте окончания некогда счастливого романа. На площадке всегда присутствует зритель — группа, массовка, просто любопытные. Когда-то, во время съемок «Романса», я выходила на всеобщее обозрение как новая Муза, вдохновение и надежда режиссера, — и это приподнимало над землей, намечало путь, уходящий ввысь. Теперь я парила в безвоздушном пространстве одиночества, с грустью наблюдая за теми, кто стоит на земле, созерцая мой полет.

Готовилась к съемке сцена, когда вся деревня, выстроившись на холме, провожает баржу с новобранцами на фронт. Моя героиня Тайка узнает, что Алешка записался добровольцем, и бежит вслед за отплывающей баржей с криком: «Ты еще вернешься?» (Алешку Устюжанина в этой новелле сыграл замечательный актер Евгений Леонов-Гладышев, он виртуозно скопировал Никиту Михалкова, исполнившего тот же персонаж в более старшем возрасте.) Сцену предполагалось снимать в два захода: сначала — общий план, героиня стоит в толпе провожающих и вырывается вперед в тот момент, когда баржа двигается с места. А затем Тайка бежит вдоль берега с криком «Алеша!» вплоть до финального кадра, когда она падает на землю.

Первый день прошел без проблем, он был примерочным, легким, от меня мало что требовалось. После съемки я была в хорошем настроении, болтала с ассистентами, помощниками, гримерами, встречая в каждом ощущение счастья от причастности к искусству, созидаемому на фоне вечного ландшафта. Так, беседуя со всеми по очереди, я набрела на помощника режиссера, который бережно держал в своей руке тарелочку (возможно, она даже была с голубой каемочкой), а в тарелочке — грибы. Он намеревался приступить к трапезе при первой подвернувшейся возможности. Облюбовав укромный уголок, он уселся на скамеечку и почти уже поднес ложку ко рту, но тут перед ним образовалась я со своим приветствием. «Какая досада», — должно быть, подумал он, но мило улыбнулся и предложил отпробовать

грибочков. Не успела я возразить, как в воздухе уже повисла ложка — она-то и должна была стать его первой пробой, но долг вежливости изменил ее траекторию. Дружеское предложение обязывало меня согласиться, что я и сделала: от такой малости вреда не будет.

Надо сказать, что этот человек вызывал во мне странные чувства — смесь уважения и ревности. Он был эрудитом до мозга костей, по-барски ленив и медлителен, но главное — он завоевал исключительное расположение к себе Кончаловского, который окружал себя людьми, отмеченными тем или иным талантом. Мне казалось, что именно он является на данном этапе бесспорным авторитетом для режиссера и, как хитрый лис, управляет настроением в группе. Вечером того же дня в компании нескольких человек я попарилась в баньке и, вернувшись в гостиницу, наконец улеглась в надежде увидеть счастливые сны. Примерно через час я проснулась от боли в желудке и, поднявшись, обнаружила, что меня бьет сильный озноб. Мое отражение в зеркале подтвердило тяжелое состояние: лицо бледное, лиловые губы — покойник, да и только! Время было позднее, час или два ночи, единственный, кого мне казалось проще всего разбудить, — это Кончаловский. Я постучала в его комнату, он открыл. Увидев, в каком я состоянии, сразу понял диагноз — отравление, тем более после моего рассказа об утренней делегации запретных грибов. На счастье, у Андрона, увлекающегося голодовками, оказалась клизма — он всегда возил ее с собой. До самого рассвета мне промывали желудок — поставлено было с десяток клизм — не очень романтично, зато по-родственному. Когда наконец полегчало, я, сидя на краю ванной, разразилась длинным монологом о своей жизни, о трудном выборе, который предстоит все время делать, и о многом другом. Я жаловалась тому, кто меня спасал, а значит, любил и был хорошим человеком… Походила я тогда на болотного черта — мокрая, с голым продрогшим телом, взъерошенная, выкрашенная в ярко-рыжий цвет, — и, наверное, вся моя исповедь была сумбурной и сумасшедшей.

Пришедший утром врач сказал, что отравление тяжелое, и порадовался, что вовремя промыли желудок. Температура оказалась довольно высокая, и он сделал укол, посоветовав хотя бы пару суток провести в постельном режиме. Однако наступивший день был днем съемки моего плана с пробежкой, а на следующий я собиралась улетать в Москву. Андрон оставил меня в своем номере, а сам отправился на площадку, сказав, что через пару часов придет проведать. Отоспавшись в мягкой постели, я решила подняться и пройтись по комнате, полной

вещей близкого и уже незнакомого мне человека. Женское любопытство не знает преград, и его не остановит никакая температура. На маленьком столике были выставлены фотографии и открытки. Я взяла в руки одну из них и прочла. Несколько любовных строк и имя. Еще одна открытка, и еще, и еще. Я поняла, что кто-то влюблен — то ли он, то ли она, — и мне стало больно. «Никогда не читай чужие письма!» — я знала это с детства. И все же: «Никому не скажу, что прочла!» Я сунула нос, куда не надо, и получила сдачи. Появившийся вскоре Андрон очень заботливо предложил мне остаться еще на несколько деньков и сниматься, когда я приду в себя окончательно. Но меня уже гнало вон чувство ревности, отчаяния и оскорбления. Я не могла здесь больше оставаться, решила сняться и улететь во что бы то ни стало. Перед съемкой я сидела, укутанная в платки и кофты, с выражением крайнего спокойствия, какое бывает у людей, узнавших всю «горькую», «жестокую» правду. Андрон, увидев меня в таком потустороннем состоянии, пошутил, сказав, что я напоминаю ему бунинскую роковую героиню.

Наконец меня позвали в кадр. Наметили траекторию пробежки: где и как я должна упасть. Начали репетировать. Я не хотела тратиться раньше времени и проходила все механически. Пробежавшись раз-другой, я услышала, как Андрон скомандовал в мегафон: «Внимание!» Затем, обратившись ко мне, прокричал: «Артистка Коренева, нам сейчас не нужен твой талант, нам нужен профессионализм, сделай дубль в золотой фонд!» И после добавил: «Ленок, ну давай, для тебя и для меня!» Прозвучала команда: «Мотор, начали!» Я побежала. В горле стоял ком, сдерживая голос, но вдруг я отпустила себя, дав волю слезам. «Я буду ждать тебя всю жизнь!» — кричала Тайка вслед уплывающей барже, а затем с какой-то отчаянной радостью грохнулась в пыль и зарыдала.

На следующее утро самолет нес меня обратно в Москву. В иллюминатор смотрело бесконечное алое небо, которое потухало по мере приближения к столице. Приключенческий многосерийный фильм того лета подходил к финалу. «Кто я, где, почему?» — спрашивала я себя. И нашла ответ: «Ты в сказке, где есть добрые и злые волшебники, здесь в кустах прячется чудовище, в лягушке — принцесса, а юноша — Кащей Бессмертный. Сказки бывают страшные и не очень. Главное — не забывать, что все в них не как в жизни, а с каким-нибудь сюрпризом, с вывертом. Главное, не забывать… и быть готовой ко всему». «Ну что ж ты больше не прилетела?» — досадовал на меня позднее Андрон. Он позвонил в Москву, сообщил, что материал проявили, сказал, что очень доволен. Пригласил снова приехать в

Томск погостить, но так меня и не дождался. После его возвращения из экспедиции мы столкнулись в дверях общего для обоих подъезда на Малой Грузинской. Его лицо просияло, затем резко нахмурилось — вспомнил обиду: «Что ж ты, ведь это больше никогда не повторится!» Оценив мой беззаботный настрой и не дождавшись ответа, прошествовал к лифту и скрылся.

Глава 35. Малая эйфория на Бронной

«У нее хорошие нервы для актрисы! — сказала как-то ассистентка по актерам своему собеседнику, далекому от творческой профессии. И затем пояснила: Я, конечно, имею в виду очень плохие нервы для нормальной жизни: совершенно расшатанные, обнаженные, — но как раз то, что нужно в нашем деле». Так какие нервы должны быть у актеров — стальные или тонкие, как мембрана? Нужно быть здоровым или больным? Здоровым физически и душевно больным? Физически сильным для тяжелых нагрузок, в том числе и эмоциональных, а «больным» или особо чувствительным в психологическом плане? «Актер должен быть предельно здоровым человеком, со здоровой нервной системой» — подобное мнение я услышала от кого-то в Америке. Верно — как может в основе профессии быть заложена болезнь? И все-таки на практике почему-то получается по-другому. «Высокая болезнь»? Можно назвать и так.

Я ненароком вспомнила слова Лили Толмачевой о «тяжелой ноше трагических ролей, которые не всякий может выдержать», когда после успешной премьеры «Месяца в деревне» Анатолий Васильевич предложил мне сыграть в новом спектакле по пьесе Дворецкого «Веранда в лесу». По сюжету моя героиня находилась в посттравматическом состоянии вследствие потрясения, пережитого ею во время пожара. Она вела себя, как все, но вдруг «соскальзывала» без всякого видимого повода на тему пожара и доводила свои рассуждения до грандиозных философских обобщений. Я приготовилась сыграть абсолютную «крэйзи», но Анатолий Васильевич этому явно противился, желая видеть меня такой, какая я есть. Не совсем понимая, хорошо это или плохо, я все еще пыталась ухватиться за какую-либо ненормальность. Однажды я сильно опоздала на репетицию и, едва поспев к своему выходу, вылетела на сцену, с трудом переводя дыхание. Я начала произносить монолог, воровато оглядываясь по сторонам, чувствуя неловкость за столь позднее появление в зале, и с каждым произносимым словом судорожно пыталась вспомнить, что дальше — никак не могла отделаться от шлейфа впечатлений, принесенных с улицы. Как только закончилась

репетиция, я закрылась в гримерной, надеясь оттянуть неприятный разговор с режиссером. Но дверь отворилась, и, к моему ужасу, пожаловал сам Анатолий Васильевич. «Леночка!» — обратился он ко мне. Я испуганно вжалась в стул, ожидая разноса. «Сегодня вы замечательно репетировали, я наконец понял, какой должна быть ваша героиня. Свеженькой, молоденькой, такой же румяной, никакого намека на неадекватность. И только немного задумчивой, когда рассуждает, точь-в-точь как вы подбирали слова, слегка запыхавшись!» Сказав это, он, довольный, вышел. «Какое счастье работать с настоящим творческим человеком, — размышляла я об Эфросе, — у него на уме только его герои!»

После «Веранды в лесу» последовал спектакль «Продолжение Дон Жуана» Эдварда Радзинского. Репетировать Дон Жуана начал было Олег Даль, но вскоре отказался, как отказался в последний момент играть Лунина в пьесе того же автора. А потом вовсе ушел из театра. С Олегом я встретилась еще в «Современнике», но работать с ним в одном спектакле мне не довелось. А здесь, у Эфроса, он стал моим партнером, сыграв Беляева в «Месяце в деревне». Откровенно говоря, я никогда не понимала загадочности Олега, которую находили в нем другие, не чувствовала его драмы и всегда с любопытством наблюдала, с каким пиететом воспринимают его коллеги и театралы. Наверное, и он не обращал на меня внимания. Только однажды на гастролях умолял посидеть с ним в номере и послушать его рассказ о джазе. Его настойчивость испугала меня, вызвала чисто женское раздражение. Да и час был поздний, и я с таким же упрямством отказывалась, повторяя: «Нет, нет и нет!»

Весной 1981-го я должна была вылететь в Киев для знакомства с режиссером Николаем Рашеевым. Он собирался пробовать меня в картине «Яблоко на ладони». На главную мужскую роль был приглашен Олег Даль. Мы должны были лететь вместе. Поездка предстояла короткая, всего на три дня. И вдруг я уперлась — не поеду, и все! Причины для отказа у меня не было, я ее придумала — заболела, простудилась, схожу с ума от насморка. Олег полетел один. Через сутки мне позвонили из Киева. Женский голос начал бессвязный разговор: «Лена, у нас такое случилось, не знаю, как сказать… ну очень серьезное что-то произошло… умер Олег!» — «Олег? Какой Олег…» — переспросила я, не понимая, почему мне говорят о ком-то из группы, ведь я никого не знаю. «Олег Даль…» Слова о смерти человека всегда ставят окончательную точку в конце его как бы длящейся до того момента жизни… как будто и вправду мы все еще живы, пока другие не считают нас мертвыми.

Я часто задумываюсь — что было бы, если бы… Если б я тогда послушала рассказ о джазе, если бы полетела вместе с Олегом… Увы, теперь это не имеет никакого значения.

Я снялась в картине «Яблоко на ладони». Вместо Олега его роль сыграл актер Анатолий Васильев. Режиссер Николай Рашеев, очень суеверный человек, не приступал к съемкам, когда у него не сходился утренний пасьянс. Он рассказывал, что несчастье сопровождало картину на каждом шагу, начиная с написания сценария. Прошло много лет, и когда я теперь смотрю фильмы с участием Олега, то вижу все, что тогда было скрыто от моих глаз: его драму, его упорство, искренность, силу… Его «особость» в нашем актерском мире. Почему я тогда?.. Не знаю! Почему только сейчас? Не могу ответить. Однако в этом запоздалом понимании судьбы одного человека заключается вся трагичность нас, живущих.

Вместо Олега Даля роль Дон Жуана в спектакле «Продолжение Дон Жуана» исполнил Андрей Миронов. Полная противоположность Олегу, но так же, как и он, — харизматическая, культовая фигура нашей уходящей — или меняющейся, чтоб не сказать ушедшей — культуры. Меня с Андреем Александровичем связывала короткая романтическая история, через призму которой я и воспринимаю этого человека…

Мы встретились на съемках телевизионного фильма «Между небом и землей» (режиссера Валерия Фокина по рассказу Виктории Токаревой), и Андрей Александрович начал за мной ухаживать. (Он был тогда свободен от семейных уз.) Если можно в данном случае прибегнуть к банальному цитированию, то лучше всего сказать: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой». Я была маленькой вредной козявкой, пребывающей в постоянной печали, в которую почему-то влюбился этот красивый, полный жизненной энергии «сердцеед» — Андрей Миронов. Казалось, должно было быть все наоборот, ан нет! Он развлекал меня, веселил, рассказывал драгоценные актерские зарисовки, угощал по-царски, дарил цветы, целовал ручку при встрече и, случалось, исповедовался в своих грехах и романах. Его поведение и энергия декларировали безоговорочное приятие самой что ни на есть реальной, земной человеческой жизни, в которой он плавал как рыба в воде и был ее любимцем. Так называемая «достоевщина», самокопание, надлом, как и любой отказ от земных благ, воспринимались им как поражение. Его доминирующей жизненной эмоцией было восхищение. Он рассказывал о том, как плакал от восторга, наблюдая парад королевских гвардейцев в Лондоне, и с такой же страстью говорил о своей мечте поселиться на речке с

трогательным названием Шоша.

Однажды он приехал на свидание на пожарной машине — за отсутствием такси поймал «первую попавшуюся», так и стоял на ступеньке возле кабины водителя с вытянутой по-цирковому рукой, словно только что исполнил кульбит в воздухе. Дело было в Питере возле гостиницы «Астория». (Тушить, правда, оказалось нечего, разве что мои «огненные» волосы, выкрашенные для какой-то роли. От этой краски на подушке оставалось странного цвета пятно, что, должно быть, погружало горничных в глубокую задумчивость.) Я же испытывала гордость и неловкость одновременно от свалившегося на меня в лице Андрея Александровича счастья, к которому совершенно не была готова. Однако на все, как говорится, Божья воля, и на наши несоответствия в том числе. Повстречать на своем пути хорошего человека — это уже подарок, а веселого, смелого и талантливого — большое везение. Как-то московским летним утром, часа эдак в четыре, он позвонил мне и попросил немедленно одеться и ждать в гости: «Я приду со своим итальянским другом, хочу, чтоб он на вас посмотрел!» Сопротивляться не было никакой возможности, и я согласилась.

Через полчаса я уже готовила кофе нежданным гостям. Иностранец флегматично изучал мое сонное лицо, и я отвечала ему тем же. А Андрей Александрович, по обыкновению всех актеров, развлекал двух насупившихся людей. Наконец ему это надоело, и он решил встряхнуть своего друга, спросив его прямо в лоб: «Ну как тебе эта женщина?» Итальянец, а может он был и швед, после долгой паузы произнес свой вердикт: «Это не женщина!» Его слова заставили меня проснуться окончательно. Андрей Александрович тоже как-то стушевался. «А кто же это?» — с искренним любопытством переспросил он заморского друга. «Это ребенок!» Тут я встрепенулась, подняла бровь и, глядя немигающим взглядом на собеседника, сформулировала: «Однако я уже давно работаю женщиной!» Мой ответ превзошел все ожидания, даже мои собственные. Андрей Александрович разразился гомерическим хохотом, и я поняла, что выиграла схватку. Наш роман, если можно его так назвать, длился недолго. Наступил момент, когда Андрей Александрович сказал мне, что я отличный амортизатор мужского вдохновения, страсти и чувств. А потом с грустью добавил: «Я понял — вы чистый человек с удивительной женской природой, но вас сломали, втиснули в форму, и вы уже ничего не можете с этим поделать». Я слушала его с остекленелым взором, не в состоянии возразить или упрекнуть, что подтверждало истинность его слов. А что такое «амортизатор» и смысл сравнения меня с ним, я поняла, только

сев за руль машины, спустя много лет… Лучше поздно, чем никогда, и все-таки жаль, что не вовремя.

Летом 1978-го театр на Малой Бронной отправился на фестиваль в Эдинбург, в Шотландию. Мы везли два спектакля — «Женитьба» и «Месяц в деревне». В аэропорте Шереметьево произошел забавный казус. Как известно, запрещается провозить через границу ряд продуктов, растения и животных без особого разрешения в виде справки. Также известно, что в советские времена все наши соотечественники везли с собой в загранкомандировку консервы, плавленые сырки, сервелат — короче, все, что поможет продержаться на воле и сэкономить валюту для более ценных приобретений, нежели продукты питания. Стоя в очереди на контроль за Олей Яковлевой, я наблюдала ее разговор с таможенником. «Откройте сумку, что у вас там, покажите». Ольга нехотя распахнула огромный баул. «Что это?» — продолжал задавать риторические вопросы «ненавистный» служитель границы. «Что, что — консервы, вы разве не видите?» — раздраженно вспылила Оля. «Консервы??? — переспросил дядька в форме. — Какие?» Тогда Оля набрала побольше воздуху в легкие и победоносно выпалила: «Все!» И правда, содержимое сумки поблескивало до краев металлическими банками, заключавшими в себе весь ассортимент отечественных полуфабрикатов. И Оля не была в этом одинока: народ вез то, что не требует холодильника, вплоть до детского питания и гречневой крупы.

Усевшись в самолет, актеры, как по мановению волшебной палочки, развернули свертки и принялись извлекать сыры, помидоры, супы и докторскую. По салону потянулись крепкие запахи, челюсти заработали — и в этом, безусловно, было что-то нервное. Прилетев в Лондон, мы пересели на поезд, который отправлялся в Эдинбург. В поезде повторилось то же, что и в самолете: как только двинулся состав, оставив позади открыточный Биг-Бен, зашелестели свертки, зазвенела посуда, извлекались из недр чемоданов кастрюли.

Сразу по приезде в Эдинбург Анатолий Васильевич собрал актеров для разговора. Он был задумчив, нервно прогуливался по комнате и наконец, оглядев присутствующих, произнес: «Я хотел вам сказать, что… — Он запнулся, подбирая слова, затем с трудом продолжил: — Вы все, почти все… не интеллигентные люди!» И замолчал. Это звучало как приговор: вылечить зуб или вставить другой еще можно, сменить прическу — тоже, а вот успеть стать интеллигентом к премьере спектакля — навряд ли. Но бедные советские артисты, замученные отсутствием денег и времени, необходимостью соответствовать своей популярности в

глазах публики, мучимые незнанием иностранных языков, постоянным контролем начальства и окриками, призывающими сеять «разумное, доброе, вечное», переносили любой удар стоически. Выше себя не прыгнешь!

Спектакли Эфроса в Эдинбурге прошли на ура, особенно «Женитьба». Восторженный прием зрителей и критиков развеял все страхи: показалось даже, что не такие уж мы все лопухи, в конце-то концов! Играть для иностранцев всегда сложно: зритель слушает перевод в наушники, эмоциональная реакция запаздывает, что затрудняет контакт с залом. Но есть и преимущества. На одном из спектаклей Олег Даль, который плохо себя чувствовал, предупредил меня: «Если забуду слова, не останавливайся, шпарь дальше». Так и случилось — Олег сбился, но в аудитории этого никто не заметил — перевод читался по написанному тексту без запинок. А Оля, помню, напутствовала меня перед выходом на сцену: «Не бзди, прорвемся!» Что-то мальчиковое было в ее словах, наводящих на мысль то ли о спортивной борьбе, то ли о военных действиях. Недаром Анатолий Васильевич всегда сравнивал актерскую игру с выходом на ринг и с джазом.

Оля была его ученицей до последней капли, но в то же время уравновешивала его воспитанность своим уличным хулиганским задором. В ее характере присутствовало что-то от «плохой девчонки», так называемого enfant terrible — ужасного ребенка. Зайдя однажды к ней в гримуборную, я застала Олю с бритвой в руках, пыхтевшую над крошечной ампулой. Она перепиливала кончик стекляшки с жидкостью. Дело было перед началом спектакля. Увидев меня, она лукаво подмигнула: «Очень помогает, хочешь поделюсь?» Это был жидкий кофеин. Я согласилась и пригубила каплю из чувства солидарности. В тот вечер мы благополучно прорвались сквозь все окопы и мины драматического представления.

Долго длилась моя творческая эйфория, но и ей наступил конец. Я ушла из театра на Малой Бронной, за что и получила от своих близких прозвище Колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел… Но я была не единственным «колобком» в театральной среде. Олег Даль, Михаил Козаков, Валентин Гафт и еще ряд актеров сменили не одну сцену и нигде не задерживались слишком долго. Но все же это было нетипичным явлением. В советское время не существовало антреприз — альтернативы репертуарному театру. Это теперь их пруд пруди, а раньше актер, прибившийся к труппе, почитал за счастье оставаться в ней до самого конца. Костя Райкин «обрадовал» меня в первые месяцы работы в «Современнике»: «Вот здесь тебя,

Ленка, и в последний путь проводят!» Я тогда сразу ответила: «Нет уж!»

На мое решение вновь уйти из театра повлияло несколько обстоятельств, которые могут озадачить «не колобков». Дело в том, что на Малой Бронной я работала по договору, то есть не была в штате. Меня устраивало такое положение — я могла репетировать только с Эфросом, который меня и пригласил. Тогда как штатный актер обязан играть любой предложенный ему репертуар и не вправе выбирать ни роль, ни режиссера. На сборе труппы по случаю открытия нового, семьдесят девятого сезона, меня сначала поздравили с зачислением в штат, а потом объявили о распределении на главную роль в спектакль другого режиссера. Я была в смятении, не хотела репетировать ни с кем другим, кроме Анатолия Васильевича. Отправившись в дирекцию, я попросила дать мне отпуск за свой счет, сославшись на то, что должна подлечиться. «Как долго вы намерены лечиться?» — спросил меня пузатый директор голосом прокурора. «Месяца два-три», — наивно заявила я. «Если театр может обойтись без вас три месяца, то он может вообще обойтись без вас!» — решил головоломку пан директор.

Анатолий Васильевич со своей стороны переживал в те дни странный период — казалось, его обязывали ставить в первую очередь то, что было ему не очень интересно. Настроение у него было кислое. Он предупредил, что в ближайшее время для меня не будет большой работы, предложив репетировать эпизодическую, малоинтересную роль… к тому же девочки-школьницы, травести. Я мучительно осмысливала свои будущие театральные перспективы, в это же самое время получая интересные предложения в кино. И здесь мне начали чинить препятствия: театр не хотел отпускать актера на съемки — боялись за репертуар. Все это подвело меня к решению уйти… даже от Эфроса! Я чувствовала себя вероломной, коварной, возможно, неправой, но ничего не могла с собой поделать. Я хотела выбирать сама.

Глава 36. Диссидентское лето 79-го года

Уйдя из репертуарного театра, что в психологическом плане приравнивается к разводу и полигамии (театр один, а фильмов много), я вступила в жизнь одиночки — совершенно отличную от той, которая проистекает в «семье» под названием коллектив. Мои новые знакомства только подтверждали скрытый вызов и своеволие независимого положения в социуме.

Я давно заметила, что в преддверии судьбоносной встречи мы часто отказываемся идти на «тот самый» день рождения, в «ту самую» компанию, упираемся до последнего, ссылаясь на несварение желудка, интересную передачу по телевизору или что-нибудь еще. Но в конце концов все-таки тащимся «туда», проклиная себя за слабость характера. Тут-то и выясняется, что нам просто необходимо было оказаться именно здесь и сейчас. «Кто-то» или «что-то» выбрал этот неприметный на первый взгляд час, чтобы ворваться в нашу жизнь и внести в нее долгожданные перемены.

Так, одним мартовским вечером после долгих отговорок я согласилась идти с Володей Ежовым на вечеринку в честь его друга Алеши Менглета, с которым никогда прежде не была знакома. Все подтверждало неординарность предстоящего знакомства — по дороге я оступилась на ровном месте, разбила подарочную бутылку вина, порвала новый чулок, и на колене образовалась огромная шишка. «Вот тебе за то, что не умеешь настоять на своем!» — бормотала я про себя и неуклонно ковыляла дальше. Однако, придя наконец в гости, я повеселела. Компания состояла человек из двенадцати — пятнадцати, все они знали друг друга с детства и потому разговаривали на каком-то своем, выработанном годами сленге. Никто не обращал на меня внимания, и мне представилась редкая возможность наблюдать за другими, а не служить предметом обозрения для незнакомцев.

Виновник торжества Алеша Менглет беседовал на кухне с худощавой блондинкой — та заливалась мужским басом, пересказывая похождения минувших лет. Какое-то время назад она расписалась с французским подданным, желая навсегда покинуть социалистическую Родину. Отправив новоиспеченного супруга в Париж — делать последние приготовления к ее приезду, она коротала летние вечера в Москве, ожидая выездную визу. В один из этих дней она оказалась в ресторане с подругой, которая попросила развлечь болтовней прибывших в СССР румынских физиков. Задача была несложная — остроумием и хорошими манерами блондинка обладала с избытком.

Настроившись на легкий непринужденный ужин, она и предположить не могла, что в промежутке между вторым блюдом и десертом вдруг начнет влюбляться в прекрасного черноволосого румына. А спустя сутки уже отдастся роковой страсти целиком, плюнув на респектабельного парижанина и французскую визу.

Дело кончилось тем, что она вышла замуж за красавца физика, уехала с ним в Румынию, там родила и лишь тогда спохватилась: новое место жительства — тюрьма похуже той, из которой она мечтала вырваться. Страсть к свободе взяла верх над другими страстями, и она в очередной раз стала замышлять побег. Путем долгих тайных манипуляций ей удалось купить тур в Италию — себе и сыну. Туда она отправилась, никого не посвятив в свои планы, в том числе и мужа (этого требовала конспирация: кто знает, как бы он воспринял новую идею жены). Пока супруг объявлял ее в розыск, она обосновалась в Америке, о чем известила его телефонным звонком. Теперь она считалась американкой, курила «Мальборо» одну за одной, по воскресеньям ездила верхом, а вечерами стреляла из пистолета в мишень, что висела на стене ее квартиры: тренировала руку. Каждый выстрел сопровождался мощным хлопком, но у нее на голове красовались звуконепроницаемые наушники. Другое дело — соседи… Нажимая на курок, она приговаривала: «Посмотрим, долго ли вы продержитесь, гады!» Новые соседи, только что приехавшие русские иммигранты, ей досаждали — они круглые сутки варили щи! Украв для начала трехколесный велосипед писклявого малыша, затем методично туша сигареты о вывешенные в саду «вражеские» простыни, она добилась-таки поставленной цели: соседи съехали, враг отступил. Победитель хохотал на московской кухне прокуренным женским басом.

Когда Алеша наконец вошел в гостиную, я смогла разглядеть его поподробнее. Он оказался чуть рыжеватым блондином со смешливыми глазами и веснушчатым лицом, то и дело щурил озорной глаз и пощипывал отрастающую бородку. Он происходил из актерской династии. Его дед — знаменитый Георгий Александрович Менглет, актер театра Сатиры, мать — актриса театра Станиславского Майя Менглет. Да и сам он к тому времени уже закончил актерский факультет ГИТИСа. Друзья его были все как один — художники. Атмосфера за столом царила шутливо-непринужденная, и я позабыла все свои болячки, превратившись в зрителя своеобразного шоу. Алеша и его ближайший друг Саша Дрючин исполнили импровизацию на пустых банках — наивные звуки будили в обоих неописуемую детскую радость. Затем была продемонстрирована пантомима или скульптурные позы в духе соцарта (как на полотнах Комара и

Меламида, которых они тоже знали), потом пародия на общих знакомых и наконец воспоминания о любимой всеми даче в Судаке. Многие из тех, кто собрался в тот вечер за круглым столом разгонять весельем темноту одинокой ночи, были связаны между собой романом или браком (прежде или теперь), и тем не менее они продолжали держаться вместе, возведя дружбу в наивысшую ценность. «Боже мой, — размышляла я, глядя на них, — до чего актеры в жизни напряженнее, скованнее этих художников… а ведь и те и другие — творцы. Возможно, это оттого, что актерский труд более зависим от идеологии, так как связан со словом, с коллективом. Отсюда и результат — редко встретишь среди нас бунтарей, разве что алкоголиков да заслуженных…»

Домой мы возвращались втроем — Вова Ежов, я и Менглет. Идти пришлось пешком, потому что метро уже закрылось. Алеше оказалось по пути, и он принялся веселить меня персонально. Ежов, привыкший к его шуткам и тонкому флирту с женщинами, только иронично ухмылялся. Неожиданно для себя самой я окончательно просветлела и отметила, что «рыжий конопатый» метит своими стрелами прямо мне в душу, а я и не думаю сопротивляться. Перед тем как расстаться, Алеша пригласил меня прийти к нему домой на ужин, о котором должен будет сообщить преданный Вова Ежов. Как выяснилось, Менглет недавно расписался с немкой из Гамбурга и вскоре уезжал туда на постоянное место жительства.

На прощальный ужин я уже летела, боялась опоздать, все подталкивала Ежова — побыстрей да побыстрей! А Вова шел подчеркнуто медленно, словно прогуливаясь. Но вот мы оказались на месте, в квартире Алешиной мамы. За столом в гостиной сидели все те, кого я уже видела в прошлый раз, и еще с десяток новых лиц, таких же смешливых, дурашливых, веселых людей. Я оказалась самой последней, вернее, самой новой Алешиной знакомой. (Гостинчик напоследок, чтоб было по кому тосковать и думать — не все еще прожито «там».) На этот раз он окончательно покорил мое сердце, как и все, кто его окружал. Видеть вокруг столько людей, влюбленных друг в друга, в общее для них детство, отрочество и юность — большое счастье само по себе. Я уже не говорю о счастье принадлежать им, этим людям и их воспоминаниям. Можно ведь любить не только отдельного человека, но совокупность людей — их стиль, образ жизни. Впоследствии мне станут хорошо знакомы чувства такого рода: увлеченность друзьями, а значит, и их привычками, словечками, сентиментальными безделушками — всем тем, что лишено утилитарного смысла, но наполнено твоей памятью.

В конце вечера Алеша попросил меня прийти еще раз, теперь уже на платформу Белорусского вокзала в день его отъезда в Гамбург. И на этот раз я спешила, как спешили все, кто стоял на перроне — успеть поцеловать, шепнуть на ухо заветное словечко, — таких оказалось без малого человек сорок. Девушки всхлипывали, ребята отшучивались, а сам «виновник», вырядившийся в телогрейку, повторял свое кредо: «Война х-ня, главное маневры!» Но вот поезд тронулся, все побежали вслед. Алешка сделал прощальный жест и обратился к любимым подругам: «Дорогие женщины, простите, что покидаю вас, не грустите, я еще вернусь!» Его солнечная физиономия начала медленно удаляться. За составом шли его друзья — дети диссидентов, друзья Сахарова, английский разведчик, вышедший на пенсию в Советском Союзе, дочь разведчика, закончившая московскую среднюю школу, неунывающие потомки поэта Бальмонта, а также многочисленные художники, родители которых, члены МОСХа, всю жизнь писали портреты Ленина и рисовали карикатуры на страну «пауперизма», Америку. Все они были так называемой «золотой молодежью» конца 70-х, и в течение последующих нескольких лет почти каждый из них поменял место жительства и переехал жить на Запад. Я еще не догадывалась, как много перемен принесет мне это внезапное знакомство.

Перед отъездом Алеша строго наказал своей подруге Ксене «не бросать Леночку», и теперь она звонила мне и звала в гости, в свою однокомнатную квартиру на Масловку. Она, конечно, тоже была художницей, успешно лила воск на ткани, создавая замысловатые батики, а также страстной поклонницей очень женских песен Аллы Пугачевой. Под утро у Ксени разыгрывался аппетит, она начинала жарить колбасу, одновременно дирижируя себе ножом, который только что был в употреблении. Подвывая какой-нибудь душещипательный куплет и утирая слезу, она вспоминала своего француза по имени Реми, которого любовно окрестила «рюмочкой». У Ксени в доме периодически собиралась вся честная компания, что была на перроне, а также всевозможные иностранцы, каким-то чудом оказавшиеся в Москве и завязывавшие знакомство с художниками. В те годы принимать у себя зарубежных гостей было по меньшей мере дерзко, а по большей — вызывало подозрения в сотрудничестве с органами. Однако Ксеня была редким исключением из правил, и ей все сходило с рук просто потому, что это была именно Ксеня — имя скорее нарицательное, нежели собственное. Она чем-то напоминала звезду американского рока Дженис Джоплин, например своей «цветочной широтой» и бескорыстием. Каждого

она ласково называла «птицей», «солнцем», «мальчиком», «девочкой», как если бы была всеобщей матерью или жрицей. К сожалению, с Дженис Джоплин ее роднила не только клоунская улыбка, круглые очки, кудряшки, хипповые размахайки, бусы и кольца, но также пагубное пристрастие — в ее случае к алкоголю. Но если Дженис трагически погибла от наркотиков, то Ксеня, на радость всем друзьям, выстояла в самой невероятной качке. Спустя пару лет она тоже уедет, поселится в Нью-Йорке. На новом континенте продолжит заниматься своей профессиональной карьерой и даже умудрится зарабатывать приличные деньги, одним словом, устроит жизнь на Манхеттене не хуже, чем на Масловке, оставаясь таким же неунывающим, отзывчивым существом, в окружении друзей и трех черных кошек — Дуси, Константина и Морковки.

Спустя три месяца после отъезда, летом 1979-го, вновь появился Алеша. Теперь он приехал в Москву в качестве гостя. Ксеня отчиталась перед ним о «проделанной работе», хотя он и сам видел, что мы были теперь неразлучны, вроде Кормилицы с Джульеттой. Как-то днем он позвонил и, жалуясь на голодный желудок, стал проситься на обед. Его звонок застиг меня врасплох — в холодильнике пусто, да и готовлю я плохо. Услышав на моем конце телефона напряженную паузу, Алеша тут же предложил навестить одного знакомого француза, у которого, по его словам, всегда найдется дома что-нибудь вкусненькое. Правда, он предупредил, что идти мне туда небезопасно: Пьер (так звали француза) был скандальной фигурой, да к тому же журналистом. Он жил в доме на Садовой-Самотечной, где на верхних этажах располагалось агентство Франс Пресс, а чуть пониже — квартиры работников посольства и журналистов. «Гетто», как сами жильцы окрестили свой дом, круглосуточно охранялось нашей милицией. Решив, что бояться мне нечего, так как кроме желания «заморить червячка» у меня нет никакой другой сверхзадачи, я отправилась с Алешкой в гости. Пьер с виду был человеком лет пятидесяти, небольшого роста, с кучерявой седеющей шевелюрой, очень разговорчивый и заводной. По квартире у него бегала маленькая болонка, а на диване сидела миниатюрная блондинка по имени Елена — его будущая жена. (Я обратила внимание, что имя Елена в те годы как бы пришло на смену имени Наташа — все русские женщины в иностранном окружении почему-то оказывались Еленами в восьми случаях из десяти. У меня даже родилась тогда шутка: Елена не имя, а профессиональная кличка…)

Итак, я впервые в тот день попала в московский дом к иностранному гражданину, если не считать моего визита в детстве к подружке-итальянке. Для советского человека этот

момент был исполнен особого трепета, так как общаться с иностранцами, иноверцами, представителями других человеческих рас и культур у нас практически не было возможности, а если она и представлялась, то контакты сводились к минимуму во избежание провокаций и неприятностей. Вследствие подобного воздержания возникала другая крайность — зрелище иностранца в натуральную величину, да еще в быту, вызывало с непривычки острые психические и даже физиологические реакции. (Внутреннему взору являлся образ бородатого Миклухо-Маклая в окружении папуасов-иностранцев, и вся его жизнь представала в виде бесконечного усилия над собой, чуть ли не подвига.) Привкус некоего киношного героизма был в том, что я присутствую на чужой территории, ем сыр из «Березки», отказываюсь от иностранных сигарет и поддерживаю беседу о Сталине и Троцком. Рассказывая о репрессированных родственниках, я волнуюсь и понижаю голос, убежденная, что нас обязательно подслушивают — все это щекотало нервы и придавало всей атмосфере детективно-шпионский налет. Впрочем, это касалось только меня: Пьеру подобные мысли и ощущения (если бы он о них догадывался) показались бы параноидальным бредом и свидетельством умственной отсталости его гостьи.

Что до Алеши, то он давно освоил территорию иностранных домов в Москве, а теперь и вовсе был на правах визитера. (Павка Корчагин, не меньше, трансформировавшийся в Штирлица!) В какой-то момент к Пьеру заглянула еще одна заморская особь, говорящая на французском языке. Это был его сосед — он шел прогуливаться с собачкой. (Четвероногого друга звали необычно — Волик: уменьшительное от русского «воля» и французского voler — летать.) Соседа Пьер представил нам как врача посольства и пригласил его заглянуть на бокал вина после прогулки. Через полчаса тот вернулся вместе с молодой женщиной — его сестрой, приехавшей навестить брата из Парижа. Новый гость выглядел намного моложе Пьера, был выше его на полторы головы и совершенно обворожительно белокур. Он резко шутил, нервно курил сигарету за сигаретой, держа ее в левой руке, и что-то постоянно комментировал сестре по-французски, бросая то и дело в мою сторону хитрые взгляды. (Парочка выглядела весьма колоритно: брат и сестра были как две капли воды похожи друг на друга — синевой глаз, гордой посадкой головы, римскими профилями и русыми шевелюрами. Может, тогда у меня и зародилась любовь к сиамским котам — дикие, гордые и синеглазые… Одного я назвала-таки Парисом.) Не в силах понять что-либо из их картавой речи — изучение этого

языка в училище ограничилось для меня декламацией стихотворения Артюра Рембо на экзамене — я хранила гордое молчание, преисполненная собственного скифского достоинства (вся энергия в скулах, рот интригующе сомкнут, долгие взгляды в одном направлении — гипноз, одним словом). В том, что по моему поводу блондин отпустил не одну скабрезную шутку, не было ни малейшего сомнения. Из всего визита к Пьеру больше всего мне запомнился его сосед, а также мои напряженные проходы с прямой спиной из гостиной в туалет — я прилагала максимум усилий, чтобы не скомпрометировать свою державу неуклюжестью. Провожая меня домой в тот вечер, Алеша выразил надежду, что посещение французского «гетто» пройдет для меня безболезненно, и даже посоветовал не забывать Пьера, позванивать ему, особенно если в холодильнике пусто. Но вскоре Алешка снова уехал в Гамбург, и сердце мое начало тосковать по нему как по брату — уж больно радостное и доверительное чувство он вызывал. Правда, вместо себя он оставлял мне своих друзей, их гостеприимные дома, полные его шуток и фотографий, — и это был целый мир. Я же продолжила трудиться на актерском поприще, отрабатывая что-то за себя и за Алешку (диплом он взял и был таков), а также за тех, кто хотел, но не смог оказаться на моем месте.

Тем летом режиссер Марк Захаров проводил пробы к фильму «Тот самый Мюнхгаузен». Моя кандидатура появилась в списке претенденток в последний момент, а в результате меня-то и утвердили. В один из дней, когда я в костюме и гриме делала фотопробы на студии, пришло известие о гибели Ларисы Шепитько. Вместе с ней в автокатастрофе погибло несколько ее коллег, которые отправились тем ранним утром на выбор натуры. В день похорон лил проливной дождь, во дворе студии стояло шесть гробов… Я вспоминала нашу с ней встречу в Берлине, и каждая деталь была теперь исполнена особого смысла. Фотограф щелкал вспышкой, а на лице моем, под париком, нахлобученным на голову, застыл вопрос: зачем? На фотографии так и осталось. Ночью мне приснился сон, в котором она просила меня дать ей апельсин и жаловалась на боль в голове. Позднее я узнаю подробности ее смерти, и меня не покинет ощущение, что это было видение, а не сон — общение двух душ, вне тел, «по душам»… Царствие ей Небесное…

Возможно, мое лицо на фотографии, сделанной в день трагической гибели Ларисы, имело нужное для образа выражение, а может, сработало что-то более прозаическое, но меня утвердили на роль Марты. Марк Анатольевич, правда, очень хотел, чтобы героиню сыграла новая звезда «Ленкома» Таня

Догилева. Но у начальства студии возникли какие-то свои соображения на этот счет, и они заупрямились. (Так по крайней мере пересказали эту историю мне.) Да и вообще Марку Анатольевичу не хотелось связываться с «чужой» актрисой, созданной другим режиссером. В моем случае — Кончаловским. Но время подпирало, заставляя идти на компромисс. Оператор картины Владимир Нахабцев, знавший меня с детства по родительскому дому, в который он захаживал, пообещал Марку Анатольевичу, что сделает из меня на экране красавицу, и тот успокоился. Не последнюю роль в моем утверждении сыграл и автор сценария — «тот самый Гриша Горин», который в Коктебеле говорил, что из меня можно лепить все. Я вспомнила, как года за два до съемок, разговаривая с Гришей по телефону, я узнала, что он пишет сценарий по своей пьесе. На мой вопрос о сюжете он ответил: «О Мюнхгаузене и о женщине, чем-то похожей на тебя!» Позднее, уже на съемках фильма и на многочисленных просмотрах меня будет преследовать мысль, что автор подразумевал под Бароном Мюнхгаузеном Кончаловского, а под Баронессой — его жену Вивиан. В сентябре всей киногруппе «Мюнхгаузена» предстояла экспедиция в Германию, но до этого в Москве меня поджидала еще одна встреча, каким-то образом повлиявшая не только на создание образа Марты, но и моего собственного, человеческого…

Глава 37. Николай Львович

Летом 1979-го в Доме кино состоялась премьера «Сибириады». Она ознаменовала окончание целого периода в жизни близких Кончаловскому людей, не говоря уже о нем самом. В свое время, после работы над «Романсом», он сказал мне, что прежде чем уехать на Запад, он хочет сделать фильм о России и для России. Этот фильм под названием «Сибириада» был теперь снят и показан. О его скором отъезде знали немногие друзья и коллеги, собравшиеся в тот вечер в Доме кино. По сути дела, для них это были проводы. После просмотра был банкет. Андрон пришел на него с актрисой Леной Цыплаковой. Из всех женщин, с которыми он был после нашего разрыва, Лена единственная, кто вызывал во мне настоящий интерес и ревность. Она была очень красива, вела себя независимо и сильно — вполне очевидно, что Андрон и вправду влюбился. Их часто видели в Доме кино — уединившись за столиком, они разговаривали, восторженно глядя друг другу в глаза. В один из таких вечеров Лена шокировала всех, когда, неожиданно сняв с головы шерстяную спортивную шапочку, оголила совершенно лысый череп. Для какой-то

картины, на спор, она сбрила свои шикарные волосы. Поступок, эпатирующий обывателей и слабонервных. Впрочем, вся ее дальнейшая жизнь и творческая деятельность в качестве режиссера, создавшего очень «мужские» картины, только подтверждали первое впечатление — незаурядный характер! Одним словом, ее появление в тот вечер не было для меня неожиданностью, скорее наоборот. В какой-то момент бесконечного и многолюдного банкета я оказалась сидящей за одним столом с Наташей Андрейченко и с той же Леной Цыплаковой (Цыпой — как ее звали друзья). Мы мило беседовали под перекрестными взглядами любопытных. Кто-то из группы не выдержал и выразил недоумение, воздев руки к небу: что, мол, происходит — все любовницы вместе? Я отшутилась: «Вот такие мы альтруисты!»

Никто не придал значения моему натужному остроумию, кроме, пожалуй, одного человека. Напротив меня за столом сидел известный художник, старинный знакомый Андрона, работавший с ним на «Дворянском гнезде» и теперь вот на «Сибириаде» — Николай Двигубский. Он заметил, как ловко я маневрирую между веселостью и печалью, и даже то, как аккуратно выговариваю остроты, боясь, что с передних зубов соскочит надетая на них пластинка, скрывающая отколотый край. Николая Львовича я встречала и раньше — он не раз приходил к Андрону в дом на улицу Воровского и на Николину Гору. Появившись как-то осенью, он радостно сообщил, что у него родилась дочка, которую назвали Катей. «У него» — это значит у его жены, Наташи Аринбасаровой, бывшей жены Кончаловского. Николай Львович всегда о чем-то спорил с Андроном, говорил о высоких материях, отличался подчеркнутой вежливостью и строгим вкусом. Я слегка побаивалась его, убежденная в том, что нашу связь с Андроном он считает недоразумением, ошибкой. Так что, по сути дела, я впервые разговаривала с ним в тот вечер. Совершенно неожиданно для меня он вдруг предложил прямо из Дома кино ехать смотреть его картины. Я согласилась, тем более что мастерская находилась неподалеку — возле метро «Маяковская». По дороге он в сердцах воскликнул: «Все кончено!» Это было об отъезде Кончаловского. Казалось, мы с ним единственные люди, так глубоко переживающие это событие. Оно нас и объединило.

Остановив машину в Воротниковском переулке, мы прошли к обветшалому строению и спустились в полуподвальное помещение. Переступив порог, я очутилась в другом мире, если не сказать — другом измерении. Атмосфера мастерской завораживала — потрескавшиеся стены, широкий деревянный стол, над ним плакат с изображением молодого Наполеона

работы Жака Луи Давида, рядом на стене — английский флаг, мольберт, картины, музыка Баха, запах сигары. Все располагало к молчаливому диалогу с вещественным миром — одной из ипостасей мира духовного. Никто, пожалуй, так высоко не ценит окружающую нас предметную реальность, как художники-живописцы. Оттого в их домах настроение создают не люди, а формы, материалы, фактуры, цвета — и все это гудит, вибрирует, общается, населяет пространство собой, как человеческая компания. Художник может часами беседовать с темной охрой, полемизировать с чистейшим кобальтом и воспринимать тень от склянки как приветствие невидимого мира… (Что же интересного ему могла сообщить я?)

На покрытых пожелтевшей штукатуркой стенах висели эскизы декораций: «Дворянское гнездо», «Зеркало», «Сибириада» — живописный хаос интерьеров, меланхолия полупустых комнат, темных прихожих, запыленных стекол с паутиной, треснувших поверхностей… Натюрморты — блестящий елочный шар, покоящийся в складках незамысловатой ткани… винные пробки, словно картечь, разбросанные возле тяжелой, похожей на Царь-пушку черной бутылки… желтые лимоны, каждый со своим особенным лицом, подвешенные на бечевке вдоль ночного окна… Созерцание этой дисгармонии — сочетание хрупкого материала с грубым, бытовых предметов — с декоративными, роскошного — с примитивным, сочетание случайного и закономерного — вызывало сильный эмоциональный отклик и печаль. В каждой работе — свидание конечного с вечным, жизнь на исходе цивилизации, чувств, истории… Это мир натюрморта, или «мертвой натуры», которая некогда была жива… Мир художника Двигубского…

Мы сидели в его мастерской и слушали «Хорошо темперированный клавир» Баха. Лицо Николая Львовича выплывало из клубов синеватого дыма, струящегося от сигары, глаза смотрели куда-то внутрь себя, при этом ни на секунду не теряя из виду гостьи. Говорил он с легким акцентом, как будто даже нараспев — его интонирование было не совсем правильным. Я вспомнила слова Андрона о загадочности и притягательности французско-русской смеси, о ностальгических чувствах и мыслях, которые вызывает французская речь у некоторых русских. А также о том, как в свое время во ВГИКе его заинтересовал этот русский парижанин, сын эмигрантов, вернувшийся в конце 50-х на свою историческую Родину. Он во многом был взрослее, образованнее и, безусловно, утонченнее своего окружения. Мне бросилось в глаза его неуловимое сходство с Кончаловским, и я поняла всех женщин, любивших обоих мужчин. Вопрос в том, кто на кого

хотел походить. Но ответ напрашивался сам собой. «Боже мой, да ведь андроновское западничество и эстетство заимствовано у Коли!» Моя страсть к расследованиям получила наконец благодатную пищу. Все то, что в Коле обусловлено его рождением и воспитанием, его изначальной культурной раздвоенностью, в Андроне — продукт талантливого подражания: он, как актер, копирует то, что работает на образ. Увлеченность чужим гением подвигает к подражанию, имитации, работе над собой — а не это ли одна из составляющих творчества? Талант компилятора — условие режиссерского таланта, или нет… только актерского?

«Зачем вы носите эту пластинку на зубах? Вы с ней походите на зайца», — обратился вдруг ко мне Николай Львович, попав не в бровь, а в глаз. «Это для фильма, — попыталась оправдаться я, — мне предстоит играть женщину, которую любит Мюнхгаузен, и надо быть красивой, а у меня отбит кончик переднего зуба». Мое объяснение не возымело действия, и он снова сказал: «А ну снимите, так невозможно разговаривать, не стесняйтесь». Преодолевая неловкость, я сняла нехитрое пластмассовое изобретение. Николай Львович просиял, как будто увидел не расщелину между зубами, а пробивающийся к свету подснежник: «Ну это же совсем другое дело, очень симпатично и естественно». После чего предложил мне затянуться сигарой, но прежде продемонстрировал, как это делают настоящие знатоки: срезал кончик ножом и обмакнул его в виски. Затянувшись, я тут же выдохнула — теперь моя голова парила над синеватым дымком, так же, как и его. «Сдержанность и чувственность — вот чем мы с вами похожи», — произнес вдруг Николай Львович в ответ на какие-то свои мысли. Теперь мы вместе попыхивали сигарами наподобие Шерлока Холмса и доктора Ватсона… Некая детективная интрига витала в воздухе и требовала разгадки. Я задумалась: «Что это — объявление войны, дружбы или…» От Андрона я знала, что обоих мужчин связывало несколько женских имен — Жанна Болотова, Ира Купченко, Наташа… Я вспомнила слова Насти Вертинской о том, что после Кончаловского трудно найти мужчину, и облегченно вздохнула при мысли: она ошиблась, есть Николай Львович. Впрочем, я была далеко не первая, кому эта мысль приходила в голову — всем женщинам, оказавшимся в моей шкуре. Недаром Николай Львович был в тот момент благополучно женат. Подобное лечится подобным — это принцип гомеопатии… а великое — равновеликим. Еще я вспомнила чье-то ироничное замечание: «Лен, тобой он еще не интересовался, подожди, вот когда все закончится с Андроном…» Уж больно не хотелось, чтоб ларчик так запросто открывался: а где же индивидуальные особенности только моей судьбы? Я

взглянула на Николая Львовича — нет, его трудно представить в роли человека, который позволит плакаться себе в жилетку, его интересует светотень, и все! А я со своей стороны не умею совершать ходы, навязанные мне кем-то другим.

Андрон, любивший иногда устраивать дела своих бывших сожительниц и друзей, неоднократно шокировал меня попытками режиссировать мою жизнь. То он предлагал «утешить» общего знакомого, переживающего семейную трагедию то уговаривал ответить взаимностью на ухаживания кругленького и лысеющего, впрочем очень милого человека, русского эмигранта… А однажды по-свойски спросил, не соглашусь ли я «образовать» его сына Егора, который в ту пору казался еще неоперившимся юнцом. Подобные схемы, предлагаемые человеку его «доброжелателем», исключают главное — собственное волеизъявление, надежду на то, что в будущем для тебя припасен какой-то сюрприз, а также самое главное — твою любовь. Я продолжала размышлять, потягивая холодное виски: «Вот любви-то от меня никак не ожидают, ни от меня, ни от Николая Львовича, ни вообще… А ведь было бы смешно всех этим удивить!» Конечно, каждой женщине хочется любить талантливого человека, быть Маргаритой для своего Мастера. Существуют даже такие женские характеры — специализирующиеся на гениях, приносящие себя в жертву их незаурядной миссии: трудно, лестно, но и удобно. Однако, увы, себя не обманешь — у меня уже случился свой Мастер, какой-никакой… А у Николая Львовича была своя Маргарита. Это исключало любые варианты взаимоотношений, кроме…

Пока мои мысли витали в этой чисто женской сметливости, я заметила, что меня тоже изучают. Теперь мы сидели друг напротив друга, как истец и ответчик. Николай Львович принялся ревностно отстаивать Андрона прежнего, тогда как я в его глазах представляла Андрона нынешнего. В моем лице он полемизировал с его отъездом на Запад, повторяя, что они с Наташей живут по-толстовски, патриархально, ориентируясь на непреходящие ценности — семья, дом, дети, родители — в противоположность нам — разрушителям, поддавшимся губительному прагматизму. Теперь, после того как я сама побывала в эмиграции, я особенно хорошо понимаю, какая мучительная работа происходила в душе Николая Львовича. Однажды совершив переезд с Запада на так называемый Восток — а для него это было равносильно эмиграции, — с трудом пройдя мучительную адаптацию и наконец найдя стабильность, он не мог допустить и мысли о том, что, возможно, сделал ошибку… Оттого он так яростно отстаивал свой выбор и почти трагически

воспринимал отъезд близкого ему человека, Андрона, туда, откуда сам он некогда приехал. Это означало для него разрушение его собственного фундамента.

«Вы понимаете, что Андрон вас на десять, на двадцать голов выше?» — продолжал испытывать меня этот умный и вежливый, очень красивый человек. «Есть люди, вокруг которых образовывается круг, а они в нем — центр. А есть те, кому необходимо самим пристать к центру… Кто вы?» — выспрашивал он из темноты своего кресла. «Я скорее всего центр, правда, у меня пока нет круга, но, может, он появится?..» — не задумываясь, ответила я, высказав забавную мысль. Николай Львович попыхивал сигарой, оценивая мои ответы, он пытался понять — кто я такая, насколько серьезно воспринимаю себя и свои отношения с Андроном, на кого его друг потратил столько времени, да и вообще — стою ли я его. А может, это было проявление гуманизма, сострадания к женщине, чье горе нужно облегчить, объяснив, что мучается зря… Мобилизовав все свое человеческое достоинство и проглотив уколы в адрес моего с Андроном неравенства, я дала понять, что буду защищать мужчину, которого любила, а также нашу с ним связь, даже если и придумала слишком много хорошего — о себе и о нем. Мой порыв возымел действие, и мы сменили тему. Разговор коснулся увлечений и интересов. Я сказала, что в детстве хотела стать балериной, но не поступила в училище, после чего моя страсть перешла на поэзию, а вообще я люблю живопись — может, ее одну и люблю. Николаю Львовичу такой подхалимаж показался слишком наивным, и он отпарировал: «Ну, если б вы действительно увлекались живописью, то были бы коллекционером. Хотя, конечно, это дорогое удовольствие, у вас просто не хватило бы денег…»

Вопросы и ответы Николая Львовича постоянно атаковали мое самолюбие, и порой меня охватывало чувство протеста и даже ненависти. Но он был единственным человеком, жизнь которого так сложно и болезненно переплелась с жизнью Кончаловского. Так же, как и я, любя и высоко ценя Андрона, он знал все издержки его характера, его слабость, его ошибки и принимал их слишком близко к сердцу, а потому имел право с ним полемизировать и резко его судить. Отказаться от общения с Николаем Львовичем было практически нереально — это все равно что отказать себе в необходимости и удовольствии смотреться в зеркало. Так, в разговорах, мы просидели до рассвета, и он взялся проводить меня домой. Поймав машину, мы доехали до Малой Грузинской. Перед тем как распрощаться, он стал вдруг торопливо объяснять, что очень занят, ведь у него

очень много дел, семейных и профессиональных… и что я должна понять его правильно — он очень любит свою жену, свой дом. Я улыбнулась в ответ, отвернулась и пошла к подъезду. Ранние солнечные лучи играли в лужах и стеклах окон. Одним из них было окно Андрея Сергеевича — он, наверное, крепко спал, когда его друг послал мне прощальный взмах рукой и, не спуская глаз с моей удаляющейся фигуры, сделал знак водителю и скрылся.

Спустя несколько дней в моей квартире раздался звонок: «Здравствуйте, это Николай Львович… Скажите, что вы сейчас видите перед собой? Опишите, я хочу представить эту картинку». Мы вновь разговорились. «Знаете, если бы вы тогда обернулись, прежде чем зайти в подъезд, я бы теперь не позвонил, а так… Мне понравился ваш характер, мало кто из женщин не оглянется, когда ей смотрят вслед…» С этого момента он станет звонить мне, и мы будем вести длинные разговоры, и по телефону, и в его мастерской. Он обращался ко мне на «вы», был обходителен и вежлив, высказывал много красивых и благородных истин. Ну, например, о том, что жить с человеком намного тебя старше или моложе — дисгармонично. А также, что если мужчина любит женщину, то хочет иметь от нее ребенка, и многое другое. Впрочем, пояснял он, об этом ведь все написано у классиков. Узнав, что я незнакома со знаменитым романом в письмах Шодерло де Лакло «Опасные связи», он вручил мне увесистый том и отправил читать: нужно знать, к чему приводит игра самолюбий. Он постоянно образовывал меня, объясняя то исторический факт, то политическое событие, то что-нибудь из истории искусств. Говорил о том, как полезно перечитывать Толстого и Стендаля, что восприятие одного и того же текста меняется с возрастом. Казалось, он пытался дать мне все то, что не успел или не сумел дать Андрон, родители, школа…

Наверное, ему (как и мне) нужно было подполье, этот подвал, убежище. Там было легче исповедоваться в том, что он не хотел или не мог нести домой. Его стала преследовать и терзать неотвратимость перемен, разлома, который намечался в стройной до тех пор системе его московской жизни. Однажды он попросил меня позировать для его будущей картины, я обрадовалась — хотела, чтобы меня запечатлела кисть. Но только он приступил, как тут же отказался и закрасил полотно. Потом признался, что вообще уничтожил за последнее время много полотен. Мы часто сидели с ним до рассвета, слушая Баха, Моцарта, Равеля, он рассказывал мне о Брюллове, о Пьеро Дела Франческа, о том, что такое настоящая живопись. Он сердито одергивал меня, когда я начинала клевать носом, призывая к бодрствованию духа и аскетизму тела. С первыми петухами он провожал меня домой, и

мы часто гуляли по пустынной рассветной Москве. «Елена Алексеевна, не спать! Ай-ай-ай, лентяйка!» — приговаривал он по дороге. А потом, вернувшись в мастерскую и прикорнув на парутройку часов, звонил снова: «Что ж вы так любите спать, это же вредно, Наполеону хватало трех часов, чтобы восстановить силы!»

Как-то, посмотрев по телевизору фильм-спектакль «Цезарь и Клеопатра», где я исполняла Клеопатру, он принялся меня критиковать, объясняя, что нельзя быть на экране злой. Яростной, непримиримой — да, но только не злой. А еще привлекательной надо быть, мы же на вас смотрим, женщина должна нравиться… Меня очень расстроила эта критика — ролью я тайно гордилась, мне казалось, что я исключительно темпераментно играю, но я взяла его слова на заметку: он ведь не может ошибаться. Все-таки Николаю Львовичу удалось смягчить мой женский и актерский образ своими советами и своим отношением ко мне. Он возродил во мне чувство красоты, внутреннего покоя и благородства. «Рубиновая моя, а вы — что вы от меня хотите?» — спросил он меня однажды, глядя на маленькую сережку, украшавшую мое ухо. «Эх, Лена, пожелай все, чего у тебя нет… — промелькнуло в моей голове как сон, а губы уже произносили слова, единственно возможные: Я хочу, чтобы вы писали… оставались художником, и больше ничего». Я знала с самого начала, что имею право только на дружескую или платоническую любовь к этому человеку. И это, возможно, продлило ее и позволило преодолеть границы, когда он в конце концов уехал из России, вернулся во Францию. Для преданности и дружбы впереди оставалась целая жизнь. После его отъезда в 1981 году в своем почтовом ящике я обнаружила конверт без адреса, с пачкой черно-белых фотографий внутри. Это были небольшие по формату снимки работ Николая Львовича. Так и не знаю, кто оказался этим анонимным почтальоном, позаботившимся обо мне, горе-коллекционере… Ну не материализовались же они из воздуха? Или — что пожелаешь, то и получишь?

Любопытно в этой связи, что я «получила», когда уехал Андрон… А «получила» я дырку в оконном стекле. Пришел ко мне бледный как смерть Саша Панкратов и сказал: «Щас бы что-нибудь ебнуть!» Я сидела не шелохнувшись в кресле на кухне. Он снова повторил: «Щас бы…» Мне надоело, и я ему сказала: «Ну, ебни!» Он размахнулся и бросил в закрытое окно полную бутылку водки. Посыпались стекла. Увидев мое выражение лица, он развел руками: «Ты же сама сказала — можно». Так по-разному люди переживали отъезд близких на Запад. Жаль, что Панкратову вовремя не дали послушать Моцарта — может, обошлось бы без разбитых стекол?

Тем летом я провела много бессонных ночей, глядя, как встает рассвет над Москвой, слушая гул мостовой, остывающей под струями поливальных машин. Я приобщилась к «Хорошо темперированному клавиру», к рыдающему голосу Аллы Пугачевой, к разговорам в ореоле дымящейся папиросы, к новым речам… будто кто-то перетасовал колоду и рассыпал карты. Неизвестная свобода — все равно что аттракцион для храбрых… лабиринт без путеводных знаков.

Глава 38. Маневры. Мюнхгаузен

Съемки начались в павильонах «Мосфильма». Внутренне я была вполне готова к роли Марты, возлюбленной чудаковатого гения. Образ единомышленницы мечтателя-безумца, его Музы, гражданской жены и к тому же женщины, разбивающей семейные устои, «разлучницы» — одним словом, все связанное с коллизиями любовного треугольника, с точки зрения подоспевшего в последний момент третьего, было мне понятно и знакомо. Трудность заключалась в том, что мне предстояло превратиться в героиню другой эпохи, сыграть костюмную роль. А это означало — трансформироваться полностью, стереть реальные черты своего времени. Контраст между моим личным стилем в те дни и тем, в кого я должна была воплотиться перед камерой, был огромен до комичности. В жизни я была далека от традиционного женского образа — раскрепощалась, диссидентствовала, хипповала, проводила ночи напролет в разговорах о советской таможне, о преследуемых художниках, об эмиграции, о расстроившихся из-за отъезда романах и тому подобном, а в гримерке полупустого летнего «Мосфильма» втискивалась в строгую форму лирической героини. Мой остриженный на голове ежик — плод импульсивного обновления — скрывался под многоярусным париком из локонов, джинсы сменялись нижними и верхними юбками, талию с трудом обнаруживали и затягивали в корсет, веки украшали приклеенными ресницами, а вместо одной серьги подвешивали привычные две. Напомадив мне лицо и нарисовав губы бантиком, меня ставили в кадр. Такой, по представлению большинства, должна была быть та, ради кого художник рвет узы брака, обрекая себя на осуждение добропорядочной публики. То, во что я облачалась — вся эта красота, — заключало в себя, словно в капсулу, мои ночные бдения, опыт вольной жизни вне театра, вне Хозяина, вне Авторитета.

Я давно заметила, что, глядя свои фильмы, вижу не то, что заснято на пленке, а то, что в тот момент происходило за

кадром… В этой сцене я снималась после ссоры с близким человеком, здесь — чуть не упала в обморок от перетянутого корсета, здесь — забыла текст и удачно импровизировала, а на этой съемке мой великий партнер плакал из-за несчастья с сыном. Потому, наверное, я не спешу пересматривать свои картины. В работе «Тот самый Мюнхгаузен» для меня заключена некая алхимия: куртуазность, размеренность восемнадцатого века (пусть даже и фарсовая в картине), репризность текстов, отточенность языка, выверенность эмоций, как и методичность самого процесса съемок, с одной стороны, и полный сумбур моей жизни за пределами студии — с другой. Теперь на пленке эти два мира сплетены воедино, и кто знает: может, в этом и был залог успеха моей роли?

Между режиссером Марком Анатольевичем Захаровым и мной очень быстро установился рабочий контакт. Первый же отснятый материал разбил лед неизвестности. Режиссеру все понравилось, и я почувствовала себя на площадке уверенно и естественно, как рыба в воде. Окончательно убедиться в расположении Марка Захарова я смогла, когда он вдруг обратился ко мне как к своей «любимой актрисе» — услышать это от столь выдержанного во взаимоотношениях с актерами режиссера — большая редкость. Чуть позднее, незадолго до окончания съемок, он даже предложит мне вступить в труппу своего театра, сказав: «Что ж, даже Анатолий Васильевич не смог вас удержать, но без сцены трудно актеру… Милости просим в наш театр!» И хотя в «Ленкоме» приступали к репетициям «Юноны и Авось», я так и не воспользуюсь столь лестным предложением, только поблагодарю и буду польщена джентльменским вниманием. Благодаря фильму я стану своей среди ленкомовцев и всегда буду знать, что на них можно положиться. Этот «мужской» в каком-то смысле театр окружит меня теплом, юмором, галантностью и бесконечными розыгрышами.

Не забуду одну из первых съемок, во время которой я никак не могла остановиться от смеха и почти довела режиссера до повышенных нот в голосе. Снималась сцена с пастором, когда Мюнхгаузен просит, чтоб его обвенчали с Мартой. Я вбегала в кадр со стороны камеры и вставала между Олегом Янковским (Мюнхгаузеном) и Володей Долинским (пастором). Конечно, Володя и Олег не смогли отказать себе в удовольствии «расколоть» меня, на что особых усилий не требовалось — мне достаточно показать палец в неподходящий момент… Все бы ничего — смейся сколько влезет, я ведь стояла спиной к камере, но дело в том, что на моей голове были приколоты беленькие

цветочки и при содрогании от смеха они тряслись по-черному. К счастью, тогда все обошлось без разрыва отношений с режиссером — я собрала волю в кулак и приказала цветочкам не дрожать, хотя из глаз и текли слезы от смеха, но кроме пастора и Карла их никто не видел.

Натуру снимали в Германии, куда группа выехала на целый месяц. У меня в экспедиции, помимо творческой, была еще и личная цель. Мне надо было созвониться с Алешкой Менглетом, который находился в нескольких часах езды от нашего места съемок. Обнаружив, что мы будем недалеко от одной и той же границы — он с западной стороны, я с восточной, — мы решили непременно воспользоваться моментом и поговорить по телефону. Ежедневно я вынашивала идею найти почту-телеграф и тайком отправиться на связь, при этом теряясь в догадках, как мне все это удастся без знания языка, да еще и незаметно для группы. Мне определенно нужна была чья-то помощь, но кому я могла довериться? Юрий Васильевич Катин-Ярцев, игравший в картине слугу Томаса, видно, недаром считался незаурядным педагогом в Щукинском училище: интуиция ему подсказала, что я нуждаюсь в помощи. Как-то он подошел ко мне с предложением: «Если надо чем-нибудь помочь, всегда к вашим услугам!» Я обрадовалась и выпалила, что мне нужно найти почту-телеграф, сославшись на письмо, которое требуется отправить. В целях конспирации я не сказала сразу, что хочу звонить в Западную Германию. Юрий Васильевич тут же отправился со мной на поиски почты, а когда мы оказались на месте, послушно уселся ждать, не промолвив при этом ни слова. Проделав отвлекающий маневр с несуществующим письмом, я сказала Юрию Васильевичу, что попробую звякнуть приятелю, что живет неподалеку, в Гамбурге. Педагог «Щуки» даже бровью не повел — хранил достойное молчание, будто так и надо — звонить с границы врагам-фашистам. Я заказала разговор, а спустя минут двадцать женский голос произнес какую-то скороговорку по-немецки, что означало: меня вызывали в кабинку. Я приложила к уху увесистую черную трубку, все еще не веря в удачу своего предприятия, но тут внутри телефона что-то хрустнуло, и я услышала родной Алешкин голос. Он начал кричать, что приедет в гости, и я продиктовала ему адрес, с грехом пополам разбирая немецкие слова. Впрочем, его намерения я не восприняла всерьез. Услышав напоследок присказку насчет маневров, которые и есть самое главное, я повесила трубку. И, ужасно довольная собой, подхватив под руку Юрия Васильевича, отправилась в обратный путь. Главное, что слово я сдержала — Алешка все говорил: «Слабо позвонить в Гамбург?» Юрий Васильевич, как истинный

друг-портянка, бодро шагал рядом — то, что о звонке он никому ничего не скажет, вытекало из всей его педагогической биографии.

Всем известно, что экспедиция — вещь особая: люди отрываются от дома на месяц, на два, а то и больше. Иной киногруппе можно позавидовать — она живет в комфорте заграничных отелей, окружена сногсшибательными видами, снимает редчайшую экзотику. Но зачастую завидовать нечему: съемки проходят в захолустных уголках нашей необъятной территории, где в отелях по стенам бегают тараканы, в местных домах отдыха в семь утра включается радио для всех, а в помещениях интернатов скрипят проржавевшие железные кровати — условия скорее походные или просто невыносимые. Но каким бы ни был случайный быт, главное в экспедициях — общение. На период поездки возникает временная жизнь со своим укладом, привычками, которые обусловлены ежедневными съемками и в то же время призваны возместить тепло родного дома. Эта «жизнь» может ознаменоваться событиями романтическими — свидания, адюльтеры, откровения на рассвете, а может и драматически-криминальными — конфликты, болезни, милиция, разводы… Даже анекдот есть про чукчу и экспедицию «Мосфильма».

Так вот, несмотря на отсутствие наиболее разрушительных аспектов экспедиции — пьянство, потасовки, разврат и прочее, черты экзальтированности свойственные всем киношникам вдали от дома, наша группа все-таки носила. Достаточно сказать, что такие бравые мужики, как Саша Абдулов, Олег Янковский, Леня Ярмольник, Семен Фарада, Володя Долинский и Игорь Кваша (я уже не говорю о Леониде Броневом, Грише Горине, Владимире Нахабцеве и самом Марке Анатольевиче), были на целый месяц собраны в кучку в Восточной Германии, в малюсенькой гостинице на горе, покрытой лесом! Между тем как женский пол в картине был представлен Инной Чуриковой и мной. Да и то Инна приезжала на несколько дней и снова возвращалась в Москву, а я сидела безвылазно на горе. Фактически я была единственной женщиной, постоянно мозолившей глаза нашим славным мужчинам-актерам. Когда шутки с пивом и эксперименты с немецким языком исчерпали себя, наступила пора маеты романтическо-сексуального свойства. Олег Янковский подзуживал меня намеками: «Смогу ли я когда-нибудь гордиться, что имел честь… притронуться… испытать… э-э-э… прочувствовать?..» — и так далее. Пару раз я была схвачена возбужденными юношами в коридоре гостиницы, доставлена на руках в номер к главному герою и брошена там на кровать как

пленница, но кроме хохота и щекотки, ничего не случилось. Олег продолжал намекать: «И все-таки, смогу ли я когда-нибудь гордиться…» — но оставался без ответа до следующего раза.

Как всегда, подстрекателем и вдохновителем всех розыгрышей был Саша Абдулов — человек гигантской, неистощимой энергии и отваги. Он фонтанировал идеями, повсюду мелькала его тень, звучал его голос, что-то замышляющий, чему-то радующийся. Я тем временем вела себя в лучшем случае как женщина-загадка, а в худшем — как тоскливая зануда. Когда напряжение мужского либидо достигло апогея, произошло следующее. После очередной съемки ко мне в номер постучали. В дверях стоял Абдулов, он объяснялся скороговоркой, тараща на меня глаза и поднимая брови: «Сейчас они придут, хотят тебя разыграть, чтоб было весело всем, — прошу тебя, обнажись по пояс!» — «Как?» — переспросила я, решив, что ослышалась. «По пояс, когда постучат!» И он вылетел пулей, скрывшись в темноте коридора. Не успела я принять какое-либо решение, как вновь раздался стук в дверь. «Кто там?» — резко спросила я. «Лен, это мы, открой на секундочку, очень надо», — отвечал чей-то жалобный голос. На свой страх и риск я сдернула кофту и открыла. Янковский, Абдулов, Долинский, Фарада и, если не ошибаюсь, Кваша стояли перед дверью на коленях. В руках — примерно на уровне ширинки — каждый из них держал батон сервелата, который задорно был поднят вверх своим тугим и круглым концом. «Что?» — спросила я деловым тоном, уперев руки в боки и стараясь придать бюсту как можно более независимое настроение. «Лена…» — начал было самый решительный, но вид двух маленьких грудей, беззащитно торчащих в воздухе, сразил говорившего, и он свалился в приступе истерического хохота, за ним — остальные. Хохот сменился ржаньем и всхлипыванием — кто-то свалился на месте, остальные отползали в глубь коридора. Можно сказать с уверенностью, что это был режиссерский дебют Абдулова, он и смеялся громче всех.

Однако скоро наступила развязка сентиментальной интриги. Дело было вечером, группа только что вернулась со съемки. Не успела я выпрыгнуть из автобуса на тротуар возле гостиницы, как перед моими глазами выросла бледнолицая и бритая голова Алеши Менглета. Знакомая до боли физиономия в веснушках произнесла: «Ленка, я приехал!» — почти как Деточкин в финале «Берегись автомобиля», сказавший незабываемое: «Люба, я вернулся!» Я издала победоносный вопль, оповестивший всех мужчин сразу о том, что приехал «тот самый», и бросилась обнимать своего друга. Спустя некоторое время, успокоившись, я

обратила внимание, что вокруг нас с Алешей стоят ошарашенные люди, которым не до смеха. Мой восторг никто не разделял: наша переводчица, директор киногруппы, хозяин отеля да и сам Марк Анатольевич выглядели так, словно они чем-то подавились. Наконец все вышли из оцепенения, началась суета по устройству Алеши и проверке его документов. Стало ясно, что его визит переполошил всех, кто должен был отчитаться перед начальством в Москве, ведь у Алеши была машина с западногерманскими номерами. Я бегала за Марком Анатольевичем, заискивающе смотрела ему в глаза и канючила: «Он ведь наш, свой, это ж Менглет — сын известных актеров!» Марк Анатольевич все понимал, но дело было не в нем. Нарушение паспортного режима заботило хозяина отеля и наших стукачей.

Рано или поздно справедливость восторжествовала: моему другу позволили провести пару ночей в отеле. Отведенная Алешке комната с розовыми обоями в цветочек и огромной кроватью стала ему временным прибежищем. Этакий бутафорский рай породил соответствующие мечты и фантазии. Вперив взгляд в галюциногенные розовые цветочки на обоях, мы с Алешкой мечтали о будущем. Как мы могли бы ездить по земному шару на маленьком «Рено», жить то там, то здесь — везде и нигде, счастливые и свободные… Азарт бродяжничества воспалил наши умы, как и песни любимого Алешкой Леонарда Коэна, пластинку которого он мне подарил. «Давай сбежим! — мечтательно предложил мне Алешка. — Посадим тебя в машину и махнем через границу, слабо?» Я задумалась: «А кино как же? Надо досняться». Теперь задумался он: «Да, нехорошо ребят подводить… А то б махнули в Голливуд, вставили бы зубы с бриллиантовой крошкой… но картину бросать нельзя…» Вот что значит дети кинематографистов — цеховая солидарность взяла верх над личными интересами.

На следующее утро на съемке я была задумчива и очень бледна. Все смотрели на меня с любопытством и нескрываемым чувством уважения, вроде как на местную Лиз Тейлор: она и в кадре первая, и ночью у нее сложная жизнь! Я подыгрывала этому образу, ведь для меня теперь маневры были главнее войны. Даже чуть в обморок не упала, как выяснилось, из-за перетянутого корсета, но в глазах окружающих, тоскующих по чрезвычайным событиям, — из-за безумной ночи любви, которой на самом деле не было. Все, очевидно, приготовились к тому, что вот-вот начнутся главные события, однако, к всеобщей досаде, ничего «этакого» не произошло: меня не украли, отель не подорвали, из леса не вылезли автоматчики с криками «Хайль!». Маленький «Рено» прокатил Олега Янковского и Володю Долинского до

площадки и обратно (мы снимали в часе езды от отеля), они слушали Алешкины шутки, рассказывали свои. И наступил час, закатный, как всегда, когда Алеха собрался в обратный путь. Мы расцеловались, и он уехал, пообещав позвонить в день моего рождения, в октябре. Помню, как, проводив его, я зашла в холл на первом этаже гостиницы. Там работал телевизор, показывали «Крестного отца» Копполы, я села и уставилась в экран. Почувствовав чей-то пристальный взгляд, я обернулась — Марк Анатольевич внимательно меня разглядывал. Режиссеров и психологов хлебом не корми — дай понаблюдать за игрой человеческих страстей! Марк Анатольевич досматривал финальную сцену разыгравшегося перед его глазами сюжета… Думаю, ему этот сюжет понравился — в нем была и авантюра, и эмоциональный накал. Оценив его присутствие (актеров и женщин хлебом не корми — дай им зрителя!), я снова перевела взгляд на Марлона Брандо на экране. А там, в полутьме, едва освещенный солнечными бликами, проникающими сквозь щели опущенных жалюзи, старый, но не сломленный Аль Капоне наставлял актеров и режиссеров своим надтреснутым голосом: «Запомни, чтобы защитить честь семьи и выдержать жизнь одинокого волка, прежде всего надо…» и так далее. Его голос чем-то очень походил на голос поэта-барда Леонарда Коэна: «Сначала мы возьмем Манхеттен, ну а потом возьмем Берлин…» — пел этот гениальный осипший хиппи. «Ну а потом возьмем Берлин», — бормотала я себе под нос, отправляясь той ночью спать, затем утром в гримерной, затем глядя, как ставят на площадке свет, и так далее, вплоть до выхода на сцену Дома кино в день долгожданной премьеры. Друзья всегда оставляют на прощание какую-нибудь песню!

Глава 39. Доктор Айболит

Осенью 1979-гоу меня начался головокружительный роман с врачом французского посольства, тем самым, которого я встретила однажды в «гетто» для иностранных журналистов на Садовой-Самотечной. Вернувшись из Германии, я устроила вечеринку у себя. Поводом был мой день рождения, но на самом деле Ксеня и компания (все друзья Менглета), соскучившись за лето по общению, попросили меня пригласить всех к себе. Откровенно говоря, я даже не поняла, почему вдруг ко мне обратились с таким предложением — знакома я была с большинством из них шапочно, однако мне льстило, что я так быстро стала своей в этой художественной богеме. Моментальное доверие будоражит воображение и может стать причиной

внезапно вспыхнувшей любви, самоотверженной преданности, а то и страсти. Мне всегда нравился латинский афоризм: «Бис дат, кви цито дат» — «Вдвойне дает тот, кто дает быстро».

Моя пустая квартира гостеприимно вместила в себя жаждущих слиться в дружеском экстазе общения юношей и девушек. А я, окрыленная внезапно обрушившимся на меня «доверием», играла роль хлопочущей хозяйки: бегала из комнаты в кухню, что-то приносила, подливала, накладывала. Вела я себя наподобие мамаши, которая выдает свое дитя замуж: старается не помешать «молодым», но в то же время на подхвате в любую минуту. Я и не предполагала, что «выдаю замуж» самое себя и нахожусь в пяти минутах от своей новой любви, внезапной и стремительной. Кто-то из гостей поймал меня за руку и потащил в комнату танцевать под музыку из американского мюзикла «Лихорадка в субботу вечером», а точнее, под обработку бетховенской пятой симфонии. Знаменитое вступление: «Па-па-па-пам!» — способно мертвого поднять из гроба, не то что меня оторвать от мытья посуды. Признаться, я очень люблю танцевать и делаю это по-шамански, когда я в ударе. Так случилось и на этот раз, благо что музыка позволяла впасть в экстаз. Я начала крутиться на месте, усиливая вращение по мере ускорения ритма (а это движение и является одним из атрибутов шаманских ритуалов) — и, по всей вероятности, наколдовала что-то в воздухе.

С последним аккордом меня подхватили и проводили обратно на кухню, где я смогла перевести дух и остановить головокружение. Моя языческая радость произвела впечатление, у меня нашлись «сочувствующие» — красавец доктор тут же пригласил меня танцевать, чем озадачил влюбленную в него хорошенькую девушку. Долг гостеприимства обязывал согласиться, и я пошла снова. Как только музыка затихла, я собралась было отправиться на свое место на кухню, но партнер удержал мою руку и, дождавшись начала следующей мелодии, вновь повел меня в танце. Все принялись наблюдать за откровенным ухаживанием. А может, это был мгновенный страстный недуг, поразивший «доктора» на глазах всего честного народа? Игнорируя всеобщее внимание, он танцевал со мной, то обводя вокруг себя, то отстраняясь на расстояние вытянутой руки, и не отводил взгляда от моих глаз, словно проверял охватившее нас обоих новое чувство. Влюбленная девушка занервничала и вышла на кухню, затем в туалет, затем растворилась — по всей вероятности, ушла домой. Раздался междугородный телефонный звонок, я побежала ответить — звонил Алеша Менглет из Гамбурга. «Кто там у тебя?» — с завистью выспрашивал он. Я

начала перечислять всех поименно орущих за моей спиной друзей. «Все? Ах, даже доктор Айболит, понятно… будь осторожна, как бы тебя не подкараулил кто-нибудь из наших подруг с пистолетом за пазухой!» — со знанием дела заметил Алешка. «Кто из подруг? Кто караулит… ты о чем?» — переспрашивала я, пытаясь понять, на что он намекает. «Ну кто-нибудь. Кто-то ведь всегда караулит…» — устало заключил мой друг.

Доктора Айболита звали Убер (вариации: Юбер, Хьюберт, Умберто, Гумберт). Он был высоким блондином с синими, как я уже заметила раньше, глазами, чувственно очерченным ртом, красивым подбородком, да в придачу левшой, старше меня на два года. Он чем-то походил на Ива Монтана и в то же время напоминал моего отца. Позднее меня будут принимать за его сестру, обнаружив в нас необъяснимое сходство. Убер был красавцем и совсем не вписывался в расхожее представление о кучерявых, мелких французах — скорее принадлежал породе «белокурых бестий», всегда будораживших мое воображение. Как бы глупо это ни звучало, но, как правило, в меня влюблялись красивые мужчины — те, кого можно снимать в роли героя-любовника, весь спектр от Жюльена Сореля до агента 007. То, что я обращала на них внимание, не удивительно — странно, что они влюблялись. Возможно, это проявление моей заниженной самооценки, однако я считала, что эти мужчины не для меня: я такую неземную красоту просто не потяну! Тем неожиданнее было и на этот раз, что Убер влюбился, если не с первого, то со второго захода, зато сразу и бесповоротно. Философствуя на эту тему, понимаю сейчас, что любовь, то, как она случается и протекает в каждом отдельном случае, есть характеристика и факт переживания самого влюбленного человека, а не того, кому она предназначается. В нашем случае мы оба тяготели к драме, к сильным, глубоким чувствам, к страданию и состраданию. «Мне теперь важно все — как ты улыбаешься, смеешься, плачешь…» — выпалил он скороговоркой, схватив меня за шкирку, как щенка, и пригвоздив к месту взглядом в каком-то из углов своей квартиры. Эти слова, произнесенные им спустя несколько дней после нашей встречи у меня дома, звучали как ультиматум. Любовь приступала к широкомасштабным военным действиям.

К моему дому стала ежедневно подкатывать его машина с иностранными белыми номерами и увозить на Садовую-Самотечную. Вскоре я фактически поселилась в иностранном «гетто». По утрам у Убера был прием пациентов — он осматривал их в кабинете, который располагался тут же в его необъятной квартире. Я в это время не спеша просыпалась и принималась

пить кофе в компании женщины из УПДК. Каждое утро она приходила убирать апартаменты. Поначалу она робела при виде меня, впрочем как и я, но однажды рассыпалась в комплиментах мне как актрисе, и с этого момента мы с ней вместе обсуждали отечественные фильмы, достоинства французов и недостатки наших мужиков. Днем я обычно возвращалась к себе домой, на Грузинскую. А к вечеру уже была готова идти в гости на ужин, во французское посольство смотреть фильмы или принимать в квартире Убера его друзей и соседей. Каждую ночь, перед сном, мы пересекали Садовое кольцо, выходили на маленький бульвар с церковью на холме и не спеша выгуливали собаку со странным русско-французским именем Волик. Пес оказался простой московской дворнягой, которую Убер подобрал, чтобы разделить с ним одиночество своего заграничного пребывания. Волик скрашивал все возникающие между мной и Убером шероховатости, стоило лишь ему взвизгнуть, лизнуть ботинок или прижаться к ноге того, кому было в тот момент, по его мнению, хуже… Он никогда не ошибался.

Объяснялись мы с Убером по-английски. Каждый говорил на языке со своим тяжелым акцентом, что приводило к постоянному переспрашиванию и повторению одних и тех же слов, прежде чем до обоих наконец доходил смысл сказанного. По-французски я ничего не понимала, несмотря на изучение языка в «Щуке» у великолепной Ады Владимировны Брискиндовой, — возможно, незаурядность натуры самого педагога и отвлекла от изучения языка, нужно было не ее разглядывать, а слушать, что она объясняет. Одним словом, я переживала муки человека, не ведающего, о чем говорят в его присутствии. Это случалось, когда в гости приходили друзья, они же соседи Убера: Пьер с будущей женой Леной, одиночка Марк жених на выданье Николя и милая парочка супругов — Аннлиз и Андре. (Двоюродная бабка последнего, кстати, была исполнительницей главной роли в фильме Пудовкина «Мать» — знаменитый конструктивистский плакат с ее лицом висел на стене его квартиры.) Я снова очутилась в роли этакой Элизы Дулитл, осваивающей на лету незнакомую доныне культуру а в случае с французами — культуру как таковую.

Новшествам не было предела, начиная с салатов, которые поедались после основного горячего блюда и завершались дегустацией сыров (все это сопровождалось многословными и эмоциональными диспутами, являющимися неотъемлемой частью французской трапезы и, очевидно, вызывающими у них выделение необходимого желудочного сока), и заканчивая благозвучным стрекотом непонятной французской речи. Что тут

говорить, ужин был для меня мучением: я пребывала в состоянии экзаменующегося недоросля, готового вкушать только высокую интеллектуальную пищу. Но самые страшные терзания приносила мне расшифровка тарабарской речи. Сложность моего положения усугублялась переживаемым романом, когда всякая мелочь является для влюбленного знаком, требующим объяснения. Незнание языка порождает мнительность, паранойю: кажется, что мимо проходит важная для тебя информация, а тебе остается только следить за выражением лиц говорящих и по их мимике определять, как идут твои любовные дела. Так, просиживая ежевечерне с друзьями Убера, я судорожно запоминала наиболее значительные на мой взгляд слова и выражения, чтобы, оказавшись дома, засесть за словарь в поисках смысла услышанного накануне. Голова моя пухла от проделываемой абсурдной работы, я переставляла слова и понятия, словно кубики, теряясь в догадках, что все это значит, и порой меня приводило в шок то, о чем вели беседу за французским столом!

Предмет моей любви Убер был натурой эксцентричной, склонной к эпатажу, что только придавало остроты и без того бурным отношениям. Однажды он решил разыграть чопорную парочку французских буржуа, которую пригласил в гости. Мадам и месье желали познакомиться с его русской подругой. Облачив меня в боксерские шорты, майку и кеды, он представил меня гостям, пояснив при этом, что я очень известная в России трагическая актриса. Добропорядочные супруги приняли весь маскарад за чистую монету (стиль одежды — artistique!) и вынуждены были скрывать свое недоумение весь вечер, поддерживая со мной беседу о системе Станиславского. В другой раз он решил повеселить охранников, вечно мерзнущих на морозе в своей будке. Нарядив меня в туркменский халат и тюбетейку, себе нахлобучив на голову каракулевую шапку, он взял меня на руки и гордо продефилировал мимо охраны к своей машине. Спустя час мы точно так же проплыли мимо изумленных парней в форме, направившись обратно в дом. Охрана вместе со всеми соглядатаями наверняка пришла к выводу, что Коренева опупела от свалившегося на нее счастья, подтвердив тем самым старую истину: любовь — это дело французов!

Я и без розыгрышей представляла собой нечто экзотическое. Одной из моих болезненных фиксаций по-прежнему был маленький рост, а также нелюбовь к босым ногам (стопу надо было непременно скрывать как нечто неэстетичное и интимное). Я старалась носить туфли на каблуках, а если их не оказывалось под рукой, в ход шли сапоги на каблуках — о плоских тапочках не могло быть и речи. По ночам Убер частенько наблюдал мое

странное поведение: обнаженная женщина в сапогах направляется в туалет или на кухню, чтобы выкурить сигаретку. Несколько лет спустя из разговора с приятельницей Убера я узнаю, как он делился с ней моими нестандартными отношениями с обувью, решив, что дух милитаризма крепко засел в природе русской женщины. В глазах французов, да пожалуй и в собственных, я оставалась закрепощенной «восточной женщиной», несмотря на мою осведомленность столичной девочки из мира киношников.

Все советские комплексы «можно — нельзя», весь инфантилизм коллективного сознания вылезли на поверхность, как грибы после дождя, за время моего общения с французами на Садовой-Самотечной. Они говорили о политике, читали разоблачающую советский строй литературу, обменивались последними политическими сплетнями, приходившими с Запада, а главное — воспринимали все события прямо противоположно тому, как они освещались нашей прессой и телевидением. На меня смотрели как на жертву режима если не в буквальном, то в переносном смысле. Любой из моих ровесников, рассуждавших в гостиной Убера, казался мне старше, компетентнее, свободнее меня. Большинство романов тех лет, происходивших между русскими и иностранцами, строились на спасении. Нас спасали от «железного занавеса», вывозя за его пределы, в «свет», мы спасали от скуки и разочарованности — своей цельностью, выносливостью, непредсказуемостью. Впрочем, любовь — всегда спасение.

Темы слежки, КГБ, русских Мата Хари и больного Брежнева сопровождали каждое наше застолье. В те дни их журналистская братия зачитывалась книгой французского автора под названием «Страна тараканов», что на их сленге также означало «страна шпионов». На обложке была изображена полуобнаженная красотка, укрывающаяся красным знаменем. Я не понимала, почему Россия названа страной тараканов, несмотря на то что в доме на Самотечной действительно бегали рыжие твари. Я постоянно оспаривала это мнение, приводя в пример свой опыт жизни в Москве, убеждая, что прежде не встречала таких домов. По странной иронии судьбы теперь я этого сказать не могу — понятно почему. «Вот клопы — это да! Помню, папа вставал по ночам и, взобравшись на спинку дивана, морил притаившихся за обоями кровососов зажженной спичкой. А мы втроем — я, сестра и мама, — поднявшись с постели в белых рубашках, задрав головы, наблюдали, как мечется папина тень на потолке». Чем-то эта картинка, врезавшаяся в память, напоминала эпические сцены с факелами, которых пруд пруди в мировой истории — осаду какой-нибудь крепости распоясавшейся толпой… или что-то

рычала века: «Барин, они уже во дворе!» — «А ну посвети, да живее, эх, нерасторопный!»

Мой рассказ впечатлял видавших виды французов, они морщили носы и закатывали глаза: «Фу! Клопы (ударение на первом слоге)… это такая гадость!» Короче, я старалась быть патриоткой по мере сил, однако у меня не хватало аргументов на все случаи. Близость агентства Франс Пресс, которое находилось на верхнем этаже здания, порождала особое настроение и специфический юмор. В те дни наш генералиссимус уже сильно сдал, его водили как марионетку, и казалось, что это человек-робот, без признаков жизни — такой выглядел, говорил, двигался. Все предрекали скорый конец. Западная пресса ежедневно сообщала об ухудшающемся здоровье, и все были в напряжении, если не сказать — в предвкушении близкой развязки. Один из журналистов давно собирался в отпуск, хотел съездить домой, но оставался в связи с ожидаемыми событиями мирового значения. Ему даже пришлось праздновать свой день рождения вдали от родного дома, который как раз пришелся на это самое время. Сильно напившись в торжественный вечер, он был так мрачен, что друзья решили его повеселить. Кто-то предложил подняться в бюро и смастерить телеграмму, что, мол, Брежнев скончался, а потом вручить имениннику. Как решили, так и сделали. Под шумок провернули эту аферу, вручили ему бумажку с экстренным сообщением, которое означало для него скорый отпуск… История чуть было не закончилась скандалом, так как обрадованный журналист уже собрался отправиться наверх — дать ход полученной информации. Его, по счастью, остановили. Отпуск опять сорвался!

О том, что я довольно известная актриса, Убер, конечно, знал, даже ходил на мои премьеры. Он посмотрел «Сватовство гусара» в Доме кино (Светлана Дружинина — режиссер фильма — задорно подмигивала мне: «Какой парень! Где нашла?»), был на просмотре «Сибириады» в кинотеатре «Россия». И все-таки он лукаво поглядывал на меня, говоря, что не исключает возможности моего сотрудничества с КГБ, коль скоро меня беспрепятственно пускают на территорию их «гетто». «Это странно для советской гражданки, — рассуждал он, — тебе улыбаются охранники, первыми здороваются с тобой, почему так?» Я и сама не ожидала, что мои визиты и постоянное пребывание на иностранной территории в течение шести месяцев будут настолько беспрепятственными. Однако объясняла это тем, что я актриса, а охранники — зрители: «Меня узнают по фильмам, потому и улыбаются, вот и все, я нигде не служу!» В ответ Убер заявлял со вздохом, что ему по большому счету

наплевать, даже если и служу — ведь он меня любит. Но потом добавлял: «Я не хочу, чтобы у тебя были из-за меня какие-нибудь неприятности».

Сам он выделялся на фоне своих соплеменников не только статью, но и вспыльчивостью. Не будучи журналистом, он позволял себе дерзкие комментарии на публике и конфликты с нашими милиционерами и таможенниками. Казалось, что, завязав роман с русской, он принимал особенно близко к сердцу проблемы «угнетенного» советского народа, едва сдерживая желание научить, освободить, раскрепостить ставших ему дорогими людей. Как-то раз при выходе из кинотеатра «Россия» с какого-то просмотра он начал возмущаться возникшей пробкой у раздевалки. Народ послушно ждал, когда им позволят одеться — начнут отпускать их шубы и пальто. Работала, как всегда, только одна гардеробщица, а другая, стоя рядом, покрикивала на собравшихся: «Все получите, ишь как торопятся, а мы что здесь — не работаем, что ли…» Убер вспылил, кровь заиграла в его фламандских жилах, и он стал говорить поверх голов на ломаном русском: «Что ви стоит?! Ви привикат, как послюшный овца… вперьед, иди-иди, чего ви ждат, коммунизм?!» Я чуть сквозь землю не провалилась, а он был вне себя от возмущения и дежурными у вешалки, и покорной толпой и даже, придя домой, продолжал выкрикивать: «Вам пообещали коммунизм через сто лет, и все его ждут. А я хочу то, что произойдет, пока я жив, мне все равно, что будет после моей смерти…» Так он резонно полемизировал с утопической мечтой о «светлом будущем».

Как-то раз, придя с Убером в ресторан Дома кино — было это зимой, в декабре 1979-го, — я встретила там Андрона Кончаловского. Он приехал из Парижа в Москву специально на премьеру «Сибириады», которая должна была состояться в кинотеатре «Россия». Был он не один, с дамой, кажется тоже француженкой, они сидели недалеко от нас, в поле моего зрения. Андрон давно заметил меня и посылал широкие улыбки из-за спины своей спутницы. Я встала, чтобы поприветствовать, подошла к его столику. Потянувшись меня поцеловать, он прошептал: «Держи его руками и ногами!» Мой красивый и бурный роман с Убером Кончаловский воспринял чисто прагматически: в ту пору ходила шутка, что иностранная жена (муж) это не роскошь, а средство передвижения (через границу). Я наклонилась к нему и прошептала в ответ: «Ты, наверное, не понял — это серьезно. Я не стану держать, если он не захочет». Вспоминаются слова из песни Стинга: «Если любишь кого-то… освободи его!» Тогда я этой песни не знала и такой философией в любви если и руководствовалась, то неосознанно. Тем более

поражаюсь сейчас такой неприземленности своих намерений, ведь большинство женщин сказали бы как раз наоборот: люблю, потому и буду держать… мертвой хваткой!

Мне было, конечно, приятно, что Андрон видит меня влюбленной, не говоря о том, что красота и мужественность моего нового избранника бросались в глаза, и мне это льстило. Я действительно никогда не была практичной в любви, не ставила условий относительно будущего, не планировала, полагаясь на волю случая и веря, что все лучшее совершается на небесах. Брак я воспринимала как что-то вроде лаврового венка, который надевают на голову победителю забега. Тема семейной жизни была вытеснена из сознания как нечто ненадежное, зыбкое, пугающее… «Уж если мама с папой развелись, — думала я, — значит, нет на свете идеальных браков». Правда, надежда теплилась, и стать «финалисткой забега» все-таки хотелось. Карьера — вот что было моей крепостью, составляло мою силу и выражало все, что я тогда знала о себе. Любовь же была… стенограммой бьющегося пульса: пока жива! «Неужели у тебя еще остались силы любить?» — парируя мой жизнеутверждающий укол, произнес напоследок Андрон. Я просияла в ответ, да и только.

Итак, планов я не строила, а точнее — ждала, что за меня их построит кто-то другой. Между тем срок пребывания Убера в России подходил к концу. В марте он должен был возвращаться во Францию, в Париж, откуда и был родом. Однажды он завел разговор о нашем будущем, сказав, что хотел бы, чтобы мы всегда были рядом. В подтверждение своих слов он рассказал о письме, которое отправил своему отцу, подчеркнув, что оно касается нас обоих. А вскоре обитатели «гетто», как и работники посольства, начали судачить о том, что «доктор» собрался жениться. (По правилам, французский гражданин, живущий в России и желающий вступить в брак, сообщает о своем намерении специальным заявлением и документами, которые вывешиваются на всеобщее обозрение в посольстве.) Даже приходящая убираться женщина из УПДК подтвердила, что сама слышала — речь идет о свадьбе, и хотела узнать от меня подробности. Я отнекивалась, однако жила в ожидании большого счастья или большой драмы, в зависимости от исхода моего романа.

Между тем приближался новый, 1980 год. Праздновать его я, конечно, собиралась с Убером. Он устраивал ужин для своих друзей-соседей. Еще к нему подъехала приятельница из Парижа — сокурсница по мединституту, и он готовился принять ее со всей помпой. Тридцать первого декабря я приступила к проводам старого года заблаговременно, усевшись пить коньячок за

компанию со своей «отсидевшей» бабушкой, которая пришла ко мне на Грузинскую в белой кофточке и бусах. Она желала здоровья и счастья мне, а я ей, и мы вместе — маме и сестре Маше, затем нам всем, нашей стране, родственникам, знакомым, поминали тех, кого уже с нами нет… Мы были ужасно рады друг другу, смеялись без причины, глядя в захмелевшие, расплывающиеся лица друг друга. Часов в девять вечера я отправилась к Уберу, прихватив пакет со своей долей новогодних подарков. У него подготовка к празднику шла полным ходом. Приехавшая подруга стряпала что-то ненашенское, то и дело подсыпая незнакомые мне доселе специи, ловко, словно пинцетом, орудуя заморскими лопаточками и всякими приспособлениями для готовки. Она то и дело поглядывала на часы, и вид кровоточащей индейки вызывал на ее лице одобрительную улыбку. Но главным событием предстоящего ужина должен был стать десерт: это был шоколадный пирог под названием «Брауниз»! Убер и его подруга готовили его вместе. Как это часто бывает в канун Нового года, ожидание торжества ужасно мучительно, никак не можешь определиться, когда пора садиться за стол, и всегда бывает или слишком рано, или слишком поздно. Я путалась под ногами, пыталась чем-то помочь, но в основном потягивала из бокала что под руку подвернется. Понятное дело, к долгожданному застолью я уже начала слегка косеть. Наконец пришли гости, все уселись за стол, началась долгожданная речь (все еще здравствующего) Леонида Ильича. В этот момент Убер схватил меня за руку и повлек в свой кабинет. Расположившись на столе для осмотра пациентов, мы сначала пригубили шампанского, затем, отставив бокалы в сторону, бросились в объятия друг друга. Его напористое «же тэм» сопровождалось мерным боем часов на Спасской башне. Шаманство любви вступало в единоборство с прочим шаманством… Гости в комнате уже давно звали нас, решив, что мы случайно прозеваем кульминационный момент, но они, конечно, заблуждались. Впрочем, кто-то звал, а кто-то посмеивался. Вернувшись к столу, мы вновь взялись за бокалы… и год начался! Спустя короткое время я вдруг почувствовала слабость и вышла в ванную комнату. Мне пришлось выпить воды и прочистить желудок, так как меня ужасно мутило. А еще через полчаса я уже спала, свернувшись калачиком в спальне, под шум веселья и музыки в соседней комнате. Очнулась я в начале четвертого утра и как не в чем ни бывало, отдохнувшая и голодная, вышла в гостиную. К моему изумлению, вся компания выглядела довольно странно — многие полулежали в креслах и на диване, а если кто и двигался или говорил, то как-то

заторможенно — одним словом, вид у всех был болезненный. Виной всему был тот самый пирог — «Брауниз». И о счастье, что я проспала весь ужин, и в том числе десерт! Оказалось, что в тесто была подмешана травка, она-то и погрузила всю компанию в наркотический дурман — все начали странным образом хихикать, нелепо двигаться и чудно проявлять себя. Заговорщиков наконец нашли, ими оказались Убер и его подруга. Одним словом — врачи, блин! (Ох, не люблю я этот «блин», да чем его заменишь?)

Сразу после празднования Нового года Убер отправлялся в Париж на десять дней. Он собирался поговорить с отцом о своем намерении жениться. «Все решится в эти дни», — сказал он мне и уехал. С этого момента я преисполнилась какого-то торжественного трепета. Наверное, это и есть предчувствие инициации, посвящения, того, что для женщины означает окончательный выбор между девичеством и зрелостью. С таким новым ощущением я засыпала и просыпалась, пока вдруг не поняла, что ждать нечего. Интуиция четко произнесла: «Этого не будет!» Да к тому же сон приснился, яркий и безумный. Мы с Убером заходим в гостиницу, где хотим остановиться на ночлег, но тут его берет за руку женщина и уводит, показав ему связку ключей на огромном кольце. Меня же провожают в противоположную сторону, подводят к окну, за которым карнавальное существо в маске и плаще улыбается, машет мне веером и произносит одно слово — то ли «Сивилла», то ли «Сабина», а может, и вовсе — «Сибириада»…

Вернувшегося из Парижа Убера я ждала как обреченная — я уже знала ответ. При встрече он засыпал меня подарками, а о разговоре с отцом не произнес ни слова. Наконец я решилась и спросила сама. Он начал объясняться обиняками, повторял, что вопрос еще не решен, что у нас много сложностей и я должна быть к этому готова, но при желании, возможно, мы их преодолеем. «Ты все время говоришь о том, что нам мешает, и ни слова о том, что нам поможет», — вступилась я за нашу мечту, от которой не осталось и следа. И попала в цель. Человек, потерявший веру, рассматривает явление с его слабых сторон, а тот, кто еще верит, видит сильную сторону. Как выяснилось, отец Убера был против скоропалительного решения сына насчет брака и отказал ему в финансовой и моральной поддержке — в том, что было необходимо. Это выбило почву из-под ног Убера. Он в общей сложности провел два года за пределами Парижа, отбывая в Москве срок альтернативной армейской службы. По возвращении домой ему предстояло только начинать свою карьеру врача, и новая семья, безусловно, была преждевременным грузом. «Придется изучать язык, — продолжал взвешивать все

„против“ Убер, — до тех пор ты будешь от всех зависеть, а потом, ты же здесь известная актриса, а там… Разве тебя устроит жизнь без твоей работы? Ты в конце концов меня бросишь!» Так рассуждал здравый смысл, но сердце этой логики не слышало.

Неожиданно в Москве появился Алешка Менглет и попал как раз на проводы Убера. Мы встретились в ресторане, где был накрыт стол на пятнадцать человек. Все поднимали тосты и желали Уберу успехов в его старой новой парижской жизни. Группа музыкантов начала исполнять песни Джо Дассена, и Убер пригласил меня танцевать. «Мы пойдем, куда ты захочешь и когда ты захочешь…» — обещал французский баритон всем женщинам мира, и, пожалуй, впервые за все это время смотревшие на нас друзья и знакомые не находили повода для смеха. Алешка успел сделать мне по-братски замечание насчет того, как я вырядилась, с его точки зрения, я что-то перепутала в одежде — то ли цвет, то ли время года… На мне были все подарки Убера — темно-вишневый шелковый комбинезон и черные ковбойские сапоги, модные тогда в Париже. Я отмахнулась, сказав, что теперь это не имеет значения. Перед тем как уйти от меня на рассвете, Убер попросил не забывать его раньше времени, пообещав, что скоро вернется. «Ле-нушка!» — произнес он на пороге моего дома и закрыл за собой дверь. Я отвернулась к стенке и принялась ждать.

Через несколько дней я поднялась и отправилась в Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Подойдя вплотную к микеланджеловскому Давиду, я застыла в оцепенении. Восхищение, слабость и укор — вот что я испытала. Мое забытье было прервано внезапным смехом зашедших в зал посетителей. Их взору предстала забавная сценка: хрупкая женщина со скорбным лицом изучает детородный орган колосса. Я отступила на несколько шагов и вновь подняла глаза на мраморного юношу. В моем сердце звучала горькая ирония: «Я потеряла мужчину… я потеряла своего Давида…»

Глава 40. Олимпийские игры

После отъезда Убера я взялась изучать французский язык. Мне помогала троюродная сестра Аня, которая владела им в совершенстве. Раз или два в неделю она садилась на широкий подоконник моей кухни, принималась диктовать мне спряжение французских глаголов и, пока я послушно выписывала их в столбик, меланхолически поглядывала в окно на серое московское небо. Ее снисходительное обращение с предметом моей боли и моего вожделения — именно так я могу определить свои чувства к изучаемому языку — придавало мне уверенности в дальнейшем подвиге окультуривания. У соседки, чей отец-дипломат долгое время работал во Франции, я одолжила книжечку с картами Парижа и мысленно прогуливалась по всяким «рю», заглядывала в музеи и пантеоны. Звук французской речи и даже его каллиграфия повышали у меня содержание адреналина в крови и погружали в сны наяву. Франция стала фетишем, страстью.

Положение женщины, дважды оставленной мужчинами, уезжавшими от меня за пределы СССР, в зону недосягаемости, породило ощущение какого-то рока и совершаемого надо мной насилия. Они выбирают мир, отказываясь от меня, и я не в состоянии конкурировать с пространством, которое их забирает. Чем я плоха? Тем, что живу там, куда можно приехать только на время и откуда всегда уезжают? Так я рассуждала сама с собой, пытаясь разгрести весь ворох мыслей и чувств, который на меня обрушился. Живи я во Франции, в Англии, Италии, которые не отделены железным занавесом, любовь могла бы иметь продолжение, а так — нет. С глаз долой, из сердца вон! Даже в юности мальчишки зачастую выбирают девочек, которые живут поблизости, — удобнее провожать, что уж говорить об оставленной в другой стране женщине, которая беспомощна в передвижении? Она может только стать туристкой на пару недель — унизительное положение туристок, отправляющихся на свидание под присмотром руководителя группы. Да и кто позволит советской туристке идти на свидание в Париже? Нет, это было ужасно, так как отъезд за границу был окончательным расставанием, навсегда. Пережить это «навсегда», которым награждают тебя не по твоей воле, словно клеймом на теле, невыносимо сложно. Какая у вас болезнь? Вы хромаете от рождения, ослепли, немы? Нет, я живу в заповеднике, на меня приезжают смотреть!

Теперь я существовала с постоянным чувством своей

неадекватности. Свобода, которую я не осознавала и которой мне было достаточно, вдруг стала иметь параметры: длина, ширина, география… Ее границы оказались очерчены — здесь мое, там его, их — но мне туда нельзя. У человека всегда болит там, где он ударился, и пока не заживет, он не в состоянии забыть о травме. Я продолжала работать, сниматься на студии и на телевидении. На экранах появился «Цезарь и Клеопатра», я снялась у Николая Рашеева в «Яблоке на ладони», меня приглашал в театр Анатолий Васильев, который будет всегда предлагать работать вместе. Только теперь работа перестала быть панацеей, а превратилась в формальную необходимость, инерцию. Более того, она стала порождать ощущение обреченности: обреченная на работу! Неудачница. Чем грустнее была моя личная жизнь, тем больше меня теперь раздражала актерская деятельность: у меня появилась навязчивая мысль, что я приношу свое женское счастье в жертву работе. О возможности гармоничного соединения одного с другим в моем случае не могло быть и речи.

Когда-то, расставшись с Андроном, я погрузилась в профессиональный марафон, находя в этом лекарство для своего раненого самолюбия, скорее социального и творческого, нежели женского. Передо мной стояла задача взобраться на гору — не Олимп конечно, — но на вершину, которая искушала вседозволенностью и кажущимся всемогуществом. Я вступила в единоборство не только за себя, но и за своих родителей — безденежных, непрактичных, никогда не входивших в привилегированную категорию советских граждан, в номенклатуру, а принадлежавших к той самой «интеллигенции», над которой иронизировал Андрон. Своими успехами я хотела доказать их состоятельность и свою неуязвимость. Теперь же, после расставания с Убером, я чувствовала себя несостоявшейся женщиной, и профессия не могла в этом помочь. Мне снова бросили вызов, на этот раз — свободой выбора и свободой пространства.

Ко всем нелепостям моей истории добавилась еще одна. (Я шла по стопам любимой бабушки, превращаясь в трагикомическую фигуру.) У меня начали портиться зубы, а точнее, эмаль. Это было следствием неразумных диет, употребления лекарств, выводящих кальций, но в основном — булимии, симптомы которой начали у меня проявляться (потеря чувства сытости в результате постоянного механического освобождения желудка от пищи). «Блатной» зубной врач, тот самый, что храпел на спектакле у Фокина, решил испробовать на мне новое средство — косметическую глину или что-то в этом роде. Он хотел как лучше… Прилепив мне к верхним зубам этот

«пластилин», он сказал мне посидеть минут десять, пока подсохнет, а затем начал его снимать… но не смог! Обработав разными машинками то, что, казалось, теперь навечно останется со мной, зубной врач начал меня успокаивать — мол, так, в общем, и должна выглядеть улыбка Джоконды. Теперь, помимо собственного желания, у меня был почти весь ассортимент причин, толкающих людей к эмиграции. Многие тогда шутили, и, как выяснилось, не без оснований, что самым распространенным мотивом отъезда на Запад был самый прозаический — необходимость вылечить зубы. Слова Алешки Менглета о том, что в Голливуде мы сделаем зубы с бриллиантовой крошкой, начинали приобретать реальный смысл и особую актуальность. Однако для полного набора будущего эмигранта мне предстояло обзавестись еще кое-чем.

Летом 1980 года в Москву снова приехал Убер. Он устроился работать врачом на Олимпийских играх. На этот раз у него не было шикарной квартиры, он жил в гостинице, и время его были строго расписано по часам на все три недели, которые он должен был отработать по контракту. Наше общение, ограниченное жесткими временными рамками, происходило на моей территории, то есть на Малой Грузинской. Убер теперь казался каким-то другим: светским, легким, немного официальным. О нашем совместном будущем речь не шла, хоть он и повторял, что история еще не кончилась. «Я тебе скажу, когда наступит конец!» — были его слова. Мы бродили по залитым закатным солнцем улицам, болтали о своих делах. Он рассказал, что собирается работать в клинике под Парижем в течение двух лет, надеется заработать хорошие деньги для строительства своей квартиры. При всей кажущейся лучезарности он жаловался, что возвращение в Париж после двух лет в Москве (мы познакомились за полгода до его отъезда из России) очень тяжело — наступает период адаптации: уже и дома чужой, и здесь не свой. Я сетовала на усталость от съемок, на что он произнес врезавшиеся мне в память слова: «Ты должна отделить свою личную жизнь от работы, так нельзя, надо сохранять дистанцию!» Этот разговор происходил возле Дома литераторов на Герцена, мы сидели на освещенной солнцем лавочке, и я недоумевала по поводу сказанного им: «Что же мне отделять, ведь если не будет работы, у меня не будет ничего?»

Двадцать пятого июля утром я собралась ехать на «Мосфильм» на озвучание. Выходя из подъезда, по обыкновению, поприветствовала нашу дежурную, тетю Дусю — маленькую, щуплую старушку. «Лена, Володя умер! — скорбно сообщила мне шепелявым беззубым ртом милая бабуся и пояснила: —

Высоцкий». Я не поверила: «Да что вы, тетя Дуся, про него много раз говорили, что он умер, про актеров все время что-нибудь болтают. Я вот сейчас еду на студию, там узнаю, не дай Бог, конечно!» Со студии я позвонила Зое Пыльновой, актрисе театра на Таганке, которую знала как жену Лени Ярмольника. «Зоя», — начала я. Но она не дала договорить: «Да, правда!» — и повесила трубку. Я вспомнила, как дней десять назад стояла на балконе своего дома — того же, где жил Высоцкий — и видела, как он садится в машину и уезжает. Затем, спустя часа два, так же случайно увидела, как он вернулся с компанией друзей и направился в свой подъезд. Это была поздняя ночь — их смех и шаги звенели в пустом дворе, как эхо в колодце. А однажды я проходила мимо него, сидящего в машине, запаркованной возле подъезда… Из окон соседнего консерваторского общежития доносился его голос в магнитофонной записи: «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее…» Он сидел, скрестив руки на руле, упершись в них подбородком, и слушал. Высоцкий слушал Высоцкого, слушал людей, слушающих Высоцкого. Момент отстранения от самого себя, от одной из своих ипостасей, от своей мольбы за всех нас. Теперь, положив голову на небесный руль, он наблюдает, как мы скорбим о нем, слушая его голос, скорбящий о нас.

Когда я вернулась в тот день с «Мосфильма», возле дома уже образовалось кольцо из людей, желающих быть ближе к нему. Люди стояли, сидели на ступеньках, во дворике, примостились к стене дома и слушали магнитофонные записи. Все знали, что он здесь, на последнем этаже, в своей квартире и так останется лежать, пока его не вынесут, чтобы провезти по улицам в последний раз. В течение трех дней люди служили панихиду возле дома с зажженными свечами и мужественным Володиным лицом в черной рамке. Дом превратился в склеп одного умершего человека. Остальные, еще живые, но никем не замечаемые, притаились и старались выскальзывать из подъездов как тени. Бабулька-дежурная, обливаясь слезами и краснея, рассказывала: «Я помню, спросила, какой он — Владимир Высоцкий, он же в другом подъезде жил. А мне сказали: „Да такой же, как вы, тетя Дуся, маленький, худой, только с зубами, а так — вылитый вы!“» В один из этих траурных дней я вышла на улицу, чтобы поймать такси. Пройдя через строй стоявших возле дома людей, я вдруг услышала, что меня окликнули: «Лена Коренева!»

Обернувшись, я увидела мужчину средних лет. Убедившись, что не обознался, он медленно приблизился ко мне и скорбно промолвил: «Вы только не умирайте». В этих словах было что-то жуткое, обрекающее на страх за свою жизнь. «Вы только не

умирайте» читается как: «У вас больше шансов на это…» «Конечно, актеры — идолы, агнцы Божьи, — думала я. — Они предназначены на заклание, и чем выше ты поднимаешься по лестнице славы, тем вероятнее последний шаг в раннюю смерть». Искус смерти как искус завершенности твоего триумфального пути! Все простится, как только ты окажешься за чертой. Сиамские близнецы — талант и трагедия, живущие за стенами наших коммуналок. А может, мы ценим смерть больше жизни и ставим в достоинство умершему человеку, тем более кумиру, его уход, тем самым заговаривая на гибель? «Ах, ты еще и жить собрался в свое удовольствие, нет уж, ты лучше жилы надорви, тогда тебе поверят» — так говорит нам внутренний голос, вторя коллективному…

В тот день я поймала такси и благополучно добралась до места. Но в другой раз — не смогла отойти и на двадцать метров от дома. Остановившись возле маленького парка у польского посольства, я вдруг почувствовала, что упаду сейчас в обморок. У меня похолодели руки и перехватило дыхание — жизненную силу будто выкачали. Попробовав отдышаться и сделав еще пару шагов, я поняла, что лучше будет вернуться, пока я могу хоть как-то передвигаться. Медленно, словно вот-вот рассыплюсь, я дошла до дома. У меня уже случался прежде гипертонический криз, при том что я гипотоник, и ощущения были похожими. Но так внезапно потерять вдруг всю энергию, что ни вздохнуть, ни выдохнуть, — такого со мной еще не было. Осторожно добравшись до лифта, я поднялась к соседу в надежде, что он дома. Володя — так его звали — открыл мне. Еле ворочая языком, я пожаловалась на свое состояние. Он усадил меня в кресло и дал успокоительную таблетку. Затем показал мне йоговское упражнение руками, призванное вернуть силу. (Сосед мой был специалистом по суахили и врачеванию одиноких женщин — он знал средства на все случаи жизни. Мы с ним дружили и всегда поддерживали друг друга в трудную минуту. Однажды я решила пошутить и спустила из своего окна с седьмого этажа к нему на шестой коробочку на ниточке. На ней была изображена бабочка, а внутри был упакован презерватив. Володя сказал, что, поймав это в своем окне, очень порадовался — оказалось как нельзя кстати.)

Получив первую помощь от Володи, я поднялась к себе наверх. Вскоре мне позвонил Убер. Услышав о моем недомогании, он тут же приехал. Измерив давление и расспросив о том, что именно я чувствую, он сделал укол и сказал, что мне надо поспать. На следующее утро я пришла в себя окончательно. Так и не знаю наверняка, что со мной произошло в тот день. Однако стала привыкать к мысли, что мой организм имеет

странную особенность — ни с того ни с сего вдруг отказывается жить, демонстрируя тем самым, что нервы и психика не резиновые и все в себя принять они не могут.

Вторичное расставание с Убером прошло не столь надрывно, как в первый раз. Так, собственно, и должно быть: второй не первый — простая истина. Недаром говорят: не впервой! А осенью я уехала отдыхать в Пицунду, за компанию с друзьями моей мамы, супружеской парой — Ниной и Сашей. Для них обоих это был поздний брак и далеко не первый, потому, наверное, их взаимоотношения строились в первую очередь на уважении. Они не пытались друг друга учить или переделывать, позволяя каждому оставаться самим собой — чего бы это ни стоило. Саша, к примеру, поедал сливочное масло по полпачки в один присест, убежденный, что это полезно для здоровья — никто его в этом не переубеждал (просто отворачивались, чтоб не видеть этот ужас). А Нина ходила босиком, увлеченная новой модой заряжаться энергией непосредственно от земли. И, несмотря на то что любая прогулка из-за этого удлинялась ровно вдвое — она постоянно наступала на шишки и еловые иглы, — ей никто не перечил (просто ждали, когда она догонит остальных).

Однажды эта Нинина волокита по дороге с пляжа способствовала неожиданному и приятному знакомству. Ковыляли мы с ней вразвалочку в сторону дома, где снимали комнату. И, наверное, сильно усталыми, а может загорелыми показались шоферу, ехавшему мимо, но только вдруг перед нашим носом притормозил серебристого цвета «Додж». Из него высунулся веселого вида очкарик и предложил нас подвезти. В машине было еще двое — юноша и моложавого вида мужчина. Их облик внушал доверие, и мы согласились. Я уселась на первом сиденье возле очкарика, а Нина сзади, с двумя другими. Мужчины вежливо обменивались с нами какими-то фразами, заметив ненавязчиво, что знают меня как актрису. Пока мы ехали, я начала изучать интерьер машины и наткнулась на фамилию водителя, которая была отпечатана на ленте и приклеена возле руля. Это оказался Максим Шостакович. Так случайно я познакомилась с Максимом, его сыном Митей и их другом, художником Кириллом Дороном. С того дня мы стали видеться ежедневно — встречались на пляже, в вечерней кофейне за длинным столом или просиживали у них в гостиничном номере.

Максим поразил меня своим близоруким обаянием, юмором и добротой. Он любил показывать фокусы и разыгрывать: взглядом «поднимал» дирижерскую палочку или пугал шприцем, который на спор «вкалывал» себе через джинсы, а потом бегал по комнате, изображая действие лекарства. Все это были трюки —

палочка поднималась посредством длинного женского волоса, а шприц был простой игрушкой. Но я верила ловкости его рук и недоуменно закатывала глаза. Максиму все это шутовство было к лицу, он даже внешне чем-то напоминал клоуна: соломенная копна волос, лукавый зеленый глаз. За его веселостью чувствовалось крайнее одиночество и постоянная взнервленность, казалось, мысль об отце никогда не покидала его. Этакий Гамлет в поисках скорее не возмездия, а покоя… Я начала оттаивать в его присутствии. Мне хотелось быть ближе к Максиму, но он почти никогда не оставался в одиночестве. Его друг Кирилл не отходил от него ни на шаг, и я даже стала испытывать ревность к их дружбе. Я жадно вслушивалась в их разговоры, стараясь понять, что привлекает Максима. Кирилл то и дело расхваливал работы одного западного художника, а Максим его внимательно слушал, затем они подолгу обсуждали красный флажок или синий цвет в его картинах. (Приехав в Америку и начав работать в художественной галерее, я узнала, что этим художником был англичанин Дэвид Хокни, который поселился в Калифорнии, и оттого у него в работах все синее, но есть и флажки.)

Кирилл вдруг начал за мной ухаживать, и я принимала его ухаживания, потому что боялась нарушить идиллию пребывания подле Максима. Сама над собой подсмеивалась и вздыхала, сидя бывало в объятиях Кирилла, но встать и уйти не было никакой возможности — воздух вокруг Шостаковича был для меня целебен. Есть люди, чье присутствие оказывает оздоровительное действие. На языке Востока — у них хорошая аура, а по-нашему — светлый человек, чистая душа. А может, это наши ангелы-хранители в человеческом обличье? Максим (а значит, и Кирилл) вновь примирил меня с жизнью. Я была готова оставаться рядом с ним в любом качестве — из достойных вариантов. Не забуду, как однажды мы случайно оказались вдвоем в его номере — в это было так трудно поверить, что от неожиданности я растерялась. Максим вышел на балкон и поманил меня пальцем — я, словно загипнотизированная, пошла к нему. Он обнял меня за плечи и взглянул в глаза. В этот момент в комнату вбежала девушка и, увидев нас, резво юркнула под плечо Максиму — теперь он обнимал обеих, его руки образовали вокруг нас кольцо. Мне стало неловко, и я выскользнула, сделав шаг назад. «Никогда не отступай первая, никогда…» — очень серьезно вдруг сказал Максим. Его замечание было похоже на отцовское наставление. Подбежавшую девушку звали Марина — спустя много лет она станет его женой.

Собравшись возвращаться в Москву раньше нас, Максим и Кирилл предложили мне уехать вместе с ними на машине. Не

помню точно почему, но я отказалась, пообещав обязательно созвониться и встретиться по приезде в столицу. Когда спустя неделю я вернулась и позвонила Кириллу, то узнала, что на обратном пути с ними случилась беда. Машина попала в аварию, столкнувшись с «жигуленком». К несчастью, в той машине оказались жертвы. У Максима было оправдание — отказало рулевое управление, но это требовалось доказать, и теперь его таскали по судам. Он отрастил щетину и похудел. При встрече посмеивался, выражал надежду, что мы его не бросим и будем приносить передачи, если его посадят. Шутка была жутковатой, тем более что на то было достаточно оснований.

Вернувшись из Пицунды, я узнала от своей сестры Маши, что в мое отсутствие в Москву опять приезжал Убер, звонил ей, спрашивал, где я. Зачем он приезжал и почему не предупредил меня заранее?! «Он просил мне что-нибудь передать? Что он сказал? А ты что сказала?» — пытала я сестру. Но Маша и бровью не повела, отвечала односложно, да еще сделала мне выговор, что я всегда все усложняю и придумываю. Мое сердце кровью обливалось: «Ты ему предложила зайти в гости? Может, он этого ждал?» — не унималась я. Но сестра снова возмутилась моим волнением, сказав, что я создаю миф из мужчин, которые этого не заслуживают. «Значит, не судьба», — вот все, что мне оставалось по этому поводу думать. В те дни, когда Убер был в Москве, по телевизору шел многосерийный фильм с моим участием. Это была «Тайна Эдвина Друда» по роману Чарльза Диккенса в постановке Саши Орлова. Я сыграла там роль в паре с Гариком Леонтьевым — работа, которую я очень любила. «Хладнокровная» сестра Маша посоветовала Уберу посмотреть меня по телевизору. Последовал ли он ее совету, неизвестно, впрочем, знаю по себе — в отсутствие оригинала можно общаться и с его экранным образом — все легче!

В таком странном настроении я провела осень и зиму. Временами бывала в компании Максима и Кирилла — то на даче за городом, то в квартире на Старом Арбате. Знала, что судебные дела затягиваются и Максима не выпускают на гастроли за границу. В начале апреля (кажется, это был День космонавтики) мне позвонил Кирилл. «Максим остался в Германии! — кричал он в трубку. — Я только что услышал по радио, совершенно случайно, по „Голосу Америки!“» И затем очень кстати добавил: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Вскоре об этом говорили все. Действительно, Максим и его сын Митя, пианист, все-таки получили разрешение выехать с оркестром на гастроли в Германию. В этой поездке они стали невозвращенцами. Еще один! Мне ничего не оставалось по этому поводу заключить, кроме как

сделать окончательный вывод: все, кого я начинаю любить, уходят от меня. А точнее сказать — они уезжают.

Летом 1981-го я начала сниматься в картине «Покровские ворота» по одноименной пьесе Зорина, которую экранизировал Михаил Козаков. Сниматься я поначалу отказывалась. Мне казалось, что роль медсестры Людочки — не моя, да и сценарий, честно говоря, не привлекал. «Какой-то натужный юмор, — думалось мне, — все вздернутые, ненатуральные… оперетта, да и только!» Моя мама работала на картине ассистентом по актерам, и она уговаривала: «Миша очень хочет, чтобы ты снялась. Ну давай, ради Миши!» И в конце концов я согласилась, решив, что сыграть молодую женщину поколения моих родителей может оказаться по-своему интересно. Тем более что наивность и бесхитростность моей героини Людочки — черта, свойственная людям 50-х, и, в частности, такой я представляла свою маму в молодости. «Сыграю маму в лирическом шарже», — подумала я… и сыграла. Могла ли я предположить, что по этой роли меня будет узнавать зритель конца 90-х? Конечно, нет. Я и представить себе не могла, что картина станет одной из самых любимых зрителем и переживет целый ряд более «серьезных», по моим представлениям, работ, перефразируя известное изречение: актеры предполагают, а зритель располагает! Впрочем, я многого тем летом не могла предположить.

Глава 41. «Знакомые» — КГБ, МВД…

Однажды в моей квартире раздался звонок: «Елена Алексеевна? С вами говорят из Комитета госбезопасности…» Мужской голос в трубке предлагал мне прийти на Лубянку — площадь имени Дзержинского — в Международный отдел для разговора. Я не верила своим ушам. «А откуда мне знать, что вы меня не разыгрываете?» — спросила я как можно увереннее. «А вы приходите, на вас будет заказан пропуск, — ответил безликий голос и потом добавил: — Только большая просьба — никому не рассказывайте о нашем разговоре, даже близким родственникам. Я вам на днях перезвоню в это же время, а вы подумайте». Я спохватилась и залепетала: «Но меня может не быть дома, да и потом, я живу не одна». — «А я буду называть себя вашим знакомым, вам передадут. До свидания». Первое, что пришло на ум, когда я повесила трубку, это с кем-нибудь поделиться. «Что мне делать, — недоумевала я, — идти или не идти? Не пойду, нельзя ходить, ни за что на свете. Но он будет звонить и звонить, я стану об этом думать, а он или „они“ станут думать, что я испугалась — значит виновата, что-то скрываю. Что я скрываю? Я

ничего не скрываю! Нет, конечно, я скрываю, что мне все опостылело, и я понимаю диссидентов и тех, кто уезжает по семейным обстоятельствам. Да и вообще, я скрываю, что ненавижу тех, кто на Лубянке. Я не могу их любить — у меня бабушка отсидела двадцать два года, дедушка расстрелян, мама всю жизнь чувствует себя как дочь „врагов народа“ — я по другую сторону баррикад! Они что, не понимают этого? Зачем они меня вызывают? Но ведь если не пойду, то не узнаю и буду мучиться. Кому бы рассказать, с кем посоветоваться…»

Близким я решила ничего не говорить — только зря волновать, а мама так вообще сойдет с ума от ужаса. Надо посоветоваться с мужчиной, жаль, что Андрона нет в стране, он сейчас был бы кстати. Неохота никого в это впутывать, пугать, еще не поверят, решат, что провоцирую… Так кто же?

В таком диалоге с самой собой я существовала несколько дней. Меня угнетала неспособность принять решение в одиночку, а человека, с которым я могла бы поделиться, я так и не находила. Выйдя как-то в полдень на улицу, я направилась в сторону перекрестка, где обычно ловила такси. Сделав несколько шагов, я вдруг натолкнулась на Никиту Михалкова — он бодрой походкой шел к дому. Увидев меня, Никита радостно поздоровался и начал расспрашивать, как дела, куда я иду и так далее. Я что-то ему вяло отвечала, пока он вдруг не предложил подняться к нему, продолжить разговор дома за чашкой чая. Меня как током ударило: «Сейчас я ему все расскажу!»

Ситуация между тем была достаточно комичная. Я прежде никогда не бывала в квартире Никиты, хоть мы и жили в соседних подъездах. Встречая его на улице, я обычно здоровалась, после чего наше общение ограничивалось парой-тройкой фраз. Но в тот самый день Никита был как-то особенно оживлен, пребывал в игривом настроении, и даже мне показалось — начал со мной слегка флиртовать. В его глазах было мужское лукавство, впрочем, я понимала, что он воспринимает меня не просто как женщину, а скорее как бывшую любовь своего брата. И тем не менее по всему было видно, что он настроен на приятную беседу, которая его в тот момент забавляла. Войдя в квартиру, он предложил мне на выбор: «Чай, кофе, что-нибудь выпить?» Я попросила стакан воды. Он начал оживленно говорить, чувствуя при этом, как всякий хороший актер, что его слова до партнера не доходят — описывают дугу вокруг моей головы и возвращаются обратно к оратору. Я в это время сидела в кресле, словно меня к нему пришили, уставившись на Никиту неморгающим взглядом. Наконец я вышла из столбняка и, когда он сделал паузу, выдавила из себя загробным голосом: «Вас в КГБ… не

приглашали?» Никита словно поперхнулся, улыбка слетела с его лица, как и все игривое настроение. «Нет!» — ответил он после некоторой паузы. Затем каким-то светским голосом спросил осторожно: «А вас?» — «А меня зовут прийти!» — быстро проговорила я. — «Вот я и думаю — идти или не идти?» Никита сел в кресло напротив меня и задумался. В этот солнечный день он позволил себе импровизацию, пригласив меня попить с ним чайку, и вот тебе на! Эта проблемная пигалица, Леночка… едрить-твою-разъедрить… поставила перед ним задачку — выкручивайся теперь. «Не знаю, — произнес он наконец, — как вы сами решите, но если пойдете, то расскажите, что это было. Я надеюсь, это не насчет Андрона».

И я пошла по назначенному адресу. Найдя нужный подъезд, я открыла дверь и оказалась в маленьком пространстве, напоминающем деревянную шкатулку. Назвав свое имя человеку, который меня встретил, я тут же увидела появившегося как из-под земли мужчину, сделавшего мне знак следовать за ним по длинному коридору. Двигался он бесшумно, а царившая вокруг тишина и подавно наводила на мысль, что кто-то «большой» и «главный» отдыхает — его нельзя будить. Подведя меня к кабинету, мужчина открыл передо мной дверь, пропустил внутрь и молча удалился. Я оказалась в другой деревянной шкатулке, в центре которой за столом сидел грузный человек кавказского типа. Он предложил мне сесть, а сам бесшумной походкой прошел к двери и запер ее на ключ. Проделав это, он снова сел и заговорил неторопливым тихим голосом. Казалось, что он сидит в невидимом скафандре — так отстраненно и механически он существовал. Мне стало не по себе от этого голоса, показалось, что меня гипнотизируют — так вдруг захотелось спать. С трудом удерживая свое внимание и стараясь не забыть, где нахожусь, я заставила себя внимательно слушать говорящего. Спросив меня, с кем я общаюсь и кто мои друзья — «актеры — это понятно, а иностранцы, чем они занимаются?», — он задал еще несколько общих вопросов, а потом перешел прямо к делу. «Не хотите ли вы с нами сотрудничать? Сразу не отвечайте, подумайте хорошенько, у вас есть время». Я стала говорить, что очень занята съемками и не представляю, чем могу помочь. Тогда он пояснил, что его интересуют граждане, настроенные антисоветски, замышляющие недоброе в отношении нашего государства, и полюбопытствовал: «В вашем окружении есть такие?» Я принялась расхваливать свое «окружение», заверяя, что все, с кем я общаюсь, настроены очень дружелюбно в отношении нас. «Ну хорошо, а если будут такие, вы нам сообщите, — ведь от этого зависит спокойствие нашей с вами Родины?» Я понимала, что вопрос на засыпку… «Ну тогда

конечно!» — по-деловому ответила я. «Хорошо, вот вам мой телефончик, позвоните, когда сочтете нужным, мало ли что…» Я облегченно вздохнула, казалось, разговор был завершен. «Да, еще одна просьба, — снова включился механическим голосом толстяк, — подпишите эту бумажку, сначала прочтите и потом поставьте подпись». Он протянул листок, на котором было напечатано, что я обязуюсь держать в тайне этот разговор и сообщать о любой антисоветской деятельности, в случае таковой, окружающих меня лиц. Я напряглась и поставила подпись. Он проводил меня до двери на первом этаже и распрощался.

Оказавшись на улице, я почувствовала, что вырвалась из клетки. «Перехитрила, — думала я. — Если б не подписала, то он бы мурыжил меня разными вопросами, а так я отвязалась от них. Я же знаю, что никогда туда не позвоню, ни по какому поводу!» Но чем ближе я приближалась к дому, тем больше мне становилось не по себе. В квартиру я вошла уже с мрачным ощущением. До меня вдруг дошло, что я загнана в угол. «Да ведь он поймал меня с этой бумажкой! Какая разница, что там напечатано: они что угодно подделают, а подпись я уже поставила. Я — предательница! Согласилась невольно с ними сотрудничать. Стукачка — вот как это называется!»

Находясь в кабинете, я думала только об одном — как бы поскорее оттуда выйти. Но ведь я и здесь, и везде в этом городе, в этой стране — под пристальным взглядом органов, они надо всем, а все под ними. Кто из советских граждан, находящихся на территории СССР, признается генералу КГБ в его кабинете, что «не сообщит об антисоветской деятельности, ставящей под угрозу жизнь своих соотечественников»? «Не сообщу никому никогда, потому что не хочу с вами иметь дело, разбирайтесь сами!» После этого можно было и в психушку попасть в здравом уме с диагнозом «мания величия» или «параноидальный бред»… Ведь отсутствие страха расценивалось тогда как симптом болезни! Ужас был еще и в том, что никто из простых граждан никогда не знал, в каком жанре разыгрывается вся драматургия взаимоотношений с властью. Когда думаешь, что это комедия — оказывается трагедия. Когда трагедия — выходит фарс. Возможен ли адекватный разговор на равных или все равно тебя посадят… сразу или чуть позже?! Я была в ужасе. Подойдя к огромному окну своей квартиры, я долго смотрела в пустоту, чувствуя свое окончательное, болезненное одиночество. «Как же тошно, а будет еще тошнее… и сказать некому!» И вдруг я поняла, что есть выход. «Если действительно нет возможности изменить то, что я сегодня сделала, — выпрыгну в это самое окно!» При этой мысли мне полегчало.

Оставаться наедине со своими мыслями было тяжело, и я решила пойти по приглашению на открытие очередного Московского кинофестиваля в гостиницу «Россия». Войдя в просторную комнату, в которой был организован прием для гостей-актеров, я остановилась в замешательстве: что теперь делать — жать руки, здороваться, со всеми или поодиночке? Все корифеи советского кино стояли справа и слева от входа, образовав две шеренги. Я почему-то принялась двигаться вдоль одной из «линеек» и жать каждому в отдельности руку. «Здравствуйте, здравствуйте», — повторяла я, кивая головой, и шла дальше. Дойдя до последнего, я обернулась: теперь идти к тем, что напротив? Вдруг я поймала взгляд Люси Гурченко, которая что-то шептала на ухо Вячеславу Тихонову, внимательно разглядывавшему меня. Я поняла, что делаю что-то неверно, и решила со второй «шеренгой» не здороваться. В какой-то момент мне показалось, что я схожу с ума, оттого и поприветствовала всех, как Брежнев. (Как еще здороваться с огромным числом людей… Или надо было поступить, как Екатерина Савинова, которая приехала с делегацией советских актеров в какой-то город и, увидев, какое количество людей ей предстоит приветствовать, каждого в отдельности, вдруг согнулась по пояс и отвесила всем разом земной поклон?)

Теперь меня преследовала навязчивая мысль: видно ли по моему лицу, что я была на Лубянке, или я могу это скрыть? Кто из присутствующих знает о моем визите? Я поняла, что выход в свет не облегчает моего состояния, а наоборот. Получив через пару дней газету «Правда», я увидела на развороте большой материал о фестивале и групповой снимок актеров. Среди самых маститых торчала и моя физиономия. «Началось! — решила я. — Они меня подкупают, теперь я на первой полосе центральной газеты». А еще через неделю мне опять позвонил «знакомый». Он приглашал прийти для повторного разговора. На этот раз я выбрала иную тактику: играть против его правил. Я стала возмущаться, громко кричать в трубку, что он отрывает меня от работы, а я человек занятой, сказала, что меня, наверное, не так поняли — я не собираюсь больше с ними общаться и так далее. «А та бумажка, которую я подписала, вовсе не означает, что я согласилась с вами сотрудничать, а если означает, то я не поняла ее содержания и теперь отказываюсь!» Выслушав меня, он предложил мне встретиться и все обсудить в кабинете. «Нет, я к вам больше не приду! — с женской капризной интонацией проговорила я. — Мне там не нравится, если вам нужно, приходите ко мне сами…» К моему большому удивлению, он согласился. Я продиктовала ему адрес (который у него наверняка

и так был) и назначила день и час. Вот это да, что же теперь будет? Мне все-таки стало немного легче, я почувствовала, что эту ситуацию я выигрываю.

В день его визита я поставила на виду коробку с детским питанием, которую одолжила у кормящей соседки, и разбросала повсюду пеструю бытовую мелочь — решила воздействовать теперь на его психику и вести себя как молодая нервная идиотка. В назначенный час я выглянула в окно и увидела, как к дому подкатил черный «воронок» и из него выкатился черный «колобок» — тот самый. В дверях моей квартиры он приобрел более человеческий вид, чем у себя в кабинете. Мы начали разговор, и он спросил: «Так вы отказываетесь от нашего предложения?» Я принялась тараторить, размахивая руками, что я — актриса, человек нервный, со мной случаются всякие срывы, выпадения из реальности, короче — профнепригодна. «Обратитесь к кому-нибудь другому, есть же женщины, которые замужем за иностранцами, ну например…» И я назвала известную в свете респектабельную даму, которая продолжала работать и жить в Союзе. «Она больше вам подходит — богата, красива, с характером. А я все перепутаю!» Грузный дядька только вздохнул устало, будто настоящий пенсионер, который только что вернулся с дачи, где копал грядки, и сказал: «Ну как хотите, силком вас никто не заставит». Вид у него при этих словах был немного грустный, и я поняла, что свое задание по мне он завалил — может, из-за этого не получит премиальных… Но тут он ударился в профессиональный пафос: «Это мы обязаны охранять ваш покой, а вы-то можете отдыхать…» В его словах звучала и досада, и обида, и зависть. Уже на пороге моей квартиры он вдруг обернулся — и то ли по-дружески, то ли по-бесовски добавил: «И все-таки не удивляйтесь, если вам позвонят и спросят о ком-нибудь из ваших знакомых». — «Этого еще не хватало! — воскликнула я и поинтересовалась: — А что спросят?» Оценив мою браваду, усталый дядька тихо буркнул: «Ну, что-нибудь». И, плавно переступив через мой порог, ушел.

Я была собой довольна, если в такой ситуации вообще можно быть довольной. Но спустя пару недель мама сообщила, что мне звонил какой-то «знакомый». Тогда я решилась и рассказала обо всем маме. Мы с ней договорились, что по утрам (а он звонил в одно и то же время) к телефону будет подходить только она и говорить ему, что меня нет дома. Этот «знакомый» звонил примерно раз-два в неделю в течение 277 двух или трех месяцев — я точно не помню. Где-то без пяти одиннадцать утра я бросала взгляд на будильник, и у меня, как у собаки Павлова, выступала слюна, которую я нервно сглатывала до тех пор, пока в

одиннадцать не раздавался настойчивый, как японская капля в темечко, звонок. Мы с мамой переглядывались, замирали, она снимала трубку и вежливо объясняла, что Лены нет в Москве, Леночка на съемках, Лена зарабатывает на концертах, просто не бывает дома и так далее. В одиннадцать двадцать жизнь входила в свое привычное русло. Иногда я сама оказывалась у телефона и говорила, что «не знаю, когда Лена будет дома». Я понимала, что мой собеседник обложен еще большей секретностью и рисковать, то есть сказать мне прямо: «Я знаю, что это ты, а ты знаешь, что это я» — не может.

Рано или поздно звонки прекратились. А спустя еще какое-то время мне позвонили из МВД и тоже пригласили на разговор. На этот раз я с места в карьер начала орать в трубку, обвиняя в розыгрыше и хулиганстве. Меня переполняли ярость и бессилие. А на другом конце провода уже грозили, что если я не явлюсь, меня вызовут повесткой. Мне ничего не оставалось, как пойти. Нарядившись в свой вишневый комбинезон и туфли на высоком каблуке, сделав легкомысленную прическу, придав походке излишнюю небрежность, я впервые создала образ в корыстных житейских целях, чтобы самим видом демонстрировать актерскую природу, несовместимую с протоколами, следствием и розысками. В кабинете МВД я предстала перед человеком в форме. Усадив меня перед собой на стул, он стал расспрашивать, с кем я общаюсь. За спиной у меня сидел еще один тип, что создавало неприятное ощущение — я все время оглядывалась. Передо мной выложили четыре фотографии с портретами мужчин. «Вы кого-нибудь здесь знаете?» — спросил меня тот, что был напротив.

С одной из фотографий на меня смотрел один из моих хороших знакомых. Это был человек, с которым я общалась в течение последнего года. Мы выходили вместе поужинать в Дом кино, в Дом литераторов, в ВТО, появлялись в самых известных местах московского света. В свое время мне его представил приятель-актер как своего друга и очень интересного человека. С ним действительно было интересно. Он обладал фантастической эрудицией и знаниями во всех сферах, какой ни коснись — от медицины, философии и религии до мистики и паранормальных явлений. Себя он охарактеризовал как знатока тайных обществ всех времен и народов, при этом ни разу не назвал свое место работы. На нем был налет загадочности, который сгустился после того, как он попросил меня ни с кем и никогда не обсуждать его персону. Он производил впечатление незаурядного человека, к тому же был лишен пошлости, и ему хотелось верить. Несколько раз он помог мне в трудную минуту деньгами и советом, и это

также подтверждало его добрые намерения. Впрочем, точно и наверняка я знала о нем мало: семейный человек, женат на дочери маститого кинодеятеля. Не далее как два дня назад я вместе с ним и друзьями-актерами проводила время в ВТО.

Теперь его фотография лежала передо мной на столе в кабинете МВД. «Посмотрите получше, может, вспомните кого-нибудь из этих людей?» — снова повторил мне человек напротив. «Нет, никого из них я не знаю», — спокойно ответила я. Тогда он взял фотографию моего приятеля и протянул ее мне: «А вот этого не знаете?» Взглянув как будто впервые на того, с кем я не раз вела продолжительные беседы, я отрицательно покачала головой. «Ну, а если бы он был с бородой, может, тогда бы вы узнали?» — продолжали мучить меня вопросами. «Да нет, я никогда не видела этого человека. А кто это, почему вы спрашиваете, что-то случилось?» Я заинтересованно взглянула на следователя. «Да так, занимаемся расследованием одного дела, связанного с антиквариатом. Мы его разыскиваем, хотим знать, где он сейчас находится», — деловито пояснили мне. Тут я изобразила из себя этакую богемную диву и стала объяснять, как трудно в нашей среде кого-либо запомнить: мелькает перед глазами несметное количество личностей, я и сама порой диву даюсь — а кто это был? Дело близилось к финалу, и мне снова подсунули ручку с листком бумаги: «Ну хорошо, раз так, дайте нам расписку, что вы с ним не знакомы». — «А что я должна писать?» Мысль о расписке вызывала у меня тошноту (как тут не заработать булимию)… «Вы пишите, мы продиктуем». И он принялся формулировать содержание «записки». От меня требовалось подтвердить, что человек на фото мне не знаком. Сложнее всего было писать под диктовку имя и фамилию — я делала остановки, переспрашивала, даже для пущей убедительности сделала ошибку в написании.

Возвращаясь домой, я точно решила, что позвоню этому человеку и расскажу о случившемся. Я не сомневалась — следователи прекрасно знали, что я общаюсь с ним. Просто проверяли, могу ли я врать, а может, наоборот — хранить молчание. Так по крайней мере мне казалось. В подъезде своего дома я остановилась возле дежурной, чтобы позвонить с ее телефона. Застав нужного человека дома, я попросила о встрече, предупредив, что это важно. Мы договорились, что он подберет меня на машине в условленном месте. Было уже совсем темно, когда мы встретились и отправились колесить по Москве без определенной цели. Я возбужденно пересказывала ему свою беседу в МВД. «Не понимаю одного, — задала я наконец прямой вопрос, — если вас ищут, почему вы не прячетесь, а появляетесь в самых людных местах?» Ничего не ответив, он подвез меня к

моему дому и только на прощание, поцеловав руку, сказал: «Благодарю за трогательную заботу!» Я взглянула ему в глаза, перед тем как выскочить из машины, и пояснила: «Дело только в том, что мне кажется, они интересовались не вами, а мной!» Он продолжал молчать. Я попрощалась и вышла.

Глава 42. Кевин

В октябре 81-го я отмечала очередной день рождения. Среди приглашенных были моя сестра, подруга и соседка. Мужскую половину представлял цвет отечественной культуры — Саша Градский, Леня Ярмольник, Саша Абдулов, а также кинокритик Валя Эшпай и его приятель Андрей Богословский — поэт, прозаик! композитор. С Андреем мы были своего рода сиамскими близнецами, так как не только родились в один день, месяц и год, но, что не менее странно, находились когда-то в параллельном романе с супружеской четой: я с Кончаловским, он — с его женой-француженкой. Теперь супруги отъехали в дальнее зарубежье, а мы собрались на общее торжество. Одним словом, меня окружали друзья. Кто-то из них был женат, кто-то почти, одни пришли с девушками, другие оставили дам дома. В одиноком состоянии все еще пребывала одна лишь я, как тот самый неуловимый Джо из анекдота, который на фиг никому не нужен. Именно так я себя и ощущала. Впрочем, пенять было не на кого — я влюблялась в тех, кто был недосягаем в силу постоянного отсутствия на близлежащей территории.

После первого тоста я пригубила бокал шампанского и, оглядев собравшихся за праздничным столом «Бременских музыкантов», воскликнула: «Боже мой, ведь каждый из вас мог бы стать моим мужем!» Мое запоздалое открытие заставило некоторых поперхнуться и взглянуть на своих спутниц: прости ей, дуре — именинница все-таки! Ярмольник выронил рюмку и затрясся мелким хохотом. Он был первым в списке кандидатов. Придя как-то ко мне в белом костюме, он сделал предложение, потом пояснил, что проверял на «слабо», хотел завести «монополию на Кореневу». В отношении остальных я, конечно, сильно преувеличила, и все-таки нечто романтическое связывало меня почти с каждым. Даже с Сашей Градским, влюбленным в мою Джульетту, мы однажды отправились в круиз по Ленинским горам. Андрон тогда был в заграничной поездке. Мы не собирались наставлять ему рога, однако вдохновенно устремлялись все глубже в ночь, пока не запарковали машину в кустах. Тут произошло непредвиденное, как бывает только «в кино». Прямо перед нашим носом, в десяти метрах, стояла

машина Вивиан, жены Андрона! А вскоре из темноты вынырнула и ее фигурка, она бодрой походкой направилась в нашу сторону. Надо было что-то срочно предпринять: допустить мою с ней встречу в компании с Градским в четвертом часу утра было невозможно. Саша сдернул с сиденья какую-то тряпку и накрыл меня с головой, затем вышел ей навстречу. Радостно поприветствовав его, она подошла к машине и ткнула в меня пальцем: «Кто это? Почему она в чадре, это что — восточная женщина?» Сашка отшутился: «Да нет, просто замерзла, лучше не трогай ее, она нервная, еще укусит!» Вивиан не стала испытывать судьбу (вот что значит француженка!) и, быстро распрощавшись, вернулась к своей машине. Кто у нее там был замаскирован? Наверняка она кого-то спрятала в багажник! Так мы с Сашей избежали неприятных объяснений, а я — мести соперницы. Но наша прогулка была на этом резко закончена, он отвез меня домой, и нам обоим осталось лишь гадать всю жизнь: а что могло бы быть, если бы?.. Однако «если бы» у судьбы не бывает. Она расставляет много ложных капканов, чтобы в конце концов ты попался в тот, что уготован тебе. На том дне рождения я произнесла еще одну сакраментальную фразу, ставшую предсказанием моего ближайшего будущего: «Ребята, это мой последний день рождения здесь!» Все начали возмущаться: «Да ты еще поживешь, Ленок, что-то ты рано от нас собралась…» — «Да не в этом смысле, — пояснила я, — мне кажется, следующей осенью меня здесь не будет. Предчувствие». Меня не покидало ощущение, что я нахожусь в конце очень длинного жизненного этапа. Мне снились сны, в которых я летала над светящимися городами, и спустя год я вспомню о них, приземляясь над Нью-Йорком.

Инстинкт жизни заставляет человека временами переводить стрелки часов с некогда драгоценного прошлого в неизвестное будущее, открывать окна и двери навстречу ветру, грозящему их распахнуть. Моя, жизнь в квартире на Малой Грузинской, беспрерывная работа в кино, компании друзей с разговорами на кухне начали меня тяготить как отыгранный образ, сношенная обувь, напоминающая о всех дорогах, которые ты в них прошел. Память о прошлом еще недавно была в сладость, а теперь пригибала меня к земле своим грузом. Я набирала воздух в легкие и ждала перемен к лучшему, но вырваться из порочного круга болезненных воспоминаний не могла. «Здесь кто-то умер, и эти вещи напоминают мне об усопшем», — думала я, глядя на платья, купленные во время заграничных поездок с Андроном, сувениры, подаренные Убером, письма, открытки, фотографии, которые я хранила как реликвии, или привезенные Алешкой

Менглетом пластинки. — Когда-то они спасали меня, поддерживая связь с теми, с кем я рассталась. Своеобразное колдовство любви — материальное присутствие в вещах самого человека. В этой квартире я писала стихи, осмысливала нюансы чувств, которые были внове и потому давали силу, питали воображение. Здесь мне объяснялись в любви и делали предложения, которые я не принимала, обрекая себя на вдовство по тем, кто продолжал жить. «Охота пуще неволи, — любил повторять Андрон. — Настанет день, и все пошлешь к черту: и театр, и кино, и даже квартира не будет нужна!» Его слова звучали как пророчество.

Посещение кабинетов КГБ и МВД только напугало меня, загнало глубже в одиночество. Я знала, что куклам от Карабаса никуда не деться — он наблюдает со своих высот, пока они играют, гуляют, спят. И я была одной из этих кукол — то ли провинившейся, а может, особо полюбившейся «хозяину». А как же остальные, те, что приходят в мой дом? Кто из них уже согласился сотрудничать — каждый второй, третий или один из десятерых? И вот теперь ищет антисоветчиков, пока мы говорим тосты, смеемся, пляшем. Наверное, ему пришлось дать слово не рассказывать о посещении «кабинетов» даже близким, и сейчас он молчит, чувствуя, что попал в ловушку, а может, сам влез… Это льстит тщеславию, разжигает дух авантюризма: разведчик! Я рассказала кое-кому из друзей о своем контакте с органами и о фотографии знакомого, которого должна была опознать — что это было, в чем смысл «игры»? Но они не смогли мне ничего объяснить: «Забудь, не задавай лишних вопросов!» А со стороны доносились другие голоса, предостерегающие: «К тебе подослали, ты что, не понимаешь?» Голова пухла от подозрений, но я урезонивала себя: «Кому я нужна, просто попугали, чтоб знала свое место, тоже мне Мата Хари!» Но теперь я не была ни в чем уверена до конца: «А Андрон, может, и он тоже?» Помню, как он спросил меня, знаю ли я, почему он уезжает. Я тогда ответила: «…Если тебе это известно, зачем мне гадать на кофейной гуще?» «Да нет, это шпиономания», — отметала я все подозрения, но затем начинала думать по новому кругу.

В декабре я улетела сниматься в Одессу. Это был мой первый творческий компромисс — роль дурацкая, сценарий дурацкий. К тому же пришлось играть работницу МВД — теперь я считала себя компетентной. «Лицо нацистки, на носу очки!» — так я решила свой образ. Кроме меня в этом «шедевре» снимались Наташа Андрейченко и Лариса Удовиченко. «Если облажаюсь, то хоть в компании с хорошими актрисами и красивыми женщинами», — успокаивала я себя. Тот факт, что я снова

оказалась в Одессе, городе, связывающем меня с детством (мой отец работал когда-то на местной киностудии), подтверждал мою теорию перемен. Я специально сюда попала, чтоб набраться энергии, отметиться во дворах своего детства и проститься с ними. Отмечая с группой первый, второй, последний съемочные дни, я говорила новым знакомым: «Желаю счастья во всем, что у вас впереди, я буду о вас помнить, я люблю вас!» Я прощалась, прощалась, прощалась.

Новый год я встретила уже в Москве. Поразительная вещь: без пяти двенадцать ты еще отягощен всем своим багажом старого белья, а в пятнадцать минут первого уже гол, как младенец! В ежегодную алхимию смены старого новым очень хочется верить, а мне в тот год верилось особенно сильно. В первые дни января в компании с Ярмольником, Абдуловым и нашей общей приятельницей-американкой Микки я отправилась в гости, где обещали показывать новые фильмы на видео. Микки (от Мишель) работала в Москве, хорошо говорила по-русски и была в третьем поколении из семьи эмигрантов с Украины. Приглашая на вечеринку, а это был дом ее друзей, она предупредила: «Будут американцы из Института русского языка. Представляешь, Лена, руководитель группы, только что приехавшей в Москву на полгода, оказался моим однокурсником по колледжу в Амхерсте! Его зовут Кевин, я вас познакомлю».

Мы пришли последними, в комнате уже сидели вперемежку русские и американцы. Что-то случилось с проектором, и вместо кино пришлось общаться, заедая коктейли печеньем. Было довольно тесно, и я нашла свободный уголок, приземлившись прямо возле Кевина, о котором говорила мне Микки. Он оказался немногословным молодым человеком, и я ерзала на стуле, не зная, что делать. «Ну вот, — мелькнуло у меня в голове, — села, теперь должна тащить из него каждое слово! Наверное, он плохо понимает, оттого и молчит». Американские студенты на первый взгляд отличались наивностью, «правильностью». Их эмоции были приглушены, и создавалось впечатление, что ты общаешься с детьми или недотепами. Но Сашка Абдулов, как всегда, отвлек все внимание на себя, стал развлекать, а за ним и Ленька Ярмольник подтянулся, и уже через полчаса все смотрели концерт в исполнении этого прославленного дуэта. Кевин оживился и начал хохотать, как-то очень по-детски заливаясь и краснея. «Это наши известные артисты, — пояснила я. — А вот у того, что повыше, сейчас в театре премьера — „Юнона и Авось“, про Россию и Америку». Расставаясь, Абдулов пообещал, что пригласит американцев на премьеру. Спустя несколько дней мне позвонил Кевин и напомнил о билетах в театр. Я взялась пойти

вместе с ним в «Ленком». «У нас оказалось много свободного времени, так как в Москве никто не работает, все продолжают праздновать Новый год, и дней десять мы свободны от занятий», — сказал он мне при встрече. Как выяснилось, он говорил по-русски блестяще, с неуловимым акцентом, делая временами смешные ударения в словах (цв-е-точки, вместо цвет-о-чки, а также коньек-горбуньок). После «Юноны» мне пришлось взять над ним культурное шефство, потому что он продолжал звонить и проситься в театр. На каждом спектакле Кевин заливался веселым смехом по каким-то ему одному понятным поводам, и это придавало ему обаяния, не говоря уже о беззащитности, которая отличает всегда иностранцев в чужой стране. Однажды он робко улыбнулся и спросил: «Почему на меня никто не вешается?» Я удивилась: «В каком смысле?» — «Мне говорили, что в Москве на меня все женщины будут вешаться — они ищут американцев, чтобы уехать из СССР». Я его успокоила, что скоро начнут, подожди, затем поинтересовалась: «А ты мог бы жениться на русской?» Он поднял брови и непринужденно ответил: «Все зависит от обстоятельств, если нужно помочь, почему бы и нет?» Возвращаясь поздно вечером после спектаклей, он всегда шел провожать меня, при этом, если с нами была Микки или его студентки, он говорил, что их провожать нет никакой надобности, они привыкли быть самостоятельными. «Современные американки теперь все феминистки, они потеряли женственность, и наши мужчины не знают, что с ними делать», — описал он взаимоотношения полов, сложившиеся у него на родине.

Как-то раз мы вместе отправились в ресторан «Белград». Я взяла с собой школьную подругу, которая незадолго до того порвала со своим любовником и жаждала сменить настроение. Она была красивой брюнеткой в стиле «вамп» и сразу пригласила Кевина танцевать. Он согласился, но замешкался, полез в свою сумку и начал чем-то шуршать. Когда наконец они вышли в центр зала, я взглянула под стол — там стояли два резиновых бота на меху, ожидая своего владельца. «Какой трогательный, — отметила я, — взял с собой сменную обувь для танцев, как в детском саду». Моя подруга была в ударе и принялась напропалую соблазнять Кевина. Теперь ей хотелось все время проводить с нами, и при каждой встрече она старалась привязать его к себе. Застигнутая врасплох таким оборотом дел, я сказала Кевину, что он вправе отвечать ей взаимностью, не смущаясь моим присутствием. Он принял мои слова к сведению, однако не предпринимал никаких действий в нужном направлении.

Отправившись как-то со мной на Таганку смотреть «Мастера

и Маргариту», Кевин оказался в затруднительном положении. Спектакль заканчивался позже обычного, а ему предстояло вернуться в общежитие не позднее двенадцати ночи, когда двери намертво запирались несговорчивыми старушенциями. Кевин явно не успевал досмотреть спектакль — возвращаться предстояло в Беляево, да к тому же городским транспортом. Мне стало жалко его, и я предложила заночевать у меня. На обратном пути он сетовал на наших старушек: «Почему у вас все советуют, что делать? Идешь, а тебе вслед кричат: „Надень шапку, милок!“ Оборачиваюсь, а там сморщенная такая сидит, я ее первый раз вижу, кто это? Почему она считает, что я непременно должен надеть шапку? Трудно представить, чтобы в Америке прохожие говорили друг другу: „Застегни куртку!“ или „Зашнуруй ботинки покрепче да вместо майки рубашку надень!“» Я сразу вспомнила до боли знакомые окрики: «Ишь как вырядилась, юбку подлиннее надо бы надеть!» Все, что казалось привычным и родным, вдруг приобрело черты абсурда. Не успела я отсмеяться над первыми наблюдениями американца в России, как он тут же подбросил мне новый повод для размышления. «Я тоже заметил, что у вас собак называют именами американцев: Чарли, Фанни, Джек, Долли. Впрочем, имена вообще вещь любопытная. Например, в Мексике очень модно сейчас женское имя Анна Каренина, причем „Каренина“ — это не фамилия, а второе имя, как Анна Луиза. Представляешь, — Анна Каренина Гонзалес!»

Уже дома, на кухне за чашкой чая разговор зашел о национальной кухне, и тут Кевин начал восторгаться маринованным чесноком и гурийской капустой, но больше всего комплиментов досталось скромным стеблям черемши, которая не растет в Америке. Непревзойденной экзотикой для американца стала вобла, особенно способ ее употребления — предварительное битье рыбешки об угол стола, затем вдумчивая дегустация соленых косточек — это казалось ему чем-то сюрреалистическим, за гранью добра и зла. «А как насчет питья одеколонов, а при случае — употребления зубной пасты в тех же целях?» — решила я добить белого человека. Но Кевин был подкованным славистом, он читал книгу Венички Ерофеева «Москва — Петушки», так что с крайними проявлениями русского характера был знаком по литературе. Затем мы стали хвастаться друг другу своими талантами. Начали с демонстрации возможностей индивидуальной мимики: «Смотри, как я двигаю левой бровью и ушами!» — «…А я могу языком достать до носа и высовывать его как ящерица!» По ходу дела выяснилось, что, обучаясь в колледже, Кевин пел в одном хоре с принцем Монако Альбертом — сыном голливудской звезды Грейс Келли. Однажды

во время мирового турне хор был приглашен в королевство Монако и в честь этого был устроен бал. Кевин не растерялся и пригласил на танец королеву Грейс. «И она пошла!» — с завистью и восхищением воскликнула я. «Конечно!» — не без гордости заметил он. «Ну и как?» — продолжала я, не веря тому, что слышала. «Королева!» — вынес окончательный вердикт Кевин. На сон грядущий он предложил мне исполнить на выбор какой-нибудь гимн, сказав, что с этого начиналось выступление хора в каждой стране, поэтому он знает их навалом. «А какой у тебя любимый?» — полюбопытствовала я. «Польский, — улыбнувшись, ответил Кевин и запел: Ешьче Полска не згинева!» На такой оптимистической ноте я засыпала той ночью — с верой в будущее Польши, с гордостью за братьев славян, под звуки приятного американского тенора, обладатель которого не поленился вникнуть во все наши жизненные перипетии.

Утром раздался звонок телефона: «Пожалуйста Кевина!» — просил женский голос. Я позвала его к телефону и задумалась: кто же может ему сюда звонить? Вскоре выяснилось, что это моя школьная подруга «вамп». С этого момента я начала испытывать замешательство. Ревновать у меня пока не было оснований, но ее агрессия заставляла сделать выбор: отдавать или держать. Я начала бороться за «своего» американца. Дух соперничества разыгрался не на шутку и привел к тому, что мы с Кевином оказались в одной постели. Подруга продолжала звонить, но теперь я передавала трубку, лежа с ним под одеялом.

После первой близости я почувствовала, что влюбляюсь в него. При этом я не испытывала ни робости, ни приступов желания, которые чаще всего свойственны зарождающемуся чувству. На первый взгляд Кевин не принадлежал к «моему типу» — его сексуальность была мало ощутима при свете дня, что позволяло легко с ним общаться и быть на дружеской ноге. Такое со мной происходило впервые. Обычно я переживала влюбленность как болезнь, присутствие желанного мужчины подавляло меня, ввергало в омут переживаний. Это затрудняло сосуществование в общем пространстве, я смотрела на себя со стороны, контролировала каждое слово и жест, желая понравиться, привлечь. Так называемые «мачо», или сильные мужчины, обрекали меня в основном на роль ведомой женщины, которую желают, подавляют, ею овладевают, ее хотят… а когда не хотят, то оставляют или начинают хотеть другую, чтобы проще было оставить… эту. Поэтому личные взаимоотношения требовали чрезмерных усилий с моей стороны, заставляли пристраиваться к чужой индивидуальности в ущерб своей и заканчивались «ремонтно-восстановительными работами»

собственного «я». В случае с Кевином я оставалась самой собой, целой и невредимой, с руками и ногами — и меня это радовало, но главное — это было совсем незнакомое состояние. Как хорошо быть непокалеченной, простой, ходить вместе в убогую булочную, спокойно молчать, не робеть перед интеллектуальным превосходством, не стесняться, что в доме два рассыхающихся от старости кресла, а у меня — припухшее от сна некрасивое лицо. А еще мне очень весело, что рядом со мной какой-то марсианин — он хихикает в театре, когда все молчат, цитирует Пушкина, которого знает лучше меня, сидит до первых петухов в дымной кухне с русским столом, полным винегретов и водки, и, что совсем уж странно, запоминает такие имена и фамилии, как Кокошкин Иван Станиславович и Алябьева Алевтина Витальевна! А к тому, что он все время поет: «Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь…» — я давно привыкла. Как-то раз я обратила внимание, как он записывает что-то в свою тетрадочку. Оказалось, это были новые выражения, услышанные накануне в компании. Я попросила разрешения заглянуть в нее и обнаружила длинный столбик русского мата. Такого количества выражений, составленных из одних и тех же слов, я и представить себе не могла. Все глаголы на «ать» были выведены аккуратным мелким почерком. «Зачем это?» — спросила я. «Меня интересует все в русском языке, я же славист. Кстати, что значит „у-вай отсюда науй“? Услышав мое вдохновенное объяснение, он вопросительно поднял брови и задумчиво произнес: „Странно…“»

Четырнадцатого февраля, в День Святого Валентина, Кевин подарил мне цветы и открытку: «Будь моей Валентиной!» — и нарисовал большое сердце, пронзенное стрелой. Тема брака начала витать в воздухе, но подвело меня к этому почти мистическое чувство, которое я испытала. Собираясь как-то вечером пойти в гости, я стояла в ванной и красила ресницы. Кевин тем временем сидел на кухне и что-то внимательно читал. «Заговори с ним о браке, сейчас или никогда!» — прозвучало в моей голове. Я начала волноваться. «Что за черт, почему я должна с ним говорить? Сам скажет, если нужно!» — отмахнулась я от навязчивой мысли. «Нет, именно сейчас, ты без этого не сможешь сегодня вечером никуда пойти» — продолжал убеждать меня внутренний голос. Теперь у меня тряслись руки, я старалась перевести дыхание успокоиться и продолжить красить ресницы. Но ничего не получилось. Мне стало невыносимо оставаться в душной маленькой ванной, я несколько раз выходила, смотрела на Кевина и снова возвращалась. Он продолжал читать, не поднимая головы. «Кто это со мной разговаривает? Может, он меня гипнотизирует?» Мне начало казаться, что я схожу с ума.

Выйдя очередной раз из ванной, я посмотрела на Кевина. Он поднял взгляд и спросил: «Да?» Я стояла как парализованная. «Нет, ничего». И снова направилась в ванную. Меня стало мутить, и голос тут же отреагировал: «Ты заболела, иди и скажи — сразу выздоровеешь!» Я снова оказалась на кухне. «Как мы будем дальше? Я хочу понять, ты думаешь о нашем браке?» — «Да, теперь думаю», — ответил Кевин. «Ну ладно, потом обсудим», — отмахнулась я и благополучно докрасила ресницы. Все покатилось как по маслу.

Уже в Америке я пойду к женщине-астрологу и спрошу о своем браке. Она сравнит наши звездные карты и скажет, что время моего знакомства с Кевином по астрологическим часам указывало на супружество. Мы познакомились третьего января 1982-го, а третьего января 53-го мои родители зачали меня в любви. Падал снег огромными хлопьями…

Глава 43. Американские горки, русская рулетка

«Я должен тебе признаться, что моя личная жизнь похожа на мыльную оперу», — сказал мне Кевин однажды вечером в момент взаимной откровенности. «А что такое мыльная опера?» — поинтересовалась я. Этот термин еще не был знаком советскому человеку. «Ну, это когда много пошлой мелодрамы», — пояснил он. Такой ответ меня позабавил — Кевин отнюдь не напоминал человека, обуреваемого страстями или провоцирующего любовные интриги. «Я не понимаю — почему?» — переспросила я. «Дело в том, что я влюбляюсь как в женщин, так и в мужчин. Я бисексуален, впрочем, как все мы, только в одних это подавлено, а в других — нет, все зависит от обстоятельств и случая». — «Ну что ж, это даже интересно», — сказала я бодро, придав лицу как можно более непринужденное выражение. И задумалась: в проблемах сексменьшинств я разбиралась плохо. Однако была наслышана, что среди них встречаются люди выдающиеся, чуть ли не гении. Можно даже предположить, что в их рядах ярких личностей побольше, нежели среди людей… банальной ориентации. Я мысленно вообразила благородное чело Петра Ильича Чайковского, а также Оскара Уайльда с бантом на шее. «А ты пассивный или активный?» — проявила я свою компетентность. Кевин засмеялся: «Это очень грубое деление, так нельзя определять каждого человека». — «Так кто тебе больше нравится, мужчины или женщины?» — допытывалась я, заинтригованная такой запретной темой. «Мне нравятся и те и другие. Так я устроен, и с этим уже ничего не поделаешь. Я заметил, что ты тоже обращаешь внимание в первую очередь на

женщин, в тебе это есть, только бессознательно». Я возмутилась: «Конечно, обращаю, потому что они мои соперницы. Я отмечаю, кто красивее меня, кто лучше одет, это защита, если хочешь». Кевин опять улыбнулся с видом человека, понимающего больше в этом вопросе. «Ты просто так оправдываешь свою природную бисексуальность». — «Нет, конечно, — стала я вспоминать. — В детстве я любила своих подруг, особенно итальянку Фиореллу. Я могу представить любовь к женщине, но не желание с ней спать». «Между любовью к мужчине и женщине нет никакой разницы. Если любишь, хочешь соединиться, вот и все», — объяснял мне Кевин как школьнице. «Ну извини, большинство мужчин ужаснутся при мысли о физической близости с себе подобными!» — выразила я распространенную точку зрения. «Да, но чем агрессивнее они защищают себя от этой мысли, тем очевиднее, что это вытеснение их желания». — Кевин снова засмеялся. «Вытеснение, это что?» Я не понимала ни слов, ни смысла. «Ну, это фрейдистский термин: человек с детства подавляет свои инстинкты и влечения, загоняя их в подсознание, а они все равно просятся наружу, демонстрируя себя в снах и вообще самым неожиданным образом. Тот, кто дерзнул узнать, что у него вытеснено, тот свободен, а кто игнорирует свои подавленные желания — несчастен», — закончил свою лекцию Кевин. «А родители в курсе твоей личной жизни?» — спросила я через паузу. «Нет… Возможно, догадываются, знает сестра. Я и сам долго не мог разобраться, а потом признался самому себе, что это так. У нас говорят о человеке, который открыто заявляет о своей сексуальной ориентации, что он „вышел из клозета“ или темной комнаты, — это идиоматическое выражение. Сидеть слишком долго в „клозете“ — стыдно и вредно. Но в СССР нельзя этого сделать, за это посадят».

Теперь марсианский аспект личности Кевина окончательно сложился в моих глазах. Я получила возможность и повод изучать совершенно новую для себя психологию «нестандартной личности». Чувство исследователя взяло верх над женским инстинктом самосохранения. Мне было важно, что Кевин полюбил меня и готов на брак ради моего спасения. О том, что мне страшно жить и я никому не доверяю, он знал из моих рассказов. Ему я обязана была ответить доверием на доверие. «Я — свободно мыслящая современная женщина!» — так я привыкла думать. «Эх, Леночка, Леночка, доведет вас до беды ваше любопытство!» — вспомнились мне слова одного знакомого. Он тихо посмеивался в свой ус, слушая мои рассуждения о жизни. «Лучше удовлетворенное любопытство, знание, чем мрак однообразия и невежества» — так звучало мое кредо, и я

продолжала задавать бесконечные вопросы. Глядя в глаза Кевину, я понимала, что приобретаю вновь потерянную мной в людях надежность и ясность. Его разум и здравый смысл, его честность, в конце концов, расставляли по местам бесконечно запутанные связи — «причины и следствия», «слова и дела», разоблачали нашу общую несостоятельность, страх и ложь.

Провозгласить себя человеком без предрассудков, далеким от ханжества — дело похвальное, но несложное. Я наивно предполагала, что моя новая роль невесты бисексуального мужчины мне под силу, и даже находила в этом нечто героическое. Мое самолюбие тешила мысль, что, решаясь на неординарный брак, я иду дальше других, обыкновенных женщин. Но проживать день ото дня свою новую роль оказалось гораздо труднее, чем фантазировать о ней.

Первое столкновение с безоглядно принятой мной реальностью произошло весной. Кевин уехал с группой студентов на неделю в Грузию и вернулся оттуда с новым приливом сил в отношении брака. «Я понял, что серьезно влюблен в тебя», — сказал он мне при встрече. «За мной начал ухаживать один красивый тип, и у меня ничего с ним не получилось, я все время думал о тебе», — сообщил он мне радостно. Эти слова сбросили меня с пуховых перин прямо на асфальт. Это что же получается — в то время, как я в Москве мечтаю о тихом надежном уюте, он еще что-то пробует и у него ничего не выходит? «Какой такой тип, кто — грузин? Откуда он, с улицы? Ты проверял свои чувства ко мне на человеке, которого первый раз видишь? — Я не могла успокоиться. — Уж молчал бы лучше!» А Кевин в свою очередь не ожидал такой реакции — он думал, что обрадует меня приобретенной им уверенностью. Мое представление о наступающем долгожданном покое рассеялось как дым. Я так и не смогла больше вернуть счастливые надежды первых недель, связанные с предстоящим браком. Спрятав вглубь свое потрясение, я стала надеяться, что со временем привыкну к необычным ощущениям и новой форме ревности.

Начались хлопоты по сбору документов для подачи заявления в загс. Кевин написал письма родителям и друзьям, спрашивая совета и разрешения на брак. (Советы с друзьями меня тоже оскорбляли: он мне доверяет меньше своих друзей? Представляю, что они ему насоветуют через океан!)

На пути к нашему бракосочетанию лежали невидимые препятствия, как это бывало в те годы в случае с иностранцами. Все делалось очень просто: в последний момент требовалась недостающая бумажка, а потом еще одна и еще, и так вплоть до срока, когда у приезжего истекала виза. Как правило, уезжавший

из нашей страны повторную визу на въезд больше не получал. Такое могло случиться и после регистрации брака, что влекло за собой разъединение супругов на долгие годы, если не навсегда. Нам пришлось держать в тайне наши намерения, пока это было возможно, а после подачи заявления мы в течение трех месяцев не знали, зарегистрируют нас или отошлют за «недостающим документом».

Между тем моя актерская деятельность продолжалась. Я начала сниматься у Михаила Козакова в телеспектакле «Попечители», по пьесе Островского «Последняя жертва». Я не без иронии отметила, что роль в пьесе с таким названием стала моей последней работой до отъезда в США! В новой постановке я исполняла роль Ирины Лавровны, характерной героини, а моим партнером снова был Олег Янковский. Любопытно, что и в этом случае, как уже случалось прежде, между ролью и жизнью были прямые параллели. Моя героиня — невеста на выданье, лукавая и жеманная… если не сказать дура — дурость вообще знакомое женщинам состояние, особенно когда они засиделись в девках. Весь период съемки я хранила молчание о предстоящем браке, однако внутренне меня грело ожидание предстоящего события, и наверняка глаза сияли, как никогда прежде. Но после подачи заявления хранить молчание стало бессмысленным, и я рассказала обо всем Мише Козакову. Он пришел в ужас: что будет с двумя его фильмами, в которых я снялась? Если бы еще только брак, но ведь я собралась уезжать в Америку. Но он ничего не мог поделать, только ждать и надеяться. Он понимал, что решать свою судьбу самостоятельно — это мое право. (Интересно, в какой еще стране судьба картины могла зависеть от переезда актрисы на ПМЖ на другой континент?) Весь свой гнев и иронию Миша выразит, написав сатирическое стихотворение, в котором «артистка Коренева-фря» завела романчик с приезжим славистом и оставила его, режиссера, «с носом», уехав в Америку. Как-то после съемки Олег Янковский предложил подвезти меня до дома на своей машине. «Лена, — обратился он ко мне, крутя баранку своих „Жигулей“, — у меня в определенных инстанциях есть знакомый, так вот, я от него узнал, что ты попала в „черный список“, имей это в виду!» Я поблагодарила его за информацию, не совсем понимая тогда, что она означает конкретно для меня. (Когда через год мне откажут в визе на въезд в СССР, я пойму смысл «черного списка».)

Наше бракосочетание было назначено на пятнадцатое июня — как выяснится позднее, день рождения Юрия Андропова. В назначенный день и час мы с Кевином предстали перед работницей загса. Увидев такую харизматическую парочку, она

выбежала куда-то и отсутствовала минут двадцать. Мы переглянулись и приготовились к тому, что сейчас отошлют за каким-нибудь свидетельством — ну, например, о том, что Кевин принадлежит мужскому полу. «Мне не дадут расписаться, отомстят за несговорчивость с определенными инстанциями!» — крутилось в моей голове. Но тут появилась исчезнувшая было дама и, приветливо улыбнувшись, начала подписывать нужные документы. Я не верила своим глазам: нам дали добро!

Мы решили шикануть и справить свадьбу в модном и дорогом месте — в ресторане гостиницы «Международная». Моими гостями стали все боевые друзья: Градский, Абдулов, Ярмольник, Таня Догилева, с которой мы не разлучались после «Покровских ворот», Миша Козаков, его жена Регина, бывшая моей свидетельницей в загсе, Николай Львович Двигубский, а еще американка Микки, «роковая» школьная подруга, моя мама, сестра и многие другие близкие мне люди. Кевин пригласил своих новых друзей, так что и он со своей стороны не был в одиночестве. Абдулов с Ярмольником и их верная компания, в которой был Витя Иванов, каскадер с лицом голливудской звезды, подарили мне пластинку русских военных маршей, и в том числе «Прощание славянки» — бодрящий и душераздирающий намек. На конверте собственного изготовления была их групповая фотография, на лицевой стороне в смокингах, а на обороте в обнаженном виде, где они, с цилиндрами на голове и бабочками на шее, прикрывались вместо фигового листка граммофоном. Автором снимка был мэтр отечественной светской фотографии Валерий Плотников. На пластинке красовалась надпись: «Бедность не порок» — название «музыкальной группы». Спасибо, ребята, и за «Славянку» и за назидание, что бедность не порок, и за все! Сашка Градский принес охапку алых роз, которые даже он с трудом удерживал в своих объятиях. Эх, Саня, что ж мы тогда на Ленинских горах-то оплошали, глядишь, жизнь пошла бы по-другому, да что теперь — уезжаю! Его тезка Саша Синицын — автор хита «ВВС», что прозвучал в фильме «Асса», — подарил мой собственный портрет в стиле ретро. Придя как-то ко мне рано утром, он настоял на том, чтобы я дала себя поснимать. Этот «экспромт» оказался одним из лучших моих фотообразов. «Пригодится, вот увидишь», — приговаривал Саша, нацеливая свою камеру, пока «модель» капризничала: «Я легла в семь утра, в таком состоянии нельзя фотографироваться». Он оказался дальновиднее — портрет повесили на стенку, и, когда я застряну в Штатах, он немного скрасит мамино ожидание.

После ресторана перебрались в мою квартиру, продолжать гулянье — такое ведь раз в жизни бывает… В ресторане меня

ожидал сюрприз. Когда мы пошли расплачиваться, выяснилось, что кто-то из гостей уже оплатил наш счет. Это, наверное, был свадебный подарок. Спасибо анонимному «попечителю»! Мы с Кевином были изрядно пьяны от шампанского и дерзости самой попытки совместной жизни в браке. Ну что ж, удивлять, так на полную катушку: по дороге на Малую Грузинскую он предложил мне испробовать на вкус белые гвоздики — они оказались очень нежными. Наверное, в меню ангелов входят ромашки, колокольчики, розы… А наш союз чем-то напоминал двух счастливых и бесполых карапузов в белых рубашках. В Америке мы продолжим начатую традицию и съедим все лилии в округе. Спустя неделю после свадьбы Кевин улетел в Америку. Мне предстояло оформить документы для моего переезда на постоянное место жительства супруга.

Бюрократической волокиты я на этом этапе избежала, если не считать справки с места работы, которую потребовали в ОВИРе. Так как я уже несколько лет не работала в театре, но числилась в Союзе кинематографистов, мне пришлось обратиться к ним. В «Союзе» меня направили в хозчасть, где засвидетельствовали, что за мной нет никаких задолженностей: взносы платила исправно, сломанные стулья починила, украденные веники вернула. Однако справочку выдавать отказались, пока я не напишу «добровольное» заявление о выходе из Союза кинематографистов. «А я хочу остаться в его рядах», — упорствовала исправная плательщица членских взносов. «Тогда справку не получите!» — отвечали в хозчасти. «Ну так выгоняйте меня, добровольно я не уйду!» — «Не выгоним, только добровольно, уйдите, пожалуйста» — и так далее. Насильно мил не будешь, пришлось отказаться от престижного членства.

Для меня настал самый трудный момент — обсуждение моего решения с близкими. Мама с сестрой переживали предстоящую разлуку, сомневались, правильный ли я делаю выбор, но переубедить меня не могли. Муж моей сестры, Павел, проводил со мной беседы, пытаясь объяснить, что является приоритетом в жизни человека. Выстраивая иерархию ценностей, он чертил на листке бумаги кружки, в центре которых была я. Самым близким кругом в его схеме была семья — мои родители, сестра, а следующим — дом, Родина. Но я встречала его лекции со щитом в руках, и меня было трудно пробить любыми доводами. «Зачем ты туда едешь?» — неоднократно спрашивали меня близкие. Я отвечала, что не могу продолжать делать то, что делаю, мне нужна пауза, накопление. «Я съезжу и вернусь», — успокаивала я родных. Моя мама даже устроила мне свидание с родственницей-психиатром. Та долго слушала меня, глядя прямо в зрачок,

задавала те же вопросы: зачем, почему, что ты будешь делать? Выяснив, что меня привлекает ситуация неизвестности, а здесь я все могу предвидеть наперед, она сделала вывод, о котором поведала мне мама: «Ты человек такой организации, сказала Любочка (психиатр), что тебе нужен бег с препятствиями». Ничего не поделаешь: пан или пропал! У меня от встречи с родственницей остался тяжелый осадок — так, не моргая, мне еще никто не смотрел в зрачок.

Хуже всех на мое решение о браке и отъезде среагировал отец. «Я не думал, что ты такая дура!» — воскликнул он и не стал со мной больше разговаривать. Он обиделся, что я поставила его перед фактом, вместо того чтобы посоветоваться. Но не только. Мама, сестра, бабушка, отец — они любили меня, вот и все. И то, что на Западе называется «начать самостоятельную жизнь», у нас называлось — «оторвать от себя… с мясом»! Впрочем, в Советском Союзе уезжающих на Запад провожали как на войну, то есть навсегда. Никто не мог знать наверняка, каковы будут последствия для отъезжающих.

В сентябре я улетала в Америку. В аэропорт меня поехала провожать мама и ее двоюродная тетя — одинокая пожилая женщина. А повез нас на своей машине мой приятель, один из лабухов бывшей группы «Самоцветы», Юра Иванов. Расцеловавшись с сестрой, я вышла из дома, оставив ее стоять у окна и смотреть мне вслед. Она заливалась горькими слезами, точь-в-точь как это делала в детстве, когда ждала родителей. «Ленка, когда заработаешь первый миллион, — сказала она незадолго до моего отъезда, — то хоть не торопись, подумай, на что тратить!» Моя прелестная, трогательная сестра дала мне совет от чистого сердца. Ее муж, Павел, вынес чемоданы, усадил меня, маму и тетю в машину, постоял немного, затем резко отвернулся, махнув в мою сторону рукой: «Езжай, езжай, езжай!» — и пошел, не оглядываясь, к дому. Машина тронулась. Приехав в Шереметьево, я обратила внимание на журнал с моей фотографией на обложке работы того же Валерия Плотникова. Приподняв соломенную шляпу рукой, я улыбалась: одновременно «здрасьте» и «до свидания»! Когда подошла моя очередь к таможеннику, женщина в форме отвела меня в кабинку, где попросила раздеться, оставив стоять нагишом. Проверив, не спрятано ли что-либо у меня на теле, мне разрешили одеться. Я расцеловалась с мамой и тетей. «Я скоро вернусь, не позднее лета», — сказала я им и скрылась из виду.

Это было в сентябре 1982 года. Вернуться в Москву я смогла только весной 1986-го. За это время моя мама будет приглашать меня восемь раз и столько же получит отказов. В ОВИРе ей будут

говорить: «Приезд вашей дочери считаем нецелесообразным» — и предлагать прийти еще раз через шесть месяцев… Без въездной визы в те годы приехать на Родину было невозможно, даже гражданке СССР. Мое имя уберут из титров ряда картин, киноэнциклопедий и словарей. Обо мне распустят сплетни, что я спилась и повесилась. Бедность не порок, ребята, но тех, кто не смог выдавить из себя по капле раба, она очень озлобляет, порождает зависть и месть.

4. Америка после Колумба

Глава 44. Назад в будущее

Мне пять лет. Папа приехал в Москву и забрал меня прямо в пижаме, чтобы отвезти в аэропорт. Мы сели в самолет и прилетели в Одессу. Я иду по двору с мамой и спрашиваю: «У тебя есть здесь знакомая курочка?» Мама кажется мне иностранкой — у нее выгоревшие на солнце волосы и платье в белый горошек. За год, что она живет с папой в Одессе, я от нее отвыкла. Деревянный Буратино со сломанной ногой мне сейчас ближе мамы — я привезла его с собой из Москвы. Но скоро я освоюсь, в мой мир войдут сандалии, купленные в универмаге, и все то, что я найду под ногами — муравьи, абрикосовые плоды, каштановые колючки: мне легче смотреть вниз на свою обновку, чем задирать голову. Однажды соседская девочка предложит мне совершить побег из дома. Я выйду со двора на улицу и буду топтаться на месте, не зная, что делать дальше. Ко мне подойдет женщина и спросит, зачем я здесь болтаюсь без толку, лучше б маме с папой помогла. Она даст мне пятак и скажет, чтоб я пошла в магазин и купила домой булку — все-таки помощь по хозяйству.

Москва, мне девять лет. Моя подружка Галька Уткина поссорилась со своей мамой, и мы бредем с ней по улице Веснина, уходя все дальше от дома. Темнеет, мы выходим на Садовое кольцо. Дует ветер, мимо нас проносятся машины, навстречу идет толпа людей, их так много, что голова начинает кружиться. Мы понимаем, что заблудились. Становится страшно и холодно. Мы забегаем в магазин погреться. У меня трясутся колени от голода и дерзости, которую мы себе позволили: идти куда глаза глядят. «Что если я их больше не увижу? Никогда теперь не уйду из дома, никогда!» По моему лицу текут слезы.

Мои первые опыты эмиграции — в соседний двор, район, улицу — заканчиваются полной капитуляцией. Дома тепло, а вдали от него — страшно.

Мне четыре года. Родители привели меня в детский сад в вельветовых брюках. Этот костюм — подарок Тани и Игоря, моих родственников, которые приехали из-за границы. Все девочки в группе носят юбочки. На меня смотрят с любопытством и боятся со мной играть. Воспитательница спрашивает: «Что это на тебе?» Я не понимаю, о чем меня спрашивают, и не знаю, что ответить. Вечером за мной приходят родители. Воспитательница делает им выговор. С меня снимают брюки и надевают юбочку. Дети снова

играют со мной. Теперь я знаю, что такое «выделяться из толпы».

Мне шесть лет. Меня отправляют в летний лагерь. Я смотрю на маму — ветер играет ее волосами и синим платьем, она кажется ромашкой в васильковом поле. Сейчас я с ней расстанусь, у меня ноет сердце, но я стараюсь не плакать. Первая ночь в лагере самая тяжелая. Мне кажется, что я заболела, хочется сжаться в комочек, обхватив колени руками, чтобы не чувствовать холодных незнакомых простыней. «Лена Коренева, посылка!» Мне протягивают пакет. В нем пирожки, завернутые в салфетки, и письмо из дома. Я целую круглый почерк, которым выведено «мама и папа»… Ночь, все в волнении: из лагеря убежал мальчик. Вожатые переговариваются, ходят по палатам. Слышен гул машин, луч прожектора шарит по кустам, пробегает по окнам. «Он скрылся в лесу», «он вышел за пределы территории», «его найдут и отправят домой, а там…» — до моего слуха доносятся обрывки фраз, которыми обмениваются взрослые. «Война!» — думаю я и, мысленно представив мальчика повешенным, в ужасе засыпаю.

Приближается пересменок. На заключительном концерте я танцую индийский танец и пою в хоре. Я мечтаю вернуться домой и в чистом белье сесть у телевизора с ароматной булочкой в руках. Последний день. Ко мне подходит вожатая и сообщает, что я остаюсь в лагере на второй срок, мама с папой не смогли меня взять, они заняты на работе. Я смотрю в окно столовой на садящееся за деревья солнце и изо всех сил стараюсь не разреветься. Напротив меня за столом сидит мой двоюродный брат. Он младше меня на полтора года, у него большие щеки в ямочках и рыжие кудри. Он не понимает, где мы находимся. С моего лица исчезает гримаса, и я показываю ему желтую грушу, которую сохранила со вчерашнего ужина. В этот трудный для обоих час — мы вместе.

То, что боль ожидания, как и всякая другая боль, — это фактор времени, которое в свою очередь — фактор сознания, я начну догадываться тем летом в лагере. Соприкоснувшись впервые с перевертышами судьбы, я испытала щемящее чувство привязанности к младшим и непреодолимый страх за тех, кто «бежал».

Мне десять лет. Я заболела корью и лежу в больнице вместе с пятью другими девочками. Нянька ругается, убирая палату, и я чувствую себя виноватой, что я лежу, а она моет пол. Каждый день врач появляется в дверях и называет имена тех, кто выписывается. За ними приезжают родители. Тот, кому повезло, забирает вещи, смотрит сверху вниз на лежащих и уходит. Выздоровление кажется победой в соревновании. Остающиеся —

проигравшие. Теперь нас двое в палате. Мы нервничаем и ждем своей участи. Кажется, что от этого зависит вся жизнь, названная твоим именем. Женщина в белом халате смотрит на мою соседку, та, взвизгнув, спрыгивает на пол и выходит. Я уставилась в потолок, затем перевела взгляд на окно, на дверь: скоро появится нянька со шваброй. Где-то за пределами больницы девочки прыгают на одной ноге, передвигая жестяную биту. Самые ловкие перепрыгивают через квадрат без помех и выходят первыми в игре. Я пытаюсь понять тайну их мастерства, но мне это не удается. Я проигрываю в беге, в прыжках в длину, в прыгалках, в классики. Мое везение странно и необъяснимо, оно застигает врасплох и скорее напоминает испытание, чем награду. Через полчаса после ухода моей больничной подруги за мной приезжают вырвавшиеся с работы родители. Оглянувшись в последний раз на пустые койки, я переступаю порог больницы и оказываюсь в мире бесчисленных игр: прятки, казаки-разбойники, жмурки, дочки-матери. На улице чей-то детский голос кричит мне вдогонку: «Умри, замри, воскресни!» В моих глазах знак вопроса: что означает мой жребий?

Теперь мне двадцать восемь лет, и я лечу в Америку. Самолет сделает остановку в Стокгольме, затем возьмет курс на Нью-Йорк. Я по-прежнему верю в чудеса и не знаю наверняка, что делаю и к чему это приведет. В самолете я засыпаю, а когда проснусь, то мне покажется, что все вокруг разговаривают по-русски. Я услышу, о чем говорят пассажиры — все как один блондины: дай воды, открой иллюминатор, возьмите газету… Только проснувшись окончательно, пойму, что этого не может быть, потому что я лечу со скандинавами, возвращающимися на родину. Обман зрения, слуховая галлюцинация? Нет, оказывается, человеческую мимику можно «слышать», можно превращаться в телепата и экстрасенса… иногда, в момент сильного стресса. Я не знаю, что такое Америка, и меня она пугает и волнует — как и всех, кто остался в СССР. Только они остались, а я лечу. Кто прав — покажет время. Покажет мне.

Я прилетаю в Нью-Йорк. В аэропорте Джона Кеннеди меня никто не встретит. Болтаясь с вещами в холле и ожидая Кевина, я буду разглядывать людей. Первое впечатление — мне не страшно! Оживленная разноликая толпа внушает доверие, ощущение праздника, я читаю их жесты и узнаю в них себя и своих знакомых. «Че-ло-ве-чес-тво, — думаю я. — Какое оно симпатичное, а я его часть: растерянная, ожидающая, спешащая куда-то». Я поспешила к автомату. Набрала телефон своей подруги Ксени (Дженис Джоплин) и спросила разрешения приехать. Поймав такси, отправилась в Квинс, на окраину Нью-

Йорка. Пока я была в пути, Ксеня обзвонила всех знакомых с вестью: приехал человек из Москвы! Когда я вошла в ее дом, меня уже ждали за круглым столом с огромной бутылью вина, напоминающего «Солнцедар». Ксеня принялась жарить котлеты, а я отвечать на вопросы о Москве. Меня окружали мужчины. Все они некогда уехали из Союза, а теперь посмеивались, приглядывались — русская девчонка в их рядах, это всегда хорошо! Кто-то даже успел одолжить у меня доллар — все как дома. Мне стало грустно при мысли, что я потеряла мужа и теперь буду жить вот так, с «Солнцедаром» и котлетами, только в Нью-Йорке. Стоило уезжать! Но тут позвонил Кевин и спустя полчаса приехал за мной. Как выяснилось, он ожидал меня более поздним рейсом. Виной тому была телефонная связь между двумя странами, прерванная из-за ухудшения отношений. Кевин посадил меня в машину, и мы отправились в пятичасовой путь на север — из Нью-Йорка в город Итаку, где находится Корнеллский университет. Кевин заканчивает аспирантуру и живет за городом в маленьком домике. Когда мы приедем, я начну бродить по комнатам, изучая свое новое жилище, а он ляжет ничком на диване с глазами, полными слез. Наверное, брак, как всякая перемена жизни, связан с потрясением и страхом перед будущим, не меньшим, чем при расставании с прошлым. Я промолчу — мои слезы пролились неделей раньше.

Осмотр дома меня порадовал. Огромная библиотека состояла по большей части из русской классики: Толстой, Достоевский, Чехов (наконец-то я их прочту!), а также Фрейд, Юнг и их современные последователи и оппоненты. Леви-Стросс, Лотман, Фрейденберг — это тема его будущей диссертации.

В комнате стояло пианино: Кевин пел в хоре. Я познакомилась с двумя его котами — Мицкевичем и Мари. На этом осмотр жилища был закончен. Предстояла встреча с друзьями.

Крис — долговязый и худощавый композитор, влюбленный в моего мужа, — смотрел на меня как на соперницу. Он нервно и быстро говорил с Кевином, подчеркивая, что я не смогу поддержать их беседу. Однажды сильно выпив, он подойдет ко мне и с вызовом бросит: «Ты что-нибудь знаешь о Шенберге? А о Малере? О Бартоке? Тогда что ты вообще знаешь?» Это был открытый выпад: хотел уничтожить меня интеллектуальным превосходством. Я почувствовала обиду — мне указали, что я заняла не свое место. Его оттащили от меня и стали успокаивать. Однако конфликт оказался гораздо более серьезным. Из протеста против деторождения Крис подвергся стерилизации. Детей у него все равно не было, так что он сделал это из голого принципа. А

спустя десять лет он уничтожил и самого себя.

Кэрол — высокая статная блондинка с ослепительной белозубой улыбкой и косой, уложенной на голове «корзиночкой». На лице ни капли макияжа — все естественно. Преподает русский и поет в том же хоре, что и Кевин. Стиль ее одежды — сарафаны в мелкий цветочек — влияние изучаемой культуры, явление типичное в университетах: специализируйся она по французской литературе, была бы похожа на француженку. Когда-то была увлечена Кевином, сравнивала его то со Ставрогиным, то с Мышкиным, затем стала наблюдать его личную жизнь со стороны. Мне вежливо улыбается, не более: советская женщина, актриса — обманет, не может не обмануть.

Стив — толстяк в очках и с бородой, изучает древних философов и греческий. Хохотун, добряк, как все толстяки. Сразу обволакивает меня волной добродушия и тепла, готов отвечать на все мои вопросы. Зимними вечерами он будет с удовольствием потягивать со мной ирландский кофе и рождественский напиток «эгног». (Ирландский кофе: кофе, ирландский виски, сбитые сливки. Эгног: яйца, молоко, сахар, ром, мускатный орех.) Я привыкну к изготовлению «рождественского напитка» в домашних условиях и буду праздновать им «приход весны», «сбор урожая» и школьные каникулы. Пока мой супруг не сделает замечание: «У тебя содержание рома по отношению к яйцам и молоку удваивается от праздника к празднику!»

И наконец Лин и Боб — супруги, предмет многих терзаний Кевина. Лин — эффектная брюнетка. Она мечтает о карьере оперной певицы, обладает потрясающим по силе и красоте тембра голосом — драматическим сопрано, а также истерическим характером в духе Настасьи Филипповны. До замужества у нее был продолжительный роман с Кевином. Когда тот уехал на два года в Югославию — изучать архитектуру средневековья, она решила преподнести ему сюрприз: не сказав ни слова, купила билет на самолет и предстала перед ним на улице Загреба, предварительно перекрасившись в блондинку. После этого инцидента их роман постепенно сошел на нет: гениальные выходки порой убивают влюбленность. Ее муж Боб — обаятельный молчун, изучает русский язык и литературу (очень одарен, но диссертацию не допишет, плюнет — скучно!). Впоследствии он станет дипломатом и будет работать в московском посольстве. Он самый близкий друг Кевина, пробудивший его любовь, но оставивший ее без ответа. Когда Лин и Боб поженятся, они попросят Кевина быть их свидетелем на свадьбе. По окончании праздника Кевину станет плохо, его отвезут домой в полуобморочном состоянии, и он долго пролежит

с диагнозом «мононуклеоз» (результат истощения на почве нервного срыва). Сам себе Кевин вынесет приговор: «Я всегда влюбляюсь в невозможные варианты». Его рок тех лет — быть третьим лишним.

Теперь, после знакомства с американскими друзьями, мы отправляемся на кафедру русского языка и литературы. Здесь заправляют эмигранты из Союза, как и в большинстве университетов США — все-таки «носители изучаемого языка». Мне навстречу выходит маленькая глазастая блондинка, лет на пятнадцать старше меня, это Юля. Она всегда улыбается приветливо и грустно. У нее за плечами своя нелегкая история — типичная для эмигрантов. В конце 60-х ее муж-журналист поехал в командировку в Лондон и не вернулся — попросил политического убежища. Ничего не подозревавшие Юля и ее сын узнали обо всем после звонка из органов, а чуть позже — из западной прессы и от «вражеского радио». В результате жизнь ее перевернулась — начали таскать на допросы в КГБ, пришлось сменить не одно место работы, друзей стало вдвое меньше. В конце концов она сама решила уехать с сыном из страны и своим местом жительства выбрала США. В Лондон она заедет с одной целью — взглянуть в глаза человеку, который ее предал, своему бывшему мужу. Когда я получу первый отказ на въезд в СССР, она «успокоит» меня тем, что скажет: «Людей не впускают по двадцать лет, так что приготовься!» Я обратила внимание на любопытный факт — всем эмигрантам снился один и тот же сон: они приезжают в СССР в качестве туристов из США. Их переполняет радость от встреч со старыми друзьями, от прогулок по старым улицам, хранящим множество воспоминаний. Они спускаются в метро и вдруг обнаруживают, что потеряли свой американский паспорт и обратный билет. Перспектива остаться безвыездно в стране своего детства отпугивает — они понимают, что попали в ловушку. Никакие радости встреч и узнаваний не возместят утрату свободы. Человек просыпается в холодном поту и со вздохом облегчения понимает, что это был всего лишь сон. Любопытно, что мне этот сон никогда не снился. Я не считалась эмигранткой в полном смысле слова, выехав из страны по браку.

После знакомства с Юлей я захожу в кабинет и разглядываю книги на полке — почти все на русском языке и о русских. Мне попадается томик Бориса Пастернака, я беру его в руки, готовясь перечитать свои любимые строчки: «Пью горечь тубероз, ночей осенних горечь…» На обложке огромная фотография, портрет поэта — американцы поправляют: писателя! Автор романа «Доктор Живаго» как поэт им не знаком. «На этой фотографии Пастернак похож на Мишу Суслова», — говорю я Кевину, имея в

виду давнего друга родителей. «Он на всех нас похож», — отзывается незнакомый мужской голос, я оборачиваюсь и вижу в дверях высокого человека с седой шевелюрой — по виду типичного гуманитария. Он говорит на чистейшем русском. Это Алик Жолковский — профессор Кевина, известный лингвист. У него глаза с хитрецой и веселый нрав. Обо мне он чуть позже скажет: «Типичное московское нервное дитя» — и будет, конечно, прав.

Спустя несколько дней после нашего приезда департамент русского языка и литературы устроит коктейль по случаю начала учебного года. Здесь я познакомлюсь с Юрой и Машей Мамлеевыми. Юра, или Юрочка, как его ласково называет жена, — знаменитый писатель. С виду это тихий и даже робкий человек — на голове берет, в руках старенький портфель, вкрадчивый голос, на лице умиротворение — скорее напоминающий сельского учителя, нежели самого «черного» писателя современности, — по крайней мере тогда его таким считали. Герои его книг ведут себя плохо или даже совсем плохо, тогда как Юрочка с Машенькой ведут себя очень хорошо. Правда, за ними водится одна странность — их еще никто не видел после полуночи. Со всех вечеринок и празднеств они уходят ровно в двенадцать — и ни минутой позже. Это рождает пересуды и кривотолки в профессорской среде: уж не на метле ли темной ночью они отправляются домой? «Смотрите, Мамлеевы уже поспешили откланяться, а который час? Ага, без пяти!» Все лукаво переглядываются. А наутро при встрече с одиозной четой ищут на их лицах таинственные знаки, но встречают только добродушное приветствие: «Денек сегодня — на небе ни облачка, просто чудо!»

Знакомству со мной Юра будет несказанно рад: «Леночка, как там… дома? Расскажите, расскажите!» Он станет приглашать меня на многократные ланчи в местные ресторанчики. Я буду поглощать огромные салаты, сидя напротив него за столиком, под его присказку: «Ешьте, Леночка, ешьте, миленькая, в Москве такого обилия овощей и зелени в эту пору уже нет!» Юра возьмет на себя труд наставлять меня в новой эмигрантской жизни. Оглядываясь по сторонам, предупредит шепотом, что на одежде следует искать шарики, в которых спрятаны записывающие устройства: «Так, на всякий случай, отряхивайте одежду, когда приходите домой из гостей, маленькие такие шарики…» Нью-Йорк он назовет дьявольским городом, а подтверждение тому, на его взгляд, — кровавый пар, что валит там из под земли! Он согласится стать крестным Кевина, когда тот решит принять православие. За неимением в округе русской церкви обряд состоится в греческой. Когда я соберусь ехать в Москву, Юра

попросит меня провезти его новую рукопись «Московский гамбит», еще не изданную, только отпечатанную на машинке. По его словам, для передачи рукописи мне понадобится пойти на очную ставку с неким гражданином «Х», которому я должна буду сказать пару фраз и задать два-три вопроса, причем последовательность слов и точность формулировок обязательна! Решив, что это шифровка, я запишу их на бумаге. Самое сложное — запоминать ординарные выражения типа: «Вы по-прежнему пьете индийский чай или перешли на зеленый?» Или точнее: «То, о чем говорили друзья, — да, все остальное — нет!» Примерно так выглядели фразы, которые мне предстояло запомнить… Все годы нашего знакомства Юра будет верить, что скоро наступит день, когда он сможет вернуться в Россию. В то время его желание воспринималось как утопия. Однако хороший писатель редко ошибается в прогнозах — и Юра оказался прав, его мечта сбылась.

Этим кругом лиц не ограничивается вся славная эмигрантская братия, работавшая в Корнельском университете или наезжавшая туда. Здесь я впервые увидела Нину Николаевну Берберову, которая будет читать лекции о Набокове, а затем в кулуарах рассказывать о Керенском, который был ее другом и свидетелем на одной из свадеб. Услышу выступление скандального Эдички Лимонова, которому американские студенты зададут тот же вопрос, что и русские: «Так был негр в вашей жизни или это выдумка?» Когда через несколько лет я перееду жить в Нью-Йорк, вкусив к тому моменту все прелести американского одиночества, то вновь перечту его «Эдичку». Однажды ночью я позвоню ему в Париж, где будет раннее утро, чтобы выразить восхищение его дерзкой исповедью. «Мне так хотелось с кем-нибудь поговорить, но все вокруг уже спят, какое счастье, что именно вы сняли трубку… Я поняла… все, что вы написали… только теперь… здесь…» — сбивчиво лепетала я, допивая стакан эгнога — без молока, яиц и сахара. Он только тихо повторял: «Спасибо, Лена, спасибо».

В Корнеле я познакомлюсь с Сашей Соколовым, автором «Школы для дураков», «Между собакой и волком», «Палисандрии». О нем будут говорить в эмиграции как о гении, которого отметил сам высокомерный Набоков. Меня он поразит своей «неписательской» внешностью — слишком красив и атлетичен. С Сашей и его женой Карен мне предстоит дружить и общаться в Вермонте.

Однажды университет посетит великий старец с лицом ребенка — Хорхе Луис Борхес. О его слепоте я догадаюсь, когда он станет отвечать на вопрос: «Как писалось „до“ и как „после“ —

есть ли разница?» А через несколько месяцев после выступления Борхеса в университете мы с Кевином отправимся на Западный берег, в Калифорнию, и встретим его в воздухе, в самолете. Я подойду к нему и попрошу автограф, протянув клочок бумаги. Его спутница, молодая изящная женщина, только совершенно седая (как я позже узнала, его жена), пришла в легкое замешательство, но перевела ему мою просьбу и то немногое, что я о себе сказала. Он мгновенно залился краской смущения и, склонившись, поставил свое имя на бумажке. Когда я взглянула на нее, сердце сжалось от боли и стыда: на бумаге стояла детская каракуля — это все, что он мог вывести рукой… «после».

А еще? А еще я видела кудрявого и лохматого автора «Колыбели для кошки» — Курта Воннегута! Помню, мой сосед по Речному Вовка Барсуков зачитывался им, стряхивая сигаретный пепел в баночку из-под конфет со звонким именем «Бон-бон». По его выбору всегда можно было угадать, кто из литераторов моден среди студентов. Тогда это был Курт… Впрочем, это всегда был Курт. Эх, Елена Алексеевна, повезло же вам стать женой американского слависта!

В свой первый год пребывания в Америке мне пришлось познакомиться с местными праздниками, странными обычаями — привыкнуть к ним и приспособиться. Времена года там начинаются не с первого числа месяца, а с четырнадцатого. Например, осень — четырнадцатого сентября, зима — четырнадцатого декабря, весна — четырнадцатого марта, и лето — четырнадцатого июня. Мне это нравится потому, что более точно соответствует смене температуры в природе. Итак, праздники. Тридцать первое октября — Хэллоуин. Это день, когда пробуждаются, а заодно и высмеиваются злые духи: вампиры, черти, оборотни… Ночью по улицам города движется костюмированная шеренга из ведьм, скелетов и прочей нечисти, а в окнах домов, чтоб отвадить нечистую силу, выставляется тыквенная голова — с разрезами для глаз, носа, рта, подсвечиваемая изнутри огнем зажженной свечи. Театральный экзорсизм. Детям в этот день все позволено — они стучатся в двери, и если им не дать конфетку, печенье или любой съедобный гостинец, то они вправе тебя разыграть — облить краской или разбить что-нибудь.

Мне пришлось убедиться, что силы зла и впрямь пробуждаются в Хэллоуин. (В этом смысле поразительно, насколько близка кинематографическая и литературная мифология к жизненной, особенно в Америке.) В тот год, 1982-й, газеты писали о том, что детям в одном из штатов «дарили» яблоки с воткнутыми в них иглами. А еще все были перепуганы

на многие месяцы лекарством «Тайленол» — им отравилось несколько десятков человек, так как в капсулах, находился яд. Если учесть, что это самое распространенное болеутоляющее средство у американцев, то легко представить, какая была паника. Все страсти-мордасти должны улечься к Дню Благодарения, который празднуется в последний четверг ноября. Потом — Рождество, которое отмечается с большей помпой, чем Новый год. В феврале, четырнадцатого числа — День Святого Валентина, день влюбленных. Вслед за праздником влюбленных идет День Святого Патрика — праздник ирландцев и их святого. А поскольку каждый второй белый американец — ирландец, то фактически этот день празднует вся страна. Повсюду слышны песни подвыпивших представителей этой нации, и все одеты непременно в зеленое — национальный цвет. (Принято считать, что ирландцы похожи на русских эмоциональностью, открытым и фанатичным характером, пьянством и добротой.) Пасха тоже празднуется, обычно ее дни немного не совпадают с православным календарем. Тогда дарят шоколадных зайцев или кроликов и шоколадные яйца, завернутые в цветные золотистые бумажки. Вместо Женского дня американцы празднуют День Матери, а для равновесия существует и День Отца. Все покупают открытки: «Любимой маме» или «Единственному отцу на свете». Внутри содержится острота типа: «Мам, ночью я хочу обнимать не тебя, а Мадонну, но твои пироги я люблю больше всего на свете!» Или что-нибудь лирическое: «Любимой матери желаю вечного света в ее спальне, кухне и в душе, всегда твой сын…» Открытки с заготовленным текстом продаются на все случаи и вкусы. Еще есть День труда — Первого сентября, который русские прозвали Днем Святого Лабердея (Labor Day). Ну и конечно, четвертое июля, День независимости от «Старого света».

Американцы любят свои праздники, но что удивительно — они так же любят свои рабочие будни. Возможно, это происходит оттого, что они много играют в жизни, меняя каждый раз маску, костюм, поведение и песни. Работа для них — одна из игр. Мне дали однажды очень дельный совет: «Элейна (так теперь звучало мое имя), никогда не относись слишком серьезно к тому, что ты делаешь: легче, веселее — и тебя забросают предложениями!»

А Кевин снабдил меня еще одной подсказкой: «Первого числа каждого месяца говори, как только проснешься: кролик, кролик, кролик! — и будет счастье!» Вот она, американская прагматика и рационализм — тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!

Глава 45. Итака — пристанище странствующей души

Мне, привыкшей во всем искать скрытую символику, на этот раз повезло — я оказалась в Итаке, правда, не греческой, а американской. Одиссей совершил путешествие длиною в жизнь, чтобы вернуться в отчий дом победителем. Итака — место рождения героя и в то же время его гавань — пристанище странника. В Итаке я проведу год, и она положит начало моим американским похождениям, растянувшимся на одиннадцать лет. Не менее символичным казался мне и сам Корнеллский университет. В нем преподавал профессор русского языка и литературы Владимир Набоков, но что особенно важно — писатель Набоков вынашивал здесь свою «Лолиту».

С некоторых пор я полюбила этот роман. С самого музыкального начала «Ло-ли-та!» — вплоть до финала, уходящего в вечность, я читала его, как одно большое стихотворение. «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочих пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это — единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита». Как часто, не имея собственных доводов в отчаянном споре с жизнью, я раскрывала Набокова и, найдя этот текст, цитировала его, захлебываясь от восторга, тыкая пальцем в страницу: вот, вот! Более того, я почему-то присвоила себе историю, случившуюся с Лолитой и Гумбертом, как если бы это была одна из моих биографий. Относилась к роману также ревностно, как к Цветаевой — мое! (К списку «моего» прибавится еще одно-два имени, но о них чуть позднее.)

Прогуливаясь по университетскому кампусу, я воображала, что иду маршрутом любимого автора, дышу его воздухом, созерцаю знакомые ему пейзажи. Вся атмосфера Корнеллского университета с его строениями из серого камня, острым шпилем церкви, колоколами, каменистыми ущельями, водопадами, мостами располагала к поэтической меланхолии. Но грусть недолговечна, и вот печальная панорама оживает, пульсирует, дышит красками: по зеленому ковру двора бегут маленькие человечки с папками и рюкзаками, словно ученые гномы, едва очнувшиеся от детских сновидений. В перерывах между лекциями юноши и девушки валяются на траве цветастыми группками, греются в лучах полуденного солнца, и кажется, что университетский город — лучшая из существующих моделей общественного устройства. Что может быть гуманнее сообщества профессоров и студентов, дающих и принимающих знания? Конечно, и здесь, как в маленьком государстве, существуют законы и правила, охраняющие мораль и нравственность своих граждан. Самое строгое из них — табу на любовь между учителем и учеником. Но где есть закон, там есть и его нарушения. В

психоанализе любовь к человеку старше тебя, находящемуся на более высокой ступени социальной лестницы, от которого зависишь, кого слушаешься, считается перенесением детской любви к родителю. «Старший» начинает играть роль отца, вызывает любовь-подчинение, которую впоследствии нужно преодолеть, осуществив акт психологического взросления. В университетах повторение этой модели взаимоотношений особенно вероятно — отсюда взрывоопасность связи «учитель — ученик». Неспроста, думала я, Набоков вдохновился темой неразделенной любви взрослого к девочке-подростку, ибо ежедневно созерцал потенциальных или реальных Гумбертов и их Лолит на лужайках и в аудиториях. Я и сама начала проигрывать в уме участь бедного Гумберта. Порой так сладко сожмется сердце при виде какого-нибудь студента, заглянувшего к нам на ужин. Нет, у жены профессора должны быть поистине железные нервы, чтобы выдержать натиск подростков, жаждущих знаний! Смех, да и только, ведь я когда-то ассоциировала себя с Лолитой, а теперь вот сочувствую Гумберту… Гумберт в юбке? Впрочем, это закономерно: возмездие жертвы — самой превратиться в преступника. Впоследствии я так и объясню свое бегство из семейной жизни: слишком сильным искушением преступить закон.

Еще один аспект американской жизни, который отражен в «Лолите», — это передвижение на колесах, вечное движение. Отправившись с Кевином в первую дальнюю поездку, я чуть не поставила под сомнение свое дальнейшее существование в этой стране. Проехав с трудом полтора-два часа, я попросила остановиться и выбежала в кусты — меня страшно мутило. Кевин был озадачен не на шутку: «Если ты не переносишь езды на машине, ты не сможешь здесь жить». Не знаю, сколько миль в год проделывает на колесах средний американец, но могу точно сказать, что для них ехать пять часов подряд — раз плюнуть, да и десять — тоже дело привычное. Я с восхищением смотрела, как восемнадцатилетние подростки гоняют на огромных скоростях в своих «музыкальных тачках». Как правило, дорожный кайф сопровождается кайфом звуковым, в пробке они читают книжку, положив ее на руль, и вообще чуть ли не танцуют за рулем. Единственное, что они не делают в машине, так это не пьют спиртное — даже пиво. («А почему их киногерои всегда за рулем пьют из горлышка?» — возражает мне приятель. Потому, что кино про лихих людей, а обыкновенные не хотят иметь дело с полицией.) Одним словом, дорога для американцев священна. Помню, как сидя рядом с Кевином, я прожевала конфету и привычным жестом потянулась к окну, чтобы выбросить фантик.

Меня тут же остановил возмущенный супруг: «Что ты делаешь? Это же дорога — она должна быть чистой!» Я все-таки приспособилась к многочасовым путешествиям: видно, очень не хотелось покидать Америку. А также научилась обходиться без валидола, который раньше привыкла носить с собой и класть под язык, когда не лень. В США нет такого лекарства, это и помогло мне избавиться от сердечной недостаточности.

Мне как жене аспиранта полагались льготы на обучение в университете, что означало существенную скидку в оплате. Я не могла этим не воспользоваться. В первую очередь мне нужно было подучить язык. Хотя в Москве я закончила английскую спецшколу, «живой» разговорный язык давался мне с трудом. Дело в том, что американский английский сильно отличается от британского, который преподают в нашей средней школе. А главное — американцы широко используют сленг, без знания которого невозможно понимать не только устную речь, но даже радио и телевидение. Так я попала на курсы совершенствования языка для иностранцев. В моем классе были представители всех рас и национальностей — страшнее ситуации для общения на изучаемом языке не бывает! Каждый говорил на английском со своим неподражаемым акцентом, и понять друг друга мы не могли, как ни старались. Самое элементарное «ай лав ю», что означает: я тебя люблю — звучало у француза как «ой левю», у немца — «ах лавэ я», ну и у японца — «ай яй лявя яй»! Обучение длилось четыре месяца, состояло из множества тестов и письменных заданий. Я все-таки осилила этот бег с препятствиями, однако голова моя была похожа на огромную мозоль.

Я уже не говорю о том, что отвыкла от обучения, если вообще когда-либо училась в полном смысле слова — скорее валяла дурака. В актерском вузе «таланту» прощается все, или, вернее, «талант» все себе прощает.

Особую муку представляло ежечасное столкновение с неизвестными понятиями и терминами: я открывала тяжеленный словарь, и меня охватывал ужас от объема знаний, накопленных человечеством. Я обращалась к Кевину: что значит это, что значит то… В конце концов ему надоело быть ходячим справочником, и он поставил меня на место, сказав, что всю жизнь провел со словарем, а я ленюсь достать его с книжной полки. (Знал бы он почему…) Признаться, интеллектуальный уровень моего супруга приводил меня в замешательство. Он объяснялся на всех славянских языках, а также на немецком, испанском и итальянском. На досуге он занялся изучением венгерского и грузинского. Изучение последнего выражалось в том, что из угла

комнаты, где сидел Кевин, доносились харкающие звуки, и я с испугом спрашивала, что случилось, не поперхнулся ли он? И каждый раз выяснялось, что это всего-навсего грузинские согласные, генацвале!

В общем, я была вынуждена хоть как-то соответствовать уровню своего мужа и его друзей, а также современной американской культуре. В середине 80-х она довольно резко отличалась от советской. В наших магазинах еще пользовались деревянными счетами, а в Америке все было давно компьютеризировано. Массовая американская культура свободно оперировала понятиями, которые в нашем обществе были знакомы лишь специалистам. Масс-медиа и их «потребители» говорили о подсознании, коллективном бессознательном, самоидентификации, вытеснении, эдиповом комплексе, архетипе, если вопрос касался психологии группы или индивидуума, в области искусства и культуры — о постмодернизме, поп — и оп-арте, супрематизме, кон — и деконструктивизме, артефакте, а в социальной сфере — о шовинизме, феминизме, сексизме, притеснении, дискриминации. Совершенствование языка не ограничилось курсом английского, и по его окончании я бросилась в самое пекло интеллектуальной мысли — записалась на курс философии… И потерпела полное фиаско. Метафорический язык древнегреческих старцев оказался недоступен моему пониманию. Мечта юности — «стать философом», — рассеялась, не успев окрепнуть. (Забавный разговор по этому поводу состоялся у меня в 1989 году в Афинах с одним греком, во время съемок фильма «Лисистрата» Валерия Рубинчика. Услышав, как я сетую, что хотела когда-то стать философом, да вместо этого стала актрисой, мой собеседник, тоже актер, поднял меня на смех: философия — это особое мировосприятие, путь познания, а не профессия, которую получаешь вместе с дипломом. Можно торговать помидорами и при этом формулировать законы философии — да так древние и делали…)

Мой следующий выбор пал на курс, объединяющий кино и психоанализ. Мне предстояло изучать работы Карла Густава Юнга и на основании его теорий анализировать фильмы Бергмана и Феллини. Однако на моем пути к знаниям неожиданно встал мой супруг Кевин. Он рассуждал здраво: «Зачем тебе это надо? Ты что, собираешься стать кинокритиком или психоаналитиком?» Причина его недовольства заключалась в том, что на этот раз требовалось выложить кругленькую сумму за три месяца обучения. То, что я настроилась быть пожизненной студенткой, перебирать курсы, как аттракционы в Луна-парке, он уже понял

по моим глазам, горящим детским азартом: сейчас это попробую, потом то, и то, и то… Но в конце концов он раскошелился: пусть мартышка учится, лишь бы не висела над душой, пока он пишет диссертацию. Помню, тогда мне пришлось сделать еще одно открытие. Меня часто спрашивали, на каком языке я думаю — на английском или на русском? Этот вопрос почему-то обязательно задают человеку, владеющему хотя бы одним иностранным языком. Как-то я поинтересовалась у мужа, что они имеют в виду, когда говорят «думать на языке»? Ведь я мыслю образами, ощущениями, в общем, как-то само собой «мыслится»? Его ответ звучал обескураживающе: речь идет о логическом мышлении, оно оперирует понятиями, словами, знаками… Подобных «операций» доселе мое сознание просто не производило.

С психоаналитической теорией Юнга мне повезло больше, чем с философией. Язык его статей оказался доступен актерскому мышлению — речь шла об архетипах, с которыми я была более или менее знакома по театру. Я даже умудрилась получить похвалу профессора и отличную оценку за анализ фильма «Восемь с половиной» Феллини, по которому написала критическую работу. Профессор нового курса Джон Фридриксен имел свои странности: например не любил, когда студентки пользовались духами. Однажды жертвой его идиосинкразии пала и я, надушившись перед лекцией чем-то цветочным. Войдя в аудиторию, средних лет профессор поморщился и озабоченно спросил: «У кого здесь парфюм?» Когда я отозвалась, он смерил меня многозначительным взглядом и, вынув из кармана носовой платок, приступил к лекциям. Я долго потом анализировала свои тайные импульсы как к профессору Фридриксену, так и к собственной персоне. Гротесковый эффект от занятий психоанализом — это превращение человека в сороконожку, которая постоянно думает о том, с какой ноги ступает, — все приобретает второй, даже третий смысл и глубоко запрятанную мотивировку. Кроме самого изучаемого предмета, меня заинтересовало, что на лекциях особая роль отводится дискуссиям между студентами и педагогом. В Америке ставится знак равенства между интеллектом и способностью артикулировать свои мысли. Хронические молчуны и тихие умники вызывают здесь недоверие и даже сожаление: убогий или дутая фигура. Поэтому поведение типа «промолчу и сделаю умное лицо» приводит к обратному эффекту. Поэтому, наверное, американцы любого круга и возраста так свободно чувствуют себя в общении — это знак хорошего расположения духа и здоровья.

Хотя я с удовольствием впитывала в себя новую жизнь, то, что я переживала, называлось культурным шоком (или

антикультурным — как посмотреть). Ежедневно мне приходилось учиться ориентироваться не только в языке, но и в поведении окружавших меня людей и, в частности, студентов. Наше привычное представление о том, что ученик должен сидеть смирно, здесь напрочь отметалось. Когда на философии мой сосед протянул ноги на стол и начал рассуждать о платониках, я с ужасом обнаружила, что ни на чем не могу сосредоточиться, потому что маниакально изучаю глазами его носки и ботинки. С трудом переведя взгляд со шнурков «хулигана» на лица собравшихся, я обнаружила, что все внимательно слушают полемику моего соседа с профессором. Я переживала адреналиновые бури, наблюдая за «отвязным» поведением американских студентов, когда они вставали посередине лекции и, «не спросив разрешения», выходили вразвалочку, пожевывая жвачку, а потом так же по-хозяйски возвращались на свое место. Помню, глядя вслед вот так внезапно вышедшей из класса — выбросить фантик от шоколадки — курчавой брюнетке, покачивающей бедрами в цветастых, словно пижамных, розовых штанах, я поймала себя на гневной мысли в ее адрес: «Проститутка! Избаловал богатенький папочка своего поросеночка… тебя бы… отправить на картошку, рыться в грядках без варежек, знала бы тогда!» Или: «…Поставить тебя в очередь за сосисками, часика этак на три, при температуре минус…» Что говорить о припанкованности многих студентов, носивших полуобритые головы с оранжевыми ежиками, ассиметричные и всякие маскарадные атрибуты в одежде!

«Коллективное бессознательное» порой вякало во мне осипшим голосом недокормленного члена советского коллектива, и его можно было понять и простить, впрочем, запрятав побыстрее обратно. Перелом в моем сознании относительно собственной зажатости наступил, когда на одной из лекций напротив меня сел студент, одетый точь-в-точь как я: синий джемпер и аккуратный белый воротничок. Нас с ним многое объединяло: молчаливое присутствие на лекциях, глубоко запрятанный «внутренний мир», посадка с прямой спиной. Этот студент был из Китайской Народной Республики. Он оказался моим зеркальным отражением. Я наглядно убедилась, насколько внутреннее состояние проявляется в том, как мы держимся и во что одеты. Полный контроль за своим поведением и ориентация на оценку окружающих — вот что означал мой облик. С таким грузом трудно открыться — и миру, и самому себе.

«Боже мой, и это говорит о себе актриса, женщина, которая уже имела за своими плечами опыт работы в кино, театре, поездок за границу?» — подумает кто-нибудь, читая эти строки.

Но на самом деле мой образ «богемной артистки», каким он был в Союзе, оставался игрой по правилам определенной группы и был обусловлен профессией. Тогда как вне профессиональной необходимости и среды я была типичным представителем своей страны, со всеми поведенческими нормами и рамками. Я, собственно, никогда прежде не была самой собой, вне профессии и без послужного списка. Мое поведение в основном определялось моим окружением — актерами, режиссерами и зрителями, которые узнавали меня как Марту, Людочку, Таню, Тайку. Теперь меня никто не вынуждал быть такой или сякой — ни зритель, ни режиссеры, ни система. «Только поспевай за нами! — словно говорило мне новое пространство. А так, выбирай сама, кто ты».

Самым сложным оказалось быть предоставленной самой себе. Занимайся чем хочешь, думай что хочешь, читай что хочешь, говори что хочешь. Что ты хочешь? О чем говоришь? Я молчала, понимая, что у меня нет своего мнения, оно не сформировано, я могла что-то декларировать, но не аргументировать. По сути дела, мы всегда общались «своим кругом», где царило единодушие в отношении системы, ГУЛАГа, Сахарова, диссидентов, бюрократии, цензуры. Разговоры на кухне шепотом далеки от свободной дискуссии в аудитории, состоящей из представителей всех этнических групп, социальных слоев, сексуальных ориентаций, религий, возрастов, профессий, да к тому же с установкой на индивидуальность и независимость мышления. Мне едва ли приходилось по-настоящему говорить от своего «я». Мое «я» всегда было «мы». А «мы» здесь интересовало всех во вторую очередь — предполагалось, что за твоим «мы» иной раз прячется твое «я». Чтобы мое «я» заговорило, мне нужно было с ним познакомиться самой.

Приходя домой, я впадала в ностальгическое настроение. Жаловалась Кевину на чувство вины перед домом, мамой, Родиной. Меня тяготило, что мой отъезд так или иначе был воспринят по неписаной российской морали как предательство, измена. Мне хотелось разобраться в своих чувствах. Что я сделала? Совершила преступление. В чем оно? Не знаю. Почему тогда у меня на душе кошки скребут, словно я украла что-то и обрекла ближних на страдание? Кевин провел со мной много бесед на эту тему. «Чувство вины в большей степени навязано тебе системой, в которой ты выросла, оно вредно и лживо. Прости себе все и начни сначала», — не уставал повторять он. Помогая мне разобраться в своих эмоциях, он в то же время не позволял манипулировать собой с их помощью. Это еще одна особенность американцев — эмоциональная гигиена. Вот откуда их

постоянная присказка: это твоя проблема! Речь, конечно, не идет о помощи и сочувствии в трагические минуты — болезнь, горе, несчастье — это особый случай. А так все должно быть конструктивно. У тебя депрессия — иди к психологу или психотерапевту или к священнику. Покайся, разберись, подлечись и забудь.

Отказавшись подыгрывать моим плохим настроениям, Кевин предоставил мне полную свободу заниматься самокопанием в одиночку. В отсутствие зрителя и обвинителя я стала хозяйкой собственных печалей, что постепенно свело их к нулю. Инвентаризация ценностей, психологического наследства, эмоционального приданого — вещь полезная. Может оказаться, что в твоем багаже полно ненужных вещей, забытых кем-то предметов, подделок и мишуры. После того как ты избавился от чужого и лишнего, выясняется, что ты банкрот или обладатель стекляшки и пуговицы. Имя тебе — обиженный ребенок, или обманутый простофиля, или вор. Ну что ж, если и так, зато теперь ты знаешь, с кем имеешь дело. Ты имеешь дело с самим собой… впервые. «Прости себе все и начни сначала» — в этом подходе к себе также сказывалось различие американской и русской психологии. Вести бесконечный диалог с тем, что уже свершилось, — значит останавливать свое настоящее и будущее. Не покаявшись и не простив себе прошлого — не изменишься. Я с трудом, но все-таки приняла этот подход к прошлому и к чувству вины и руководствуюсь им до сих пор. Наше бесконечное копание в своих прошлых грехах не дает шанса на будущее исправление, лишает веры в свои силы. Чувство вины перед Эфросом, что ушла, чувство вины перед Волчек, перед обществом, из которого уехала. Чувство вины, связанное с благодарностью: спасибо за то, что взяли, приняли, доверили, родили, заплатили, не убили, пощадили, и низкий поклон, после которого не разогнешься. А также оправдание чьих-то ожиданий. Мой папа, сказавший однажды: «Спасибо, дочь, что оправдываешь мое существование». Но можно ли оправдать свою жизнь — жизнью других? Отсюда вопли: «Не оправдал, а я-то, дура, надеялась! Тебя кормили, поили, пригрели, а ты сам решил свою судьбу, неблагодарный!» Отсюда и чувство несостоятельности, неуверенности в себе, сомнения: зачем живу, зачем родили, зачем доверили? И долго ли платить по счету, скорей бы уж конец. Как и вечное недоумение: я ли это сделал или кто-то другой? Неужели я? Не забуду признание Олега Видова, с которым я встречусь на съемках в Сан-Франциско. «У меня часто бывает такое чувство, когда снимаюсь, будто я наложил в штаны», — шепнул мне на ухо человек, за плечами которого была большая кинокарьера и совсем не простая

жизнь. Я смеялась до слез, потому что он очень точно выразил состояние, знакомое всем нам по многим ситуациям. Вроде бы что-то делаешь, но никогда не знаешь — зачем и кому это нужно: несостоятельность человека, который оправдывает чужие надежды, не имея своих.

Глава 46. Новый Йорк и Нью-Орлеан

Хотя до Нью-Йорка было целых пять часов езды на машине, мы часто наезжали туда по выходным, праздникам или в каникулы. Обычно мы останавливались у Поля с Клодией — эксцентричной парочки супругов, живущих на Ривер-сайде, возле Гудзона. Поль — по профессии издатель — внешне копия Чаплина, только с пенсне и, в отличие от оригинала, альбинос. Его эксцентричность выражалась в артистическом поведении: он пел, был всегда в приподнятом настроении, шутил, но главное — очень своеобразно одевался. Он первый начал носить шотландские юбки, заставляя прохожих оборачиваться, на голове котелок или цилиндр, в руках трость, на шее непременно бабочка — одним словом, современный денди. В третьем или четвертом поколении он был из русских евреев по фамилии Розенталь, отсюда, возможно, и его пристрастие к утонченной театральности. Супруга же его, Клодия, представляла собой бурную смесь северных и южных кровей — происходила по отцовской линии из семьи итальянских эмигрантов, а по матери — из шведов. С Клодией мы чем-то были похожи внешне: короткая стрижка, глаза с прищуром и постоянная взнервленность, выражающаяся в непрерывной самоиронии и сарказме. Как-то раз, спросив у нее маленькие ножницы для ногтей, я получила категорический отказ: «Мы их грызем, а не стрижем!» Первое время она ошибочно принимала меня за избалованную русскую звезду.

Однажды я попала впросак: прокомментировала чью-то «типично семитскую» внешность и тем самым спровоцировала недоуменные вопросы обоих супругов: «А что это такое, разве есть какая-то особенность? У вас в СССР евреи внешне чем-то отличаются от остальных граждан?» Пришлось прикусить язык и впредь быть аккуратнее. Я получила урок: в Америке опасно затрагивать национальную тему, как мы походя делаем это в России, обзывая всех грузинами, татарами, армянами, пародируя их диалекты и так далее. Исключения, правда, есть и здесь: раздражают водители-японцы тем, что слишком вяло крутят баранку, орущие приемники, которые носят под мышкой только афроамериканцы, а «чиканос» — латинские эмигранты с их

слепой подростковой агрессией — любят пострелять на ходу из машины, чтобы привлечь к себе внимание. Однако надо отдать должное американцам — они достойно справляются со своими идиосинкразиями, тем более если учесть, что они живут в эпицентре мировой эмиграции. Что до меня, то бессознательный расизм, приютившийся во мне, как и в каждом представителе моей страны, вытравлялся еще долго. Я делала много словесных «ляпсусов», теряя уважение близких. Черную певицу как-то назвала «хорошенькой обезьянкой», поинтересовавшись у мужчины, который ее знал близко, правда ли, что у темнокожих особый запах? «Как у всякой женщины!» — отозвался он, впервые обратив внимание на мой идиотизм.

Случались и другие накладки, коренившиеся в моих культурных установках и воспитании. Не забуду, как, усевшись смотреть телевизор в компании тех же Поля и Клодии, все долго выясняли, что будем смотреть — фильм Бергмана (кажется, «Змеиное яйцо») или комическую английскую группу «Монти пайтон». К моему сожалению, супруги настояли на комиках, вызвав тем самым мое тихое негодование: «Как можно предпочесть кого-то Бергману?» Поль и Клодия были просто обязаны выбрать психологическую драму, а не дурацкий, на мой взгляд, хохот. Это было, конечно, типично советское, интеллигентское восприятие дурного и хорошего вкуса, табу на легкомыслие в искусстве и какая-то патологическая тяга к печали и самоуничтожению, от которой американцы себя ограждают. Я еще не понимала, что демократия и плюрализм — взаимосвязанные вещи и что оппонента можно и нужно просто терпеть, а не обязательно уничтожать.

Хуже всего дело обстояло с моим собственным юмором. Он оказался фактически непереводим. Это открытие я сделала в первые же месяцы пребывания в стране. Самым сильным проколом были мои попытки острить в приличном кругу родителей Кевина. У них была приятельница, известный хирург-косметолог. При знакомстве со мной эта холеная дама сказала, что если мне понадобится ее помощь — что-нибудь подрезать, отрезать, исправить — она к моим услугам. Я поблагодарила, сказав, что все у меня в порядке, впрочем… тут я сделала маленькую паузу, наклонилась к ее уху и произнесла так, чтобы все слышали: «Если не считать, конечно, хвост! Вот его, пожалуй, стоило бы удалить…» Она заморгала, явно не понимая, что я имею в виду, и переспросила: «Что-что?» Я повторила четко и ясно: «Мой хвост, ну там, сзади!..» Почтенная дама повернулась к Кевину, ища объяснений и более точного перевода, но и после того, как он, хихикая, перевел ей, что его супруга сострила, она

осталась в сомнениях: может, и правда есть хвост?

Я, конечно, подливала масла в огонь своим несовершенным английским или же незнанием тех «кодов», которые заключены в звуковых и мимических реакциях каждого народа. Так однажды я насмешила благочестивую компанию родственников мужа в самый неподходящий для юмора момент. Речь зашла о внезапной трагической кончине их общей знакомой, и я, решив выразить соболезнование и продемонстрировать свое понимание предмета разговора, после кульминационных слов рассказчика«…и она умерла!» — в полной тишине произнесла: «Упс!!!» В этой ситуации данное восклицание было также не к месту, как русское «Бодает!» или французское «О-ля-ля…». Но я в тот момент не видела никакой разницы, а потому и вызвала смех всех собравшихся, несмотря на трагичность момента. Поль и Клодия, услышав эту историю, еще долго посмеивались надо мной, предложив на выбор выражения типа «бабум!» или «рьюу — ху!» — мало ли, кто-нибудь ногу сломает, попадет в аварию, да вообще случится чего — авось пригодится.

Противоречия двух культур были настолько «аховыми», что человек, пойманный в их капкан, автоматически становился эксцентриком — хотел он этого или нет. В письмах к родственникам я делилась нюансами переживаний, отсылая своеобразные трактаты в Москву о России и Америке. Иногда даже в стихотворной форме:

У нас снегобаба,
У них снегомужчина!
Вот в этом загвоздка,
Загадка, причина…
Мы едим кашу,
Они корнфлекс,
У нас стихи в рифму,
В Америке — без…
Когда потрясенье,
Они кричат: «Вау!»
Когда удивленье,
Тогда у них: «Упс!»
Если им больно, они скажут: «Ауч!»
И «Ай эм эфрейд!» —
Когда надо: «Боюсь».
У них были хиппи,
теперь у них панки.
У нас есть Джуна,
цыганки-гадалки…

Во всем разногласье,
Что за чертовщина?
Роднит, впрочем, Дьявол —
Он родом — мужчина!

Итак, я вновь отрабатывала карму Элизы Дулиттл — казаться нелепой и смешной, попадающей впросак простофилей, но где, как не в чужой стране, эта роль наиболее естественна? И коль скоро ожидает счастливое продолжение героини Бернарда Шоу — все хорошо. Другое дело, если состояние блаженного неведения пожизненно… А может, это все-таки признак особой одаренности натуры?

Как и полагается Элизе Дулиттл, меня водили в театры смотреть знаменитые мюзиклы на Бродвее. Это была «Эвита», «Шахматы», «Линия хора». А также драматические представления «off Broadway».

Малюсенькие зальчики на сорок или сто человек, в которых шел незнакомый мне по нашему театру репертуар: Беккет, Сартр, Камю, были далеки от моих представлений о месте священнодействия. Помню, во время одного из таких просмотров меня поразил вид таракана, бегущего прямо перед моим носом по спинке стула впереди сидящего зрителя. Бывший житель советской империи, я глазела на таракана, как будто передо мной был динозавр — и это то немногое, что свидетельствовало о моем происхождении. Пышное слово «Бродвей» в моем сознании (и даже с приставкой «оф») никак не ассоциировалось с запустением, полуподвальными помещениями и малой посещаемостью. Впрочем, советский академизм и гигантомания нашей эстетики, повлиявшие на восприятие драматического театра, не являются эталоном настоящего, живого искусства, а может, даже наоборот. Между тем как бродвейские мюзиклы вполне соответствуют понятию «зрелище для масс». Желая как-то угодить бывшей советской актрисе, друзья Кевина старались подыскать для меня книги по профессии. Каждый раз, оказавшись в книжном магазине, кто-нибудь из них манил меня пальцем в дальний закуток и, подведя к полке с книгами о театре и актерском мастерстве, восторженно предлагал: «Лена, это для тебя, выбирай!» Я автоматически проводила пальцем по корешкам со знакомыми и незнакомыми фамилиями, а дойдя до Станиславского, потупляла взгляд и вежливо ретировалась к другим полкам — с книгами по психологии, массажу и паранормальным явлениям. Наверное, это производило странное впечатление на друзей — что ж за актриса такая? — Но я была не

в состоянии даже подумать о том, чтобы вновь заняться актерством — настолько сильное отторжение вызывало во мне то, чего я перебрала в Москве.

Случилось так, что осенью 1982-го, вскоре после моего приезда в США, в Нью-Йорке демонстрировался фильм «Сибириада». Кажется, он шел в кинотеатре на 52-й улице… В газете «Нью-Йорк таймс» был анонс картины и моя фотография. Ах, сладкие мечты о славе русской актрисы на Западе! Эта маленькая фотография — все, что могло бы польстить моему тщеславию, терзайся оно от безвестности. (По странной особенности все ретроспективы фильмов Кончаловского обходили стороной «Романс о влюбленных» и в Америке, и в Париже… Видно, по мнению отборщиков, это была чисто русская, вернее, советская картина, которая сделана для внутреннего пользования. И любовная коллизия в ней, наверное, тоже «внутренняя», не для постороннего глаза. Жаль, если этот фильм кому-то не угодил, однако это лишило моих западных друзей возможности увидеть меня на экране в большой роли.) Андрон, приехавший в Нью-Йорк специально на премьеру, пригласил меня с Кевином на просмотр. Мы собрались и поехали всей компанией, с Полем и Клодией. У входа в кинотеатр было такое же столпотворение, как и на наших премьерах в Москве. Меня затянуло в людской водоворот и повлекло в зал. По пути я увидела, как мимо меня в противоположную сторону плывет голова Андрона. Встретившись со мной взглядом, он расплылся в сладко-печальной улыбке, как будто промолвил: «Ленок, вот мы и свиделись в Нью-Йорке!» Дальше читать его мысли я не смогла и, приветливо улыбнувшись, отправилась искать свободные места. Наконец все расселись, погас свет, и побежали титры, а потом и сцены трагикомичной российской эпопеи. Не знаю, кто в этом зале, кроме Кевина, смог понять и оценить то, за что радели непоседливые Устюжанины и в чем с ними не соглашались Соломины, знаю одно: показывать свою картину неизвестному зрителю — большая смелость вообще, а показывать американцам трехчасовую ленту о нашей нерасторопности, невежестве и вере, занявших на экране семьдесят лет, — это подвиг, если не безумие.

После просмотра Андрон пригласил нас остаться на коктейль. Поднявшись на лифте в просторный полупустой зал, который здесь называется студией, или лофтом, мы с Кевином принялись раскланиваться с гостями. Среди пришедших была и Лив. Та самая, что смотрела с фотографии на комоде, как я забираю вещи с Николиной Горы… Пардон, совсем забыла — знаменитая Лив Ульман, главная героиня фильмов Бергмана,

великая актриса. Ее сопровождал грузный широкоплечий мужчина с густой копной черных волос. Очевидно, он ревновал ее к этим людям и к этому событию, пытался все время увести, но она останавливала его, по-царски диктуя ему что-то властными долгими взглядами типа «сидеть, еще рано!». Я обратила тогда внимание на удивительную мимику этой женщины: ее лицо вдруг становилось абсолютно асимметричным, как если бы одна половина задавала вопрос, а другая ей отвечала — впечатление это производило поразительное! Утихомирив своего спутника, она стала искать глазами Андрона, который суетился, принимал комплименты и выслушивал критику. В какой-то момент он обратил всеобщее внимание на нас с Кевином и предложил выпить за счастье молодоженов. Но выпить было нечего, странным образом на столе не оказалось ни вина, ни шампанского, — то немногое, что было, уже выпили, а другого не успели поднести. Растерялся и сам Андрон, но тут же предложил поднять бумажные стаканчики с бульоном, который разливали половником всем желающим. Мы с Кевином потянулись было чокнуться, но осеклись — все-таки не шампанское в хрустальных бокалах, как-то неловко поцеловались — тоже вроде не к чему, после супа-то… так и остались стоять, окруженные собравшимися, раскрасневшиеся, словно два снегиря на ветке. Спустя еще некоторое время Андрон подвел меня и Кевина к Лив и представил нас ей. Я засмущалась и вскоре отошла в сторону, отошел и Андрон, который должен был уделить внимание другим гостям, а Кевин продолжал оживленно и даже кокетливо о чем-то болтать со знаменитой норвежкой. Но наконец мы собрались с силами и покинули общество «reach and famous», богатых и знаменитых, вышли на улицу и по пути домой, на Ривер-сайд драйв, долго молчали. На лице Кевина застыла счастливая улыбка, а на моем — знак вопроса. Я решила поделиться впечатлениями о «сопернице». «Все-таки она какая-то…» — начала было я. Но меня резко оборвал восхищенный голос супруга: «Божественная! Она просто божественная!» Его восторг вызвал у меня улыбку: «Ишь ты, и этот туда же!» Уже подходя к дому Поля и Клодии, Кевин вдруг что-то вспомнил и радостно проговорил: «Да, Лив просила передать тебе — в Нью-Йорке может быть очень одиноко, и если тебе когда-нибудь понадобится друг — найди ее». Жаль, что в Итаке, Мидлбери, Шарлотсвиле — всех городах, в которых мне предстоит жить до переезда в Нью-Йорк, не было своей Лив Ульман…

А на католическое Рождество мы полетели в Новый Орлеан, к родителям Кевина. Моим самым большим потрясением было то, что в конце декабря я могла искупаться в открытом бассейне

возле дома и получить в подарок от отца Кевина белоснежный и благоухающий бутон магнолии, который он сорвал прямо с ветки. Ничего нет страннее для москвички — видеть, как в середине зимы распускаются цветы и зеленеет трава. Но не только. Видеть двухэтажный дом из розового камня с просторными спальнями и гостиной с камином, приусадебным участком и бассейном, который принадлежит двум немолодым людям — это тоже было непривычно, особенно когда где-то есть Москва с пока не существующей там частной собственностью. Родители Кевина принадлежали к привилегированной прослойке upper-middle — верхушке среднего класса. Его отец — Мерфи — был вице-президентом адвокатской компании, а мать — Бетти — домохозяйкой. О том, какой у них статус, или попросту говоря — «богатые они или не очень», я не имела реального представления, даже увидев их собственность. Кто его знает, может, в Америке так положено жить каждому? На мои прямые вопросы Кевин отвечал уклончиво — он утверждал, что и сам никогда не мог точно сказать, сколько у его родителей денег. (Помню, как один из моих друзей просветил меня на этот счет, правда, уже после моего расставания с Кевином. Заведя разговор о собственности в Америке, я поинтересовалась: «Если у родителей моего бывшего мужа восьмиспаленный летний дом в Северной Каролине и небольшой участок леса — они как?» У друга вытянулось лицо, и он переспросил: «Сколько спален?» Я послушно повторила: «Ну, не таких больших, но целых восемь!» — «Джи-и-и!!! — протянул мой приятель. — Элейна, да они богачи!» Мы с ним долго потом сидели молча в темноте его маленькой нью-йоркской квартиры, глядя на вспыхивающие огни небоскребов.)

В Новый Орлеан мы ехали не только для того, чтобы провести время у родителей, но и по матримониальному поводу. Здесь мы собирались справить вторую свадьбу, ее американскую версию — римейк. Кевин спросил меня, нужно ли нам это, но если мы все-таки хотим, то родители готовы устроить для нас вечер с оркестром и ужин. Не долго думая, я согласилась, преследуя чисто утилитарные цели. Я понимала, что свадьба означает подарки, и коль скоро я приехала к Кевину в дом без приданого, то пусть хоть это станет моим вкладом: вот так, с миру по нитке, вернее, по серебряной ложке или вазе, и наберем целый сервиз. (И я оказалась права — от серебра ломился стол!) Еще более серьезный вопрос встал о венчании. В подтверждение высшего смысла заключенного нами союза мы решили пройти и через это таинство. Была заказана служба и священник из православной Сирийской церкви. Русского храма не оказалось поблизости, поэтому пришлось воспользоваться помещением Епископальной

церкви. Мне сшили на заказ платье цвета чайной розы, сплели из белых цветов венок, а Кевин облачился во фрак с бабочкой. Третьего января мы предстали перед священником и двумя сотнями гостей — представителями новоорлеанского света, многочисленной родней Кевина и нашими друзьями — Полем, Клодией и другими. Во время церемонии венчания произошла заминка — я никак не могла надеть на палец мужу золотое кольцо. Священник видел мое волнение и замешательство, а мне казалось — уже тогда понимал, что именно невеста является слабым звеном в этом браке и если кто и начнет ломать, а не строить, так это она. Собравшихся в церкви гостей, в свою очередь, удивило, что священник постоянно произносит имя некоего «Джона». На самом деле это было имя Кевина, которое ему дали при крещении. После церкви состоялся праздничный ужин. На вилле каких-то знакомых родителей Кевина, в арендованном гигантском зале было накрыто несколько десятков столиков с вазами желтых, белых и голубых цветов — мой выбор. Нам с Кевином пришлось долго стоять у входа и пожимать руку каждому гостю, выслушивать поздравления и имена, которые тут же вылетали из головы. По окончании знакомства с приглашенными мы отпробовали свадебного торта. Этот многоэтажный торт — с маленькими куколками жениха и невесты на верхушке — обязательный атрибут здешних свадеб. Жених и невеста должны кормить тортом друг друга, обязательно кидаться его кусками и пачкаться в креме. По американской традиции оставшуюся часть свадебного торта кладут в морозилку и хранят до следующего юбилея. Проделав все, что от нас требовали традиции двух разных культур, мы с Кевином очень быстро напились шампанского и буквально рухнули на стулья возле отведенного для нас маленького столика. Венки уже давно съехали набекрень и у меня, и у моего мужа. Я отвернулась от него, подперла подбородок кулачком, как на завалинке, и принялась о чем-то болтать с Клодией, для удобства сняв под столом новые туфли на каблуке. Голова кружилась под балалаечный перебор — специально в мою честь музыканты исполняли вальс из фильма «Доктор Живаго».

На следующий день мне устроили экскурсию по Новому Орлеану. Из окон французского района, с его кружевных чугунных балконов, из дверей дымных забегаловок — отовсюду торчали улыбчивые, потные физиономии, предлагавшие зайти отведать чашечку кофе, выпить стопочку ликера, сплясать с мулаткой чувственный танец, и словно в подтверждение этих слов мелькали смуглые плечи и бедра, раздавался женский визг и старческое причитание. По узким улочкам шествовали клоуны в

париках, неизвестного пола и возраста, они пританцовывали, показывали нехитрые фокусы, зазывая за собой в страну детства, трюков и вымысла, и над всем этим копошащимся человеческим раем возносился голос саксофона, который не уставал провозглашать триумф жизни над смертью — гимн восставшего черного раба. Наша машина остановилась у перекрестка, Кевин высунулся из окна, взглянул на указатель, затем обратился ко мне: «Помнишь Теннеси Уильямса? Он писал пьесы про американский Юг, и именно здесь живут его героини, с которыми случаются невероятные коллизии». Я взглянула на название улицы: «Desire». «Здесь ходит трамвай, — пояснил мне Кевин, — отсюда и название пьесы — „Трамвай „Желание““»!

Глава 47. Туда, не знаю куда

Весной 1983-го я собралась было в Москву навестить родственников. Мама сделала мне приглашение, как тогда полагалось, и ждала оформления моей въездной визы. Но вдруг пришло известие — мне отказали во въезде в СССР. Долгожданный звонок из Москвы принес разочарование и тревогу. Мама сказала, что в ОВИРе ей ничего не объяснили, только предложили попробовать еще через шесть месяцев. Полгода ждать, надеяться и не знать наверняка, впустят или нет, — хорошенькую месть придумали мне… «эти». Кто они, какие у них лица, у тех, кто рассчитал наверняка мою реакцию боли и отчаяния от того, что я не могу сама выбирать, когда увидеть маму? Кто эти воспитатели, моралисты, учителя, решившие преподать мне урок тоски по Родине? Я была совершенно выбита из колеи и кожей ощущала, что мне кто-то мстит. Я хотела знать его имя — мне было бы легче ненавидеть его. Но я не знала даже своей вины, ее мне никто не предъявил, все шито-крыто. «Боже мой, — думала я, — как все это похоже на коммунальную склоку: ты мне в борщ подсыпала, а я — тебе! Вот, оказывается, что стоит за конфликтами власти с ее гражданами: обида, ревность, зависть, короче — „бытовуха“. А я-то думала, что надо по крайней мере выдать государственную тайну! Ну кому я сдалась, да я ж правда не Мата Хари — ни телом, ни мозгами, что ж меня так мучают?»

Мне начали сниться не совсем обыкновенные сны. Будто где-то на площади Восстания ходит за мной Андропов в длинном черном пальто и держит в руках бриллиантовое ожерелье. А я, одетая в школьную форму с красным галстуком, задом пячусь от него. Так мы и движемся вокруг высотки — он наступает, я отступаю, завороженная до смерти!

Тем временем мама бегала по коридорам «Мосфильма» и искала помощи. Ей навстречу шли народные и заслуженные, премированные и всякие, и никто ничего не мог — ни помочь, ни объяснить. Она позвонила Сергею Владимировичу Михалкову: уж он-то может что-то сделать. «Ми-ми-миленькая, у меня у самого из-за сына неприятности, я с-сам не знаю, что и к-как, а тут ты…» — ответил он, заикаясь, извиняясь и отнекиваясь. Пришлось ждать.

Побродив несколько дней по горам и склонам Итаки, постояв у водопадов с зареванным лицом, выслушав от друзей слова сочувствия и гневные речи в адрес советской власти, я смирилась с ситуацией, понадеявшись, что спустя полгода она может измениться. И стала потихоньку примериваться к статусу эмигрантки, в отличие от положения просто жены американца. В те годы это было принципиальной разницей: уехать по браку или по политическим причинам. Теоретически рассуждая, те, кто выехал по браку, имели право вернуться, тогда как эмигранты — нет. Теперь это забывается, как все плохое, но до падения «железного занавеса» переезд через границу СССР был редчайшей привилегией для избранных — хотя по Конституции все граждане сохраняли право на въезд в свою страну. Как я вскоре выяснила, эмигранты делились на три волны: первая — после революции, вторая — после Великой Отечественной, третья — брежневская, в семидесятые годы. Взаимоотношения между «волнами» были напряженные, особенно между первой и двумя последующими. Первые эмигранты считали, что не уехали из России, а были изгнаны из нее — потому, наверное, и не принимали добровольную эмиграцию последних лет. И совсем другое дело — выехавшие по браку, как я: их считали просто «блатными», приехавшими на все готовое ради хорошей жизни. В отличие от эмигрантов-диссидентов, мы ничем не пожертвовали ради этой свободы — или несвободы, смотря как воспринимать. Мне неоднократно намекали или даже говорили в открытую, что я сижу на двух стульях, живя в США с советским паспортом, и призывали выбрать что-нибудь одно, как это вынуждены были сделать они.

Надо признаться, что смена перспективы — становишься ты невъездным или можешь кататься туда-сюда — существенно влияла на психологию, поведение и характер. Есть такая притча: один человек, чей жизненный срок подошел к концу, был в приятельских отношениях с Богом и когда умирал, «по блату» выпросил себе место в раю. Однако, вкусив всех прелестей райской жизни, он заскучал и попросился в ад. Бог разрешил. Спустя еще какое-то время ему надоело жариться на сковороде, и

он попросил Бога разрешить ему снова вернуться в рай. Бог согласился, но предупредил: это последняя твоя возможность выбирать, так что решай окончательно! Человек согласился и отправился в рай, а вскоре вновь захотел перемен. Но на этот раз Бог сказал: «Все, ты использовал свои возможности, теперь сиди, где сидишь». Резюме: вот чем отличается туризм от эмиграции!

Теперь, в сложившихся обстоятельствах, мне хотелось постоянно проверять и определять пределы своей свободы, границы дозволенного. Ущемленная в своем праве на передвижение и независимость, я рвалась получить их там, где было возможно. И, увы, делала это не всегда вовремя.

Глава 48. Париж — коварный

Кевин на все лето оставался в Итаке — писал диссертацию. Я отпросилась в Париж. Он был против, пытался остановить меня, но потом скрепя сердце отпустил. Я прилетела в город любви, страсти… измены. Мне хотелось явиться к Уберу замужней женщиной. И я это сделала. Реванш! Он встретил меня в аэропорту и привез в квартиру своих родителей. Здесь я собиралась остановиться на пару-тройку недель, пока хозяева отдыхали на юге Франции. Убер знал заранее о моем приезде — собственно, он меня и пригласил. Я звонила ему из Итаки — хвасталась, что теперь тоже живу на Западе. И вот немного подержанная мечта осуществилась. В солнечный летний день я и Убер — некогда разлученные влюбленные — сидим вместе в парижском уличном кафе, глядя на воркующих голубей и булочников, на проходящих мимо в обнимку французов. Мы болтаем и поджидаем его приятельницу Катрин, она запаздывает, а Убер рассказывает мне о ней. Он встретил ее после своего возвращения из Москвы. Хотя она была сестрой его близкого друга, он никогда ее раньше не видел, так как она много лет жила со своим женихом на Гавайях. Вскоре после знакомства у них с Убером начался роман, а жених остался ни с чем. По словам Убера, теперь он испытывает к ней скорее дружеские чувства, тогда как она не оставляет его ни на час и очень ревнует.

Разговор зашел обо мне, моем браке и отъезде из страны. Я рассказываю, что после его возвращения в Париж у меня были неприятности с органами, а теперь меня не впускают обратно. Я возмущаюсь, говорю, что выехала по браку, а не по политическим соображениям, что все мои друзья, живущие за границей, успели за год-два по несколько раз навестить своих, и ничего. Убер заводится, начинает мне возражать: «Не обманывай себя, Ленушка (мне нравится его манера меня называть, делая

ударение на втором слоге), ты выехала по политической, тебе было там плохо, тебя притесняли, ты хотела свободы, это тоже политическая причина, так что будь честнее!» В этот момент к нам подходит высокая женщина с коротко постриженными темными волосами и в очках — это Катрин. Мы поднимаемся и все вместе отправляемся дальше — в кафе, в ресторан, к друзьям, бродить по улицам и так далее. Катрин оглядывает меня, видит, что у меня под блузкой нет лифчика, и делает замечание: «Ишь ты как, без всего, а вот я не привлекаю к себе внимания таким способом, это не мой стиль!»

На балконе в ее квартире мы втроем загораем обнаженными. Она и Убер читают газету, я лежу на животе и разглядываю крышу соседнего дома. Убер косится на меня сквозь длинные ресницы и ухмыляется. Катрин это чувствует и начинает что-то очень быстро рассказывать ему по-французски — отвлекает внимание. Затем, улучив момент, зовет его в комнату. Они обнимаются и целуются, потом снова выходят на балкон, предлагают вызвать их подругу-парикмахера и всем вместе постричься. Приходит подруга-парикмахер, курит, пьет кофе, затем начинает стричь Катрин — еще короче, чем была. Доходит очередь и до меня. Убер принимает активное участие в выборе фасона моей стрижки, наконец останавливается на одной модели, и подруга начинает щелкать ножницами. Не без ощущения риска я отдаюсь целиком в руки французской парикмахерши, считая, что в Париже знают в этом толк Результат меня радует, я провожу рукой по затылку — там короткий ежик. Мальчик-гарсон, девочка-травести, Гаврош — любимый французами андрогинный стиль. Мы все вместе решаем спуститься вниз — попить кофе с мороженым.

Поздно вечером Убер отвозит меня домой в квартиру родителей, говорит, что вернется позже и чтобы я не боялась. Через некоторое время сквозь сон я слышу, как кто-то отпирает входную дверь. Он подходит к моей кровати, наклоняется и целует меня в щеку, гладит по голове, примостившись рядом, обнимает, прижимаясь все крепче… Раздается звонок телефона, он вскакивает, бежит, чертыхаясь: «Это Катрин! Merde!» Телефонный разговор сопровождается еще большей руганью Убера, заканчивается бросанием трубки и бесконечным перезваниванием Катрин. Так продолжается всю ночь. Наутро Убер извиняется за беспокойство, объясняет, что Катрин сходит с ума от ревности и будет так звонить все время, пока я здесь. Убер нервничает и странно дергается, я думаю, что это из-за нее. Он показывает мне ключ от квартиры, говорит: «Если захочешь есть, в шкафу есть кофе и булка. Вот тебе карта Парижа, изучай

город», — и уходит.

Я осматриваю квартиру. Высокие потолки, длинный коридор, множество комнат. Отец Убера тоже врач, он имеет большую клиентуру и живет в доме на острове Сен-Луи. Я подхожу к окну и долго смотрю на Сену, словно на ожившую картинку, которую часто видела в Москве в словарях, энциклопедиях, на открытках — отражение собора Парижской Богоматери в серебристой воде. Красиво — и в том, что я оказалась здесь, есть некая магия. Только я не думала, что мне будет так одиноко… Я чувствую, что Убер мне дорог, я люблю его, а еще больше — свою память о нас обоих, но теперь все по-другому… и зачем я здесь? Впрочем, я чего-то как будто жду. Я знаю, чего: я испытываю судьбу. Мне становится голодно, я захожу на кухню и заглядываю в холодильник — он пуст. В шкафу лежит батон белого хлеба, я отламываю кусок и жую. А потом отправляюсь гулять по Парижу. Дохожу до собора Парижской Богоматери. Мне навстречу идет уличный фотограф с камерой-поларoидом. Он улыбается — у него красивая улыбка и густые черные кудри по плечи. Фотоаппарат щелкает — выползает снимок. Я смеюсь, мне приятно внимание постороннего. «Возьми, это тебе». Он протягивает фотографию. Я беру ее и разглядываю. «Спасибо!» — говорю я ему по-английски, и мне становится легко на душе «Ты мне должна деньги, — начинает объяснять он мне тоже по-английски, — это за деньги!» Мне становится неприятно, я понимаю, что это его способ зарабатывать, и он просто поймал меня. «Нет, я не заплачу, я не хотела, чтобы ты меня снимал, — объясняю я ему, — это нечестно». Он злится: «Я потратил на тебя пленку, отдавай фотографию!» Я протягиваю ему карточку, он берет ее и кричит мне вслед: «Я тебя проклинаю, у тебя будет все черно, все!» Я бегу от него, но его слова засядут у меня в голове: а что если он цыган и сглазил меня, у него такие черные глаза! Эту случайную дурацкую историю я буду вспоминать еще не раз, приезжая в Париж. Здесь у меня всегда будет что-то странным образом не ладиться, и я буду испытывать сильные страсти и терзания, словно кто-то втыкает в меня иглы, одну за другой. «Это фотограф с черными глазами, — буду полушутя повторять я себе, — и жена Андрона Вивиан — только ей я могла так сильно досадить, что за это меня терзает ее родной город…»

От собора Парижской Богоматери я направилась к Лувру. Он показался таким большим, что я решила сначала присесть и попить кофе в скверике неподалеку. Наверное, у меня было типично туристское выражение лица, так как сидящий за соседним столиком забавного вида молодой человек обратился ко мне с вопросом: «Вы туристка? Хотите пойти в Лувр,

посмотреть на картины? Сейчас допьете кофе и отправитесь на экскурсию?» Я закивала: «Да, очень хотелось бы, вот только допью кофе…» Он усмехнулся: «Что, никогда раньше не были в Лувре?» Я опять закивала, стыдясь своей необразованности: «Да, к сожалению, никогда раньше не была в Лувре, первый раз, но не последний!» Он понимающе покачал головой и добавил: «А я так попью кофе, а потом пойду пройдусь». Мы помолчали, потягивая каждый из своей чашки. Мне было приятно, что со мной общается посторонний в кафе и делает это по-свойски, как знакомый. «Вот они — парижане, такие свободные, со всеми знакомятся на улице, — подумала я и спросила соседа: — А вы из Парижа?» Он утвердительно кивнул и как-то скептически усмехнулся. Я решила продолжить беседу: «Ну конечно, вам не надо идти в Лувр, вы его знаете как свои пять пальцев, а я — приезжая». Он допил последний глоток, поставил чашку и, развернувшись ко мне всем телом, весело затараторил: «А я там не был никогда и не пойду! Не верите, а это правда. Не понимаю, зачем ходить в музеи, да и вам не советую — скучно, лучше погулять, посидеть на свежем воздухе». Затем он бросил мелочь на стол, улыбнулся мне и с кивком, означающим «пока», удалился.

Вечером Убер расспросил меня, как я провела день, сделал какое-то замечание насчет шкафа, который я не закрыла как следует, затем пустился в пространные рассуждения о путешествии по миру и пользе самостоятельного изучения нового города, каким для меня в данном случае был Париж, подчеркнув, что я должна быть более самостоятельна. Он дал понять, что сознательно бросил меня «плавать» в одиночку, так как я уже не в Москве и должна привыкать обходиться без посторонней помощи. «Ты слишком избалована, наверное, тебе во всем помогает твой муж, — добавил мне он, — в Америке надо быть более жесткой и решительной». Он пригласил меня поужинать вместе с ним и Катрин в ресторане. По дороге он объяснил, что купил недавно квартиру — деньги на нее заработал за два года службы в загородной клинике — теперь там надо многое перестраивать, делать ремонт, поэтому он живет у родителей и не может показать мне пока свой дом. Но вот мы подхватили Катрин, которая в вечернем свете казалась более загадочной и интригующей, чем днем. В ресторане я заказала огромную тарелку зеленого салата, чем вызвала усмешку Убера: очень по-американски, — а Катрин попросила устриц и белого вина — «Наверное, очень по-французски», — подумала я. Перед тем как ей принесли заказ, она раскрыла свою сумочку и, протянув руку под столом, что-то то ли взяла, то ли передала Уберу, затем поднялась с места и вышла. Ее некоторое время не было, а когда

она вернулась и села, Убер внимательно посмотрел ей в лицо. Она ответила ему тем же, потом вынула сигарету из пачки, прикурила и, взглянув куда-то вдаль, мечтательно заметила: «Я так люблю завтракать в „Ла Куполь“, давай сходим, мы там давно не были».

После непродолжительного ужина Убер предложил мне поехать в гости к Катрин, а сам покинул нас, сославшись на усталость и какие-то дела. И я отправилась к ней. Она жила в небольшой квартирке, полной разбросанных журналов, книг, ее фотографий, а также декоративной рухляди. Катрин приготовила мне кофе, затянулась сигаретой и начала рассказывать. Фотографии были сделаны ее бывшим женихом, с которым она жила на Гавайях. Она говорила, что была там счастлива больше, чем в Париже, и больше, чем с Убером. Жаловалась на него, жалела, что тратит время впустую, ведь она журналист по профессии… И вообще, старше Убера, гораздо более начитанная, и ей пора подумать о семье, а он все тянет, и так далее и тому подобное. Я молча слушала ее рассказ и только поддакивала иногда в знак сочувствия или согласия. «А он тебя любит и чувствует себя виноватым, что не женился, — откровенничала со мной Катрин, — мой брат считает, что Убер поступил не по-мужски, бросив тебя в Москве после всего, что у вас было». Мое лицо не изобразило никаких эмоций, а она продолжала: «Я его очень к тебе ревновала. Помню, лежим мы с ним в постели, а на стене у него советский календарь с твоим портретом. Так он все смотрел на него и вдруг набрал Москву и прямо из постели начал разговаривать! Нет, ну разве так можно, прямо после любви и всего?» Я улыбнулась в ответ, успокоила ее: «У нас все в прошлом, а телефонные разговоры между Парижем и Москвой — это пустяк, просто по-дружески».

Вскоре она предложила подвезти меня обратно на квартиру к родителям Убера. Перед тем как расстаться, мы расцеловались в знак женской солидарности. Той ночью Убер не ночевал у родителей. А наутро я позвонила нашему приятелю, журналисту Марку, которого знала по Москве, и мы договорились встретиться и посидеть где-нибудь в городе. После ланча с Марком мы вернулись обратно в квартиру. Дверь открыл Убер. Он холодно поздоровался со мной и стал что-то нервно объяснять Марку по-французски. Затем вдруг обратился ко мне по-английски вперемежку с русским, стал кричать, что я оставила открытой кофемолку или что-то еще на кухне. Его лицо побелело, он заводился все больше и больше, то отбегая от меня, то возвращаясь, чтобы привести новые аргументы, подтверждающие его правоту и мое неправильное поведение. Марк вступился,

резко закричал на Убера, взял меня под руку. Я что-то бормотала в ответ, совершенно сбитая с толку: что с ним происходит и в чем причина агрессии? Но он вдруг подлетел ко мне с криком: «Не надо плакать на плече у Катрин, жаловаться на свою жизнь!» — и принялся боксировать меня в грудь кулаками. Марк оттащил меня от него, заслонил своей спиной и начал что-то выговаривать Уберу. Я бросилась в комнату собирать свои вещи. Затем обратилась к Марку с мольбой: «Прошу тебя, позволь мне переночевать в твоей квартире, я не могу здесь оставаться». Он поколебался, но затем подхватил мой чемодан, и мы ушли.

На следующее утро, проснувшись, я стала соображать, куда бы мне переехать — оставаться у Марка было неловко. Еще я обнаружила, что у меня пропал голос, вернее, я могла говорить только каким-то низким шепотом. «Стервы, — думала я про француженок, — какие же они все стервы! Ведь я ни слова не сказала Катрин о себе и о своих чувствах к Уберу! Она жаловалась мне на него, а потом перевернула все наоборот, вот это да… Ну, будет мне урок». На самом деле у меня был шок из-за Убера. «Что с ним, — глотая слезы, бормотала я осипшим голосом Марку, — он какой-то бешеный, как будто заболел чем-то. В Москве говорили о его вспыльчивости, но чтоб так… не понимаю». Марк вздыхал, но ничего не смог мне объяснить. К вечеру позвонил Убер, поинтересовался, как дела и собираюсь ли я вернуться на квартиру. Я ответила: нет. Он попросил прощения за вчерашнюю вспыльчивость и поинтересовался, что со мной. Когда я напомнила ему, что он бил меня, то он не поверил, решив, что я выдумываю. Посоветовав мне принимать для восстановления голоса какие-то лекарства и сказав, что перезвонит, он повесил трубку.

Вечером я переехала к Миланке — той самой югославке, художнице-модельеру, которую знала через Андрона. Она предложила остаться у нее, сказав, что сама уезжает на десять дней и мне будет у нее просторно. «Здесь в одной из комнат остановилась еще Лана Волконская, вы с ней не знакомы? Она из Нью-Йорка, знает Андрона, очень милая. Тебе не помешает ее компания», — сказала Миланка и уехала. Единственное, о чем она еще предупредила — о ее работнике, старичке-черногорце, который приходит по утрам и убирается в квартире: «Он не говорит ни слова ни по-английски, ни по-французски, ни по-русски, так что не удивляйся его безмолвию». Осмотревшись вокруг, я начала потихоньку успокаиваться. Казалось, что я нахожусь в надежной крепости среди элегантных миланкиных вещей, ваз с цветами, роялем и мебели. Все здесь говорило о художественном вкусе хозяйки, и даже благозвучное имя тихой

улочки, на которой она жила — Рю де Флер — и то источало аромат. Совершив несколько вылазок в город, к памятникам архитектуры и Эйфелевой башне, я почувствовала, что возвращаюсь к нормальному ритму жизни цивилизованного туриста.

Мне захотелось общения, и я позвонила поэту Юре Кублановскому, которого встречала еще в Москве, а теперь знала, что он живет в Париже. Моему звонку Юра обрадовался и тут же предложил встретиться, как обычно встречаются в Париже — в кафе на улице. Он назвал адрес и время — шесть вечера, самый час пик. Я оделась в обтягивающие бежевые джинсы, коротенькую майку, туфли на танкетке на босу ногу и поспешила в метро — на улице стояла страшная жара. Не помню, какая это была станция, я стояла в толпе нетерпеливых французов, ожидающих поезда. Они спешили поскорей броситься в вечерний Париж — Париж удовольствий, разговоров, выяснения отношений. Наконец подошел состав, все начали протискиваться в вагон. Меня подталкивали сзади, я занесла ногу, и в этот момент моя туфля соскользнула и упала вниз, между вагоном и платформой. Я ахнула и, отпрыгнув назад, начала причитать: мон шосюр, мон шосюр! Двери захлопнулись, и поезд уехал, оставив меня стоять в недоумении, как цапля на одной ноге. Мой беззащитный вид привлек внимание дежурного и посторонних наблюдателей. Объяснений не требовалось, так как босая нога говорила сама за себя. Кто-то из сочувствующих вызвался спуститься вниз на рельсы — прыгнул, пошарил в полутьме и с туфлей в руке ловко выпрыгнул наверх. Я была безумно благодарна и счастлива, как если бы мне достали драгоценность. «Мерси!» — кокетливо улыбаясь, произнесла я. «Же ву занпри, мадемуазель», — словно пропел мне в ответ мой спаситель и был таков. Прямо Золушка с принцем, не меньше! «Нет, ну все-таки французы — это мужчины!» — думала я, смакуя в душе его вежливый тон. Правда, взглянув на боевой трофей, поняла, что можно его выбросить обратно — подошва была раздавлена всмятку. Так я и сделала — выбросила туфлю в урну, вторую положила в просторную сумку (тяжело расставаться сразу со всем в этом мире, надо постепенно) и поспешила к месту встречи. Париж — город индивидуального стиля и разнообразия в одежде, манерах поведения; — уповая на это, я с гордо поднятой головой отмахала босиком несколько сот метров в принаряженной толпе и благодаря этому наконец была принята за свою. Только завидев издали Юру Кублановского, я начала приплясывать и показывать на свои босые ступни, показывая жестами, что сейчас все объясню. А когда мы сели за столик, я закурила и начала рассказывать свою эпопею. Юра —

истинный поэт, человек мира перевернутого, метафорического, поэтому воспринял все как должное — для него в необычной логике заключено больше смысла. Он рассказал о своих делах, показал стихи, написанные во Франции, выслушал и успокоил меня. Мы с ним понаблюдали, как недалеко от нашего столика группа моделей позирует фотографу, придавая игровой оттенок всему, что нас окружает, и, ободренные неизменным парижским кофе, мы двинулись искать машину, которая доставила меня до дома. Единственное неудобство я испытала, когда, прощаясь с Юрой, бросила сигарету на землю и по привычке хотела наступить на нее ногой, но… вовремя остановилась.

А дома меня ждала моя временная соседка Лана Волконская. Пианистка, похожая на мальчика-переростка, худая и очаровательная, Лана была немногословна, смеялась низким голосом и замечательно острила. Она предупредила меня, что часов в пять утра входную дверь отпирает своим ключом тот самый старик черногорец, который убирает у Миланки квартиру. Вид у него, по словам Ланы, ужасающий — уголовник, не меньше, брит наголо, коренастый, и все время говорит, а вернее, ворчит что-то нечленораздельное, заходит в спальню и что-то требует, а потом уходит до следующего утра. «Сумасшедший!» — заключает Лана. Она очень дружелюбна и приветлива. Мы с ней будем еще встречаться в Нью-Йорке, где она родилась и живет постоянно, хотя принадлежит к тем самым настоящим Волконским, которых очень много разбросано по всему свету. Оттого что я из Союза, а она — русская дворянка и одновременно американка, наше общение происходит на некоторой дистанции — она настороженно изучает меня, я — ее. Кажется, что мы обе остались друг другом в принципе довольны. Наше общение в Париже было очень коротким и почти бессловесным, но ее образ врезался мне в память и до сих пор вызывает какую-то нежную печаль: почему-то так и хочется обнять ее, приласкать, как заблудившегося, потерявшегося ребенка. Оказавшись в один из дней на улице под проливным дождем, мы шли молча — Лана раскрыла свой зонт и подняла его вверх, предложив и мне спрятаться под ним. Нам навстречу спешили промокшие, ссутулившиеся прохожие, они шли с непокрытыми головами, словно в забытьи, глядя прямо перед собой — момент единения в безродности. Лана была задумчива, потом вздохнула глубоко и, как старый мудрец, произнесла: «Странные все-таки люди — дождь идет, а они без зонтов!» Мне показалось, что Лана давно наблюдает «людей» из какой-то своей, далекой страны… Помню, я отважилась и спросила у нее, как у старшей, непременно знающей ответ: «Лана, здесь часто говорят о славянской душе. Ты понимаешь, что они

имеют в виду?» Она промолчала, посмотрев на меня — на глазах у нее выступили слезы. Более красноречивого молчания быть не могло, но эти слезы я поняла только спустя несколько лет жизни «в эмиграции», преодолев огромную дистанцию от себя, задающей подобный вопрос, — до себя, отвечающей на него молча, как Лана.

Вскоре она уехала обратно в Нью-Йорк. Мои ночи в огромной пустой квартире наполнились страхом и напряженным вслушиванием в ночные звуки. Ожидание утреннего гостя, старика черногорца, превратилось в навязчивую идею. И я не выдержала, стала искать кого-нибудь, кто мог бы разделить со мной страшные ночи в пустой квартире. Вспомнила, что в Париже находится с визитом чета Мамлеевых. Позвонила им и пригласила на разговор. Мы встретились с Юрочкой и Машенькой. Они, как добрые родители, вошли в мое положение — кто еще поймет русского человека с его страхами перед ночными кошмарами — только другой русский! Таким образом, в квартире Миланки теперь ночевало трое: я и супруги Мамлеевы — засада для черногорца. И он пришел. В пять часов утра произнес свою речь на непонятном языке, к чему-то призывал, чем-то возмущался. Мамлеевы его покорно выслушали и снова улеглись, а он ушел ни с чем.

Но вот я наконец собралась обратно, обменяла билет на более ранний срок — хватит приключений, погуляла! Перед отъездом позвонила, как обещала, Уберу. Он предложил пообедать вместе. Я согласилась. На обед он приехал с сестрой, Клод. Они снова сидели передо мной, как когда-то в Москве, — белокурые бестии, похожие как две капли воды. Только теперь нас связывала история, в которой была радость, надежда, вина, опустошение. Кто бы мог подумать тогда, что судьба будет так странно играть нами. Мы распрощались. В глазах Убера было сожаление и возмущение, во мне — отторжение и пустота. Будет ли еще встреча? Я не знала тогда, что будет… и не одна.

Прощаясь напоследок с Мамлеевыми, я вновь посетовала на коварство французских женщин. «Да что вы, Леночка, они очень опасны, из-за чашки кофе убьют», — протянул Юрочка. «А вы откуда знаете?» — недоверчиво спросила я. «А что тут знать, Жорж Сименон о них все написал». Мы допили кофе, расцеловались, и я отправилась в аэропорт.

Глава 49. Обо всем…

Настал день, когда мы с Кевином погрузили весь свой скарб в машину (пианино и мебель отправили вперед на грузовике) и поехали из Итаки в город Мидлбери, штат Вермонт. В гости к «отшельнику» Солженицыну. Поверили? Да нет, конечно, мы ехали не к нему, за то его и называли отшельником, что он никого к себе не пускал. А ехали мы в колледж, где Кевин, защитив диссертацию, получил работу. Вермонт — прелесть! Здесь самая красивая осень в Америке, а может, и вообще в мире. Багровые, огненные, темно-лиловые и лимонно-желтые деревья выстраиваются лесенкой и смотрят на тебя с холмов, пока ты ползешь на четырех колесах вверх по шершавой дороге. Небо — бесконечное и высокое, стоит куполом и не шелохнется, по краю горизонта голубеет волнистая черта гор. Опускаешь взгляд вниз и видишь — маленькие, словно божьи коровки, домики присосались к земле, а еще ближе, у самых ног, замечаешь большую кашу — это коровья лепешка! Красота, особенно для москвички, у которой никогда не было дачи.

Приехали, стали расставлять мебель, раскладываться. И вот тебе на — пианино не влезает во входную дверь. И так пробовали, и этак — не лезет, и все. Делать нечего, пришлось оставить его на крыльце под открытым небом, а рядом повесить объявление, что инструмент продается. Другой сюрприз — нас атаковали блохи! Квартира была на втором этаже старого деревянного дома, а вокруг — поля и веси. Пришлось вызывать специальную бригаду для травли этих симпатяг. Одним словом — деревня: то летучая мышь в трубе застрянет, то крыса на чердаке сдохнет. Зато коту раздолье — приносит в дом полевую мышку и кладет на пол. Она начинает бегать по комнатам, если еще может. А ругать его за это нельзя, ведь он охотник, внес свою лепту в общее хозяйство. Я говорю для «кота», а не «котов», потому что одного, а именно Мари, мы оставили знакомым в Итаке — тяжело было перевозить. А Мицкевич (не поэт, а кот), бедняга, по дороге метался в салоне машины, прыгал по головам, все от страху намочил — по словам Кевина, оттого, что «у него было трудное детство». О детстве Мицкевича я ничего не знаю, но меня такое положение дел не устроило — в нашей семье основным претендентом на «трудное детство» я считала себя. А потому вела себя, мягко говоря, непредсказуемо. В первые же дни я пошла пройтись, осмотреть окрестности города размером с наперсток. Зашла в местную церковь на пригорке, уж больно сладкие звуки доносились из ее дверей. Захожу и вижу — полно народу, не пошевелиться! Так вот

они все где, решила я, городок весь пустой, а тут столпотворение. Протиснулась к стенке и стала слушать органную музыку. Тут вдруг началось движение и меня совсем зажали в угол, стою, еле дыша. Наконец образовался просвет, и вижу — все прихожане друг за дружкой выстраиваются и направляются к выходу, головы у всех потуплены, лица скорбные, а идут они за прямоугольным ящиком — ба, да это гроб! Тут я сообразила, что попала на отпевание. Рванулась к дверям, да не тут-то было, на меня зашикали: в порядке очереди, по принципу родства с покойником (или покойницей) — значит, я выйду последней. Пришлось отстоять свое и поскорбеть немного над усопшим, а потом в паре с какой-то пожилой дамой я чинно вышла из дверей церкви и медленно начала спускаться по высоченной лестнице. В это время как раз студенты возвращались с лекций и увидели процессию. Тут и секретарша с кафедры Кевина встала как вкопанная и смотрит мне прямо в глаза: жена нового профессора, только приехала, а уже кого-то хоронит, как быстро освоилась, чудеса! Кевин пришел вечером домой и спрашивает: что это ты сегодня делала, говорят тебя видели выходящей из церкви, хоронила кого-то? «Отдавала последнюю дань неизвестному мидлберцу!» Как тут не вздохнуть: загадочная русская душа…

Колледж Мидлбери славится преподаванием иностранных языков: это одна из двух лучших языковых школ в Америке. Особенно ценятся ускоренные летние программы. Так вот, я решила здесь заняться французским. Как сказал Кевин: «Молодец, Ленуся, очень пригодится французский язык в Америке!» Но зря он иронизировал — по женской логике у меня все выстраивалось верно, я же шла по пути ликвидации комплексов, а французы меня, как известно… достали. Каждое утро я выбегала с папкой через плечо из дома, поднималась вверх на крутой пригорок и затем через зеленые лужайки шла на лекции. Зубрила французские слова, а возвращаясь, любовалась на закатное небо и раскинувшиеся до горизонта поля, усыпанные навозными лепешками, — благодать!

У нас стали появляться новые друзья среди студентов. Они приходили, рассказывали страшные истории про наш деревянный дом: якобы он славен в округе тем, что в нем появляются привидения. Я верила, визжала, приставала к Кевину — давай переедем, потом выяснялось, что это розыгрыш. Американцы, между прочим, сами забили мне голову этой чепухой. У них даже таблички на домах вывешивают (особенно в штате Южная Каролина, в городе Чарльстоне): здесь, такого-то числа, месяца и года, появлялось привидение такого-то и такой-то, усопших тогда-то и бывших при жизни тем-то и тем-то. В дом Кевина в

Северной Каролине тоже наведывалось привидение бывшего хозяина, построившего этот дом. «Он безобидный, — предупредила меня Бетти, мама Кевина, — придет, посидит на краю кровати и уйдет». Верить этому или нет — личное дело каждого, однако Кевину в детстве приснился старик, который представился ему по имени и сказал, что он и есть хозяин дома. Какого же было всеобщее изумление, когда на следующий день выяснилось, что так хозяина и звали на самом деле, а знать этого Кевин никак не мог. Правда, с моим появлением в семье этот милый старикан перестал приходить — не выдержал конкуренции. «Покинул место», — сказала мне Бетти безапелляционным тоном.

Ну, а в Мидлбери, напротив — «привидения» только начали слетаться. Особенно летом, во время работы знаменитой языковой школы. Самым неожиданным из них было появление Алешки Менглета — рыжика. Он гостил у друзей в Нью-Йорке, позвонил мне и проорал в трубку: «Ленка, мы к тебе едем!» «Мы» — это он, его друг художник Саня Дрючин, Алик Гольдфарб, с которым я еще буду сталкиваться в период «холостой» жизни в мегаполисе, и некая девушка Оля. Больше всего бескрайние просторы американской родины пришлись по душе художнику Дрючину. Он и девушка Оля пропадали часами где-то в полях, а возвращались оттуда разомлевшие и счастливые. А меньше всего — горожанину Гольдфарбу, он все нудил, приговаривая: «Коренева, как ты здесь живешь, приезжай к нам в Нью-Йорк». Но всем было хорошо, когда ездили к горной речушке — возле студеной воды расстилали коврик и начинали вспоминать: кто, где, когда. Алешка смотрел на меня ностальгически, как на свое произведение искусства, спрашивал, как мне живется, не обижают ли в Америке. Интересно, отдавал ли он себе отчет в том, что положил начало моей зарубежной эпопее, или это мне только казалось? Мы устроили пару вечеринок с плясками и запеченной в духовке уткой. Поваром был колоритный острослов-матершинник Юз Алешковский (автор знаменитых строк: «Товарищ Сталин, вы большой ученый…»), находившийся в колледже с женой Ирой. Юз приезжал сюда и осенью. Встретив его однажды на лесной тропинке, я удивилась, что он здесь делает один, ведь все давно разъехались. Он рассказал, что переживает в Вермонте свою «болдинскую осень», только в отличие от А.П. пишет не стихи, а японские танки или хокку. И говорит: «Хочешь послушать?» Я согласилась. Он начал читать, вдохновенно закатив глаза. Не могу, к сожалению в точности воспроизвести, только приблизительно:

Роса на грядке
Осень — кап, кап, кап, кап, кап!
…в рот партию ебу!

В один из дней появился и Василий Аксенов — он снял дом в горах и жил здесь с супругой. Пришел к нам, посидел, поболтал и заманил моих друзей к себе в гости. Там они и канули в Лету… Так и не знаю, сколько времени провели они у Васи и когда отправились… восвояси. Жили в горах Вермонта и Саша Соколов с женой. К ним надо было взбираться на машине по серпантину. Как-то мы с Кевином отправились в гости в густой туман — просто жуть. Открыв дверцу и высунув руку, я не могла понять, где край дороги и что впереди. Я предлагала Кевину бросить машину и добираться пешком, но он настоял на своем и «протаранил» туманного лешего прямо до верхушки горы: к Соколову попадает только смелый! Саша, пожалуй, мог дать фору Солженицыну в затворничестве, но гостей принимал с удовольствием. Любил ставить джаз и песни Нани Брегвадзе — восторгался ее голосом и манерой. Саша принципиально общался только на русском и, как мне показалось, почти маниакально оберегал свой родной язык. Помню, понравилось ему, как я говорила, рассказывая о Москве: «мой дом на Грузинах». Он записал это в тетрадочку, и потом я встретила своих «грузин» в его романе «Палисандрия».

Не забывал меня и Андрей Сергеевич, позванивал временами. Как-то разговариваю с ним по телефону из Северной Каролины, и он спрашивает возмущенно: «Что ты там делаешь?» А я: «Отдыхаю». Ему очень не нравилось, что я бездельничаю, и решил он меня трудоустроить. Предложил маленькую рольку в своей картине, так и сказал: «Маленькая, но проходит через весь фильм». Наобещал с три короба, а в результате получился фиг. Правда, вина тут не столько его, сколько продюсера, потребовавшего сильно сократить фильм. Речь идет о «Любовниках Марии». Картина снималась в Пенсильвании, куда я приехала на две недели. Андрон каждую картину переживал бурно, как роман. От Настасьи Кински он был в восторге. И в ответ на мои вопросы о ее игре буквально кричал: «Она звезда мировой величины, калибра Анны Маньяни!» Я растерялась, услышав такой напор, — и перевела все на свой счет, вроде как: «А ты стоишь последней в списке претенденток». Может, поэтому я заупрямилась и подвергла сомнению дифирамбы, расточаемые Кончаловским Кински. Я пустила в ход «тяжелую артиллерию», сказав, что Лив Ульман — талант с большой буквы, а вот

Настасья… еще надо проверить. Андрону моя аргументация показалась наивной — с Лив вообще, по его словам, не надо сравнивать, она не звезда в полном смысле слова, вот Ширли — мировая величина, а Лив — локального значения актриса. Мне было обидно слышать такие вещи о Лив, как позднее о Ширли, что она — веснушчатая тетка из Виржинии… Андрон всегда страстно влюблялся в своих актеров, а в актрис особенно, превозносил их до небес, но, увы, стоило ему в частной жизни с кем-нибудь из них потерпеть неудачу, как вчерашний талант тут же превращался в обычную «тетку». «А ведь я на ней чуть не женился!» — показывая на меня и широко улыбаясь, сообщил он в перерыве между съемками стоящей вокруг группе, как нечто забавное. «Совсем спятил!» — подумала я об Андроне, смакующем тему несостоявшейся женитьбы на мне, и сердце болезненно сжалось. На площадке «Любовников Марии» мне пришлось пережить много ударов по самолюбию, как актерскому, так и женскому. И от невозможности больше страдать я взяла и влюбилась в Кита Каррадайна, исполнителя одной из главных ролей. Чуть было его не соблазнила, но вовремя остановилась: он сказал, что дал слово жене, перед которой и так виноват. Его образ вдохновил меня на написание пары стихотворений, что-то про «лицо», которое вылупилось в двух моих ладонях, и про то, как непросто повстречать это самое «лицо» вообще… С этими стихами в голове и тремя с половиной тысячами долларов в кармане я вернулась к Кевину. «Вот это да!» — воскликнул он, увидев, сколько денег я привезла за две недели ничегонеделания. «Я столько времени учился, приобретал знания, чтобы в поте лица зарабатывать за месяц то, что ты за несколько дней? Да я, можно сказать, герой капиталистического труда по сравнению с вами, актерами… Несправедливость!» — «Еще какая!» — вздыхала я, имея в виду и себя тоже.

Глава 50. …и ни о чем конкретно…

Я в принципе была согласна с Кевином — актерская профессия в Америке, при маломальском успехе гарантирует быстрые и значительные деньги в противоположность скромным доходам безропотных трудяг — профессоров и интеллектуалов. Но разве эта несправедливость шла в какое-нибудь сравнение с тем, что мне в очередной раз отказали во въезде в Москву? Теперь сомнений не оставалось, что делалось это не по ошибке или недосмотру, а по указанию сверху. Опытный борец с властью Алик Гольдфарб сказал: «Тебя впустят, когда сменится начальник — генсек». Я внимательно слушала, не понимая, какая связь. «А

очень просто: в твоем досье есть указание — не впускать, так вот, должен прийти другой начальник, он станет работать против предыдущего, все делать наоборот, и тебя пустят. У них так всегда!» Начальники сменялись, но нужного среди них не было. Я получала отказ за отказом, каждые шесть месяцев в течение трех с половиной лет. За это время мы с Кевином успели переехать из Мидлбери в город Шарлотсвиль, штат Вирджиния, прожить там год и снова вернуться в Вермонт. (Прежде чем моему мужу предложили бессрочный контракт в колледже Мидлбери, он каждый учебный год преподавал в разных университетах.)

Я времени даром не теряла: получила права на вождение машины — с пятого захода! (Правила дорожного движения на английском — та еще головоломка — я все время заваливалась на каком-нибудь каверзном вопросе. Например, «твердая поверхность» — это что: тротуар или проезжая часть?) А также впервые в жизни пошла работать не по профессии… И отнюдь не из-за нехватки денег, а ради психологического равновесия. Свою интеллигентскую «девственность» я впервые потеряла в кондитерской, она же кофейня. Придя к хозяину на интервью, на все его вопросы: умеете ли варить кофе в специальной машине, пользоваться кассой, работали ли раньше в сфере обслуживания, — я уверенно отвечала «нет». Наверное, он решил, что случай уникальный, и потому немедленно взял меня на работу. После этой кондитерской я почувствовала себя полноправным членом общества: стала зарабатывать свои, пусть даже и чисто символические, деньги и получила возможность непосредственно общаться с самой настоящей реальностью. При всей прелести и пользе жизни в академических городках, в колледжах — интеллектуальное окружение, почти идеальный маленький мир — все-таки это герметичная среда, лишенная той субстанции, которая как раз отличает подлинную жизнь от виртуальной. И я понимала, что рано или поздно мне захочется отсюда выскочить. Временами от наших эмигрантов — режиссеров и сценаристов — поступали предложения о возможной роли в их будущем фильме. Я шла навстречу, но вскоре выяснялось, что работать мне у них небезопасно. Сюжеты предполагаемых картин освещали события с эмигрантской точки зрения, были «антисоветскими», и это могло навлечь на меня — известную советскую актрису — еще большие неприятности. Миша Богин так и сказал: «Лена, я посмотрел в библиотеке советские киножурналы — вас там очень хорошо знают. Если вы собираетесь вернуться обратно и хотите, чтобы ваши родственники жили спокойно, то, конечно, вам нельзя у меня сниматься». Не помню точно, о каком фильме шла речь и снял ли

он его потом или нет.

Запрет на возвращение в Москву подтачивал мое существование. Я невольно воспринимала свой брак как причину всех бед, обрушившихся на меня и моих родных в Москве. Двойственность моего положения — не до конца отвергшей страну, которую я покинула, не отказавшейся от желания вернуться, страх причинить близким людям вред неверным словом или действием — все это обостряло внутренние конфликты, вызывало негодование и душевные муки. Подспудные ограничения, которые я чувствовала по приезде в Америку: языковые, социальные, психологические, к которым добавился еще более жесткий запрет — привели к желанию делать все наоборот, бунтовать, подрывать существующие правила. Я не носила обручальное кольцо и одевалась преимущественно в черное. Это вызывало сначала озабоченность родителей Кевина — может, так принято в России? А потом и раздражение: ну не вдова же!

Мои отношения с Кевином тоже переживали кризис. Неблагоприятный эмоциональный фон сказался на интимной стороне жизни, вызвал апатию. Я устала от роли, которую сама себе и придумала — хранительницы чужой тайны, которая заключалась в бисексуальности моего мужа. Никто меня, правда, не принуждал к ее хранению и вообще к каким-то жертвам. Однако каждый раз, когда в обществе разговор заходил о нестандартной ориентации, я молчала в тряпочку, боясь выдать свое волнение. Особенно двусмысленным было порой общение со свекровью, когда она беззаботно рассуждала на «запретную» тему. Говоря, к примеру, о том, как следует одеваться, она могла сказать: это мне не нравится, такую обувь носят только гомосексуалисты! Я замирала и терялась в догадках: знает или нет? В то же время я стала намного теснее общаться с представителями сексуального меньшинства и начала понимать их точку зрения на наши общие заблуждения. Я выслушала множество самых экстравагантных мнений о равенстве полов и выдержала не одну словесную баталию: «Женщины должны идти служить в армию и сидеть в окопах! Почему мы можем таскать автоматы, а вы — нет, почему только наша жизнь должна подвергаться опасности?», «…почему внешняя красота — это женская прерогатива, мужчины тоже любят нравиться», «еще неизвестно, кто из нас чувствительнее — вы или мы» и так далее. «У всякой медали есть оборотная сторона» — мы любим это повторять, однако у нас не хватает мужества не сбрасывать со счетов это знание. Общение с гомосексуалистами или бисексуалами лишает женщину иллюзий на свой счет — тех

самых, которые делают ее в глазах гетеросексуальных мужчин желанной, хоть и глупой. И как всякое знание, оно может сделать ее умнее, честнее, сильнее, но и несчастнее. В моем случае оно вызвало гипертрофированную мнительность. Я постоянно гадала, выходя на люди: кто замечает за мужем его особенность, жалеют ли меня… или его, думают ли о нашей несовместимости, свидетельствует ли это о каком-то дефекте моей собственной сексуальности, раз уж я пошла на этот брак. Более того, я постоянно в кого-то влюблялась, а вернее — увлекалась, что само по себе не предосудительно, однако заставляло меня задуматься: все ли я получаю в браке, коли так ищу эмоций на стороне…

Немыслимое дело — когда пишешь о реальных фактах, видеть, что на седьмой странице у меня счастье, а уже на десятой — развод и все позади. Сердце разрывается. Начинаю понимать Пушкина, говорившего про Татьяну, что она «взяла и вышла замуж» — как будто не он сам так написал. В жизни мы жестоки или легкомысленны, но не замечаем этого так отчетливо, как на бумаге. В жизни есть временная дистанция, а в книге взял и перелистнул назад — от невезения к надеждам и обратно… Страшно делается. Вроде как Господь: во все стороны видишь! В какие-то несколько страниц укладывается целый жизненный зигзаг. Вот бы не перелистывать…

Глава 51. Мое «Il n’ est faut pas»

Наверное, супруги (конечно, не все) часто подбадривают свой брак разными фантазиями: «А что если я влюблюсь, тогда ты мне позволишь…» и так далее. Так мы с Кевином, чувствуя, что начинает ослабевать драматургия отношений, подстегивали себя разговорами о возможном романе кого-либо из нас двоих на стороне. «Если я влюблюсь, то будем втроем», — примерно так «утешали» мы друг друга и удовлетворенно хихикали: щекотало нервы. Осталось только проиграть эту ситуацию в реальных декорациях.

Лето 1985-го. Летняя школа. Я изучаю французский. «Он» тоже. Его зовут Доминик. «Длиннопалый, пухлогубый, мне твоя тоска знакома: затухающие плечи, спотыкающийся в речи… Как пред обмороком ребенок, с синевою под глазами, тело белое укутал ты в помятые одежды…» — писала я о нем в единственном посвященном ему стихотворении. Он был панкующим актером. Волосы выкрашены, в ухе серьга, шорты с бахромой по колено, на ногах бутсы, на носу очки вроде пенсне — Чехов, Антон Павлович, переодетый в современные одежды. Красивый, как они все… «Ты несешь свои игрушки в оттопыренном кармане, ну а

ночью на подушке вспоминаешь все о маме…» У него рано умерла мать, от рака. Мачехи сменяли одна другую, и некоторые пытались соблазнить хорошенького подростка. Отсюда недоверие к женщинам, как и желание найти в ком-нибудь вторую мать. Я была готова подставить ему свою… материнскую грудь. Подставила колени — под его голову, когда провожала в автобусе до аэропорта. Он почувствовал себя Гамлетом, съязвил: «Ноги раздвинешь, и моя голова покатится…» Мы влюбились друг в друга, потому что чувствовали себя отщепенцами, бродягами, шутами, детьми, актерами.

Наверное, актерство часто пробуждается в людях от безнадежности и абсурдности того, что с ними происходит. Он изучал французский, потому что собирался жить в Париже. («Посмотри на эти вывески: „Ногти“, „Перманент“, „Педикюр“ — они размером с дом, разве это не бред?» — говорил он о рекламных щитах в Нью-Йорке.) Он был американцем, влюбленным во Францию… как Кевин — в Россию. Вероятно, нас троих объединяла эта неприкаянность — каждый смотрел в противоположную сторону от родного дома. Он тоже заигрывал с бисексуальностью, как это может делать артист, ставящий над собой эксперименты: преступлю закон обывателей, преодолею табу, испробую, что за чертой. В Париже его ждал мужчина и режиссер, а в родном городе он оставлял девушку, с которой все было кончено. «Ты видел моего однокурсника, этого красивого, Доминика? Представляешь, он „двойной“», — сообщила я Кевину, как будто кошке мышку принесла. А себя мне стало немного жаль: «добыча» не по мне. Ничего, зато не буду терзаться, все эти чувства, ну их… мучиться в аскезе — дело привычное. (Иногда я приходила к выводу, что женщины в браке ведут исключительно целомудренный образ жизни. Смех! Впрочем, и «на воле» с этим тоже тяжело… Да и у кого вообще эта самая половая жизнь происходит так, как положено или как хочется? Может, это миф?)

Однако жизнь подготовила «сюрприз». После очередного ужина у нас вечером, с вином и музыкой, мы с Кевином предложили Доминику и его подружке (из институтских) лечь вместе в постель. Так, для повышения знаний в области «группового секса», эксперимент. Все по разным причинам согласились. Залегли — тесно, смешно, никто не знает, как это делать хором. Да и, честно говоря, нет особого желания, больше хулиганского азарта. В конце концов девушка захотела спать и ушла к себе в общежитие. Мы остались втроем. Я поняла, что эмоционально блокирована и не могу даже шелохнуться: застопорило. Типично женская провокация — сама все устроила, а вы разбирайтесь. В сложившейся ситуации самым продвинутым

оказался Кевин. Он начал импровизировать, и Доминик, зажмурив глаза, бросился в пропасть не раздумывая. Я загрустила и вышла из дома. Села на пороге, потом свернулась калачиком, так и задремала в траве, глядя на звезду. После этого вечера Доминик сказал мне, что я зря старалась — он не собирается романов крутить с моим мужем, да и мне сочувствует, что я в браке. С того момента мы с ним приобрели какую-то общую историю, он жалел меня, а я — себя и Кевина. Кевин же ревновал нас обоих и пытался взять реванш — приглашал Доминика на переговоры и выяснения отношений. Все это происходило на фоне девственного вермонтского ландшафта и было, в сущности, так же наивно, как и белые кучевые облачка, зависшие на голубом фарфоре неба. Наивно, но и болезненно. Начались стычки, чуть не закончившиеся в полицейском участке. Как-то раз Кевин попытался вызволить меня из общежития, где я в знак протеста (против мужа, судьбы, советской власти) заперлась с Домиником. Он позвонил в полицию и сообщил: «Прошу вас приехать и открыть дверь такой-то комнаты! (Его спрашивают: на каком основании?) Там моя жена забаррикадировалась, я хочу, чтобы вы привели ее домой!» Телефон-автомат находился в коридоре, рядом с дверью, за которой затаив дыхание сидела я. Пришлось выйти, не дожидаясь полиции.

Наши общие с Кевином знакомые были в курсе раздора, правда, не знали наверняка, что стало их причиной. Скорее всего считали меня виноватой в измене. Да так оно и было в конечном счете. «Это похоже на историю Анны Карениной», — поговаривали с сильным акцентом едва оперившиеся студенты департамента русского языка и литературы. Русские женщины — вот они какие! («Что вам всем надо? — недоуменно вопрошали американские мужья, — вы не хотите счастья, вам скучно, вы разрушаете все хорошее! Да вы больны, вас всех надо лечить, водить к психиатру!» По статистике две трети русско-американских браков заканчивались неудачей. К слову сказать, наш родной Союз занимал первое или второе место по разводам в мире.)

Тем летом подогревало страсти еще и то, что осенью мы с Кевином должны были расстаться на девять месяцев. Его посылали в Москву, в институт имени Пушкина. А мне даже теперь отказывали в визе: я не могла сопровождать собственного мужа. Кто-то, может, и обрадовался бы этому обстоятельству, но меня оно выбивало из колеи. Я понимала, что за девять месяцев жизни порознь, тем более в том душевном состоянии, в котором я находилась, все изменится, а вернее, кончится. Со мной начало тогда происходить что-то странное — я почувствовала себя в

конфронтации со всеми правилами и законами, по которым существует благовоспитанное общество, здесь и там. Из-за лицемерия, на фоне которого человеку невозможно спастись… именно в тот момент, когда он больше всего в этом нуждается. Потому что он никому на фиг не нужен, стоит лишь ему выйти из колеи и задуматься о чем-то нетрадиционном. И никакое общество с его моралью и этикой не спасает его и не слушает: мораль создана не для спасения одного человека, а для спасения общества от этого человека.

«Если кончатся деньги — украду кошелек, а ночевать будет негде — буду спать под деревом, и мне все равно, как это выглядит. Меня прижали, но я не сдамся!» — бойцовский дух моей отсидевшей бабушки взыграл не на шутку. Я знала, что через пару недель оборвется мой едва налаженный строй жизни, и я пущусь в одиночное плавание — слечу с обрыва! Так размышляла я в те дни, устроившись с Домиником под какой-нибудь шелестящей ивой или в студенческом кафе, потягивая из бокала вино, купленное на сложенные в столбик монеты, или прогуливаясь вдоль местного кладбища. Почему-то нас тянуло к святыням — целовались в грозу у дверей церкви и занимались любовью возле могилы. Осквернение… или протест против смерти? А может, цветаевское: «Горечь! Горечь! Вечный искус — окончательнее пасть». У меня в ухе теперь висела одна серьга, золотой кубик — подарок Доминика, а на голове наушники от плеера. Я слушала песни Стинга: «Хрущев сказал — мы вас закопаем… Рейган ответил — мы всех защитим… Но я все же надеюсь, что русские любят своих детей…»

Как-то днем я столкнулась с Ниной Николаевной Берберовой — она читала лекции в летней школе. Увидев меня, пригласила подсесть к ней за столик на террасе кафе. Я сразу оценила ее жест. Чувствует, что я бунтую, знает ведь про нас с Кевином — городок маленький. Меня все осуждают, а строптивые одиночки, как я теперь, — в ее вкусе. Она стала расспрашивать, чем я собираюсь заниматься, как мое настроение, почему бросила актерство. За всеми ее вопросами я ощутила просто желание поддержать меня. Ее что-то привлекло тогда во мне: не каждый закручивает такую мелодраматическую канитель у всех на виду, для этого нужен… «плохой» характер. Как известно из мемуаров Нины Николаевны, да и из ее устных рассказов, она сама сделала не одно «сальто-мортале» в своей личной жизни. Напоследок она пожелала мне поскорее найти применение своим эмоциям. Благословила, можно сказать, «бандерша» своего маленького товарища: дерзай дальше в том же духе… «воруй», изменяй, преступай, но ради того, чтобы потом из тебя вышел толю ради

«высшего» смысла.

Между тем лету пришел конец. Все стали разъезжаться. Я проводила Доминика в аэропорт — он улетел в Париж. Мы договорились созваниваться, и я пообещала, что приеду в гости, как только он устроится. Сама я решила переехать в Нью-Йорк, но прежде чем собрать вещи и покинуть Вермонт, мне пришлось «доиграть» историю своих экспериментов и «преступлений» до конца. Приняв предложение одной своей приятельницы погостить у нее, я отправилась в ее коттедж на вершине горы. Эту молодую женщину незадолго до того бросил муж. Он влюбился в другую и встав как-то утром с постели, признался во всем и ушел. После нескольких недель отчаяния и безумия она взяла себя в руки и теперь переживала период врачевания ран. О нашей с Кевином истории она знала, и в один из летних дней даже познакомилась с Домиником. И вот мы сидели у нее на горе и беседовали. Вся суета, вместе с человечеством, ее порождающим, осталась где-то далеко внизу. Время как будто остановилось, дав нам временную передышку. «Я завязала с мужчинами, — сказала мне она. — После того как он меня бросил, спустя шесть лет моих усилий и помощи… Я больше не могу верить и обманываться. У меня на это нет сил. Я никогда не смогу полюбить мужчину». Ее подругу-любовницу я уже встречала раньше. Мы как-то прогуливались втроем вдоль водопада и говорили о гомосексуализме. Я тогда высказала свою привычную точку зрения: понимаю любовь к женщине, но с трудом представляю желание с ней спать. Они ухмыльнулись — я не сразу поняла, что мои подруги находятся в интимных отношениях.

Раздался звонок телефона — мне звонил из Парижа Доминик: «Как дела, ты приедешь? — Его голос звучал настороженно. — Смотри, не потеряй свое сердце там, где сидишь! Я ревную». И повесил трубку. «Как он может ревновать меня к тебе? — спросила я свою приятельницу. — И вообще, ты веришь, что он „двойной“? Кого он любит — мужчин или женщин? Удастся ли мне увести его от того режиссера в Париже? А кого хочет Кевин? Я ничего не понимаю!» Моя подруга попыталась мне объяснить что-то из своего опыта — как это случилось с ней, с ее приятельницей, и какие чувства они испытывают друг к другу. В каждой истории была своя драма с мужчиной, с отцом или с матерью. Драма нелюбви и невнимания. Это просто одиночество, желание человеческого тепла, — начинала понимать я, — а это и есть любовь. Кто ее дает — мужчина или женщина — порой не имеет значения, если это спасает жизнь. Один просит — другой дает. Я чувствовала себя самой рассудительной среди них всех, исполненных страстей и тонких переживаний. Это язвило мое

актерское самолюбие, претендовавшее на владение всей палитрой чувств. Будучи неосведомленной, я бралась всех судить, казнить и миловать — в первую очередь Кевина. И в этом заключалось мое ханжество. Моя подруга смотрела на меня печальным вопрошающим взглядом. Мне стало жаль ее, и я погладила ее по русым пушистым волосам и прижала к сердцу. Ночью мы лежали в ее постели и смотрели на луну. Она тихо шептала: «Ты красивая». В ее голосе были слезы — как же долго еще ей придется забывать своего любимого мужа! «Ты тоже», — вторила ей я и думала о том, сколько времени придется забывать мне…

Когда на следующее утро я проснулась, в домике никого не было. Я подошла к двери, раскрыла ее и застыла в восхищении: на зеленом лугу гарцевали кони, а на их спинах восседали жокеи. Временами они пригибались и что-то отбивали в траве длинными изящными клюшками… Это было похоже на замедленный танец. Божественно! Вскоре появилась моя улыбающаяся подруга. «Кто эти люди, что они делают там на траве?» — захлебываясь от восторга, спрашивала я. Она объяснила, что это игра в поло. Какие же красивые бывают у людей игры, ей-богу, наверное, не зря придуманы они кем-то… И как странно наблюдать нечто красивое, о чем ты не имеешь ни малейшего представления — изумление Евы в райском саду! А глядя на свою приятельницу, я с интересом отметила, что испытываю к ней какие-то сестринские чувства, а может, и материнские. Правда, почему-то не могла отделаться от навязчивой мысли, что у нее на месте лица — работа художника Магритта: глаза-груди, нос-живот, рот-кучка волос… Любое новое знание для человека большой стресс!

Вскоре я уехала в Нью-Йорк. Встретилась там с Кевином перед его поездкой в Москву. Мы стояли на автобусной остановке возле аэропорта и разговаривали. Он пообещал материально поддерживать меня в течение полугода. За это время я должна была найти работу и начать обеспечивать себя самостоятельно. «Кевусь, — сказала я ему перед расставанием, — а я тоже попробовала, теперь знаю, что это такое… у вас…» Он посмотрел на меня с любопытством и недоумением, затем покачал головой и предложил донести чемоданы до автобусной остановки. Мы чмокнули друг друга на прощание. Я никак не могла двинуться с места. «А теперь что… В какую мне сторону?» — по привычке переспросила я его. Он указал рукой прямо, потом налево. «Ты хотела свободу? Получай!» — сказал он, отвернулся и быстро зашагал прочь.

Глава 52. Блудные дети Нью-Йорка

Мы были. А что, нас не было?
……
Что теперь?… Снег выпал.
Молоко. Пенка. Часы.
Старость родителей — моя старость.
Белая страница.
Промокашка.

Почему-то с приобретением опыта, продвигаясь по жизни, все больше превращаешься в ребенка, все вопросы которого повисают в воздухе без ответа… особенно это ощущается в так называемой эмиграции. Начинаешь понимать загадочные стихи Мандельштама: «…И забываем без труда то, что мы в детстве ближе к смерти, чем в наши зрелые года. Еще обиду тянет с блюдца невыспавшееся дитя. А мне уж не на кого дуться, и я один на всех путях». «Одна на всех путях», но к тому же еще и впавшая в детство, со скрытыми обидами и сильными желаниями — примерно такой я начинала свою самостоятельную жизнь в Нью-Йорке.

Первое время меня «подхватил» и помог ориентироваться в пространстве Алик Гольдфарб, тот воинствующий урбанист, что приезжал ко мне в Вермонт с Менглетом. Алик преподавал в Колумбийском университете и жил в квартире с женой (с которой впоследствии разведется) и доберманом, которому после аварии ампутировали одну лапу. Своей рассеянной гениальностью и лукавым глазом, вечно сочиняющий какие-нибудь формулы, как политические, так и научные, он напоминал эдакого кучерявого Эйнштейна и одновременно анархиста-подстрекателя. Именно он объяснил мне, что оппонента в споре, пусть даже самом принципиальном, как и политического «врага», нельзя ненавидеть или стремиться выпустить ему кишки — его надо убеждать силой слова, логикой, игрой ума или просто терпеть. По сути дела, мне указали на различие между аристократами в политике и плебеями. Это была очень существенная поправка, если учесть, как отстаивали свою позицию у нас: с пламенной страстью, красным налитым лицом и размахиванием кулаками, — ради выхода этой агрессии, собственно, и затевался «идейный» спор. («Возьми подушку и поколоти ее — это полезно. Или выйди в поле и ори, тебе не хватает первичного детского плача», — советовал мне Кевин по-научному избавляться от негатива.)

Вот несколько цитат наиболее типичного Гольдфарба.

«Коренева, — скажет он мне, когда я наконец получу визу и соберусь в Москву, — куда ты едешь? Цветаева вернулась, и чем это кончилось?» О себе: «Я больной несчастный еврей, от меня ушла жена, мой отец инвалид, его не выпускают из Союза, любимая девушка больше меня не любит, и у моей собаки три ноги…» — «Корешок, давай организуем комитет!» — «Какой комитет?» — «Все равно, какой-нибудь… В комитете я, ты, Слепак… Ну, например по контролю за соблюдением нового постановления о воссоединении родственников. Ты — известная советская актриса, я — сын известного ученого, диссидент, Слепак — сын правозащитника, отбывающего срок в ссылке… Позовем журналистов, телевизионщиков и устроим скандал, а? А то скучно, надо что-то устроить!». Глядя, как я убиваюсь по только что улетевшему Доминику, приговаривал: «Он уже за сто километров отсюда, вот уже за тысячу… так нельзя… надо чем-то охранять себя, иметь защиту, даже от чувств». Он знал, что говорил. Сам пережил когда-то всепоглощающую страсть (из-за чего в конце концов расстался с женой), чуть не сошел с ума. Пришлось потом восстанавливаться… По сути дела — воскресать из мертвых. Так гласит легенда, пересказываемая друзьями. Он имел право давать советы.

Алик, как и еще несколько человек, которых я встречу в Нью-Йорке, заменили мне семью, подставляя мне в трудную минуту плечо, давая советы и ночлег. Это Володя Козловский — известный своими критическими и журналистскими эссе, автор уникальной энциклопедии нецензурных частушек, Аленка Баранова — моя ближайшая подруга по американским годам, шутившая: если бы мы с Козловским когда-нибудь поженились, я бы стала Барановой-Козловской, представляешь? Аленин возлюбленный тех лет — Леня Терлицкий, взявший впоследствии на воспитание моего сиамского кота и привезший его в Москву… Саша по прозвищу Лимончик, втыкавший в меня иголки от курения, всяких напастей и плохого поведения, Ленька Слепак, с которым мы прохохотали не одну ночь напролет, вдыхая в себя какой-то веселящий газ из воздушных шариков за пятьдесят центов… та же непотопляемая Ксюха Голубкова — русская Дженис Джоплин, красавица и умница Мелинда Маклейн — русская англичанка, Сашка Дрючин — закадычный друг Менглета и другие.

Эмиграция — своеобразное чистилище, где все высвечивается в истинном свете. Это психофизический эксперимент, который человек ставит над собой (по собственной или по чужой воле). И заключается он в том, чтобы умереть при жизни и родиться вновь.

Правда, очень похоже на смерть… и, наверное, похоже на

рождение. Об этом я делала записи в дневнике, который начала вести в те годы. Вот небольшой кусок текста — полуфакт-полувымысел, претерпевший по прошествии времени некоторую амортизацию. Наверное, его можно назвать «Письмо к маме ее блудного сына»:

«Василий Аксенов говорит, что пишет книгу об эмиграции. А вернее, о феномене потери собственной личности или собственного самосознания — по-английски это называется identity. Перемена страны, языка, культуры сопровождается полной заменой своего „я“. О чем же это — „эмиграция“? И что происходит все-таки, когда ты приезжаешь в Америку, которую знал по фильмам или литературе?

…Мама, я выживаю! И ты знаешь, было большой ошибкой учить меня служить общей коллективной цели! Она туманна и фальшива. А теперь я борюсь за существование на улицах Нью-Йорка, где даже не всякий урожденный американец осмелится жить, а я в порядке.

Я стараюсь не думать часто о доме и о тебе. Так получается, и так должно быть. Это мне доказывает жизнь. Здесь есть такие места, куда мы приходим вроде блудных сыновей и дочерей и едим свои котлеты по-киевски. Мы даже слушаем русско-армянско-грузинскую скрипку, и девочка поет нам „Не уезжай ты, мой голубчик“, — старинный цыганский романс. Почти как наши русские начала века. Теперь я их понимаю. Хотя я никогда не жил в начале века и никогда не был аристократом. А если даже им был наш дед, то я об этом не узнаю, как не узнала об этом и ты. Так что, может, всему причиной ностальгия, мам? Ностальгия по тем временам, которые наша страна, режим, при котором ты и я жили, так старательно стерли из памяти и написанной истории. Но остались какие-то клочки, какая-то пыль, она стояла в воздухе, появлялась в словах бабушки, в старых стихах, мотивах и настроениях. Ну вот теперь я и склеиваю здесь эти клочки, сам для себя, в ресторане „Петрушка“, что на восточной стороне. Знаешь, что такое „восточная сторона“? Это самая богатая часть Нью-Йорка.

Знаешь, мама, здесь столько всего происходит, что и не перескажешь. Все перепутано и смещено, как во сне или в бреду или в фильме. Как будто я принял что-то… Но прошлое теперь тоже кажется нереальным, в этом-то и штука. Вот почему я не писал тебе с прошлой осени. Я даже стал забывать ваши с сестрой лица и то, какого она роста. А иногда мне снятся страшные сны, от которых я просыпаюсь с криком — мне снится, будто я вернулся и все хожу и хожу по кругу, езжу в метро по эскалатору с одной станции на другую, а вырваться не могу и уехать без

иностранного паспорта тоже, а его украли. Что же ты со мной такое сделала, если мне страшно к тебе вернуться?! Так это, может, и к лучшему, что не помню лица. Да и ты не терзайся, не пиши мне так часто, будет легче. Здесь говорят: отпусти тех, кого любишь, окутай их розовым ярким светом и отпусти, как воздушный шар. Вон они летят — видишь, сколько их?

Случается, мы смотрим советские фильмы. И ты знаешь, они нам не нравятся. Особенно как актеры говорят. Что-то есть во всем этом искусственное, слащавое до ужаса. Все эти переживания — ты знаешь, я уже от них отвык. Так что пусть они меня не тревожат. У меня на это нет сил. Да и депрессия здесь — тоже нонсенс. Все равно что сидеть в окопе и жаловаться на плохое настроение. Не знаю, мама, нравится тебе это или нет, я даже не знаю, нравится ли это мне, но это единственный способ выжить.

Наши здесь все работают: актеры — официантами, инженеры — секретарями, режиссеры — столярами, художники… ну эти, как все художники, ждут, когда работу купят, воздерживаются от искуса легких денег. Вот такие дела. Все лучше, чем в Париже. Там, говорят, самый высокий процент самоубийств среди русской эмиграции. Один поэт перед тем как повеситься, сказал: хоть в Сибирь, в лагерь, но в Россию, пожалуйста. Ему отказали в возвращении. Ну так это был его конец… в Париже.

Местные спрашивают нас в основном о марксизме и системе Станиславского. А мне нечего сказать. Хоть меня и воспитывали на марксистских догмах, но я был так же отчужден от его целей, как рабочий при капитализме отчужден от производимого им продукта. Что касается системы Станиславского, то мы жили по ней каждый день: вечно живая память о прошлых ранах и потерях, готовая в любую минуту выплеснуться наружу воплем эмоций, акцент на подлинных чувствах и переживаниях, импровизация в предлагаемых обстоятельствах, далеко загнанное внутрь „представление“ о каких-либо своих внешних проявлениях… Все так хорошо существовали по этой системе в своих домах, на улицах, в очередях, что истерические приступы стали знакомыми, привычными и обыденными. Вскоре нам уже было недостаточно видеть актера вопящим и рыдающим, как это делал накануне твой сосед по квартире, и режиссеры рванули на поиски новых форм и языка, который смог бы потрясти воображение. Нигде в мире так болезненно не относились к системе Станиславского, как в советском театре 70-х и 80-х, не отступая от нее ни на шаг. Советская жизнь никогда не была… элегантной.

Ну так вот, возвращаясь к себе… Зато теперь я знаю, что такое „дружба“, что такое „спасение“ — что значат все эти слова,

которыми я был напичкан с самого рождения. Я привез их сюда в чемодане и ни разу его не раскрыл. Я ни разу не воспользовался ими, но они здесь, при мне. Я все еще храню их в сердце. Разве не ты хотела, чтобы я показал тебе и себе, в чем их истинный смысл? Вот я и проживаю их здесь каждый день: одиночество, нежность, безразличие, мечта… И пусть мой друг называется „бывшим“ физиком, а в настоящем он — швейцар, официант и пьяница, а я называюсь „бывшим“ актером, бродягой и неудачником, — это та цена, которую я должен был заплатить, чтобы узнать смысл слов, написанных в книгах, которые мы читали, которые хотели нам что-то сказать, но мы их не услышали… И если это единственный путь доказать, что ты и эти книги не врали, то все равно так тому и быть. А потом… а потом, кому все это будет нужно, то, что я здесь понял? Тебе? Если ты умрешь, так меня и не дождавшись… Я не знаю. Впрочем, в воздухе что-то всегда остается, какие-то частицы памяти и когда-нибудь они будут предъявлены как неоспоримое доказательство…

Так пусть этот автор пишет свою книгу — кто-то ведь должен написать о нас с тобой. И чем раньше, тем лучше. Это будет книга о потере самосознания, или identity. А разве оно было? Если да, то я этого уже не помню. Вот так».

Postscriptum: Василий Аксенов действительно рассказывал в тот год о своей будущей книге. Написал он ее или нет, увы, не знаю. Я же в своих заметках приняла облик некоего юноши, чтобы отойти от автобиографичности повествования. А то, что интонация несколько заимствована у того же «Эдички», так это объяснимо: блудный сын, уличный бродяга, маргинал — довольно точный образ для выражения чувств эмигранта.

Глава 53. Дыхание французского двора

Прежде чем обосноваться в Нью-Йорке и сообразить, кем быть (бомжом, служащей от пяти до девяти, а может официанткой-актрисой или обиженной на весь мир одиночкой, скучающей на диване?), я решила проверить, что происходит на сердечном фронте. Мной ведь руководили в первую очередь чувства… Впрочем, хотела бы я посмотреть на человека, у которого по-другому. А чувствами я была связана с Парижем, где вот уже второй месяц находился Доминик. Мой друг по несчастью, «отщепенец», брат актер… одинокий красавец с серьгой в ухе. «Лена, только не уезжай в Париж, не делай эту глупость!» — наставлял меня знакомый. Его звали Марк, он был бывшим учеником Кевина в школе Мидлбери, дружил с нами и в подражание нашему браку даже женился на русской актрисе.

Марк оказался на удивление благороден и решил поддержать меня материально — вручил конверт с тысячей долларов, сказав, что это безвозмездно. Он просил одуматься и не тратить эти деньги на Париж, а остаться в Нью-Йорке и вести себя благоразумно. Но я ему этого пообещать не смогла, сообщив как больной здоровому, что еду и ничего поделать с собой не могу. Он только развел руками, но деньги не отобрал…

Доминик, поджидавший меня на балконе своей новой квартиры, так волновался, что то и дело бегал в туалет — его мутило… а я все не ехала, хоть мой самолет уже давно приземлился в аэропорту Орли. По странной женской логике я решила сначала заехать к Уберу — мне нужны были пути к отступлению, если что… А Убер по прошествии пары лет снова приобрел черты преданного друга, вроде немецкой овчарки, только в данном случае — французской. Рассказав Уберу, что я нахожусь на грани развода и влюблена, я оставила у него свой самый тяжелый чемодан и отправилась по адресу Рю дю Бург — Тибург, где поджидал меня взволнованный Доминик. Мы встретились на крутой винтовой лестнице и бросились в объятия друг друга. Он подхватил мои сумки и провел в квартиру. Здесь в одной комнате жил он, а в другой — его друг, режиссер по имени Пьер. Друга не было дома, и мы стали оживленно болтать и кувыркаться по многочисленным диванам, как веселые шкодливые дети. «Ты надолго приехала?» — спрашивал меня Доминик. Я пожимала плечами — мол, не знаю. «Если тебе не нравится эта занавеска в моей комнате, то можешь ее перевесить», — сказал он, указывая на кусок рогожи на окне. Я оглядела комнату, примерившись к занавеске, на тот случай, если вдруг останусь здесь жить. «А вот и Пьер!» — Доминик указал мне на полноватого мужчину небольшого роста, открывшего своим ключом входную дверь. Пьер улыбнулся и, подойдя ко мне, поцеловал руку. Я почувствовала себя как на кинопробах — ведь передо мной был режиссер, — и начала что-то оживленно ему рассказывать, стараясь быть интересной. Правда, на роль он никого не искал, потому что на нее уже был утвержден Доминик, в буквальном и фигуральном смыслах. Он репетировал с Пьером роль Арманда в пьесе «Дама с камелиями», и играть предстояло на французском. Пьер расспрашивал меня о моей работе в Москве, о моих ролях, затем почему-то вспомнил фильм Лилианы Кавани «По ту сторону добра и зла» — о Ницше, Лу Андреа Саломе и их друге Поле Рее. «Не видели?» — поинтересовался Пьер. «Нет», — ответила я. (В 1995-м году, в Москве, мне предложат сыграть Лу Саломе в театральной постановке Жени Каменьковича. Готовясь к роли, я среди прочего посмотрю фильм

Лилианы Кавани. Поразительно, ведь заведя разговор об этой картине, Пьер намекал тогда на ситуацию треугольника, которую пережили мы с Кевином и Домиником. А возможно, что теперь — с Домиником и Пьером. И как странно, что мне выпало играть этот сюжет…)

Я поселилась в комнате у Доминика, не зная точно, надолго ли и что я могу или хочу здесь делать. Предстояло выяснить нашу общую ситуацию. Иногда по утрам Пьер, предварительно постучавшись, заглядывал к нам в комнату и, увидев мирно посапывающего «ученика» в объятьях откуда-то взявшейся русской подруги, стоял молча, затем со вздохом ретировался, поднимая с пола оброненное мной нижнее белье. Доминик просыпался и, ругая себя за поздний подъем, куда-то бежал. Как подающего надежды актера, его окружили всем необходимым вниманием: с ним работал парикмахер, создавая стиль и имидж, учитель языка ставил дикцию, ему делал и фотопробы и возили в магазины подбирать одежду. Помимо репетиций с Пьером, он готовился к поступлению в двухгодичную театральную школу, и ему предстояли экзамены. Первые дни я ждала, когда он освободится от очередного урока или фотосессии, временами сопровождая его к стилисту или парикмахеру. Все это мне было хорошо знакомо по собственному опыту, и я старалась быть очень деликатной, видя, как самозабвенно он отдается всем процедурам, производимым над ним. Однако меня начало тяготить ощущение ненужности — положение женщины, ждущей любви от мужчины, из которого всем миром делают актера, казалось слишком нелепо. Да и на роль старшего и более опытного советчика я не годилась — в Париже в этом качестве с большим успехом выступал Пьер. Особенно болезненно я почувствовала силу интеллектуального влияния Пьера на его «младшего друга» в день рождения Доминика. Пьер преподнес ему огромную книгу о французском кинематографе, чем, кажется, угодил имениннику больше меня, подарившей какую-то сентиментальную чепуху. Открыв книгу, Доминик впился глазами в текст и долго не выпускал ее из рук. Глядя на него, я почему-то вспомнила первые дни знакомства с Андроном. И то, как меня посвящали в тонкости светской жизни и приобщали к магии киномира. Увы, человека никогда не удовлетворяют чужие рассказы о том, что он хочет и должен пережить лично… Я понимала это, и мне было безумно грустно. Мои женские нежности и знаки внимания не могли конкурировать с мужской дружбой. Пьер с его отеческой любовью совмещал в себе и мать, и отца, и брата, и режиссера и мог предложить все, что мечтает получить в интеллектуальной и культурной столице мира

молодой амбициозный провинциал. А приносить любовь к женщине в жертву своему профессиональному будущему Доминик уже научился.

Я заскучала и решила развеяться, навестить старых знакомых. Набрала номер телефона. «Леночка, где вы? Сейчас же садитесь на электричку и приезжайте ко мне в гости, в Нормандию. Немедленно. Пишите адрес, я больше не хочу ничего слышать, как не стыдно столько времени не звонить!» — кричал в трубку Николай Львович Двигубский. Меня приятно удивила его неподдельная теплота: не все русские способны так радоваться неожиданному гостю. Зачастую, уехав на Запад, они начинают прятаться от соплеменников, не желая ворошить воспоминания о прошлой жизни. «Поехали со мной в гости — к моему другу и очень хорошему художнику», — предложила я Доминику. Но он отказался. Пьер, услышав имя Двигубского, оживился и стал советовать Доминику поехать, говоря, что это талантливейший художник и знакомство будет очень интересным. Но я все-таки поехала одна.

Николай Львович большую часть времени проводил в Нормандии, только временами наезжая в город. Я обалдела, когда увидела средневековый замок, а точнее, шато, в котором жил Двигубский. При встрече восторгам не было предела, меня угощали, поили вкуснейшими винами, развлекали, устроили экскурсию по местному городку и по самому шато. Николай Львович привел меня в свою мастерскую, которая располагалась в отдельном домике. Я увидела его новые работы. Меня поразило, что теперь в его картинах превалировали светлые тона, в противоположность прежним — замшелым, тусклым, подвальным. Они словно наполнились воздухом, белым и голубым. С одной из его работ на меня смотрело очаровательное девичье лицо — портрет одной из его приемных дочерей. «Новая муза» — мелькнула у меня мысль. За Николаем Львовичем бегала дворняга, любимица хозяина. Это странное лохматое существо отзывалось на кличку «Петрофф» — или какую-то похожую русскую фамилию.

Я решила позвонить Доминику в Париж. Не забуду наш разговор. Только я произнесла пару слов, он поинтересовался: «Где ты находишься, в огромном пространстве? Когда ты разговариваешь, слышно эхо!» Я и правда чувствовала себя как в декорациях «Ромео и Джульетты» — каменные ступени, пол, бесконечные потолки, залы, камины. Тем забавнее было услышать в этой обстановке потрясший каменные своды голос Людмилы Зыкиной, несущийся то ли с пластинки, то ли из магнитофона. Ее песни любила мама Николая Львовича. Аккуратненькая и

голубоглазая седоволосая женщина самозабвенно слушала любимую певицу под недоуменные вздохи своего сына. Проговорив со мной до рассвета, Николай Львович со свойственным ему спонтанным азартом вдруг взялся показать мне знаменитое побережье, на котором высадились в 1944 году союзные войска американцев и англичан. Мы сели в машину и поехали. Оказавшись на месте, долго бродили по песчаному берегу, смотрели в серую даль на голосистых чаек. Вернувшись, снова разговаривали и пили вино.

Спать меня уложили в огромной комнате на такой же, королевских размеров, кровати. Когда свет был потушен, из угла на мягких лапках вылезла черная кошка и в два прыжка оказалась у меня на груди, свернувшись у шеи наподобие черного воротника. «Кыш, пошла!» — прикрикнула я на нее и сбросила с себя на пол. Но она тут же запрыгнула обратно и приняла позу удушливого воротника, громко мурлыча и бодая меня мокрым носом. Я вновь попыталась сбросить ее, но тщетно. Пока были силы, я боролась со странным зверем, похожим на оборотня, а потом все-таки погрузилась в сон без задних ног (чуть было не сказала — лап). Проснувшись довольно поздно, я не обнаружила черной гостьи, а выйдя к столу в гостиную, пожаловалась, что с трудом уснула. Хозяева с любопытством выслушали мой рассказ, многозначительно переглянулись, заулыбались и сказали, что это кошка тещи Николая Львовича, которая находится в отъезде. Меня поразило, что о кошке говорили с подчеркнутым уважением, как будто она могла все слышать и обидеться, если что не так. Я также обнаружила, что супруга Николая Львовича пребывает в раздраженном состоянии из-за вчерашней «пропажи» своего мужа. Ему наверняка влетело за ночное бдение в компании со мной. По-моему, она так до конца и не поверила, что он в пять утра показывал мне место высадки десанта…

Вскоре я снова вернулась в Париж. Доминик явно нервничал — мое присутствие стало вносить какой-то разлад в его взаимоотношения с Пьером и в планы на будущее. Кажется, что тот ставил ему условия: «или я, или твоя учеба в актерской школе». Пьер относился ко мне с большим вниманием, но, очевидно, был недоволен раздвоенным состоянием Доминика.

Как-то мне пришло в голову спросить его, не может 377 ли он помочь и мне устроиться жить в Париже. Какая разница, где мне быть, ведь и Америка и Франция для меня чужие страны, а в Россию я все равно не могу попасть. «Что конкретно ты хочешь: жить здесь или работать?» — переспросил меня Пьер. Мне опять задавали невозможный вопрос, противопоставляя две вещи, которые в моем сознании всегда были соединены. Я замешкалась:

«Ну, работать… Или нет — жить…

Но как же я буду просто жить, ведь все равно придется работать?» Пьер ничего не ответил мне. Вскоре Доминик вызвал меня на разговор о моих планах. «Ты собиралась со мной остаться, когда ехала сюда?» — спросил он. «Нет, не знаю…» — как-то неопределенно ответила я. «Ну тогда тем более… — отозвался он на свои мысли. — Я не думаю, что наши взаимоотношения — это любовь нашей жизни. Сейчас я могу все потерять. Я выбираю работу и хочу, чтобы ты это знала». На следующее утро я собрала свои вещи и переехала к Уберу. (Как предусмотрительно я заехала к нему из аэропорта!) Не ожидавший такой прыти Доминик звонил, справлялся, приглашал назад. Очевидно, что мы еще не слишком хорошо знали друг друга.

Я снова оказалась у Убера — теперь уже в его новой, отстроенной им самим квартире. Здесь было много комнат, расположенных сразу на двух этажах. Теперь я была не его единственной Ленушкой или благополучной женой американского профессора, а потерянным человеком, с разбитым сердцем и сумасшедшей головой. Он слушал меня как старший брат и врачевал мои раны уверениями, что я всегда могу полагаться на его дружбу и знать, что я своя в его доме.

В комнате, где я спала, лежали ковры, когда-то купленные им в Дагестане и Баку. А на полках стояли бюстики Ленина — советский кич, столь почитаемый французами. Среди них красовались чашки и блюдца из Гжели — мой подарок, сервиз, отправленный ему когда-то с оказией… «Господи… как больно!» — хотелось сказать словами героини «Романса о влюбленных». И куда же мне теперь ехать?

В таком болезненном состоянии я несколько дней лежала на диване и смотрела в потолок. Иногда выходила купить сигареты или посидеть в кафе, глядя на сдуваемых ветром воробьев. У людей в Париже такие лица, как будто они все с кем-то расстались, особенно у тех, что сидят в кафе… Наступило воскресенье, а в этот день в городе закрываются почти все киоски, где можно купить сигареты. Город становится полупустым и каким-то ленивым. На меня это подействовало убийственным образом, и я написала стихотворение, которое через несколько лет будет иметь очень странное, несколько мистическое продолжение… «Лежа на постели в воскресенье… и слушая дыхание французского двора… что равноценно лежанию в пустыне… в любой другой день недели… я думаю о средствах самоубийства…» и так далее.

За те несколько дней, что я провела у Убера, я успела

услышать печальную историю его взаимоотношений с Катрин. Казалось, они оба ищут момент, чтобы поговорить со мной о своей ситуации. Их роман зашел в тупик, но ни разорвать связь, ни еще каким-то образом выйти из тупика им не удавалось. Катрин пригласила меня на разговор и произнесла передо мной монолог, как перед давнишней подругой: «Я обратилась за помощью к психиатру — у меня страшная депрессия. Убер не хочет жениться на мне, а у меня возраст… мы ругаемся, и его любовь стала грубой… однажды он даже спустил меня с лестницы… Врач говорит мне, чтобы я позаботилась о себе. Если придется выбирать — он или мое здоровье — я выбираю второе. Я не хочу из-за него погибать!» Версия Убера звучала так: «Я пытаюсь с ней расстаться и не могу, она постоянно возвращается ко мне! Мы просыпаемся по утрам, и первое, что она говорит, открыв глаза: „Еще один серый день“. Я не могу каждое утро это слышать, мне хочется жить, я люблю жизнь и хочу ей радоваться!» Говоря со мной, Убер странно закрывает веки, в какой-то момент даже кажется, что он спит… но нет, снова открывает глаза и продолжает с того места, где остановился. «Что с тобой? — взволнованно спрашиваю я. — Ты как-то странно себя ведешь. Ты что-то принимаешь? Это кокаин или?..» — допытываюсь я у внезапно отключающегося мужчины, который сидит напротив меня как кукла. Он отшучивается. Но вскоре я узнаю, что Катрин и Убер давно сидят на наркотиках. Я вспоминаю свой предыдущий приезд в Париж, и мне становится ясна причина неадекватности и агрессивности Убера. Героин — так называется проблема Убера и Катрин. Он же является основной причиной их взаимной неудовлетворенности, депрессии, болезни… Кажется, они зашли так далеко, что одному из них страшно. Страшно — Катрин. Когда я собираюсь возвращаться в Нью-Йорк, я чувствую, что они оба расстаются со мной, словно с последней надеждой: на примирение, на спасение, на здравый смысл. Теперь я сильнее их — по крайней мере с их точки зрения. Я желаю им обрести волю и выкарабкаться.

Я звоню Доминику и сообщаю, что взяла билет на самолет. Мы встречаемся на площади перед его домом. Долго разговариваем, потом я вынимаю из сумки сверток и протягиваю ему. Это подарок — рубашка, на которую я истратила остаток своих денег. «Зачем ты тратишь деньги, я не возьму», — говорит мне Доминик и отворачивается. «Мне хотелось сделать тебе хороший подарок, я долго выбирала. Она тебе пойдет — болотного цвета, к твоим глазам», — по-матерински уговариваю я его. Он по-сыновьи отнекивается: «Оставь себе, подаришь кому-нибудь другому». — «Мне некому больше, — отзываюсь я и

спрашиваю в последний раз: — Так не возьмешь?» Он отрицательно мотает головой. Я резко встаю и, подбежав к мусорной урне, запихиваю туда свой дорогой подарок. Доминик вскакивает и разводит руками: «Ты что? Могла бы сама носить…» Помню, я очень страдала от типично женского желания — подарить кому-нибудь носки, галстук, запонки. Вон они выставлены в витрине! А где же мужчина…

Утром, перед отъездом в аэропорт, мы снова пьем кофе. Уже молча. У Доминика опухшее лицо. Я смеюсь и нервно подпрыгиваю на стуле. «Чего ты прыгаешь?» — спрашивает он меня. «Я прыгаю? Потому что я блоха. Прыг-прыг, и я в Париже, прыг-прыг — в Нью-Йорке». Он дарит мне на прощание открытку со знаменитой фотографией — вид парижского кафе и бегущая через площадь маленькая человеческая фигурка. На обороте — стихотворение Аполлинера. «Как маска тирана, трагична история наша…» После этого мы расстаемся: я машу ему рукой из окна такси, он делает усилие и сворачивает в бегущий за угол переулок.

Postscriptum: Пьер Роман спустя несколько лет умер от неизлечимой болезни. Незадолго до его кончины, не зная о его состоянии, я говорила с ним по телефону, разыскивая Доминика. Он сказал, что давно его не видел, и на прощание произнес: «Счастья тебе — во всем, во всем!»

Катрин умерла в марте 1988 года. Был ли это несчастный случай — передозировка — или самоубийство, навсегда останется тайной.

Убера мне предстоит еще увидеть в Париже.

С Домиником мы будем долго переписываться, даже встретимся — один раз в Нью-Йорке, один — в Париже. Мы будем переписываться, пока он не женится. Тогда мы поссоримся, и я сожгу его письма. А когда утечет уже много воды, я снова позвоню, но он откажется со мной увидеться, даже просто за чашкой кофе, сказав, что хочет все забыть. Уже живя в Москве и смотря французские фильмы, я буду искать его лицо и фамилию в титрах, задаваясь вопросом, что стало с его карьерой, где он? И однажды мое любопытство будет удовлетворено. Поздно ночью у себя в квартире, стараясь в одиночестве мысленно отвлечься от суеты, я вдруг увижу его лицо на телеэкране и буду со странным смехом повторять: «Боже мой, Доминик! Вот это да!» Картина называлась «Человек, потерявший свою тень».

Глава 54. Первое возвращение

В конце 1985 года пришло радостное известие от мамы —

мне наконец дали добро на въезд в СССР. Мама кому-то писала, отправляла письма или оставляла их в приемных — так ей советовали доброжелатели. Одно из писем было адресовано самому Андропову, но он скончался как раз в тот день, когда письмо было опущено в ящик. Я со своей стороны тоже успела найти помощников. Оказавшись по какому-то делу в одном из нью-йоркских небоскребов, а именно на тринадцатом этаже (я шла, кстати, в комнату 1313), я столкнулась возле лифта с двумя мужчинами. «Лена Коренева! Что вы здесь делаете?!» — воскликнул один из них на чистейшем русском. «Я пришла в комнату тринадцать-тринадцать, у меня там дело», — весело отвечала я неизвестным русским. «Да нет, что вы делаете в Нью-Йорке, в Америке?» — недоуменно спрашивали они. «Я здесь живу и никак не могу вернуться в Москву, меня не впускают…» — поделилась я, приняв их за своих поклонников — любителей кино из Союза. К моему удивлению, они отреагировали с любопытством и предложили поговорить поподробнее. Я рассказала свою эпопею с приглашениями и отказами в ОВИРе. Мои новые знакомые переглянулись и заверили меня, что постараются чем-нибудь помочь, как только вернутся в Москву. Напоследок они пожелали мне не падать духом и представились: «Арбатовы — отец и сын». (То, что это был Алексей Арбатов, я помню точно, а вот насчет второго господина, постарше — могу и ошибаться.) Одним словом, лед тронулся, визу дали!!! Месяц-полтора я суетилась, покупала подарки и устраивала разные бумажные дела на случай возвращения в Нью-Йорк. О том, останусь ли я в Москве, точно я сказать не могла. Меня искушала возможность самостоятельной, «взрослой» жизни вдали от дома, которую, как мне казалось, я еще не испробовала.

Наступил день, когда я стояла в Шереметьево. Огромная очередь медленно тянется, проходя через контрольный пункт. Вот и я предъявляю свои документы. Меня держат здесь дольше других — девушки и юноши в форме все бегают туда-сюда, что-то проверяя и внимательно изучая мое лицо. Я оглядываюсь в сторону встречающих и вижу за стеклянной стенкой своих родственников — маму, сестру, ее мужа и папу с букетом красных гвоздик. Они стоят с торжественным видом, выстроившись в линейку, как на параде. Для них это действительно праздник, и очень волнующий: они боятся, что меня не пропустят через таможню — так долго длится эта канитель. Но вот все кончается, я переступаю черту, за которой родители и московская, сырая, плохо освещенная, пахнущая бензином жизнь. Ах, как хорошо дышится! Боже, как здесь живут люди… и какие люди!

Мы едем в мой дом на Малой Грузинской — там уже

накрывает стол «отсидевшая» бабушка — маленький сверчок. Мама открывает настежь входную дверь и приглашает меня внутрь: «Ну, заходи — твоя квартира!» (Пафос этой фразы связан еще и с тем, что эту жилплощадь по странной случайности не отобрали за время моего отсутствия. Перед отъездом я пыталась прописать маму, но кооператив встал насмерть — мне не дали этого сделать. Все-таки какой-то дух обо мне тут позаботился, и квартиру сохранили.) Я переступаю порог и останавливаюсь как вкопанная — казалось, что молчаливый призрак вышел мне навстречу. Здесь все так же, как было три с половиной года назад: вдоль стены длинный белый стол-верстак, на нем всякая всячина — игрушки, сувениры, пластинки. Мой фотопортрет на стене, Боже, а обои — совсем старые, потемневшие, ободранные… Кажется, что время остановилось и я попала в свое прошлое. Абсолютно сумасшедшее ощущение: пространство и мы, словно стрелки на циферблате, отмечающие своей жизнью перемещение событий через нас в вечность. Я меняюсь, а вещи стоят, и в них застывает время. И вообще, Союз и Америка — это же две разные эпохи, две философии, два эксперимента! Там и время течет по-другому, и между этими двумя мирами в общем нет никакой необходимой связи. Опыт не перетекает из одного места в другое, он обрывается. (Один мой знакомый по Нью-Йорку, съездив после десятилетнего отсутствия в Москву, сказал: «Хорошо, я догнал свой возраст, но если б я там остался, я бы его перегнал!»)

Можно сказать, что я провалилась в Зазеркалье и выпала из него обратно. Мама слушает меня с любопытством, сестра — с завистью, папа — с недоверием. Сейчас я со своими рассказами больше всего напоминаю себе и другим барона Мюнхгаузена. И никому этого здесь не объяснишь. Как не объяснит моя бабушка несидевшим людям, что это такое, так никогда не уезжавший не поймет всех эмоциональных зигзагов, которые испытывает русский человек, вернувшийся с Запада. Нет, это какой-то приключенческий фильм, а не жизнь. Я ощущала себя чуть ли не марсианкой. Бабушка, взглянув мне в лицо, после некоторой паузы оценила произошедшие во мне перемены: «Ты мутировала!» — «Мама, ты о чем?» — переспросила ее моя мама. «Я говорю, что Лена мутировала!» — повторила она с безапелляционным видом, села на стул нога на ногу и стала ею покачивать.

Все обратили внимание, что я говорю с какой-то иностранной интонацией. А я, в свою очередь, — что мне легче обсуждать некоторые темы по-английски, чем по-русски. И дело не в том, что я забыла русский язык — глупость, его невозможно забыть. Просто есть английские слова, выражающие что-то лучше, нежели

русские (как, впрочем, и наоборот, не говоря уже о непереводимых понятиях). Например, то же самое identity — как это перевести? Или frustration — чувство неудовлетворения, смешанное с досадой, которое возникает после больших ожиданий. Да и вообще, язык и речь — это намного больше, чем нам кажется. Это и есть жизнь, в которой зашифровано и время, и чувства, и психические факторы, составляющие образ человека. Недаром говорят специалисты, что каждому языку соответствует свой темперамент: например французский — истерики, испанский — холерики, английский — меланхолики и так далее. Слово «мутировала» было не так уж далеко от истины… Но самое главное, конечно, не в этом — все равно в окружении родных и близких я была как в бронежилете, и можно было расслабиться.

На следующий день мы с мамой отправились в ОВИР, чтобы зарегистрировать мое возвращение. Узнав, кто я и зачем пришла, девушка в форме сначала скрылась в кабинете, затем появилась и предложила мне пройти на второй этаж — вместо того чтобы провести в комнату на первом, где принимали всех по аналогичным вопросам. Это меня удивило, а маму испугало — напомнило сталинские времена, когда человек исчезал в кабинете навсегда. Меня встретил интеллигентного вида мужчина в штатском и, предложив сесть, очень вежливо начал расспрашивать. В основном его интересовало, сообщала я кому-нибудь в Америке о том, что меня не впускали в Союз. Я ответила, что нет. «И даже никаким газетчикам или телевизионщикам?» — уточнил он. К сожалению, не сообщала! «К сожалению» потому, что стоило бы устроить шумиху из-за этого беззакония, но меня удерживало положение моих родных в Союзе. В те годы их могли вызвать куда-нибудь или лишить работы, а такие мелкие пакости добивают людей не меньше, чем японская пытка. Когда я появилась в коридоре, мама встретила меня с радостной улыбкой: надо же, дочь из кабинета возвратилась! Мы вышли на улицу. «Пошли скорей отсюда!» — сказала она, и, взявшись покрепче за руки, мы поспешили прочь. «Мамусь, — говорила я ей на ходу, — так смешно, я обратила внимание, что все русские женщины — на одно лицо, как японки. Это сейчас мне особенно заметно после Америки. У всех замкнутое выражение на белом круглом лице с высокими скулами и надутыми губками бантиком. Ужасно смешно!» Мама взглянула на меня и резонно заметила: «Но ведь ты такая же!»

Вскоре мы отправились на юбилей бабушки «Марусеньки», папиной мамы. Она была очень взволнована при виде меня. Такая вот выдалась у нее внучка — исчезающая! Меня посадили в торце стола (с детства меня сажали на углу или я сама садилась так,

несмотря на старую русскую примету, — пыталась заговорить одиночество). Началось семейное торжество — точно такое же, какие бывали в моем детстве, только без гимназиста-дедушки, без дяди Миши и дяди Коли. За столом сидел единственный оставшийся в живых дедушкин брат, дядя Ваня, в окружении своих детей, а теперь и внуков. Рядом с ними расположились все еще красивая и строгая тетя Галя, как всегда, подтянутый дядя Гриша, мои возмужавшие и слегка располневшие двоюродные братья, рыжий Витя и брюнет Вова, уже со своими женами и детьми. А также моя сестра Маша, не отводившая заботливых глаз от своего сына Кирилла. Позже всех подошел к застолью мой двоюродный дядя Игорь. Тот самый, что на улице Веснина пел в открытое окно итальянские арии. Дядя Игорь был работником МИДа и, видно, пришел прямо с работы — на нем был серый костюм, накрахмаленная рубашка и аккуратно повязанный галстук, в руках кейс. Его посадили через двух человек от меня. Он окинул взглядом собравшихся. Я привстала и радостно поприветствовала его: «Дядя Игорь, как дела?» Он строго посмотрел на меня и, не изменив выражения лица, ответил: «Это кого интересует — тебя или ЦРУ?» Я осеклась и уткнулась в тарелку с винегретом.

Не знаю, какая шлея тогда попала… дяде Игорю, вообще-то он был человеком с юмором. Все остальное время и при последующих встречах в тот приезд он снова был весел и шутлив, как всегда. Может, только чуть внимательнее ко мне, чем обычно, например на вечере в ЦДЛ, где он проявил галантность джентльмена в сочетании с профессиональной смекалкой. Муж моей сестры, Павел, устроил там литературные чтения (он член Союза писателей, поэт, драматург и переводчик). Так вот, он предложил мне выступить, почитать его стихи. Выйти на публику после перерыва в несколько лет не так просто. Когда подошла моя очередь, я с трясущимися коленями прошла на авансцену, прихватив с собой листки с текстом — а вдруг забуду! (Кроме меня в вечере, посвященном творчеству Павла, также участвовал Леня Ярмольник, читавший отрывки из «Было или не было» — замечательную стихотворную версию «Мастера и Маргариты» для театра. Женя Герчаков исполнил арию Савонаролы из пьесы-либретто по «Фьоренце» Томаса Манна, которая называлась «Монарх, блудница и монах». Аккомпанировал автор музыки Саша Журбин.) Мне предстояло читать стихотворение, посвященное моей подруге Свете Переладовой — в этот приезд я как раз узнала о ее трагической кончине. «Расстались, сказали друг другу „Пока!“, не знали, что это уже на века. Навечно, на вечность, на бездну разлук, на сумму всех разниц, на все, что

вокруг…» — звучали строчки стихотворения. В луче софита белые страницы отбивали ритм моего прыгающего сердца. Это было совсем не профессионально — у меня тряслось все, что может трястись в человеческом теле. А для пущей убедительности за всем следил из темноты нещадный белый луч. Посмотрите, люди добрые, как страшно актрисе выходить на сцену и читать стихи о смерти и разлуке! Как страшно декламировать по-русски, после англо-американского душа Шарко! Потом я читала о маме, о детстве, о старости. Это моя тема — старость, детство, слабость. Я люблю старушек и старичков, я люблю всех этих стручков-сморчков, которые глядят огоньками глаз из тлена своих тел и у которых, кроме достоинства, большее ничего не осталось… а еще зеленых простуженных подростков, с их тайнами и враждой… «Сентиментально!» — скажет кто-нибудь. Да, после Америки становишься сентиментальным. Черный хлеб, осенняя слякоть, рябина, жухлые яблочки с черными точками, даже запах бензина на улице волнуют сердце и воплощают твое детство, а значит — Родину. После выступления я вышла в коридор и подглядывала оттуда за залом и сценой. Кто-то из моих друзей пришел подбодрить меня и, вынув бутылку красного вина, предложил выпить. Стаканов не нашлось, и я пригубила прямо из горлышка. Тут-то и возник мой дорогой дядя Игорь. Он профессионально заслонил своим крепким телом дверной проем, в который уже смотрело несколько десятков пар любопытных глаз. Честь родственницы была им защищена! «К Лене все равно кого-нибудь приставят наблюдать, я позабочусь, чтобы это был порядочный человек», — сказал он как-то моей маме.

Повидала я и своих друзей — Таню Догилеву, того же Леньку Ярмольника с женой Ксенией, Сашку Абдулова, Алика Шкловского, Юру Иванова. Попала на свадьбу Тани и Миши Мишина, на которой гостем также был дорогой моему сердцу режиссер Валера Фокин. Таня, которая очень любила моего Кевина, досадовала на наш раздор. «Ну надо же, Кевуся, как же так?» Она все не могла взять в толк: такой обаятельный, и вдруг неполадки в сексуальной ориентации. (Точно так же вздыхала она однажды, услышав, что финал моей истории с Кончаловским был не столь красивым и благородным, как многим казалось. «Ну вот, я-то думала, квартиру тебе купил, всем рассказывала, хвасталась, а там, оказывается, как у всех — вранье!» — разочарованно вздыхала она.) Зато сама Таня была наконец счастлива, все повторяла, глядя на Мишу Мишина: «Кыся, кыся!» — на что он умилялся и целовал ее в носик или еще куда-нибудь. А вот Леньку Ярмольника я поставила в тупик. Он все расспрашивал меня об Америке: «Кристофера Уокена видела? В кегельбане

была?» А я в ответ: «А кто это? А что такое кегельбан?» Он не выдержал и завопил: «Коренева, ты где была все это время, в Америке или где? Мы тут и то больше тебя видим!»

Зашла как-то я с друзьями в ресторан Дома кино. Кинематографисты, узнававшие меня, приветствовали меня легкой улыбкой или кивком головы, так, как это делается обычно. В этом смысле меня поразил Сергей Соловьев — резко поднявшись, подошел ко мне и, крепко обняв, звучно расцеловал в обе щеки. В этом была искренняя радость и демонстрация позиции: я с тобой. Забавно, но этот язык жестов в таких местах, как специализированный ресторан, где все замечается и все на виду, приобретает эффект выступления с трибуны: я отказываюсь голосовать за отчисление этого человека из партии, в противном случае возьмите и мой билет! Олег Янковский, увидев меня, подсел к столику и, склонившись к уху, зашептал: «Тебя органы доставали, предлагали работу?» Я кивнула утвердительно. «А ты отказалась?» — риторически спрашивал он меня. Я снова покачала головой в знак согласия. «Ну тогда все ясно, поэтому тебя и не впускали».

Одним словом, я снова встретила своих родных — и близких и всяких… Правда, теперь я видела все словно через увеличительное стекло. Возвращение… на это надо решиться. Есть целая категория эмигрантов, которые никогда не приезжают назад, даже когда это становится возможно. Слишком разительно отличается жизнь «выздоравливающего» человека от той, которую вел «больной». Именно так образно представляют свою жизнь «до и после» те, кто уехал. Да и то правда: уезжали, как правило, в состоянии крайней нужды, надлома, с большими потерями и жертвами. Имеет значение и фактор времени — вспоминать юность, молодость не всем под силу, ведь ничто невозможно повернуть вспять, даже если очень хочется. Есть и еще причина — раны должны затянуться. Те, у кого зажило, — едут, другие — нет. (Кажется, на эту тему рассуждал Иосиф Бродский, сказав что-то вроде: на место преступления тянет преступника, но не жертву…) К тому же идти не оглядываясь до поры до времени легче, потому что если оглянешься, то узнаешь о смерти друзей и знакомых, о разводе тех, кто совсем недавно был по уши влюблен, или о том, что веселая и жизнерадостная розовощекая девочка сошла с ума и теперь вот сидит на таблетках, что красивые и веселые — теперь лечатся от алкоголизма… и еще, и еще. Письма из Москвы — помню, я боялась их раскрывать, в каждом — печальное известие. Тоже знак Родины? Да, я многое увидела теперь в новом свете. Меня поразило, какое количество знакомых мне людей — мужчин и женщин спивались и уже не раз лежали в

клинике. Я вспомнила, что перед отъездом из Союза в 1982 году, находясь в страшной депрессии, думала, что умру, если кто-нибудь меня не спасет. Я очень четко предчувствовала такой конец, и мой отъезд, каким бы драматичным он ни был, освободил меня от этих предчувствий и мыслей. Желание избавиться от какого-то изначального жизненного страха, от своей слабости и зависимости — вот что гнало меня. И пока весь этот страх из меня не вышел, я не могла расслабиться и просто жить. Торжество беды, несправедливости, несчастья, узаконенное в советском сознании, и в частности в моем — вот та бацилла, которую требовалось «выветрить» на бегу. Я долгое время ассоциировала себя с образом древнегреческой Ио, обращенной Зевсом в корову ради спасения ее от ревнивой Геры. Ио все бежала и бежала по свету и не могла остановиться — ее преследовал овод. Людей гонит боль, страх, несправедливость, жалость, грех, а может, что-то еще — неизвестность? Передвижение может стать навязчивой идеей, стилем жизни и средством познания. Для одних важна постоянная смена пейзажа за окном, для других — беспрерывное наматывание памяти среди бабушкиных сундуков и места первого объяснения в любви. А для буддистов внешний мир вообще не играет роли, это иллюзия… да и для православных тоже — суета. Ну так до этого ведь нужно дойти, а вернее — к этому нужно и можно прийти! Если идти, а не стоять на месте.

Кевин, с которым мы встретились в Москве, конечно, был на меня и зол и чувствовал себя оскорбленным: все, что случилось, довела до разрыва именно я. Но он не требовал немедленного развода, позволив мне воспользоваться статусом жены и вернуться в Америку. Мы остались друзьями, со временем просто забыв то, что с нами произошло, — он был мне родным человеком, несмотря ни на какие раздоры. О воссоединении в браке по-настоящему я не думала, так как понимала, что наши проблемы не будут разрешены — а мучить себя или его еще раз я не собиралась.

Проведя в Москве три месяца, я успела сняться в короткометражке. Мне позвонил Толя Васильев — театральный режиссер — и сказал, что помогает делать диплом своему ученику из ВГИКа. Тот снимает новеллу «Каштанка» из спектакля «Серсо» по пьесе Славкина, который шел у Васильева в театре. Показав мне четыре страницы беспрерывного монолога, Толя сказал: «Попробуй, у тебя есть три дня». Я согласилась и села зубрить. Снимали в Чертаново возле метро. Дублей восемь-десять проходки с текстом на продувном ветру от метро до новостроек и обратно. Как символично — Каштанка. До меня в театре ее

исполняла Наташа Андрейченко. Две Каштанки, попавшие с улицы — в цирк! Мы с Наташей еще вспомним об этом, занимаясь в актерской студии в Калифорнии. Осенив себя матом и крестным знамением, в черных трико будем выходить вместе с другими на сцену и исполнять танец под звуки песни «Секс!», приговаривая при этом: «Наши бы увидели, сказали — с ума девки сошли, что они тут делают?!»

Не забуду, как шла однажды вечером пешком по улице Горького, ныне Тверской, где-то в районе Маяковки. Смотрела на знакомые переулки, дворы, перекрестки, с которыми было так много связано, и даже не заметила, как начала плакать. Людей, которые некогда населяли это пространство и с которыми была связана память, уже не было в этом городе. Я тогда впервые ощутила, что значит дух места и от чего он зависит. Время прошло, и вроде камни те же, а хозяин у них другой, и магия уже другая — ностальгическая. Когда я глядела на стены старого дома, начинало учащенно биться сердце, словно в них было замуровано дорогое мне человеческое лицо. Я много раз уезжала и вновь возвращалась в Москву, но так плакала только однажды. Наверное, и я — тогдашняя — тоже исчезла, вместе с теми, кто покинул эти улицы навсегда.

Наступило утро, когда мама, я и сестра присели возле моих чемоданов «на дорожку». «Ленок, может, не поедешь, ну что тебе там делать одной? Если б с Кевином, а так? Подумай, еще не поздно все поменять», — уговаривали они меня на два голоса. Я сжала все свои чувства в кулак и монотонно бубнила: «Мне надо, надо, перестаньте, я должна ехать, слышите?» Это было единственным шансом вырваться — в неизвестность. Я что-то еще не дожила там, я еще не была готова сдаться. «Какая жестокая девочка!» — вздыхая, приговаривала моя сестра и успокаивала маму, у которой в глазах стояли слезы. «Мамусь, теперь ведь я могу съездить и вернуться, когда захочу. Это же мое право, я хочу его использовать. Они думали меня проучить, когда не впускали, думали, я испугаюсь, приползу на коленях, а я наоборот — еще больше захотела ни в чем от них не зависеть!» — убеждала я себя и других. И, спрятав слезы за этими бодрыми словами, я улетела.

«Так что ж улетела, если слезы у всех на глазах, кому это надо, не безумие ли?» — подумает кто-то. Даже не знаю, как и ответить, может, и безумие. Ведь дело тут не в целесообразности… а в порыве. Бросаясь на амбразуру, человек не всегда имеет в руках программу дальнейших действий и отчет о проделанной работе. Он поступает так просто потому, что не может иначе.

5. Нью-йоркский опыт и эксперимент

Глава 55. Мой дом в Нью-Йорке

В Нью-Йорке я поселилась на Ривер-сайд драйв. Это очень красивая часть города, раскинувшаяся между рекой Гудзон и парком. Пригласила меня себе в соседки-квартиросъемщицы Алена Баранова, у которой была просторная двухкомнатная квартира в каменном доме, с высокими потолками и огромными окнами. Я с удивлением обнаружила, что некоторые проспекты и строения знаменитого мегаполиса напоминают отечественные постройки сталинского периода. Не забуду свое первое впечатление от города. Однажды, проезжая по какому-то району еще неведомого мне Нью-Йорка, я увидела в окно машины, как вдоль бесконечно длинной стены из стекла и бетона, залитой солнцем до абсолютной белизны, идет девочка-панк, одетая во все черное. На голове у нее стоял хохолок, виски выбриты — во всем силуэте читалась четкость и почти механическая целеустремленность. Я изучала ее как представителя иной цивилизации, задавая себе вопрос: кто она и что она? В этой картинке, застывшей в моем сознании, словно негатив фотопленки, заключалась квинтэссенция американского городского авангарда, на который я взирала как землянин на марсианские хроники до тех пор, пока сама не стала его частью.

Однажды встретив меня у Алика Гольдфарба, моя новая подруга Аленка не могла отделаться от первого впечатления. По ее словам, я выглядела очень забавно: сидела в зеленом кимоно на кушетке, ела маленькие ломтики сыра и разговаривала со всеми на «Вы». Наверное, Аленке тогда захотелось взять надо мной шефство. Ей вообще свойственно было опекать, помогать, советовать и оберегать от ошибок. Аленка, в отличие от меня, была питерской, полногрудой и хозяйственной, а так мы чем-то даже были похожи: невысокого роста, русоволосые, зеленоглазые, скуластые, и обе Елены. Она, как и я — как все русские женщины, — близко к сердцу принимала свою личную жизнь, долго терзалась по единственному любимому, и было ясно, что пока она не вымучит себя окончательно и все ему не отдаст — не найдет другого. В момент нашего знакомства она пребывала в периоде размолвки со своим мужчиной, вздыхала, лежа на кушетке, читала стихи, разглядывала альбом с детскими, питерскими фотографиями и время от времени изучала счета и какие-то бумажки. Я же, наоборот, постоянно проявляла

активность, страшась остановки, все время куда-то бежала и что-то выясняла — искала работу. Сметливая подруга приняла это к сведению и иногда просила меня отправить по пути в магазин письма и какие-то квитанции. Это было очаровательно: мы абсолютно дополняли друг друга, как холерик — флегматика, толстый — тонкого, а Бим — Бома.

Однажды я достигла цели — получила предложение поработать в офисе на 42-й, «бриллиантовой» улице. Я была счастлива и почему-то считала, что мне оказали честь. Видимо, я испытывала комплекс от того, что не умею делать обыкновенные для всех нормальных людей вещи: исправно появляться на службе в девять утра, отвечать на телефонные звонки и звонить другим, сортировать деловые бумажки, молниеносно печатать, не глядя на клавиатуру, лаконично и точно отвечать на все вопросы, в пять вечера уходить домой до следующего утра — и за все это аккуратно получать зарплату. В то время мной завладел скрытый пафос понятия «выжить» (очень свойственный городу и стране, где я находилась) — выжить, несмотря ни на что и вопреки всему. В этой идее я обнаружила неисчерпаемый источник энергии и даже сам смысл существования. Выжить — в этом и преемственность, и подвиг, и реванш, и урок, и порода!

Аленка скептически воспринимала мою суету и известие, что я начну работать в офисе. Она уже давно жила в Америке, терпела безработицу, знала все уловки и ухищрения, связанные с налогами, и имела основания воспринимать с долей иронии мое рвение стать служащей в чужой стране. Однажды я наблюдала полное перевоплощение своей подруги: она встала с дивана и с деловым видом куда-то засобиралась. Но вместо того чтобы, по обыкновению, накраситься и приодеться, Алена сделала все наоборот — тщательно закамуфлировала все признаки здоровой и беспечальной жизни. Она очень внимательно подобрала джинсы постарее и курточку попотертее, не нанесла ни капли косметики и, придав лицу печальное выражение, отправилась в город. Завороженная происходящим, я поехала с ней за компанию. В метро моя подруга окончательно вошла в образ озабоченной житейскими проблемами и потерявшей надежду женщины. Когда я в последний раз предложила ей подкраситься, она категорически отказалась. «Что с ней?» — терялась я в догадках. Но вскоре ответ был найден: оказывается, она ехала в контору за пособием по безработице, для них и предназначался весь маскарад. Здесь требовалось доказать, что ты все еще нуждаешься и не можешь работать по состоянию здоровья или еще каким-то причинам. Как только Алена получила, что требовалось, то сразу преобразилась — расцвела и бодрой походкой поспешила домой.

Роль была сыграна первоклассно. (Справедливости ради замечу, что это было в первые годы моего знакомства с моей милой подругой, в период ее любовной депрессии. С тех пор все переменилось: она успешно вкалывает в Голливуде художником по костюмам, делая одну картину за другой, да и в личной жизни наконец счастлива.)

Итак, я приступила к службе в офисе фирмы, занимавшейся продажей золота и кофе. Хозяин, израильтянин с русскими корнями, собирал вокруг себя русскоязычных работников. Мне предстояло обзванивать магазины и конторы, сообщать им цены на наши товар и предлагать его для продажи, а также покупать у других их товар. Я работала за письменным столом, на котором стоял компьютер, а за моей спиной в маленькой комнатушке лежал золотой песок и слитки («бары»). Прежде чем добраться до дверей моего офиса, я проходила по улице, которая сплошь состоит из ювелирных лавок, оттого и называется «бриллиантовой». Здесь у дверей многих офисов была установлена охрана и камеры наблюдения. Я лично к золоту всегда была равнодушна, и потому вид ломящихся от цепочек витрин вызывал у меня усмешку, однако такое количество драгоценностей, собранных в одном месте, невольно заставляло чувствовать себя персонажем детектива. Только неизвестно, в какой роли — грабителя или жертвы.

Моя работа меня развлекала. Я научилась пользоваться компьютером и начала привыкать к нормированному рабочему дню и сидению за столом с короткими перерывами на ланч. Правда, я делала много ляпсусов — например, никак не могла найти необходимый стиль одежды. Я знала, что на работу нужно носить, скажем, черное платье, а не пестрое, как на пикник. Чаще всего я надевала в офис мини-юбку и маленькую блузку — обе черного цвета. Наконец мне сделали замечание: «Елена, вы как-то не для офиса одеты, надо строже». Я оправдывалась: «Я надела все черное». Кто-то остроумно заметил: «Можно и бикини черного цвета надеть, но это не сделает его одеждой для офиса». Вместе со мной работал молодой человек по имени Виктор, он был родом из Вильнюса и по первой профессии психиатр. Мы с ним много общались, он рассказывал мне о своих прежних годах, о работе. У него было замечательное чувство юмора, и мы часто смеялись вместе. Однажды мы решили «сфотографироваться» с помощью ксерокса, и он разыграл меня, сказав, что я получила дозу облучения, когда, положив лицо вместо листка бумаги, проехалась вместе с движущейся пластиной под вспышкой. Его юмор вообще был черноватым — это свойство многих выходцев из СССР. По его рассказам, он был уволен из специализированной

психиатрической клиники после того, как на вопрос больного: «Что мне делать, доктор, — выброситься?» — Виктор ответил ему: «Ну, не знаю, может, и выброситься». К несчастью, больной в конце концов так и сделал, а Виктора после разбирательств с начальством лишили права работать в профессии. Меня он почему-то ласково прозвал «сусликом». Как-то раз во время ланча мы пошли с ним в Центральный парк, сели под кустиком на травку и стали болтать. Вдруг Виктор складывается пополам, как перочинный ножик, от мелкого истерического хохота: «Обернись скорее, там, в кустах!» Я оглядываюсь и вижу: за моей спиной сидит какой-то зверек и смотрит на нас, подрагивая своим черненьким носиком. «Кто это?» — спрашиваю я Виктора. Он хохочет еще больше: «Это… настоящий суслик! Ха-ха-ха!»

Впрочем, я так толком и не разобралась, чем на самом деле занималась наша фирма: на всем, что касалось эмигрантов, лежал налет какой-то детективности и подозрительности. (Один водитель такси, например, говорил: «Да уся дэрэвня как поехала, я тоже рэшил за кампанию. Нэ, я нэ еврэй!») Однажды хозяин отчитывал кого-то из работников за то, что тот сообщил по телефону неизвестному звонившему время его прибытия в Африку с товаром. «Ты вообще не знаешь, что у меня там за товар, может, это партия оружия!» — кричал он опешившему подчиненному. Все работники навострили уши и решили, что так оно и есть. Ничего не поделаешь: иностранец в чужой стране — или мафиози, или террорист, или революционер, особенно если это наш человек. Глядя, как я хохочу с Виктором и тщательно пытаюсь стать скромной сотрудницей офиса, хозяин приговаривал: «Ох, был бы я на месте твоего мужа, повесил бы тебя за ноги вниз головой!»

Приезжал в Нью-Йорк и наш театр — тогда я ходила смотреть спектакли. Помню, на гастролях был «Ленком». Разговаривая с актерами, я услышала, что Нью-Йорк им не нравится: «Вот в Париже Пьер Карден нас принимал… это да! А тут все ходят в шубах и кроссовках, какая-то безвкусица». Я с удивлением заметила, что мне, в отличие от моих московских коллег, этот стиль уже пришелся по вкусу — в парадоксальном сочетании несовместимого я усматривала свободу, демократичность и элемент творчества. А также уникальное американское преодоление социальности: артистизм — это победа над сословным и прочим неравенством. Ведь в Нью-Йорке каждый третий — артист.

Приезжал и театр Льва Додина со спектаклем «Звезды на утреннем небе», который в Москве успешно шел в «Современнике». Мне все время выпадало встречаться с этим

театром за границей: и в Нью-Йорке, и в Париже, и даже в Австралии, в городе Перт. Забавно — я никогда не видела их ни в Ленинграде, ни в Санкт-Петербурге. Смотрели мы с Барановой пьесу про московских проституток, выселенных во время Олимпиады за пределы столицы, — и сердце разрывалось от боли. Так же рыдали мы с ней на фильме Никита Михалкова «Очи черные» и, выходя из зала, терли вспухшие веки к изумлению остальной публики. Нет, смотреть про «своих», оставшихся «там» — это на разрыв аорты! Становится жалко себя и всех нас — и маму, и папу, и бабушку, и соседей, и всех-всех, на ком лежит печать российской усталой терпеливости — начиная с великомучеников Бориса и Глеба.

Мы подружились с нашими циркачами — клоунами, заехавшими в город с гастролями, и долго принимали их у Аленки. Она была в ударе и продемонстрировала свои кулинарные способности (невеста на выданье!), наготовив всякой всячины для своих родных «Карандашей» — «белых» и «рыжих» клоунов. Братание с цирковыми происходило на всю катушку — с водкой, песнями под гитару и плясками с шалью. Чествованием циркачей мы так увлеклись, что, когда пришел час расставанья, вдруг стало больно, словно на фронт провожаем. А если быть точнее, то они оставляли нас, словно на поле боя: «Девчонки, как вы тут справляетесь, держитесь, милые вы наши…» Клоуны давно вернулись на Родину, а мы с Барановой еще какое-то время продолжали плясать по вечерам по комнате с бумажными колпачками на голове, в огромных, не по размеру, тапках и с шариками на носу — в память о встрече с нашими мужиками.

Глава 56. Нью-Йорк — таинственное яблоко

Нью-Йорк удивительный город. Это даже не город, это страна в стране. Здесь надо уметь жить. Во-первых, надо быстро передвигаться: на вашей самой большой скорости плюс еще чуть-чуть. Приходя в магазины, галереи и прочие заведения, нельзя витать в небесах и быть сомнамбулой, а нужно четко и ясно объяснять, что вам надо, и, получив это, уходить. Если вы не соответствуете этой формуле, то к вам пристанут с предложениями помощи и вопросами всевозможные служащие. Заходя в бутик, вы уже берете на себя обязательство что-нибудь купить — иначе зачем вы вообще открыли дверь? И уж тем более если вы утруждаете продавца расспросами и просьбами что-то достать с полки. На любой вопрос продавец разъяснит, чем его товар хорош, стоит ли лично вам его приобретать и почему. Из подобных лавочек бывает невозможно уйти с пустыми руками, и

позднее кажется, что тебя заставили купить ненужные вещи путем внушения или гипноза — так ловко обрабатывали тебя лощеные и вымуштрованные продавцы, улыбаясь, словно на приеме в посольстве.

Другое дело — улица. В толпе дефилирующих горожан вы предоставлены самому себе. Ньюйоркцы очень любят променад с остановками, чтобы купить мороженое, поглазеть на витрины магазинов, галерей, журнальных киосков. Во время таких прогулок неизменно встречаешь знакомых и знаменитостей. Я наконец испытала чувство благодарного почитателя чужой славы, повстречав во всевозможных очередях и кафетериях таких актеров, как Джессику Ланж, Эрика Робертса и Джона Малковича, музыкантов Чака Берри и Йоко Оно, а в Вашингтоне столкнулась на улице с Тедом Кеннеди. Странно, но в Америке мне показалось это знаком особой демократичности: прогулки в толпе со знаменитостями. Никто не брал у них автограф и не оглядывался им вслед. И дело тут не в потере интереса к звездам, а в праве личности охранять свой покой и свою территорию. Подойти и задать вопрос — это уже значит навязать общение.

Внове мне было и несметное количество бомжей, наркоманов и всяких чудаков, разгуливающих на улицах города. В середине 80-х советский гражданин еще не знал, что это такое. Всевозможные юродивые составляют неотъемлемую часть американской демократии — на перекрестках, среди неоновых огней и мчащихся машин, они проповедуют конец света, сотрясают Библиями, облачаются в разные доисторические костюмы, сидят, лежат, прыгают, танцуют и, протянув руки к прохожим, сочиняют невероятные байки. Их никто не одергивает, не гонит и не замечает — они безобидны и представляют собой часть ландшафта. Возможно, такое снисходительное отношение к чудакам и сумасшедшим — следствие терпимости и даже предусмотрительности: «Со мной ведь это тоже может случиться». Солидарность с теми, кого занесло за край, объясняется тем, что каждый знает: живут в «большом яблоке» (прозвище Нью-Йорка) только «крэйзи», «куку», «вакуз» — сумасшедшие, одним словом. Вопрос только в том, сумеешь ли ты балансировать между сумасшествием и нормальностью или соскользнешь и не выкарабкаешься. Городское сумасшествие по-американски зачастую достигает невероятных эмоциональных и поэтических вершин, когда ночью ты встречаешь чернокожего улыбающегося старца, извлекающего из старого рояля, стоящего прямо на тротуаре, тягучие мелодии Гершвина, или стройного подростка на роликах, вальсирующего в забытьи, словно Офелия, или группу мужчин и женщин, застывших на клочке зеленой травы

посреди небоскребов в одинаковых позах, как учит их сенсей.

Этот город коварен и непредсказуем, в нем можно зайти «на край света», а выбраться оттуда уже другим человеком. Есть черта, за которой белого человека подстерегает опасность. «Быстрей, быстрей, закрой окна!» — приговаривает водитель такси, когда приходится проезжать мимо Гарлема. Странное хаотическое движение и взрывная энергия жителей этих улиц, носящих под мышкой орущие магнитофоны, вселяет страх: ты здесь чужой! Есть районы с сырыми гулкими улицами и брошенными индустриальными зданиями, по мостовой которых передвигаются люди-тени со стертыми лицами, одетые не по сезону: в шубы летом или в сандалии зимой — гости из небытия, напоминающие своим безумием об изнанке жизни. Есть станции метро, на которых после одиннадцати лучше не появляться даже с сопровождающим, а тем более в одиночестве, но если вам все-таки пришлось там стоять и ехать в полупустом вагоне, то следует знать, как не смотреть в сторону внушающей страх компании, привлекающей ваше внимание окриками, а если вам зададут вопрос, попросят прикурить или денег — как отвечать и какую купюру нужно дать, чтобы сохранить себе жизнь. Газеты пестрят историями о накурившихся подростках, затеявших драку в сабвее и порезавших насмерть одинокого программиста, возвращавшегося с работы домой, и о расстреле посетителей «Макдоналдса» каким-нибудь папашей, незаконно уволенным с работы, у которого многодетная семья и нервы на пределе. Фотографии украденных или пропавших без вести детей украшают пакеты со сметаной и молоком, таким образом буквально проникая в ваши внутренности. Звук полицейской и пожарной сирены слышится чаще, чем звонок в дверь, заставляя быть на стреме и в легком естественном возбуждении. Адреналин гуляет в крови, окрашивая ваше существование постоянным предвкушением интриги.

Теперь я сменила роль Элизы Дулиттл на роль Алисы и не раз попадала в капканы времени, приготовленные для меня в избытке городом Нью-Йорком. Однажды, собравшись в Сохо на выставку Ильи Кабакова, я перепутала адрес и зашла в незнакомый подъезд. Как только тяжелая дверь захлопнулась, чугунная ручка отвалилась, и я осталась взаперти в совершенно пустом пространстве. Дело было в пятницу, когда многие уезжают на выходные за город. А лифт вел в единственную квартиру на верхнем этаже — есть такие хорошие квартиры с персональным лифтом. Осознав свое бедственное положение, я стала колотить дверь ногами, но без толку. Смотрю в замочную скважину — солнце садится, переулок пуст, ни души. Я стала кричать: «Хелп

ми!» Наконец появился избавитель — прохожий. Он велел мне отойти от двери и стал ее вышибать ногой с разбега. Дверь подалась и распахнулась, я оказалась на свободе, поблагодарила прохожего и со всех ног бросилась наутек от злополучного подъезда.

После этого случая я решила доставить себе удовольствие и немного расслабиться — пошла делать педикюр по адресу, который нашла в телефонном справочнике. Поднялась в лифте на нужный этаж типового американского небоскреба. Позвонила, дверь открыл страннейшего вида господин — эдакий монстрик из фильма ужасов. Очень вежливо предложил пройти в кабинет и сесть в специальное кресло. Только я уселась, как он нажал на кнопку, и я поехала на своем сиденье куда-то под потолок. Так, конечно, ему было удобнее работать, тем более что на вид он был весьма преклонного возраста, но я чуть в обморок не упала от ужаса. К тому же он, видно, заметил, что я волнуюсь, и, встав с места, прикрыл дверь в соседнюю комнату. Там я успела разглядеть какой-то лежак медицинско-гинекологического свойства с ремнями. Приготовившись, что меня будут либо убивать, либо склонять к садомазохистским удовольствиям, я затаив дыхание просидела с полчаса, пока мне делали педикюр, а затем благополучно спустилась на землю. Расплатилась и что есть мочи — наутек! Осталась жива, слава тебе Господи. Что ж за монстры такие обитают рядом с абсолютными херувимами в городе Нью-Йорке?

Вообще среди жителей мегаполиса представлено все человечество — от кубинцев, сбежавших от Фиделя, до поляков, чехов, армян и наших отечественных белых офицеров. Есть здесь и Чайна-таун, и Литтл Итали, в которых, соответственно названию, подают либо рис (и крыс), либо спагетти с ризотто. Каждая улица, как и штат, обладает своим стилем, своей культурой. Выбирайте на свой вкус. Возможно, этим отчасти объясняется отсутствие у американцев интереса к другим странам — ведь у них есть все, чем славно человечество, и это «все» представлено в миниатюре, стоит только выбрать станцию метро или остановку автобуса — вот тебе Япония, Ирландия, Россия… вот тебе чукча и цыган. Живущие владеют всем, что может дать им их город, — парками, рекой, театрами и кинотеатрами, галереями, музеями и ресторанами. Сидеть вечерами дома здесь так же нелепо, как не ходить к морю на курорте. Ночная жизнь Нью-Йорка погружает в еще большую сказку фантазии и отрешенности. Не забуду клуб «Тоннель», построенный в какой-то брошенной шахте метро, — от черной дыры настоящего тоннеля, прорезанной лазерным лучом, веяло тайной и ужасом, тем более

в контрасте с дымной, переливающейся ультрафиолетом маскарадной тусовкой. Здесь разгуливала двухметровая застенчивая мулатка в газовой косыночке, коренастые латиноамериканки, говорящие басом, трансвеститы по-свойски подмигивали в знак женской солидарности и жалуясь всем, что пополз чулок, кокетливо демонстрировали нижнее белье, чернокожие парни с серьгой в одном ухе, с голым торсом и в шароварах напоминали дядьку Черномора, припанкованные японцы, перекрасившие волосы в розовый цвет, казались жертвами генетического эксперимента, люди в цепях и металле, культуристы обоих полов танцевали, возвышаясь на тумбах. И если б мне встретился сам старик Хоттабыч, то я приняла бы его за местного. Вместо него, протискиваясь на улицу, на самом выходе я столкнулась лицом к лицу с Арнольдом Шварценеггером, который, стараясь попасть в клуб, продирался сквозь толщу людских тел в обратном направлении. Нас придавило друг к другу, и я разглядела на его груди октябрятский значок с головой Ильича. Обрадовавшись скорее Ильичу, чем самому Арнольду, я прокричала: «Откуда значок?» Он раскрыл зубастый голливудский рот и весело проорал в ответ: «Только что из Москвы!» Я обрадовалась, словно он тоже с Луны, и закивала одобрительно: «А я там закончила десятилетку!» Судя по его улыбке, Арнольду я понравилась, и нас разнесло в разные стороны. Запомнилась мне и вечеринка, устроенная Комаром и Меламидом — нашими художниками-эмигрантами — в каком-то из ночных клубов. Славная соцартовская фантазия заставила их декорировать помещение алыми знаменами и всякой партийной атрибутикой, а в центре основного холла стоял гроб, в котором покоился муляж Ленина в натуральную величину. Так как я никогда не была в Мавзолее, то не могу сравнить его с оригиналом, но кажется, было очень правдоподобно. «Такой маленький и грустный», — как выразила свои впечатления о настоящем Ленине моя подруга-француженка, побывавшая на Красной площади.

Иногда фантастический и сказочный Нью-Йорк помогал мне прорваться к самой себе сквозь немоту, страх и забвение. Так случилось на занятиях в актерской студии — я пришла туда в качестве гостьи к ее руководителю Ллойду Вильямсу, с которым познакомилась на съемках «Любовников Марии». Я поразилась тому, как, выполняя под живой звук пианино самые элементарные движения, актеры выражали сильные эмоции — рыдали, смеялись, причитали или тихо плакали. Учителя, многие из которых были психологами-практикантами, ходили между лежащими на полу юношами и девушками и тихо что-то

нашептывали или трогали за плечо, то успокаивая, то одобряя. На следующем занятии я решила попробовать сама. Надев на себя гимнастическое трико — точь-в-точь, как у других (это было одним из условий), я сначала подтвердила вслух, как это делали все, что мне здесь спокойно и не страшно, затем легла на пол, свернувшись калачиком. Заиграла тихая музыка, рядом со мной в полном публичном одиночестве забормотали мои коллеги — обвиняя, лаская, жалуясь. Я тихонько подглядывала и дивилась их раскрепощенности. Затем все встали. Снова заиграло пианино, я стояла в позе просящего милостыню неандертальца — с сутулой спиной и согнутыми коленями, повторяла три произвольных слова, означающие благодарность, как того требовал учитель. Возле меня кто-то начал всхлипывать, я удивилась — мои глаза были сухи. «Однако до чего ж они эмоциональны! — думала я. — Что за техника такая?» Мы перешли к другому упражнению — ноги на ширине плеч, руки вместе с верхней частью корпуса совершают дугу по кругу, влево, вправо и обратно, при этом ты повторяешь три слова, выражающие позитивные утверждения. Заиграла музыка, я стала делать ритмичные взмахи и — вдруг совершенно непостижимым для себя образом зарыдала. Это было невероятно: все равно что делать утром зарядку и вдруг ощутить приступ любви ко всему человечеству. Возвращаясь в тот день домой, я долго шла по улице, не спешила сесть в автобус или спуститься в метро. Так хорошо было у меня на душе, словно какой-то многолетний ком растаял, — я начала любить все вокруг, чувствовать это, а не просто разглядывать. «Ты понемногу начала раскрепощаться», — сказал мне вскоре руководитель студии. «Ничего себе комплимент для профессиональной актрисы!» — с усмешкой подумала я. К сожалению, не могу вспомнить, как называлась техника, по которой занимались актеры, однако благодаря ей я вновь стала воспринимать свою профессию как загадочное, редкое и полезное для сердца и ума дело.

Попала я как-то и к известному в Голливуде суперагенту, он вел таких актеров, как Мерил Стрип и ей подобных. Это была «наводка» Кончаловского, который внял моим просьбам как-нибудь помочь с актерской работой и посоветовал позвонить Сэму Коэну — так звали агента. В день, когда он назначил мне встречу, лил проливной дождь, и я была застигнута врасплох: что надеть, как лучше выглядеть, как взбодриться несмотря на то, что хочется спать? Почему-то мои поиски внешнего образа свелись к странной повязке на голове, вроде цветастой косынки в виде банта — мне казалось, это придаст бледному растерянному лицу нужную задорность — и ярко-малиновому пиджаку. Я долго

мялась в липком кресле прихожей, пока «супер» был чем-то занят в своем кабинете. Наконец меня позвали. Невысокий, а вернее, даже маленький, кругленький человек пригласил меня присесть на стул возле бесконечного стола, а сам пристроился напротив. Я обратила внимание, что сверху прямо мне на лицо светит ряд маленьких лампочек. Вот как! Агент сразу видит — киногеничен ли тот, кто просит у него работу. Должна сказать, что, несмотря на весь свой актерский опыт, я никогда не ставила его себе в заслугу и каждый раз начинала с нуля любое профессиональное общение. Мистер Сэм начал расспрашивать меня, кто я и откуда. Зазвонил телефон. Сэм снял трубку и стал беседовать с кем-то о работе. В разговоре он так увлекся, что положил ноги прямо на стол, «как это делают американцы». Меня это покоробило. «Хорошее же я произвожу на него впечатление, нечего сказать, может, он и забыл обо мне… а может, провоцирует, злит, ждет моей реакции?» Я уже ненавидела этого Сэма, вспомнила, что о нем поговаривают, будто он совсем чокнутый: когда нервничает, машинально рвет бумагу, что под руку попадется, затем кладет обрывки в рот, прожевывает и глотает… «Да вроде не похоже, сейчас выглядит, как бюргер какой-то… а живет, по слухам, с актрисой, такой… с припухшими глазами, вроде как у меня… я должна ему понравиться…» — так лихорадочно размышляла я, глядя поверх ботинок суперагента на его кислое лицо. Он положил трубку, взглянул на меня. «Так чем я могу вам помочь?» — голосом уставшего человека промолвил Сэм. Меня словно ужалила оса, я подскочила на стуле и закричала: «Вот я тоже хотела бы знать — чем? Да и можете ли вы мне вообще помочь, я сижу и только об этом и думаю, за тем и пришла, скажите наконец!» Сэм изменился в лице, выдержал паузу и сосредоточил на мне свое внимание. Ему явно понравилась моя реакция — задетого самолюбия. Эх, как это просто демонстрировать свою оригинальность, а ведь этого только и ждут такие уставшие бюрократы от кино — чтоб их потрясли, всколыхнули от спячки… (Барбра Стрейзанд, говорят, ходила к агентам с чемоданом в руках — там было все ее имущество.) Я уже тогда догадывалась, как надо производить впечатление при первом знакомстве, особенно если нет ошеломительных внешних данных… только внутренние, вроде таланта. Если б мне действительно нужна была роль, я бы съела у Сэма на глазах все бумажные салфетки и блокноты, улеглась бы на стол, да еще и разулась… Но, к сожалению, мои амбиции в тот момент были намного скромнее. Я все еще оставалась отважным зайцем, у которого от страха трясется хвост, а если он и рычит иногда на волка, так сам же и пугается. Неожиданно агент выпрямился, наклонился ко мне и

заговорил по-свойски, как с приятельницей. Сэм что-то объяснял про знакомства с продюсерами, через которые необходимо пройти, с нью-йоркскими агентами, которых надо знать в лицо, предлагал мне в этом поспособствовать. Он жаловался на трудности бизнеса вообще и на особенные трудности в таких случаях, как мой. Наш разговор становился все более человеческим, мы уже хохотали и жаловались друг другу на всех и вся. А перед самым моим уходом, в дверях, он обнял меня и, положив голову мне на плечо, застыл со слезами на глазах… Вошла секретарша.

«Елена из России!» — произнес он дрогнувшим голосом и, не договорив, снова уткнулся в меня. Когда за мной захлопнулась дверь, я чувствовала себя без пяти минут Мерил Стрип. «Ну уж если он почти рыдал, это что-то да значит!» — свербило у меня в мозгу. И напрасно — это не значило ровным счетом ничего. Я проиграла, потому что купилась на его эмоцию. Агентам нельзя верить, их надо только добивать японской пыткой — методично и настойчиво, тогда они решат, что ты продолбишь любую брешь в стене равнодушия и в конце концов обретешь славу. И они, конечно, правы. Уж лучше бы он ел бумагу!

Как-то мои друзья пригласили меня на выступление японской театральной труппы, известной во всем мире под названием «Сузуку юку» или «Бута Дансинг». Все актеры в ней мужчины. Это в большой степени пластический театр, но самое главное, что он ритуальный. Актеры, побритые наголо и обнаженные по пояс, покрывают тело белым гримом, в результате чего становятся похожими на гипсовые скульптуры. Их танцы и движения тел под звуки барабанов и тамтамов завораживают и пробуждают в зрителе что-то первобытно-прекрасное. Они впечатляют не только красотой, но еще силой и отвагой. Один из их самых знаменитых номеров — выступление на открытом воздухе, когда они спускаются с отвесной стены вниз головой по веревкам, закрепленным на крыше здания. В тот вечер они играли в закрытом помещении. На сцене был насыпан песок и бродили павлины. В конце спектакля почтили память одного из погибших актеров, который разбился как раз во время рискованного спуска вниз головой. Зал завороженно внимал фантастическому по своей красоте зрелищу, а в последний момент взорвался криками восхищения. На сцену полетели белые розы. Актеры подбирали их и вновь возвращали в зал широким и величественным жестом — от сердца. Это было божественно. Я смотрела на гудящую толпу, на могучие торсы полулюдей-полубогов и вдруг начала хохотать от счастья и плакать одновременно. Чувства распирали меня сразу во все стороны — я впервые тогда испытала это

состояние… Наверное, так переживается катарсис. Как хорошо устроен человек, в нем всегда живет первобытное потрясение жизнью. «Ха-ха-ха!» — хохочу я басом. «И-и-и!» — текут по моим щекам крокодильи слезы…

Глава 57. Я надкусываю яблоко…

«Здесь невозможно влюбиться и пережить романтическую историю! — жаловалась я Аленке Барановой на Нью-Йорк. — Любовь не в моде, это какой-то анахронизм — в этих стенах, на этих улицах, при таких темпах и проблемах. Все спешат, озабочены налогами, всякими „биллами“, которые надо оплатить, съемкой квартиры, поиском работы, город отбирает столько сил, что не до свиданий. А потом, здесь совсем нет детей, обрати внимание, это тебе не московские дворы с культом детей, здесь культ гордого одиночки! Завести семью в Нью-Йорке — это привилегия для избранных, да и те вскоре уедут подальше отсюда со своим хозяйством!» Аленка кивала, по обыкновению думая о чем-то совершенно постороннем. Иногда она даже засыпала под мои монологи, а просыпаясь, бормотала: «Ты говори, говори, Ленусик, я слушаю, это я так, на секундочку прикорнула, ну, продолжай», — и через минуту уже сладко посапывала. Однажды она уговорила меня пойти вместе с ней, ее бой-френдом и его сослуживцем в русский ресторан «Петрушка». Я неохотно поддалась: меня хотели познакомить с коллегой Аленкиного бой-френда. «Он такой денежный мешок, да и вообще, тебе пригодится это знакомство, мало ли что…» — объясняла заботливая Баранова.

Ресторан принадлежал нашему эмигранту Нахамкину, у которого были также и галереи в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, одним словом, он был успешным и состоятельным бизнесменом. Небольшое двухэтажное помещение «Петрушки» располагалось на Ист-сайде, в районе богатом и тихом. Вечером здесь играла живая музыка — пели русские песни и звучал не только рояль, но и балалайка. Вообще ресторанная жизнь меня поразила. Я имею в виду эмигрантские рестораны — здесь все напоминало дореволюционную или нэпманскую Россию, какой я ее знаю из советских фильмов. Разговоры одновременно велись и о рецепте кулебяки, которую лучше всего готовили где-нибудь в Пнинске, и о Колчаке, Деникине, об оставленных землях, угодьях, наследстве, разбитых семьях, врагах Отечества, а также о растущих ценах на аренду в Нью-Йорке. Кажется, один ресторан назывался «Киев», на стене его почему-то красовался писанный маслом белый мишка на льдине, а возле него стоял живой кактус

в кадке. За стойкой бара велся разговор с украинским глухим «г» про то, как уезжали, побросав все, и про то, что часть родни теперь в Чикаго. Интерьер — полная эклектика, а атмосфера — как в фильме «Бег» или «Место встречи изменить нельзя», в сочетании с цыганщиной, романсами, слезами. Оказавшись в таких реальных «декорациях», я долго не могла поверить, что это всерьез, а не пародия на фильмы про белых и красных. Но со временем решила просто получать удовольствие от реального, а не выдуманного кича. Особенно неотступно преследовала мысль: «Боже, если бы наши в Союзе знали, как это выглядит здесь… тоска по Родине… они бы не были такими циниками!»

«Петрушка» выделялся среди прочих подобных заведений своей дороговизной, ходить в него считалось признаком определенного благополучия. Мы сидели вчетвером — Аленка, я, ее бой-френд и его коллега — лицом к маленькому пятачку, представляющему собой сцену. Рыжеволосая певица по имени, кажется, Майя Розова, пела сипловатым прокуренным голосом. Менеджер ресторана, красивая русская дама бальзаковского возраста, попросила ее исполнить романс «Только раз бывают в жизни встречи», и, когда та запела, хозяйка спрятала лицо в ладони и замерла. Здесь все резонировало глубоким личным смыслом и драмой. Мы с Барановой стали говорить по-французски, которым она владела в совершенстве, а я — так себе. Хотели посудачить насчет сопровождающих нас мужчин, чтобы те не поняли. Особенно нам нравилось раздувать щеки и пыхтеть, как это делают французы в знак пренебрежения. Мы развлекались. Коллега ее бой-френда был не в моем вкусе, но вежлив и ненавязчив.

Вдруг что-то в голосе певицы, какая-то трагическая нота, привлекло меня, и я обратилась к подруге: «Аленка, смотри, она здорово поет, эдакая Эдит Пиаф, такая надломленность…» Позднее я узнаю, что Майя недавно стала вдовой. Ее мужа Евсея, которому она посвятила одну из своих песен и часто ее исполняла, убили выстрелом в упор. Говорили, что он был крестным отцом нью-йоркской русской мафии. Майя пела о нем, как о настоящем мужчине, герое, кормильце, единственной опоре в жизни, которую она потеряла, но будет вечно скорбеть и помнить… Несмотря на молодость и привлекательную внешность, она всегда носила строгие платья и называла себя вдовой. Затем Майя исполнила песню Вертинского «Что вы плачете здесь, одинокая грустная деточка, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы, ваши детские плечи едва прикрывает горжеточка…». Песня меня взволновала, и теперь уже я стала просить исполнить ее еще и еще.

Нас обслуживали сразу несколько официантов, все как на подбор — стройные молодые американцы. Один из них был очень высокий, с римским профилем и вольнолюбиво откинутыми назад волосами до плеч. Он все время подходил ко мне, чтобы принять заказ, и даже когда ему это не сразу удавалось, менялся с другим официантом местами, оттесняя его к Аленкиному бой-френду. Я хотела заказать бокал белого вина, а он все переспрашивал, пришлось повторять несколько раз: «Уайт». Наконец я обратила внимание, что он разглядывает мои губы, когда я отвечаю ему по-английски. «Аленка, мне этот парень напоминает Доминика! Такой же долговязый и смешной…» — шепнула я Барановой. «Не дай Бог… Ну, Ленусик, нам пора!» — строго отозвалась подруга и поспешила поднять всех и уйти. Придя домой, я встала перед зеркалом и несколько раз проговорила: «Уайт, уайт». Это выглядело довольно эротично — губы смыкались в трубочку. «Хитрец, — подумала я о долговязом официанте, — он просто получал удовольствие, заставляя меня произносить этот звук».

Я начала томиться от отсутствия нежности и ласки в моей жизни. Чувства были уже давно заморожены, словно после тяжелой операции под анестезией, и в голове царила какая-то анархия, результат московских впечатлений и всего, что было прежде. Чтобы разбавить женское одиночество, я завела себе котенка, сиамского, а вернее, «балениз» — с синими глазами и острой мордой. В какой-то компании у меня сорвалось с языка: хочу сиамского котенка. А через день мне принесли его и не дали даже слово сказать: просила — бери! Пришлось оставить. Кстати, это тоже очень американская черта — иметь кошку. Студенты, одиночки, гомосексуалисты, интеллектуалы — все заводят именно кошек, а не собак. Кота назвали Кисой, как и его двойника, что был у меня с Кевином в Вермонте.

Наступил май. Как-то я брела по улице, где-то в районе 70-х номеров Вест-сайда. Здесь часть улиц называлась по номерам, а я жила возле 90-х. Вдруг я заметила долговязого блондина, того, что заставлял меня в ресторане повторять слово «уайт». Он неумолимо шел мне навстречу своей характерной задиристой походкой, с каждым шагом сокращая расстояние. Я испытала ужас, сердце ушло в пятки. Рядом с ним я представила себя гномом и поскорей прыгнула в автобус, подошедший как раз вовремя. Усевшись возле окна, с бьющимся сердцем я смотрела, как он идет мимо, — рядом с ним шагал какой-то чернокожий человек, эффектно оттеняя аристократическую внешность долговязого белокурого парня. С этого момента я почему-то стала все время улыбаться. При мысли о высоком официанте из

ресторана Нахамкина у меня поднималось настроение. Так, однажды приятель-эмигрант предложил мне поужинать в «Петрушке», и я лукаво захихикала, признавшись ему, что заметила там очень забавного блондина-официанта. «А, так это Бойд! Хочешь, я вас познакомлю?» — живо отреагировал приятель. «Как ты сказал, Бой — это что, имя такое?» — переспросила я. «Да не Бой, а Бойд — старинное английское имя, „д“ на конце», — пояснил он и назначил время встречи на Ист-сайде.

В ресторан я отправилась на мотоцикле, в компании своей приятельницы Кристины. Она была француженкой, жила в доме напротив нас с Барановой, но знала я ее еще с Вермонта. Кристина была заядлой мотоциклисткой и вообще отличалась специфической мужественностью, возможно, из-за нестандартной ориентации. Так мы и появились тем знаменательным вечером в «Петрушке». Еще с порога я сразу поймала глазами долговязого парня, и мое лицо расплылось в счастливой улыбке. Затем мы с Кристиной спустились вниз по ступенькам и сели за столик. Я ерзала на стуле, а мой приятель Гриша успел сказать Бойду, что с ним хочет познакомиться одна из пришедших женщин. Блондин стал бросать в нашу сторону задумчивые взгляды, но всякий раз, проходя мимо столика, поднимал выше свою и без того гордую голову. Интрига завела меня, я поднялась с места и, выйдя в коридор к телефонному автомату, стала поджидать подходящий момент. Наконец я заметила в проходе блондина и поманила его пальцем. Он подошел. «Вы мне очень напоминаете одного моего друга, вот я и решила с вами поболтать», — сказала я, улыбаясь и разглядывая волевой подбородок и чуть надменное лицо стоящего напротив меня мужчины. «А я тоже хотел поговорить, — отвечал он очень серьезно. — Как вас зовут?» — «Хелен Мосс», — уверенная, что это звучит очень по-американски, отчеканила я свою фамилию по мужу. «Как? Хелен… а чем ты занимаешься?» — немного озадаченно поинтересовался блондин. «Я бывшая актриса, а мой приятель, на которого ты похож, он только еще хочет стать актером. А ты не актер случайно?» — говорила я, стараясь не останавливаться. Его вид заставил меня поежиться, что-то холодное было в его взгляде, гораздо более жестком, чем весь облик Доминика. «Бывшая? — Он взглянул на меня с любопытством. — Я тоже когда-то хотел стать актером, но совсем недолго. Меня раздражало, что после показа отрывков все только и делали, что спрашивали друг друга: ну как я, а я как? Моя жена… — Он сделал паузу и поправился: — Бывшая жена — актриса». Мы помолчали, затем его позвали, и он деловито сказал: «Ты знаешь, я скоро закончу работу, и мы можем

поговорить, если ты никуда не спешишь с друзьями. А если нет, то вот тебе мой адрес, заходи на днях в гости, я живу на 72-й, недалеко от Дакоты, где застрелили Джона Леннона». Он написал на клочке бумаги адрес и протянул его мне. «А телефон? Может, проще позвонить?» — уточнила я. «У меня нет телефона, постучи в дверь, и все», — произнес Бойд как нечто само собой разумеющееся и, сделав легкий кивок, удалился в темноту коридора. Я призадумалась: существование в Нью-Йорке человека без телефона я не могла предположить ни при каких обстоятельствах.

«Ну что, поговорила?» — поинтересовался Гриша, когда я вернулась к столику. На моем лице было написано удовлетворение. «Он разволновался, когда я ему сказал, что моя приятельница хочет с ним познакомиться, правда, не знал, кто именно — ты или Кристина, все гадал и нервничал, — продолжал он. — Давай позовем его с нами в клуб „Фор оакс“, прямо сейчас, там джаз играет… Поехали?» Дождавшись, когда Бойд закончит работу, мы вчетвером вышли на улицу и стали договариваться о встрече возле «Фор оакс». Кристина усадила Гришу к себе на мотоцикл, а я и Бойд решили ехать на такси. Как только мы сели в машину, Бойд предложил сначала заехать ко мне: «Ты сказала, что живешь неподалеку. Может, лучше посидеть у тебя, все равно уже поздно, да и в клубе слишком шумно из-за музыки… а нам ведь надо поговорить?» Не долго думая, я согласилась. Высунула голову в окно такси — рядом с машиной катила Кристина, а краснощекий Гриша, словно Винни-Пух, подпрыгивал у нее за спиной. «Мы домой!» — прокричала я ей по-французски и, увидев ее недовольное лицо, надула щеки и запыхтела, как это делают все французы.

«Ты кто, полька? — поинтересовался Бойд. — Но только не француженка — мой коллега, настоящий француз, сказал, что ты разговариваешь с акцентом. Ну не русская же?» — «Русская, потому и пришла в этот ресторан», — призналась я, чем, кажется, разочаровала своего нового знакомого. Я посмотрела на него и вдруг всем телом качнулась ему навстречу, словно меня притянуло магнитом. Это было настолько ощутимо физически — словно какая-то третья сила руководила мной помимо моей воли, — что я в испуге отпрянула, уставившись на Бойда. Он смотрел мне прямо в лицо, очевидно заметив, что я совершаю иррациональные движения. Когда я отпирала входную дверь ключом, он сказал: «А квартира-то не твоя… Ты открываешь замок как чужая». (Кстати о хозяйке, Аленке — ее дома не было, она уехала на пару дней к родственникам в Бостон.) «Это чей кот?» — поинтересовался Бойд, увидев моего остромордого

тощего Кису, который метался по квартире, стараясь привлечь к себе внимание. «Угадай!» — предложила я ему. «Да твой, конечно», — тут же ответил он. «Почему ты решил?» — поинтересовалась я. «Он на тебя похож… поведением! — суммировал свои наблюдения Бойд и продолжил: — У меня тоже есть кошка — Эзме, Эсмеральда. Это самая лучшая женщина в мире, она прожила со мной дольше всех остальных и знает меня, как никто другой». Говорил он без тени юмора, можно даже сказать — строго и значительно. Но кажется, это было все, о чем мы успели поговорить в тот вечер. Тишина и уединение устраивали нас обоих. Перебравшись из гостиной в спальню, мы вскоре погрузились в крепкий сон, так и не расспросив друг друга о том, о чем собирались поговорить… Утром Бойд разбудил меня. Он был уже одет и готов к выходу. Сказав, что должен бежать по делам, он предложил встретиться с ним на следующий день. Он помедлил в прихожей, разглядывая фотографии на стене, и я спросила его по-английски: «What are you looking for?» (Что ты ищешь?) Он тут же отозвался: «I am looking for you!» (Я ищу тебя!) Меня порадовала такая быстрая реакция, я узнала в ней себя и крикнула ему, словно отмахиваясь от впечатления: «Kiss you!» (Целую!) И без промедления получила в ответ: «Missyou!» (Скучаю!) Бойд писал стихи и прозу, поэтому составлять рифмы для него не представляло особой трудности. Как и сочинять различные словесные и смысловые фиоритуры — кроме работы в ресторане, он был студентом философского факультета Нью-йоркского университета. Так начиналась моя самая безумная история любви.

Глава 58. Черное и белое

Фамилия Бойда была Блэк, что значит — черный. Все в нем, начиная с имени, просилось быть зарифмованным. Бойд — void (пустота), avoid (избегать), boy (мальчик), вой, мой, ой… Неожиданно для себя самой я начала писать стихи по-английски и вообще писать. Критическое отношение к реальности, как и пытливый интеллект — вещь заразительная. А какое удовольствие наблюдать воинственно настроенного к своей культуре американца! Он находился в постоянной полемике с окружающей действительностью, по-клоунски играл с ней, насмехаясь или требуя ответа. Пытаясь проследить истоки магического воздействия на меня его внешнего облика, за которым стоит определенный архетип, я вспоминаю любимого актера Черкасова, с его узкой долговязостью и носатостью, затем возникают более ранние воспоминания: развевающиеся по ветру

длинные волосы романтических героев всевозможных сказок и мультфильмов, трогательная нелепость сказочных трубадуров, чья худоба торчит из-под старых одежд, и даже бунтарский облик гениев — Листа или Шопена.

Придя спустя пару дней после первого знакомства к нему домой, я увидела на входной двери предупреждение посетителям: череп со скрещенными костями и надпись: «Опасно для жизни!» Оказавшись в квартире у Бойда, я погрузилась в изучение его мира, путешествуя, словно по карте, по стенам, завешанным картинками, многочисленными рисунками, сделанными его рукой, вырезками из журналов, фотографиями и даже стихами. Передо мной предстал образ самого хозяина, ироничного, ранимого, вдохновенного, умного, и культуры, в которой он жил, — абсурдной, нелепой, страшной. Рисунок ракеты, нацеленной острием вверх, словно фаллос, приведенный в боевую готовность. Цитата из какого-то восточного мудреца (могу ошибаться в точности источника), отпечатанная на пожелтелом листке и приколотая к стенке примерно такого содержания: «Важно попытаться изменить то, что ты можешь изменить, и научиться терпеливо переносить то, что ты изменить не в состоянии, а главное — уметь отличить одно от другого». Вырезка из газеты, заголовок: «Тело без головы найдено в баре „Без бюстгальтеров“» — и рядом заметка о несчастной стриптизерше, которая, стоя на рояле, исполняла свой номер, в то время как рояль должен был подниматься вверх и, не дойдя до потолка, вновь опускаться. Какой-то механизм не сработал, и рояль не смог остановиться — стриптизерше снесло голову. Две фотографии одна над другой: невеста в пышном белом наряде и вдова в черном облаченье. Набросок карандашом — ссутулившаяся фигура пожилого мужчины, устало раскуривающего сигару, обратившего свои взоры в пространство, и подпись: «В ожидании бодхисатвы». Коллаж: огромная женская голова в форме телеэкрана, в черных очках, какие носят звезды кино, — обладательница головы хохочет и сексуально ежится, выставляя напоказ свою грудь. Прямо напротив, словно убегая от нее, изображен мужчина. Он катит перед собой детскую коляску, из которой торчит маленькая голова в темных очках, как у голливудской звезды, — уменьшенная копия смеющейся женщины. Эту картину Бойд дорисовывал понемногу, день за днем. Он наносил красные капли, словно брызги крови, на белое, нерасписанное пространство работы. На полке под потолком его тринадцатиметровой квартирки стояли толстенные папки с дневниками, штук двадцать, не меньше. «Вся моя жизнь!» — сказал он, указывая на них широким жестом. «Кто это написал?»

— поинтересовалась я, не веря, что такой объем под силу современному молодому человеку. «Я!» — гордясь собой, ответил Бойд. Кошка Эзме оказалась толстой и пушистой серой кошкой с огромными, как у совы, глазами и очень тихим писклявым голоском. «Взял котенка, самого хилого и больного. Как увидел, сказал — этот мой!» — комментировал Бойд историю своей любимицы.

Бывшая жена Бойда — актриса, о которой он говорил при первой нашей встрече, была в те годы восходящей голливудской звездой, ныне известной в Америке, — Келли Мак Гиллис. Ее фильмы выходили один за другим, и по городу то и дело развешивали ее портреты-афиши в три-четыре метра высотой, журналы пестрели ее фотографиями, а газеты — сплетнями о личной жизни. «Келли за один этот год заработала миллион, представляешь?! — восклицал Бойд и по-ребячьи продолжал: — Я хотел одолжить у нее тысячу, а она не дала! Как-то она пригласила меня для разговора в ресторан и сказала — заказывай что хочешь. Я заказал любимую вырезку, а когда я все съел, ехидно заметила: „Ты всегда столько жрешь?“» Она стала звездой внезапно, сыграв главную роль в фильме «Свидетель» — это случилось вскоре после того, как они разошлись. Но ни для него, ни для нее эти отношения не были закончены. «Если моей женщине не нравится Келли, если она не может примириться с тем, что она для меня значит, тогда ей не быть со мной!» — говорил Бойд. А вернее, констатировал свой диагноз, так как его чувства к бывшей жене оставались серьезной психологической проблемой. То, что я актриса и — как он узнал от моих знакомых, довольно известная в Москве — спокойно реагирую на существование в его жизни голливудской звезды Келли, позволило Бойду воспринять меня всерьез и даже обрести некое иллюзорное равновесие.

С первых дней нашего общения он стал говорить о том, что нутром предчувствует нашу непростую историю. «Этот ребенок опасен!» — сказал он обо мне своему другу Биллу, который в отсутствие своего жилья временами квартировал у Бойда. Я быстро подхватила юмор и специфический игровой язык, свойственный Бойду, а также привкус корриды, чего-то рокового, что было в его отношении к жизни. Он это заметил, оттого и решил, что я — опасный ребенок Он подарил мне книгу своей любимой поэтессы, Сильвии Плат. Сборник назывался «Ариель». На первой странице поставил надпись: «Елене, с любовью из траншей, Бойд». Сильвия Плат оказалась удивительно похожа на Марину Цветаеву — страстью, лаконизмом, образностью и предчувствием неизбежного конца. Она и была обречена,

покончив с собой в расцвете сил и славы. Бойд открыл мне художника Марселя Дюшана, который стоял у истоков современного авангарда. Его знаменитую работу «Женщина, сходящая по лестнице», которую многие художники считали долгом воссоздать на свой лад, Бойд тоже отметил в своем творчестве, написав акварелью красивую абстрактную картину и назвав ее «Женщина, снисходящая по лестнице». Его любимым поэтом был гениальный пьяница Чарльз Буковски, известный если не читателю, так зрителю своим сценарием к фильму «Пьянь» с участием Микки Рурка и Фэй Данауэй. На стене у него висели также игрушечные наручники, а на полке стояли детские игрушки. Эдакий поп-арт — инсталляции, наглядно демонстрирующие, что молодой американец переживает личную драму с женщиной, непримиримый конфликт с масс-медиа и голливудской «фабрикой грез», испытывает некоторый скепсис по поводу смысла жизни, а также сильные пацифистские настроения.

Может показаться, что Бойд лишь по молодости был маргиналом и тяготел к эпатажу. Но это не так. Его вызов не был возрастным, а скорее свидетельствовал об особенностях его интеллекта и социального происхождения. Он вырос в пригороде Лос-Анджелеса, в престижном районе «Оранж каунти», в семье «васпов» (WASP) — белых англосаксонских протестантов. Его отец был обыкновенным американским миллионером, добродетельным и законопослушным, который до выхода на пенсию занимался разработкой оружия. (Если, конечно, Бойд не привирал, чтобы запугать меня и создать более зловещий образ своего родителя. При мне его папаша в основном занимался миссионерством — ездил по церковным приходам.) Бойд, как никто другой, знал, к чему приводит скука и лицемерие многодетного викторианского воспитания, с одной стороны, и зомбирование идеологией и псевдонравственностью — с другой. Он ненавидел насилие и глупость. Его представление о собственной жизни как проходящей в траншеях было оправданно — для умного человека жизнь и не может быть ничем иным, как полем боя. А жизнь в Нью-Йорке — это ежедневная урбанистическая война, не говоря о том, что там частенько слышны выстрелы. Но у него был свой личный грех, который и окрасил наши отношения в трагические тона.

Однажды, когда мы собирались провести вечер вместе, Бойд вдруг бросил меня, сказав, что должен уйти туда, куда мне нельзя идти вместе с ним. Я недоумевала, что могло внезапно заставить его нарушить планы. И откуда такая секретность? «Наверное, он колется, — сказал мне кто-то из друзей, — а с иглой невозможно конкурировать!» Встретив его на следующий день, я

поинтересовалась, так ли это. Он признался, что так, добавив, что волноваться не стоит: пока ему не грозит никакая зависимость, это просто баловство. Но его внезапные исчезновения и неадекватные срывы заставили меня усомниться в том, что это не опасно. Однажды я настояла на том, чтобы идти с ним туда, куда мне нельзя. Мы подъехали к самым задворкам города — к 11-й улице между проспектом А и Б. Здесь всегда настолько безлюдно, что каждая движущаяся фигура становится объектом пристального внимания. Выйдя из машины, Бойд и его приятель Билл пересекли пустой двор и прошли к темному заброшенному зданию, в котором не светилось ни одно окно. «Не ходи, это опасно!» — бросил мне напоследок приятель Бойда, когда я побежала вслед за ними, но было уже поздно. «Скотти! — кричал мой друг кому-то в темноту окон. — Это я, Бойд!» Тот, кого звали Скотти, открыл входную дверь, и черное здание поглотило высокую белокурую фигуру. Я вбежала в подъезд, испугавшись, что потеряю след своего безумного друга. В кромешной тьме я поднималась по лестнице вслед за Бойдом и его приятелем, которые шагали на один пролет впереди меня. «Здорово, мне здесь чем-то нравится, — сказала я, пытаясь обратить все в шутку, — мы как Бонни и Клайд!» Бойд резко оборвал меня: «Мы совсем не Бонни и Клайд, и не дай Бог… Здесь ничто не может нравиться!» Меня удивила его реакция: колется и ненавидит то, что делает, как это?

Наконец мы поднялись на верхний этаж и оказались в просторном помещении, из темноты которого стали проглядывать людские тени. Люди сидели, лежали на диванах вдоль стен, и казалось, что они спят. Как выяснилось, здание было населено чернокожими, которые скрывались от полиции, а она в свою очередь каждый день устраивала облаву. На сленге это место называлось «стрельбищем» или «галереей для стрельбы». (По-английски глагол to shoot означает «стрелять», а на сленге — «колоться».) Были здесь и женщины, но, судя по голосам, мало, две-три. Скотти оказался тем человеком, которого я однажды видела из окна автобуса дефилирующим вслед за Бойдом. Он сидел перед горящей свечой, а рядом лежала раскрытая Библия. «Читаешь?» — спросил его Бойд. Тот утвердительно кивнул. Быстро объяснившись, зачем пришли, мужчины сели и стали ждать, а Скотти стал готовить все необходимое. Я затаилась за спиной Бойда. Сделав укол, они начали «отлетать», взгляд расфокусировался, обратившись внутрь, но уши продолжали напряженно слушать. Скотти взглянул в мою сторону, я еще крепче сжала скрещенные на коленях руки и стала напряженно ждать. Вдруг произошло что-то непредвиденное и плохое. Билл

завалился на спину, запрокинув голову. Скотти подбежал к нему, начал тормошить и громко звать его по имени, требуя очнуться. Спустя несколько минут то же случилось и с Бойдом — он отключился, вытянувшись и завалившись на спину. Казалось, они спят, но, судя по реакции Скотти, с ними происходило что-то непредвиденное и крайне опасное. Он начал суетиться и звать кого-то. В дверях появились люди, снова исчезли, потом вернулись с пластиковыми мешками, полными льда. Скотти прикладывал лед поочередно то к груди Бойда, то его товарища, но те продолжали лежать без сознания. До меня наконец дошло, что произошла передозировка и нельзя терять ни минуты. Но что делать, я не знала. Склонившись над Бойдом и взяв его безжизненную голову в руки, я стала звать его, затем изо всех сил хлестать по щекам. Он морщился, но глаз открыть не мог. Наконец он издал какой-то звук и пошевелился. «Все, выскочили!» — пробормотал Скотти и махнул рукой в сторону лежащего Бойда. В другом углу комнаты, очевидно, то же произошло и с бедолагой Биллом — он стал подавать признаки жизни. Пока они приходили в себя, я сидела в полной тишине, стараясь ничем не выдать своего волнения и присутствия. Из темноты на меня смотрели несколько пар глаз. Фигуры наполовину застыли, каждая в своем странном положении, держа руку вверх, словно в приветствии, а в локтевом изгибе торчал шприц. Забытье… это то, чего они искали. Из «галереи» мы выбрались только утром. Мои спутники двигались заторможенно, периодически исчезая в потустороннем и буквально зависая на ходу. Приходилось постоянно ждать, возвращаться и окликать. Добравшись наконец до квартиры Бойда и оставив там обоих мужчин досматривать какой-то очень длинный сон, я бросилась прочь из его дома, с этой улицы…

К Аленке я не пошла, а, воспользовавшись ключами от квартиры Кристины, которая была в отъезде, заперлась у нее, чтобы остаться в полном одиночестве. Теперь, когда я могла расслабиться, меня охватил ужас от пережитого, я поняла, что нахожусь в шоке. Я никогда в жизни не видела людей в таком состоянии. Только теперь я поняла, что на волоске висела не только жизнь Бойда и Билла, но и моя. Кого стал бы защищать чернокожий наркоман в случае опасности? А что если бы все закончилось трагически для Бойда и Билла и я бы оказалась ненужным свидетелем? А если бы пришла полиция? Да и вообще, я сидела возле двух отключившихся парней, в окружении людей под допингом… Я позвонила Аленке и попросила не говорить никому, где я нахожусь — мне хотелось скрыться. Однако Бойд знал, где меня искать. Через несколько часов в мою дверь

позвонили. Я спросила: «Кто?» — «Это я, открой, мне надо с тобой поговорить!» — еле слышно донеслось из-за двери. Я помедлила. «Открой, я должен объясниться», — повторил он. Я открыла. Мы решили выйти на улицу. Опустившись на траву в парке, стали не спеша разговаривать. Его глаза были скрыты темными очками, а возле подбородка лиловели ссадины от моих побоев. «Как я тебя, надо же! Уж извини…» — посочувствовала я ему. «Я понял, что это ты», — потупив голову, отозвался Бойд. «Ты можешь сейчас уйти и больше никогда меня не видеть, — проговорил он наконец, — я не скажу тебе ни слова, я пойму. Но я прошу тебя, не делай этого, пожалуйста. Ты мне нужна, особенно сейчас. Я многое понял после вчерашнего». Перевернувшись на спину и взглянув на чистое голубое небо, я дала себе некоторое время на размышление, а вернее, позволила тешить себя мыслью, что могу решить и так и эдак. Свобода от обязательств и выбора, свобода от чужой судьбы и ее последствий… Я дала себе время отдохнуть перед началом настоящей войны, корриды, с чем еще это можно сравнить — вытаскивание человека из смерти? Я знала, что не в состоянии ему отказать.

Глава 59. Медея и все такое…

«Что мне сделать, чтобы ты бросил?» — задала я как-то прямой вопрос. «Ты ничего не должна и не можешь сделать. Я сам все сделаю, я знаю что…» — ответил он, оборвав мое намерение что-нибудь срочно предпринять. «Если бы я умерла — тогда бы ты бросил?» — использовала я запретный аргумент в разговоре о наркотиках. Бойду ничего не оставалось делать, как кивнуть в знак согласия. Вот уже несколько месяцев, как продолжались эти мучительные отношения. Временами все, что происходило, было смешно и весело, исполнено любви и самой потрясающей человеческой близости. Говоря же о физической нежности — ее нужно было собирать по крохам, тем сильнее и болезненнее она мной воспринималась. Нервы у Бойда были на пределе, и он часто испытывал идиосинкразию к чужому прикосновению. Сидя в гордом одиночестве, нахохлившись в уголочке своей «конуры», расположенной в центре гудящего, словно улей, Нью-Йорка, он был похож на проигравшего битву Наполеона — масштабностью обобщений. А может, на Лира — сумасшествием… или Меншикова в Березове — несуетливостью долгих мыслей. Сидел и думал воспаленным мозгом — о своих постоянных неудачах, о раненном самолюбии и о том, почему с тех пор, как его бросила Келли, он объявил войну самому себе. Он хотел гореть в одиночку, никому не жалуясь и не прося помощи. Сострадания к

себе он не допускал, не позволял даже обнять себя, так же как он сам был скуп на ласку. В его редких любовных жестах было скорее что-то приятельское, дружеское, сердечное. Проблема наркомании, как ни пытался он ее заговорить, давала себя знать во всем своем безумии. Так, однажды, глядя на подпрыгивающего на фоне звездного неба Бойда, который что-то кричал и куда-то рвался, я услышала собственную мысль — я наблюдаю самое настоящее сумасшествие!

Я много раз готова была уйти, но с ужасом понимала, что не могу этого сделать. Теперь уже и меня требовалось «снять с иглы», оторвать от наркотика под названием «любовь и забота о Бойде». Инстинкт саморазрушения всегда брал верх в моих любовных взаимоотношениях с мужчинами и во всем, что касается чувств. По-другому я не умела. Нет, я не делала это сознательно, но подсознательно многие годы только этим и занималась. Даже любить я начинала, когда видела в человеке изъян, который требовалось «починить». Теперь я понимала запомнившуюся мне цитату из «Всей королевской рати», которая звучит примерно так: женщины любят строить соты в трупе льва. Соты в трупе… обреченная на провал затея. Еще одно высказывание, на этот раз народная американская мудрость: танго не танцуют в одиночку. Иными словами: человек сам ответственен за то, что с ним происходит — он тоже танцует танго. В том, что я разрушалась, спасая Бойда, была моя вина. Я искала этого подсознательно — экспериментировала с запретным. В конце концов я испробовала и наркотик, считая, что должна приобщиться к тому знанию, которым владел он. Наркоманкой от этого я не стала. Брела, помню, по какой-то авеню домой и видела все с точки зрения Вечности… издалека, без суеты. Многие садятся на иглу, чтобы заглушить боль. Так случилось с Бойдом, когда от него ушла жена. Мне не требовалось заглушить боль. Я хотела говорить на равных… о цветах зла. При всем ужасе происходящего с ним я считала этого парня самым потрясающим человеческим существом, которое когда-либо мне пришлось встречать. Однажды я ему сказала: «Наверное, я тебе послана свыше». На что последовало ироническое: «А откуда ты знаешь, что не я — тебе?» Потом он еще долго называл меня: «женщина с миссией». Теперь я понимала, отчего «миллионерша» Келли отказала ему в деньгах — наркоманам не одалживают денег.

Как-то раз Бойд попросил меня составить ему компанию в походе в больницу. Оказалось, что он идет проведать Скотти, которому поставили диагноз — СПИД. Скотти — черный наркоман, бессемейный, уличный бродяга — кто станет

оплакивать его?

«Я обещал его проведать, к нему же больше никто не придет», — сказал мне Бойд. Они встретились в коридоре больницы — исхудавший Скотти обрадовался, как ребенок, что его пришли проведать. Я наблюдала за их беседой со стороны. Бойд подбадривал Скотти, смеялся, похлопывал по плечу. Затем попрощался и, уже стоя в лифте, пообещал прийти через три дня. «Придешь?» — оскалился Скотти в надежде. «Приду, приду, не унывай!» — прокричал напоследок мой приятель. Как только дверь лифта захлопнулась, Бойд схватился руками за голову и издал звук отчаяния: «Мне плохо! Ужас! Я же к нему больше не приду! Но не мог же я это сказать… зачем он только меня попросил? Ну зачем?» Он закрыл глаза и, мотая головой из стороны в сторону, продолжал: «Я не мог ему не пообещать! Он попросил меня забрать его при выписке, у него же нет семьи, его выпишут, только сдав кому-то на руки. Но я не могу взять к себе умирающего, у меня же нет средств ухаживать за больным и места… какой это ужас!» Мы выбежали из здания больницы и поспешили прочь. Я принялась успокаивать Бойда: «Ты сделал все правильно: и что пообещал, и что не придешь — у тебя нет выхода». А через месяц или чуть более Скотти умер.

Однажды я отправилась к Бойду через весь город в три часа ночи, буквально выскользнув из-под пристальной опеки Аленки. Она услышала, как скрипнула входная дверь, и тут же бросилась к окну — звать меня. Довольная тем, что мне удалось освободиться от заботливой подруги, я начала подъем по улице, которая вела в гору, как вдруг услышала над собой, с высоты восьмого этажа, пронзительный голос Барановой: «Ну и куда ж это ты собралась, а?» Прозвучало это совершенно неожиданно и смешно, как в заурядном московском дворе, где раньше всегда орали в форточку: «Обедать! Домой! Вернись! Ты сумку забыл! Застегнись…» и так далее. От растерянности, что меня застукали, я сделала резкое движение и свалилась… в подвал возле дома, в котором стояло старое кресло, выброшенное кем-то. Так в него и села, совершив предварительно «ход» конем, вернее сказать, «полет» — прямо и резко вправо. Это было апогеем моего женского донкихотства! Аленка, следившая за мной в окно, вдруг обнаружила мою пропажу и решила, что здесь не обошлось без полтергейста — я исчезла прямо у нее на глазах! Когда утром я вернулась домой и, не раздеваясь, села посередине комнаты в черном пальто с видом зомби, Аленка спросила: «Ну что, чувствуешь теперь себя Жанной д’Арк?» — «Да нет, скорее женой алкоголика…» — отозвалась я сорванным голосом. Подойдя к холодильнику, я извлекла початую бутылку водки, налив себе

стопку, вернулась в комнату и, снова сев, опустошила ее содержимое. Глядя в окно на встающее над городом солнце, я бросала Барановой свои «максимы и мысли»: «Мы здесь ничего не можем изменить, все попытки — утопия. Нас покупают за экзотику и за нее же продают… Надо что-то делать, — говорила я с расстановкой, — сейчас я понимаю, что дальше так продолжаться не может… я ждала Бойда и заснула прямо на пороге его квартиры… пока он не вернулся…»

Аленка, с волнением наблюдавшая за моим поведением, взволновалась не на шутку. Она взялась в который раз образумить меня, а заодно призвала исполнять свои обязанности перед маленьким питомцем — Кисой. Не забуду комичную историю, когда мы с ней понесли Кису к ветеринару. Конечно, идея принадлежала Барановой, а меня она взяла за компанию, чтобы проветриться. Придя к ветеринару, она долго с ним беседовала, задавая всякие вопросы, показывая Кису, которому сделали прививку, а я молча сидела в сторонке. Вдруг врач спрашивает, указывая на меня: «А это кто?» Аленка вздохнула и говорит: «Это, собственно, и есть мама Кисы, она сама не в лучшем состоянии, а я только помогаю, вроде мачехи!» Врач пожал плечами и выписал для Кисы какие-то рецепты. Мы вышли на улицу и направились к дому, благо было недалеко. Аленка отчитала меня, сказав, что я должна проявлять активность и заинтересованность в судьбе моего животного. Я пообещала исправиться. Так вот, мы идем — она впереди с Кисой на руках, а я плетусь в нескольких метрах сзади. Навстречу идет какая-то парочка. Поравнявшись с Аленой, они остановились и говорят, глядя на Кису: «Ой, какой хорошенький котик, красавец!» Затем постояли, словно он должен был им что-то на это ответить, и, ничего не дождавшись, пошли дальше. Поравнялись со мной. «Мяу!» — произнесла я звонко и очень похоже на Кису. Они прошли мимо, словно так и полагалось. А Баранова в испуге оглянулась и посмотрела на меня. «Я решила исправить впечатление», — объяснила я ей. Но она покачала головой: «Ленусик, меня серьезно волнует твое психическое состояние!» Приблизившись к гудящей от потока машин трассе, которую предстояло пересечь, я окликнула свою подругу, предложив не торопиться: «Не надо спешить, пусть проедут. Самое главное — выжить… потому что истребить пытаются уже давно!» На этот раз Аленка не смогла сдержать улыбки.

На нервной почве у меня начались какие-то загадочные боли в области живота, которые в результате привели меня в больницу. Оказалось, что это были камни в почке. Отлежавшись пару недель в палате интенсивной терапии, я стала на один

микроскопический минерал легче и выписалась, похудев вдвое. К сожалению, из-за этого я упустила возможность работы в театре. Сам Юрий Петрович Любимов готовился ставить в Вашингтоне «Преступление и наказание». Не помню, как он нашел меня, однако предложил попробоваться на Соню. Роль спасительницы Раскольникова мне тогда была очень кстати, и я готовилась — учила текст по-английски. Смотреть меня должна была Зельда Фичендлер — главный режиссер театра «Арина Стэйдж». В этот момент я как раз попала в больницу. А когда выписалась, восемь дней пролежав под капельницей без еды, — узнала, что пропустила показ и кого-то уже нашли. Я все-таки позвонила в театр и объяснила ситуацию. Мне пошли навстречу и устроили внеочередной показ. Но я была так слаба, что читала текст невыразительно и не произвела впечатления. К тому же на роль уже была утверждена актриса, мне просто оказали любезность. Я расстроилась — к отказам я не привыкла. Знакомые успокаивали меня. Американские актеры говорили: «У тебя должно быть на ближайшие дни запланировано по пять-семь показов, тогда отказ пройдет незамеченным… нам все время отказывают, мы привыкли». А другой близкий друг, Тимур Джорджадзе — бывший москвич, режиссер по образованию — наставлял: «Дорогая моя, они — великие, всё делали ради роли, ложились подо всех, спали с самим чертом, если надо, обманывали, наставляли рога, это твари, но гениальные твари! Посмотри на Лоуренса Оливье и Вивьен Ли, на всех мировых звезд… монстры, ради карьеры готовы любого продать, потому что для них это главное! А ты?» Я любила ироничного Тимура — так и не знаю, зачем он это мне говорил, наверное, от досады… на жизнь! Он был мне замечательным другом… гостеприимным, приветливым, чутким. А потом с ним случилось это несчастье. «Мне поставили диагноз — рак!» — сообщил он как-то по телефону. — Вот тебе и бабушка-долгожитель в Грузии! Мы с Эдди пришли в кабинет к врачу, специалисту по раку, сели перед ним, сидим и слушаем. Он стал ходить перед нами и рассказывать о раке так, словно речь идет о первой любви! Такой молодой, упитанный, краснощекий и говорит с интересом, жестикулируя, делая паузы, взахлеб, можно сказать — с вдохновением. А мы сидим и слушаем… я и Эдди. Потом она спрашивает его: «Доктор, что нам делать?» А он отвечает: «Ничего!» Умирая и проходя химиотерапию, он звонил мне и делился наблюдениями — как может рассказывать только театральный режиссер… с подробностями. Потом он перестал звонить. Его не стало.

После больницы и пролета с Любимовым я провела какое-то время в Вермонте, у Кевина. Он знал о моем пошатнувшемся

здоровье и предложил восстановиться на природе. «Спасает какого-то наркомана!» — объяснял он со вздохом любопытствующим друзьям. А спустя месяц я вернулась в город. Свое возвращение я ознаменовала переездом на другую квартиру, поселившись возле самого Колумбийского университета в небольшой комнатке. В своем дневнике (я завела его по примеру всех пишущих людей) я сделала запись: «Второй день в новой квартире. Как назвать ее? Анти-Бойд? Контр-Баран?» Теперь я часто печатала на машинке всякие соображения по поводу того-сего. Меня это поддерживало, а также придавало исторический, духовный смысл всему происходящему, переводя его в ментальный план:

Сердце откатилось. Остывает где-то.
В себя, как в пролет лестницы, смотрю.
Где то пальто, в которое можно носом уткнуться?
Опять ты. Собеседник с твоим лицом.
Твоим голосом отвечает.
……
Всякая точка похожа на глаз.
Красное вино — на кровь.
Нет правых и виноватых.
Есть люди, по которым ты плачешь,
С которыми смеешься и которых ты забываешь.

Прошло уже несколько недель, как я не видела Бойда, мы с ним разошлись, и оба понимали это. Я начала потихоньку набирать силы. Пошла как-то пройтись по городу, забрела в район 70-х улиц — меня туда потянуло, словно магнитом — и вдруг вижу знакомую худую фигуру. Идет ссутулившись и смотрит под ноги, потом наклоняется, что-то разглядывает на тротуаре, снова разгибается и продолжает путь, глядя вниз. Меня словно током ударило: он ищет деньги. Он заметил меня, обрадовался, спросил, куда я иду. Я сказала, что у меня есть пара свободных часов. Он попросил меня сходить с ним в кафе перекусить. Оказалось, что он давно уже не держал крошки во рту и брел по улице в поисках монет под ногами. «Даже заглянул в мусорный ящик в поисках чего-нибудь!» — сказал он. «Это что — бедность?» — почему-то спросила я его. Теперь этот вопрос кажется мне идиотским, но тогда я никак не могла понять, что именно американцы называют бедностью. «Да, бедность, — ответил Бойд, окинув меня ироничным взглядом, — и я очень хорошо знаю, что это такое!» (К слову сказать, в Америке не принято прибегать к помощи родителей, только в крайних

случаях.) Я накормила его и расспросила, что и как. Оказывается, он ушел из «Петрушки» и теперь работает в другом ресторане, типично американском, под названием «Гиглз». А в университете пишет работу. «Кстати, Элейна, — сказал он мне, — ответь — каков основной закон природы, ну-ка?» Я напряглась: «Воссоздавать!» Бойд хлопнул себя по лбу и, вынув ручку, записал это в блокнот. С того момента мы стали воссоздавать наши порванные было связи.

Прошла еще пара месяцев. Была уже зима. Наступил день, когда я решила, что забеременела. Это событие меня взволновало и обнадежило, я с трепетом сообщила о своих предположениях Бойду. Он обрадовался — в чем я и не сомневалась, так как знала, что он относится к тем мужчинам, которые хотят иметь детей. Мы договорились встретиться в кафе в семь вечера и обо всем поговорить. Придя на место свидания за полчаса, чтобы помечтать обо всем, что сулит мне новое положение, я принялась ждать, поглядывая на часы. Мое лицо светилось и губы складывались в улыбку. Но Бойд все не шел, и я начала волноваться, затем злиться, снова волноваться, и так поочередно сменялось мое отношение к отцу будущего ребенка. Просидев пару часов в одиночестве на пластиковом казенном стуле и куря сигареты одну за одной, в девять я наконец решила оторвать взгляд от окна, за которым автомобильными фарами и неоновыми огнями светилась улица. Я поднялась со стула, оплатив свои три бокала сухого и несколько чашек кофе, и пошла в направлении дома. Медея! Мне всегда хотелось ее сыграть. Самая страшная жертва, которую может принести женщина… Богу. Отказаться от детей — отказаться от жизни, бросив вызов мужчине. Нет, я ни от кого не отказалась, просто их и не стало, если они были. (Так и не знаю, было ли это моей фантазией или правдой, закончившейся фиаско на почве нервного стресса.) Бойд не пришел. Я отправилась домой и ждала там у телефона. Ночью я позвонила его другу и коллеге по новому месту работы. Тот предположил, что Бойд ушел за наркотиком. А вернее, за женщиной, которая доставала ему наркотик в тот вечер. Это была молодая девочка с кокетливым хвостиком, незадолго до того поступившая к ним работать. По словам его друга, Бойд развлекал ее своим остроумием все последние дни. Я стала собираться. Взяла песок из-под кошки, вчерашней давности — его было в самую пору выбросить, но я аккуратно высыпала в мешочек. Нашла в доме малярную кисть и масляную краску. Напечатала лаконичную записку и прихватила семейную фотографию, которую Бойд особенно любил: моя сестра, мама и я безмятежно улыбаемся фотографу. Сложив все в пакет,

отправилась по ночному Нью-Йорку к дому Бойда, на 72-ю улицу. Заболтав консьержа, проскочила в лифт и поднялась на нужный этаж. Квартира 1207. Там, остановившись, вынула кисть и краску и начала писать на двери сверху вниз крупными мазками: «Bastard!» — подонок. Затем прикрепила фотографию и записку. Высыпала из пакета на порог песок позавчерашней свежести и ушла. Инсталляция!

Ужас! Так ведут себя женщины, способные на все. А я и была в тот момент способна на все. Ночевать я отправилась к приятельнице, потому что боялась оставаться в доме одна. «Ты что? — сказала она, побледнев, после того как выслушала мою эпопею. — Тебя могут посадить за нанесение ущерба его собственности!» О том, что здесь судят за каждый неверный шаг, я и думать забыла. Н-да-а, в Америке не разгуляешься с нашими российскими страстями! Содеянное мной меня же и потрясло — я была в ужасе от своего желания мстить. Вернувшись через сутки к себе, я ответила на телефонный звонок. «Если через неделю ты все еще будешь на этой территории, тебе несдобровать. Я позвонил отцу, у него есть знакомые в Госдепартаменте, они тебя депортируют в Советский Союз!» — врал в трубку Бойд, как гадливый ребенок. Моя приятельница Нина Шевелева, знавшая по себе, как далеко заходит гнев женщины и воображение актрисы, вновь советовала: «Лучше уехать от греха подальше, в Вермонт, отдышаться… здесь тебе сейчас оставаться опасно!» Я всерьез задумалась — уехать из Нью-Йорка? Проснувшись в один из тех дней с простыней, обмотанной вокруг шеи наподобие петли, я не на шутку перепугалась: как четко работает подсознание! Как же я могла замотаться этой простыней, ума не приложу — но знак был дан вполне очевидный.

И я приняла окончательное решение. Позвонив Кевину, сказала, что если я останусь в Нью-Йорке, то я за свою жизнь не отвечаю, и попросилась какое-то время пожить у него. Он, конечно, согласился и даже выслал билет на самолет. Перед отъездом мы встретились с Бойдом. «Прости меня, я был очень зол на тебя из-за двери. Если бы я пришел чуть позже, краска бы засохла, и тогда ее ничем невозможно было бы отодрать. Я же квартиру снимаю… И за остальное, прости меня!» — говорил он в ужасе от самого себя. Я закивала головой, что все прощаю. «Я уезжаю, мне надо, я это точно поняла, вот сейчас от тебя иду звонить Кевину насчет билета, я точно иду!» — повторяла я, чтобы ни у кого, даже у меня самой, не было сомнений в том, что я это сделаю. Он вышел проводить меня, сказал, что все равно надо пройтись, купить консервы для Эзме. Дойдя до перекрестка, у которого нам надо было поворачивать в разные стороны, мы

остановились. Я встала на цыпочки, поцеловала его в щеку: «Пока! Не грусти, ведь все правильно!» Он взглянул на меня печально и ответил: «Нет, не правильно, а о'кей!» Синхронно, как по команде, мы развернулись и пошли в разные стороны. Через несколько шагов я оглянулась — его задумчивая фигура удалялась вдоль тротуара, как вдруг его плечи дернулись и опустились вниз, словно на них упал тяжелый груз. Отведя глаза, я рванулась к первой попавшейся телефонной будке. «Вылетаю, встречай!» — кричала я Кевину в трубку. После чего отправилась в аэропорт, села на самолет и улетела.

Глава 60. Аспен

В мае в доме Кевина в Мидлбери раздался звонок. Я сняла трубку. Человек говорил по-русски и предлагал мне принять участие в создании спектакля по пьесе Чехова. Это был Лева Вайнштейн, с которым я до сих пор не была знакома, — актер, известный зрителю еще мальчиком по роли в фильме «Республика Шкид», по работе в театре «Современник», последователь и ученик Анатолия Васильевича Эфроса, сменивший впоследствии профессию актера на режиссуру. Так вот, он однажды взял и уехал жить в Америку. Говорят, первые годы он страшно бедствовал, работал кем угодно, даже открывал дверь, будучи швейцаром, пока не получил предложение переехать в Вашингтон и стать радиожурналистом. Тогда его жизнь наконец вошла в колею — интеллектуальный труд, относительное благополучие. Однако Лева был человеком талантливым и по призванию принадлежал театру. Оттого, видимо, и организовал в Вашингтоне актерскую студию. Теперь он нашел возможность поставить пьесу Чехова «Дядя Ваня» в летнем театре города Аспена, в штате Колорадо. Мне он предложил сыграть Соню. Я поблагодарила и сказала, что подумаю.

За эти месяцы в Мидлбери я освоилась и наладила свой режим. Работала официанткой в мексиканском ресторане «Амигос». Работа была шумной, особенно когда по вечерам приходили студенты и пили пиво огромными пол-литровыми кружками. Поднять такой поднос, с заказом на семь человек, невозможно без предварительной подготовки. Однажды я вылила-таки все содержимое подноса на пиджак одного розовощекого бейсболиста в кепке… Весь стол смерил меня надменным взглядом, парень — жертва моей нелепости — многозначительно поднял бровь, затем хихикнул и потребовал другую порцию… и все. Но больше всего страдали мои уши — студенты, пришедшие пить пиво, орут так, как никто другой нигде в мире. В свободное от «Амигос» время я печатала на машинке всякие мысли и стихи по-русски и по-английски, считая, что работа официантки помогает наблюдать за обществом, в котором я живу, и отвлекает от тяжелых настроений. И вдруг это предложение — ехать в Аспен! «Что такое Аспен?» — спрашивала я американцев. «Городишко маленький, но симпатичный!» — говорили все. Такой ответ звучал неубедительно. К тому же мне показалось, что роль Сони — это что-то стойкое, но заунывное. И я решила никуда не ехать. Лева перезвонил через пару недель. Я начала канючить:

«Да я как-то не очень представляю себе Соню, вроде это не мое…» Я почти было отказалась, как вдруг он говорит: «Вы перечитайте, там у нее монолог в конце — это же истерика, надрыв!» Я поколебалась, решила перечитать, договорившись, что перезвоню и дам окончательный ответ через пару часов. А через неделю я летела в штат Колорадо и, глядя из иллюминатора на горные хребты, думала, что была бы самой настоящей дурой, откажись я от поездки, — такую красоту бы пропустила, не говоря уже о Сонином гениальном монологе.

Кроме меня, все остальные актеры должны были быть американцами, и играть надо было по-английски. Я принялась зубрить текст. Обнаружила, что с произнесением некоторых слов у меня большая проблема. Чуть поплоще вылетает из моих уст звук «Э» или «И» — сразу меняется смысл текста. Пришлось заняться дикцией с актером, исполнявшим роль Серебрякова. Выходили с ним на пленэр, залегали в высокой траве — подальше от посторонних — и издавали всякие странные звуки. Однажды он проникся ко мне особым трепетом и попытался поухаживать, но я резко его оборвала, впрочем, без злорадства: разморило человека, с кем не бывает. Дикцию он мне все-таки поставил, правда, были звуки и слова, непреодолимые для русского горла. Особенный хохот у всех вызывало то, как я произносила слово «счастье» и все его производные. У меня никак не получалось открыть рот должным образом, и дело тут не во мне, а в том, что у русских нет такого широкого звука, и это движение челюстью нам кажется противоестественным. А слова Сони в финальном монологе: «Что же делать, надо жить» — я произносила так, что слышалось: «Надо уезжать!» Если учесть, что по сюжету пьесы это происходит сразу после отъезда Елены Андреевны, Серебрякова да и самого Астрова, то смысл таких слов, произносимых Соней, прямо противоположен тому, что написано у Чехова: она призывает дядю Ваню терпеть и продолжать жить, как живут. И вся эта путаница происходила из-за звука «и» в слове «live» (жить) — он никак не получался у меня коротким, и звучало «leave» (уезжать). Со своей стороны, я много иронизировала над американцами, когда актеры спрашивали о своих персонажах: «Нет, ну все-таки, отчего они все так расстроены, ведь ничего особенного не происходит?» Русская хандра без явно выраженного повода им была напрочь непонятна. Правда, я сама в страхе думала, что ставить «Дядю Ваню» в городе Аспен, летом… для этого нужна особая дерзость.

Аспен, что в переводе означает «осина», был знаменит как горнолыжный курорт. Здесь отдыхали и жили круглый год многие голливудские знаменитости. Климат даже летом совмещал в себе

все четыре времени года — на горизонте всегда белели вершинами горы, и это также привлекало сюда туристов и любителей спорта. Днем все разъезжали по трассам на велосипедах, играли в теннис, плавали или лазили по горам, а ночью — подрывали полученное за день здоровье в барах и ночных клубах. Находился город на высоте двух или более тысяч метров над уровнем океана, и это тоже придавало ему особый колорит — полбокала вина действовали, как два, дышать поначалу было сложно, зато когда привыкаешь — это чистейший нектар, да и вообще все физиологические процессы здесь происходили в ускоренном темпе. В то лето 1987 года все говорили о предстоящем в августе параде планет или гармоничном совмещении планет: harmonic convergence. В связи с этим сюда съезжались все последователи системы Новой Эпохи (New Age), верующие в то, что на Земле наступает Эра Водолея, а люди, собравшиеся в Аспене — в такой благоприятной в энергетическом отношении точке — будут осенены благодатью. Именно здесь построили (или еще строят) Центр парапсихологии и аномальных явлений, чему активно способствовала любительница эзотерики Ширли Мак Лейн. Одним словом, Колорадо — штат особый, впрочем, как любое место, где есть горы.

«Колорадо, мое Колорадо, мой дружок, старина Карабин!..» — пел в школе мой одноклассник Сашка. А я вот попала сюда, ну и повезло же мне! Да и Леве тоже… Он шел на репетицию, поднимаясь по крутой улице медленными шажками, и, когда доходил до тента, в котором мы репетировали и играли, долго стоял, чтобы отдышаться. «Легкие замучили!» — говорил курильщик Вайнштейн. (На самом деле он уже тогда был болен неизлечимой болезнью, о чем я никак не могла знать.) Лева мне напоминал типично чеховского персонажа, если не главных действующих лиц его пьес, то по крайней мере героя рассказов: добряк, брюзга, рассеянный одиночка в помятом пиджаке, книжный червь. Вообще в его мизантропии было что-то лермонтовское… Соленый, одним словом, а может, состарившийся Треплев? Лева ставил спектакль памяти Анатолия Васильевича Эфроса — так и обозначили на афише и в программке. Я была рада такому поводу отдать дань замечательному режиссеру и добрейшему человеку. Мне досаждали слухи, которые поползли после его смерти и доползли до Вермонта — мол, не должен был занимать место Любимова на Таганке, и якобы гнев актеров был оправдан.

Я знала, что Моцарт не может стать Сальери, оттого

воспринимала подобные разговоры однозначно. Даже написала в русскоязычную газету «Панорама» статью, посвященную Эфросу, называлась она «В поисках автора». Кстати сказать, Анатолия Васильевича знали на Западе как режиссера — книги его продавались в театральных магазинах, и студенты-актеры о них говорили, меня это и удивило, и порадовало.

Итак, я играла Соню, а на роль Елены Андреевны пришлось устраивать конкурс. В комиссии были я, Лева и актер, исполнявший Серебрякова. Мы сошлись во мнении, что стройная белокурая девушка по имени Сара Пратер (как выяснилось, один из ее дедов был из России) подходит для чеховской героини. Она была очень трогательна и восторженна, хоть и не столь профессиональна, как соперничающая с ней красивая брюнетка. Когда Саре сообщили о том, что роль досталась ей, она долго восклицала, обхватив свою голову руками: «Сейчас решилась моя судьба, вы не представляете, что вы для меня сделали, я вас обожаю!» Она имела в виду, что с этого момента определилась в своем решении посвятить себя актерской профессии. Вообще, судить о профессионализме работавших над спектаклем людей достаточно сложно. Многие не имели дипломов об окончании актерской школы. Был здесь писатель — исполнитель роли дяди Вани, был, конечно, и профессиональный актер — Астров, а также педагог-режиссер в роли Серебрякова. В Америке многие люди занимаются театром параллельно с чем-то другим — скажем, содержат магазин, пекарню или работают в офисе, пишут, строят, а временами и играют. Исключение составляют известные актеры, которых кормит профессия, или «столичные» из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса — там они в основном официанты, члены актерской гильдии и приехали в город ради будущей карьеры. Дипломы здесь немного значат — это бумага со штампом, за которой может скрываться кто угодно. Мне также запомнилась наша художница по костюмам, с экзотическим псевдонимом Франки Стайнц (от Франкенштейна). Франки была самой что ни на есть передовой авангардисткой, и ее вид не мог не шокировать. У нее были черные крашеные волосы, такая же помада на губах, синий лак на ногтях и характер милейшей улыбчивой женщины, скучающей в браке. Вот такая компания и работала над нашим самым-самым что ни на есть родным Антоном Павловичем Чеховым.

Вообще я чувствовала, что город Аспен и вся эта история мне посланы как манна небесная для телесного и духовного возрождения. По утрам я совершала пробежки, затем после завтрака садилась за текст. Сара и ее друзья неоднократно приглашали меня сходить вместе на ланч в какой-нибудь ресторан и наконец попробовать «яйца по-бенедиктински» с

бокалом «кровавой Мэри», но я была стойкой девушкой и отказывалась. Пока спектакль не был выпущен, я боялась тратить энергию на общение. Доля фанатизма, конечно, присутствовала в моем отношении к профессии, но без него вообще трудно представить себе русскую женщину, играющую чеховскую Соню на английском, под тентом, где-то в горах Америки для заезжих иностранцев и отдыхающих.

В день премьерного спектакля была плохая погода — собирались тучи, дул ветер и слышались раскаты грома. Но на наше счастье, к семи часам вечера собрался зритель, и спектакль начался. В задних рядах сидела пресса и фотографы, а на передних — американские туристы, многие из них в шортах. Удивительное дело, но языковой барьер я преодолела в первые же минуты — зрители очень внимательно меня слушали, и я чувствовала, что все понимали. А уж когда они начали всхлипывать, я торжествовала — и этих проняло! Миновав все трудные места, сказав слово «счастье» по-английски так, чтоб ни у одного американца не оставалось сомнений, о чем идет речь, я приближалась к финальному монологу Сони. Вдруг тент стало качать от сильного ветра, грянул гром, и началась самая настоящая гроза — капли дождя забарабанили по стенкам и крыше, зал погрузился в тревожную темноту. Я как раз произнесла первые слова финального монолога: «Что же делать, надо жить!» Стенки тента накренились, и что-то хрустнуло поблизости, заглушая мой голос, я стала произносить текст громче и громче, а потом уже кричала во весь голос: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую…» Лева, находившийся в зале прямо напротив сцены, утирал набежавшие слезы. «Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь… Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди… Мы отдохнем… Мы отдохнем! Мы отдохнем!» Проорав последние слова остолбеневшим зрителям, я побежала вон со сцены, ознаменовав тем самым конец спектакля. «Мадемуазель тражедьен! — обратился ко мне с французским акцентом зашедший за кулисы толстяк-зритель. — Вы были превосходны!» Он поцеловал мне ручку, затем протянул нам с Сарой свою визитку: «Президент института иммунологии, штат Калифорния, город Санта-Барбара». Мы поблагодарили импозантного толстяка за теплые слова. «Приглашаю всех в ресторан, угощаю! А дам могу подвезти на своей машине!» — обратился он к актерам, подоспевшему Леве Вайнштейну и Франки Стайнц. Настроение у

всех было прекрасное, и мы приняли это меценатство не раздумывая, тем более что надо было где-то срочно укрыться от дождя. Премьера состоялась!

После первого спектакля я расслабилась, начала обозревать окрестности и развлекаться с Сарой и ее друзьями, которые проводили здесь летние каникулы. Сара была родом из Калифорнии, закончила школу в Вермонте, а в Аспен приехала за компанию, просто отдохнуть. Ее друзья — молодой человек по имени Тод и девушка Кэролайн — снимали вместе с Сарой трехкомнатную квартиру в коттедже и были знакомы с ней еще с детства. Тод был студентом медицинского факультета в Бостоне, собирался стать психиатром, а Кэролайн сочиняла какие-то рассказы, но кем быть, еще не знала. Ее отличала странная рассеянность, выражавшаяся в том, что на своей огромной кровати она оставляла всякие тряпки, одежду, книги и даже обувь. С каждым днем вещей становилось все больше, и она их не убирала. А под подушкой она держала маленького игрушечного мишку с отбитым носом. В магазин она не ходила, только каждый день собиралась пойти, поэтому питалась тем, что уже лежало в холодильнике. Это раздражало ее друзей. Они повесили на холодильнике надпись: «Кэролайн, это не для тебя», что мне показалось жестоким. Но ребята объясняли, что иначе она никогда не повзрослеет. Тод и Сара пытались перевоспитывать Кэролайн, считая ее психическое состояние опасным в первую очередь для нее самой. Тод, вооруженный профессиональным знанием, аккуратно подталкивал Кэролайн к освобождению от комплексов. Мне было любопытно наблюдать повторяющиеся проблемы американских молодых людей — в коллективе, в семье, с самими собой. В России многое из того, что здесь считалось «проблемой», сошло бы за особенность русской души, своеобразие и что-то вроде: ну, оставь человека, если ему так нравится! И это в лучшем случае. Вряд ли кому-либо пришло в голову оказывать человеку психологическую помощь. Скорее приняли бы сразу за сумасшедшего, а чаще всего — плюнули бы: нам какое дело? Дай Бог, если теперь по-другому.

Они все — Сара, Тод и Кэролайн — были на десять лет моложе меня, впрочем, мы подружились и разницу в возрасте не замечали. В один из тех дней прилетел Кевин и приобщился к моей новой компании. Даже написал какую-то балладу в стихах, которая привела всех в восторг — про то, как везли Лену в продуктовой коляске, украденной из супермаркета, вверх на гору — сама она уже не шла. А Сара Пратер тем временем спрягала иностранные глаголы и пыталась выучить язык своих предков — русский. Ей вторили Тод и Кэролайн. А Кевин — американский

славист, преподаватель русского языка и литературы — давал им на пробу русский мат и просил кричать заученные фразы на весь город. Они это делали, не понимая смысла. И когда Лена и Кевин хохотали, те спрашивали, что значит «йе-пать». Точно так же потешались надо мной американцы в школе Мидлбери, заставляя произносить слова, скабрезный смысл которых был мне неведом. Это действительно очень смешно — видеть, как человек с невинным лицом старательно выговаривает черт-те что.

Мы сходили с ума, постоянно валяя дурака и веря в то, что, оказавшись вместе во время парада планет, мы будем отмечены каким-то добрым знаком: переменой жизни и силой. Мне, правда, не верилось, что жизнь нас не разведет. Я вздыхала и с горечью говорила: «Мы все разъедемся в разные стороны и больше не увидимся. Как всегда, я уже привыкла. Вы забудете меня, а я вас…» На что ребята поклялись мне, что мы будем часто видеться, звонить и дружить. Мне было приятно их рвение, но я сама не знала, где окажусь после Аспена — я очень серьезно подумывала о возвращении в Москву, а тогда и подавно все друг друга позабудут. В конце лета Сара возвращалась в Нью-Йорк с желанием найти агента и всерьез заняться карьерой актрисы. Тод ехал в Бостон заканчивать медицинскую аспирантуру в Гарвардском университете, а Кэролайн решила немного пожить в Аспене, не зная пока, чем заняться дальше — домой, под опеку родителей, ей ехать не хотелось. Сара убеждала и меня не возвращаться сразу в Россию, а пожить в Нью-Йорке, дать себе еще один шанс, поискать работу актрисы. «Если я кого-нибудь представляю добившимся успеха здесь, в Америке, так это тебя!» — постоянно говорила она мне. Мы все время друг друга поддерживали, говоря положительные вещи и внушая оптимизм. «Лена, что для тебя самое главное?» — спрашивала меня Сара. Я что-то ответила, уже не помню точно что. «А для меня, — продолжала она, — это бороться! Я не хочу ни в чем проигрывать, а жизнь состоит из борьбы, и это здорово! Я и с отцом разведенным борюсь против его авторитета и эгоизма, и с мамой из-за ее слабости, и со своим бой-френдом за независимость и уважение ко мне, и на работе… и теперь буду за профессию бороться». Сарины слова очень напомнили мне мою бабушку, русских революционеров, советскую идейность. Только в устах американской молодой женщины это звучало неожиданней и оттого интересней — я этому поверила. Теперь, оглядываясь назад, могу сказать, что Сара тогда своим монологом подзарядила меня на многие годы. Ведь теперь для меня так же органично сказать, что самое главное в жизни — это борьба, и в этом можно до бесконечности находить интерес. Странно, но

банальная мысль — «красота жизни в борьбе» — уже не кажется мне такой простой и банальной. Вопрос в том, как посмотреть на одно и то же понятие, все зависит оттого, в какой системе, политическом строе и на какой территории ты говоришь о «борьбе» — нагружаешь ли ты это понятие ложным идеологическим подтекстом или подлинным, экзистенциальным… Мне вдруг раскрылся его магический смысл. Может, сработал эффект Аспена?

Эта американская троица и их друзья, с которыми мне пришлось со временем познакомиться, стали моим основным человеческим тылом, превратившись на многие годы, вплоть до сегодняшнего дня, в самых близких людей, ждущих меня по ту сторону океана. Предсказание о добром знаке, которым отмечены все, посетившие Аспен тем летом, оправдалось.

Глава 61. Вивиан

Нет, бывает же такое! Идете вы, скажем, по Тверской, а вам на встречу… первая учительница! Или нет: идете вы, скажем, по ГУМу, встаете в очередь, а за вами — бывший сосед по коммуналке! А со мной вот случилось в Нью-Йорке… Подъезжаю я как-то на такси к оживленному перекрестку, собираюсь выйти и вдруг вижу, что прямо передо мной на тротуаре стоит Вивиан — жена Андрона Кончаловского. Причем в гипсе — у нее сломана нога, и она с костылями. Нет, это очень трудно представить себе без юмора. Вивиан — моя многолетняя соперница (вернее, я — ее), с которой мы жили в одном подъезде на Грузинской и ни разу не встретились лицом к лицу! Ни в лифте, ни у парадного подъезда, ни как-либо еще (история на Ленинских горах с Градским не в счет). А теперь Господь подбросил нам такую встречу — в центре Нью-Йорка. Причем я в отличном настроении, а она — со сломанной ногой. Что это значит? Ну молчу, молчу…

Вивиан — любопытная тетка, она мне всегда нравилась — экстравагантным вкусом, строгим лицом, неуживчивым характером. Помню, носилась она по Москве, как булгаковская Маргарита — одинокая, неприкаянная, гневная. Идем мы однажды с Андроном на Новый год в Дом кино — она сидит у входа на какой-то тумбе: голова повязана платком по-крестьянски, в руках сигарета, сама кутается то ли в тулуп, то ли в дубленку и ждет, что ее проведут, вроде тех девочек, что толпятся за билетиком — вот как жене режиссера порой туго приходится! Другой раз в ЦДЛ — стоит и смотрит в нашу сторону — спина прямая, глаза зеленые, и все матом, матом… потом по-французски! Неожиданно возникнет и так же неожиданно

пропадет. Как укор Андрону…

У меня никогда к ней не было претензий, а теперь и подавно, да кажется, что и у нее ко мне тоже: Кончаловский давно был с кем-то третьим. Даже наоборот — нам жуть как захотелось познакомиться. Тем более что в Америке мы обе были иностранками! Весело обнявшись и обменявшись телефонами, мы пожелали друг другу удачи, после чего она села в такси, из которого вылезла я, и укатила. А я пошла своей дорогой, поглядывая на цветастые фруктовые лавочки. Потом как-то раз она позвонила мне и пригласила в гости, сообщив заодно, что просит меня помочь ей с русским переводом. Вивиан уже несколько лет жила в Нью-Йорке, и у нее была очень симпатичная просторная квартира в центре города. Так я оказалась в ее доме. Сначала мы занимались переводами, затем разговорились об Америке и американцах. Она с большой иронией отзывалась о местных вкусах и рассказала мне об одном своем романе, высмеяв в конечном итоге и своего избранника, и его мамашу. Я тоже поделилась с ней своими делами на личном фронте. Потом она сказала, что пишет книгу — впечатления о годах, прожитых в Союзе. По-моему, она хотела ее назвать «Красная площадь». Где теперь эта книга? Жаль, если она ее так и не написала.

В какой-то момент Вивиан предложила выпить немного вина. Я согласилась. Беседа продолжалась — я пьянела, Вивиан не очень. И вдруг я обнаружила, что мы уже говорим про Андрона и про квартиру на Грузинской. Вивиан все время повторяла: «Это квартира Александры!» — имея в виду свою дочь и мою квартиру. Как все французы, она грассировала, и от этого при произнесении имени «Александра» звучало раскатистое «р». В моих ушах эхом отзывалось: «Ква-р-р-р-ти-р-р-р-а Александ-р-р-р-ы!» Я не выдержала и заплакала. Мне абсолютно нечего было возразить Вивиан, она все еще была женой Андрона, а я ею никогда не была, несмотря на то что прожила с ним столько же, если не больше, чем она. Но формально справедливость была на ее стороне. Хотя теперь все это было совершенно бессмысленно и грустно. Так же, как наша встреча выглядела насмешкой над двумя женскими судьбами — ни я, ни она уже ничего не могли изменить в своем прошлом. Потом я как-то успокоилась и ушла. Помню, она предлагала мне деньги за перевод, но я отказывалась. Она настаивала, и я согласилась, но только на половину суммы. В конце концов я решила, что она хотела мне помочь, а перевод ей был не нужен… впрочем, может, я излишне драматизировала ситуацию. Ведь для западной женщины, какой являлась Вивиан, в денежных купюрах не было никакого содержания, кроме одного — оплаты за труд. Мы продолжали общаться, и я заходила к ней

еще. Тогда мне запомнилось, как она разговаривала с цветком, который стоял у нее в кадке: полив его из баночки водой, она целовала его и гладила пальцем. Я вспомнила, что слышала от Андрона, будто Вивиан буддистка, правда, не такая крайняя, как ее мама — та якобы похоронила свою кошку на специальном кладбище, веря в реинкарнацию. «Наверное, и она верит, что цветок ее слышит», — подумала я о Вивиан. А вообще она показалась мне очень одинокой женщиной, которая гладила цветок, потому что ей нужно было кого-то любить.

Была еще одна странная история, случившаяся со мной как-то на парижской улице. Я стояла в очереди в музей Помпиду, как вдруг увидела женщину, очень похожую на Вивиан. Я обомлела от неожиданности и окрикнула ее, но та скользнула по мне взглядом и отвернулась, бормоча что-то. «Вивиан!» — снова позвала я ее, не веря, что меня обманула зрение — сходство было поразительное. Но женщина отвернулась от меня. С замирающим сердцем я стала ее рассматривать. Немного постарела, похудела, седина в волосах — впрочем, она никогда не красилась. «Не может быть, чтобы она не узнала меня, — подумала я, — ведь она смотрела прямо мне в лицо и стоит так близко!» Впрочем, в ней есть что-то странное… Я обратила внимание, что женщина постоянно бормочет какие-то слова и держит в руках какие-то значки. Мое сердце сжалось от ужаса — она сумасшедшая! «Вивиан!» — позвала я ее, решив еще раз на свой страх и риск испытать судьбу. Неужели она сошла с ума! Женщина сделала шаг, затем другой и, как-то странно двигаясь, стала удаляться от меня, пересекая площадь перед центром Жоржа Помпиду. Она временами останавливалась и поворачивалась, словно искала кого-то, и пару раз смотрела прямо на меня. В том, что она была сумасшедшей, у меня не было сомнений. Но кто она, я не могла сказать наверняка. После того как женщина исчезла из поля моего зрения, я долго пребывала в странном настроении, думая о Вивиан. Она казалась мне в то время достаточно трагической фигурой, чтобы я поверила в такой финал всех ее терзаний. Достоевщина свойственна не только русским, но и тем, кто становится жертвой российской непредсказуемости, забредая в наши широты.

Вскоре я узнала, что Вивиан в то время была совсем не в Париже. Мне просто показалось, что это она. Кто-то похожий на нее… А совсем недавно моя подруга встретила Вивиан в Каннах и рассказала, что та вышла замуж за преуспевающего французского кинематографиста, выглядит помолодевшей, похорошевшей — ни одного седого волоса. Кажется, она счастлива.

Однако моя галлюцинация, или «ошибка», была сама по себе

довольно любопытна: я невольно проиграла одну из версий ее судьбы. И возможно, тем самым «отогнала» ее.

Глава 62. Одна ночь в феврале

В Америке я стала ходить в русскую церковь. Почему же не в Москве, а только здесь? Да потому, что в советское время церковь открыто не посещали. А пока я жила здесь, в России сменился строй, и тогда все стали ходить в церковь. Приобщил меня к церкви, как ни странно, Кевин. Он еще ведь и исполнял со своим хором в школе Мидлбери русские церковные песнопения. А также по всем правилам постился и соблюдал православные праздники — отстаивал целую службу на Пасху, разговлялся и так далее. За границей чувствуешь особую необходимость в посещении русской церкви. Здесь твоя земля, твоя речь, твой воздух. Церковь заменяет тебе дом, который далеко, семью, потерянные корни. Это если объяснять все по-простому. А потом, за границей острее чувствуешь одиночество, и церковь тебя спасает.

После лета, проведенного в Аспене, я снова оказалась в Нью-Йорке. Поселилась на этот раз на Ист-сайде, как раз возле русской православной церквушки. До меня часто долетал колокольный звон, и я захаживала туда по воскресеньям. Душа моя пребывала в раздрызге. Мои терзания из-за выбора — ехать в Москву или остаться — достигли наивысшей точки. Я была просто парализована невозможностью принять решение. С тех пор я знаю, что это одна из форм ада — раздвоение в момент ответственного выбора. Никто не может дать за тебя ответ. Некоторые, выслушав твою просьбу что-нибудь посоветовать, говорят: «Я думаю, очень серьезно думаю…» Ты замираешь в надежде, что сейчас тебе скажут наконец что-то дельное, и вдруг слышишь: «…Серьезно думаю, что решить это должна только ты, и никто другой!» Теперь я знаю, что именно в такие моменты люди и обращаются к астрологам и предсказателям, если таковые оказываются рядом. Человека порой просто не хватает на то, чтобы все взвесить и понять. А вообще — надо просто ждать, когда ступор пройдет и одно из решений все-таки перетянет. В конце концов, все уже написано на небесах, в том числе и то из двух решений, которое выпадет на твою долю. Где-то уже записаны все твои ходы — именно те, а не другие, которыми ты пошел или пойдешь. Из таких «ходов» и состоит твоя жизнь. Этим она и отличается от жизни другого человека, как, впрочем, и то, из чего приходится выбирать только тебе. Я часто думала: можно ли было сделать другой шаг — выйти замуж в восемнадцать лет, родить, не поступать в «Щуку», как меня кое-кто уговаривал?

Можно ли было, играя в «Романсе», не заводить роман с влюбленным в меня Кончаловским или после картины — не продолжать отношений, сделав уступку общественному мнению, если оно существовало? Может, стоило не брать диплом актрисы и не идти работать в театр, как предлагал Андрон? Может, разойдясь с ним, стоило сразу влюбиться в одного из актеров и выйти замуж? Может, не надо было уезжать в США, а продолжать работать у Эфроса или Волчек? Дослужиться до звания? Рассказывала бы тогда прессе про свои сыгранные шестьдесят ролей, а не сорок. Ведь все это было возможно, я просто не выбрала такое решение в каждом отдельном случае, так? Увы, не так. Все это намного сложнее, чем кажется. Здесь задействованы не только твоя воля и мозги — в этом я абсолютно убеждена, — а все-таки предопределение. Не выбрала, потому что не могла и не должна была выбрать ничего, кроме того, что смогла. Вся вселенная работала так, чтобы в данный момент времени я была в состоянии сделать только одно, а не другое. Я, конечно, не говорю обо всех вообще ситуациях в жизни. Я говорю о тех моментах, когда ты действительно решаешь что-то окончательно. И ты даже не совсем понимаешь, почему отказываешься от одного пути в пользу другого. Тебя словно что-то толкает туда, а в другом направлении, наоборот, стенка. Я не говорю также о нашей воле, которая и должна быть задействована в разумной жизни взрослого человека, — о нравственности, морали, этике, о целесообразности, о вере… Ко всему этому мы должны стремиться. Но именно потому должны стремиться, что встречаем очень большое сопротивление иррационального фактора, а также предопределения или того, что от нас не зависит и не поддается нашему разуму, воле и здравому смыслу. И еще потому, что иногда наступает полный коллапс понимания: не знаешь, как жить и что делать.

Так я размышляла, слушая в наушниках кассету модной группы «Pet Shop Boys». За окном падал январский снег, застилая тротуар улицы на Ист-сайде белой простыней. Вот уже несколько месяцев, как я жила здесь. Это была квартира родителей Алика Гольдфарба, которых он перевез наконец из Москвы. Они отсутствовали в течение шести месяцев, находясь в Вашингтоне, а я у них «поливала цветы». Вдруг что-то встревожило меня. Я сняла микрофон с одного уха и прислушалась к автоответчику: «Хай! Это Бойд. По-моему, пришло время поговорить… Мой телефон…» Я подняла трубку телефона: «Привет, Бойд, как ты?» Мы не виделись и не разговаривали уже год. Все это время он жил у родителей в Лос-Анджелесе, а вернее, под Лос-Анджелесом, в Оранж Каунти. «Я здоров. Очень хочу приехать в Нью-Йорк.

Соскучился. Только вот денег не дают родители, прячут, а я пока на нуле». Я купила ему билет — туда и обратно на десять дней. Он пообещал вернуть долг при первой возможности. Мы встретились в аэропорту Кеннеди.

Опять странность — у нас обоих на шее были повязаны одинаковые шарфы: бежевые, с пятнами, как на леопардовой шкуре. Два хищника, поди ж ты!

Вспомнили свою любовь. Гуляли по улицам любимого Бойдом города. «Здесь за углом русская церковь», — объясняла я ему. Он захотел сходить на службу, сказав, что считает меня своей невестой. «А это что?» — указал он на другой дом на моей улице с табличкой «Похоронное бюро». «Здесь, значит, ты живешь, сюда ходишь молиться, а здесь будешь лежать, когда умрешь?» Черный юмор. Мы зашли в бар. Бойд заказал себе пива и стопку водки. Заиграла песня Элтона Джона «Свеча на ветру», посвященная Мэрилин Монро. Бойд стал петь вслух: «Ты горела, словно свеча на ветру, не знала, где укрыться, когда буря, снег или ветер… Одиночество — самая трудная роль, которую тебе пришлось играть… Ты, как свеча на ветру, горела, и ветер задул твое пламя…» В бар зашел старик бомж, примостился у стойки. Бойд повернулся ко мне, сказал: «Купи ему, пожалуйста, стопку водки, у меня больше денег нет». Я отрицательно покачала головой. «Ну, я прошу тебя», — настаивал Бойд. Я снова сказала: «Нет». Бойд посмотрел на меня исподлобья, затем наклонился прямо к моему носу и зашептал: «Элейна, представь, что ты очень старая и одинокая женщина, заходишь в бар… а тебе даже ста грамм никто не поставит. Неужели тебе не станет больно?»

В те дни я снова работала. И снова в ресторане, правда, поначалу менеджером. Странно, но меня при всей моей рассеянности определила на такую ответственную должность сама хозяйка, а ресторан назывался ее именем «Стефаниз». Мне приходилось и ресторан запирать, и кассу снимать. Правда, длилось это недолго: что-то я все-таки перепутала и меня вскоре попросили… очень вежливо, правда, но попросили уступить свое место какому-то бывшему актеру преклонного возраста. Он мне потом рассказывал, что начинал театральную карьеру вместе со знаменитой Глен Клоуз и что она была одержима профессией, а он — нет. Я вздохнула и уступила ему роль менеджера. А так как заработок был мне нужен, то я согласилась какое-то время поработать гардеробщицей. Подавала пальто. Да, это, надо сказать, противно. Трудно себя переломить, но возможно. Однако это очень престижно — почему-то на эту работу берут начинающих манекенщиц. Ресторан был «для богатых», так как в районе жили богатые и престарелые. Такие они медлительные,

эти богатые, ужас! Насмотрелась я всяких человеческих типов, прямо Кунсткамера какая-то. Хоть пиши сценарий фильма ужасов. Недаром у того же Бойда, который с юных лет прислуживал официантом, было стихотворение про пальцы-сардельки, которые посетители полощут в лимонной воде, что подается в фарфоровых блюдцах, и автор мечтает поджарить их под напряжением в двести двадцать вольт, чтобы они вспыхнули, словно лампочки в белых манжетах, и корячились, как щупальца. Ох как понимала я тебя тогда, Бойд Блэк! Он опять звонил бывшей жене Келли, говорил мне, что она обещала пригласить нас в гости, в свой дом в Бруклине. Но Келли дома не было, и Бойд был раздосадован. Кажется его обманули. («Она просто самая настоящая стерва и сука, которая вьет из него веревки», — говорил о Келли школьный приятель Бойда.) Неделя пребывания Бойда в Нью-Йорке была уже на исходе. Через три дня он должен был лететь назад в Калифорнию. А мы с ним все еще не сходили в церковь, и его слова о том, что я теперь считаюсь его невестой, звенели в моей голове, как хрустальный рождественский колокольчик. Двадцать второго февраля я, как обычно, закончила работу в ресторане и нетерпеливо крутилась у входа, поглядывая сквозь стеклянную дверь на спешащих прохожих, во ожидании своего друга. Он обещал зайти за мной около одиннадцати вечера. Примерно в одиннадцать тридцать я позвонила себе домой, но там никто не снял трубку. Взволнованная, я поспешила домой. Жила я не так далеко — всего минут двадцать ходьбы. Прихожу домой, открываю дверь, захожу в комнату, оглядываюсь по сторонам — пусто. Сцены, известные по кино, когда «он» все собрал и исчез, оказываются правдивыми. И в жизни это действует, как удар ножом в диафрагму: примерно так, как я имитировала на сцене «Щуки» самоубийство Джульетты. С тех пор я боюсь ножей. Так вот, он все собрал и исчез. Все свои вещи, конечно. Оставил, правда, записку… на обороте одной из моих открыток. У меня было хобби: я покупала открытки с фотографиями, они лежали на столе. На той были изображены дети, катающиеся на велосипедах. Мальчики. «Я уехал к Келли. Бойд». «Почему он выбрал именно эту открытку? — думала я. — Ведь это моя любимая, и я ему это сказала, как жестоко!»

Сначала я много курила и пила вино, причитая и ходя взад-вперед по комнате. Говорила что-то вроде: «Я не могу в это поверить, нет, я действительно не могу в это поверить…» и так далее. Потом звонила его другу, что называл Келли стервой, — он виделся с ним. Спрашивала, где Бойд. Он говорил, что Бойд улетел, так ему, по крайней мере, кажется, просто взял билет и улетел обратно. Я в это не поверила и решила, что он снова

колется. Ничего узнать наверняка я не могла, и звонить было некуда. Если Бойд хотел исчезнуть, то, как правило, он не оставлял никаких следов. Я снова ходила и охала: «Нет, я не могу в это поверить, неужели он это сделал…» Мне было плохо. Во мне начала работать какая-то сила, которая вытесняла боль и все мысли. Эта сила требовала своего проявления, вроде ответного удара или хлопка. Но такого, чтобы сразу — хлопнуло и разбилось. Мне хотелось темноты, небытия. Когда я поняла, что только это избавит от боли и мыслей, я успокоилась. Даже стала улыбаться. Напустила в ванную теплой воды. Потом стала искать острые предметы: ножницы, нож, какую-то пилку, бритву… Положила их на край ванной. Разделась и села в воду. Примерилась, как резать кожу, в каком направлении и с какой силой, вспомнила все, что слышала об этом, и снова положила острые предметы рядом. Решила сосредоточиться. Столько времени впереди, мне же некуда теперь спешить, впереди — вечность! Вот, оказывается, как это происходит… Сидишь и никуда не торопишься, рассматриваешь свою жизнь, как на ладони, чувствуя, что она только в твоих руках. Наступает абсолютная тишина и спокойствие. Я изучала пальцы своих ног, торчащие из воды — прямо как на картине Фриды Кало! Затем руки, живот, груди. Интересно, мое тело — ведь с ним тоже придется проститься? Так я сидела неизвестно сколько времени. Помню только, что я курила и стряхивала пепел в блюдце, что стояло рядом. Вдруг раздался странный звук: пи-и-и-п, пи-и-ип… Звук имел механическое происхождение и монотонно повторялся с некоторой периодичностью. Я все ждала, что он заглохнет, но он продолжал пикать. Мне стало любопытно, что это такое, и я захотела его вырубить. Я вылезла из ванны и пошла искать по квартире источник звука. На кухне — ничего, в комнате — батареи, дверной звонок, телевизор, телефон — все нормально. А звук продолжается! Я снова села в ванную, решила не обращать внимания. Нет, не могу — звук явно сбивает все мои мысли. Мне вдруг стало холодно и захотелось спать. Я зевнула раз, другой и, с трудом поднимая ноги из воды, встала на пол. Зашлепала к халату, укуталась и стала думать: «Что со мной? Я ведь чуть не вскрыла себе вены! Я сошла с ума!» Мне стало страшно от осознания своего недавнего состояния. Нечего сказать, силен бог Танатос, но и его можно заговорить!

Теперь я воспринимала все с какой-то другой точки. Я была как будто другой женщиной, не той, что сидела в ванной, полная решимости «соскочить». Я бросилась к телефону и стала набирать Тода в Бостоне. «Тод, я только что… чуть не покончила с собой!» Тод долго болтал со мной, расспрашивал. Убедившись в том, что

я сама ужасаюсь своей идее и готова просто лечь спать, он повесил трубку, пообещав перезвонить позже. Я набрала номер Аленки Барановой. У меня было желание говорить с кем-то, чтобы убедиться, что я действительно жива, что я ничего с собой не сделала. Но самое главное, что я вдруг поняла — это звук выбил меня из своего настроя, пикающий монотонный звук! А он и теперь звучит, и я по-прежнему не знаю, откуда он идет!

Спустя дня три мне позвонил из Вермонта Кевин. «Ленусик, — сказал он после того, как обменялся со мной парой-тройкой фраз, — у тебя пожарная сирена вышла из строя!» Я не поняла о чем он говорит: «Какая сирена?» Кевин продолжал: «Ну этот звук, что у тебя там пикает на фоне». Вот и все — оказывается, это пожарная сирена! Расспросив Кевина, где ее искать, и выйдя в коридор по его указаниям, я быстро обнаружила там небольшой выпуклый набалдашник под самым потолком. «Вызови кого-нибудь, пусть починят», — по-хозяйски распорядился он. Итак, Кевин, мой бывший муж — ангел. Когда нужно дать ответ на поставленный вопрос, он его дает. Именно он определил, что это за звук. Если бы он только знал, какая роль была отведена этому звуку! И наверное, шестым чувством он знал.

Но сирена… что-то это напоминает… Я задумалась и вспомнила. Лето 1985-го. Париж. Я пишу белый стих о самоубийстве. И там есть строчки о сирене.

Теперь 1988-й. Предсказание? Вот это стихотворение:

Лежа на постели в воскресенье
и слушая дыхание французского двора,
что равноценно лежанию в пустыне
в любой другой день недели,
я думаю о средствах самоубийства.
Времени много для обдумывания,
а кругом звенящая тишина.
Тело лениво, рыхло, ненужно, больно.
А для самоубийства тоже должно быть многое

подготовлено.
(Во-первых, надо встать с постели, пойти, открыть,

достать…
Во-вторых… что?)
Нужен особый час и особая расстановка героев на сцене.
Во всем ритуал. Обряд. Порядок.
Ах, и это надо режиссировать.

Вот мне, например, мешает сосед.
Он дышит в соседней комнате. Чем озабочен?
Не знает, что план созревает в моей голове: соскочить.
Нажать на все кнопки звонков и вызвать сирену.
Сосед не знает, что за стенкой сейчас
обдумывается шекспировская концовка.
Реквизит, мизансцена… еще и зрители.
А тут все жанры сразу абсурд, фарс, комедия.
Вот почему так трудно человеку со вкусом,
вписать нож и кровь и слово «любовь»
в серый день, попахивающий жареным маслом
и случайно подобранной мебелью.
Даже если место действия — Париж, лето 85.
Вы любите театр… или самоубийство?

Глава 63. Солнце — это в Голливуде

Я взяла билет на самолет и полетела в Лос-Анджелес. Вызвал меня туда Кончаловский. Перед этим я позвонила ему, сказала, что нахожусь в тяжелом моральном состоянии, чуть не наложила на себя руки и хочу на время уехать из города. Но прежде я должна расплатиться с долгами за квартиру, телефон и так далее. Он пригласил меня пожить у него месяц, отойти от всего на солнышке и заодно подзаработать в массовке на съемках «Гомера и Эдди». Клево! Я — и в массовке… Но когда нужны деньги, то все равно. А тем более в моем тогдашнем состоянии.

Я сижу на диване в его красивом доме, а он куда-то собирается с какой-то американкой — его монтажером. Увидев, что я уставилась в одну точку, он бросает в меня апельсин, хочет рассмешить. Но смешит меня другое. Анекдот — я сижу и смотрю, как Андрон и его дама уходят на прогулку. А я вроде из другого поколения, эдакая старушенция, так как мне не до романтизма. Он наоборот — весь приподнят, прямо летит куда-то в ночь! А я немного больна, коли недавно хотела… ну да ладно об этом.

На другой день мы с Андроном гуляем по горам, и он говорит: «Ты считала, сколько раз в жизни ты любила?» Я не знаю, как ответить. Тогда он продолжает: «А я — пятнадцать!» Я начинаю хохотать: «Сколько-сколько? Пятнадцать — это ужасно много!» Андрон аргументирует: «Совсем не много. Это за всю-то жизнь?» Затем, помолчав, добавляет: «Но сильно любил — три раза». Я мысленно гадаю: первая жена — балерина, Маша Мериль, Лив… Или нет: Наташа, я, Лив? Да нет… Меня распирает

любопытство спросить, кто эти три женщины, но я молчу. На съемочной площадке Андрон знакомит меня с Вупи Голдберг. У нее очень умные глаза, внимательный взгляд, и она проста в обращении. Оттого, что я белая, а она черная, я чувствую некоторое преимущество — у нее больше комплексов, которые требовалось преодолеть. Но она звезда, а я сейчас снимаюсь в массовке. Так что преимущество на ее стороне. Мне кажется, мы обе это чувствуем — все наши «за» и «против» — и оттого можем держаться на равных. Андрон обращается ко мне при Вупи: «Леночка, Вупи дарит тебе тысячу долларов, чтобы ты вступила в актерскую гильдию. Сейчас Вупи делает тебе этот жест дружбы, а ты, когда разбогатеешь, подаришь тысячу долларов кому-нибудь, кто будет в этом нуждаться». Произносящий эти слова Андрон напоминает пастора. А Вупи смотрит на меня с пониманием, ей нравится помогать и делать щедрые жесты. «Неизвестно, когда я смогу сделать такой же подарок тому, кто в нем нуждается», — думаю про себя и пытаюсь понять, как между Андроном и Вупи произошла вся эта история с тысячей баксов.

В Лос-Анджелесе я попала к предсказательнице, или, как их здесь называют, «сайкик». Я предварительно справилась насчет нее — она гадала чуть ли не самой Йоко Оно, жене Джона Леннона. Имеет диплом по психологии, раскладывает карты Таро, а также обладает природным даром ясновидения. Заодно здорово рисует. Зовут ее Джулия. «Твоя бабушка готова уйти, — говорит она мне. — Как скоро, не могу сказать, в течение года. А тебя я вижу на острове. Все хорошо, и ты улыбаешься. Наверное, это будет связано с работой». — «Где я буду жить, здесь, в Нью-Йорке, в Москве?» — спрашиваю я ее. «Везде, и там, и здесь, и в Европе». Я не верю своим ушам, но спрашиваю дальше: «А чем я буду заниматься?» — «Тем же — играть в театре, в кино», — отвечает она, вызывая у меня удивление, мне странно в это поверить. «Но у тебя еще есть таланты в искусстве, и они разовьются, будешь делать что-то еще… Писать и что-то еще…» Я хохочу, не веря, что смогу писать или… что там еще у меня разовьется?

Месяц моего пребывания у Андрона истек. Он собирается уезжать на Восточное побережье по делам. Но я еще не готова оторваться от солнца, которое явно идет мне на пользу, и решаю остаться в Калифорнии. Меня приглашает погостить семья Сусловых. Миша — давнишний приятель родителей. С 1975 года он живет в Калифорнии и работает в Голливуде оператором. У него, Иры и их сына Димки — большой дом за городом. Я принимаю приглашение и переезжаю к ним, где чувствую себя как в родном доме.

Перед тем как улететь, Андрон оставляет мне телефоны

разных агентов и продюсеров, чтобы я звонила и искала работу. Я так и делаю. Мне назначает встречу президент компании «Кингз Роуд». Я прихожу к нему в кабинет. Он смотрит на меня, умиляясь, словно я маленькая фея. После первого визита он назначает еще одну встречу. Этот сутулый человек в очках с толстыми стеклами, кажется, влюбился в меня. Он предлагает поужинать вместе в ресторане, затем приглашает к себе домой. Начинает всячески ухаживать, а заодно обнадеживает насчет работы в кино. Звонит Андрон, спрашивает, как дела, как встречи с продюсерами. Я говорю, что хожу по ресторанам с Джоном Филдманом — кажется, так его звали. Андрон чертыхается и кричит в трубку: «Скажи, чтоб дал тебе роль в фильме, а не ухаживал за тобой! Старый пердун!» Джону я так не говорю, однако не понимаю точно, как себя с ним вести. На уик-энд он приглашает меня за город, в какой-то клуб, членом которого он состоит, — типа американского дома отдыха для богатых. Поездка на два дня, с ночевкой. Он говорит, что в номере будет две спальни. Я долго колеблюсь, но в итоге соглашаюсь, намереваясь перехитрить влюбленного дядьку. На отдыхе он играет в гольф и рассказывает о себе. Показывает дневник — тонкая тетрадочка, в которую он записывает все свои чувства и настроения. Так ему посоветовал психоаналитик. Я смотрю на него, и мне смешно и жалко его одновременно. Типично американская проблема богатых людей, достигших вершины своей карьеры, особенно это касается боссов — начальников. Они не умеют выражать свои чувства. Неразвитость чувств, которые подавлялись все то время, что эти люди строили себе карьеру, теперь, когда они на вершине власти, составляет их моральное уродство. Тогда эмоции им мешали, теперь они изучают их как некую драгоценность. Вечером, перед ужином, Джон предлагает мне посмотреть новые фильмы на видео. Он вынимает из портфеля штук десять кассет и ставит их возле телевизора стопкой. Нет, это не для развлечения, это его работа: фильмы режиссеров-дебютантов. Джон должен решить, кому из них давать большую постановку, а кому — нет. Где-то на просмотре второго фильма он засыпает. Фильм сумбурен, я с трудом пытаюсь вникнуть в смысл действия. Когда Джон просыпается, спрашивает меня: «Ну что, какой из них лучше?» Я говорю свое мнение. Он откладывает названные мной кассеты в сторонку. «Хорошо, что ты мне помогла, а то все пересмотреть в одиночку очень тяжело», — заключает он напоследок. Ночью Джон надеется на какую-то близость, намекает и делает пассы. Я говорю ему, что переела шоколадных конфет и у меня болит живот. Мы засыпаем в разных комнатах. На следующий день он везет меня обратно к Сусловым.

По дороге, прервав долгое ледяное молчание, он говорит: «Вы с Андроном странные люди… Вы — русские мистики!» Я молчу и внимательно его слушаю. Он продолжает задумчиво: «Таких избалованных людей, как вы двое, я не встречал!» Меня поразила его проницательность и глубина мысли. Больше я его не видела.

Набравшись сил в Лос-Анджелесе, я решаю вернуться. Сначала в Нью-Йорк — заработать немного денег, затем лететь в Москву.

Глава 64. Борщ и «кровавая Мэри»

Побывав на днях на открытии первого кино-ресторана в Москве, я задумалась: странно, но кино и ресторанный бизнес что-то все-таки связывает! Про себя я шутила, мол, приобрела профессию актрисы, а в Америке все в ресторанах работала, чем же мое образование так способствовало продвижению в сфере обслуживания? А тут мне хозяин только что открывшегося заведения и говорит: «Я закончил режиссерские курсы, у Андрея Смирнова лекции слушал, а вот теперь ресторан открыл, „Родченко“…»

Я сижу в полутьме, потягиваю из бокала шампанское, кругом оживленно, играет музыка, и я пытаюсь вникнуть в особенную атмосферу клубного праздника. За моей спиной — экран, на экране фильм «Большая жратва», а передо мной в центре зала — пляшет женщина шеф-повар (торжественная часть уже закончилась). Она одета в брючный костюм и бабочку, на голове — шапка темных кудрей, еще бы усики подрисовать — и превратилась бы в Чаплина. А танцует хорошо, вдохновенно, самое главное — исполнена любви и одержима сложным рисунком импровизации. «Ты знаешь, — шепчу я на ухо своей приятельнице Ленке Поляковой, — люди, работающие на кухне, повара, все ужасно колоритные и эмоциональные, для этой работы нужен определенный характер!» Да, вот уж где артисты, так артисты, и типажи для сценария, ей-богу! Вот где искать характеры и сюжеты: в такси, парикмахерских и ресторанах.

В сфере обслуживания — это модель общества в миниатюре — один служит, другой принимает его заботу и отдает «приказания», руководит. Так и в любви, и в театре! Актер тоже служит, а зритель, развалившийся в кресле, «заказывает», а потом оценивает, дегустирует. Но тот, кто подчиняется, в конечном итоге всегда издевается над хозяином — это закон, хотя хозяин уверен, что все наоборот. (Тот же Ингмар Бергман пишет, что в труппе рано или поздно начинает расти скрытый антагонизм по отношению к главному режиссеру — низы начинают испытывать

ярость к тому, кто сверху.) Распределение ролей — как обойтись без этого? Повсюду скрытый садомазохизм и игра в «хозяина» и «раба». А вообще Питер Гринуэй уже снял фильм про современное человечество за длинным ресторанным столом. Ресторан и кухня — метафора, отражающая животное или инстинктивное состояние общества и цивилизации. Гастрономические переживания, торжественный ритуал приема пищи, разделывание тушек — тоже метафора. Каннибализм и веселенькая попытка из него выскочить. Любовь как желание съесть или быть съеденным. А потом претензия: «За что ты меня съел?» Кстати, «Тайная вечеря» тоже происходит за столом, почему-то не лежа в саду, или у моря, или в пути, а именно за трапезой — может неспроста? За столом едят, пьют, за ним пишут, на него кладут… и за ним поминают. Сцена — тоже стол, в символическом смысле. И экран и кровать — тоже белый квадрат, а вернее, прямоугольник.

«Хочешь раскрою тайну? Бифштекс с кровью младенчески весел. Стол заготовлен на горизонте. А в горле полощется несколько песен», — мой ответ на поставленную проблему. Правда, когда-то я написала это по-английски, а теперь вот попыталась адекватно перевести. На тему «ресторан как человеческий театр» я могу добавить еще кое-что.

Лето 1988-го, после поездки в Лос-Анджелес. Идем мы с Аленой Барановой по Бродвею, проходим мимо русского ресторана «Самовар». Давай, думаем, зайдем! Так и сделали. Встретил нас менеджер Толя, усадил, накормил, а когда мы собрались уходить, сказал мне: «Лен, приходи работать, нам официантки нужны». Я усмехнулась, поблагодарила толстого и добродушного Толю за такое неожиданное предложение и пошла с Барановой дальше по Бродвею. Идем и смеемся: ну Толя удружил, наивная душа! Коренева — официантка в русском ресторане, на радость приезжей из Союза публике. Нет, ну я понимаю, где-то там у американцев, где меня никто не знает, а тут все свои. По крайней мере половина посетителей ресторана — приезжие актеры, писатели, министры, шахматисты, спортсмены, шпионы, кагебешники и все-все, кто урвал если не путевку, то командировку в свободный мир. Невозможно подставиться больше, чем ходить перед ними с подносом. Я посмеялась над Толиным предложением и забыла о нем. А ночью снова вспомнила. Лежу, ворочаюсь на кровати и вдруг ловлю себя на мысли: это тебе вызов — слабо пойти работать именно туда? Потому что пока я размышляю, кто как на меня посмотрит и что подумает, мне на самом деле надо жить и выживать. И пока я не заглушу в себе этот голос общественного мнения — лживого,

трусливого и управляемого, — пока я не научусь его игнорировать, до тех пор я не освобожусь и буду проигрывать. Тем более что после того случая, когда я сидела в ванной и выбирала между жизнью и смертью, мне надо было отвлечься, окунуться во что-то механическое — чтобы забыть. Трудотерапия в чистом виде! Так я начала работать в «Самоваре» и проработала там шесть месяцев… И получила по полной программе. Юра Шерлинг приехал из Нью-Йорка в Москву и сказал мужу моей сестры, Паше, что я сошла с ума, если хожу с подносом. Даже взгляд мой ему показался особенным. Ага-а-а-а! Испугались? То-то же!

А вообще было презабавно. Доводишь свои движения до автоматизма, словно в танце, к столику, принять заказ, затем на кухню — его отдать, затем к бару — принести выпивку, затем опять в кухню — принести закуски и так далее. В перерыве стоишь и куришь. Курила я много, даже очень, но и много двигалась на ногах, и от этого мышцы стали крепкими. Зато когда вечером все схлынет и наступает тишина, возникает ощущение приятного расслабления, не зря прожитого бурного дня. И идти по ночному городу приятно — уже имеешь на него какое-то право, уже своя! Странно, но непосредственная работа с людьми и для людей приносит ощущение опыта, взрослости. Кажешься себе родителем, а посетители — детьми, капризными, злыми, крикливыми, порой сбрендившими, но детьми. Бывали случаи — просто обхохочешься.

Зашла как-то часа в три посетительница огромного роста и просит зарезервировать себе место на вечер. Продиктовала имя — Синди — и ушла. Мы все в недоумении: вроде в платье и шляпе, а говорит надтреснутым голосом, словно юноша в переходном возрасте. Дело ясное — это трансвестит. Я так близко никогда с ними не общалась, и у меня сердце в пятки ушло. Приходит Синди вечером, сменив розовое платье на лиловое, садится за столик и ждет, кто из официанток к ней подойдет. Возникла пауза — все переглядываются, никто не хочет обслуживать. Синди начала возмущаться, что никто не спешит к ней. Затем поворачивается ко мне и плаксивым тоном зовет: «Я же у вас записалась, что же вы?» Я в ужасе — у меня короткая стрижка «под мальчика», на ногах узкие брюки — рядом с Синди, которая говорит басом, я чувствую себя гибридом Маленького принца и Красной Шапочки, попавшим в лапы к гибриду Бабушки и Серого Волка. Подхожу к столику и, потеряв дар речи, смотрю на огромную руку с боксерским запястьем, затем на ногу сорок шестого размера в туфле на высоченном каблуке, и мне становится дурно. А Синди времени не теряет — глазки строит,

ресницами хлоп-хлоп! Мне начинает казаться, что я попала в фильм ужасов, и я пытаюсь как-то определить свою особь в мире мутантов, так как общение с Синди, которая кокетничает и говорит басом, напрочь стирает все обычные критерии. Наконец я не выдерживаю, бегу на кухню и прошу кого-нибудь из девочек принять заказ у Синди. Она сидит одна в пустом ресторане, в то время как мы все сгрудились в коридоре возле кухни и перешептываемся, решаем, что делать. Наконец вместо меня идут ирландки с крепкими нервами. Но вскоре Синди закатывает сцену, очень напоминающую опереточную, со слезами поднимается с места и шумно уходит. Чем-то ей не угодили. «Она» или «он» со всеми своими ужимками и прыжками оказался такой яркой пародией на женские претензии, кокетство и истерику, что я с тех пор раз и навсегда зареклась устраивать сцены мужчинам.

А теперь история про вурдалаков и оборотней. Приходит как-то на обед посетительница — престарелая дамочка в шляпке и перчатках. Села, тяжело, астматически дышит. Я подхожу к ней, кладу меню на столик, называю блюдо дня и все такое. «Суп?» — спрашиваю я ее. Она кивает утвердительно. Я перечисляю: борщ, бульон. Она поднимает на меня свои карие, немного мутные от катаракты глаза, затем делает знак пальцем, чтобы я наклонилась, и говорите расстановкой: «Только не борщ! Знаете, почему я не люблю борщ?» Я говорю, что понятия не имею, почему она не любит борщ. Она делает страшные глаза и буквально шипит: «Потому что он мне напоминает кр-р-ровь!» По моей спине побежали мурашки, но я приняла заказ. После десерта полагается спросить: «Что-нибудь выпить?» Я спрашиваю ее, и тут она с безапелляционным видом произносит: «Кровавая Мэри!» Но на этом история не закончилась. Когда дамочка-вурдалак закончила обед и стала расплачиваться кредитной карточкой, наступил апогей этой абсурдной чернухи. В графе «фамилия» значилось «Bat». Что в переводе означает «летучая мышь». А как известно, летучие мыши пьют кровь, являются символами вампиризма и перевоплощением Дракулы. Во как! Вы что-нибудь поняли? Я тоже.

Глава 65 Терапия. О Боге и Вселенной

На одной вечеринке я познакомилась с врачом-психотерапевтом. Он был приятелем моего друга по прозвищу Лимончик. Мы разговорились, и я спросила психотерапевта: «Сколько времени должно пройти, чтобы человек забыл любовную травму? Я вот уже восемь месяцев стараюсь побороть

страх перед тем, что со мной произошло — это много или мало?» Он ответил, что для кого как: для одних восемь месяцев мало, а для других и восьми дней достаточно. Он предложил меня проконсультировать, добавив, что вообще терапия требует более длительного контакта, но раз я его так прошу, то он не может мне отказать. И мы договорились на несколько сеансов. В назначенное время я пришла к нему домой, где он иногда принимал клиентов. Мне показали квартиру, в которой мое внимание привлекло множество свисающих с потолка шаров разного цвета и размера. «Это планеты, я делаю их из материала типа папье-маше, у меня есть своя система и связанная с этим символика, но это сложно объяснить, — сказал улыбающийся терапевт, затем спросил: — Вам нравится?» Я не нашлась что сказать и утвердительно закивала головой: «Очень нравится!» А для пущей убедительности еще и задала пару вопросов о том, как он их делает и не падают ли они кому-нибудь на голову. Он на все вопросы ответил, я вежливо поулыбалась и села на диван. Наша сессия началась. Терапевт, которого звали каким-то польским именем, типа Ежи, принялся ходить передо мной взад-вперед, как маятник, а я рассказывала, что меня беспокоит. Говорила я много, а он мало, только изредка задавая мне вопросы. В основном свою проблему я обозначила как полную потерю критериев — хорошо-плохо, можно-нельзя, даже восприятие полов было для меня искажено — мужское и женское незаметно сливалось в одну аморфную особь. Я пожаловалась на отрицательные ассоциации и фантазии, которыми никогда прежде не страдала, что бы ни происходило в моей жизни. Когда я выговорилась, Ежи спросил меня о самоубийстве. Я изрекла мысль, которую где-то слышала: что наивысшее проявление человеческой силы — иметь возможность самому решать, быть или не быть. Первый сеанс на этом был закончен, и мы договорились о встрече через пару-тройку дней. Единственное, о чем Ежи просил меня — подумать на тему: что такое, по-моему, Бог и Вселенная. А также посоветовал провести эти дни в спокойствии и свести к минимуму общение с окружающим миром.

Полная разных ощущений после первого контакта с психотерапевтом, я пришла домой и принялась думать о том, о чем он меня просил: о Боге и Вселенной — что ему сказать в следующий раз? Вдруг зазвонил телефон. В трубке раздался радостный голос: «Ленусик, это я, Клаудио! Приехал из Вермонта на несколько дней, хочу тебя видеть!» Клаудио — в будущем замечательный актер и театральный режиссер — был жгучим бразильским красавцем, студентом школы Мидлбери, приятелем моего мужа Кевина и явно относился к людям нестандартной

ориентации. «Ленусик, пойдем куда-нибудь, я так счастлив, что вырвался из Вермонта, у меня там была жуткая депрессия!» — тараторил в трубку Клаудио, предлагая встретиться и пойти в какой-нибудь бар. Я пришла в ужас — теперь, когда мне надо сидеть дома и думать о себе и Боге, меня зовут в бар, наверняка для геев, и называется это «Спаси меня от депрессии»! Я начала отказываться, объясняя это тем, что нахожусь на консультации у терапевта и должна сидеть дома и думать кое о чем серьезном. «Умоляю, Ленусик, мне так плохо, и я здесь совсем один, я чуть не повесился от тоски и гомофобии в университете, пойдем погуляем недолго». Делать было нечего: мне стало жаль Клаудио с его бразильской неприспособленностью к холодному англосаксонскому миру. Мы встретились, где-то посидели, он рассказал о своих переживаниях и желании поскорее уехать на каникулы домой, а затем в Калифорнию. Потом мы поднялись и пошли на поиски бара. Я веселила Клаудио, старалась развлечь его и себя. Так, вприпрыжку, мы подошли к какому-то заведению, у дверей которого стоял атлетического вида мужчина, одетый в кожу и цепи. Это был охранник. Виляя бедрами и подшучивая, мы с Клаудио направились прямо вниз по ступенькам, минуя огромного дядьку. Но не тут-то было: он вдруг перегородил мне дорогу и рявкнул: «Женщине нельзя!» Мы с Клаудио сочли это за недоразумение и снова стали протискиваться ко входу. Охранник еще хуже — схватил меня за руку и отшвырнул подальше, да еще и прикрикнул: «Вон отсюда!» Я от обиды на такое неравенство начала плакать. Клаудио, явно не ожидавший половой дискриминации по отношению ко мне в центре Нью-Йорка, стал меня успокаивать. А какая-то чернокожая прохожая, услышав крик и возню, остановилась посмотреть, что происходит. Увидев, что я плачу, какой-то парень меня успокаивает, а злой дядька куда-то не пускает, она стала орать на охранника: «У нас демократия, почему не пускаете, а ну впустите, изверги, зачем человека обижаете!» Но мы втроем — черная американка, белая русская и голубой бразилец — оказались в меньшинстве, даже у дверей гей-бара! Меня так и не впустили. Тот вечер я и Клаудио провели в обыкновенном кафе, решив больше не испытывать судьбу. Да и к лучшему — ему надо было выговориться.

Перед тем как отправиться на следующий сеанс к психотерапевту, я серьезно задумалась над тем, что ему сказать о Боге и Вселенной. Я начала было что-то формулировать в своей голове, как меня осенила мысль: он хочет проверить, не страдаю ли я параноидальным бредом. Думает, что я сейчас начну гнать целые теории. Нет уж, лучше скажу, что это все сложно и не поддается моему пониманию, да так оно и есть.

Придя к нему в очередной раз, я стала объяснять с улыбочкой на лице, что скептически отношусь к его способности мне чем-либо помочь. Ведь я — актриса, привыкла иметь дело с режиссерами, а эти отношения строятся на игре, на обмане и в какой-то степени на самообмане. Так что меня трудно заставить не играть и трудно перехитрить. Ежи внимательно выслушал все, что я сказала. Затем предложил мне немного белого вина и стал задавать вопросы и записывать мои ответы на бумажку. Иногда он начинал что-то комментировать — например говорил, что лучше быть первым и мчаться на гоночной машине, чем плестись в хвосте на осле, затем поворачивался ко мне и спрашивал: «Не так ли?» Эти вещи были столь очевидны, что я молча соглашалась. Он по-прежнему ходил передо мной, как маятник, а я сидела. Только со мной вдруг стало происходить что-то странное — я чувствовала, что не контролирую свои ответы: хочу сказать одно, а вылетает другое. А то просто сижу и не могу произнести ни слова. Когда он задал очередной вопрос, я задрала голову и стала смотреть на одну из его планет, что свисала с потолка. Марс, кажется. Тут Ежи спрашивает: «Куда это ты так далеко смотришь?» А я вдруг как брякну: «Да на это говно смотрю, что висит у вас на потолке!» Сказала и замерла. Самой не верилось, что я произнесла такое, — я ж в прошлый раз хвалила его творчество, эти самые планеты! Ежи и виду не подал, а я притихла. Чувствую, что со мной что-то не так, раз я говорю какие-то неприличные вещи. Тогда он спрашивает: «Я просил тебя подумать о Боге и Вселенной, ты помнишь?» А я ему и отвечаю: «Конечно, помню, только мне нечего сказать на эту тему. Все это очень сложно». Ежи и это скушал. Затем предложил мне сесть в огромное кресло, типа зубоврачебного, и предупредил, что на счет «три» я закрою глаза, а потом по его сигналу — открою. Я действительно, к своему удивлению, сомкнула веки на счет «три», как от толчка. Ежи стал разговаривать со мной и рисовать в воображении всякие расслабляющие нервы картинки: пляж, песок, чайки, ветерок с моря. Я сказала, что меня такая идиллия раздражает. Он сменил картинку на кораблик, что плывет по морю и спешит домой. А на корабле капитан смотрит в подзорную трубу. Я начала улыбаться и говорить детским голосом. Немного поплакала, потом успокоилась, затем на счет «три» снова открыла глаза. Меня вдруг стал бить озноб, я вся съежилась. Говорить ни о чем больше не хотелось. У меня было ощущение, будто я долго спала. Ежи сидел за столом и что-то писал. «Холодно! — пожаловалась я ему. — И кажется, что я потеряла килограмм или два веса, какая-то слабость». Ежи сказал, что так и должно быть. «Ну как я вам?» — спросила я его снова.

Он покачал головой — что все вроде получилось, как надо. «А что вы со мной сделали? Это гипноз? Очень похоже на экзорсизм — я в кино видела». Он посмотрел на меня и, нисколько не удивившись такому сравнению, ответил: «Да, чем-то похоже, в каком-то смысле это и есть экзорсизм. Но это не гипноз. Ты сама можешь научиться подобной технике, вроде расслабления, только очень глубокого расслабления, это очень полезно».

Договорившись о последней встрече, которая должна была проходить у него в кабинете на работе и была нужна, по его словам, скорее ему, чем мне, я попрощалась и, выйдя из подъезда, свернула налево. Но вдруг остановилась. Прямо передо мной на горизонте возвышался шпиль церкви. На фоне закатного неба отчетливо был виден крест. Я замерла и стала его разглядывать. Пересечение креста — вертикаль и горизонталь, сходящиеся посередине. Это и есть ответ на все вопросы, дошло вдруг до меня, формула сохранения себя, в противоположность растрачиванию энергии по периферии. Цельность — движение к середине, к соединению и пересечению всех линий, сходящихся в единой точке, которая есть сам человек. Только это гарантирует монолитность и сохранность конструкции. А не центробежные силы и линии, расходящиеся до бесконечности в разные стороны и образовывающие миражи. Это также модель Бога во Вселенной. Он один, а если его нет, то возникает центробежная сила, стремящаяся к дроблению, к разрушению. Если его нет, то отсутствует пересечение вертикали и горизонтали. Неужели вопросом о Боге и Вселенной врач меня к этому подвел? Я обрела зримый образ того, в чем заключалась моя ошибка. Не разъединяться на мелкие части, как матрешка, глядя на все четыре стороны, а стремиться к соединению в себе того, что получаю извне. Множества — бездонны, как пропасть, а Бог — один. На последней встрече я ничего не рассказала Ежи о своем открытии, но он и так остался доволен. С тех пор я никогда не задавалась сакраментальным и подлым вопросом: «А СТОИТ ЛИ ЖИТЬ?»

Глава 66. Бродский

Однажды в ресторане «Самовар» были поминки. Посетители, одетые в черное, были погружены в траур, двигались медленно и чинно. Они расселись за накрытыми столами и стали говорить речи потерянными голосами. Что-то ледяное повисло в воздухе, люди пили не чокаясь и отводили друг от друга заплаканные глаза. В какой-то момент один из них встал из-за стола, подошел к роялю и попросив наиграть ему мелодию, запел в полную

глотку: «Цыпленок жареный, цыпленок пареный, цыпленок тоже хочет жить…» Этим человеком был друг покойного — Иосиф Бродский. Отпевали Геннадия Шмакова. Он был известным театральным, а вернее, балетным критиком, талантливым и уважаемым человеком. Я его не знала, потому и сказать более о нем ничего не могу. Помню, что у Иосифа Бродского было стихотворение, посвященное ему — «Венецианские строфы (2)». Говорят, что они дружили и Бродский его очень любил. Впрочем, почтить его память в тот вечер пришло очень много народу, а среди них и Михаил Барышников с Иосифом. Они, к слову сказать, были хозяевами ресторана, его спонсорами, в компании с Романом Капланом и его женой Ларисой.

В тот вечер я не впервые видела Бродского, что называется живьем. До этого мы с Кевином однажды слушали его выступление на вечере в Вермонте. Я с трепетом внимала каждому слову, потому что любила его поэзию и читала ее еще в Союзе. Тогда на концерте меня поразило, что у него отсутствовала большая часть передних зубов, и тем не менее это не мешало его слушать. Вполне естественно, что он казался старше своего возраста. После его выступления я подошла к нему и передала пару слов по просьбе Миши Козакова на случай, если его встречу. «Миша просил вам передать, что читает вашу поэзию, и делает это очень даже неплохо», — сказала я ему. Ничего не отразилось на его челе, и он промолвил: «Да я и сам читаю, и делаю это тоже ничего!» Кевину он показался чересчур высокомерным. А я защищала его, объясняла, что все русские поэты ранимы и прикрываются высокомерием или маской мизантропии, но это только видимость. Однако Кевин остался при своем мнении. Теперь я получила совсем новую возможность разглядывать Бродского. Запев «Цыпленка», он сделал то, что мог сделать в подобной ситуации мой папа или какой-нибудь мой близкий друг — то, что понятно всем. Было в этом надрыве что-то залихватское. «Цыпленка» подхватили и другие, и вскоре поминки стали шумными, как это тоже часто бывает: в память о шумном человеке невыносимо молчать. После «Цыпленка» запели что-то еще и еще. Я подсела поближе к роялю и стала слушать. В какой-то момент все еще солировавший Бродский затянул: «Как боится седина моя твоего локона, ты еще моложе кажешься, если я около, седина стала белою, что с ней я поделаю, ты любовь моя последняя, жизнь моя!» Миша Барышников подпевал, а я млела, обожая эту тему — любовь с большой разницей в возрасте. Еще я очень люблю романс в исполнении Петра Лещенко: «Красивая, упрямая, вы сотканы из роз, я старше вас, дитя мое, боюсь своих я слез…» Когда я слушала Иосифа, мне вдруг показалось, что он

поглядывает на меня, когда поет… Да, Бродский вполне вписывался в мое представление о мужчине, которого можно любить долго и сильно.

Он заходил в ресторан еще пару раз, когда я работала. Как-то это было днем, он пришел с молодой рыжеволосой девушкой, американкой. Они громко и весело болтали, она заливалась смехом на какие-то его шутки. Обслуживала его одна из ирландок, а я вся превратилась в слух — присутствие поблизости Бродского держало меня в напряжении. На самом деле я приревновала его к этой рыжей, возможно, его студентке. (Наш великий бард — и с какой-то соплюшкой?) Вдруг он встал, подошел к бару и уставился мне прямо в ухо. Я как раз стояла с бокалами на подносе, как знаменитая «Шоколадница» с работы Жана Этьена Лиотара — в профиль к поэту, лауреату Нобелевской премии. Одно из моих ушей было проколото множеством металлических шариков — от курения, мой приятель по прозвищу Лимончик сразу мне их поставил, как только получил лицензию на акупунктуру. (Я была его добровольной «жертвой», он и иголки мне в диафрагму втыкал самой первой!) Крутиться с тяжелым подносом в руках я особенно не могла, потому выстояла под пристальным взглядом, пока получала из бара заказ. «А что у вас такое в ухе?» — поинтересовался он. «От курения», — ответила я, затем развернулась и, проигнорировав любопытного поэта, гордо прошла мимо, задрав подбородок. (Только пришло в голову, что вид у металлических шариков был такой же, как у тех, о которых предупреждал меня когда-то Мамлеев. Было бы смешно, если бы шпионка-официантка носила подслушивающие шарики прямо в ухе, под пластырем.) Мое женское напряжение требовало разрядки, и я как-то вдруг вспылила на попавшегося мне под руку Бродского: «А вы что ж, приводите сюда молоденьких девушек, студенток, наверное, кокетничаете с ними?» Н-да-а! Флирт на уровне фильма «Девчата»: «Ходят тут всякие, а потом вилки пропадают!»

Но наше более продолжительное общение произошло чуть позже. Можно сказать, в два захода. Сначала некая Алина — молодая художница, которая жила в Нью-Йорке и боготворила всех гениев, со многими из которых дружила, в том числе и с Иосифом, позвала меня в гости в одно семейство. А поводом был приезд в город Евгения Рейна — близкого друга Бродского. Женя, со своей стороны, искал встречи со мной. Он был знаком с Пашей Грушко, мужем моей сестры, и привез для меня от родственников письма и приветы. Вот такими сложными путями я оказалась в доме, куда пришел Иосиф. Рассевшись вокруг стола, все пили чай, а он, картавя, читал стихи, что, конечно, делал всегда и везде.

Это успела заметить не только я — об этом говорят те, кто его знал всю жизнь. Еще при первом появлении в прихожей — он чуть припозднился — я обратила внимание на мягкость всего его облика. Он предстал в каком-то солнечном и теплом ореоле, благодаря своей рыжине и белесым ресницам. Это впечатление не было разрушено дальнейшим общением, наоборот — усиливалось и располагало к ответному прекраснодушию. Мне задавали какие-то вопросы, спрашивали мое мнение насчет чего-то в Москве, но я была зажата, краснела и терялась, как школьница. От домашнего уюта меня совсем разморило, как, впрочем, всегда бывает за семейными чаепитиями с тортом. За границей вообще любое сборище русских кажется встречей с родственниками. А в тот вечер «родня» была очень культурной. Одно я ощутила со всей определенностью, что со стороны поэта-гения в мою сторону идет столь необходимое мне человеческое тепло. Нет, это не было похоже на тепло влюбленного мужчины, скорее на отцовское или даже дедовское. Потому что он был без возраста и казался Вечным. Что еще нужно скитающейся одинокой женской душе, полной неистраченной любви? Ей нужно увидеть перед собой человека, похожего на мудрого отца, на ее деда, на брата, на мужа, на друга. Я увидела лицо Бродского, и у меня появилась надежда, что меня поняли.

Спустя какое-то время, вероятно перед отъездом Жени Рейна в Москву, он и Иосиф с большой компанией знакомых пришли в «Самовар». В тот вечер было очень много посетителей, и я обслуживала сразу несколько столов, временами помогая одной из ирландок поднести что-то гостям Жени Рейна. Я запомнила, как Иосиф начал читать, задавая особый ритм своими странными интонациями, словно хватая воздух. Атмосфера в зале стала меняться под воздействием текстов и смыслов, погрузив меня в задумчивость и заставив обратить взгляд внутрь себя. Словно шаманка с подносом вместо бубна, я рассеянно блуждала между залом и кухней, уставившись прямо перед собой, как сомнамбула. Мне кажется, что временами Иосиф наблюдал за мной, а услышав мой неизменный смешок, сказал кому-то: «Это защита». Когда ужин был окончен, все стали расходиться. Иосиф беседовал с какой-то дамой, а я потягивала белое вино, сидя за стойкой бара. Затем, когда дама ушла, он обратился ко мне: «Ну что, мы обо всем поговорили или есть кое-что еще?»

Через двадцать минут мы шагали по вечерним улицам. Я была весела и чувствовала себя на взводе — попросила купить цветы. Мне было так хорошо и свободно, как будто я знала, что подаренная встреча принадлежит мне, и я ее хозяйка. Я подогревала это впечатление, прося своего спутника сделать то

или это. В какой-то момент я додумалась почитать свои стихи. Так и сказала: «А теперь вы слушайте меня!» (Наверное, это приходит в голову всем начинающим поэтам и поэтишкам, но мне в тот момент казалось, что я совершаю безумно дерзкий поступок.) Иосиф согласился послушать. Я приступила — это было мое школьное стихотворение: «Тишина меня замучила, тишина меня ест, ей одной известна я до ниточки, вся как есть! И ничто ты тут не поделаешь, Тишина сильней, что мои ей слезки-штучечки, ей солоней!.. Э…Э…» Тут я запнулась и стала вспоминать следующую строчку. Иосиф спрашивает: «Ну, Елена, что дальше?» Я оглядываюсь на него и вижу очень внимательный взгляд: кажется, ему что-то начало нравиться, и он действительно хотел услышать следующую строчку, как если бы от нее зависело — дрянь все стихотворение или драгоценность. «Что дальше, Елена?» — повторил он нетерпеливо. Я напряглась, но продолжение вылетело из моей головы напрочь. «А, не помню!» — весело сообщила я Бродскому. «Ну как же так?» — укорял меня он. Я отмахнулась, словно успокаивая его: «Да, бросьте, Иосиф, не помню и все, не переживайте вы так!» Его реакция меня позабавила, однако в ней было что-то любопытное и по другой причине. Казалось, что он воспринимал поэзию самостоятельно, отлично от человека. И если я хотела, чтобы он похвалил меня, то он, очевидно, в любом случае похвалил бы «нечто», что в меня вошло и все это сказало. Когда я была школьницей, то писала о тишине. А слово «тишина» и обращение к ней как к некой сущности очень часто встречается в поэзии Бродского. Забытые строчки мне, конечно, вспомнились, но гораздо позже. Вот они: «Ведь мое одиночество во сто крат шумней, Тишине в одиночестве моего больней. Кто еще с ее намучился, хоть один есть? Вот меня-то, шумную, она и мучает, Тишина меня съест!»

Мы дошли до его дома, он пригласил зайти. Квартира поэта, известная теперь многим по документальным фильмам, была сплошь увешана фотографиями — снизу доверху. Из всех лиц я смогла узнать только Ахматову, Цветаеву, Пастернака — одним словом, тех, чьи сборники стояли в библиотеке интеллигента средней руки. «Чем занимаются ваши родители?» — поинтересовался Иосиф. Я назвала картины своего отца и те, на которых работала мама. Мосфильмовские хиты были ему неизвестны, если не сказать чужды. Он стал спрашивать, знаю ли я поэтов, чьи портреты висели на стене, перечисляя всех своих друзей: Владимир Уфлянд, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман… Я пожала плечами — никто из них не был мне тогда известен, кроме, естественно, Евгения Рейна. Надо ли говорить, что я переживала культурный шок, будучи экзаменуема

Бродским. Впрочем, соответствовать Нобелевскому лауреату в эрудиции вряд ли было возможно. Да и кому — мне, которая с трудом пыталась обрести представление о себе как личности… и никак не могла стать чем-то еще, кроме того, чем я была в «Романсе о влюбленных» и «Покровских воротах». Экзамен на эрудицию закончился заявлением Бродского: последнее поколение, которое что-то сделало для России, — это его поколение. Мне сразу захотелось отстоять и свое поколение тоже. Я открыла рот, но кроме Высоцкого, Шукшина и Тарковского, никого не смогла назвать.

Мы перешли к разговору по существу. «Кого вы любите?» — спросила я его. Он помолчал, затем вновь обернулся к стене с фотографиями — к своему алтарю — и указал пальцем на мужской портрет: «Его». В голосе Бродского зазвучали лирические нотки. Удивившись такому неожиданному повороту, я спросила, кто это. «Йейтс. Ирландский поэт и драматург, символист конца девятнадцатого века — я могу сказать, что люблю его, он мне близок. А этого знаете? Это Китс, начало восемнадцатого века, тоже замечательный человек». Я смотрела на Джона Китса и Уильяма Батлера Йейтса и думала о том, как им повезло заслужить его любовь. (Этот диалог чем-то напоминал сцену из фильма «Мюнхгаузен»: «Помнишь, когда мы гуляли с Шекспиром, он сказал…») «А вообще, любовь…» Иосиф начал рассуждать и высказал удивительную мысль, которая сводится, если не ошибаюсь, к следующему: любовь к человеку — это диалог Конечности с Вечностью. А творчество — это диалог Вечности с Конечностью. «Ведь любить, сильно любить человек может только тех, кто ушел… навсегда, — сказал Бродский и пояснил: — Поэтому я могу сказать, что люблю Йейтса». Мы продолжили разговор о судьбах и выборе. Об отъезде, об эмиграции он сказал, что когда человек уезжает из страны, в которой он родился, то совершает акт окончательного взросления, обрезая свою пуповину, которая вначале соединяла его с матерью, затем всеми авторитетами в лице отца, учителей и наконец — вождей. Он уходит в самостоятельную жизнь из дома своего самого большого родителя — своей страны. Потом Бродский добавил: «Но здесь, в Америке, жить может не каждый, надо иметь слоновью кожу… а у меня она есть. Потому я смог». Я поделилась с ним, что психологически стою на перекрестке, рассказала про кризис, случившийся со мной, и про свою дилемму: что делать дальше, где жить, кем быть и так далее. Иосиф выслушал меня очень внимательно и в сердцах сказал: «Если бы я был на вашем месте, то я бы… — Затем поправил себя: — Нет, если бы я был не поэтом, а актером, то я бы вернулся. Хотя, — он опять

помедлил, — я, наверное, бы жил, как живу: здесь и везде, мне по большому счету все равно. Но вам, наверное, надо играть и быть там, где вы можете это делать». Мы помолчали. Его слова на столь наболевшую тему, которую я обсуждала со многими, впервые проливали свет на тот хаос, что царил в моей голове. Я видела, что он вникает в проблему, что она его волнует и он рассматривает ее как философскую, а не частно-бытовую, в которой нечего искать другому человеку. Более того, он прошел через все, о чем говорила я, и любую тему он воспринимал как необходимую часть человеческого опыта.

В какой-то момент он попросил его извинить и растянулся на диване, на котором сидел, пояснив, что ему надо пять минут полежать. Я поднялась, подхватила букет цветов, купленный по дороге, и, подойдя к нему, бросила цветы ему на грудь, затем склонилась и поцеловала. Потом отошла и посмотрела на него со стороны, усыпанного цветами. Он грустно улыбнулся и промолвил: «Труп!» Мне стало стыдно, что я спровоцировала такую ассоциацию, и я сняла с него букет и поставила в вазу. Он протянул руку и привлек меня к себе, стал рассматривать мое лицо. Я стала гладить его волосы, лицо, грудь, затем расстегнула ему рубашку, чтобы поцеловать, и увидела вертикальный шрам, разделяющий торс надвое. «Байпас, — сказал он по-английски — операция на сердце». Я испуганно замерла, не зная, что говорить и делать. И, словно почувствовав это, в доказательство своей силы и желания жить, он снова притянул меня к себе. В его объятьях я не могла шелохнуться: так крепко меня давно никто не держал. Я взглянула на него и сказала, как маленькая старушка: «Почему у мужчин такое страшное лицо в момент любви?» Он долго смотрел мне в глаза, потом положил мою голову на подушку, поцеловал в щеку и тихонечко вышел, закрыв за собой дверь.

Утром я проснулась оттого, что меня звали по имени: «Елена, можно войти?» Появившийся Иосиф предложил мне кофе. Охая и кряхтя, я поднялась и прошла в ванную. Увидев себя в зеркало, громко вздохнула: «Черт! Ну надо же! Черт-те что такое!» Мне показалось, что хозяин под дверью прислушивается к моему разговору с собственным отражением и рад моей оценке своего помятого состояния. Через несколько минут я сидела в гостиной с чашкой кофе и молчала, испытывая неловкость и чувство вины, что заставила хозяина квартиры спать на диване. «У меня через час встреча, простите, что разбудил, но, вообще, пора было вставать». Я взглянула на полную до краев пепельницу, вспомнила, как нещадно накануне стряхивала туда пепел (я снова курила, как паровоз) и предложила вынести ее на кухню. Когда я

вернулась и поставила ее обратно на стол, Иосиф поблагодарил меня за чуткость: «Спасибо, что заметили, а я сидел и думал… обратите вы внимание или нет». Пепельница была металлическая в форме самолета, чем-то памятная ее владельцу. «Я тоже не люблю вид окурков и вообще, это вызывает много неприятных ассоциаций», — вторила я ему. Я допила кофе, поблагодарила, взяла свою сумку и вышла за порог маленького домика. Поднялась по дорожке, ведущей от двери на тротуар, и взглянула на бегущую вверх улицу. Иосиф стоял на пороге и смотрел мне вслед. Его глаза темнели двумя большими крыжовинами в ореоле рыжеватых волос и белесых ресниц, лицо заслоняла листва и ветви дерева, что росло на возвышении у дороги. Казалось, он смотрел сквозь меня, сквозь листву, вперед, в Вечность, минуя учебник «Родная речь» со своим портретом на обложке. И взгляд его был грустен. Я протянула в его сторону руку, сделав знак пальцами, означающий «победу» или victory, затем отвернулась и поспешила удалиться из поля зрения.

А через несколько дней мне позвонила Аленка Баранова и, хихикая, сообщила, что на ее ответчике для меня оставлен мессидж от Бродского: «Где вы, Елена?»

Тем временем я стала готовиться к возвращению в Москву и предупредила о своих планах хозяев ресторана «Самовар», работающих в нем в качестве менеджеров — Ларису и ее мужа Романа. Перед самой моей поездкой Роман пригласил меня на ужин, сказав, что это желание Иосифа. Я пришла. Мы сидели в красивой компании с Михаилом Барышниковым, Иосифом, Региной Козаковой, которая уже год или два как жила в Нью-Йорке и кем-то из их друзей. Когда пришло время, все поднялись из-за стола и поспешили к выходу. Мы с Региной, обе одетые в черное, отстали и шли чуть поодаль с Иосифом. «Два ангела в черном…» — начал он читать, указывая на нас. — «Помните, как у Данте?» Выйдя на улицу, мы помедлили у порога, и оставшись с Иосифом вдвоем, взглянули в глаза друг другу. «Ну что, прощаемся?» — спросил он. Я приблизила свое лицо и, не ответив, все улыбалась и улыбалась — на будущее. «Знаете, что я на днях подумала? — сказала я почти шепотом. — Женщины не замечают, когда начинают стареть, это странно, правда, они просто этого не замечают». Так мы стояли недолго, пока его не окликнули поджидавшие друзья: «Иосиф, ты идешь?» Он отвернулся, пошел к красной спортивной машине, хлопнул дверцей, и она зашелестела по тротуару, набирая скорость. Я махала ей рукой… как та девушка, что стоит на дороге, пока грузовик не исчезнет в клубах пыли.

6. Восток есть Восток

Глава 67. Как предсказано… и остров, и…

Ох уж эти предсказательницы судьбы — Мойры! Что бы они там ни задумывали, а нам все-таки удается подглядеть рисунок той пряжи, что они нам уготовили. Дело в том, что вопреки всем наветам мы поверили предсказаниям Кассандры, перекричавшей Немезиду, а также защитили уши от злых языков Эриний. Тем самым мы оценили старания Афродиты, которая в благодарность послала нам в качестве спутниц веселых и нежных Нимф. В нас было столько радости, что мы смогли делиться ею с теми, кто в ней нуждался. Так утешили мы Дафниса и выслушали горькую исповедь Геракла. За это вознаградили нас Музы и приветствовали своим победным кличем Амазонки! Мы повстречали Орфея и услышали его песню об Эвридике, нас развлекала Сафо, и мы не отвергли ее, и тогда нам выковал меч Гефест, а Весталки раскалили его на священном огне, и сам Гелиос порадовался за нас и осветил наш путь золотым лучом. С тех пор он всегда нам светит, отпугивая страшного Танатоса…

Прошел ровно год с момента, когда я была в Лос-Анджелесе у предсказательницы и она мне говорила о повороте дел к лучшему и о том, что видит меня на острове в бодром и просветленном состоянии. И вот накануне первого съемочного дня я сижу на пристани в ожидании прогулочного катера, который должен доставить меня на остров Гидра — в полутора часах езды морем от Афин, и думаю: сказка, и все тут! На остров я еду с художницей по костюмам Алиной Будниковой и моим знакомым американским галерейщиком Франком Боулзом, который совершает круиз в свое удовольствие и заехал проведать меня в Грецию. Он угощает нас с Алиной шампанским, а я рассказываю им о предсказательнице. Но вот мы на острове. Алина хочет продемонстрировать свой новый купальный костюм, и мы идем к выступу в скале, где можно позагорать и где стоят приготовленные для этих целей шезлонги. День ветреный, но Алина раздевается, а мы с Франком сидим одетые и смотрим на море. Рядом с нами молодой парень в темных очках читает книжку. Время от времени ветер уносит листки его книги в море, и он подпрыгивает и пытается их спасти. Мы разговорились с ним. Грегори — актер, живет в Лондоне, сюда приехал навестить родителей, так как он грек по происхождению. Книга, которую он читает, — Кнут Гамсун. Узнав, что мы собираемся снимать в

Афинах «Лисистрату», Грегори вскакивает с шезлонга и начинает рассказывать о моей героине, как ее нужно играть. Перед возвращением в Афины мы договариваемся о встрече в городе.

Итак, остров! Он принес мне замечательное знакомство с родной душой — актером, который писал музыку, был добр и красив, с настоящим греческим титаном: Грегори любил сравнивать себя с Прометеем, укравшим для людей огонь и страдавшим за это. Он будет водить меня по городу, рассказывать о Греции, а также о лондонском шоу-бизнесе, об особой миссии актерской касты и ее предназначении, а также о своем желании прославиться. Через некоторое время ему улыбнется удача, он снимется в картине знаменитого греческого режиссера Ангелопулоса, которую мне случится посмотреть в Париже. Но еще до просмотра картины, просто бродя по городу, я узнаю его на афише, где он будет изображен в полном неглиже. «Ой, Грегори? — обращусь я к фигуре, застывшей на фотографии и добавлю: Точно, он!»

Високосный 1988 год был на исходе, когда я вернулась из Америки в Москву. Теперь мне хотелось броситься в работу по-американски — как многостаночница. Мне предложили сразу несколько картин, и я согласилась на все, их было четыре. Предсказания гадалки из Лос-Анджелеса сбывались. Меня позвали на пробы к фильму «Комедия о Лисистрате», который собирался снимать Валерий Рубинчик. Режиссер давно относился ко мне с большой симпатией. Но кроме меня на роль пробовались самые лучшие драматические героини нашего кинематографа, и мне казалось, что сейчас их право выигрывать. Но когда я все-таки получила роль, то первым делом поинтересовалась, где будут съемки. Услышав, что в Греции, я так и подпрыгнула: «А острова там есть? Мы попадем на острова?» Полно островов! Главная роль, да такая необычная, и к тому же экспедиция в Грецию — все это звучало довольно фантастично. Судьба зачастую бывает неповоротлива целыми десятилетиями, а тут — посыпались с неба подарки!

Греция с ее солнцем, морем и мрамором, застывшим в виде обнаженных торсов, стыдливо притаившихся где-нибудь в кустах, возвращает сердце к земной радости и красоте творчества. Величественные и просторные храмы, портики и колоннады, а также венчающие бесконечные холмы и взгорья кариатиды, которые смотрят на тебя пустыми глазницами, — все это окончательно примирило меня с природой, с Богом или богами и с самой человеческой слабостью — если она так прекрасно увековечена в камне! Любовь — плотская, чувственная и духовная — красива и достойна восхваления. И ревность, и зависть, и месть

— для всего здесь найдется своя богиня. А театры — как гигантские ложи для развлечения Титанов под открытым небом, с сотнями, тысячами мест, эхо, играющее с камнем, солнце, остывающее в мраморе — какая красота и какая сила! В 1987 году мне приснился сон, который я записала в дневник. Как будто я собираюсь куда-то показываться и разучиваю длинный монолог. Потом иду по незнакомому городу и ищу театр. Наконец нахожу его и вижу: греческий цирк, сцена — как арена. Я в длинном платье вроде тоги, принимаю позы, наподобие Айседоры Дункан, и говорю, говорю, поворачиваясь во все стороны. А в зале сидят мои знакомые — актер Доминик и его друг, режиссер Пьер. «К чему бы это?» — написала я в конце страницы своего дневника. Теперь, снимаясь в настоящем древнегреческом театре и стоя в центре круглой сцены, вроде арены, произнося длинные монологи, я вдруг понимаю, что уже однажды делала это во сне. Правда, теперь передо мной вместо зрителя — Рубинчик в кепке, но зато Греция — настоящая. Получается — дашь на дашь!

Моей второй работой в кино в тот год была картина Сергея Юрского по его же сценарию, в основу которого легла написанная им новелла. Называлась картина «Чернов, Chernov». Мне пришлось играть роль Елены — русской эмигрантки, пианистки, женщины сильной и властной, укрощающей гения. В роли гения-дирижера выступил сам Сергей Юрьевич, работавший сразу в трех ипостасях: актер, сценарист, режиссер. Я навсегда запомнила наш детский поцелуй в кадре, от которого щекотало в носу, навернулись слезы и заалели щеки. Я хихикала, а он — удивленно изучал мою реакцию. Главную роль в картине исполнил режиссер Андрей Смирнов. (Актерская деятельность горячо любимого мной Андрея Смирнова — это своего рода забастовка, которую объявил режиссер Смирнов. Он все снимается и снимается, все пишет, курит и думает, даже немного поруководил, а вот снимать самому — нет уж, нате выкусите, не дождетесь!) Короче, мне и здесь подфартило, да к тому же предстояло ехать на десять дней в Испанию, в Барселону. Что говорить о Барселоне? Лучше туда съездить и увидеть, как на улицах танцуют ночи напролет, как в парках и на площадях гудит и гуляет гордый и страстный испанский, а точнее каталонский люд. Загляденье. Не такой дорогой и изысканный, как Париж, но все же фантастически жизнелюбивый и красивый город! Сколько гениев породила Испания, а Каталония! Сколько художников: тут вам и Пикассо, и Гауди, и Гойя, и Жоан Миро! Тут вам и Сальвадор Дали…

До Фигераса надо было ехать полтора часа автобусом. Мы с Андреем Смирновым настояли, чтобы нам дали машину съездить

в Дом-музей Дали, иначе, сказали мы, не вернемся в Москву. Таких упрямых, как мы, оказалось только двое-трое из всей группы. Да, конечно, Дали многие не считают за такого гения, которым он слывет. Но я ехала смотреть не на гения, а на фантазера, на безумца, изобретателя и насмешника. Сам он замечательно сказал о себе: единственное, что отличает меня от сумасшедшего, это то, что я не сумасшедший. Дали — это одна из моих страстей. Его физиономия с вытаращенными глазами и тараканьими усами, подкрученными вверх — это любовь! На самом деле я однажды обнаружила в нем поразительное сходство с моим «роковым» приятелем — Бойдом. Та же паясничающая рожица…

Как только мы свернули во двор музея и увидели фасад здания, я завизжала: «Оно, то самое, как я счастлива!» На карнизе дома стояли в ряд огромные яйца, в человеческий рост или даже больше! А между ними и в окнах — женские статуэтки! Они-то и вызвали такую бурную радость в моей душе. Как это весело и как здорово — художественное хулиганство и улыбка в таком масштабе! Музей был огромен и содержал немыслимое количество работ Дали — графических, скульптурных, живописных и всяких-всяких, вплоть до дивана в виде губ актрисы Мэй Уэст и инсталляции из старого «Форда», и гигантского обелиска из шин. Одна только вещь меня здесь раздражала — множество портретов Галы, жены художника. Смотреть на нее мне было настолько неприятно, что у меня по коже бежали мурашки. Она мешала мне вести внутренний диалог с Сальвадором и возникала то тут, то там совершенно не к месту. Ну конечно, не то чтобы соперница, но как-то ни к чему. Дали — мой!.. Во всяком случае тогда он принадлежал только мне. Когда спустя пару часов мы встретились с Андреем Смирновым возле машины, чтобы ехать назад в гостиницу, мы молча кивнули друг другу и тихо заняли свои места, не проронив ни слова. Масштаб этой творческой личности был колоссален и подавлял любую претензию на собственную гениальность. А это и есть сумасшествие — такая работоспособность и многогранность. Гениальное сумасбродство!

Третья картина, в которой я немного поработала, — «Анна Карамазофф» Рустама Хамдамова. У меня был малюсенький эпизод, тем не менее очень дорогой мне из-за имени автора. Рустам привлекал меня теплом и утонченностью своей натуры. Особенно приятно было работать с ним еще и потому, что он создавал потрясающие женские портреты и образы, одевая и гримируя актрис в своем неповторимом стиле. Снимали мы в Питере, на Волковом кладбище. В эпизоде кроме меня, двух

девочек и пожилого актера участвовал еще и Гриша Константинопольский, который в то время заканчивал режиссерские курсы, а теперь стал известным клипмейкером и автором фарсовой картины «Восемь с половиной долларов». Он все предлагал мне тогда посмотреть свои курсовые работы, а я отказывалась. Позже, через пару-тройку лет, мы с ним подружимся и он мне напомнит о съемках у Хамдамова. А я даже и не поняла, что это он играл бледного юношу в гимназической шинели. После того как моя скромная работа на площадке была закончена, фотограф группы предложила поснимать меня прямо у могил. У меня действительно был очень красивый грим и костюм в стиле ретро 50-х — все это просилось на пленку. Но сниматься на кладбище, позировать? Скрепя сердце я все-таки согласилась и присела на плиту. Девушка-фотограф увлеченно щелкала аппаратом. А когда спустя две недели выяснилось, что вся пленка была по непонятным причинам засвечена — я не удивилась. Нельзя — значит, нельзя!

Четвертой работой, сделанной мной в тот год в кино, была картина моего отца — «Ловушка для одинокого мужчины». Это была комедия-детектив французского автора, и сниматься там должна была совсем другая актриса. Но по каким-то причинам она в последний момент отказалась, и папа обратился ко мне с просьбой сняться вместо нее. Я, конечно, согласилась. Тем более что мне хотелось снова поработать с отцом, а вернее, сделать для него что-нибудь приятное, ведь когда-то я отказалась от участия в его «Большой перемене», и он обиделся. Все съемки проводились в Ялте, в маленьком коттедже. Оператором был давний друг семьи, Толя Мукасей. Вместе с папой в Ялте жила его шестилетняя дочка Саша и жена Светлана. Мукасей подружился с Сашей, все время разговаривал с ней и подтрунивал, вместе они представляли очень трогательную картинку. Саша уже тогда была ученицей ЦМШ и выглядела хрупким и нежным ребенком, уставшим от зубрежки гамм. Но тем не менее она была типичным киношным ребенком, которому приходилось таскаться по съемкам, знакомиться с актерами и порой жить ненормированным рабочим днем вместе со своим родителем. Это напомнило мне мое бессонное детство — в Одессе, на Веснина, на Речном…

В очередной мой прилет Толя Мукасей сказал обо мне: «Ленка совершает подвиги, и это доставляет ей удовольствие!» Сказал он так потому, что я прилетела на ночную съемку в Ялту, а на следующее утро в Москве хоронили мою бабушку. Папа просил: «Дочь, не подведи, прилетай на ночь и тут же обратно, а то у нас все горит!» Пришлось оставить маму на старшую сестру и

улететь. А днем вернуться прямо к поминальному столу. Предсказание сбылось и тут. Бабушка ушла.

Глава 68. Печаль

Бабушка умерла оттого, что начало сдавать тело. Подвел перелом шейки бедра, а потом она, наверное, устала. Голова же была в полном порядке. Последний месяц она лежала на постели и день за днем становилась все слабее. Уже не ела, только пила. Общалась с нами глазами и временами что-то говорила, пока не начала бредить. Звала свою мать… или разговаривала с ней. Я подходила к ее кровати и наклонялась к лицу, смотрела и улыбалась ей, как младенцу, даже звуки издавала вроде: «Угу!» — не знаю, так выходило. У нее на глазах выступали слезы — я видела, что она все понимает и о себе, и обо мне. В один из последних дней я обняла ее, сцепив руки у нее за спиной, и начала медленно поднимать. По мере того как она отрывалась от подушки, я откидывалась на спину, чтобы создать противовес. Наконец она поднялась достаточно. Ее глаза сфокусировались на квадрате окна, сквозь которое проникал белесый дневной свет. Серые облачка над улицей Горького, на которые она смотрела много лет, что жила в этой комнате. Она подняла брови, словно удивилась чему-то. Затем я собралась, поцеловала ее и сказала, что ухожу ненадолго. Она пробормотала: «Иди и возвращайся!» То, что было потом, я записала в дневнике.

Бабушка-снегурочка, куколка, бабочка. Лепестки губ побледнели… «Бабушка умерла девятого сентября, в субботу, в два с чем-то дня. У нее участилось дыхание. Она лежала на правом боку, повернувшись к стенке. Мама обратила внимание на участившееся дыхание и вызвала „неотложку“. Позвонила мне, сказала, что вызвала. Минут через пятнадцать я перезвонила, она сказала: „Одну минуточку, Леночка… бабушка умерла!“ Я бросила трубку и начала рыдать. Кто-то прижал меня к своему животу, это была Аленка Баранова, она гостила в Москве. Они с Володей Мандриченко были у меня. Потом мы с Володей побежали на Горького к бабушке. Вошли. Она лежала, наполовину отвернувшись к стене, немного вытянувшись на кровати, очень худая — скелет слоновой кости. В глаза бросалась ее желтизна. Нам посоветовали положить ее прямо — руки вместе, закрыть рот — пришлось подвязывать его косынкой, как когда болят уши. Подвязали косынкой в горошек, сине-серой, и полотенцем, потому что рот открывался. Время от времени я нажимала на челюсть и пыталась закрыть ее сильней. Не получалось. Пришлось также подтянуть ее на подушке. Ее голова была

тяжелой и теплой. Выражение лица — светлое и страдальческое. Вся маленькая и неподвижная. Мы связали ей руки и подвязали челюсть, покрыли простыней — она была такая плоская и маленькая, что казалось, будто никто не лежит на кровати. Я подходила, откидывала простыню и смотрела на ее лицо в косынке, клочки коротких седых волос и закрытые глаза — каждая ресница отдельно, как у ребенка.

Самое неприятное — когда ее пришли забирать в морг двое здоровых мужиков. Они связали простыню у ног и изголовья, положили на носилки, пристегнули ремнями и так и понесли вниз по лестнице. Она была очень похожа на мумию. Дети во дворе увидели этот страшный сверток, погруженный в машину „скорой помощи“, и один спросил: „Это чьи вещи везут? Уезжаете?“ Или увозят, или грузят, и все.

Ее спокойное прямое тело под простыней вызывало в душе возвышенность, строгость и значительность. Статика. Конечная. Абсолютная статика. Идеальная. Абсолютная тишина. Покой. Мария Рафаиловна Соркина-Сорокина. Бабушка. До свиданья, бабуля.

Москва, 89-й».

После этого мы с мамой пошли ко мне на Грузинскую. Шли, обнявшись, глядя вперед — две женщины на прогулке. Каждый шаг от бабушкиной квартиры на Горького в сторону Малой Грузинской — как событие. У меня вдруг стало горячо в груди, словно я почувствовала прилив энергии, и сердце забилось с удвоенной силой. Я невольно улыбнулась — бабушкина душа была рядом. Она и теперь меня ведет.

Глава 69. Калифорния

Я стою в толпе пассажиров парижского аэропорта Орли, глядя то на движущуюся ленту с чемоданами, то на толпу, поджидающую тех, кто прилетел. Меня тоже должны встречать. Это Алешка Коновалов — младший брат лучшей подруги моей сестры. Он поэт, писатель, давно живет во Франции. Наконец я замечаю его и кричу: «Лешка!» Он радостно отзывается, и мы начинаем перебрасываться репликами через головы французов. Вдруг я замечаю, что прямо напротив меня, по ту сторону багажной ленты, по которой катятся чемоданы, стоит мужчина в таком же берете, как у меня, и смотрит в мою сторону. Этот берет защитного цвета мне подарил Сашка Лимончик, а этот тип напротив где его взял? Мужчина продолжает улыбаться, глядя на меня. Чему он радуется — берету? Ах нет, он русский, просто

слушает русскую речь! Я смотрю на него и понимаю, что передо мной — Рудольф Нуриев. Внутри меня все ликует при виде балетного феномена и свободолюбивого человека. Я выражаю ему свое почтение кивком головы, посылаю воздушный поцелуй и, помахав напоследок рукой, хватаю наконец свой багаж и выхожу к Алешке. В Париже я проведу всего несколько дней, а потом снова сяду на самолет, который возьмет курс на Нью-Йорк. А оттуда дальше, на Западный берег. Я приземлюсь в Сан-Франциско и пробуду там месяц в гостях у Франка Боулза, знакомого галерейщика. Затем поеду в Лос-Анджелес, где останусь на полтора года. Все это время я буду работать арт-дилером в галерее «Боулз-Сорокко». Так начнется моя новая полоса жизни в Америке под названием «Калифорния».

С Франком Боулзом я познакомилась, еще работая в «Самоваре». Однажды вечером он пришел ужинать с Сергеем Сорокко и знаменитым американским художником Лероем Нейманом. Франк и Сергей были владельцами нескольких картинных галерей в самых крупных городах — в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Я, естественно, ничего про них не знала, как и про Лероя Неймана, когда подносила им закуски и шампанское в кадке со льдом. Помню, было смешно, когда, увидев мое растерянное лицо, Сергей предложил помочь открыть шампанское. (Иногда мне приходилось тяжко — я незаметно для посетителей засовывала себе бутылку между колен и что есть мочи тянула штопор вверх, пока пробка с треском не вылетала.) Ужин закончился тем, что меня пригласили подсесть за столик. Произносили тосты за российский кинематограф, поднимали бокалы. Сергей — родом из Риги, знал меня по советским фильмам, он-то и рассказал своим гостям, что перед ними известная актриса. Франк так расчувствовался, что прослезился, а знаменитый Лерой взял свой фломастер, листок ватмана, который всегда носил при себе в папке, и принялся набрасывать мой портрет. После той встречи мы подружились с Франком и Сергеем. Они часто звонили мне в Нью-Йорк, отовсюду, где только ни оказывались. Сами они жили в Сан-Франциско, но по делам бизнеса часто летали на Восточное побережье. Очевидно, моя работа в «Самоваре» показалась им насмешкой над женщиной с таким прошлым, как мое. И они пригласили меня в Калифорнию отдохнуть, а если захочу — остаться там жить и работать в их галерее. После года, проведенного в России, я решила рискнуть еще раз.

Помню, Франк предложил мне на выбор — галерея в Лос-Анджелесе или в Сан-Франциско. Я выбрала первое. О Калифорнии я слышала много баек от всех американцев,

живущих в других штатах. И то, что здесь все ходят в бикини и шортах, вечно играют в теннис, занимаются серфингом и не работают. Что женщины — все с искусственными силиконовыми бюстами, вставными зубами, все блондинки и все набитые дуры. Что весь Лос-Анджелес как одна сплошная дорога в аэропорт — здесь нельзя быть пешеходом, все ездят на машинах — и так далее, и тому подобное. Так вот все это, кроме последнего, про «дорогу в аэропорт» — сущая неправда. Калифорния — это олицетворение американской свободы, это либерализм, американский авангард во всех сферах: искусство, наука, психология, религия, бизнес и своя неповторимая философия жизни. Пользуясь замечательным климатом, калифорнийцы, разумеется, много времени проводят на воздухе и занимаются бегом, катаются на роликах, а также качаются в джимах. Но это не превращается в идиотизм, потому что кроме спорта они занимаются многим другим, и как все американцы, очень много работают. Очевидно, в южно-калифорнийском ландшафте есть что-то, напоминающее край света — жара, песок, редкие деревья с кисточками — пальмы, оголенные дороги, бегущие в никуда… за ними пустыня, по другую сторону — океан. Оттого, я думаю, сюда приезжают в последней надежде найти покой и счастье на земле. Здесь множество групп психологической поддержки — алкоголиков, наркоманов, одиноких мужчин и женщин, сбежавших из дома детей, нацменьшинств, сексуальных меньшинств — и масса различных обществ, есть даже группа, планомерно борющаяся за легализацию марихуаны. Да, звучит немного отпугивающе, но на деле это все не страшно, а наоборот — полезно, в случае необходимости. Есть хорошая шутка на эту тему. Для поиска выгодных связей надо сначала посещать группу анонимных алкоголиков или наркоманов, а затем кришнаитские сходки или буддистские медитации — все богатые и знаменитые там!

Но в первую очередь Калифорния — это солнце, много-много солнца. И если вам не хватало его в вашей прежней жизни, то здесь можно получить компенсацию за все годы, проведенные в темноте. Что я и делала. Просыпаясь по утрам и поднимая голову к голубому небу, я находила слепящую глаза точку и говорила ей «спасибо». Спасибо, солнце, что ты на небе, пока ты там, я знаю, зачем я здесь! Мы — дети солнца, ибо без него нам никак нельзя! — к такому выводу я пришла и на том стою до сих пор. Калифорния — это также возможность выйти на простор природы из каменных джунглей цивилизации, возможность забыть урбанистический бетон и гарь истории, освобождение от Европы. От той Европы, которую увидел в объектив своей камеры

режиссер Ларс фон Триер. А еще… в Калифорнию бегут одиночки, чтобы смотреть на залитую солнцем синюю даль и вести диалог с Создателем.

Так я и думала, стоя на берегу и глядя на океан. Что же все-таки руководит мной в этом беспрерывном передвижении? Я уже не могу остановиться. Почему я здесь? Я знаю, почему все остальные здесь, а вот почему именно я? Что это за чувство, которое я испытываю, когда поднимаюсь по трапу самолета и потом долго смотрю на садящееся за облака солнце, пересекая часовые пояса, меняя зиму на лето и обратно, а сейчас, на берегу, глядя на горизонт, наслаждаюсь ветром, погрузив босые ноги в песок? Равносильно ли это чувство любви, утоленной жажде, высшему наслаждению? Я вдруг нахожу ответ, подобрав правильные слова: это чувство навигатора, первооткрывателя! Здравствуйте, Христофор Колумб!

Итак, я оказалась на Родео-драйв — самой фешенебельной улице Лос-Анджелеса, за стеклянными дверями галереи «Боулз-Сороккo». Сначала меня пару месяцев испытывали — смогу ли я продавать картины. При кажущейся простоте это требует определенного искусства, навыка, а в некоторых случаях и определенного дара. Очень важно, например, как вы встретите посетителя — его надо точно оценить или, по крайней мере, постараться: богат, не очень или очень, какую живопись, графику, скульптуру предпочитает. А может, он просто гуляет и пудрит мозги? «Никогда не встречайте посетителей по одежке, очень богатые люди зачастую имеют самый неприглядный вид», — преподавали мне основы галерейного бизнеса его корифеи. Мастерство дилера сродни соблазнению, игра начинается с самого начала — важно то, насколько осторожно вы будете вести потенциального покупателя или клиента галереи по залам, угадывая каждое его намерение, чтобы в конце концов поставить его перед фактом: этот шедевр он уже не может не приобрести! Необходимо вовремя подойти и предложить показать работу в отдельной комнате, при специальном освещении, уметь рассказать о художнике и, разумеется, о картине. Для каждого нужно найти свой подход, язык, свои эпитеты и так далее. А когда он клюнул на крючок, тогда уже можно приглашать для завершения разговора директора галереи. Это целое театральное представление — выход директора или менеджера, которое придает ситуации необходимую солидность, даже торжественность. Можно и присесть, и попить кофе с покупателем, а иногда и шампанское предложить. Одним словом — охота хищников на еще больших хищников. «Вы должны вести себя так, будто они должны вам эти деньги, не стесняйтесь того,

что вы из них выманиваете сотни, тысячи долларов — это вы им делаете одолжение, а не они вам!» Вот чем объясняется достоинство тех, кто открывает двери в свой магазин или галерею. Это тактика! Я, конечно, беру самую гротескную сторону дела, тогда как галерейным бизнесом всерьез занимаются истинные ценители живописи, которым многие художники обязаны своей славой и состоянием.

Испытательный срок я прошла успешно, продав скульптуру весом в четверть тонны, размером два на полтора метра, и графику Шемякина. Да, здесь был и Пикассо, и Энди Уорхол, и Михаил Шемякин, с которым мне посчастливилось поболтать. А вот выманить у него на память работу — не удалось, увы! Итак, продавать картины я сумела, однако самое трудное было привыкнуть к ценам. В витрине галереи была выставлена литография Дэвида Хокни, стоимостью в сорок тысяч долларов. Размера она была небольшого — тридцать на тридцать сантиметров, симпатичная, конечно, но ничего сверхъестественного! Я не могла успокоиться и все говорила: «Вы знаете, сколько в России художников, да они вам такое в два счета изобразят, а тут сорок тысяч! Да на такие деньги в Москве можно семью кормить несколько лет!» Меня «заткнул» один из моих коллег, сказав как-то: «Ты что здесь делать собираешься? Картины продавать, чтобы деньги зарабатывать? Так вот, если будешь задумываться, стоят они этого или нет, и кто тот дурак, который за них платит, ты ничего не продашь!» Чего я хочу? Справедливости! Почему мы всегда хотам справедливости в ущерб своему кошельку?

Народ работал со мной презабавный. Один рыжий художник, увлекающийся созданием яиц из папье-маше, последователь культа Земли-матери, затем музыкант-барабанщик из Англии, которого постоянно выселяли за шум соседи, девушка из южноафриканских колонистов, бывший заключенный из Ленинграда, которого в результате застрелили в Лос-Анджелесе освободившиеся из зоны паханы, невестка одного из свергнутых коммунистических диктаторов, рассказывавшая мне о встрече с Индирой Ганди и о том, как тесть преследовал ее после развода с его сыном, и наконец, самый колоритный персонаж — эмигрант из Ливана. Этот Сэм был хитрющим с виду стариканом, он продавал самое большое количество картин, и его успех был для всех тайной. Он постоянно курил и с кем-то болтал, вертелся вдали от парадного входа в галерею, но в нужный момент возникал из ниоткуда и продавал работы на сотни тысяч долларов. Складывалось впечатление, что он обладает сверхъестественной интуицией или даже колдует. Но самой

убедительной была шутка, что Сэм просто набил руку и развил чутье на ливанских рынках, где с детства торговал всякой всячиной, начав с ковров и верблюдов.

Однажды в галерею зашел невысокий парень, рука об руку с дамой в преклонном возрасте. Была как раз моя очередь встречать посетителей, и я начала показывать работы, водя его от картине к картине. Его интересовал Шемякин, причем самые большие его работы — по три метра высотой. Я не придала этому значения, почему-то считая, что он просто убивает время, разглядывая замысловатые фантазии в цвете. Но он спросил цену одной картины и стал к ней приглядываться поподробнее, тогда я решила позвать директора. Высокий и приветливый Билл — наш директор — вышел из своего кабинета, подошел к клиенту, представился, спросил его имя. Тот назвался: «Грегори». Билл снова переспросил: «Грегори? Я не ошибаюсь, вы — Грегори Луганис?» Парень кивнул. Билл повернулся ко мне и торжественно произнес: «Елена, перед тобой стоит чемпион мира по прыжкам в воду — Грегори Луганис!» Затем обратился уже к Грегори: «А это известная русская актриса…» Мы разговорились, дама оказалась его матерью, правда, как я потом вычитала в его душераздирающих мемуарах — приемной, так как Грегори был взят родителями из детдома. В тот момент он уже был заражен фатальным вирусом, о чем, собственно, повествовала его книга.

После того визита Луганис стал постоянным клиентом галереи. А на первом в моей жизни аукционе он купил несколько работ Шемякина и маленькую скульптуру Лероя Неймана. Я чувствовала, что начался клев! И это чувство специфического азарта мне понравилось, правда, к заветному результату приходилось идти весьма долгими и витиеватыми путями. В другой раз мой коллега — рыжий художник по имени Чарльз — предложил мне поработать в воскресенье на художественной ярмарке, где он собирался выставить свои произведения (расписные яйца в метр высотой). Я должна была отвечать на вопросы посетителей и продавать работы. Мне это показалось любопытным, и я согласилась: ярмарка проходила ежегодно и была знаменита в Лос-Анджелесе. Решив принять более вызывающий внешний облик (под стать произведениям, которые я должна была продавать), я начесала волосы, подкрасила губы ярко-красным, вдела в уши крупные серьги, натянула мизерную мини-юбку, высокие каблуки и черные колготки. Выглядела я эдакой русской Тиной Тернер. В условленном месте я встретилась с Чарльзом и поехала на своей машине вслед за ним. Надо сказать, что я только что получила права и водить на открытом шоссе побаивалась Так что рисковала я в тот день во всех

смыслах сразу — и вид, и дорога, и яйца… Накануне состоялся вернисаж, и лавку с работами Чарльза представляла какая-то пожилая женщина, тоже художница. Для привлечения внимания она сидела верхом на яйце совершенно обнаженная, что произвело маленькую сенсацию. Ее показали в теленовостях и написали про нее в газетах. С грехом пополам я приехала к месту проведения ярмарки, взмыленная от избыточного адреналина и боевых действий на дороге. Я зашла в огромный зал, полный самых невероятных полотен и художественной утвари, и встала за стойкой возле работ Чарльза. В тот день мне удалось кое-что продать, и я не жалела, что согласилась. Уже перед самым закрытием я увидела группку людей, которые решительно шагали в мою сторону, а все вокруг расступались, освобождая им дорогу. Процессию возглавляла молодая женщина небольшого роста. Когда она приблизилась, я узнала Мадонну. Она остановилась невдалеке и стала переговариваться с кем-то из своей свиты. Затем подошла ко мне и начала расспрашивать: где та женщина, что сидела вчера на яйце, и кто художник. Чарльз как раз отошел, и мне пришлось что-то лепетать, восхваляя его творчество и объясняя, что обнаженной женщины сегодня уже не будет, а я на яйцо не сяду — это не было предусмотрено автором. Мадонна смотрела на меня с легкой улыбкой, изучая мое лицо и самодельный прикид — в ее глазах играло лукавство. Я в свою очередь отметила красоту ее глаз — фиалкового, какого-то редкого цвета, а также затаенную иронию и ум, сказывавшиеся во всей ее манере. Выслушав все, она поблагодарила и резко отошла, затем повела всех дальше, сквозь ряды других художников. Она шла как маленький Наполеон — решительно, жестко, преодолевая наработанную усталость. Мне всегда нравилась Мадонна, и встреча с ней подтвердила мои предположения о ней как о сильной и очень одинокой женщине. Позднее, вспоминая ту поездку, Чарльз будет рассказывать: «Ездить рядом с Элейной небезопасно, когда она выруливает на середину, трасса пустеет — это летит снаряд, который грозится смести все на своем пути!»

Однажды от нечего делать, прохлаждаясь на задворках галереи в ожидании посетителей, я взяла ручку и черкнула несколько строк на открытке. «Бойд, может ты давно сменил адрес, пишу на авось. Я живу в Лос-Анджелесе и работаю в галерее на Родео-драйв. У меня все хорошо. Счастливо. Лена». Поставив название улицы в Оранж Каунти и номер дома, я опустила открытку в ящик. Спустя неделю я снова сидела на задворках галереи, когда передо мной выросла длинная фигура с торчащими вверх стриженными волосами и темными очками на носу. «Хай! Это я! — сказал Бойд. — Я получил твою открытку!»

Размахивая руками, то приседая, то вскакивая, я носилась по галерее, объясняя всем, что мне срочно нужен перерыв на полчаса. «Вы не представляете, — глотая воздух, причитала я на ходу, — как много связано у меня с этим человеком!» Как только мы вышли за двери галереи, Бойд затараторил: «Элейна, прости меня, я был ужасен, я сходил с ума и изводил всех, прости мне все, что я тебе сделал плохого, я теперь совершенно чист от этой дряни!» Мы сели в ближайшем ресторанчике, и он продолжал свой монолог: «Я посещаю группу анонимных алкоголиков и наркоманов. Это как второе рождение, я не пью и не курю, все это грязь, все это дрянь, которой я пичкал себя. Теперь я каждый день хожу к ним на встречи и даже справляю вместе Новый год. Я ведь чуть было не умер… — У него выступили на глазах слезы. — Скажи мне, ты простила меня?»

В тот вечер мы пошли в гости к моей коллеге из Южной Африки. Она тоже ходила в группу анонимных алкоголиков, и у них с Бойдом оказалось много общих тем, пока они пили апельсиновый сок. «Элейна, — обратился он ко мне с усмешкой, — помнишь, ты мне раньше говорила, что в Москве никогда не бывает забастовок и проституток на улицах? А теперь все бастуют, и проституток больше, чем в Америке!» После гостей Бойд подвез меня до дома и отправился к себе в Апельсиновое графство. «У меня завтра встреча в группе анонимов, я не могу ее пропустить», — сказал он и поцеловал меня в щеку. Мы стали видеться, но чаще переговариваться по телефону. Его новые наставники призывали всех, кто выскочил из бездны, блюсти строгий режим, особенно если это касалось прошлых воспоминаний. «Элейна, ты знаешь, что я теперь каждый вечер делаю перед тем, как лечь спать? Нет, ты только послушай — я каждый вечер стою на коленях и молюсь Богу. Я, Бойд Блэк — молюсь, стоя на коленях!»

Небо наконец вняло моим мольбам и подарило светлый конец нашей долгой истории. О том, что она не могла иметь продолжения, было ясно и мне, и ему. Не знаю, от кого это исходило в первую очередь, но Бойд навсегда остался для меня тем человеком, который был способен пробудить во мне самые крайние из существующих мыслей и чувств — самые быстрые и окончательные. И мы отпустили друг друга. «Отпусти того, кого любишь, окутай розовым светом и отпусти, вроде воздушного шара в небо…»

Глава 70. Виртуальный мужчина

Под новый 1991 год я решила снова проведать

предсказательницу Джулию. И вот я у нее дома, как два года назад. Джулия показывает мне свои огромные полотна, написанные маслом, — очень яркие, энергичные работы, затем начинает говорить о том, что любая мечта осуществима. Помогает же ей осуществиться так называемая «творческая визуализация», которая сводится к зрительному представлению того, что ты хочешь достичь, и к положительной установке: у тебя это есть! В качестве примера она приводит мне свой красивый дом с садом, который она себе нагадала, — сначала представила, потом работала над своим видением, и оно материализовалось. И это вам не шуточки: она сменила Нью-Йорк на Лос-Анджелес, одно побережье на другое — вот какие вещи может творить воображение человека, если им правильно пользоваться. Она начинает раскладывать карты Таро. Из расклада следует, что я скоро встречу мужчину, которому серьезно за сорок, он шатен, родился под огненным знаком Зодиака, профессия у него артистическая, но не ясно точно какая, он состоятельнее меня, имеет двух детей и в разводе. Моя связь с ним кармическая, долгая — она поднимет меня на новую ступень развития и будет нам обоим во благо.

От Джулии я выхожу заинтригованная — откуда взяться этому человеку? Я каждый день встречаю множество людей, иногда хожу в гости, вижусь с друзьями, посещаю клубы, но дальше симпатии, флирта, несостоятельной влюбленности с быстротечной лаской — никогда не заходит. Все заняты собой, лечат нервы, зарабатывают деньги, медитируют, творят — мало шансов на сильные страсти, на роман, что уж там любовь… здесь все романтически дружат! Но хорошо хоть чем-то обнадежили! После истории с Бойдом я так долго никого не воспринимала всерьез, что мне нужно было наконец сменить мужской идеал. Хватит страстей-мордастей — я готова к новым отношениям: сбалансированным, устойчивым и полезным для здоровья, — так думала я, вдохновленная словами предсказательницы и оставалась сидеть на месте, дома, в кресле у телевизора. В отличие от меня моя новая приятельница, француженка Сильвиан, мужчину искала активно. Она каждый вечер выезжала «в люди». «Что ты сидишь? — спрашивала она меня, — идем!» Но я отказывалась. Потом она рассказывала, что встретила брюнета или блондина, или опять наткнулась на своего друга Ларри, с которым уже давно ни то, ни се. Иногда мы с ней вступали в культурологическую дискуссию, и выяснялась вся разница между русским и французским подходом к любви, а вернее, к ее поиску. «Почему ты сидишь дома, как ты найдешь мужчину? Ты дружишь с одними гомосексуалистами, смотри, останешься в одиночестве

до конца жизни. Надо идти, показываться на люди, искать!» — говорила пламенная Сильвиан. «Если суждено, он появится сам, а мне нужно то, что суждено», — отвечала я ей, а сама думала, что таскаться по кафешкам и ресторанам в поисках знакомства — это сродни проституции, хотя… чем-то я завидовала ее легкости. Сильвиан была старше меня на несколько лет, и умна, и воспитана, и просто весела, но никак не вульгарна, и уж тем более не была проституткой. «Это все возрастное», — думала я о своей приятельнице и продолжала ждать своего «дядьку», сидя на кушетке.

Так я досидела до новогодней ночи. Еще с утра Сильвиан названивала и спрашивала, куда я иду. Я отвечала, что зовут в пару мест, и в последний момент я решу. Но тут она снова позвонила и позвала на ужин к ее приятельнице, тоже француженке. «Будет вкусно и по-домашнему. Жаль, что ты без сопровождения, там надо быть в паре, но ничего, приходи». Эта новогодняя ночь отличалась от других «голубой луной», blue moon. Это когда в один месяц сразу два полнолуния. Так вот, новогодней ночью была как раз вторая полная луна. Ну, наверное, она все и решила: я встретила того, о ком говорила Джулия. Только представьте себе: вхожу я к француженке на Новый год, а мне открывает дверь мужчина! На вид лет сорок восемь, шатен, волосы артистически завязаны в хвост, высокого роста. Так, слово за слово, разговорились, и я узнала, что он рожден в августе, по зодиаку Лев, (стихия — огонь), ему сорок восемь лет, он в прошлом актер и фотомодель, сейчас пишет картины, сбежал от войны во Вьетнаме и отсиделся в Париже. Там успел жениться на внучке Нины Риччи и развестись с ней, имеет от этого брака двое сыновей. Теперь женат во второй раз. Правда, живет с женой в разных штатах (спустя три месяца общения со мной он наконец решится и отошлет жене бумаги на развод), так что и тут сошлось. Его звали Джеймс… этого гадалка мне, правда, не сказала. Не веря своим ушам и глазам, я тем не менее была готова поверить в чудо, случившееся со мной прямо в новогоднюю ночь. Я смотрела на гостя с нескрываемым любопытством и все ждала: в каких именно словах и выражениях начнет осуществляться моя кармическая связь с неизвестным. Удивительным было то, что я была и действующим лицом и наблюдателем, а главное — мне ничего не надо было делать, все должно было случиться само собой, по мановению волшебной палочки! Итак, гости проводили старый год, выпили за новый, начали ходить по кругу и поздравлять друг друга, желать счастья и расцеловываться по очереди с каждым. Дошла очередь и до нас с ним. Он поцеловал меня, а затем сказал, что этот поцелуй на

вкус напоминает ему электрические батарейки. «Началось!» — поняла я. «Ты пробовала когда-нибудь лизать электрические батарейки?» — спрашивал меня мужчина с сединой в густых волосах и тонким красивым лицом, изборожденным морщинами. А потом сказал, что с ним такого давно не случалось и он хочет, чтобы я переехала к нему. Джеймс не был ни хиппи, ни маргиналом, ни наркоманом, ни сумасшедшим, ни алкоголиком — отнюдь. Правда, его последняя жена была. «Нельзя изменить другого человека!» — горестно говорил он о своей попытке, потерпевшей фиаско. «Она была золотой девочкой, снималась у Энди Уорхола, позировала самому Дали, была замужем за солистом Mamas and Papas… но теперь она неудачница, и алчная неудачница!» — поведал он мне немного позднее очередную голливудскую историю.

Но история, предсказанная мне Джулией и стремительно стартовавшая в новогоднюю ночь, продолжала победный полет все последующие недели. И я с каждым шагом изучала ее все с большим и большим интересом — что еще ждет меня? Ах, какого славного человека мне уготовили небеса! Он жил в центре Лос-Анджелеса, там, где высотки, как в Нью-Йорке. У него был «лофт», или студия, метров двести. Да, именно так — он катался по своей квартире на роликах, а по калифорнийским дорогам — на мотоцикле. Но что за чудо (вот он, перст судьбы): попав к нему домой, я вижу, что белые стены разрисованы — и на одной из них изображен Новодевичий монастырь! А на длинном верстаке стоит коробка, в которой карточки с русскими словами — он взялся учить русский еще до встречи со мной! Нет, кармическая связь — это особенная связь, в ней время движется в обратном направлении, из будущего — в прошлое!

Помимо чисто человеческого обаяния, Джеймс на самом деле был интересен как представитель либерально настроенной американской интеллигенции. Он и ему подобные выступали против американского империализма и, как у нас говорили в советские времена, — военщины. Когда Америка начала военные действия против Ирака, по улицам Лос-Анджелеса маршировали патриоты с желтыми ленточками на груди и призывали поддержать своих солдат. Их было очень много, как в былые времена на наших улицах Первого мая. Джеймс вступал с ними в полемику и доказывал, что их обманывают. Как-то он сцепился с полицейским на тему войны, и тот, распознав в Джеймсе пацифиста, огрызнулся: «Таким, как вы, надо сидеть за решеткой, а не разгуливать…» Один раз я видела, как он выскользнул на улицу из тесной компании, примостился в углу, чтобы остаться незамеченным, и заплакал. Это произошло из-за внезапно

возникшего спора о Вьетнаме. Кто-то из ортодоксов снова предъявлял ему претензии, что он отказался идти убивать. Джеймс считал себя и подобных ему — истинными патриотами, думал, их будут встречать на родине, как героев. Эх, пацифисты, пофигисты, гуманисты, артисты… что с вами? На родине дезертиров долгое время ждала тюрьма. А когда законы смягчились, и им все-таки разрешили вернуться, то они были обязаны отрабатывать повинность в качестве социальных служащих — на стройках, бензоколонках и так далее. То ли поэтому, то ли еще зачем-то Джеймс продолжал реставрировать квартиры и делал это мастерски, со вкусом — прямо как наши отказники в советские времена или уволенные научные сотрудники. Он и дома все мазал краской — стулья, раковину, стены, мастерил какие-то настольные лампы по собственному дизайну и рисовал. Если бы не призыв во Вьетнам и не последовавшее за этим мгновенное бегство, возможно, он мог стать известным голливудским актером. У него уже был подписан контракт на десять лет вперед с компанией «Парамаунт Пикчерз», который спустя пятнадцать лет, конечно, был никому не нужен. Внешне Джеймс мог сойти и за Бонда, и за любого красавца американского кино, начиная с пятидесятых, он чем-то напоминал Клинта Иствуда или Тома Шепарда — настоящий американский мэн традиционных времен. Сожаление о несостоявшейся карьере актера (как и любой другой карьере по большому счету) было в нем весьма ощутимо. И в конце концов привело к тому, что он стал играть в маленьких театральных постановках в Лос-Анджелесе, пока не переехал снова в Европу, где даже сыграл на лондонских подмостках вместе с Рупертом Эверетом.

А пока, выйдя на лоджию своего индустриального здания, он окидывал взглядом мчащиеся по фривэю машины и удовлетворенно щуря глаз, бросал им вдогонку: «Ну что, поехали, крысы?»

С Джеймсом нас объединяла некая неприкаянность, свойственная вообще определенному типу людей, и, кроме того, на обоих лежала печать оторванности от собственной земли — он во многом был европейцем и чужим в своем отечестве. И там, и здесь, и нигде. Я даже всерьез поверила, что предпочла наконец роковому Бойду кого-то другого. Пока вдруг все не стало развиваться по незапрограммированному Джулией варианту.

Сначала он предложил мне довольно странную вещь — расстаться на месяц, чтобы подумать о наших чувствах, а потом встретиться и все сразу решить: разойтись или ехать прямо в Лас-Вегас. Я не поняла, при чем тут Лас-Вегас, и тем смешнее

показался мне говоривший об этом мужчина. Потом выяснилось, что Лас-Вегас — единственное место в мире, где расписывают за двадцать четыре часа, при этом не требуя документов о разводе с предыдущим супругом или супругой! Меня такой вариант не устроил. Испытание разлукой казалось мне в то время ненужным.

По правде говоря, в том, что касается чувств, меня вообще всегда несет, словно с горки — лучше и не скажешь. И даже когда на пути появляется опасность для самих отношений, я все равно одержима движением вперед, пусть и к концу. Нет у меня в чувствах инстинкта самосохранения, видно, я не была запрограммирована на создание прочного семейного союза. А в этих отношениях я тем более была лишена предосторожности — ведь плохого конца мне в них не нагадали. И мы продолжали встречаться. Вдруг Джеймс начал высказывать опасения, что он слишком устал и ему надо думать о своем здоровье и покое. Он и правда был не очень здоров, страдал псориазом. Я впервые тогда увидела человека, который колется в общем опасным для нервной системы лекарством — гидрокортизоном. Зато мгновенно снимающим боли… Одним словом, Джеймс впал в самокопание и пересмотр всех ценностей. Он отослал жене бумаги для развода и залег на диван. Днем спал, а ночью бодрствовал. Мы общались по телефону. Потом к нему приехали дети из Франции. Два очень красивых мальчика. Младший Джон, лет четырнадцати и старший Али — восемнадцати. У каждого в Париже уже был собственный дом в лучшем районе города, чему завидовала не только я, но, думаю, и Джеймс. После их отъезда Джеймс вдруг собрался и тоже улетел в Париж, за ними. По его словам, на год.

Вот так так! Я набрала номер Джулии и стала предъявлять ей претензии: «Вы мне сказали, что это надолго, кармическая связь для обоих, а он улетел в Париж, что это значит?» Анекдот, одним словом. Я никак не могла взять в толк, что тот, кто появился точно по предсказанию и совпал по всем параметрам, вдруг может сделать финт ушами! Только позже я поняла, что, собственно, случилось. Гадание совпало, но оно не учло деталей, а в них вся суть. Дьявол, как и Бог, — в мелочах. А потом кармическая связь, как и любая другая, не обязательно сталкивает людей нос к носу за кухонным столом на всю жизнь. Она длится поодаль. Вот чем заканчиваются волевые попытки сконструировать свою личную жизнь и свою судьбу — вполне рациональным ответом на поставленный вопрос. Нет, не все можно и нужно режиссировать в своей жизни. А судьба, она хоть и вправду — индейка, но ее не перехитришь!

Глава 71. Креветки

Исчезновение с моего горизонта многообещающего кармического романа подействовало на нервную систему отрицательно. Я две недели лежала в кровати и не могла общаться с миром. Галерея начала раздражать, так как она была совместима со всем, чем угодно, но только не с отрицательными эмоциями. Вот еще один аргумент в пользу творческой профессии — расстройства на личном фронте питают воображение и побуждают к самовыражению. А продаже картин способствует только здравый рассудок и расчет. Так, когда я лежала на кровати и грызла залитую слезами простыню, меня вдруг осенило, и я дописала рассказ, который был начат еще в 1976-м году. Это рассказ о мальчике, у которого из дома пропала мама. Завязка была написана и чем-то меня очень интриговала, а вот продолжение никак не шло. Но теперь из меня вдруг полилось без остановки: слово за слово, и я его дописала. Про мать и ее исповедь, которую она доверяет своему мальчику, отправившись с ним в фантастический полет. Будто много лет этот текст лежал где-то готовый и ждал своего времени! Чудеса. Вот что такое стресс! О личном я не могла даже подумать — меня всю обжигало от боли и несправедливости. Возможно, горечь вылилась в такой иносказательной форме и это принесло облегчение. В это самое время знакомый мне еще по Москве поэт, друг семьи, Петя Вегин, работавший в русскоязычной газете, предложил опубликовать мои стихи. Для этого он усадил меня за свой компьютер и сказал — пиши. Он просто хотел отвлечь меня — и правильно сделал. Я начала готовить материалы для публикации из своих старых и новых записей. Работала у него дома, там же и ночевала какое-то время, в соседней с его спальней комнате. Глядя на то, как я механически бью по клавишам, печатая свои скромные фантазии, он вздыхал и подбадривал меня, по-отцовски переживая мою женскую непутевость.

Как-то он позвонил и сказал, что есть у него друг-иммигрант, который знает меня по экрану и теперь хочет пригласить на ужин. «Очень богатый, главный инженер завода!» — повторял он со смыслом. Я отказалась. Через день-два он снова повторил приглашение — я снова отказалась. Однако мужчины, кажется, о чем-то договорились между собой, так как он продолжал меня уговаривать уделить время его другу, объясняя, что тот не унимается и жаждет сводить меня попробовать морскую кухню. «При чем тут морская кухня — это что, особая привилегия, что ли? — думала я с раздражением. — Почему разбогатевшие русские считают, что женщину можно соблазнить едой? Совсем когда-то изголодались, несчастные, теперь вменяют это себе в достоинство — кормить устрицами, которых нет в России!» Так

продолжалось некоторое время — он капал мне на мозги этим ужином с приятелем-богачом, пока в конце концов я не решила пойти, чтоб прекратить надоевшие разговоры. «Что они все хотят от меня?» — гневно думала я. «Наверное узнал, что я снова в одиночестве, и решил меня утешить, только чем? Креветками и омарами? Почему все мужики такие самонадеянные?» — «Он немолодой, и, наверное, не в твоем вкусе, но человек замечательный!» — приговаривал мой знакомый, похлопывая в ладоши, будто выиграл пари.

И вот я сижу в морском ресторане прямо на набережной. Напротив меня — маленький человек в очках, с добрым и умным лицом, намечающейся проплешиной на макушке и округлой фигурой. Он угощает меня закусками, красиво сервированными на ледяном блюде, и сухим вином. Я делаю глоток, другой, отвечаю на его вежливые вопросы и думаю о трагизме своего женского положения. В моем любовном романе всегда наступает катастрофа, после которой я хожу, как раненый зверь. Как правило, отношения у меня складываются сложно, и люблю я людей, у которых запутанная непонятная жизнь. Каждое очередное расставание равносильно смерти. Я их теряю в буквальном смысле — человек исчезает не только из моей жизни, но и близлежащего пространства. И часто я не могу даже понять, что произошло. Одиночество бывает невыносимо, и тогда я ищу контакта, который оказывается еще невыносимее: мне начинают предлагать внимание и человеческое тепло совершенно чуждые люди. Да они ведь не просто предлагают тепло — они требуют его от меня! Как у них все просто. Как будто за пять минут они могут объяснить что-то, чего я не понимаю, и все тут же встанет на свои места! Мне так плохо от наивной пошлости, скрытой за подобными «ужинами», что я вдруг начинаю играть с ситуацией по ее же законам — фальшивым и гротескным. Я представляю все происходящее со стороны — будто я зритель на киносеансе, где крутится лента в жанре фарса. А на «экране» происходит следующее. С бледным, осунувшимся лицом, то и дело поднося к губам дымящуюся сигарету, я бросаю печальные взгляды «а-ля Грета Гарбо» в сторону сидящего напротив меня кавалера. Только на месте «кавалера» не Кларк Гейбл, а округлый лысеющий бодрячок. Наконец осуществилось напутствие моей подруги Сильвиан: вылезла вечером из дома «в свет» и вот сижу в ресторане, как все приличные, уважающие себя женщины. Правда, моя ситуация скорее напоминает пародию на женское счастье. Мой джентльмен — полнеющий очкарик в летах, а я, может, где-то в России и звезда экрана, но здесь об этом никто даже не догадывается. Со звездой Голливуда и калифорнийской «леди»

меня объединяют лишь крашеные светлые волосы. Я езжу не на «Кадиллаке» или «Ролс-ройсе», а на подержанной «Тойоте-королле». Живу не в особняке на горе, а под чердаком двухэтажного домика, где с трудом могут уместиться два человека… и то лежа, а не стоя. Одна радость, что окна выходят на крошечный садик с фонтаном и розами.

«Заказать что-нибудь еще? Что вы хотите?» — интересуется мой джентльмен, имея в виду морские холодные закуски. «Спасибо, да, еще чего-нибудь закажите… или нет, как хотите…» — отвечаю я ему, подавляя волны ненависти к себе и идиотизму ситуации. Мне хочется сказать ему всю правду, которую, впрочем, говорить нельзя, так как это бесчеловечно. Но я продолжаю низким грудным голосом, чувствуя, что так играют в фильмах женщин «вамп». Именно этого, кажется, он от меня и ждет. «Если быть откровенной, — начинаю я витиеватую мысль, — то у меня нет аппетита. Я и идти-то не хотела, но вы настаивали. А ведь я предупреждала, что у меня есть личные проблемы…» Мужичок придает своему лицу выражение искреннего сочувствия и предлагает свои услуги. «В чем дело? Чем вас развеселить?» — спрашивает он по-отечески. Тут бес подстегивает меня, и я хочу сказать ему что-то обидное: «У вас не получится меня развеселить, да и какая разница, что со мной… Вы ведь все равно не сможете мне помочь…» — «Говорите, не стесняйтесь», — подхватывает он, не чувствуя подвоха. «Вы звали меня сюда, вот я пришла, доставила вам удовольствие… — ледяным тоном цежу я каждое слово, желая вонзить жало поглубже. — Вам нужна была я, а хотите знать правду, что нужно мне? Мне нужны деньги!» Закончив наконец бесконечную фразу, я замираю — от собственной дерзости перехватывает дух. Я вижу, как мой мужественный мужчина борется со страхом быть обманутым и боязнью показать это мне. Наконец решается. «Деньги — да это не проблема, сколько вам нужно?» — отзывается он наконец. Вот досада, я не продумала ситуацию так далеко и не подготовилась к ответу. Перебрав в голове возможные суммы, я решаюсь и аккуратно произношу: «Две тысячи!» Мой «миллионер» облегченно вздыхает и с видом победителя заявляет: «Всего-то? Я дам вам эти деньги, и можете даже не возвращать их!» После его слов я испытываю внезапное просветление: где-то внутри грудной клетки заиграли и забегали солнечные зайчики. Мне становится весело на сердце и в то же время немного обидно, что не назвала большую сумму. Я смотрю на него иронично: неужели говорит правду, денег-то небось жалко? Он как будто читает мои мысли: «Сейчас после ужина зайдем ко мне в отель, здесь неподалеку, и я выпишу вам чек».

Теперь мою душу переполняет какой-то ребяческий восторг, и я понимаю, что причина этого восторга — вот этот тип, поглощающий креветки: он воплощает в жизнь мои желания в самом что ни на есть материальном смысле. Мне даже начинает казаться, что в его облике появилось что-то от Кларка Гейбла… По дороге в его отель я стараюсь оживленно болтать, считая, что этого требуют приличия. Оказавшись в номере, он вынимает свою чековую книжку и, подписав чек, вручает его мне. Я быстренько прячу его в сумку, чтобы он не исчез по какой-нибудь случайности. И замираю в замешательстве: что делать дальше? Нельзя же просто взять и сбежать? Свести всю ситуацию к такой банальщине — плохой вкус, надо поставить в конце какой-то вензель. Созданный мной образ тоже требует более романтического завершения… «Родной! Добрый!» — думаю я о мужчине, стоящем напротив меня, — он выглядит сейчас, как будто его обидели. Мне хочется его чем-то отблагодарить, снизойдя с пьедестала, как это сделали бы Грета или Марлен, добавив в придачу каплю моего собственного сострадания… «Чем вас отблагодарить? Хотите, я обниму вас и поцелую?» — говорю, желая сделать ему приятное, при этом не до конца выходя из образа расшалившейся дивы. Он смотрит на меня с грустью и легкой мужской злостью, затем отрицательно качает головой. Но я разыгралась не на шутку — отчаянный азарт гонит меня довести ситуацию до ее логического завершения. «Нет, ну почему же, давайте я вас обниму, неужели вы этого не хотите?» Он снова качает головой, но потом соглашается: «Если вы так чувствуете, то пожалуйста! Но не через силу…» Я заверяю его, что мне ужасно хочется обнять родного человека — в знак благодарности… да и вообще: одиноко! Мы усаживаемся с ним на тахту, и я принимаюсь гладить его по лысеющей голове и крепко обнимать, словно он мой дядя или кто-то из родственников. Склоняю голову ему на грудь, словно ища защиты. Мне грустно, ему тоже. Почему человека надо обнимать только при таких немыслимых обстоятельствах? Неизвестно… Н-да-а… вот если бы мы с ним встретились, скажем, в группе психологической помощи людям с заблокированными эмоциями, то обнимались бы так каждый день… и не только друг с другом, а с огромным количеством себе подобных. От скольких нелепостей мы были бы тогда избавлены! А тут вон что городить приходится, бедолаги мы все какие-то — эмигранты. «Хотите я сниму кофту?» — спрашиваю я и начинаю расстёгивать тонкую блузку. При этих словах в моём воображении встаёт образ Марлен, Софии, Вивьен и то, что о них говорил мне когда-то Тимур. «Прекратите немедленно!» — резко останавливает меня мой собеседник. Мне

начинает казаться, что этот человек намного умнее, чем я предполагала. И он видит, чего мне на самом деле стоит разыгрываемый мной образ. «Ну все, пошли? — говорю я ему по-дружески. — А то спать захочется!» — «Никому не рассказывайте никогда про эту сцену, вы поняли, Лена?» — говорит он напоследок. Я заговорщически киваю головой в знак согласия. Мы выходим из номера, и он берется проводить меня до моей квартиры. У дверей белоснежного домика мы прощаемся, и он исчезает, унося в темноту ночи свои воспаленные мысли.

На следующий день приятель-литератор, подвозя меня в редакцию, нарушает долгое молчание: «Ленка, ты в своих экспериментах заходишь слишком далеко. Будь осторожна, это опасно!» Я молчу. «В следующий раз не будете звать меня есть креветки, когда у меня душевная травма!» — отвечаю я всем мужчинам сразу… куда-то «в воздух». Мой друг чувствует весь мой надрыв и, кажется, со всем соглашается. А я с чувством благодарности к соплеменнику-инженеру сжимаю в кармане чек на две тысячи, которые вскоре истрачу на поездку в Париж.

Глава 72. Шофер и повар…

Как я уже упомянула, со мной вместе на Родео-драйв работал парень из Ленинграда. Не считая одного из хозяев галереи, мы с этим парнем были единственными русскими. Это объединило нас в первое время моего пребывания в Лос-Анджелесе, и я даже делила с ним квартиру — я снимала одну комнату, он другую. (Условно буду называть его Кузей — производное от фамилии.) Так вот, Кузя был видным молодым человеком лет двадцати семи, с обаятельной улыбкой, кудрявым чубом, свисающим над голубыми, чуть раскосыми глазами, курносым носом и здоровым цветом лица — одним словом, из тех, на кого обращают внимание женщины. Впрочем, в нем было много такого, чему могли позавидовать все мужчины — Кузе везло и с деньгами, и со связями. Он начал продавать картины с такой же легкостью, с какой, наверное, в Москве продаются помидоры. На вернисажах он непринужденно шутил с миллионерами, записывал в телефонную книжечку номера голливудских звезд и спустя сутки уже рассказывал о том, как проводил ночи напролет у них на вилле или кутил с ними в престижных ночных клубах. Он был разговорчив и весел, умел импровизировать на обоих языках и обладал определенной раскрепощенностью и напористостью, которые способствовали не только продаже картин, но любому начинанию в Америке, стране бизнеса и успеха. Плодом его ночных похождений стало знакомство с самим Арнольдом, то

бишь Шварценеггером, и предложение последнего написать сценарий для Голливуда по Кузиным рассказам о его российских приключениях. А «приключения», судя по всему, были недюжинные… Когда он засучивал рукава рубашки, делая это небрежно и без специального умысла, на его левой руке, от локтя к кисти, был виден замысловатый узор: штук двадцать зарубцевавшихся шрамов. «Сидел за глупость, антиквариат, фарца!» — глядя вдруг исподлобья, бросал Кузя и продолжал какое-нибудь дело, призванное укрепить его тело, ум или кошелек.

Дома он качался, смотрел телевизор и рассуждал о жизни в Америке, зубрил незнакомые английские слова и читал Набокова. «Какой писатель! — восторгался он, и на лице его при этом играла мечтательная улыбка. — Слова такие… нежные, правда?» Как-то раз он подвозил меня до дома на своем «мерсе» и, глядя на тонкий месяц в высоком калифорнийском небе, на аллею из пальм и кипарисов, вдруг расчувствовался и принялся рассуждать. «Я или стану крутым миллионером и все здесь куплю… или буддистским монахом!» — сказал он мне доверительно. Я удивилась такому разбросу фантазии, особенно образу монаха. Он почувствовал мою иронию и сказал, что в его желании нет ничего странного, потому что и то и другое — стороны одной медали, он сознает, что деньги могут разочаровать и все это пустое, а движет им азарт игрока, он хочет или завоевать этот мир, или отказаться от его ценностей. Он даже успел порассуждать о том, что продавать произведения искусства безнравственно, и всякий раз, когда он получает деньги за Пикассо и Шемякина, его сердце сжимается и на душе кошки скребут. Я дивилась этому феномену, в очередной раз наблюдая, как он снимает со стены тот или иной «шедевр», раскланивается с респектабельным покупателем, а выходя из галереи, попадает прямо в руки двум-трем долговязым моделям, погружает их в машину и уносится в ночь, чтобы на следующее утро, отжимаясь на полу, рассуждать о завоевании этого вражеского мира. Однажды он попросил у меня десять долларов в долг. Я сказала, что не могу ему ничего дать. К моему удивлению, его это только подзадорило, и он начал торговаться. Сначала он снизил сумму до семи долларов, но когда я отрицательно махнула головой, то словно на аукционе стал называть по нисходящей: пять, четыре, три… И в конце концов, дойдя до финала, спросил: «Ну хоть доллар-то у тебя есть?» Это был пример того, как мой коллега и брат по славянской крови с жадностью и нацеленностью настоящего борца вырабатывает тактику успеха.

Однажды он принес огромный полиэтиленовый мешок,

набитый женской одеждой. «Бери — здесь маленькие размеры, это я у богатой кореянки для сестры в Ленинграде выпросил, себе взял, что побольше, а это мало!» Я поблагодарила его за заботу, но от вещей отказалась, мне этот ворох пиджаков и платьев показался подозрительным. «Не может быть, чтобы она тебе это бесплатно отдала?» — недоверчиво переспросила я его. Он возмутился и с темпераментом защитника справедливости стал уговаривать меня забрать вещи, пока не поздно. «Бери, тебе говорят, это они зажрались тут, меняют шмотки каждую неделю, а наши бабы в таком лет пять ходят!» Между тем личные доходы Кузи становились все больше, и он собрался съезжать с квартиры. Стал ездить по дорогим районам, присматривать себе новое жилище — с джакузи и гимнастическим залом под боком. «Поедем вместе со мной! Ты мне нравишься, я тебе доверяю. Будешь моей соседкой, привык уже. Мы с тобой так хорошо беседуем, наверное, потому, что одного знака Зодиака», — повторял он время от времени. Но я отказывалась переезжать с ним за компанию, чувствуя, что у нас разные стили жизни, вкусы и цели.

Как-то раз он настроился на приватный разговор, отведя меня в сторонку во время ланча и попросил держать все в тайне. «Я предлагаю тебе одно дело, — интригующим тоном начал он, — ты должна пойти в дом, где висят дорогие полотна, и приценицься. Якобы ты их покупаешь… А потом выйти, сказав, что вернешься чуть позже с рабочими. Мы тебя поджидаем с машиной, отвозим домой, и все… твоя функция на этом закончена. А деньги потом делим между собой!» Не сразу сообразив, что все это говорится всерьез и что мне предлагается стать наводчицей, я начала переспрашивать, поддерживая тон игры. «И это все, что от меня потребуется? А за что же доля? А если поймают? А что будут делать те, кто придет после меня? А если потом меня уберут, как свидетеля?» и так далее. Кузя отвечал на все вопросы, повторяя, что моя функция самая безопасная и что проколоться практически невозможно. Все выспросив и глядя в его улыбающееся озорное лицо, я так же весело отказалась: «Видишь ли, я не подхожу для этой роли, мое лицо слишком запоминающееся, я ведь похожа на Ширли Мак Лейн, а здесь ее все знают!» На этом разговор был закончен, однако он оставил во мне сомнение — неужели все, что он предлагал, было правдой или он меня зачем-то провоцировал… Впрочем, вскоре обстоятельства сами дали ответ на этот вопрос. Кузю выгнали из галереи. Один из клиентов пожаловался на то, что номер его карточки использовал кто-то из наших. Ему приходили счета за покупки, которые он не делал. Тогда хозяева

нанял и частного детектива для наблюдения за сотрудниками. В конце концов все следы привели к Кузе. Его вывели из галереи под конвоем директора, главного менеджера и еще кого-то. Всем работникам строго наказали не впускать его больше на нашу территорию и не поддерживать с ним отношений. В суд на него не подали — пощадили.

Однако Кузя вскоре устроился на другую денежную работу и продолжал накапливать капитал, ездить на шикарных машинах и иногда появлялся перед центральным входом нашей галереи на Родео-драйв. Помашет рукой из машины и поедет дальше или постоит у дверей, скажет что-нибудь веселое и исчезнет. Бывало, он звонил в галерею и подзывал меня к телефону не своим голосом. Когда я брала трубку, он переходил на русский и болтал с мной. «Как живешь, что делаешь, как продаются работы…» и так далее. О себе он говорил, что дела у него идут замечательно и он даже выписал из дома в Калифорнию двух парней, один работает у него шофером, другой поваром. «Приходи как-нибудь, накормлю тебя, вкусно готовят!» — приглашал он не раз. Я благодарила и напоминала ему, что не могу с ним разговаривать из галереи — запрещено. Он соглашался закончить разговор, приговаривая напоследок: «Ты, наверное, думаешь, что я вор, но я не вор, у меня есть своя версия случившегося… если интересно, я когда-нибудь ее тебе расскажу. Ты просто мне нравишься, я тебе доверяю. Я помню, как мы с тобой тогда в машине разговаривали в новолуние… про буддистов и что я хочу стать монахом».

Примерно через год, зимой, телезрители Лос-Анджелеса были потрясены криминальной сводкой. Двое молодых русских были найдены в квартире зверски убитыми, а их убийцы пойманы на месте преступления. Они почти не говорили по-английски. Полиция приехала по вызову соседей, пожаловавшихся, что какая-то машина с работающим мотором перегородила им выезд, а хозяина нигде нет. Появившаяся полиция стала обзванивать близлежащие дома, дверь одной из квартир открыл мужчина с окровавленными руками… Это был или повар Кузи, или его шофер. А жертвами оказались Кузя и случайно подвернувшийся его знакомый из России. Они собирались в тот день ехать играть в теннис и забежали домой, как оказалось, не вовремя. Весть о случившемся застала меня в Париже, куда я приехала погостить по пути в Москву. Мне позвонила из галереи секретарша, пожилая женщина, с которой я дружила, и сообщила о потрясших всех новостях. Этот случай стал показательным примером разборок русской мафии в Америке. О нем писали в газетах, журналах и даже в «Плейбое». Я так и не знаю подлинную историю Кузи. Один мой знакомый, получивший доступ к

архивам МВД, говорил, что читал его дело… и оно было намного хуже, чем то, что он сам о себе рассказывал. Его трагический финал еще долго обсуждался в галерее. И все сходились в одном: Кузя мог стать очень богатым человеком в Америке без всяких афер и воровства. Ему достаточно было положиться на свои природные данные, ум и талант бизнесмена… Зайдя в те дни в русский храм, я заказала молебен по убиенному, чтобы как-то облегчить страдания его заблудшей души. Казалось, он от меня этого и ждал.

Глава 73. По кочкам, по кочкам…

Я, конечно, затаила фантазию — еще раз увидеть Джеймса и выяснить окончательно: что там с нашей общей кармой. (Тем более что Джулия опять гадала: продолжение последует, и не позднее чем ближайшим летом…) Он приезжал на неделю в Лос-Анджелес, мы встречались, и это было мило. Я читала ему свой рассказ, дописанный спустя примерно десять лет, и он с любопытством меня слушал. Перед его возвращением в Париж мы договорились поддерживать дружеские отношения и ничего не загадывать наперед. А я потихоньку стала вновь подумывать о возвращении в Москву. Какой из меня в конце концов артдилер? Стоит чувствам немного разболтаться, и мне уже не до картин и не до заработков — только бы помечтать, подумать и попереживать! А такое только Москва может вынести… И тут вдруг мне в галерею позвонил из Парижа мой давний друг Убер и сказал: «Приезжай в гости, я совершенно здоров, все лето плавал, загорал. Попробуй пожить здесь, будешь моей соседкой, я поселю тебя в отдельной комнате на втором этаже. Франция лучше, чем Америка, и уж точно, чем Россия, а вернуться в Москву ты всегда успеешь». Меня соблазнила перспектива жизни в собственной комнате в Париже — наконец вдоволь поброжу по всем улочкам и кафешкам, насмотрюсь на мосты, нагорююсь вдоволь под органную музыку костелов… А кстати и Джеймса увижу. Как точно Убер мне позвонил, какое совпадение!

Но какой сюрприз ждет меня в Париже, я не могла предположить. Распрощавшись с галереей и пообещав когда-нибудь вернуться, я собрала вещи и отправилась в Париж. При встрече, прямо в аэропорту, Убер начал серьезный разговор. «Я снова колюсь, это началось вскоре после звонка тебе… только ты можешь мне помочь. С тобой я брошу». Теперь я чувствовала себя специалистом по снятию людей с наркотиков. Что было делать? Я-то и вправду собиралась пожить здесь месяца два-три. И я осталась. Борьба с зельем велась не на шутку. Мы договорились с

Убером, что он не упрекнет меня, если я буду останавливать его и запрещать уходить из дома. Но на деле это превратилось в схватку. Убер бегал от меня по всему дому, и когда я воевала с ним за очередную дверь, в которую он пытался проскользнуть — входную, от ванной, туалета, — он спрашивал: «Ленушка, тебя в КГБ научили следить?» Я кричала, что он сам меня об этом просил и знает, зачем я это делаю. Он смотрел мне прямо в зрачок своим синим и бездонным взглядом… и убегал при первой возможности. Он кололся во все места и во всех местах, даже на кухне у мамы с папой, во время семейного праздника, из-за чего в коридоре произошла схватка между Убером и родственниками, включая самых маленьких племянников. Вся родня смотрела на меня с отчаянием и надеждой. У него были исколоты уши, так как на руках уже не было вен. Мне удалось выманить его однажды в парижскую группу анонимных наркоманов, и я даже сама пошла с ним — очень на нее надеялась. Тут не обошлось без фарса. После занятия мы возвращались домой пешком, и элегантно одетый Убер, мерно вышагивая по тротуару, как ни в чем не бывало принялся философствовать: «Мне встреча понравилась, только все, кто выступал сегодня, на кого-то обижены и недовольны жизнью, а я о себе этого сказать не могу. Я люблю жизнь и работу свою люблю. Они не согласны с Богом, с родителями, с женой, с политикой. А я все люблю и со всеми согласен!» — «Так в чем же дело?» — «Я не знаю, я всем доволен». Его демагогия сопровождалась очень красивыми и многозначительными взглядами и жестами «а ля Ив Монтан», адресованными всему Парижу. К слову, о работе. У него были свои пациенты — в основном пожилые люди, к которым он ходил на дом. Однажды какая-то престарелая мадам пожаловалась, что доктор заснул, сидя у нее на кровати, в то время, как измерял ей давление! Бедная старушенция чуть сразу ласты не склеила (современное идиоматическое выражение, означающее то же, что отдать концы). Впрочем, такой красавец, и спит у ее ног… не выпуская из рук аппарата для измерения давления… Могла бы его и рядом положить, в конце концов, тоже мне!

Но эта страшная возня рано или поздно закончилась победой. Нашей победой. «День Победы, день Побе-е-е-ды!» Вместе с одним из братьев Убера мы повели атаку, и он сломался. Стал принимать какие-то новые лекарства, снимающие тягу и ломки, и выкарабкался. Будем надеяться, что окончательно.

Я ходила по галереям и выставкам. Смотрела на Джакометти и Макса Эрнста. Даже сама стала рисовать абстракции. Это гораздо сложнее, чем предметные картины. А Джеймс… Мы виделись с ним, много говорили о разном. Он подарил мне

хорошего поэта, которого я не знала раньше — Лоуренса Ферлингстти. «Друзья всегда оставляют после себя какую-нибудь песню»… или поэта.

Иногда я выбивалась из сил и тогда ложилась на пол и лежала. Ко мне приезжал Алешка Коновалов и внушал, что я сейчас встану и пойду. Так и случалось. Один раз я даже легла на пол в музее Д'Орсе. Красиво — лежать на полу в музее… среди мировых шедевров! Убер начал выкарабкиваться, а его сестра Клодия была серьезно больна, это можно было видеть невооруженным глазом. Она воровала у отца пустые рецепты, подделывала подпись и покупала в аптеке лекарства. Это было ее «хобби». Решив, наверное, что я ангел-спаситель их семьи, родители Убера предложили мне и за ней поухаживать, конечно, не безвозмездно. Но я отказалась. Через несколько лет она умерла. Рок? Вокруг Убера? Или в Париже… или? Умерла его любовница, с которой он был до меня в Москве. Умерла его подруга Перрин, с которой он вместе возвращался на машине в Париж из СССР. Нет и Катрин. «Я иногда думаю, может, она переехала и живет где-нибудь в 18-м районе?.. Я ведь не был у нее на похоронах, меня не пустили ее родственники». — «Ты что-то чувствовал, когда тебе о ней сказали?» — «Нет. Только когда она лежала в морге — вон в том здании, из моих окон видно, тогда я думал о том, что она сейчас там лежит… и мне было не по себе!»

Потом я окончательно собралась в Москву. Меня почему-то стала преследовать мысль, что он скорее убьет меня, чем отпустит. Убер пытался меня удержать. Он даже сделал мне предложение. Глядя на портрет покойной Катрин, я отказала ему. Он сидел в комнате, в кресле. Все вокруг было подернуто легким слоем пыли, а может, и паутины… На столе стояли подсохшие цветы. «Мы будем жить с тобой, Ленушка…» — говорил Убер или его тень. Я не верила в то, что так играет с человеком одна и та же история… которую он когда-то не завершил. Я бежала в Москву. Мы оба — каждый по своему — выкарабкивались. Дай ему Бог и теперь здоровья!

Глава 74. Настроение в моем стиле

Дома, в Москве, я долго приходила в себя. Но иногда задыхалась и здесь. Сижу где-нибудь, и вдруг что-то начинает происходить у меня внутри: я не могу дышать, а вернее, вздохнуть во всю силу легких. Я бегу в туалет и там готовлюсь к обмороку, но он никак не наступает. Я тихо причитаю, пока не начну плакать, и тогда дыхание восстанавливается. Такой

младенческий звук из меня идет… Наверное, это была посттравматическая реакция. Я одно время даже боялась выходить из дома — все время прихватывало. Но постепенно приступы прошли.

Я встретилась тогда с Ниной Керовой, женой режиссера Славы Цукермана. Она приехала в Москву по каким-то киношным делам, а Слава оставался в Америке. Я знала их по Нью-Йорку, дружила с ними и любила их картину «Жидкое небо» — культовый фильм американской молодежи, снятый русскими иммигрантами. Нина, чем-то внешне напоминавшая мне всегда певицу Мадонну, обладала удивительной силой. Про нее говорили одно время в Нью-Йорке, что она ведьма, гадалка, экстрасенс. Нина сама не любила таких разговоров и утверждала, что всерьез обратилась к православию и с гаданием завязала. На меня она произвела очень сильное впечатление, и я, сама того не заметив, отчасти попала под ее влияние. Даже ее слова: «Я никогда не хотела быть актрисой, только режиссером, и я им стала, закончив ВГИК» — запали мне в сознание и сыграли немаловажную роль в моем интересе к режиссуре. Так вот, в те дни в Москве я жаловалась Нине на свое женское одиночество. «Я хочу знать, что кто-то думает обо мне». Она провела со мной сеанс психотерапии, предложив сделать следующее: «Скажи себе: ты есть у меня! Только так, чтобы самой верить, искренне. И он скоро появится. Твой человек, твое альтер эго, твой ангел». Нина говорила, что у каждого человека есть свои собственные непреодолимые проблемы и пунктики, которые ему мешают достичь цели. И надо работать со своим сознанием, настраивая себя на положительную программу. Есть еще упражнение с зеркалом — ты смотришь на себя и говоришь то, во что тебе очень трудно поверить. Она привела пример: «Славочка у меня стоит перед зеркалом и говорит себе: „Я себя люблю“ или „Я умный“. А я говорю: „Я красивая! Я богатая!“ А тебе надо говорить: „Ты есть у меня!“» После общения с Ниной мне полегчало, и я снова стала строить планы на будущее.

В один из летних дней меня пригласили на кинопробу к Эдику Володарскому. Мне надо было изображать жену игрока, человека, который все проматывает на бегах. Моим партнером был Андрей Ташков. На пробах я натурально плакала, а Андрей, кажется, меня разглядывал. Вечером он позвонил и спросил, сколько мне лет. Я приврала и скинула два года. Он помолчал, потом говорит: «Кажется, года на два побольше». Ничего себе, решила я, кто ж так разговаривает? Он хотел приехать в гости, но я отказала. Тем более после вопроса о возрасте. Какие грубые эти русские артисты… Ташков, например, а ведь обаятельный! Это

что, флирт называется? Ух!

Вдруг приходит Вовка Ежов с огромным букетом сирени. Без звонка. Проболтал со мной часа четыре. И все про какую-то группу «Ренессанс». Это последователи Гурджиева и Успенского и еще много кого. Убедил пойти с ним за компанию послушать их. Так я ходила к ним, ходила, и они приняли меня в свою группу. Эзотерики. Вовка еще сказал, что Алешка Коновалов тоже вступил, правда во Франции. Странно все это, но и интересно. Четвертый путь! Нельзя курить и находиться во внебрачной связи. О, это для меня. Может, поможет? Вовке Ежову помогло.

По подсказке Аленки Барановой меня вдруг разыскал американский режиссер Марк Левинсон. Он собирался снимать картину с главной героиней русской. Съемки начинались через три недели в Сан-Франциско. В Москве он искал актрису. Попробовал меня, приходил с камерой прямо на Грузинскую. И утвердил! А у Володарского все отложилось до неопределенного времени. Что ж, я улетаю в Сан-Франциско на съемки, дождалась! Партнер — Видов. Да и эзотерики где-то там, поблизости: в трех часах езды от Сан-Франциско расположена их основная школа, вроде лагеря с виноградниками.

В августе я уже снималась в картине «У времени в плену» на севере Калифорнии. Режиссер сознательно взял в качестве названия цитату из стихотворения Пастернака: «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну. Ты вечности заложник, у времени в плену…» Речь в ней шла о советском художнике-диссиденте и его жене-писательнице. Он ухал в Америку, она осталась в Москве. Спустя много лет, при Горбачеве, они встречаются на его территории. Готовясь к роли в Москве, я даже сходила в гости к Ирине Богораз. Хотелось поговорить с отсидевшей женой Марченко. Она произвела на меня очень интересное впечатление. Особенно когда рассказывала, как они выходили на Красную площадь. «Мы всегда говорили то, что думали, и не представляли, что можно по-другому. За это и боролись. Потому, что хотели существовать по заведенным у нас в семье и в нашем окружении правилам, а не потому, что сознавали какой-то революционный порыв. И систему, — сказала она, — мы не собирались свергать, мы хотели, чтобы нам дали жить, как считали нужным мы, а не кто-то другой. И выйти на площадь для нас было вполне естественным шагом». Примерно такими были ее слова, насколько я смогла запомнить. Я записывала за ней в блокнот, который впоследствии был потерян. А про лагерь она рассказывала с лукавой улыбкой, вспоминая, как там влюблялись, хулиганили, пели и озорничали… Боже мой, что она могла мне такого рассказать за полчаса, пока разделывала гуляш для своих

внуков, затягиваясь папиросой, которая дымилась в слишком сухих и жилистых руках. «Мама! — кажется так окликала ее заходившая молодая женщина. — Дети проголодались, побыстрее!» Конечно, моя тщательная подготовка оказалась совсем не к месту. Картина сосредоточилась на истории любви, а не на идеологической борьбе. Я сожалею, что в этой связи мне нечего показать Ирине Богораз в качестве благодарности за беседу с этой героической женщиной.

Картина была режиссерским и сценарным дебютом Марка Левинсона. Все съемки длились три недели. Много приходилось снимать по ночам. С тех пор я не могу бодрствовать ночь напролет и ложиться на рассвете, когда все собираются на работу. Во мне сразу что-то смещается и начинает грустить. Я вообще подозреваю, что мусульмане правы, когда не едят по вечерам и встают с рассветом. Думаю, природой нам так и предназначено. На этой работе я очень многое поняла про кино и про творчество вообще. И произошло это потому, что работала я не с кондовыми профессионалами, а с начинающими — от художника до режиссера. Самыми профессиональными были мы с Олегом Видовым да еще одна русская актриса по имени Галя — мама знаменитой теперь в Голливуде актрисы Милы Йовович. Олег Видов, с которым я встретилась впервые, меня уморил! Он почему-то не мог быстро запомнить текст и прикреплял себе на ботинок бумажку со словами. Сидим мы в одной сцене друг напротив друга и ведем диалог, любовный и драматический, у меня уже давно вся трагедия на лице, и везде, и глаза намокли, а он как раз голову чуть опустил и на ботинок посматривает! А смеяться мне нельзя — крупный план… Самое смешное, однако, заключалось в другом. Олег такой мастер, что все верно рассчитал и на пленке со своим «сухим» глазом смотрелся вполне переживательно и как всегда — красиво. Человек он интересный, с особенной мужицкой правдой и философским спокойствием. Рядом с ним все всегда ясно, и это здорово. Так вот, на картине «У времени в плену» я поняла: творчество нельзя загонять в рамки академизма и мертвого профессионализма, потому что тогда оно теряет свой первоначальный смысл. Ведь все начинается с шутки, с пробы, с эксперимента! А уж получится ли шедевр — этого не может знать человек, начинающий свою работу. Но если у начинающего есть порыв, то у «профессионала» его зачастую нет уже давно. Я, конечно, ничего не имею против профессионализма и не выступаю за самодеятельность. Я говорю о соединении мастерства с экспериментом — в идеальном варианте. Не с эксперимента ли все начинали? Чехов — врач, стал писать, как и Булгаков и Горин, архитектор Вознесенский —

сочинять стихи, актер Орсон Уэллс стал снимать, а Станиславский-актер — режиссировать в театре. Мастерством надо овладеть. Но дерзости и желанию экспериментировать, то есть начинать что-то новое, свое, научить невозможно. Может, оттого работы «стариков» в конце концов уступают начинающим, не потому, что они заблуждаются, а просто — надоели? «Пусть как-то по-другому про то же самое рассказывают!» Я впервые на картине смогла увидеть все ошибки непрофессионального режиссера — и монтаж, и сценарий… и задача. На «Мосфильме» я была лишена такой возможности, все работали «как надо» и «белые нитки» до конечной копии фильма не доходили: кто-нибудь умный их отрезал и замазывал. А здесь все было на виду — и на экране, и на площадке. Надо учитывать и фактор совместного творчества — этого нету корифеев, они оторваны от исполнителей, тем более от группы. Почему-то всегда складывается впечатление, что знают, «как надо», только они — режиссеры, поэтому отдают распоряжения всем остальным, которые только помогают, по незнанию чего-то главного.

Картина оказалась средняя, это правда. Но меня окружали люди, испытывавшие неподдельное удивление и любопытство к тому, что они делают и априори одаренные. Я снова увидела, что процесс съемки на самом деле — живая магия и творить ее надо без пиетета, но с восхищением. Это также дало мне силы поверить, что если очень хочешь — делай, авось получится. В самом возникающем желании уже заключен намек свыше: а почему ты этого так сильно хочешь? Ведь, например, не всем же хочется писать о себе книгу, один парень так мне и сказал: про себя рассказывать — упаси Бог!

В один из выходных дней я съездила в лагерь к эзотерикам. Огромная у них территория. Многие здесь живут и работают на виноградниках. Есть и свой музей с древнейшими культурными реликвиями и редчайшая библиотека с ценными фолиантами и рукописями, и сады с цветниками и памятники архитектуры. Никто не курит, но пьют, естественно, хорошее вино, гуляют по дорожкам и играют в бильярд. По вечерам они встречаются в просторном зале для своих бесед. Здесь представлены все расы, все возраста, все социальные слои и профессии — есть даже русские первой волны эмиграции, они-то в особом почете, так как стояли у истоков гурджиево-успенского движения. Про эзотериков можно рассказывать много и серьезно, а также шутливо или с иронией. Впрочем, рассказывать особенно про них нельзя — так гласит неписаное правило. Смысл в том, чтобы быть сними или нет. Так что ограничусь малым. Когда я попала на собрание в большую залу тем вечером, ведущий попросил всех

новичков представиться, сказать откуда они родом, из какой страны. Таких, как я, оказалось несколько человек. Когда подошла моя очередь, я встала и произнесла по-английски: «Меня зовут Елена, я из России!» Раздался шквал аплодисментов. Это было очень эмоционально. Я представляла российскую постсоветскую школу. Оказывается, к ним никто еще не попадал из бывшего Союза. Так что мне неожиданно выпала странная миссия. Теперь, правда, там уже многие побывали, тот же Вовка Ежов.

Я провела у них несколько часов, подышала воздухом — и обратно на съемки. Тут у меня возникла дилемма. Типичная для меня. Снималась сцена в постели. Моя героиня лежит, вернее, занимается любовью с молодым героем, американцем. Я никогда до этого не играла постельные сцены — в советском кино их не было. И потому мне было любопытно, как это выйдет на пленке и как я себя буду чувствовать. Мой партнер, Питер, мне нравился, мы с ним часто болтали, и я уже к нему привыкла. Но по правилам «Ренессанса» — эзотериков — я должна была хранить целомудрие. Постельная сцена в кино — это, конечно, не секс в жизни, да и вообще там нет секса, но тем не менее — два обнаженных тела! А я все понимала всегда буквально и максималистски. Нельзя — иначе я не эзотерик. Очень, я помню, мучилась от этого — партнер подойдет, обнимет, поцелует, а я напрягаюсь и думаю: что дальше? Сцену сняли. Было жарко, всерьез возбудиться просто невозможно, так как все время звучит команда «Стоп!». Подходят гримеры, и щелкает хлопушка. Так что это совсем неинтересно играть, разве что похвастаться своим телом перед собравшимися… От эзотериков я в конце концов ушла, не смогла делать необходимые денежные взносы, соблюдать посещаемость, да и «основное правило» очень тяготило. Не хочу сказать ничего плохого, а тем более глупого, но мне показалось, что эта школа привлекала к себе людей с фатальным диагнозом или потерявших интерес к жизни. А потом я была больше года в полном женском одиночестве, и меня не могло это радовать. В любом периоде аскетизма, насколько мне известно, наступает кризисный момент. И тогда человеческое тепло — это продолжение жизни, а его отсутствие — приближающаяся смерть.

Так вот, снимаясь в постельной сцене, в перерывах между дублями я попросила дать мне воды. Приподнялась и вижу, что на меня смотрит, открыв рот, молодой парень из группы. Ангел, только без крылышек. А вернее — купидон: белокурый, но не кудрявый, а наполовину лысый, как младенец! Он все это время сидел на полу и любовался нашей с Питером псевдолюбовью.

Даже после дубля, когда я разговаривала и зевала, он продолжал смотреть не мигая, будто я не человек, а изображение на экране телевизора. Наконец до него дошло, что я смотрю с упреком в его сторону'. Он закрыл рот, вскочил и убежал с площадки. Звали его Клод. Мне почему-то всегда нравилось это имя, оно казалось мне благозвучным. Когда вместо работавшего со мной водителя этот смешной парнишка стал приезжать за мной и подвозить до площадки, мы получили возможность больше общаться. Я обычно молчала и смотрела в окно. А он отвлекал меня от молчания и рассказывал что-то интересное. Ну, например, что в Сан-Франциско нельзя строить здания с двумя одинаковыми крышами — это закон. Но не эта милая забота покорила мое сердце, а другое. Он вдруг начал угадывать мои мысли или слова, заканчивать начатые мной фразы или упоминать то, что я говорила прежде. Ему, со своей стороны, казалось, что он меня давно знает — верный признак зарождающейся любви. А я удивилась, обнаружив на нем однажды вельветовую зеленую куртку — точь-в-точь, как у меня в детстве. Узнавание шло долго, но вдруг обрушилось чувством родства и незаменимости. Я, помню, читала в те дни новеллы Набокова, и одна из них заканчивалась очень красивой фразой: ступай осторожней, мой маленький! Это была книжка на французском, и фраза звучала еще прекрасней: «Vas y doucement mon petit!» А смысл здесь в том, что в отеле, где герой поджидает свою супругу, начинается пожар, в котором он в конце концов погибает. Автор рассуждает о смерти как о переходе из одного состояния в другое. Он говорит, что скачок, который должно совершить тело, требует невероятного усилия, но еще большее потрясение и трансформацию предстоит пережить психике, сознанию человека… Отсюда и напутствие: ступай осторожней… Эти слова стали нашим общим паролем, присказкой, летучей фразой, которую потом мы ставили в письмах друг другу.

Клод, наверное, и был моим вторым «я», моим альтер эго, ангелом-хранителем, посланным для утешения и возвращения в мою душу любви. Когда Нина Керова заставила меня сказать самой себе: «Ты есть у меня!» — я его вызвала из небытия, и он вылупился. Но драматургия истории и на этот раз была не самая простая — он был на шестнадцать лет моложе меня. Федра? «Ипполит! Ипполит! Болит!..» Или тоже цветаевское: «Ипполиту от Матери — Федры — Царицы — весть. Прихотливому мальчику, чья красота, как воск». Ну, хватит.

Как и полагается в возрасте двадцати двух-двадцати трех лет, после окончания колледжа в Беркли Клод точно не знал, кем он будет. И оттого потратил ближайшие после нашего знакомства

годы на поиски себя. Ему также пришлось много работать, чтобы обеспечивать свою жизнь и поездки в Европу, где он хотел жить и учиться. Я приезжала к нему в гости в Париж и познакомила с ним своего приятеля Алешку Коновалова. Я его спрашиваю: «Ну, как тебе?» А Лешка отвечает: «Мышкин! Вылитый Князь Мышкин…» В течение нескольких лет мы с Клодом встречались повсюду — и в Сакраменто, откуда он родом, и в Сан-Франциско, и в Лос-Анджелесе. А однажды я ездила с ним по дорогам на огромном грузовом трейлере — он подвизался перевозить помидоры в течение целого месяца, ради быстрых, но нелегких денег. Я любила его, и моя любовь приобрела наконец светлые черты, освободившись от зловещего рока и разрушительных терзаний, которые преследовали меня с юности. Я была счастлива просто так, от самого факта существования на земле столь родного мне человека. Меня привязало к нему и то, что в его жизни была история, похожая на мою. Однажды он сел в машину и уехал далеко, затем остановился и собрался было открыть газ, но его кто-то или что-то остановило. Эта несостоявшаяся попытка самоубийства станет точкой отсчета в его дальнейшем поиске себя и других. Он найдет у меня освященную иконку Спасителя, на которой начертаны слова: «Заповедь новую даю вам: да любите друг друга…» И с ней уйдет.

В течение семи лет мы переписывались. А после моего окончательного переезда в Москву я продолжала видеть его раз в год, навещая в Америке. Однажды он рассказал мне, как убил у себя дома мышь. Меня это насмешило и возмутило. Но он объяснил, что выхода не было — она бы привела к нему других мышей. А убил он ее большой и толстой книгой. Я почему-то запомню это историю и только позже пойму, почему. Он мне часто снился и всегда с золотым кольцом на пальце. Я просыпалась: к чему бы это? К браку? Но понимала, что мне, как старшей, просто невозможно пойти на брак с такой разницей в возрасте… Сон повторялся, и я продолжала задавать себе вопрос.

После картины «У времени в плену» я на целый год осталась в Америке. Жила в Лос-Анджелесе, поступала в Калифорнийский университет на режиссуру. Писала заявки на сценарии, смотрела фильмы. Поддерживал меня в этой идее продюсер Том Ладди — старый знакомый, еще со времен романа с Андроном. Он же однажды представил меня Ширли Мак Лейн, с которой мы говорили о странности нашего сходства и об Андроне. Большая любительница эзотерики заметила всерьез: «Может, мы из одного космического яйца?» — и указала пальцем на небо. Я часто навещала Сан-Франциско. Теперь здесь жило много моих друзей. Кроме Клода, сюда перебрался и Тод — мой друг-психиатр. Он

закончил аспирантуру и поселился в Калифорнии. Определившись с местом жительства, он определился и с сексуальной ориентацией. И теперь я ездила к нему в гости в компании с его любовником Стивом, по фамилии Ля Франс. По дороге мы пели песни и шутя называли друг друга «офицер Ля Франс» и «лейтенант Коренева». В темноте ночи, с убегающими за окном вспышками огней нам казалось, что мы бороздим небесные просторы. «Летали» мы, как правило, раза два в неделю — и в машине и дома.

В Лос-Анджелесе я стала посещать актерскую студию. Ее руководитель поразил меня своей энергией и силой убеждения. Он был замечательным актером и режиссером, звали его по инициалам имени Джей Ди. Занятия с ним напоминали взятие амбразуры, после чего хотелось торжествовать победу. Амбразурой был в первую очередь сам человек, с его внутренним страхом и несвободой. Я сыграла у него отрывки из сценария Бергмана «Лицом к лицу», монолог героини из картины Славы Цукермана «Жидкое небо», сцену из пьесы Уильяма Сарояна и другие вещи. «Елена, почему ты так боишься казаться сильной?» — спросил он меня однажды, когда мы репетировали. Я не сразу поняла, почему он видит меня такой, но когда поняла и сыграла это, то обрела почву под ногами. В качестве психологической тренировки он просил нас писать на бумаге, кто что будет делать через месяц, два, три, через неделю… Все писали: буду сниматься у Копполы, получу главную роль в Голливуде, в пьесе на Бродвее и так далее. Тому, кто терялся и боялся мечтать, попадало по первое число. «Надо ставить большие цели, надо знать, чего ты хочешь… и это произойдет! Иначе зачем мы здесь?» — говорил Джей Ди слова, которые могла сказать Нина Керова, или гадалка Джулия, или Ежи-психотерапевт… Джей Ди часто повторял: «Если я выжил и стал тем, кто я есть, то это может сделать каждый!» И я поставила себе цель — вылезти из своего угла и сыграть моноспектакль. (Увидев однажды в Сан-Франциско двухчасовое представление одного комика, я поняла, что это чудо и барьер, который мне надо взять.) Но сначала, для разминки, я подготовила в Лос-Анджелесе вечер для русских эмигрантов. Это была композиция из стихов Цветаевой, Пастернака, Анненского, Нины Искренно. А также монологов — «Лисистрата», «Жидкое небо», «Серсо» Славкина и выученная в последний момент «Медея». На моем вечере пела настоящая джазовая певица и еще маленькая девочка. Я читала иммигрантам Блока: «Девочка пела в церковном хоре о всех, уставших в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, забывших радость свою…» Зал внимал. Моя миссия тех дней в Америке была выполнена.

Глава 75. Московский снег, огромными хлопьями…

Защити меня, ветер,
защити, зима…
Есть на севере город, где
живет моя «ма».
Ма-ша, ма-ма — моя семья:
два цветка в гербарии,
в книжке, на полке, у мужа
моей сестры…

Ноябрь 1993-го. В Москве серый осенний день. На улице еще не сумерки, но не совсем светло, как часто бывает в это время года. Я иду по улице и подставляю лицо влажному прохладному воздуху — он оседает на моих щеках мелкими капельками. «Хорошо! — говорю я себе. — Прохладно, мало света и влажно. Хорошо! Нет пальм и бесконечно палящего солнца! А скоро будет еще лучше — выпадет снег! Снег — это такие осадки, похожие на белый пух, который искрится, словно маленькие стеклышки… Большая редкость, например в Калифорнии — там не бывает снега. Как много удивительного здесь, в Москве, где я родилась!» Я это понимаю лучше, чем многие из тех, кто идет сейчас по улице. Боже, как они могут ходить по этим улицам? Вот поистине — марсиане и марсианки какие-то! Женщины бегают по льду в сапогах на высоких каблуках… ужас! Как им не страшно, ведь можно упасть, сломать ногу! Я тоже когда-то умела так ходить по льду? Не может быть! Одна досада — придется надевать на себя шубу, а ведь шуба — это шкура убитого животного, да и вообще… я уже привыкла ходить налегке, и мне кажется противоестественным кутаться в кофты и платки. Я немного дезориентирована, конечно, но ничего, я привыкну. Например я все время открываю форточки, а мне говорят, что это опасно, можно простудиться. Я не верю, а потом и правда простужаюсь… Я дохожу до площади Маяковского и поворачиваю обратно на Садовое, оттуда на Грузинскую. Я гуляю каждый день, по привычке — я знаю, что воздух здесь не такой, как на побережье в Санта-Монике, но стараюсь не обращать на это внимание. Но вот красный солнечный диск расплывается перед моими глазами, и у меня кружится голова: что-то я перегуляла… Дома выясняется, что у меня поднялась температура, и я ложусь в постель на две недели.

Первое время в Москве я боролась с климатом, совершенно потеряв ощущение холода, тепла и вообще приспособленности к

данным природным условиям. Это нарабатывается годами, и люди, живущие здесь, не задумываются, почему надевают теплый сапог, а не просто ботинок, как это делают живущие в России иностранцы. По этим мелочам можно распознать своих и чужих. Но странно — у меня тоже по возвращении из Калифорнии вначале было потеряно знание того, как надо и когда надо. «Люсик, — говорил мне муж моей сестры Павел, — Москва чопорный город, здесь не стоит носить такие рваные джинсы и шапку с лисьим хвостом, поверь мне!» На спектаклях я визжала, сидя в первом ряду, желая подбодрить своих бывших коллег, но потом меня останавливали оробевшие близкие: зачем, Люсик? Толя Васильев, к которому я пришла в гости в его театр просто поболтать, сказал тогда замечательную вещь: «Отсюда нельзя уезжать — опасно! Защитный слой нарастает годами, и только это спасает. А так — ты его теряешь».

И все же я существовала, как в сказке, которая была понятна только мне, потому что мои ощущения и память каждый день переживали праздник. Все, абсолютно все мелочи, из которых состоит жизнь конкретного места, города, представляли для меня интерес. Я уже не говорю о том комфорте, который связан с речью — все, совершенно все вокруг меня говорили по-русски! Спасибо, родные! Это просто выходные какие-то, и за что мне это? Теперь мне было все равно, что я снимала комнату, а не жила в своей собственной квартире. С некоторых пор я сдавала ее, чтобы иметь какие-то деньги. Но за все эти годы я привыкла жить в разных местах и съемных квартирах. Я даже хотела переселяться раз в год — мне становилось скучно в одной квартире, с одним видом из окна. Но со временем это прошло. Теперь я хотела поделиться своим опытом, приобретенным в актерской студии у Джей Ди, и, получив первые предложения, бежала на встречу с режиссерами и драматургами. Так возникла работа с режиссером Женей Каменьковичем, которая называлась «Тачка во плоти». Начинающий тогда драматург Петя Гладилин позаимствовал для названия фразу из дневников Дали: «тачка во плоти»… Естественно, мы нашли с ним общий язык, и, конечно, он был творческим. Игра в автосалоне и все, что было в спектакле экспериментаторского, авангардного, смелого, казалось для меня теперь естественным и само собой разумеющимся. Меня, правда, приложили в англоязычной газете «Moscow Times», назвав мое возвращение на русскую сцену провалом — «flop». Нет, ну надо же, получить именно в Москве долгожданную реакцию американской критики (автор — американец, живущий в Москве) и такую разгромную! Но я нашла и в этом положительный аспект — раз уже ругают в печати, при этом для ругани выделяют

половину огромной страницы, то значит, я выбилась в звезды. А для них — что хвалят, что ругают — одинаково хорошо: главное, что помнят! После «Тачки» я наконец взялась за «тяжелый вес» — моноспектакль «Лу». Час сорок — вот время моего существования на сцене наедине со зрителем. Режиссер тот же, Каменькович. Играли в Театре на Таганке. (Спустя год эту же вещь мне предстоит исполнить по-английски в Австралии, на театральном фестивале. Тогда-то языковой барьер будет взят окончательно!) В те дни в Москве, сидя дома и разучивая текст, я вдруг подумала, что никогда в жизни не говорила полтора часа подряд в одиночку, и мне стало страшно — а выучу ли я и хватит ли сил? Оказалось, что это, как таблица умножения — не понимаешь, но запоминаешь! А понимаешь потом. Итак, хотела — и сделала. Само пришло…

Была у меня там, правда, песенка в спектакле, которую мне не хотелось повторять. «Мой папочка умер, мой папочка умер, хэй-хо, хэй-хо, мой папочка умер!» На последнем спектакле у меня прямо на сцене разбилось зеркало. Вернее, я случайно встала на него ногами. Там в самом конце спектакля шла игра с зеркалом. После поклонов мой продюсер Давид Смелянский сказал, чтобы я быстрей бежала и бросала зеркало в реку, отвернув его от себя, «лицом» к воде. Я поехала с подругой, что пришла ко мне в тот вечер, к Москва-реке, и мы выбросили зеркало. Но спустя месяц, в феврале, мой папочка умер… Как говорит Сашка, моя младшая сестра, отмучился. Да нет, он не хотел умирать, хотел скорее выписаться из больницы. Правда, за год до того сказал нам с мамой, что устал. Вот потому, видно, Сашка говорит: «Отмучился». В больнице он сказал мне: «Дочь, все, что надо людям, — это любить, и чтобы их любили… чтобы любить и чтобы любили!»

Потом, после папиной смерти, вскоре вышел журнал со мной, обнаженной на обложке. А на самом деле я снималась с черепом в руке, только в последний момент опубликовали другую фотографию. Вроде «Быть или не быть», только женский монолог. Вроде: бедный Йорик! Тело — жизнь, череп — смерть. Я потом думала, что провоцировала смерть… таким снимком. Мне все после этого задавали вопросы: зачем, зачем? А что «зачем» — после той старушки верхом на яйце? Да и Никас — художник, который мне предложил сниматься, сказал заманчиво: «Давай, пока еще не старые!» Потом я как-то поздней ночью ехала на такси по Москве, притормозила спросить дорогу у автобусной остановки. А там девушка стоит, как увидела меня, улыбается — рот без одного зуба, сама бледная, потрепанная, уставшая, а меня узнала и говорит так радостно: «Леночка, я все ради вас…» Я

поняла, что это проститутка. Как она меня ласково, вроде я своя теперь. Ну и ладно.

Сижу как-то дома и смотрю по телевизору фильм «Приходите завтра» с Катей Савиновой. И слезы текут. Особенно когда она поет серенаду Шуберта — я всегда любила эту серенаду. Так мне сладко от собственных слез, заливаюсь прямо — чем-то эта Фрося Бурлакова меня напомнила. Только в Америке. Да и не в Америке тоже… повсюду. Правда, я без голоса, а так многое похоже. Поплакала и все. Набрала номер в Сан-Франциско, для моральной поддержки, говорю: «Хэллоу, гайз! Это я, Элейна! У нас тут ночь, а вы только встали? Что, купаться идете, а-а-а, едете на озеро Тахо, понятно, офицер Ля Франс, понятно, доктор Тод! Что Сара? Сыграла в Лос-Анджелесе в комедии и премию получила? Ух ты, Сара дает, она всегда умела бороться! Я люблю вас, гайз, скоро приеду, вот только лета дождусь, сяду на самолет Аэрофлота, да не „флопа“, а флота, и прилечу! О’кей? Олрайт!»

Потом Петька позвонил, пригласил прогуляться. Иду с ним по бульвару мимо театра Пушкина, дай, думаю, подойду поближе, посмотрю фотографии на стендах. Вдруг вижу портрет Андрея Ташкова. Смотрю внимательно и застываю как вкопанная: улыбка, лоб, лицо, глаза… это же Клод! «Петя, смотри — это вылитый Клод, как же я раньше не заметила?» Стала я с того дня приходить к портрету на свидание — такое добро он излучал. И Петьке тогда говорила: «Давай постоим чуть-чуть…» Потом однажды случайно встретила Андрея. Мы с ним пошли гулять, дошли до моего дома, я пригласила зайти в гости. Сидим, чай пьем, он мне рассказывает всякие небылицы, то ли врет, то ли правда, но смешно и очень здорово его слушать. Про то, как он в школе челюстями скрипел, чтобы обратить на себя внимание красивой девочки, а потом зуб-то и сломал. Про то, как больным прикидывался и Щукинское училище прогуливал, чтобы дома сидеть и обжираться в свое удовольствие. А потом и говорит: «Я однажды мышь убил у себя дома». А я ему: «Да как ты мог?» А самой смешно и мышь жалко. Он объясняет: «Так ведь она претендует на мою территорию, у нее места достаточно для проживания… Вызываю лифт, открываются двери и вместо пассажира — выбегает мышь!» Я спрашиваю: «А чем убил?» Он говорит: «Из пульверизатора для травли насекомых». Я про себя думаю: «Ага, из пульверизатора все-таки…» Потом стал рассказывать о том, как он служил в Театре Советской Армии. Как ковровые дорожки и диваны огромных размеров таскали всемером — это вместо военной-то службы! «А что ты там играл?» — спрашиваю. «Князя Мышкина!» — отвечает он, и дальше: про диваны, люстры, рулоны, про нянечек-билетерш, про розыгрыши

и опять про люстры и диваны. А я вдруг смотрю ему на безымянный палец и вижу золотое кольцо. Так вот он с этим кольцом тогда чай у меня и пил, потом снял его. С тех пор тоже уже времени немало прошло.

Я часто прошу его песню одну исполнить. Он как затянет — мурашки по телу бегут!

Далеко, далеко я свободу искал.
И устал, я смертельно от жизни устал.
На чужой стороне побратался с бедой.
Понял я, что свобода моя лишь с тобой.
Нету свету, счастья нету посреди чужих людей.
Даже птице не годится жить без родины своей.
Я не знал, сам не знал, что так верен тебе.
О тебе тосковал безутешной тоской,
От тебя уходил к неизвестной судьбе,
Но не мог ни на час я расстаться с тобой.
Нету свету, счастья нету, посреди чужих людей.
Даже птице не годится жить без родины своей…

Правда, лучше самим послушать, как Андрюшка поет. А вообще людям надо любить и чтобы их любили. Все ради этого и об этом.

Москва, 2001

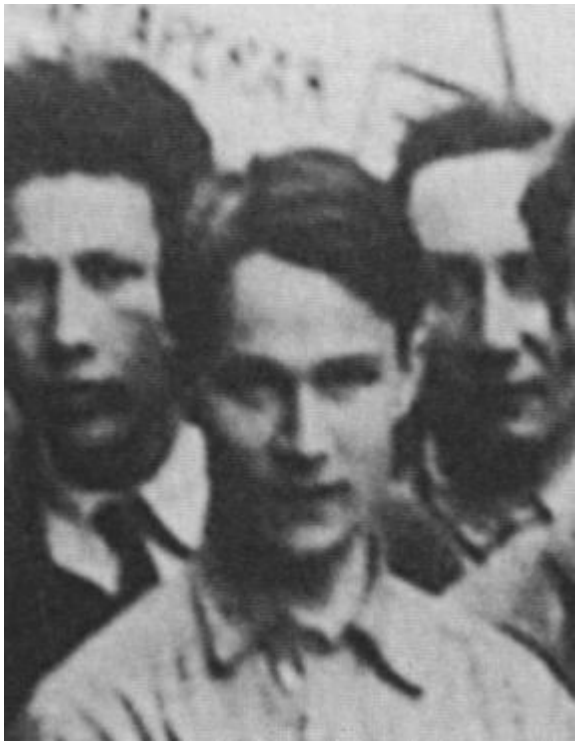
Иллюстрации

Прадедушка Алексей Александрович Коренев в возрасте гимназиста 2 класса, Ярославль

Прабабушка Елена Константиновна Соболева

Кореневы — групповой портрет до моего рождения. Слева направо вверху: настоящий мужчина — Гриша, красавица — Галина, папа, Машка и мама. Внизу: «гимназист» Шура — дедушка, Елена Константиновна — прабабушка, Марусенька — бабушка

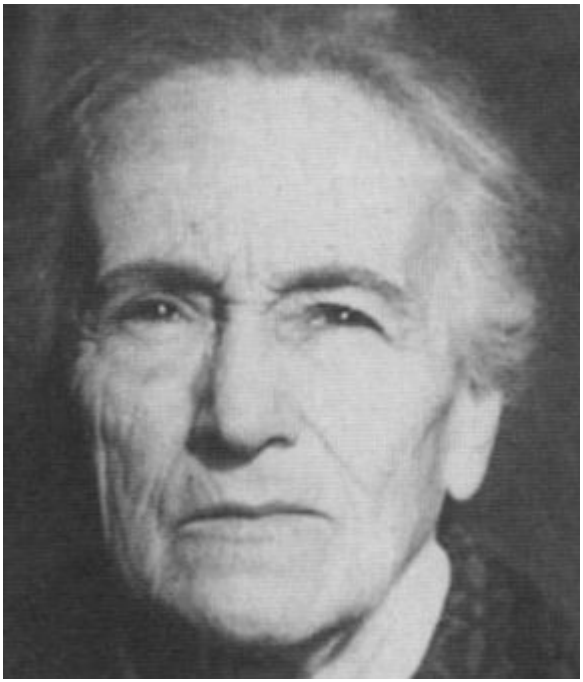
10-летие редакции газеты «Правда»



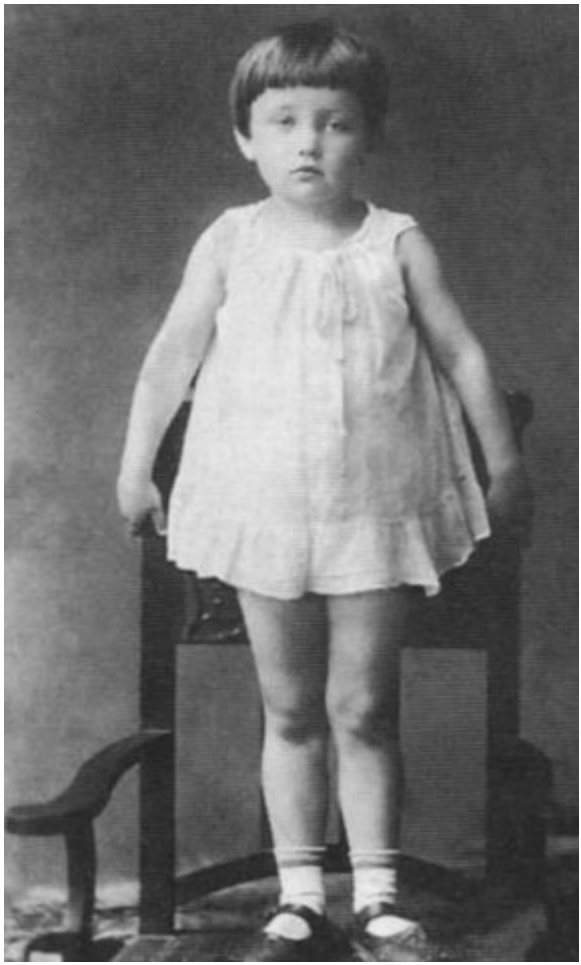
Андрей Андреевич Константинов — мамин отец

Наташа Константинова — моя мама, 18 лет

Бабушка Мария Соркина



После лагеря и Колымы…



Моя шестилетняя мама — возраст, в котором она осталась без родителей, их посадили…

Алеша Коренев — мой папа

Брат и сестра — Алеша и Галя Кореневы

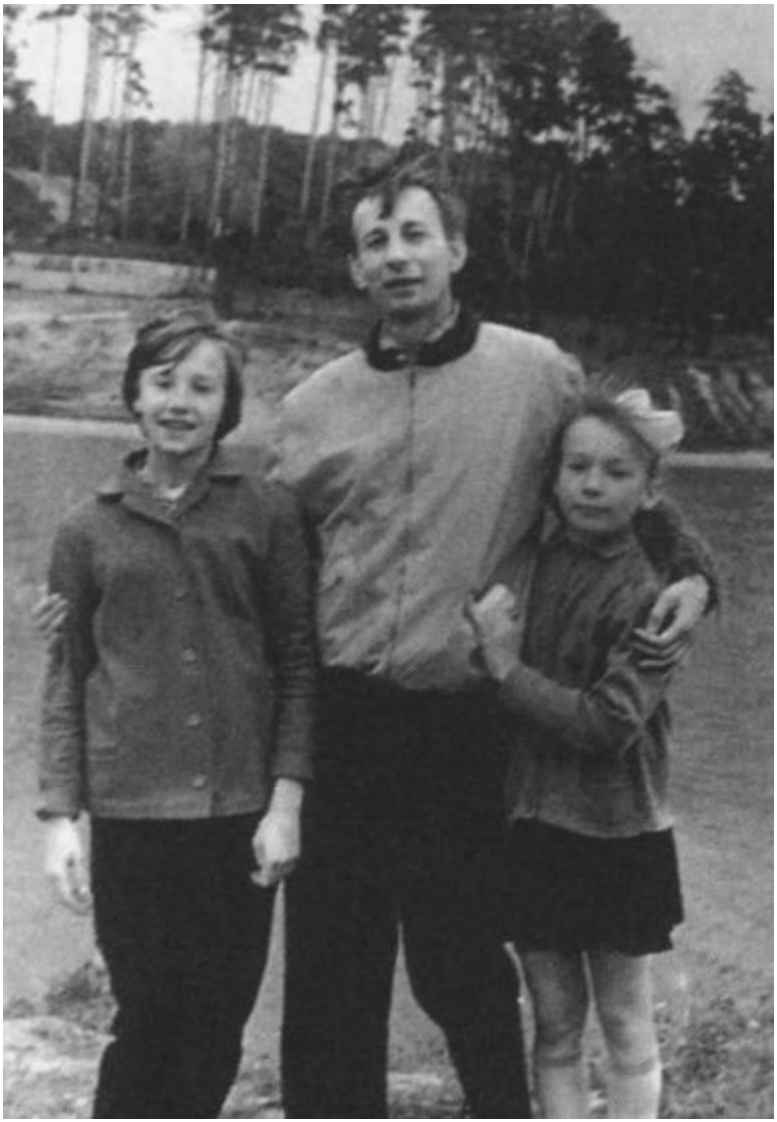
Любовь одноклассников (мама с папой)

…я и Машка

С мамой

Машка в расцвете

С двоюродными братьями: Вова (слева), Витя (справа)



На канале с папой

Пробы на первую картину «Вас вызывает Таймыр»

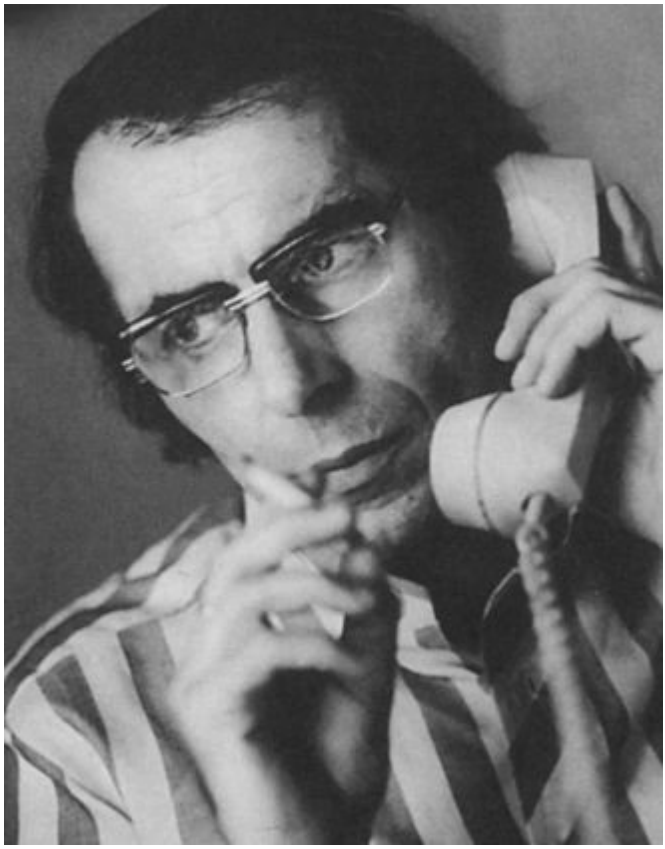
… период первой любви

Папины фотопробы на роль немца

Машины пробы на «Мосфильме»

Мама — кадр из кф «Черноморочка»

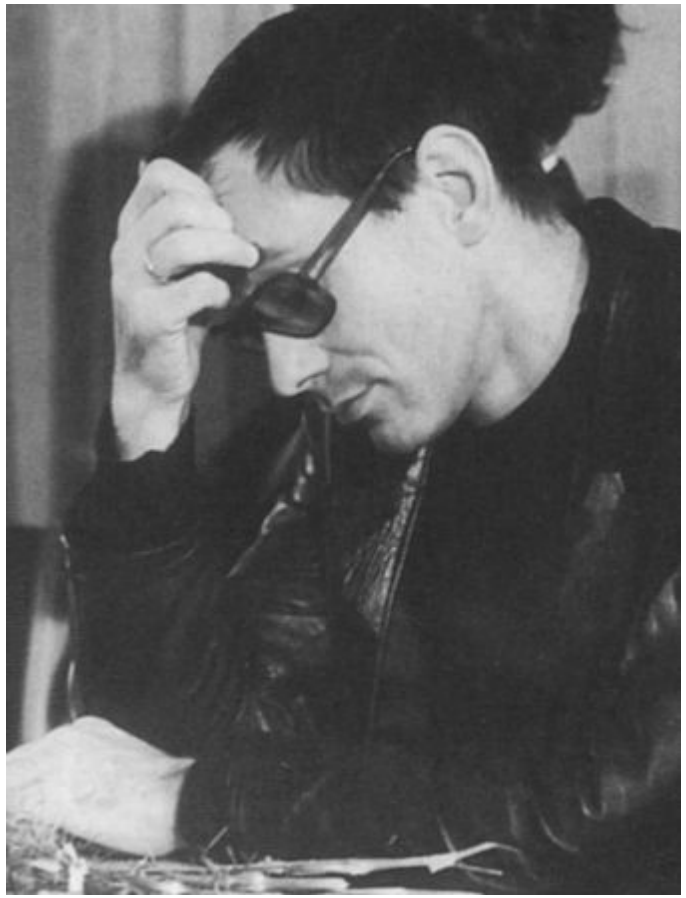
Мы обе попали в кино…

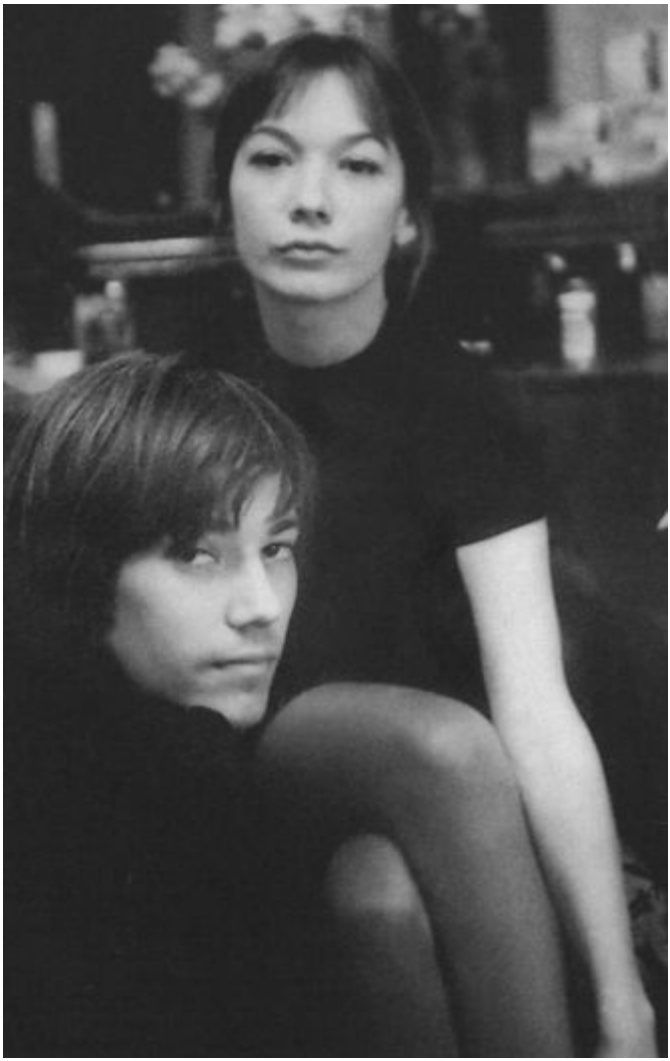


Павел Грушко — новый член семьи, муж Маши

Машка — молодая мама, ее сына зовут Кирилл

Я и Кончаловский

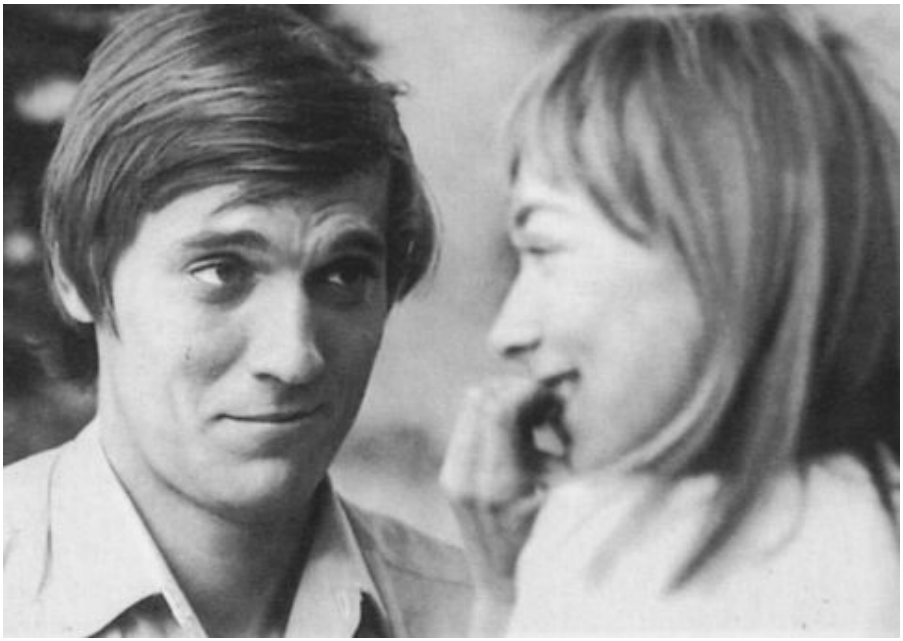




С В. Конкиным (пробы к «Романсу»)

«Романс». Сцена на барже

Под Серпуховом. «Романс»



…первая сцена. Женя Киндинов

Под Серпуховом. Счастье!

Трубач — И. Смоктуновский. Печаль

С И. Смоктуновским в телеспектакле «Цезарь и Клеопатра»

В Карловых Варах

С Андроном Кончаловским

В Германии «Романс о влюбленных»

С Женей Киндиновым в Чехословакии у обелиска «Центр Европы»

Джульетта в «Щуке»

С режиссерам А. Буровым на репетиции «Ромео и Джульетты». Ромео — В. Вихров

Портрет для журнала «Советский экран»

Ширли Мак Лейн: «Елене, с моей любовью, моим лицом, моей другой жизнью я, Ваша поклонница, Ширли Мак Лейн…»

Похожа?!

Мои однокурсники — Саша Постников

и Света Переладова

«Месяц в деревне». Режиссер — А. Эфрос. В роли Беляева О. Даль

Репетиция с Олей Яковлевой, Толей Грачевым

Оля Яковлева в «Женитьбе»

«Тот самый Мюнхгаузен»

«Ярославна — королева Франции»

с Н. Караченцовым и С. Мартинсоном

«Сибириада»

«Ася»

С Андреем Мягковым в кф «Утренний обход»

«Яблоко на ладони». С Т. Васильевым

«Каштанка» по Славкину

Телеспектакль «Попечители». М. Козаков и О. Янковский

Групповой снимок работы В. Плотникова: Л. Ярмольник и А. Абдулов с друзьями — свадебный подарок

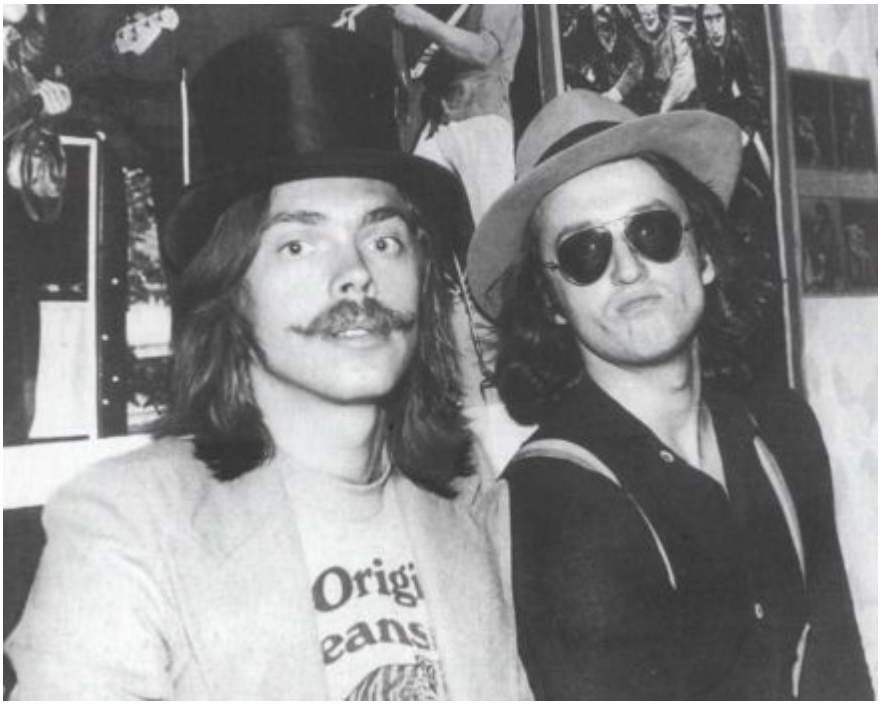
Убер — французский Айболит

«Портрет Лены». Работа Саши Синицына

Николай Львович Двигубский

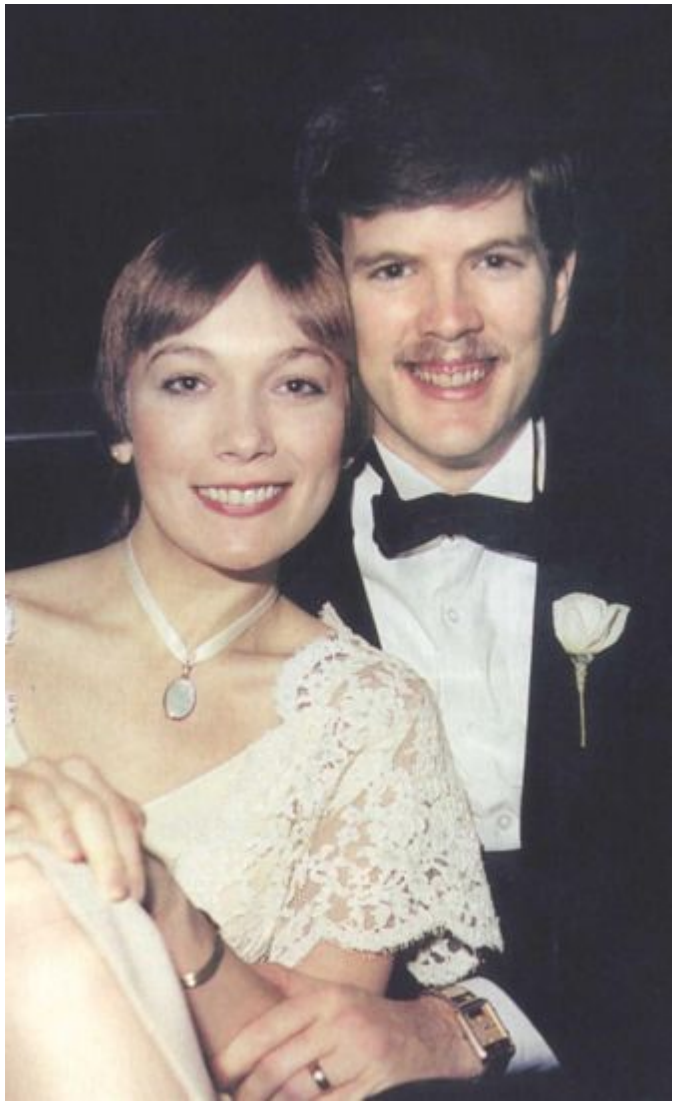
Мои друзья — московская Богема. Слева направо: Ксения Голубкова — Дженис Джоплин, Мелинда Маклейн — русская англичанка, Саша Дрючин (первый справа) и другие

Моя подруга — фам фаталь



Слева направо: Юра Иванов — музыкант из «Самоцветов» и Саша Градский — лабухи

Свадьба по-американски: я и Кевин



Дом родителей Кевина в Новом Орлеане

В гостях у родителей Кевина

Студенты Корнеллского университета

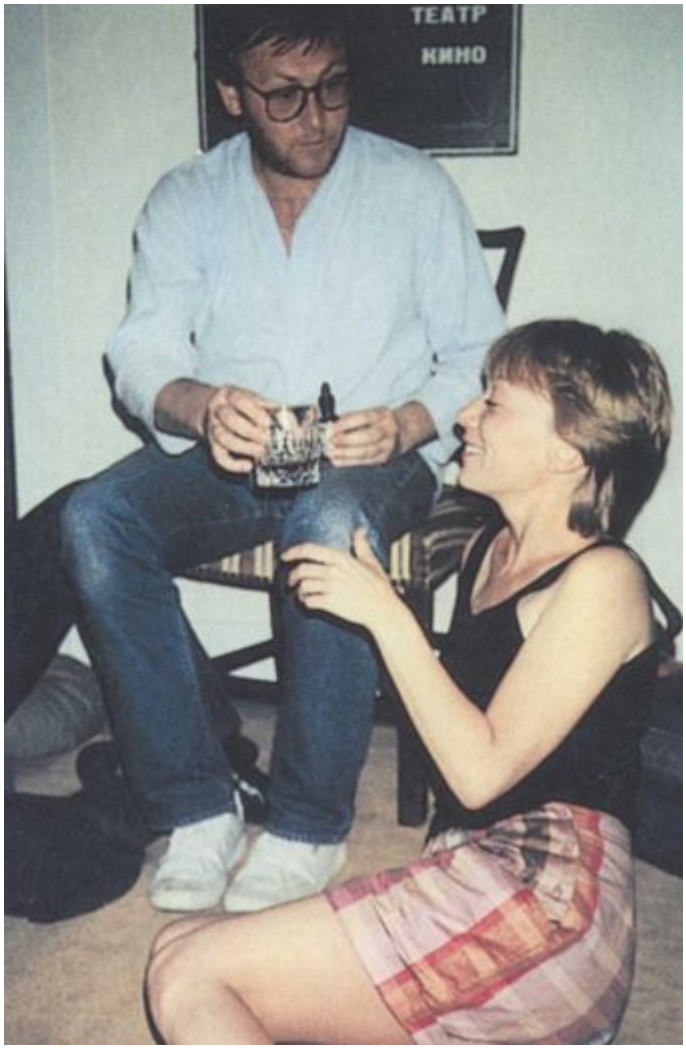
Вид на кампус Корнеллского университета

Доминик

Эксцентричный Поль

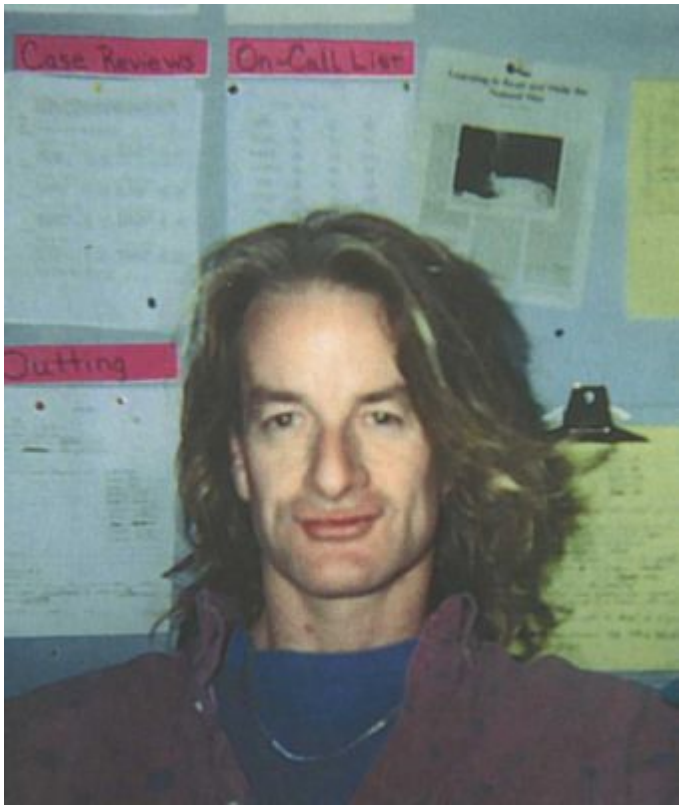
С Клодией и ее дедом

Меня не впускают в Москву

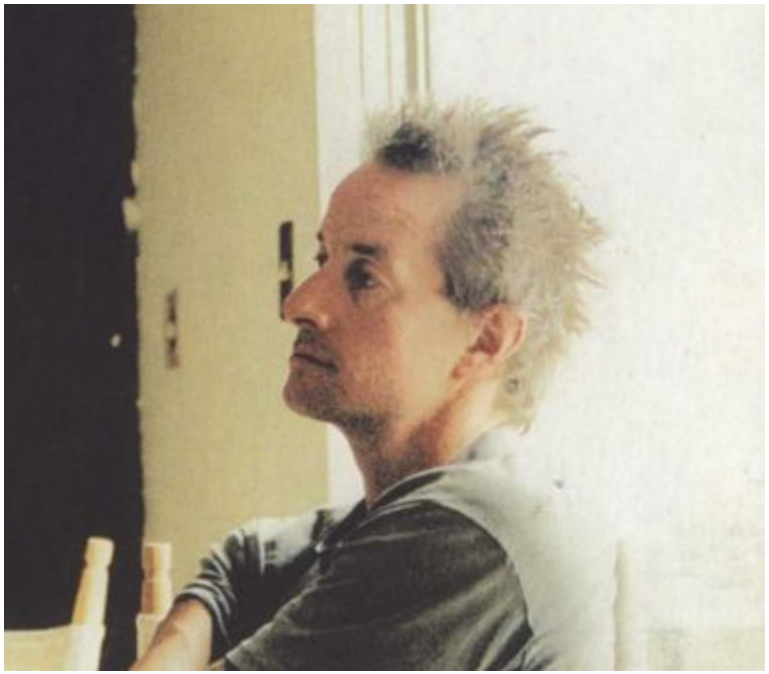


Алешка Менглет в Америке

Слева направо: Алик Гольдфарб, Кристина — француженка, я, журналист Саша Половец, Бойд Блэк



Бойд



Бунтарский дух Бойда я позаимствовала, работая над ролью Лисистраты

«Лисистрата»

Я и Лева Вайнштейн после премьеры «Дяди Вани» в Аспине

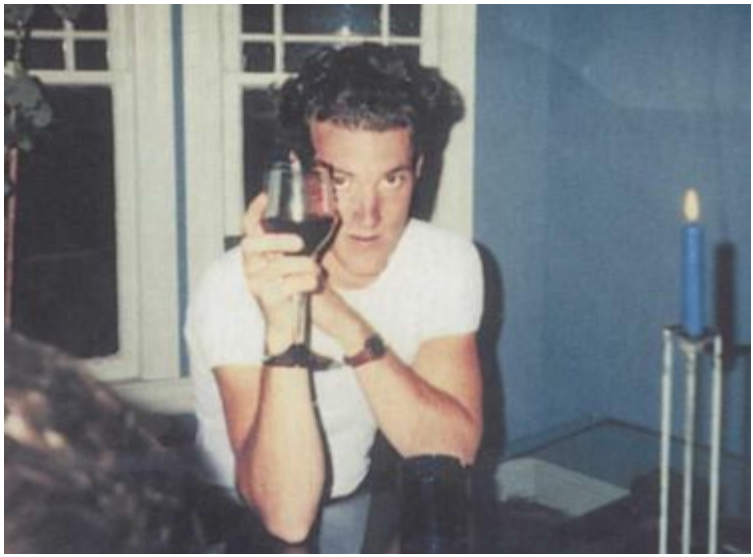
Аленка Баранова

Сара Праттер

В кампании с Сергеем Сорокко и Дэвидам Гамбургом

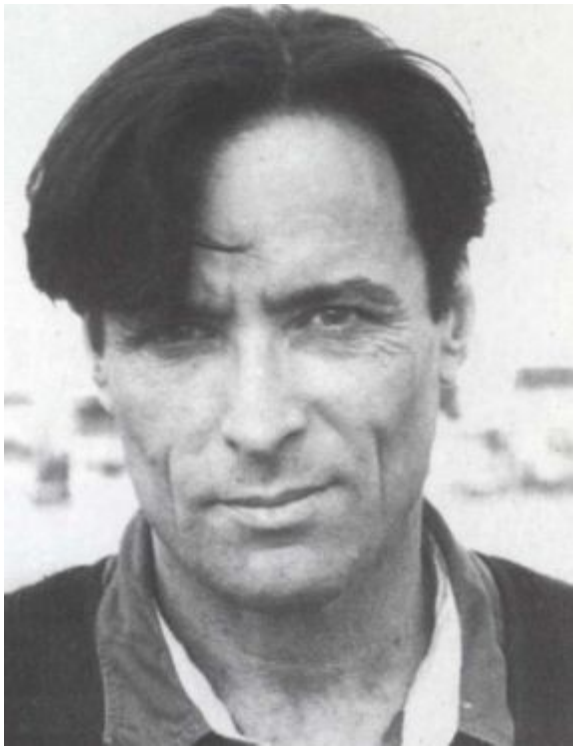
С Франком Боулз, который пригласил меня работать в галерею «Боулз-Сороккo»

Я и Тод в Аспине



«Лейтенант ла Франс», закадычный друг Тода

Калифорния!



Джеймс — дезертир Вьетнамской войны

«Зачем врать? Нужно на пиво» — хиппи на улице Сан-Франциско

В Сан-Франциско

Клод, который моложе меня на… 16 лет!

Навигатор…

Савелий Крамаров, Владимир Долинский, я, Илья Баскин в Лос-Анджелесе

Опять Москва, но другая… после перестройки

Гриша Горин на репетиции вечера в честь 20-летия «Мюнхгаузена». В цирке Ю. Никулина. О. Янковский, А. Ташков, я, Г. Горин, Света — режиссер

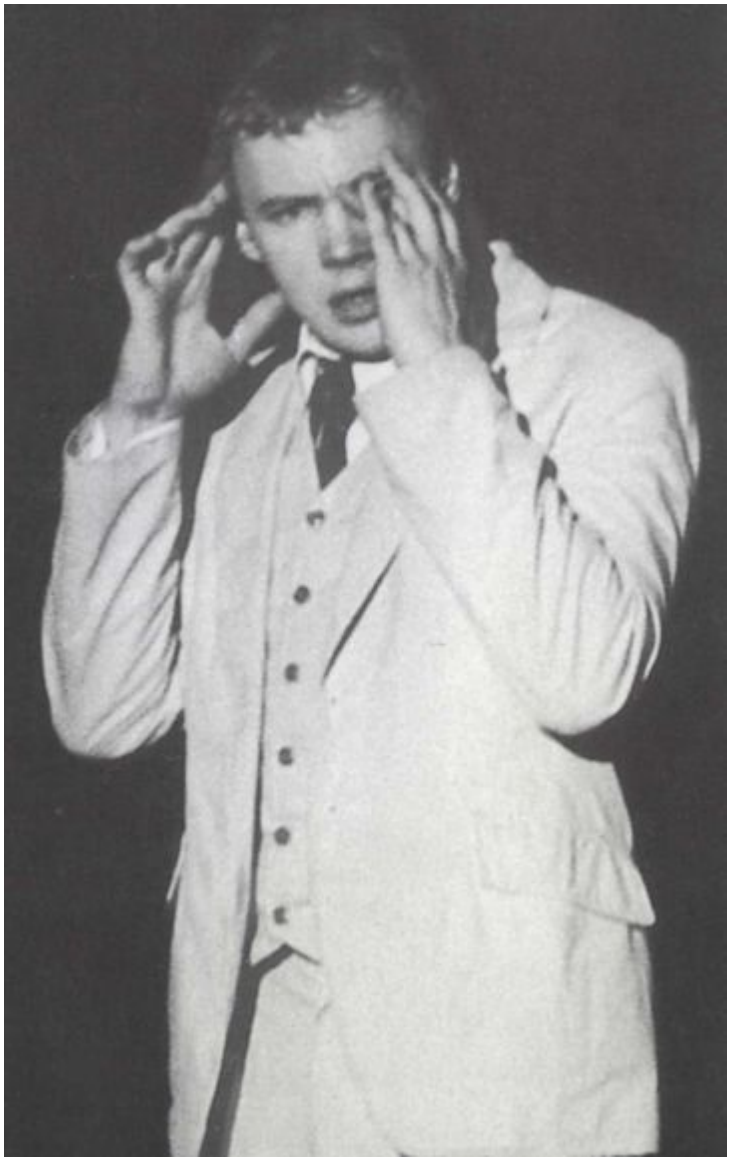
У Бартеньева с Г. Власенко (слева) и Кевином (справа)

«Тачка во плоти» Петра Гладилина, режиссер Е. Каменькович

Мои друзья-стилисты — Марина и Володя, Петя Гладилин, П. Грушко

Е. Каменькович, Н. Негода, Д. Смелянский, Дэвид Джордж — празднуют премьеру спектакля «Лу»

В спектакле «Доброе утро, любимая…». Автор и режиссер А. Ташков



Князь Мышкин — Андрей Ташков в спектакле Театра Советской Армии «Идиот», режиссер Ю. Ерёмин

Андрей Ташков

«Доброе утро, любимая…»

Андрей в телефильме «Подросток» в постановке его отца Евгения Ташкова

Три сестры…

Маша, я, Саша

Благодарности

Выражаю особую признательность тем, чья поддержка помогла моей книге увидеть свет, а именно — маме и сестре Маше, Андрею Ташкову, Ирине Ефремовой, Ирине Тулубьевой, Лидии Масловой, а также Александру Наумовичу Митте и педагогам ВРК, поощрявшим мои сочинения, и, наконец, всем сотрудникам издательства «Астрель», принявшим участие в создании макета.